



ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН  
СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ

III

ХАНС КРИСТИАН  
АНДЕРСЕН



СКАЗКА  
МОЕЙ ЖИЗНИ

HANS CHRISTIAN  
ANDERSEN

---

ХАНС КРИСТИАН  
АНДЕРСЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ПОДГОТОВЛЕНО СОВМЕСТНО  
С ЮБИЛЕЙНЫМ КОМИТЕТОМ  
«ХАНС КРИСТИАН  
АНДЕРСЕН –  
2005»

# ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

А. ЧЕКАНСКИЙ,  
А. СЕРГЕЕВ,  
О. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

# ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН

ТОМ ТРЕТИЙ

## СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ

ПЕРЕВОД С ДАТСКОГО:  
О. РОЖДЕСТВЕНСКОГО,  
Б. ЕРХОВА

МОСКВА «ВАГРИУС» 2005

УДК 860-312.6  
ББК 84 (4 Дан.)  
А 65

Дизайн В.Гусейнова

На обложке — портрет Ханса Кристиана Андерсена  
работы К.А.Йенсена

Издательство благодарит Музей Х.К.Андерсена г. Оденсе  
за предоставленные фотографии

**Андерсен Х.К.**  
А 65 Собрание сочинений в 4 т. / Ханс Кристиан Андерсен. — М. : Вагриус, 2005

Т. 3. : Сказка моей жизни. — 704 с.: ил.

ISBN 5-9697-0001-0

ISBN 5-9697-0029-0 (Т. 3)

Ханс Кристиан Андерсен (1805—1875) — великий датский писатель,  
чье творчество навечно вошло в золотой фонд мировой культуры.  
В 2005 году по решению ЮНЕСКО весь мир отмечает юбилей — 200 лет  
со дня его рождения. К этой знаменательной дате подготовлено данное 4-томное  
собрание сочинений Х.К.Андерсена.  
В третий том вошли его мемуары «Сказка моей жизни».

УДК 860-312.6  
ББК 84 (4 Дан.)  
А 65

Охраняется Законом РФ об авторском праве

ISBN 5-9697-0001-0

ISBN 5-9697-0029-0 (Т. 3)

- © Н.С.Andersen 2005 Fonden, 2005
- © О.Рождественский, перевод на русский язык (стр. 5—363), 2005
- © Б.Ерхов, перевод на русский язык, (стр. 363—702), 2005
- © Издание на русском языке,  
оформление. ЗАО «Вагриус», 2005

**Ж**изнь моя — это настоящая сказка, богатая событиями, удивительно прекрасная! Если бы в ту пору, когда я бедным беспомощным ребенком начинал свой жизненный путь, мне встретилась бы могущественная фея и сказала: «Избери себе цель и дорогу к ней, а я, согласно с твоими дарованиями и по мере возможности, буду охранять и направлять тебя!» — и тогда судьба моя не сложилась бы лучше, счастливее и разумнее. История моей жизни скажет целому миру то же, что говорит и мне: Всемиловитый Господь Бог наш все направляет к лучшему.

В 1805 году в городе Оденсе в бедной каморке проживала одна юная чета — муж и жена, бесконечно любившие друг друга: молодой, двадцатидвухлетний сапожник, необычайно одаренная, поистине поэтическая натура, и его жена, несколькими годами старше, не знавшая ни жизни, ни света, но обладавшая редким сердцем. Только недавно вышедший в помощники мастера муж своими руками сколотил всю обстановку собственной каморки-мастерской, а также брачную кровать. На материал для кровати пошел деревянный помост, на котором незадолго перед тем стоял во время траурной церемонии гроб с останками графа Трампе. Уцелевшие на досках кровати полосы черного сукна еще напоминали о прежнем их назначении, но вместо окутанного крепом и окруженного подсвечниками с горящими свечами тела графа на эту постель 2 апреля 1805 года лег живой плачущий ребенок, я — Ханс Кристиан Андерсен.

Первое время отец мой сидел возле постели целыми днями, читая ей вслух комедии Хольберга, а же в это время отчаянно пищал.

«Да спи же ты наконец или хотя бы послушай!» — в шутку обращался ко мне отец. Но я еще долгое время оставался таким неугомонным крикуном, что даже и в церкви во время крещения священник, которого вообще-то моя мать всегда считала человеком большой души, не сдержался и воскликнул: «Да ваш малыш орет, как суций кот!» Слов этих матушка не смогла забыть ему никогда. Бедный французский эмигрант Гомар — мой крестный отец — утешал ее, говоря, что чем громче я кричу ребенком, тем лучше буду петь, когда вырасту.

Детство мое протекало в крошечной комнатке, почти все место в которой занимали сапожный верстак, кровать и раздвижная скамья, служившая мне кроватью. Стены были увешаны разными картинками, на комодке выстроились расписные фарфоровые чашки, стаканы и разные безделушки, а над верстаком у окна висела полка с книгами. В маленькой кухоньке стоял продуктовый шкаф, а над ним красовалась подставка, полная оловянной посуды. Это тесное жилище казалось мне тогда большим и роскошным, а дверь с неким грубо намалеванным на ней пейзажем производила на меня такое же впечатление, как теперь целая картинная галерея.

Из кухни был ход на чердак, где под слуховым окном на водосточном желобе, проходившем между нашим и соседним домами, стоял ящик с землей, в котором росли лук и петрушка. Это был огород моей матери. Он и теперь еще цветет в моей сказке «Снежная королева».

Я рос единственным и потому балованным ребенком; часто приходилось мне выслушивать от матери, какой я счастливый — мне-то ведь живется куда лучше, чем жилось в детстве ей самой, — ну прямо настоящий графский сыночек. Ее, когда она была маленькой, родители выгоняли из дому просить милостыню, а она никак не могла решиться на это и целые дни просиживала в слезах под мостом у реки. Мое детское воображение живо рисовало эту картину, и я заливался горячими слезами. Старая Доменика в «Импровизаторе» и мать скрипача в романе «Всего лишь скрипач» — в этих двух образах я постарался изобразить свою матушку.

Отец мой, Ханс Андерсен, отчаянно потакал мне — я был для него всем на свете, и жил он, казалось, только для меня! Все свое свободное время он посвящал мне — мастерил игрушки, рисовал картинки, а по вечерам читал нам с матерью «Чудака» Лафонтена, комедии Хольберга и «Тысячу и одну ночь». Пожалуй, только во

время чтения я замечал на его лице улыбку — в жизни он не был особенно счастлив да и ремесла своего не любил.

Родители его некогда были зажиточными крестьянами, но внезапно на них одно за другим посыпались несчастья: весь скот их пал, дом сгорел, а потом и сам отец помешался. Тогда жена — моя бабушка — переехала с ним в Оденсе и поместила сына в учение к сапожнику — нужда заставила, а между тем сам способный мальчик сгорал желанием поступить в латинскую школу. Несколько меценатов собирались было в складчину дать ему стипендию и помочь пойти желанным путем, но дело так и ограничилось одними разговорами. Бедному отцу моему пришлось отказаться от своей заветной мечты, и он так и не смог примириться с этим всю оставшуюся жизнь. Помню, ребенком я раз увидел на его глазах слезы: к нам зашел заказать сапоги один из учеников и, разговорившись, стал показывать отцу свои книги и рассказывать, чему он учится. «И я бы тоже мог стать таким!» — сказал отец после его ухода, горячо поцеловал меня и весь вечер был как-то особенно задумчив и тих.

У своих товарищей по ремеслу он бывал редко; все его родственники и знакомые, как правило, приходили к нам, а сам он больше сидел дома. Зимними вечерами он, как я рассказывал, читал нам вслух или мастерил мне игрушки, летом же почти каждое воскресенье отправлялся со мной в лес. Во время прогулок он обычно бывал молчалив, погружался в свои мысли, сидя где-нибудь под кустом, а я бегал вокруг, собирал землянику и нанизывал ее на соломинку или же плел венки. Матушка сопровождала нас всего лишь раз в год, в мае, когда лес одевался первой зеленью. Это была ее единственная ежегодная увеселительная прогулка, и она всегда по этому случаю наряжалась в свое парадное ситцевое платье, коричневое с цветочками. Много лет только по этим дням да еще когда она ходила к причастию, я и видел его на ней. Матушка всегда приносила с собой с прогулки массу свежих березовых веток и ставила их в воду подле нашей изразцовой печи. Стебельки заячьей капусты мы втыкали в пазы в стенах и по их длине судили о том, какой век отмерен каждому из нас. Весело смотрелась тогда наша комнатка, убранная зеленью, украшенная картинами. Матушка содержала жилье в безукоризненной чистоте; белые, как снег, покрывала и коротенькие оконные занавески были ее неизменной гордостью.



Одним из первых моих воспоминаний, самым по себе не таким уж и важным, но имевшим для меня значение благодаря той яркости, с каким оно запечатлелось в моей детской душе, являлось воспоминание об одном семейном празднике, который проходил, как бы вы думали — где? В Оденсе есть одно здание, на которое я всегда взирал с таким же жутким страхом, с каким, я полагаю, парижские мальчишки смотрели на Бастилию, — тюрьма. Родители мои были знакомы со сторожем этого заведения, и вот как-то раз он пригласил их на один семейный праздник. С собой взяли и меня, а я тогда был еще так мал, что обратно меня, как оказалось впоследствии, пришлось нести на руках. Тюрьма казалась мне в те времена обиталищем сказочных воров и разбойников, и я частенько стоял перед ней, разумеется, на почтительном расстоянии, прислушиваясь к пению мужчин и женщин и стуку ткацких станков.

Итак, мы с родителями явились в гости к сторожу этого дома. Огромные, обитые железом ворота открылись и закрылись снова; ржавый ключ со скрипом повернулся в замке, и мы стали подниматься по крутой лестнице. Поданное угощение было на славу, но за столом прислуживали два арестанта, и я не мог притронуться ни к чему: даже самые вкусные лакомства отталкивал прочь. Матушка сказала, что я, верно, заболел, и меня уложили в постель. В ушах у меня все время раздавались песни арестантов и стук челноков. Так ли обстояло дело в действительности или это только чудилось мне, я не знаю, однако твердо помню, что мне было жутко и в то же время интересно: я как будто попал в самый настоящий разбойничий замок из сказки. Поздно вечером мы отправились домой; меня несли на руках. Погода была промозглая, дождь так и хлестал мне в лицо.

Сам город Оденсе был в пору моего раннего детства совсем не похож на нынешний, опередивший Копенгаген своим газовым освещением, водопроводом и еще бог весть чем. В то время жители Оденсе отставали от столичных во всем чуть ли не на сто лет; здесь еще сохранялась масса разных обычаев, от которых давным-давно уже отказались в столице. Когда цеховые учреждения переезжали в другие помещения, все мастера и подмастерья шли в процессии с развевающимися знаменами, с обнаженными клинками, украшенными лентами и лимонами, насаженными на острие. Впереди, как правило, бежали, всячески дурачась, увешанные бубенчиками арле-

кины. Один из них, не молодой уже человек по имени Ханс Стру, пользовался особым успехом за свои выходки и лицо, все вымазанное сажей, за исключением носа, который сохранял свой натуральный багрово-красный цвет. Матушка моя была от Ханса Стру в таком восторге, что пыталась даже откопать какие-то семейные связи с ним, хотя бы и самые дальние. Я же был настолько «аристократом», что, как сейчас помню, всей душой протестовал против малейшего намека на родственные отношения с «шутом».

В понедельник на Масленицу мясники водили по улицам жирного, украшенного цветами быка, на котором восседал верхом мальчик в белой рубашке и с крылышками за плечами. Всю Масленицу по городу гуляли также матросы с музыкой и флагами. Гулянье это обычно заканчивалось поединком: два здоровенных молодца сходились на доске, перекинутой между двумя лодками, стараясь сбросить друг дружку в воду, и тот, кому удавалось удержаться на ногах, считался победителем. Особенно же ярко — быть может, еще и потому, что впоследствии я неоднократно рассказывал об этом, — запечатлелся у меня в памяти приход в 1808 году в Оденсе испанских солдат. Дания тогда заключила союз с Наполеоном, Швеция же объявила ему войну, и прежде чем кто-либо успел опомниться, французские и вспомогательные испанские войска наводнили весь Фюн, откуда они намеревались под командованием маршала Бернадота, князя Понтекорво, переправиться в Швецию. Мне тогда было не больше трех лет, но я живо помню этих смуглых людей, шумно бродивших по улицам, пушки, расставленные на рыночной площади и перед домом епископа. Я видел солдат, сидевших на тротуарах и растянувшихся на кипах соломы внутри полуразрушенного монастыря «Серых братьев». Замок Кольдинг был к тому времени сожжен, и принц Понтекорво прибыл в Оденсе, где находились его супруга и сын Оскар. По всей стране школы были превращены в сторожевые пикеты; под сенью деревьев прямо на полях и у дороги священники служили обедни. О французских солдатах мнение у всех сложилось не самое хорошее — они были заносчивы и грубы; испанских же, напротив, считали людьми добродушными и приветливыми. Между собой они постоянно не ладили, и наши симпатии неизменно были на стороне испанцев. Однажды один солдат-испанец взял меня на руки и дал мне поцеловать висевший у него на

шее серебряный образок. Я помню, как рассердилась на него моя матушка за эту, как она выразилась, «католическую проделку». Мне же и образок, и сам солдат весьма понравились. По-прежнему держа меня на руках, он стал танцевать, целуя меня, а потом вдруг заплакал — видно, у него самого остались на родине дети. Еще я, помнится, видел, как одного из его товарищей вели на казнь: он убил французского солдата. Много лет спустя в память об этом случае я написал небольшое стихотворение «Солдат». Шамиссо перевел его на немецкий язык, и впоследствии оно стало весьма популярной песней, которая даже вошла в сборник солдатских песен как оригинальная немецкая.

Так же живо, как испанцев, помню я событие, случившееся в 1811 году, когда мне минуло шесть лет, — появление в небе большой кометы. Матушка сказала мне, что комета столкнется с Землей и разобьет ее вдребезги или же обязательно случится какая-нибудь другая ужасная вещь, о которых сказано в «Пророчествах Сивиллы». Я тогда прислушивался ко всем слухам вокруг, и суеверие пустило в моей душе такие же крепкие корни, как и настоящая вера. Смотреть на комету мы с матушкой и несколькими соседками вышли на площадь перед кладбищем Св. Кнуда. На небе появилось страшное огненное ядро кометы с большим сияющим хвостом, и все вокруг заговорили о дурном предзнаменовании и о приближении Судного дня. Вскоре к нам присоединился и отец. Он не разделял всеобщих суеверий и, по всей видимости, попытался дать какое-то разумное объяснение по поводу появления кометы, но матушка лишь тяжело вздохнула, а соседки принялись неодобрительно качать головами; отец засмеялся и ушел. Мне стало страшно за него — ведь он не верил, как верили все мы! Вечером мать завела разговор о комете с бабушкой — своей свекровью. Не знаю, что думала о комете бабушка, помню только, что, сидя у нее на коленях и глядя в ее ласковые глаза, я с минуты на минуту ждал, что вот-вот комета упадет на Землю и наступит Судный день.

Бабушка заходила к нам каждый день хоть на минутку, главным образом для того, чтобы повидать своего любимого внука Ханса Кристиана. Она была худощавой, милой и тихой старушкой с кроткими голубыми глазами. Трудно ей пришлось в жизни. Когда-то она была женой богатого крестьянина, а теперь еле перебивалась, дожи-

вая свой век со слабоумным мужем в крошечном домике, купленном на последние остатки их состояния. И все же никогда я не видел, чтобы она плакала; зато тем тяжелее отзывались у меня в сердце ее тихие, печальные вздохи и рассказы о ее бабушке с материнской стороны. Та была уроженкой большого немецкого города Касселя и принадлежала к благородному семейству, но вышла замуж за, как она высказывалась, «актеришку-комедианта» и бросила ради него и родных, и родину. И вот теперь судьба мстит за это всему нашему роду. Я никогда не слышал от бабушки фамилии этой дамы, но сама бабушка носила в девицах фамилию Номмесен. Старушке был поручен уход за садиком при городской больнице, и по субботам она всегда приносила мне оттуда букетик цветов. Цветы украшали наш комод и считались моими. Мне позволяли самому ставить их в стакан с водою; то-то было радости! Бабушка вообще часто приносила мне что-нибудь, баловала меня, любила без памяти — я знал это, чувствовал.

Два раза в год бабушка жгла листья и другой сор из сада в большой больничной печке. Эти дни я почти всегда проводил подле бабушки, валялся в кучах листвы и гороховых стеблей, играл с цветами и — что было самым важным — получал обед куда вкуснее, как мне казалось, домашнего. Тихие слабоумные, содержащиеся в больнице, разгуливали на свободе по двору и по саду. Они часто заходили к нам, и я с трепетным любопытством прислушивался к их речам и пению, а часто даже отваживался пойти за ними в сад. Случалось даже, что я, набравшись смелости, правда, в сопровождении сторожей, заходил и вовнутрь здания, где содержались буйные помешанные. Двери отдельных келий выходили в длинный коридор; помню, как-то раз я заглянул в замочную скважину одной из келий. В ней на куче соломы сидела голая женщина с длинными распущенными волосами и пела. Голос был чудный! Вдруг она вскочила и с визгом кинулась к двери, за которой на корточках притаился я. Сторож куда-то ушел, я был один. Она с такой силой ударила в дверь, что маленькая форточка в двери прямо над моей головой, через которую безумной подавали обед, распахнулась; женщина взглянула в нее, увидела меня и протянула руку, чтобы меня схватить. Я в ужасе закричал и пригнулся к полу. Никогда не изгладится в моей памяти воспоминание о том ужасе, который я испытал, чувствуя

прикосновение ее пальцев к моей одежде. Когда вернулся сторож, он нашел меня полумертвым от страха.

Недалеко от пивоварни, где в печке жгли листья, была мастерская, в которой работали бедные старухи прядильщицы. Я часто заходил туда и скоро сделался всеобщим любимцем за свое красноречие, служившее, однако, по мнению старух, верным признаком того, что мне отпущен короткий век. «Такой умный ребенок не заживается на свете!» — говорили они; это мне чрезвычайно льстило. Как-то случайно я слышал разговор врачей о внутреннем строении человека, слышал, что у нас есть сердце, легкие, кишки, и этого мне было вполне довольно, чтобы немедленно прочесть по данному поводу моим старухам целую лекцию. Я смело чертил мелом на двери какие-то вавилоны, которые должны были изображать внутренности, и нес что-то о сердце и почках. Все, что бы я ни говорил, производило на почтенное собрание глубочайшее впечатление. Я прослыл необыкновенно умным ребенком, а наградой со стороны старух за мою болтовню служили сказки. Передо мной развернулся целый сказочный мир, не уступавший по богатству тому, что рисуется нам в «Тысяче и одной ночи». Эти сказки и частые столкновения с умалишенными до такой степени повлияли на меня, и без того уже зараженного суеверием, что в сумерках я едва осмеливался высунуть нос за порог родительского дома. Обыкновенно мне и позволяли ложиться, как только садилось солнце, но, конечно, не на мою собственную кровать, раскладную скамью, — тогда в комнате нельзя было бы повернуться, а на кровати родителей. Я лежал там за ситцевым пологом в цветочек, сквозь который просвечивал огонь свечи, слышал все, что творилось в комнате, и в то же время так уходил в собственный внутренний мир грез и фантазий, что внешний как будто совсем переставал существовать для меня. «Да благословит Господь этого ребенка — лежит себе смирихонько! — говаривала матушка. — Никому-то он не мешает да и сам беды там не натворит».

Слабоумного дедушку я страх как боялся: он говорил со мною всего один раз и очень удивил меня своим обращением ко мне на «вы». Он вырезал из дерева различные причудливые фигурки: людей со звериными головами, животных с крыльями и диковинных птиц, укладывал их в корзину и ходил по окрестностям, раздаривая эти чудные игрушки деревенским детям и женщинам. Они, в свою

очередь, угощали его и давали с собой крупу, ветчину и прочие продукты. Раз, когда он только что вернулся в город после такой прогулки, я услышал, как глумились над ним преследовавшие его толпою уличные мальчишки. Я в ужасе забился под лестницу и сидел там, пока они не пробежали мимо, ведь я уже сознавал, что был плотью от плоти и кровью от крови этого слабоумного.

Я почти никогда не сходилась со своими сверстниками и даже не принимал участия в играх на переменах, оставаясь в классной. Дома у меня в игрушках недостатка не было. Чего только не смастерил мне отец! Были у меня и картинки с превращениями, и мельница, которая приходила в движение, как только потянешь за веревочку, и объемные панорамы, и кивающие головами куклы. Любимейшим моим занятием было шить моим куклам наряды или сидеть во дворе под единственным кустом крыжовника, который с помощью передника матушки, повешенного на метлу, превращался мною в палатку, убежище в солнце и в дождь. Там я сидел и смотрел на листья крыжовника, которые росли и развивались день за днем на моих глазах — маленькие зелененькие почки становились под конец большими сухими желтыми листьями и опадали. Вообще я был большим мечтателем и, гуляя, часто даже зажимивал глаза. В результате из-за этого все стали думать, что у меня слабое зрение, притом что оно, наоборот, всегда было у меня очень острое.

Азбуке, складам и чтению я учился в так называемой «школе для мальчиков», которую содержала одна «ученая» старуха. Она обыкновенно сидела в кресле с высокой спинкой под часами, из которых во время боя показывались разные движущиеся фигурки. Под руками у нее всегда лежала здоровенная розга, и она частенько потчевала ею своих учеников, меж которых преобладали маленькие девочки. Обучение велось по старинке: мы все хором нараспев и как могли громко твердили слоги. Меня учительница сечь не смела, — с таким уговором отдала меня в школу матушка, и когда раз мне все-таки попало, я сейчас же вскочил, взял свою книгу и, не говоря ни слова, ушел домой к матери. Пожаловавшись ей, я потребовал, чтобы меня отдали в другую школу, что и было сделано. Матушка поместила меня в «школу для мальчиков» господина Карстенса, в которой, однако, была и одна девочка, совсем маленькая, хотя все же постарше меня. Мы с ней живо подружились. Она постоянно твердила о пользе и долге, о том,

что надо поступить на хорошее место и что ходит в школу она главным образом для того, чтобы научиться хорошенько считать. Мать сказала ей, что тогда она может попасть в экономки в каком-нибудь крупном помещичьем имении. «Будешь экономкой в моем замке, когда я сделаюсь вельможей!» — сказал я ей как-то раз, а она засмеялась и напомнила мне, что я всего лишь бедный мальчик. Однажды я нарисовал что-то вроде дворца, назвал его своим замком и стал уверять подругу, что меня подменили малюткой, что я знатный ребенок и что ко мне часто являются ангелы Божьи и разговаривают со мной. Я ожидал от нее восхищения, подобного тому, с каким внимали мне старухи в больнице, но на нее мои рассказы подействовали совершенно иначе. Она выгаращилась на меня, а потом сказала одному мальчику, стоявшему рядом: «Да он просто сумасшедший, как и его дед!» Я весь похолодел. Ты тут стараешься, рассказываешь, желая прослыть в их глазах необыкновенным, а в результате выходит, что ты — просто-напросто помешанный, такой, как твой дед! С тех пор я не заговаривал с девочкой ни о чем подобном; впрочем, мы с тех пор и перестали быть такими друзьями, как прежде. Я был в школе самым младшим, поэтому, когда другие мальчики играли, учитель, господин Карстенс, ходил со мной по двору под руку, чтобы меня не сбили с ног. Он очень меня любил, часто угощал пирожными, ласково трепал за щечку, дарил мне цветы и раз даже простил ради меня провинившегося ученика. Один из старших мальчиков не знал урока и был за это поставлен с книгой на стол, вокруг которого сидели мы все; я был безутешен — мне было жаль наказанного, — и в конце концов учитель смягчился. Милый добрый мой учитель сделался впоследствии начальником телеграфной станции в Тосинге. Он был жив еще несколько лет тому назад, и мне рассказывали, что старик часто говорил посетителям: «Вы, пожалуй, не поверите бедному старику, а ведь это я был первым учителем одного из наших известнейших писателей! У меня в школе учился Ханс Кристиан Андерсен!»

Осенью матушка иногда ходила по полям и собирала оставшиеся после жатвы колосья. Обычно она брала меня с собой, и я помогал ей — ни дать ни взять библейская Руфь на тучных полях Вооза. Раз мы забрели на поле барского имения, где был очень злой и жестокий управляющий. Вдруг мы увидели его с огромным кнутом в руках! Матушка и все другие бросились бежать, я тоже, но скоро

потерял свои надетые прямо на голые ноги деревянные башмаки. Сухие жесткие стебли кололи мне ноги, и я отстал от других. Управляющий уже замахнулся было на меня кнутом, но я взглянул ему прямо в глаза, и у меня невольно вырвалось: «Как смеешь ты бить меня — ведь Господь-то все видит!» И этот жестокий человек вдруг сразу смягчился, потрепал меня по щеке, спросил, как меня зовут, и дал мне денег. Я показал их матушке, и она сказала другим: «Что за ребенок мой Ханс Кристиан! Все добры с ним — вот даже злой управляющий и тот дал ему денег!»

Я рос благочестивым и суеверным ребенком, о нужде не имел и понятия, хотя мои родители и перебивались, как говорится, с хлеба на квас; мне же казалось, что мы живем в полном достатке. Даже одежду свою я считал чуть ли не роскошной. Какая-то старуха постоянно перешивала для меня старое платье моего отца; три-четыре шелковых лоскутка, хранившихся у матери, служили мне жилетами — их скрещивали на груди и закалывали булавкой, на шею надевали большой шарф, завязанный огромным бантом; голова всегда была чисто вымыта с мылом, а волосы расчесаны на пробор — щеголь да и только! Таким франтом я отправился в первый раз в жизни с родителями в театр. К тому времени в Оденсе уже был построен свой театр по инициативе графа Трампе либо графа Хана. Первые представления, которые удалось там посмотреть, давались на немецком языке. Директор, по фамилии Франк, ставил оперы и комедии. Любимой пьесой местной публики была «Дева Дуная». Первая же увиденная мною пьеса была комедия Хольберга «Оловянный политикан», переделанная в оперу. Я так и не знаю, кто написал музыку, но помню, что переведенный на немецкий язык текст пели со сцены. По тому впечатлению, которое произвел на меня переполненный зрительный зал, трудно было угадать, что во мне скрывается будущий поэт. Родители рассказывали мне впоследствии, что я при виде такого скопления народа воскликнул: «Ого! Да будь у нас столько бочонков масла, сколько тут людей, — то-то я поел бы!» Тем не менее театр скоро сделался моим излюбленным местом, но так как попадать туда мне удавалось всего один-единственный раз за зиму, то я и свел дружбу с разносчиком афиш Петером Юнкером, и он ежедневно давал мне по афише с уговором, чтобы я разнес за него по нашему кварталу часть остальных; я выполнял условие добросовестно. Не имея возможности попасть в театр, я дома забивался в уголок с афи-



шей в руках и, читая заглавие пьесы и имена действующих лиц, придумывал сам целые комедии. Это были мои самые первые, еще неосознанные попытки творчества.

Отец читал нам вслух не только комедии и рассказы, но и исторические книги и святую Библию. Будучи человеком вдумчивым, он пытался осмыслить то, о чем читал, но когда заговаривал об этом с матушкой, оказывалось, что она не понимает его; оттого он с годами все больше и больше замыкался в себе. Как-то раз, закрыв Библию, он сказал: «Да, Иисус Христос тоже был человеком, как и мы, но человеком необыкновенным!» Мать пришла от его слов в ужас и залилась слезами. Я тоже перепугался и стал просить у Бога прощения моему отцу за такое богохульство.

«Нет никакого дьявола, кроме того, которого мы носим в своем сердце!» — говаривал также мой отец, и меня всякий раз охватывал страх за его душу. Однажды утром на руке у отца оказались три глубокие царапины; он, вероятно, задел во сне рукой за какой-нибудь гвоздик в кровати, но я вполне разделял мнение матери и соседа, уверявших, что это дьявол царапнул отца ночью, чтобы убедить его в своем существовании. Отец вообще мало с кем знался и почти все свободное время проводил или один, или со мною в лесу. Заветной мечтой его было жить за городом, и вот мечта эта чуть было не сбылась. В одном барском поместье срочно потребовался сапожник; под жильё ему отводился в ближней деревне маленький домик с садиком и небольшим пастбищем для коровы. Даровое помещение и постоянный верный заработок — да можно ли желать большего счастья! И мать, и отец только о том и мечтали! Отцу в виде пробной работы заказали пару бальных туфелек; помещица прислала ему шелковой материи, а кожу он должен был достать сам. Только этим и были заняты мысли всех нас несколько дней кряду. Я несказанно радовался, мечтая о будущем садике с цветами, кустиках, под которыми я буду сидеть и слушать кукушку, и горячо молил Бога исполнить это наше заветное желание. Наконец туфли были готовы; мы смотрели на них с неподдельным благоговением — ведь от них зависело все наше будущее. Отец завернул их в платок и ушел. Мы все сидели и ждали, что он вернется сияющий, вне себя от радости, и дождались — бледного, вне себя от гнева! Помещица даже не примерила туфелек, только взглянула на них и объявила, что отец

испортил шелковую материю и что не примет его на место. «Ну, если пропала ваша материя, то пусть пропадет и моя кожа!» — сказал отец, вынул ножик и тут же отрезал подошвы! Так ничего и не вышло из наших надежд поселиться в деревне. Все мы горько плакали, а между тем — казалось мне — что бы стоило Богу исполнить нашу мечту? Однако, исполни Он ее, я сделался бы крестьянином и вся моя жизнь сложилась бы иначе. Часто впоследствии задавал я себе вопрос: неужели Бог именно ради меня не дал сбыться заветному желанию моих родителей?

Лесные прогулки отца стали еще чаще — он, видимо, не находил себе места. Военные события в Германии живо интересовали его, он жадно следил за ними по газетам. В Наполеоне он видел своего героя; его головокружительный взлет казался отцу прекраснейшим примером для подражания. Дания к тому времени заключила союз с Францией; всюду только и речи было, что о войне, и мой отец решил стать солдатом, в надежде вернуться домой уже лейтенантом. Мать плакала, соседи лишь пожимали плечами и говорили, что это истинное безумие — идти на смерть, когда в этом нет никакой нужды. Солдат в то время считался парией; только впоследствии, во время войны с повстанцами в герцогствах, точка зрения изменилась. Люди стали отдавать военным должное, понимая, что солдат — правая рука страны, держащая меч.

В то утро, когда часть моего отца выступала из города, я увидел его веселым и разговорчивым, как никогда. Он даже громко пел, но был сильно взволнован — я понял это, потому что он порывисто поцеловал меня на прощание. Я болел тогда корью и лежал одинешенек, когда загрохотали барабаны и матушка вся в слезах побежала провожать отца за городские ворота. Как только войска совсем ушли, ко мне пришла бабушка и, глядя на меня своими кроткими глазами, сказала, что самым правильным было бы, если бы я умер теперь, но что, конечно, Бог все направляет к лучшему. Да, это, помнится, был первый скорбный день в моей жизни.

Полк моего отца между тем успел дойти лишь до Гольштейна; был заключен мир, незадачливый доброволец вновь вернулся в свою мастерскую, и все как будто опять пошло по-старому.

Я продолжал разыгрывать целые комедии со своими куклами, причем всегда на немецком языке — я ведь только немецкие коме-

дии и видел. Конечно, мой немецкий язык был какой-то тарабарщиной моего собственного изобретения, в которой, в сущности, единственным немецким словом было «Besen» (метла), одно из немногих иноязычных слов, вынесенных отцом из похода в Гольштейн. «Ну вот и тебе пригодился мой поход! — в шутку замечал он. — Кто знает, доведется ли тебе побывать когда-нибудь так же далеко? А следовало бы! Помни это, Ханс Кристиан!» На что матушка отвечала, что, пока на то будет ее воля, она меня никуда от себя непустит, а то, пожалуй, и я сгублю свое здоровье, как отец.

Действительно, здоровье отца было совсем расшатано непривычной солдатской походной жизнью. Однажды утром у него начался бред: он говорил о походе, о Наполеоне, выслушивал его приказания, командовал сам. Мать сейчас же отправила меня за помощью, только не к доктору, а к одной знахарке, жившей в полумиле от Оденсе. Когда я пришел к ней, она задала мне несколько вопросов, потом взяла шерстинку, смерила ею мои руки, сотворила надо мною какие-то знаки и наконец положила мне на грудь зеленую веточку, взятую, по ее словам, от такого же дерева, как то, из которого был сделан крест Христа. На прощание она сказала мне: «Ступай вдоль реки! Если твоему отцу суждено умереть в этот раз, ты встретишь его привидение».

Можно представить себе, какой страх я испытывал, будучи крайне суеверным ребенком да к тому же и отчаянным фантазером. «И тебе никто не встретился?» — спросила мать, когда я вернулся и рассказал обо всем. «Нет!» — ответил я, а сердце мое так и стучало. На третий день вечером отец умер. Тело его оставили в постели, а мы с матерью улеглись на кухне. Всю ночь без умолку стрекотал сверчок. «Он умер! — сказала тогда матушка. — Нечего тебе звать его; Ледяная дева взяла его к себе!» И я понял, что мать имела в виду. Прошлою зимою, когда все окна замерзли, отец показал нам в ледяных узорах на стекле что-то похожее на женщину, простиравшую вперед обе руки. «Она пришла, чтобы забрать меня!» — сказал он тогда в шутку. Теперь мать вспомнила об этом случае, а мне эти его слова еще долгое время не давали покоя.

Схоронили отца на кладбище Св. Кнуда слева от церкви. Бабушка посадила на его могиле розы. Впоследствии на этом же месте хоронили и других покойников; теперь все могилы заросли травой.

После смерти отца я оказался почти совершенно предоставленным самому себе. Мать ходила стирать людям, а я сидел в это время дома один, играя со своим кукольным театром, который сделал мне отец, шил куклам платья и читал разные комедии. В то время, как мне рассказывали, я был долговязым мальчиком с длинными светлыми волосами, ходил по большей части с непокрытой головой и в деревянных башмаках.

По соседству с нами жила вдова священника Бункефлота с сестрою своего покойного мужа. Они полюбили меня, часто звали к себе, и я стал проводить у них большую часть дня. Это была первая образованная семья, в которой мне довелось бывать. Покойный священник был поэтом, и его стихи в народном стиле пользовались тогда немалой известностью. Впоследствии в «Виньетках к портретам датских поэтов» я воспеваю его, столь незаслуженно забытого моими ровесниками:

Рвется нить, сломалась прялка, пряхи не поют,  
Но и песни молодежи скоро отойдут...\*

В этом доме я впервые услышал слово «поэт», произносимое с благоговением, как нечто священное. Я был уже знаком по чтению отца с комедиями Хольберга, но тут разговор шел не о них, а о стихах, о поэзии. Когда старуха, сестра Бункефлота, говорила: «Брат мой — поэт!», глаза ее так и сияли. От нее же узнал я, что быть поэтом — великое счастье и величайшая честь. В этом же доме я впервые познакомился и с Шекспиром — разумеется, в переводе, и очень плохом. Тем не менее яркие картины, кровавые события, ведьмы и привидения — все это было как раз в моем вкусе. Я сразу же принялся разыгрывать шекспировские трагедии в своем маленьком кукольном театре; живо представлял я себе и дух отца Гамлета, и безумного Лира в степи. Чем большее число действующих лиц умирало в данной пьесе, тем она казалась мне интереснее. Вскоре я сам сочинил пьесу; конечно, я начал прямо с трагедии, и, конечно, все в ней погибали. Содержание я заимствовал из старинной песни о Пираме и Фисбе, но прибавил от себя еще два персонажа, отшельника с сыном, которые оба были влюблены в Фисбу и оба убивали себя после

---

\* Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, перевод стихов В. Тихомирова.

ее смерти. Чуть ли не вся роль отшельника была составлена из библейских изречений, касавшихся главным образом долга и обязанностей человека по отношению к своим ближним и выписанных из учебника Закона Божьего Балле; называлась пьеса: «Карась и Эльвира». «Уж лучше бы «Карась и треска», — сострила одна соседка, когда я прочел ей свою пьесу с огромным пафосом и самодовольством, как читал все свои сочинения всем прочим. Слова ее совершенно меня обескуражили, я чувствовал, что она смеется надо мной и над моей пьесой, которую так восхваляли все другие. С этим горем я пришел к матери. «Она говорит так потому, что это не ее сын написал такую пьесу», — утешила меня мать. Я тут же успокоился и принялся за новую вещичку. В ней я хотел вывести короля с принцессой, а потому и писать намеревался высоким слогом. Хотя я и видел, что у Шекспира короли и принцессы говорили точно так же, как и прочие смертные, но мне это казалось неверным. Я стал расспрашивать мать и соседей о том, как же на самом деле говорит король, но никто из них не мог толком ответить мне. Еще бы! Король последний раз был в Оденсе уже много лет тому назад! Насколько им, однако, помнилось, он говорил по-иностранному. Тогда я достал какой-то словарь, где были даны датские переводы отдельных немецких, французских и английских слов и выражений, и все у меня пошло как по маслу. Реплики короля и принцессы были составлены из слов разных языков; например: «Guten morgen, monpere! Хорошо ли вы sleeping?» Вышло настоящее вавилонское смешение языков, по-моему же — единственное наречие, на котором могли объясняться столь важные персоны. Я читал свою пьесу всем и каждому и был искренне убежден, что всем она доставляет такое же величайшее наслаждение, как и мне самому.

Сын соседки работал на суконной фабрике и уже еженедельно получал кое-какую сумму денег. Я же, как говорили соседи, болтался без всякого дела, вот мать и решила тоже отправить меня на фабрику. «Не ради заработка, — говорила она, — но я по крайней мере хоть буду знать, где он и чем занят». Бабушка скрепя сердце повела меня туда. «Не думала я дожить до того дня, когда увижу и тебя среди всех этих гадких мальчишек!» — в отчаянии воскликнула она. На фабрике работали много немецких подмастерьев; они постоянно громко пели и весело болтали. Плоские шутки вызывали у них бурный восторг. Я слушал, но не понимал, и вижу теперь, что

невинный ребенок вполне может слышать подобные вещи без всякого для себя вреда — они не доходят до его сердца.

В то время у меня было прекрасное высокое сопрано, которое сохранилось потом до пятнадцати лет. Я знал, что людям нравилось, как я пою, и когда как-то раз на фабрике меня спросили, не знаю ли я каких-нибудь песен, я сейчас же начал петь и привел всех в восторг. Я пел, а работу мою тем временем делали за меня другие мальчишки. Окончив петь, я сказал, что умею также представлять комедии. Я знал наизусть целые сцены из комедий Хольберга и трагедий Шекспира и бойко декламировал их. Подмастерья и работницы дружески кивали мне, подбадривая, смеялись и хлопали в ладоши. Так прошли первые дни моего пребывания на фабрике, и такое времяпрепровождение казалось мне весьма приятным. Но вот однажды, когда я, по обыкновению, тешил компанию пением и все дивились чистоте и высоте моего голоса, один из подмастеров заявил: «Да наверняка это вовсе не мальчик, а девчонка». С этими словами он сгреб меня в охапку. Я громко закричал и заплакал; другим подмастерьям эта грубая шутка понравилась, они присоединились к товарищу, схватили меня за руки и за ноги, я орал благим матом и наконец вырвался из их рук и опрометью бросился домой к матери. Я был стыдлив, как девочка. Узнав, в чем дело, мать сейчас же дала мне слово не посылать меня больше на фабрику.

Я опять стал бывать дома у вдовы Бункефлод, слушал ее чтение, сам читал вслух и, кроме того, учился у нее — шить; мне это было крайне необходимо для моего кукольного театра. Я сшил также в качестве подарка ко дню рождения вдовы белую шелковую подушку для иголок. Много лет спустя, побывав в этом доме, я видел ее в целости и сохранности. Познакомился я также с вдовой другого священника, жившей по соседству. Она брала из библиотеки романы, которые я читал ей вслух. Помню, один из них начинался приблизительно так: «Стояла бурная ночь; дождь так и хлестал в окна». «Вот прекрасная книга!» — сказала вдова. В простоте душевной я спросил: «Откуда вы знаете?» — «По тому, как она начинается, — сказала дама, — сразу видно, книга — великолепная!» Я же с почтением посмотрел на нее — какая умная!

Однажды ночью мать отправилась со мною в поместье близ ее родного города Богенсе. Она служила когда-то у родителей поме-

щицы, и та давно уже звала ее к себе в гости. Уже несколько лет я предвкушал это посещение, и вот наконец оно должно было состояться. Мы потратили на дорогу целых два дня — ведь пришлось идти пешком. Поместье было прекрасное, приняли и накормили нас отлично, да и сама деревня произвела на меня такое впечатление, что я спал и видел, как бы остаться там навсегда. Были мы там как раз во время сбора хмеля. Я сидел рядом с матерью в овине среди целой толпы крестьян и крестьянок. Все мы были заняты чисткой хмеля. Работа шла под рассказы и разговоры о всевозможных удивительных явлениях и событиях. Черт с копытами, привидения, разного рода знамения — обо всем этом они говорили как о вполне обычных вещах. Один старый крестьянин упомянул между прочим, что Бог знает обо всем, что совершается и должно произойти. Слова эти произвели на меня глубокое впечатление, и я никак не мог отделаться от них. Под вечер мне случилось несколько отойти от дома. Я оказался у глубокого пруда и, взобравшись на один из больших камней, лежавших в воде, подумал: «Неужели Бог действительно может знать все, что должно произойти?! Вот, положим, Он назначил мне дожить до глубокой старости, а я вот сейчас возьму да и брошусь в воду и утоплюсь! И выйдет вовсе не так, как Он хочет!» Под влиянием сиюминутного порыва я твердо решил утопиться и подошел было к самому глубокому месту, как меня осенила новая мысль: «Это дьявол хочет взять власть над тобою!» Я громко вскрикнул и бросился оттуда со всех ног, отыскал мать и с плачем кинулся к ней на шею. Ни она, ни кто-либо другой не могли допытаться, что со мной. «Верно, ему встретилось привидение!» — сказала одна из женщин. Я сам был готов поверить в это.

Вскоре мать моя вышла замуж вторично за молодого сапожника. Семья его, хоть и принадлежала также к ремесленному сословию, была этим очень недовольна, находя, что он мог сделать гораздо лучшую партию, и не желала принимать нас с матерью у себя. Отчим мой был молодой человек с живыми карими глазами, обладавший очень кротким и уживчивым нравом. Он не хотел вмешиваться в дело моего воспитания и вполне предоставил меня самому себе. А я весь отдавался своим панорамам и кукольному театру. Самой большой радостью для меня было, когда удавалось набрать кучу пестрых лоскутков, из которых я мог кроить и шить костюмы для сво-

их кукол. Мать одобряла мои занятия — они являлись неплохой практикой для будущего портного, каковым я, по ее мнению, родился. Я же твердил, что хочу «заниматься комедиями», но против этого мать была настроена самым решительным образом. Само слово «комедия» ассоциировалось у нее с канатными плясунами и странствующими актерами, что, по ее мнению, было одно и то же. «Вот уж доведется тебе отведать колотушек! — говорила она. — Как заставят тебя голодать, чтобы был полегче, да как станут пичкать деревянным маслом, чтобы был гибче! Нет уж, ты станешь портным! Посмотри только, как живется Стегманну!» Это был первый портной в нашем городе. «И дом у него стоит на главной улице, и окна в нем зеркальные, а уж подмастерьев-то — полным-полно. Вот бы и тебе попасть к нему в учение!»

Единственное, что примиряло меня с будущей профессией, — это возможность постоянно пополнять свои запасы пестрых тряпок и лоскутков для костюмов моих кукол-актеров.

Родители мои переехали на новую квартиру возле заставы Мункемёлле\*. Тут у нас был садик, маленький, узенький. Он и состоял-то, в сущности, из одной длинной грядки, усаженной кустами красной смородины и крыжовника, да дорожки, занимавшей почти столько же места, сколько и сама грядка; зато дорожка эта спускалась прямо к реке Оденсе возле самой монастырской мельницы. Три огромных колеса вертелись в пенящейся воде и вдруг разом останавливались, когда шлюзы закрывали. Вся вода после этого стекала вниз, речка мелела, и обнажалось дно, где в небольших оставшихся лужицах бились рыбки, — я ловил их прямо руками. Из-под большого колеса выбегали попить воды жирные водяные крысы. Вслед за тем шлюзы опять открывали, вода с пеной и шумом низвергалась вниз, крысы исчезали, русло реки снова заполнялось, и я со всех ног бросался бежать к берегу, точно собиратель янтаря на берегу Балтийского моря, застигнутый приливом.

Вдоль реки лежали большие камни, и на одном из них, на котором мать моя обыкновенно полоскала белье, я любил стоять и распевать во все горло разные песенки, а часто и попросту все, что мне

---

\* *Munkemølle* (дат.) — Монастырская мельница.



приходило в голову, без всякой мелодии или смысла. Соседний сад принадлежал советнику Фальбе; жену его Эленшлегер упоминает в своей биографии. До замужества она была актрисой, очень недурна собой и блестяще играла Иду Мюнстер в драме «Герман фон Унна». Девичья фамилия ее была Бек. Я знал, что когда у них в саду бывали гости, им было слышно мое пение. Мне говорили, что у меня чудесный голос и что он, наверное, принесет мне счастье. Я час-тенько мечтал о том, как именно это случится; фантазии были тогда для меня реальнее действительности, и не мудрено, что я ожидал самых невероятных вещей. От одной старухи, полоскавшей белье неподалеку, я узнал, что Китайская империя находится как раз под рекой Оденсе. Меня несколько не удивило бы, если бы в один прекрасный лунный вечер какой-нибудь китайский принц вышел из-под земли, прорыв к нам ход, услышал бы мое пение и увез бы меня с собой в свое королевство. Там бы он сделал меня богатым и важным господином, а потом позволил опять вернуться в Оденсе, где я выстроил бы себе дворец. Я до такой степени увлекся этой фантазией, что целыми вечерами сидел и чертил планы замка. Я был еще совсем ребенком, да и не скоро вышел из ребячества. Когда впоследствии в Копенгагене я выступал где-нибудь, читая стихи, я все так же ожидал, что среди слушателей находится какой-нибудь принц, что он услышит, поймет меня и поможет мне выбиться в люди. И помощь действительно пришла — правда, иным путем.

Моя любовь к чтению, хорошая память (я знал наизусть множество отрывков из драматических произведений), звучный, высокий голос — все это вызывало некий интерес ко мне со стороны многих знатных семейств Оденсе. Они зазывали меня к себе — моя странная персона привлекала внимание. Особенно искреннее участие проявляли ко мне полковник Хёг Гульдберг и его семья. Он даже как-то раз упомянул обо мне в беседе с принцем Кристианом (впоследствии королем Кристианом VIII), который жил тогда в своем замке в Оденсе, и вот однажды он взял меня туда с собою.

«Если принц спросит вас, чего бы вам больше всего хотелось, — сказал он мне, — отвечайте, что ваше заветное желание поступить в латинскую школу». Я так и ответил, когда принц действительно задал мне этот вопрос, но он на это сказал, что способность петь и декламировать чужие стихотворения еще не признак гения, что

надо помнить о том, как труден и долог путь учения, и что он не прочь помочь мне, если я желаю изучить какую-нибудь приличную профессию, к примеру, стать токарем. Мне этого вовсе не хотелось, и я ушел из дворца невеселым, хотя принц говорил со мной, в сущности, вполне разумно и искренне. Впоследствии же, когда способности мои развились, он, как будет видно, до самой смерти своей был ко мне добр и ласков, и я всегда вспоминаю о нем с чувством глубокой признательности.

Я так и оставался дома, но в конце концов подрос настолько и сделался, по словам матери, таким переростком, что она сочла невозможным позволять мне дольше болтаться без дела и отдала меня в школу для бедных. Там преподавали только Закон Божий, письмо и арифметику, да и то довольно плохо. Я едва мог написать хоть одно слово без ошибок. Дома уроков я никогда не готовил — учил их кое-как по дороге в школу. Мать очень гордилась моими способностями и не упускала случая пройтись в этом отношении по адресу сына соседки. «Тот зубрит с утра до вечера, а мой Ханс Кристиан и не заглядывает в книжку, а все-таки знает свой урок».

Ежегодно в день рождения учителя я приносил ему в подарок венок и стихотворение собственного сочинения. Обычно, читая стихи, он одобрительно улыбался, но случалось мне получать за них и выговоры. Фамилия учителя была Вельхавен, родом он был из Норвегии и, насколько я мог судить, человек хороший, но горячего нрава и неудачник. Беседуя с нами о религии, он говорил всегда очень горячо, а рассказывая библейские притчи, умел подать события так живо, что все картины на стене класса, изображавшие сцены из Ветхого Завета, оживали для меня и проникались такой красотой, правдивостью и свежестью, какими впоследствии я восхищался в полотнах Рафаэля и Тициана. Часто уносился я мечтами бог весть куда, бессознательно глядя на увешанную картинами стену, и мне порядком доставалось от учителя за то, что я «опять где-то там». Очень любил я рассказывать другим ребятам удивительные истории, в которых главным действующим лицом являлся, конечно же, я сам. Меня часто поднимали за это на смех. Уличные мальчишки не раз слышали от своих родителей о моих странностях и о том, что я бываю в «знатных домах», и вот однажды они погнались за мною по улице целой толпой с криками: «Эй, ты, сочинитель ко-

медий!» Добравшись до дома, я забился в угол, плакал и молился Богу.

Мне шел уже четырнадцатый год, и матушка решила конфирмовать меня, чтобы потом отдать в учение к портному — заняться чем-то практичным. Она любила меня всем сердцем, но не понимала, к чему я стремлюсь, да я и сам этого тогда не понимал. Большинство окружающих осуждали мое поведение, мать слышала обо мне одни неодобрительные отзывы, и это печалило и мучило ее.

Мы жили в приходе церкви Св. Кнуда, и желавшие совершить конфирмацию должны были готовиться к ней или у самого пробста, или у капеллана. К первому ходили учиться дети из так называемых знатных семейств и городские гимназисты, к последнему — дети бедняков. Я, однако, явился к пробсту, и ему волей-неволей пришлось записать меня к себе. Он, пожалуй, видел в моем желании готовиться у него одно лишь тщеславие: его конфирманты занимали в церкви место у алтаря, а конфирманты капеллана сидели на обычных местах. Однако дело обстояло иначе — побудило меня к этому нечто другое. Я жутко боялся мальчишек из бедных семейств, которые глумились надо мною, и, напротив, всегда испытывал невольное влечение к гимназистам; в моих глазах они были куда лучше всех остальных детей. Часто в то время, когда они резвились на церковном дворе, я стоял за деревянной оградой и глядел на них, всем сердцем желая быть на месте одного из этих счастливцев — не из-за их игр, а из-за множества книг, что было у них, и из-за того будущего, какое, я думал, им уготовано. Записавшись у пробста, я получил возможность попасть в их компанию, но я не могу вспомнить ни одного из них — так, видно, мало обращали они на меня внимания. Я постоянно чувствовал, что попал туда, где мне не место, да и сам пробст не раз давал мне это понять. Однажды после того, как я в доме одних его знакомых декламировал сцены из какой-то комедии, он позвал меня к себе и сказал, что непристойно заниматься такими вещами в то время, как я готовлюсь к конфирмации, прибавив, что если услышит обо мне еще что-либо подобное, то сейчас же запретит мне ходить к нему. Я оробел и стал дичиться еще больше, как залетевшая в чужую комнату птичка. Между готовившимися к конфирмации была и одна девушка по фамилии Тендер-Лунд. Вот она-то как раз относилась ко мне хорошо, даром что считалась важнее всех.

Я еще расскажу о ней позже. Она всегда ласково смотрела на меня, любезно здоровалась, а раз даже подарила розу. Я возвращался домой в полном восторге: нашлась-таки хоть одна душа, не смотревшая на меня свысока, не отталкивавшая меня от себя!

К конфирмации старушка портниха сшила для меня костюм из пальто покойного отца. Мне казалось, что я никогда еще не был одет с таким шиком. Кроме того, мне в первый раз в жизни подарили сапоги. Я был от них в несказанном восторге и, опасаясь, что они не всем будут видны, заправил брюки в голенища и в таком виде явился в церковь. Сапоги скрипели, и я от души радовался этому — слышно по крайней мере, что новые. Однако внезапно я понял, что это нарушает мое благочестивое настроение, и испытал страшные угрызения совести — шутка ли, мысли мои столько же были заняты сапогами, сколько Господом Богом! Я искренне молился Богу, прося прощения, и — опять думал о своих новых сапогах.

В последние годы я копил мелочь, которую дарили мне по разным поводам; после конфирмации я раз сосчитал ее, и оказалось, что я являюсь обладателем суммы в тринадцать ригсдалеров. Такое богатство ошеломило меня, и когда мать начала серьезно настаивать на том, чтобы я поступил в ученики к портному, я принялся умолять ее позволить мне лучше попытать счастья, отправившись в Копенгаген, который в моих глазах тогда был столицей мира.

«Что ты там собираешься делать?» — спросила мать. «Я прославлю себя!» — ответил я и рассказал ей о том, что читал о замечательных людях, родившихся в бедности. «Сначала, конечно, придется немало претерпеть, а потом придет и слава!» — горячо убеждал я. Меня охватило такое необъяснимое возбуждение, я так плакал, так просил, что мать наконец уступила моим мольбам. Прежде чем решиться, она, однако, послала за гадалкой и заставила ее погадать мне на картах и на кофейной гуще.

«Сын твой будет великим человеком! — сказала старуха. — Настанет день, и Оденсе зажжет в его честь иллюминацию». Услышав это, мать заплакала и больше не противилась моему отъезду. Соседи наши и вообще все, кто узнавал об этом, старались отговорить мать, убеждая ее, что это настоящее безумие — отпускать четырнадцатилетнего подростка, в сущности, совсем ребенка, одного в Копенгаген, за столько миль от родины, в такой огромный город,

где он не знает ни души. «Да ведь он же покоя мне не дает! — отвечала она. — Придется, видно, и впрямь отпустить его, но не беда, я уверена — дальше Ньюборга он не поедет: увидит там бурное море, испугается да и вернется обратно, а тогда уж я отдам его в учение к портному!» — «Эх, удалось бы нам пристроить его где-нибудь здесь писцом в конторе! — говорила бабушка. — Занятие солидное, да и самому Хансу Кристиану по душе!» — «Стал бы он таким портным, как Стегманн, так я ничего лучшего бы и не желала! — отвечала мать. — А пока пусть себе прокатится в Ньюборг!»

Летом, еще до моей конфирмации, в Оденсе приезжала часть оперной и драматической труппы копенгагенского Королевского театра и поставила здесь несколько опер и трагедий. Весь город только об этом и говорил. Благодаря дружбе с разносчиком афиш я не только видел все представления из-за кулис, но даже и сам принимал участие в некоторых — в качестве то пажа, то пастуха, более того, даже произнес несколько реплик в «Сандрильоне». Я проявлял такое рвение, что артисты, участвовавшие в представлении, приходя в театр, находили меня переодетым в сценический костюм. Это привлекало ко мне внимание; моя детская наивность и восторженность забавляли актеров, и некоторые из них — в особенности Хок и Энхольм — даже ласково заговаривали со мною. Я же смотрел на них как на земных богов. Все, что мне говорили по поводу моего голоса и умения декламировать, окончательно убедило меня в том, что я рожден для сцены, что именно на сцене ждет меня слава, и Королевский театр в Копенгагене сделался заветною целью моих стремлений. Пребывание в Оденсе актеров Королевского театра было для многих, и особенно для меня, настоящим событием. Все восхищались их игрою, и разговоры, как правило, кончались фантастической историей о том, как «а вот когда я был в Копенгагене и смотрел там комедию в театре...». И хоть в действительности таких было немного, но они рассказывали о чем-то таком, что, по их словам, было еще лучше опер и комедий, — о «балете». Особенно восторгались все балериной мадам Шалль, звездой первой величины; в моих глазах она была некой сказочной королевой, и я нафантазировал себе, что именно она-то, если удастся снискать ее расположение, и поможет мне достичь славы и счастья.

Захваченный этой мыслью, я пришел к старому Иверсену, одному из наиболее уважаемых граждан Оденсе. Я знал, что артисты,



Вид г. Оденсе, где родился Х.К.Андерсен.  
*Цветная литография С.Л.Ланге*

Театр в г. Оденсе.  
*Литография*

бывая в городе, часто посещали его; он был знаком со всеми и уж, вероятно, знал и знаменитую балерину. Я решил попросить у него рекомендательное письмо к ней, а там Бог довершит остальное.

Старик, видевший меня в первый раз в жизни, любезно выслушал мою просьбу. Однако затем стал отговаривать меня от поездки, советуя мне лучше поступить в учение к какому-нибудь ремесленнику. «Это было бы великим грехом!» — серьезно ответил я, и тон мой до того поразил его, что он сразу же почувствовал ко мне расположение, как мне потом рассказывали члены его семьи. Он хоть лично и не знал балерины, но все-таки согласился дать мне письмо к ней. Получив его, я преисполнился уверенности, что теперь-то уж врата счастья для меня открыты.

Мать связала все мои пожитки в маленький узелок, договорилась с почтальоном, и тот обещал провезти меня в Копенгаген без билета, всего за три ригсдалера. Наконец наступил день отъезда. Мать печально проводила меня за городские ворота; тут нас уже дожидалась бабушка. Роскошные волосы ее в последнее время сильно поседели; она молча обняла меня и заплакала, да я и сам готов был зарыдать... Затем мы расстались, и я так больше никогда ее и не видел. Через год она умерла; я даже не знаю, где ее могила: ее похоронили на кладбище для бедных.

Почтальон затрубил в свой рожок; стоял прекрасный солнечный вечер. Вскоре и в моей детской легкомысленной душе засиял солнечный свет — вокруг меня было столько нового, да и к тому же я ведь направлялся к цели всех моих стремлений. Тем не менее, когда в Ньюборге мы пересели на корабль и стали удаляться от родного острова, я живо почувствовал все свое одиночество и беспомощность; рядом со мной не оставалось никого, на кого бы я мог положиться, никого, кроме Господа Бога. Как только мы спустились на берег Зеландии, я зашел за какой-то сарай, стоявший на берегу, бросился на колени и обратился к Богу с горячей мольбой помочь мне и направить меня на путь истинный. Молитва успокоила меня — моя вера в Бога и в свою счастливую звезду вновь окрепла. Затем поездка продолжилась. Мы ехали весь день и всю следующую ночь через разные города и деревни. Во время остановок я один-одинешенек стоял около дилижанса и утолял свой голод куском хлеба. Все здесь было чужим, незнакомым; мне

казалось, что я забрался бог весть как далеко, чуть ли не на край света...

## II

Утром в понедельник 6 сентября 1819 года я увидел с Фредериксбергского холма Копенгаген. Подхватив свой узелок, я сошел с дилижанса. Пройдя по широкой садовой аллее, я миновал предместье и вступил в город. Как раз накануне здесь разразился еврейский погром, один из тех, что в то время то и дело вспыхивали в разных европейских странах. Весь город был на ногах, толпы людей сновали по улицам; но этот шум и сумятица меня нисколько не удивили: все вполне соответствовало тому оживлению, которое, как я заранее рисовал себе, царило в Копенгагене, по-прежнему являвшемся для меня столицей мира. Весь мой капитал равнялся десяти ригсдалерам, и я нашел себе пристанище в скромных номерах для приезжих около Восточной заставы, через которую я и вошел в город.

Первым делом я отыскал Королевский театр и обошел его кругом несколько раз, пристально разглядывая стены. Я смотрел на здание, как на свой родной дом, в котором мне еще только предстоит побывать. На углу меня остановил человек и спросил, не желаю ли я получить билет на сегодняшнее представление. Я был до того несведущ и неопытен, что вообразил, будто он хочет подарить мне билет, и стал горячо его благодарить. Тот, полагая, что я издеваюсь над ним, рассердился, я перепугался и опрометью кинулся прочь от того места, которое было мне милее всего. Да, не думал я тогда, что десять лет спустя здесь поставят мое первое драматическое произведение и таким образом в стенах этого здания я впервые представлю перед датской публикой.

На другой день я нарядился в свой конфирмационный костюм, причем, конечно, не забыл надеть сапоги так, чтобы были видны голенища, нацепил шляпу, которая все время съезжала мне на глаза, и отправился к балерине мадам Шаль, чтобы передать ей мое рекомендательное письмо. Прежде чем позвонить у ее дверей, я упал перед ними на колени и стал просить у Бога помощи и поддержки. Как раз в это время поднималась по лестнице какая-то служанка с корзинкой в руках; она увидела меня, ласково улыбнулась, сунула



мне в руку монету в шесть скиллингов и быстро поднялась выше. Я в недоумении смотрел то вслед ей, то на монету. Ведь я был в своем конфирмационном костюме, одет таким щеголем... как же она могла принять меня за нищего? Я окликнул ее. «Ничего, оставьте себе!» — ответила она и скрылась.

Наконец меня впустили к балерине. Та смотрела на меня с величайшим изумлением; она совсем не знала рекомендовавшего меня старика Иверсена, да и вся моя личность и манеры поразили ее своей странностью. Со свойственной мне горячностью я принялся рассказывать о своей любви к театру и на вопрос ее, какие же роли и в каких спектаклях мог бы я исполнять, ответил: «В “Сандрильоне”! Мне она очень нравится!» Пьеса была сыграна в Оденсе королевской труппой, и главная роль ее до такой степени увлекла меня, что я запомнил ее слово в слово. Я решил немедленно показать госпоже Шаль образчик подтверждения своего таланта и, помня, что сама она балерина, счел самой интересной для нее сценой ту, в которой Сандрильона танцует. Я попросил предварительно позволения снять сапоги — иначе я не был бы достаточно воздушен, взял свою широкополую шляпу и, отбивая на ней вместо тамбурина такт, принялся плясать и петь:

На что же нам богатства,  
На что весь блеск земной!

Мои странные движения, все мое поведение до такой степени поразили ее, что она, как я узнал от нее самой много лет спустя, приняла меня за сумасшедшего и постаралась поскорее выпроводить.

После визита к ней я отправился к директору театра, камергеру Хольстейну, и попросил его принять меня в свою труппу. Он посмотрел на меня и сказал, что я слишком худощав для сцены. «О! — сказал я. — Если б только меня приняли да назначили хоть сто ригсдалеров жалованья, так я живо растолстел бы!» Тогда камергер уже всерьез отклонил мою просьбу и прибавил, что в актеры принимают только людей подготовленных, образованных.

С тем я и ушел от него, глубоко опечаленный. Не у кого было искать утешения и совета... И смерть уже представлялась мне лучшим исходом, но затем мысли мои опять невольно обратились к Богу; я устремился к Нему всем сердцем, со всем доверием ребенка,

как к доброму отцу. Наплакавшись всласть, я сказал самому себе: «Когда придется совсем туго, тогда Он ниспошлет свою помощь; я сам читал об этом. Надо многое претерпеть, лишь тогда из тебя что-нибудь выйдет!» У меня отлегло от сердца, и я купил себе билет на галерку на музыкальную пьесу «Поль и Виржиния». Разлука влюбленных до того растрогала меня, что я плакал горькими слезами. Две пожилые женщины, сидевшие рядом со мной, стали утешать меня, уверяя, что все это лишь представление и что незачем принимать его так близко к сердцу; при этом одна из них даже угостила меня большим бутербродом. Мы разговорились; уютная атмосфера располагала к откровенности, и я, питая бесконечное доверие ко всем и каждому, простодушно сказал своим соседкам, что плачу, в сущности, не из-за Поля и Виржинии, а из-за того, что сцена была для меня Виржинией, с которой мне пришлось расстаться, и эта-то разлука и сделала меня таким же несчастным, как Поль. Они смотрели на меня, не понимая, и я рассказал им всю свою историю, как приехал в Копенгаген и как я теперь одинок, после чего сердобольная женщина дала мне еще бутерброд, фруктов и пирожных.

На другое утро я заплатил в номерах по счету, и оказалось, что у меня остался всего один ригсдалер. Надо было выбирать одно из двух: или попытаться вернуться в Оденсе с каким-нибудь судном, или поступить в учение к одному из копенгагенских ремесленников. Я счел последнее наиболее разумным: если я теперь вернусь в Оденсе, меня все равно отдадут в ученики, и, кроме того, я стану всеобщим посмешищем. Итак, решено — я становлюсь учеником. Выбор ремесла меня не затруднял, мне было совершенно безразлично, чему учиться, ведь брался за ремесло я только ради того, чтобы иметь возможность оставаться в Копенгагене, не умирая с голоду.

Одна старуха, жительница Копенгагена, которая ехала сюда вместе со мной в почтовом дилижансе из Оденсе, как и я, без билета, накормила и приютила меня у себя; мало того, она купила для меня газету с объявлениями. Мы нашли в ней объявление одного столяра, проживавшего на Боргергаде, который хотел взять мальчика в ученики. Я отправился к нему, столяр встретил меня приветливо, но прежде чем решиться взять меня к себе совсем, ему нужно было получить из Оденсе отзывы о моем поведении и мое метрическое свидетельство. В ожидании этих бумаг он предложил мне за неиме-

нием другого пристанища переехать к нему и сейчас же приняться за дело, чтобы посмотреть, насколько мне по душе его профессия.

Следующим утром в шесть часов я уже явился в мастерскую. Там я застал нескольких подмастерьев и учеников; хозяин еще не пришел, и разговоры они вели превеселые и довольно скабрзные. Заметив мою чисто девичью стыдливость, они принялись меня поддразнивать, и чем дальше, тем хуже. В конце концов их шутки зашли, как мне показалось, настолько далеко, что я, вспомнив случай на фабрике, сильно перепугался, расплакался и решил отказаться от учения. Я спустился вниз к хозяину и сказал ему, что не в силах слушать такие разговоры и шуточки, что ремесло его мне не по сердцу и что я пришел поблагодарить его и попроситься с ним. Он с удивлением выслушал меня, попытался утешить и ободрить, но все было напрасно. Я был так расстроен и взволнован, что поспешно ушел.

Бесцельно бродил я по улицам. Никто меня не знал, я чувствовал себя одиноким, покинутым. Вдруг я вспомнил, что когда-то в Оденсе читал в газетах об итальянце Сибони, который был директором Королевской консерватории в Копенгагене. Голос мой все хвалили; быть может, это как раз тот человек, который в состоянии мне помочь? Если нет, то надо сегодня же искать шкипера, который возьмет меня с собой обратно на Фюн. Мысль о возвращении еще более расстроила меня, и вот в таком угнетенном настроении я отправился разыскивать Сибони. У него как раз был званый обед, на котором присутствовали наш знаменитый композитор Вайсе, поэт Баггесен и прочие. Отворившей мне двери экономке я не только рассказал, зачем пришел, но и поведал всю свою историю. Она слушала меня с большим участием и, верно, тотчас же пересказала кое-что из услышанного своим господам; по крайней мере мне долго пришлось ждать ее возвращения, и когда она наконец вернулась, за нею вышли и хозяева со всеми гостями. Сибони повел меня в зал, где стояло фортепьяно, и заставил спеть. Затем я продекламировал несколько сцен из комедии Хольберга и два-три чувствительных стихотворения, при этом мысли о моем собственном незавидном положении настолько охватили меня, что я заплакал неподдельными слезами, а все общество тем временем начало мне аплодировать.

«Я предвижу, — сказал Баггесен, — что со временем из него выйдет толк! Только не возгордись, когда вся публика начнет руко-

плескать тебе!» Затем он заговорил о том, что вообще-то человеку с годами и по мере общения с людьми свойственно терять изначальную непосредственность и естественность. Я не понял всего, но, вероятно, вся эта речь была вызвана тем, что я тогда являлся самой непосредственностью — своеобразное дитя природы, некое «явление». Я безусловно верил словам каждого человека, верил и тому, что все желают мне только добра, и не мог скрыть ни единой мысли, тотчас же высказывал все, что приходило мне на ум. Сибони пообещал заняться со мной постановкой голоса и обнадежил меня, сказав, что я со временем буду выступать в качестве певца на сцене Королевского театра. От неожиданно свалившегося на меня счастья я то плакал, то смеялся, а экономка, которая провожала меня и видела мое волнение, ласково потрепала меня по щеке и посоветовала на другой же день пойти к профессору Вайсе. По ее словам, он был чрезвычайно расположен ко мне, и я мог на него положиться.

Я не замедлил явиться к Вайсе, который сам когда-то был бедным мальчиком и с трудом выбился в люди. Оказалось, что, поняв мое бедственное положение, он воспользовался удобным случаем и настроением собравшихся у Сибони лиц и собрал для меня 70 ригсдалеров — целое богатство! — из которых и обещал в ожидании лучших для меня времен ежемесячно выдавать по десять ригсдалеров. Я тотчас же написал первое восторженное письмо домой! Все блага мира так и сыпались на меня, писал я матери. Мать, не помня себя от радости, показывала мое письмо всем и каждому. Кто слушал и удивлялся, кто посмеивался — что-то еще, дескать, из всего этого выйдет!

Сибони не говорил по-датски, и чтобы как-нибудь объясняться с ним, мне необходимо было хоть немножко подучить немецкий. Спутница моя по путешествию из Оденсе в Копенгаген решила помочь мне и попросила одного знакомого преподавателя немецкого языка, Бруна, дать мне бесплатно несколько уроков. У него-то я и выучился кое-как объясняться по-немецки. Сибони, со своей стороны, предложил мне столоваться у него и время от времени занимался со мной. Он держал повара-итальянца и двух бойких служанок; одна из них работала когда-то у Касорти и говорила по-итальянски. В их компании я и проводил большую часть дня, слушая их рассказы и с удовольствием исполняя за них разные мелкие поручения. Однако когда раз во время обеда они послали меня отнести в столовую оче-

редное блюдо, Сибони встал из-за стола, вышел на кухню и объявил им, что я не «cameriere»\*. С этого времени меня стали чаще пускать в комнаты. Племянница Сибони Мариетта, талантливая девочка, занималась рисованием и задумала написать портрет Сибони в роли Ахилла из оперы Пэра. Моделью ей служил я, облаченный в широкую тунику и тогу, которые подходили Сибони, отличавшемуся могучим и плотным телосложением, но никак не такому длинному художавому парню, каким был тогда я. Несоответствие это так забавляло веселую итальянку, что она, рисуя, смеялась до упаду.

Оперные певцы и певицы ежедневно приходили к Сибони репетировать свои партии; иногда и мне разрешалось присутствовать при этом. Маэстро был очень вспыльчив, и чуть что, горячая итальянская кровь закипала в нем, и он начинал браниться, презабавно мешая немецкие слова с ломаными датскими. Меня это вовсе не касалось, и тем не менее я весь дрожал от страха. Чем дальше, тем больше я боялся Сибони, от которого, как мне казалось, зависело все мое будущее, и когда мне приходилось петь гаммы, стоило ему взглянуть на меня серьезно, чтобы голос мой начал дрожать, а на глазах выступали слезы. «Hikke banke Du!»\*\* — говорил он в таких случаях и, окончив урок, обычно подзывал меня и совал в руки мелочь. «Wenig amusiren!»\*\*\* — прибавлял он, добродушно улыбаясь.

Насколько я теперь могу судить, Сибони был великолепным преподавателем и создал весьма сильную школу оперных певцов, нередко выступая и сам, однако, в общем и целом, остался недооценен современной публикой. Толпа видела в нем лишь иностранца, занимавшего место, на котором с таким же успехом мог трудиться и соотечественник-датчанин, вовсе не допуская мысли о том, что ни один из датских преподавателей не обладал ни его талантом, ни мастерством. Поставленные у нас Сибони итальянские оперы, звучавшие на многих сценах Европы того времени, неизменно оказывались предметами злобных нападок только лишь потому, что они бы-

\* *Cameriere* (итал.) — слуга.

\*\* Сибони хотел сказать «Var ikke bange, Du!» (дат.) — т.е. «Эй, ты, не бойся», а у него выходило «Hikke banke, Du» — «Эй, ты, икать колотить!»

\*\*\* «Wenig amusiren!» (нем.) — «На развлечения!»

ли итальянскими и сам маэстро — итальянец. «Gazza ladra»\* была освистана, «La straniera»\*\* — тоже, а когда Сибони выбрал для своего предусмотренного контрактом бенефиса главную партию в немецкой опере Пэра «Die Rache des Achilles»\*\*\*, которую с блеском исполнял в свое время в Италии, то освистали и его самого. После смерти маэстро несправедливость была исправлена — особые его заслуги были признаны публикой, которая когда-то с равнодушием и пренебрежением относилась к сочинениям Россини и Беллини. Теперь та же самая публика, преклоняясь перед Верди и Риччи, ударилась в другую крайность, полагая, что ни одна другая музыка и исполнение, кроме итальянских, не заслуживают добрых слов. Однако самому Сибони не довелось дожить до столь резкой смены настроений. Он учил не только пению, с горячностью требуя от своих учеников полного понимания роли и овладения искусством перевоплощения. Подчас для объяснений ему не хватало немецких слов, датский же он едва знал, а большинству певцов только эти два языка и были знакомы. Нередко в запальчивости маэстро переходил на довольно комичную тарабарщину, что, разумеется, пересказывалось учениками и сейчас же становилось предметом издевательств со стороны недоброжелателей.

Все дни с раннего утра до позднего вечера я проводил в доме Сибони, ночи же в таком месте, куда завело меня мое полное незнание света. То есть сам-то дом, в котором я жил, был вполне приличным, вот только улицу, где он находился, никак нельзя было назвать добродетельной. Ежемесячно выдаваемые мне Вайсе десять ригсдалеров не позволяли мне жить в номерах для приезжих, пришлось сыскать себе комнату подешевле, и я нашел подходящую у одной женщины на Хольменсгаде, которая тогда называлась Улькегаде. Как ни странно, но я и в самом деле не подозревал о том, какие люди живут у меня под боком; я был еще так по-детски чист душою, что ни одна порочная мысль не приходила мне в голову.

Я посещал занятия Сибони уже почти девять месяцев, как вдруг у меня пропал голос: он как раз начинал ломаться, а я всю зиму

---

\* «Gazza ladra» (итал.) — «Сорока-воровка».

\*\* «La straniera» (итал.) — «Чужестранка».

\*\*\* «Die Rache des Achilles» (нем.) — «Месть Ахилла».

и весну ходил в рваной обуви, и ноги у меня были все время мокрые. Голос пропал, а с ним и надежда на мое будущее как певца. Сибони позвал меня к себе, откровенно высказал мне это и посоветовал с началом лета вернуться в Оденсе и поступить в учение к какому-нибудь мастеру. Мне, описавшему в письме к матери в таких восторженных выражениях свое счастье, вернуться на родину, чтобы сделаться посмешищем! Я ведь точно знал, что так оно и будет, я чувствовал это и был совершенно раздавлен. Но именно это кажущееся несчастье и стало очередной ступенькой на пути к лучшему.

Снова оказавшись в беспомощном положении и ломая голову, как бы найти выход из него, куда идти, к кому обратиться, я вдруг вспомнил, что в Копенгагене живет поэт Гульдберг, брат того полковника из Оденсе, который отнесся ко мне с таким участием. Скоро я разузнал, что проживает он возле того самого кладбища, которое так красиво воспевал в одном из своих стихотворений. Стесняясь лично рассказывать ему о своей нужде, я написал ему письмо, а когда мог рассчитывать, что оно дошло до него, отправился к нему сам. Я застал его, тогда еще вполне бодрого, здорового, сидящим среди книг и табачных трубок. Он принял меня весьма доброжелательно и, видя из моего письма, насколько хромает у меня правописание, обещал позаниматься со мною родным языком. Проэкзаменовав меня по-немецки (я сказал, что говорил на этом языке с Сибони), Гульдберг справедливо нашел, что я и тут нуждаюсь в помощи, и обещал заняться со мною и немецким. На мое содержание он назначил доход с одной из своих брошюр, кажется, это была речь по поводу юбилея Фредерика VI. Тотчас же его друзья собрали дополнительно еще около ста ригсдалеров. Вайсе также продолжал принимать во мне участие и устроил в мою пользу подписку; в ней участвовали даже две служанки Сибони. Они сами изъявили желание вносить каждый квартал по девять марок из своего жалованья. Правда, они остановились на первом же взносе, но я все-таки благодарен им за их добросердечие. Впоследствии, к сожалению, я потерял их из виду. В числе лиц, обещавших Гульдбергу вносить свою лепту в течение года, был также композитор Кулау. Со мной он никогда не встречался — ни тогда, ни после. Он тоже вырос в бедности, воспитывался в приюте; мне рассказывали даже, что зимою во время морозов его посылали

с разными поручениями и он раз поскользнулся и упал с бутылкою пива; осколки попали ему в глаз, и глаз вытек.

Когда хозяйка, у которой я временно остановился на упомянутой улице, узнала о деньгах, собранных для меня Гульдбергом и Вайсе, она охотно согласилась взять меня к себе жить и столоваться. Она пространно расписывала, как хорошо мне будет у нее и сколько есть в городе дурных людей, и я в конце концов преисполнился уверенности, что только у нее и смогу найти надежное пристанище. Отведенная мне комната была, в сущности, обычным чуланом без окон, свет проникал в нее только через открытую дверь из кухни, но хозяйка разрешила мне сидеть у нее в комнате сколько мне будет угодно. Мне было предложено также попробовать, как хорошо она станет кормить и поить меня, а затем через два дня дать окончательный ответ. Однако при этом она предупредила, что возьмет с меня за все — двадцать ригсдалеров в месяц — ни гроша меньше! Это была серьезная загвоздка — ведь все мои ресурсы, вместе взятые, едва составляли шестнадцать ригсдалеров в месяц, и их должно было хватить мне не только на жилье и пищу, но и на одежду и на все прочие нужды.

«Да, не меньше двадцати ригсдалеров!» — твердила хозяйка; на другой день после обеда она снова напомнила мне об этом и тут же завела речь о гадких и злых людях, к которым я легко мог бы попасть! Она собралась уходить из дома на пару часов и просила меня за время ее отсутствия окончательно обдумать все и дать ей окончательный ответ. В случае же, если я не согласен на ее условия, я могу сейчас же отправляться на все четыре стороны!

В то время я быстро привязывался к людям и в течение двух дней, проведенных здесь, успел полюбить ее, как мать; я чувствовал себя у нее совсем как дома, необходимость уходить отсюда была для меня настоящим горем, да и куда, к кому? Я с удовольствием отдал бы ей все шестнадцать ригсдалеров, но ведь этого ей было мало! И вот я в грустном раздумье стоял один посреди комнаты; хозяйка ушла; слезы так и текли у меня по щекам. Над диваном висел портрет ее покойного мужа, и я был в то время еще таким ребенком, что подошел к портрету и смочил глаза покойного своими слезами, воображая, что он сумеет почувствовать мое горе и, быть может, как-нибудь смягчит сердце своей вдовы, так что она согласится оставить меня у себя за шестнадцать ригсдалеров. Она, впрочем, верно, и так



сообразила, что больше денег выжать из меня не получится, и, вернувшись, сказала, что оставляет меня за шестнадцать ригсдалеров. Как же я был рад! Я благодарил Бога и покойного мужа хозяйки. На другой день я принес ей все деньги и был бесконечно счастлив, что у меня теперь есть свой угол; в то же время у меня не осталось ни гроша на обувь, платье и другие неотложные нужды.

Я находился в самой гуще «тайн» Копенгагена, но не умел еще читать их. У хозяйки, кроме меня, была еще одна жиличка, молодая приветливая дама. Она занимала комнату с окнами, выходящими во двор, жила уединенно и по временам плакала. К ней никто не ходил, кроме ее старого папаша. Он всегда приходил по вечерам. Как правило, отворял ему дверь я, впускал я его через кухню. Он был одет в старое, застегнутое на все пуговицы до подбородка пальто; шляпа была надвинута на самые брови. Говорили, что он приходит к дочке пить вечерний чай; тогда их никто не смел беспокоить — он был весьма нелюдим. Ко времени его прихода она всегда становилась как-то особенно печальна.

Много лет спустя, когда я был уже в иных, более счастливых обстоятельствах, когда так называемый высший свет распахнул мне двери своих салонов, я увидел однажды вечером среди освещенного зала важного пожилого господина, увешанного орденами. Это был старый нелюдим папаша, которого я впускал через черный ход, когда он являлся в своем старом пальто к дочери. Меня он не узнал, по крайней мере вряд ли ему пришло в голову, что это тот самый, когда-то бедный, мальчик, что отворял ему дверь в доме, где он выступал в качестве «гостя». Я же видел в нем тогда лишь почтенного папашу, а мысли мои были заняты только собственным театром. Да, несмотря на свои шестнадцать лет, я все еще, как и в Оденсе, продолжал разыгрывать спектакли в кукольном театре собственного изготовления. Ежедневно я шил куклам новые наряды, а чтобы добыть для этого пестрые тряпки, ходил по магазинам на Эстергаде и Кёбмагергаде и выпрашивал образчики материи и шелковых лент. Я был настолько поглощен мыслями об этих кукольных нарядах, что часто останавливался на улице и рассматривал богато одетых — в шелк и бархат — дам, представляя себе, сколько королевских мантий, шлейфов и рыцарских костюмов мог бы выкроить их этих одежд. Я так и видел все эти наряды у себя под ножницами! В таких фантазиях я мог проводить целые часы.

В карманах у меня, как я уже рассказывал, не было ни гроша, все мои деньги шли хозяйке. Когда же мне случалось исполнить для нее какое-нибудь поручение в отдаленной части города, она всегда давала мне за это серебряную монету в восемь скиллингов. «Бери-бери, что заработал — то заработал, — говорила в таких случаях она, — всегда следует поступать по справедливости». На эти деньги я покупал себе писчую бумагу или старые книжки с комедиями. В книгах вообще-то у меня недостатка не было: я брал их в университетской библиотеке. От вдовы Бункефлуд я знал, что старый смотритель библиотеки университета — Расмус Ньюеруп — сын простого крестьянина и учился в гимназии в Оденсе. И вот я в один прекрасный день пошел к нему как к земляку. Моя оригинальная особа понравилась старику, он был весьма добр ко мне и позволил приходить в университетскую библиотеку неподалеку от «Круглой церкви» и читать сколько хочу, с условием ставить книги на место. Я неукоснительно следовал этому условию и чрезвычайно бережно относился к книжкам с иллюстрациями, которые мне позволяли брать на дом. Я был так рад этому! Вскоре у меня появилась еще новая радость: Гульдберг упросил Линдгрена подготовить меня в актеры. Линдгрэн стал задавать мне учить разные роли простаков, в том числе и из комедий Хольберга, считая их моим амплуа. Мне же хотелось играть Корреджио. Линдгрэн позволил мне выучить и эту роль. Я продекламировал ему монолог Корреджио в картинной галерее. Хотя Линдгрэн еще до начала моего чтения и спросил меня с некоторою насмешкою, неужели же я воображаю, что мне действительно удастся изобразить великого маэстро Корреджио, тем не менее он слушал меня со все возрастающим вниманием. Когда же я окончил, он потрепал меня по щеке и сказал: «Да, чувство в вас есть, но актером вам не быть. Что же именно выйдет из вас — сказать трудно! Поговорите с Гульдбергом, нельзя ли вам начать учить латынь? Это все-таки должно помочь вам поступить в университет!»

Мне — попасть в университет?! Об этом я уже давно перестал мечтать. Сцена казалась мне куда ближе и милее. Но тем не менее выучить латынь, конечно, не мешало. Чего стоила только одна возможность гордо сказать: «Я учу латынь!» Прежде всего я поговорил с той доброй женщиной, которая однажды уже помогла мне брать бесплатные уроки немецкого языка, но она сказала, что уро-

ки латыни — самые дорогие и что тут нечего и рассчитывать на бесплатные занятия. Гюльдберг, однако, упросил одного из своих друзей, ныне покойного пробста Бенциена, заниматься со мной латынью раз в неделю без всякой платы.

Солист балета Далён с женою, выдающейся артисткой, которой многие поэты-современники — в том числе Рабек — посвящали свои стихи, гостеприимно открыли мне двери своего уютного дома, в то время единственного, в котором я бывал. Большинство вечеров я проводил у них, и ласковая, сердечная хозяйка относилась ко мне поистине по-матерински. Далён стал брать меня с собою в балетную школу — как-никак, а все-таки поближе к сцене! Там я проводил все утро у длинной палки, разминая ноги и учась делать батманы, но, несмотря на все усердие и старания, надежд я подавал мало. Далён объявил, что из меня вряд ли выйдет что-нибудь значительнее фигуранта. Но спасибо и на том, что я хоть мог бывать за кулисами. В то время порядки в театре были не особенно строгие, и в кулуарах всегда можно было встретить множество посторонних лиц. На технических галереях, как правило, собирались зрители — стоило лишь заплатить театральному рабочему несколько скиллингов. Нередко тут бывали и представители высшего общества. Всех ведь тянуло заглянуть в тайники театра! Я знал многих дам и барышень — аристократок, которые являлись сюда инкогнито, не брезгуя близким соседством с разными кумушками из простых, лишь бы увидеть воочию, что здесь происходит. За кулисы я, следовательно, уже пробрался, кроме того, мне позволили сидеть на самой последней скамейке в ложе фигурантов. Несмотря на мой изрядный рост, на меня еще смотрели как на ребенка. Как же я был счастлив! Мне казалось, что я уже переступил порог сцены и вхожу в состав труппы; к сожалению, я все еще ни разу не выходил под огни рампы. Но вот и эта давно желанная минута наконец настала. Однажды в театре давали оперетту «Два маленьких савояра». Ида Вульф (теперь камергерша Хольстейн) была тогда ученицей Сибони, и я часто встречался с ней у него в доме. Она всегда обходилась со мной мило и ласково, и вот как раз перед началом оперетты мы столкнулись с ней за кулисами, и она сообщила мне, что во время сцены на рынке всякий, даже театральный рабочий, может выйти на сцену, чтобы изображать народ. Следовало только предварительно подрумянить себе щеки. Я живо

нарумянился и, ликуя от счастья, вышел на сцену вместе с другими. Я увидел перед собою рампу, будку с суфлером и темный зрительный зал. Я был одет в свое обычное платье — если не ошибаюсь, все в то же конфирмационное. Оно все еще служило мне; однако, сколько я ни чистил его щеткой, сколько ни зашивал, выглядело оно уже не столь приличным. Шляпа была мне слишком велика и то и дело съезжала на глаза. Прекрасно зная все это, я прибегал к различным уловкам, что заставляло меня подчас держаться довольно неуклюже. Я боялся выпрямиться — тогда бы сейчас же обнаружилось, что жилет чересчур короток; каблуки у сапог были стоптаны, и это, конечно, также не добавляло легкости моей походке. Кроме того, одного вида моей худой долговязой фигуры было достаточно, чтобы рассмешить всякого, — я знал это по опыту. Но в данную минуту я все же так чувствовал себя вполне счастливым: я впервые выступал! Тем не менее сердце мое так и колотилось. Один из певцов, тогда довольно популярный, а теперь забытый, вдруг взял меня за руку и шутливо поздравил с дебютом. «Позвольте мне представить вас датской публике!» — сказал он и поволок меня к рампе. Он хотел выставить меня на всеобщее посмешище, я это понял, слезы выступили у меня на глазах, и, вырвавшись, я убежал со сцены.

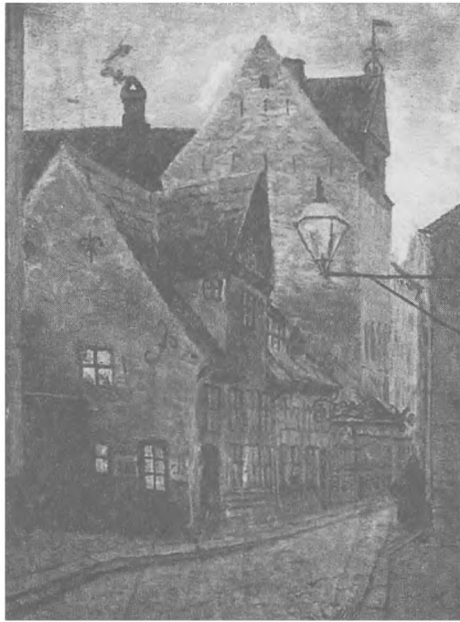
В то время Далэн ставил свой балет «Армида». В нем должен был принять участие и я в маске тролля, настолько страшной, что я сам ее боялся. Госпожа Йоханна Луиза Хейберг, тогда еще маленькая девочка, также участвовала в этом балете, и в нем я впервые увидел ее. Наши имена в первый раз появились на афише в один и тот же день. Для меня это было настоящим событием — еще бы, мое имя напечатали! Я уже видел в этом залог моего бессмертия! Дома я весь день любовался печатными буквами, а вечером, ложась спать, взял афишу с собой в постель, зажег свечу и все никак не мог насмотреться на свое напечатанное имя, то прятал афишу под подушку, то опять ее вынимал... Да, это было подлинное счастье!

Пошел уже второй год, как я жил в Копенгагене. Деньги, собранные для меня по подписке Гульдберга и Вайсе, иссякли; я стал годом старше, был уже не таким ребенком, по крайней мере внешне, и перестал приставать ко всем и каждому с разговорами о своих бедах и нуждах. Жить я переехал к одной вдове шкипера, но у нее я получал только чашку кофе по утрам. Для меня наступили тяжелые,

мрачные дни. В обеденное время я обыкновенно уходил из дома; хозяйка полагала, что я обедаю у знакомых, а я сидел в это время на какой-нибудь скамейке в Королевском саду и жевал крохотную булку. Несколько раз я отваживался зайти в какую-нибудь второразрядную столовую и находил себе местечко где-нибудь в углу. Сапоги мои совсем прохудились, и в сырую погоду я постоянно ходил с мокрыми ногами; теплой одежды у меня тоже не было. Я был, в сущности, абсолютно заброшен, но как-то не сознавал всей тяжести своего положения. В каждом человеке, заговаривавшем со мной приветливо, я видел истинного друга. В каморке своей я чувствовал присутствие Бога и часто по вечерам, прочитав вечернюю молитву, я, как ребенок, обращался к Нему со словами: «Ничего, скоро все уладится!» Да, я твердо верил, что Господь Бог не оставит меня.

С самого раннего детства я привык считать, что как проведешь первый день нового года, так пройдет и весь год. В наступающем году я больше всего желал, чтобы мне дали роль, с которой бы я наконец-то появился на сцене, — тогда ведь и жалованье не заставило бы себя ждать. В первый новогодний день театр был закрыт, но пробраться на сцену было можно. Я прокрался мимо старого полуслеплого сторожа и скоро очутился среди кулис и декораций. Сердце у меня так и колотилось, но я все же прошел через всю сцену к оркестру, стал на колени и хотел было продекламировать отрывок из какой-нибудь роли, но... на ум мне не приходило ни строчки. Однако что-нибудь надо было продекламировать, если я хотел в наступившем году играть на сцене, и вот я прочел громким голосом «Отче наш». После этого я ушел вполне убежденный, что мне в течение года удастся получить какую-нибудь роль.

Но проходили месяцы, а роли мне все так и не давали; настала весна, и начался третий год моего пребывания в Копенгагене. За все это время я только раз побывал в лесу. Однажды я пешком отправился в «Дюрехавен» и здесь забыл всех и вся, созерцая зрелище веселого народного гулянья. Все здесь было прямо как в «Играх в ночь на Святого Ханса» Эленшлегера. Наездники, звери, качели, фокусники, вафельные пекарни с разряженными голландками, еврей под деревом, режущие ухо звуки скрипок, пение, шум и гам — все это увлекло меня куда больше, чем сама природа. Все было так живо, пестро, так необычно для меня!



Улица Улькегаде в Копенгагене — здесь Х.К.Андерсен жил в 1819 году.  
*Работа А.Ларсена*

Датский Королевский театр на Конгенснюторв.  
*Гравюра по рис. К.Ф.Кристинсена*

Весной я также раз выбрался на прогулку во Фредериксбергский сад. Могучие буки здесь были покрыты молодой, только что распутившеюся зеленью, солнце просвечивало сквозь листья, трава была такая высокая, все вокруг дышало свежестью, птички так чудно пели, что душа моя преисполнилась ликования... Я обхватил руками ствол ближайшего дерева и стал покрывать его кору поцелуями. В эту минуту я был настоящее дитя природы. «Да что он, спятил, что ли!» — раздалось вдруг поблизости; это был один из зрителей сада. Я испугался, убежал оттуда и медленно в задумчивости поплелся обратно в город.

Голос мой между тем вернулся. Он был теперь снова звучен и силен, и тогдашний хормейстер при театральном училище, брат поэта Кроссинга, услышав раз мое пение, предложил мне место у себя в училище. Он полагал, что, участвуя в хорах, я лучше смогу развить свой голос и освоиться со сценой, так что со временем мне, пожалуй, могли бы поручить исполнение небольших партий. Итак, мне, казалось, открылся новый путь к цели всех моих стремлений, к сцене. Из балетной школы я перешел в школу хорового пения, был участником массовых сцен в качестве то пастушка в «Разбойничьей крепости» и «Иоганне Монфокон», то воина, то матроса и т.п. Теперь, если были свободные места, мне был открыт бесплатный вход в партер, и я никогда не упускал случая воспользоваться этим. Театр был для меня всем — здесь я дневал и ночевал, и немудрено, что я забросил латинскую грамматику, тем более что часто слышал, будто ни актеру, ни хористу латынь вовсе не нужна — и без нее можно стать знаменитостью. Я находил это вполне справедливым, латынь мне страсть как надоела, и я стал уклоняться от вечерних уроков, иногда по уважительным причинам, но чаще всего предпочитая просто-напросто сидеть в партере. Гульдберг, узнав об этом, рассердился не на шутку и сделал мне выволочку. Это был первый серьезный выговор в жизни, который я получил, и он совершенно уничтожил меня. Вряд ли какой-нибудь преступник, выслушивающий смертный приговор, мог быть так потрясен, как я тогда. Вероятно, это отразилось у меня на лице, потому что Гульдберг прибавил: «И прекрати ломать комедию!» Я же, между тем, и не думал притворяться. Вот так и прекратились мои занятия латынью.

Никогда еще я не чувствовал себя таким зависимым от расположения ко мне добрых людей. Я испытывал недостаток в самом необ-

ходимом, и бывали минуты, когда на меня находило уныние, будущее представлялось мне в самом мрачном свете, но потом моя детская беспечность опять брала верх.

Вдова нашего знаменитого государственного деятеля Кристиана Кольбьёрнсена и дочь ее, госпожа ван дер Маасе, бывшая тогда фрейлиной кронпринцессы Каролины, были первыми из лиц высшего сословия, которые обласкали бедного мальчика, с участием выслушали меня и стали регулярно приглашать к себе. Госпожа Кольбьёрнсен жила летом на вилле «Баккехусет», принадлежавшей поэту Рабеку и его жене — Филемону и Бавкиде, как их называли в одном из стихотворений. Приходя в их дом, я познакомился и с их семьей. Сам Рабек никогда не заговаривал со мною; раз только в саду он направился было ко мне, точно желая сказать мне что-то, но подойдя вплотную и поглядев на меня, он вдруг круто развернулся и пошел прочь. Жена его, веселая и дружелюбная, охотно беседовала со мною. Я тогда начал писать что-то вроде комедии и попытался было прочесть ей написанное, но она, прослушав всего несколько сцен, прервала меня возгласом: «Да ведь тут целые места выписаны из Эленшлегера и Ингеманна!» — «Да, но они такие чудные!» — отвечал я на это наивно и продолжил свое чтение. Однажды, когда я собирался от нее к госпоже Кольбьёрнсен, она вручила мне букет из роз и сказала: «Отнесите их советнице Кольбьёрнсен. Она, верно, рада будет получить их из рук поэта!» Госпожа Рабек, конечно, шутила, но все же это был первый раз, когда мое имя связали со словом «поэт», и это произвело на меня сильнейшее впечатление. Слезы выступили у меня на глазах, и с этой минуты во мне пробудилось серьезное желание писать, сочинять. До того это было для меня такою же игрою, как и игра в кукольный театр, теперь же сделалось целью всей жизни.

Раз я пришел к госпоже Кольбьёрнсен в прекрасном, как мне казалось, наряде. Сын ее Эдуард подарил мне свой хороший синий сюртук; у меня еще никогда не бывало такого, но он был великоват и широк для меня, особенно в груди. Следовало бы отдать его перешить, вот только денег у меня не было. Поэтому я застегнул его наглухо; сукно было совсем новым, пуговицы так и блестили, но на груди образовался мешок. Чтобы помочь горю, я набил пустое пространство старыми театральными афишами, которых у меня хранилось множество. Теперь сюртук сидел в обтяжку, зато на груди образо-



вался настоящий горб! В таком-то виде я и предстал перед госпожами Кольбьёрнсен и Рабек. Они сейчас же стали спрашивать, что со мной, и предложили расстегнуться — погода стояла жаркая, но я ни в какую не соглашался: ведь тогда все афиши посыпались бы на пол.

Кроме семейств Рабека и Кольбьёрнсена на вилле «Баккехусет» жил нынешний статский советник Тиле. Он был в ту пору студентом, но уже успел приобрести известность как отгадчик заданной Багтесеном в одном журнале загадки, автор прекрасных сонетов и собиратель «датских народных сказаний». В Королевском театре я видел постановку его трагедии «Пилигрим». Я всегда пользовался случаем побеседовать с ним. Человек он был тихий, скромный, но весьма отзывчивый и внимательно следил за моим развитием. Впоследствии мы стали близкими друзьями. Тогда же он был одним из тех немногих, кто относился ко мне с искренним и серьезным участием. Для прочих же я был предметом развлечений — во мне их привлекала лишь моя смешная наивность. Любимица Рабека, актриса Андерсен, дала мне в шутку прозвище «Der kleine Declamator» (маленький декламатор); с тех пор меня так стали звать там все. Словом, на меня смотрели как на какое-то курьезное явление, забавлялись мною, а я-то видел в каждой улыбке улыбку одобрения. Один из моих друзей позже рассказывал мне, что он в ту пору увидел меня впервые в доме одного богатого коммерсанта, куда меня звали ради забавы и попросили продекламировать одно из своих собственных стихотворений. Я не замедлил исполнить просьбу, но прочитал стихотворение с таким чувством и неподдельной искренностью, что глумление перешло в участие.

Не могу не описать другое свое, если так можно выразиться, прибежище тех лет, которое я нашел в маленькой уютной комнатке у почтенной пожилой женщины, матери нашего известного, ныне покойного, Урбана Юргенсена. Когда я бывал там, в моей восприимчивой душе как будто начинали звучать голоса прошлого. Старушка обладала светлым умом и была весьма образованна и при этом всецело принадлежала прошлому, жила воспоминаниями о тех людях, которых ей довелось повстречать. Отец ее был смотрителем замка в монастыре Антворсков, и туда, по ее словам, из Сорё по воскресеньям часто приезжал Хольберг. Они с ее отцом разгуливали по замку, толкуя о политике. Однажды мать, как обычно, сидевшая за прялкой, попыталась вмешаться в их беседу. «Что я слышу,

никак прялка заговорила?!» — воскликнул Хольберг. «Подобных слов матушка никогда не смогла простить этому язвительному, неучтивому господину», — рассказывала мне старушка, которая в те годы была совсем еще ребенком. В ее собственном доме бывал поэт Вессель — большой любитель пошутить. Нередко объектом его веселых проделок становился педант Райсер, который хорошо известен своими ужасными историями о пожарах. Бедняге не раз приходилось пешком топтать по грязи и слякоти домой в парадных туфлях и шелковых чулках. Любимым чтением этой достойной женщины были трагедии Корнеля и Расина; она часто беседовала со мною о возвышенных мыслях и монументальных характерах их героев. От произведений же новой романтической школы она была вовсе не в восторге. С материнской теплотой и гордостью рассказывала она о своем сыне-изгнаннике, том самом, который во время войны столь чудесным образом стал «королем Исландии», говорила, почему он после этого так и не решился вернуться на родину. Твердый характер и воля, по ее словам, проявлялись в нем с самого детства. Видит бог, я был просто в восторге от общества этой старой дамы; все то, что она мне читала, рассказывала о своих мыслях и богатой событиями жизни, производило на меня сильнейшее впечатление. Она же относилась ко мне как к любимому ребенку, внимательно слушала мои первые стихотворения и трагедию «Лесная часовня» и даже сказала однажды с покорившей меня серьезностью: «Вы — поэт, быть может, второй Эленшлегер. Пройдет лет десять — меня-то уже, конечно, не будет на свете, — вспомните тогда мои слова!» Слезы выступили у меня на глазах; поистине это был момент моего торжества. Я был потрясен ее словами и в то же время далек от того, чтобы поверить им. Ведь это просто невероятно, чтобы из меня получился настоящий, признанный поэт, а уж тем более такой, которого можно было бы сравнить с Эленшлегером.

«Конечно же, вам следовало бы учиться, — прибавила старушка. — Ну да в Рим ведет много путей! И вы, наверное, пойдете туда своим».

«Следовало бы учиться!» Да, мне чуть ли не каждый день приходилось слышать и слова, и разъяснения, насколько это для меня важно, даже необходимо. Все пытались убедить меня заняться науками, находились и такие, кто прямо упрекал меня за то, что я не

проявляю к ним рвения, твердили, что это мой долг, и прибавляли, что иначе из меня ничего не выйдет. Но, конечно, мне приятнее было болтаться без дела! Быть может, говорилось все это вполне серьезно, а между тем помогать мне никто из них и не думал. Положение мое было, в сущности, бедственным, я едва перебивался. И вот мне пришло в голову написать трагедию, представить ее в дирекцию Королевского театра и, обеспечив себя полученным за нее гонораром, начать готовиться к университету. Еще в то время, когда я ходил к Гульдбергу, я написал трагедию в белых стихах «Лесная часовня», заимствовав сюжет для нее из «Почтового голубя» Росенкильде. Гульдберг рассматривал ее как простое ученическое упражнение в моих занятиях датским языком и категорически запретил мне представлять ее в дирекцию. Пришлось написать новую трагедию. Никто не должен был узнать имени автора. Сюжет я придумал сам, и вышла народная трагедия под названием «Разбойники в Виссенберге». Я сочинил ее за две недели и переписал набело, но орфография хромала чуть ли не в каждом слове — мне ведь никто не помогал. Пьеса была отправлена в дирекцию анонимно, но все-таки одного человека я посвятил в свою тайну, это была фрёкен Тендер-Лунд, молодая аристократка, которая в Оденсе одновременно со мною готовилась к конфирмации. Она одна из всех относилась тогда ко мне с сочувствием и как-то раз даже подарила розу. Я разыскал ее в Копенгагене; она с участием поговорила обо мне в семье Кольбьёрнсена, где одно знакомство вело к другому. Она заказала копию с моей рукописи — моя была написана неразборчиво, да и нельзя же было допустить, чтобы меня узнали по почерку, — и трагедия была отправлена по назначению.

Через шесть недель, в течение которых я предавался самым смелым ожиданиям, пьесу вернули, а в приложенном к ней письме говорилось, что ввиду полнейшей безграмотности автора, дирекция просит его впредь таковых пьес не присылать.

Случилось это как раз в конце театрального сезона в мае 1822 года. Почти одновременно с этим письмом я получил от дирекции и другое; из него я узнал, что меня «уволили» из хоровой и балетной школ, так как дальнейшее пребывание мое в них было признано бесполезным. В письме, впрочем, было выражено пожелание, чтобы доброжелатели мои поддержали меня и помогли мне приоб-

рести необходимые воспитание и образование, без которых никакому таланту развиться невозможно.

Я снова почувствовал себя выброшенным за борт, лишенным всякой помощи, поддержки. Во что бы то ни стало я должен написать пьесу для театра, ее обязаны принять — это было для меня единственной надеждой и спасением. И я написал трагедию «Солнце эльфов», заимствовав сюжет из рассказа Самсё. Сам я был в восторге от первых действий и, недолго думая, отправился показать их совершенно незнакомому мне тогда переводчику Шекспира, ныне покойному адмиралу Петеру Вульфу, в доме и семье которого я впоследствии стал своим человеком. Много лет спустя он весьма забавно описывал мне наше первое знакомство, хотя, как мне кажется, кое-что слегка преувеличил. Он рассказывал, что я будто бы как только вошел к нему в кабинет, так сразу и воскликнул: «Вы перевели Шекспира, я его ужасно люблю и сам написал трагедию — вот послушайте!» Вульф предложил мне сперва позавтракать с ним, но я отказался, единым духом прочел ему свое сочинение и затем сказал: «Ну, как вы считаете, выйдет из меня что-нибудь? Мне бы так этого хотелось!» Затем я сунул рукопись в карман и, по словам Вульфа, на его приглашение снова зайти к нему ответил: «Как только напишу новую трагедию!» — «Ну, значит, это будет скоро!» — сказал он. «Почему же, — возразил я, — недельки через две, я думаю, все будет готово!» И с этими словами вышел.

Рассказ, разумеется, несколько утрирован, но все-таки достаточно точно характеризует мою тогдашнюю натуру. К Х.К.Эрстеду я точно так же явился без всякой рекомендации, и, право, я вижу перст Божий в том, что я постоянно обращался к лучшим из лучших, хотя сам в то время даже не мог подозревать об истинном значении этих личностей. Эрстед с первой же минуты нашего знакомства и вплоть до самой своей смерти проявлял ко мне живое участие, которое впоследствии переросло в истинную дружбу. На мое духовное развитие он оказал большое влияние и был единственным, кто по мере восхождения моей карьеры писателя всегда поддерживал и приободрял меня, предсказывая, что когда-нибудь я добьюсь истинного признания, в том числе и на родине. Дом его скоро стал для меня родным; я играл с его детьми, они выросли у меня на глазах и навсегда сохранили ко мне добрые чувства. Здесь же мне посчастливилось об-

рести самых первых и самых преданных своих друзей. Такое же доброе участие принимал во мне пробст Гутфельдт — замечательный оратор, находившийся в то время еще в добром здравии. Он в числе немногих возлагал тогда на меня самые светлые надежды. Познакомившись с моей юношеской трагедией «Солнце эльфов», он вернул мне ее, снабдив рекомендательным письмом к театральной дирекции. Надежды сменялись во мне опасениями. «Если забракуют и это, то даже не знаю, что и предпринять!» — думал я.

В течение лета мне пришлось терпеть жесточайшую нужду, но я молчал о ней, в противном случае среди множества моих знакомых тогда нашлись бы, верно, люди, которые бы облегчили мое положение. Какой-то ложный стыд удерживал меня откровенно признаться в своих материальных затруднениях. Стоило кому-нибудь ласково заговорить со мною, и лицо мое сияло радостью. Тем летом, впрочем, произошло и одно безусловно счастливое для меня событие — я впервые познакомился с романами Вальтера Скотта. Они открыли для меня новый мир — истинный мир души. За чтением их я забывал окружающую меня горькую действительность и все свои деньги, отложенные на обед, тратил на то, чтобы брать книги в библиотеке.

К тому же времени относится и мое знакомство с человеком, который потом в течение многих лет был для меня любящим отцом и дети которого стали для меня братьями и сестрами. Я стал как бы членом его семьи. Называя имя этого человека, я не могу не вызвать во всех моих соотечественниках воспоминание о тех великих заслугах, которые он имел как перед государством, так и в отношении многих отдельных личностей. Человек этот, обладавший столь же выдающимися деловыми качествами, сколь бесконечно добрым, благородным сердцем и твердой волей, был тайный советник Ионас Коллин. Помимо великого множества разных других должностей, он занимал тогда и должность директора Королевского театра. Мне неоднократно говорили, что, если бы мне удалось заинтересовать своей персоной этого человека, он наверняка сделал бы для меня что-нибудь. И вот пробст Гутфельдт рассказал ему обо мне, и я впервые переступил порог дома, впоследствии ставшего для меня роднее, чем отчий дом.

Карл Бернхард в своем романе «Хроники времен Кристиана Второго» описал эту старинную усадьбу, проследив ее судьбу с мо-

мента постройки до того, как она перешла к Коллину. В те времена, когда улица Эстергаде упиралась в Восточную заставу Копенгагена, а на месте нынешней площади Конгенс Нюторв было лишь голое поле, вблизи часовни Св. Анны помещалась загородная вилла, которую облюбовал в качестве своей летней резиденции испанский посланник. С тех пор минуло немало лет, в течение которых, вплоть до недавнего времени, этот дом так и продолжал стоять здесь, на одной из самых больших столичных улиц, — довольно неуклюжее покосившееся фахверковое строение, собранное из решетчатых каркасных ферм. Чтобы попасть на первый этаж, следовало подняться на старомодный деревянный балкончик, к которому, занимая едва ли не все пространство тесного дворика, вела массивная деревянная галерея под косой крышей. Ветви старой раскидистой липы затеняли весь двор, с одной стороны нависая над улицей, а с другой — упираясь в стену мезонина. Дому этому предстояло стать мне родными пенатами, и как же еще, если не с теплотой в сердце, вспоминать о нем?! Теперь на этом месте красуется новое изящное здание. Рабочие, строившие его, пели:

Строим новый дом не даром:  
Будьте счастливы, как в старом;

а потом он в самом деле своим

Старым памятником станет...

Но и само «вспоминание о былом» — уже есть счастье.

Из первого разговора с Коллином я вынес только впечатление о нем как о сугубо деловом человеке. Говорил он со мной немного и, как мне показалось, чересчур строгим, почти суровым тоном. Я ушел, не ожидая от него никакого участия к моей судьбе, а между тем именно он-то тогда больше всех и позаботился обо мне, но втихомолку, незаметно для других, как он обычно и помогал многим ныне знаменитым моим соотечественникам. Тогда я еще не знал, что скрывалось за его наружным спокойствием в то время, как он выслушивал просьбы нуждающихся, не знал, что сердце его при этом обливалось кровью, а после ухода просителя глаза наполнялись слезами; как правило, он сразу же принимался энергично и успешно действовать в пользу просителя. Представленной мною пьесы, за которую я уже выслушал

столько похвал, он коснулся в нашем разговоре лишь мельком, так что поначалу я видел в нем скорее недоброжелателя, чем покровителя. Не прошло, однако, и недели, как меня вызвали в дирекцию театра. Рабек возвратил мне рукопись «Солнца эльфов» и сказал, что пьеса не годится для сцены, но прибавил, что ввиду «блещущих в ней искорок истинного таланта» дирекция надеется, что при основательной подготовке в каком-нибудь учебном заведении, где бы мне дали возможность пройти школьный курс с самого начала, от меня со временем и можно было бы, пожалуй, дожидаться произведений, достойных постановки на сцене датских театров. И вот, чтобы предоставить мне эту возможность, Коллин имел об этом разговор с королем Фредериком VI. Король всемилостивейше повелел назначить мне ежегодную стипендию на проживание и, кроме того, разрешил бесплатно принять меня в латинскую школу, находившуюся в городе Слагельсе, которую в то время возглавил новый и, по общему мнению, довольно энергичный директор. Я чуть не онемел от изумления — о том, что жизнь моя примет подобный оборот, я и подумать не смел. Замешательство воспрепятствовало мне даже как следует сообразить, что мне теперь делать. Отъезд мой в Слагельсе назначен был с первым же отходящим почтовым дилижансом. Деньги на проживание я должен был получать от Коллина каждые три месяца; ему же я обязан был отдавать отчет о своем житье-бытье и успехах в учебе.

Я явился к Коллину вторично, чтобы поблагодарить его. На этот раз он разговаривал со мной немного дольше, был очень сердечен и приветлив и, наконец, сказал мне: «Пишите мне откровенно о своих нуждах и о том, как пойдет учеба!» С этих пор я навсегда занял место в его сердце, он взял меня под свое покровительство и стал для меня настоящим отцом. Никто больше и искреннее его не радовался моим последующим успехам, никто не принимал большего участия в моих горестях — словом, он относился ко мне, как к родному сыну. И при всем этом он ни разу — ни словом, ни взглядом — не дал мне почувствовать, что он мой благодетель. Не все так поступали. Другие часто давали мне понять, какое безмерное счастье выпало на долю мне, бедняку, что всем этим я обязан им по гроб жизни, и строго требовали от меня взамен усердия и прилежания.

Итак, отъезд мой был решен быстро, а между тем мне предстояло еще уладить одно дело. Я встретился в Копенгагене с одним знакомым из Оденсе, управляющим типографией какой-то вдовы, переговорил с ним о своих литературных опытах, и он обещал мне напечатать мою трагедию «Солнце эльфов» и небольшой рассказ «Привидение на могиле Пальнатоке». Он принял от меня рукопись с тем условием, что она поступит в набор, как только мне удастся набрать достаточное число подписчиков на книжку. Перед самым отъездом я побежал в типографию: увы! Она была заперта. И я махнул рукой на это дело. Втайне, впрочем, я льстил себе надеждою, что сочинения мои все-таки будут напечатаны и выйдут в свет. К сожалению, это случилось лишь много лет спустя, когда знакомый мой уже умер и когда я считал свою рукопись окончательно похороненной. Книжка появилась без моего ведома и желания, в своем первоначальном, не правленном виде и под вымышленным именем. Выбранный мною тогда псевдоним может с первого взгляда показаться доказательством колоссальнейшего тщеславия автора, а между тем я в этом случае поступил просто, как ребенок, дающий своим куклам имена тех, кого он больше всего любит. Я любил Уильяма Шекспира, любил Вальтера Скотта, любил, конечно, и самого себя, и вот я взял их имена, прибавил к ним свое собственное имя — Кристиан, и получился псевдоним «Уильям Кристиан Вальтер». Книжка так и вышла, ее и теперь еще можно найти; в ней напечатаны трагедия «Солнце эльфов» и рассказ «Привидение на могиле Пальнатоке», в котором ни привидение, ни Пальнатоке не играют никакой роли. Рассказ этот — просто грубое подражание Вальтеру Скотту. В «Прологе» некая Дана рассказывает об авторе, что ему «лишь семнадцать лет» и это его творение — «венок из датских буквых побегов и цветов», представляемое на суд публике. Короче говоря, вся книжица эта — работа крайне незрелая.

В прекрасный осенний день я выехал из Копенгагена в Слагельсе, где учились в свое время и наши знаменитые поэты Багтесен и Ингеманн. В почтовом дилижансе я познакомился с одним молодым человеком; он всего месяц тому назад сдал выпускной экзамен в школе и ехал теперь к родным на Ютландию, чтобы предстать перед ними студентом. Он был в восторге от того, что ему предстоит начать новую жизнь, и уверял меня, что был бы несчастнейшим че-



ловеком в мире, если бы вдруг очутился на моем месте и вынужден был снова начать учиться в гимназии! По его словам, это было нечто ужасное, однако я, не теряя мужества, продолжал свой путь. Матери я отправил восторженное письмо и искренне жалел об одном, что ни отец мой, ни бабушка не дожили до этой счастливой минуты, — как бы они обрадовались, узнав, что я поступил в латинскую школу!

### III

В Слагельсе я приехал поздно вечером, остановился в номерах для приезжих и первым делом спросил хозяйку, что есть в городе достопримечательного.

«Новый английский пожарный насос и библиотека пастора Бастхольма!» — отвечала она, и действительно, почти одним этим и ограничивались все достопримечательности Слагельсе. Несколько гарнизонных офицеров составляли всю городскую аристократию. В каждом доме было известно об успехах или неудачах каждого ученика за прошедший месяц. Школа да частный театр служили горожанам единственными темами для разговоров; на генеральные репетиции в театр был открыт вход всем городским гимназистам и служанкам — таким образом актеры-любители привыкали играть перед полным залом. Я описал это в четвертом вечере своей «Книги картин без картинок».

Вопрос с жильем и питанием я решил, устроившись у одной почтенной, образованной вдовы; у меня была отдельная маленькая комнатка с видом на сад и поле. Окна выходили на солнечную сторону и были увиты диким виноградом.

В школе меня определили во второй класс с маленькими мальчиками — я ведь, в сущности, ровно ничего не знал. Больше всего я походил на вольную птицу, посаженную в клетку. К учебе я относился добросовестно, но давалась она мне нелегко. Положение мое можно было сравнить с положением человека, не умеющего плавать и брошенного в море. Речь шла о жизни и смерти, и я изо всех сил боролся с волнами, грозившими утопить меня; одна волна называлась математикой, другая грамматикой, третья географией и т.д. Я захлебывался и боялся, что мне никогда не удастся выплыть. То я неправильно произносил имена, то еще что-нибудь путал, то задавал самые невероятные вопросы,

каких не услышишь от хотя бы мало-мальски развитого школьника. Директор школы, вообще большой насмешник, конечно, нашел во мне самую благодатную мишень для своих шуточек и вконец запугал меня. Мало-помалу я впадал в уныние. Начав учебу, я благоразумно решил оставить на время свои стихотворные опыты, но обстоятельства заставили меня на первых же порах выступить в качестве поэта. Предстояло утверждение нашего директора приезжавшим к нам епископом, и учитель пения поручил мне написать текст приветственной песни. Я выполнил поручение, и песня была пропета. В прежние времена я был бы в восторге от сознания, что являюсь одним из действующих лиц такого торжества, но тут я впервые испытал чувство болезненной грусти, которое потом тяготило меня много лет кряду. Во время праздника я ушел из церкви на маленькое кладбище и остановился у запущенной могилы. Имя на плите было мне известно. Здесь был похоронен врач и поэт Франкенау, тот самый, который воспел «Руины замка Кристиансборг», а также написал «Меж нами горы, волны и долины». Я пребывал в самом печальном настроении и стал молить Бога, чтобы Он или сделал из меня поэта, подобного Франкенау, или поскорее ниспослал мне смерть. Директор ни словом не обмолвился о моей песне, напротив, мне стало казаться, что теперь он смотрит на меня еще строже обычного. Вообще в моих глазах он являлся олицетворением некоей высшей силы и власти; я безусловно верил каждому его слову, даже его насмешкам, так что когда в один из первых дней учебы за какой-то неправильный ответ он назвал меня «дураком», я добросовестно сообщил об этом Коллину, прибавив, что опасаясь оказаться недостойным всего того, что для меня делают. Коллин ответил мне небольшим письмом, в котором успокаивал и ободрял меня. Скоро я действительно стал понемножку преуспевать в науках и получать хорошие отметки. Тем не менее я все больше падал духом и терял веру в себя. На одном из первых экзаменов я, однако, заслужил письменную похвалу самого директора, и мне был дан на несколько дней отпуск в Копенгаген. Как же я был счастлив! Гульдберг, убедившийся в моем серьезном желании учиться и в моих успехах, принял меня весьма радушно и весьма хвалил мое усердие. «Только не пишите стихов!» — сказал он. То же твердили мне и все остальные; я и не писал никаких стихов, весь отдавался своим занятиям и лелеял в душе одну, правда, слабую надежду когда-нибудь стать студентом.

В Слагельсе проживал пастор Бастхольм, известный ученый и редактор «Восточно-Зеландских ведомостей»; жил он весьма уединенно, вдали от общества, погружившись в свои ученые занятия. Я не преминул посетить его и показал ему кое-что из моих первых литературных опытов. Они заинтересовали его, но он вполне разумно посоветовал мне пока оставить всякое сочинительство и не помышлять ни о какой литературе, кроме учебников. Письмо, которое он написал мне по этому поводу, дышит таким доброжелательством и благоразумием, что его не грех бы принять к сведению всякому юноше. Вот оно:

«Я прочел Ваш “Пролог”, мой юный друг, и могу сказать, что Господь одарил Вас живым воображением и отзывчивым сердцем. Вам недостает только образования. Но за этим дело, разумеется, не станет, коль скоро Вам предоставлена теперь возможность приобрести его. Вашей первой и неизменной задачей должно быть поэтому пополнение Ваших познаний, все же остальное пока следует откинуть в сторону. Я не хотел бы пока что, чтобы Ваши юношеские опыты появлялись в печати, — зачем обременять публику незрелыми плодами творчества? Их и без того довольно! Тем не менее Ваши сочинения настолько хороши, что, несомненно, оправдывают участие, которое принимают в Вас. Всякому молодому поэту следует прежде всего беречься заразы тщеславия и стараться сохранить душевную чистоту и силу. Пока Вы учитесь, пишите стихи лишь изредка и только ради того, чтобы дать исход волнующим Вас чувствам. Не пишите, если Вам приходится подыскивать мысли и слова, пишите только тогда, когда душа живет идеей, а сердце согрето чувствами. Внимательно изучайте природу, жизнь человеческую и самого себя, и у Вас всегда будет собственный материал для описаний. Берите предметами для наблюдений окружающие Вас мелочи и, прежде чем взяться за перо, изучайте их со всех сторон. Старайтесь писать так, как будто до Вас в мире не было ни одного писателя, как будто Вам не у кого было учиться, берегите в себе благородство, высоту помыслов и чистоту душевную. Без этого поэту не стяжать себе венца бессмертия!

Слагельсе. 1 февраля 1823 г.  
Ваш преданный Бастхольм».

С таким же сочувствием следил за мною вышеупомянутый полковник, ныне генерал, Гульдберг из Оденсе. Он от души радовался, узнав о моих успехах и о поступлении в гимназию, и регулярно писал мне теплые, ободряющие письма. Перед наступлением же первых моих летних каникул он прислал мне письмо, в котором приглашал меня к себе и даже приложил денег на дорогу.

Я не был в своем родном городе с того самого дня, как покинул его на свой страх и риск. За это время успели умереть мои бабушка и дедушка. Мать прежде часто говорила мне, что меня ждет счастье, что я единственный наследник дедушки, а у него ведь был собственный дом! Домик этот, маленький, полудеревянный, как только дедушка умер, был немедленно продан и срыт. Бóльшая часть вырученных за него денег пошла на погашение числившихся за дедушкой разных недоимок по налогам. За долги же была взята из дома и большая изразцовая печка с медным водонагревательным котлом — единственная ценная вещь, как говорили все, которую стоило унаследовать, недаром ее поставили в ратуше. Нашлись после дедушки и деньги — причем так много, что ими можно было бы набить целую подушку из тех, что кучер кладет себе на сиденье. Однако все это были старые, уже отмененные ассигнации. Правительство объявило их недействительными еще в 1813 году, но когда слабоумному дедушке сказали об этом, он ответил: «Никто не смеет объявлять недействительными королевские ассигнации, а сам король ни за что не стал бы их отменять!» Таким образом, все полученное мною «огромное наследство» состояло из двадцати с чем-то ригсдалеров, но, откровенно говоря, я никогда и не мечтал об этом наследстве, поэтому и не был разочарован. Стоило мне лишь подумать о посещении родного города, как в памяти моей вспыхивали озаренные солнцем картины прошлого и радужные надежды на будущее. Радость и тоска по дому переполняли мою душу, и я дожидаться не мог этой счастливой минуты.

Переправившись через Бельт, всю остальную часть пути от Ньюборга до Оденсе я проделал пешком; все мои пожитки уместались в небольшом узелке. По мере того как я приближался к городу и старая высокая колокольня церкви Св. Кнуда вырисовывалась передо мной все яснее, сердце мое все больше и больше наполнялось чувством глубокой признательности за все заботы Господа обо мне,

и наконец я заплакал. При нашем свидании матушка не помнила себя от радости и сказала мне, что я непременно должен побывать у многочисленных ее знакомых, в том числе и в «важных» домах — у местных торговца и писаря. В домах Иверсена и Гульдберга меня встретили с распростертыми объятиями. Проходя по узеньким переулкам, я замечал, что во многих домах отворяются окна и оттуда смотрят на меня любопытные; теперь ведь все знали, как удивительно мне повезло в столице, знали, что я учусь теперь на деньги самого короля. «Да, сынишка-то Марии-башмачницы не такой уж пен-тюх!» — по словам матери, говорили они. Книготорговец, советник Сёрен Хемпель, у которого во дворе была построена башня для астрономических наблюдений, как-то повел меня на нее. Я обзирал оттуда город и окрестности, а внизу на площади стояли бедные старухи из богадельни и указывали на меня пальцами. Они ведь знали меня еще маленьким мальчиком, а нынче я вишь как высоко забрался! Я и в самом деле стоял теперь как будто на вершине счастья. Однажды после обеда я с семействами Гульдберга и епископа поехал кататься на лодке по реке, и мать моя плакала от умиления, что меня теперь «чествуют, точно сына графа!». Увы! Все эти блеск и слава угасли, стоило мне опять вернуться в Слагельсе.

Я без преувеличения могу сказать, что был очень прилежен; за это меня каждый год и переводили в следующий класс; но так как знания мои не отличались глубиной, учиться мне становилось все труднее и труднее, почти не под силу. Сколько раз, бывало, по ночам вставал я из-за своих учебников и обливал себе голову холодной водой или выходил освежиться в сад, чтобы прогнать дремоту и продолжать занятия. Директор наш был человеком чрезвычайно ученым и талантливым, подарившим нашей культуре великолепные пересказы древних классиков, а также внимательно следившим за развитием современной литературы. Однако, как показало время, педагогика не была его призванием. Преподавание было для него сущим наказанием, таким же наказанием оно было и для нас. Большинство учеников боялись его, я же пуще всех, и не столько из-за его строгости, сколько из-за его манеры высмеивать нас и давать нам разные обидные прозвища. Случалось, что мимо окон класса гнали стадо, и стоило кому-нибудь из учеников засмотреться на него, директор приказывал нам всем встать с мест и идти к окну «по-

смотреть на своих собратьев». Если ему отвечали недостаточно бойко, он вставал с кафедры и продолжал урок, обращаясь к печке. Быть осмеянным казалось мне страшнее всего, стоило директору войти в класс, как я замирал от страха и поэтому зачастую отвечал совсем невпопад, так что он бывал прав, говоря, что от меня не добьешься разумного слова. Отчаяние все больше овладевало мною, и вот однажды вечером, находясь в особенно мрачном, угнетенном настроении, я написал письмо инспектору Квистгору, в котором просил его совета и помощи, жаловался на свою неспособность к учению и высказывал опасение, что в Копенгагене жестоко ошиблись во мне и что деньги, потраченные на меня, пропали даром! Мне казалось, что я должен сообщить обо всем этом Коллину, и я просил у Квистгора совета, как поступить, что делать. Этот превосходный и добрейшей души человек ответил мне длинным ласковым письмом; он советовал мне не падать духом и уверял, что директор желает мне добра и это просто у него манера такая насмехаться. Затем он писал, что вообще я сделал заметные успехи, так что мне нечего отчаиваться в своих способностях, и рассказывал, что и сам он начал учиться, будучи двадцатитрехлетним крестьянским парнем — следовательно, еще старше меня. Вся беда, по его мнению, была в том, что со мною нужно было заниматься совсем иначе, нежели с прочими учениками, но школьные условия этого не позволяли. И в самом деле, в некоторых предметах я преуспевал весьма быстро; по Закону Божию и сочинениям на родном языке у меня всегда бывали отличные оценки, и разные ученики, даже из старших классов, часто обращались ко мне с просьбами написать за них сочинения, «только не чересчур хорошо, а то заметят!». Мне же они помогали в латыни. За поведение я каждый месяц у всех учителей получал отметку «отлично». Лишь один раз довелось мне получить «очень хорошо», и я был так огорчен этим, что тотчас же написал Коллину трагикомическое письмо, в котором уверял его в полнейшей своей невинности по этому поводу.

Позже я убедился в том, что директор действительно был обо мне совершенно иного мнения, нежели мне казалось. Впрочем, время от времени благосклонность его ко мне все-таки прорывалась наружу; так, например, я постоянно входил в число учеников, которых он

приглашал к себе домой по воскресеньям. Тут он предстал совершенно иным человеком, нежели в гимназии: был весел, шутил с нами, острил, расставлял для нас солдатиков; в играх этих принимали участие и его собственные дети. Каждый праздник классы поочередно должны были присутствовать у обедни; поскольку роста я был очень высокого, директор с самого начала велел мне ходить в церковь со старшим классом. Все ученики пользовались обыкновенно временем, проводимым в церкви, для подготовки домашних заданий по истории или по математике, старика священника никто не слушал. Пример заразителен, и я тоже стал в это время учить уроки, но только по Закону Божию — это казалось мне все-таки не таким грешным.

Светлыми минутами в нашей школьной жизни являлись наши посещения генеральных репетиций в местном театральном обществе. Театр помещался в здании бывшего коровника на заднем дворе, и до зрителей доносилось мычание коров с поля. Декорации изображали городскую площадь — действие всех пьес неизменно разворачивалось в Слагельсе, и поэтому от всех спектаклей веяло чем-то знакомым. Публику тешило отыскивать на декорации свои собственные дома и дома соседей. Субботними вечерами я обычно направлялся к уже тогда полуразрушенному замку монастыря Антворсков, который воспет поэтом Франкенау.

Был монастырь, теперь поместье стало,  
Монахи кроткие в земле овражной спят.

С большим интересом следил я за раскопками в старинных подвалах замка; здесь для меня открывалась целая Помпея. В маленьком домике в саду жила тогда одна молодая чета. Оба они принадлежали к знатным семействам и, по всей вероятности, поженились без их согласия. Жили они бедно, но счастливо. Низенькая комнатка с белыми оштукатуренными стенами дышала уютом и красотой; на столе всегда стояли свежие цветы, лежали книги в богатых переплетах, здесь часто звучала арфа... Я случайно познакомился с этой четой, и они принимали меня у себя с неизменным радушием. Да, этот маленький уединенный домик у подножия холма замка заключал в своих стенах чисто идиллическое счастье.

От замка я обыкновенно шел к кресту Св. Андерса, стоявшему слева от дороги на Корсёр еще со времен господства в Дании католицизма. Предание гласило, что Св. Андерс был священником в Слагельсе и отправился на поклонение Гробу Господню. В день отъезда оттуда он забылся в молитве у Святого Гроба, и корабль отплыл без него. Печально бродил он по берегу, как вдруг перед ним появился человек верхом на осле и пригласил Андерса сесть позади него. Андерс принял предложение и тотчас же впал в глубокий сон; проснулся он от звона колоколов в Слагельсе и увидел, что лежит на Сонном кургане — холме близ города, на котором впоследствии в память этого события и был водружен крест с распятием. Св. Андерс прибыл домой на целый год и один день раньше корабля, который отплыл, не дождавшись его; человек на осле был ангелом Господним. Я очень любил это предание и само это место и много вечеров провел, сидя на холме и глядя на луга и хлебные поля, простиравшиеся до самого Корсёра, родного города поэта Багтесена. И он, верно, тоже, в бытность свою учеником школы в Слагельсе, часто сиживал на этом холме, глядя на Бельт и Фюн. На холме Св. Андерса я предавался своим мечтам, и всякий раз, как мне впоследствии приходилось проезжать мимо в дилижансе, вид холма и креста на нем напоминал мне о той роли, какую это место сыграло в моей жизни.

Больше же всего радовался я, когда по воскресеньям выдавалась возможность отправиться в Сорё и посетить там поэта Ингеманна. Он в то время читал лекции в академии и только что женился на фрёкен Мандикс. Он радушно принимал меня у себя еще в Копенгагене, здесь же стал относиться ко мне еще сердечнее. Его добрая и умная молодая жена обходилась со мной, как с младшим братом. Ах, как я любил бывать у них! На всем здесь лежал отпечаток истинной поэзии. Сам дом стоял в уединенном местечке, близ озера и леса; виноградные лозы вились вокруг окон, все стены в комнатах были увешаны картинами и портретами выдающихся датских и вообще европейских писателей; в саду красовались чудесные цветы, лесные и полевые растения. Мы катались на лодке по озеру, к мачте была прикреплена эолова арфа; Ингеманн при этом что-нибудь рассказывал, да так живо, занимательно! И он, и жена его были образцами живой естественности во всем; я привязывался к ним все больше и больше, и наша взаимная дружба росла с годами. Впоследствии летом я гостил у них по целым неделям



и чувствовал, что есть на свете люди, в обществе которых сам становишься как-то лучше, все горькое испаряется из сердца, и мир кажется залитым солнцем, исходящим на самом деле от приютившего тебя прекрасного семейного очага.

В числе учеников «рыцарской академии» Сорё были двое юношей, писавших стихи. Они знали, что я увлекаюсь тем же, и подружился со мною. Фамилия одного была Пети, впоследствии он перевел на немецкий язык несколько моих произведений; перевод был сделан с любовью, но довольно неточно. Кроме того, он написал мою биографию, причем совершенно фантастическую. Дом моих родителей, очевидно, был списан им с хижины в «Гадком утенке»; мать моя приняла облик Мадонны, а меня самого он представил бегавшим «в лучах заката с босыми розовыми ножками», и т.п. Вообще же Пети не был лишен таланта и обладал горячим, благородным сердцем. Несладкая выпала ему доля, ныне его уже нет в живых, да покойся он с миром.

Другим юношей был поэт Карл Баггер — один из наиболее талантливых датских литераторов моего времени, обладавший истинно поэтической натурой. Критика относилась к его произведениям крайне сурово и несправедливо. Стихи его полны свежести и оригинальности. А рассказ «Жизнь моего брата» — вещь по-настоящему гениальная, но «Литературный ежемесячник» отнесся и к ней прямо-таки беспощадно. Я знаю, какое тяжелое впечатление произвело это тогда на молодого писателя. Оба названных юноши во всем резко отличались от меня; оба были полны юношеской энергии, отваги, я же, напротив, был робким ребенком, хотя ростом и перегнал обоих своих знакомцев. Итак, тихое лесное уединение Сорё стало для меня настоящим прибежищем поэзии и дружбы.

В то время произошло событие, взволновавшее весь наш маленький городок, — казнь трех преступников близ Скъельскёра. Дочь одного богатого крестьянина подговорила своего возлюбленного убить ее отца, противившегося их браку; соучастником в убийстве был работник убитого, рассчитывавший жениться на его вдове. Всем хотелось присутствовать при их казни, словно это было какое-то торжество. Директор освободил старший класс от занятий, и мы все тоже должны были отправиться смотреть казнь — он находил это зрелище в высшей степени поучительным для нас.

Целую ночь провели мы в дороге и к восходу солнца прибыли к заставе Скъельскёра. Вид осужденных потряс меня настолько, что я, пожалуй, никогда этого не забуду. Их везли на телеге; смертельно бледная молодая девушка ехала, припав головой к широкой груди своего возлюбленного. Позади них сидел изжелта-бледный косоглазый работник с растрепанными черными волосами. Время от времени он кивал своим знакомым, которые прощались с ним. Прибыв на место казни, где уже стояли приготовленные для них гробы, осужденные пропели вместе со священником последний псалом; высокое сопрано девушки покрывало все остальные голоса. Я едва стоял на ногах; право, кажется, эти минуты были для меня тягостнее самого момента казни. Затем я видел, как подвели к месту казни какого-то несчастного, больного эпилепсией, и заставили его выпить крови казненных — суевверные родители думали так исцелить его. После этого они бросились бежать с ним прочь и бежали до тех пор, пока он, выбившись из сил, не свалился на землю. Какой-то стихоплет продавал тут свою наскоро сочиненную «Скорбную арию». В ней автор говорил от лица осужденных, а самая «ария» пелась на мотив «Я невзначай попал сюда», что звучало довольно комично.

Воспоминания об этом ужасном зрелище долго преследовали меня во сне и наяву; оно и теперь еще стоит передо мною так живо, как будто все случилось только вчера.

Никаких иных столь же волнующих или вообще сколько-нибудь значительных событий в нашей жизни не происходило. Дни шли за днями, похожие один на другой, но чем меньше испытываешь внешних переживаний, чем тише и однообразнее течет жизнь, тем бережнее относишься к тому, что с тобой происходит, и тем скорее приходит на ум заносить все на бумагу, вести дневник. Вел в то время дневник и я; несколько листков сохранилось и поныне. Из них ясно видно, каким я был тогда еще ребенком. Привожу оттуда несколько выписок. Я ходил тогда в предпоследний класс, и все мои желания и мечты сосредоточились на одном — выдержать экзамены и перейти в старший класс.

Вот что я писал в дневнике:

«Среда. Печально взял я Библию и решил погадать на ней; я открыл ее наугад, в глаза мне бросились следующие слова: “Погубил ты себя, Израиль, ибо только во Мне опора твоя!” Да, Отец мой,

я слаб, но Ты видишь мою душу и поможешь мне перейти в четвертый класс. Выдержал экзамен по древнееврейскому.

*Четверг.* Нечаянно оторвал ножку у паука. Выдержал экзамен по математике. Господи, благодарю Тебя от всего сердца!

*Пятница.* Господи, помоги мне! Сегодня такой ясный зимний вечер. Экзамены наконец закончены. Завтра узнаю результаты. Месяц! Завтра свет твой падет либо на бледного, уничтоженного, либо на счастливейшего из смертных! Читал “Коварство и любовь”.

*Суббота.* Господи! Теперь судьба моя решена, но мне еще неизвестна. Что-то ждет меня? Господи! Господи! Не оставь меня! Кровь так и приливает к сердцу, все нервы натянуты... О, Господи! Всемогущий творец! Помоги мне! Я не стою Твоей помощи, но будь милостив ко мне! (Позже.) Я перешел. Странно. Я думал, что буду радоваться этому куда больше. В 11 часов написал Гульдбергу и матушке».

В это же время я втайне дал Богу обещание, что если Его стараниями меня переведут в старший класс, то я пойду в следующее воскресенье к причастию. Так я и сделал. Из этого можно видеть, что, несмотря на все мое благочестие, в голове у меня царил изрядная путаница, а ведь мне было тогда уже двадцать лет. Какой другой двадцатилетний юноша стал бы вести подобный дневник!

Директору нашему надоело в Слагельсе; он стал хлопотать о переводе на освободившееся место директора гимназии в Хельсингёре и получил его. Сообщив мне это, он, к удивлению моему, предложил мне ехать с ним, обещая заниматься со мной еще дополнительно и подготовить таким образом года через полтора к поступлению в университет, на что мне не приходится рассчитывать, если я останусь в здешней школе. Перебраться к нему мне следовало тотчас же; он принимал меня на полное содержание за ту же плату, какую брали с меня в другом месте. Я должен был немедленно написать об этом Коллину и спросить его согласия. Скоро оно было получено, и я перебрался к директору.

Итак, мне предстояло уехать из Слагельсе! Я успел уже сблизиться с некоторыми товарищами и семьями в городе и очень сожалел о грядущей разлуке с ними. Разумеется, я немедленно завел себе альбом, в который все мои знакомые что-нибудь да написали.

Среди прочих есть в нем и запись, сделанная моим старым учителем Сниткером, который преподавал в этой гимназии еще во времена, когда здесь учились Ингеманн и Поуль Мёллер. Карл Баггер написал мне в альбом стихотворение, из которого следовало, что я уезжаю не для того, чтобы продолжать просиживать штаны за партой, а с целью полностью отдаться самостоятельному поэтическому творчеству, в связи с чем поначалу меня ждут нелегкие времена.

Х.К.АНДЕРСЕНУ, ПОЭТУ,  
*От его друга Карла Баггера*

Ступил ты на опасный путь,  
Где не пройти стезей средней,  
Где, чуя розу, видишь суть, —  
Увядшей жизни вздох последний.  
Благой удел — поэтом быть,  
Поэт златые видит грезы,  
Но не способен мирно плыть  
Он по морю житейской прозы.

Рассудка хладного покой  
Он в горе сохранить не может:  
Как буря, силою слепой  
Сам все надежды уничтожит.  
Но не печалься о судьбе,  
Не ослепляясь славой света,  
Он силу обретет в себе  
И лавровый венок поэта.

Так будь же мужествен в бою  
И вместе с этим будь — как дети,  
Ведь светоч духа льет струю  
Сияющую в души эти.  
Поэзии высокий трон  
Займешь — приду к тебе с поклоном;  
Немногим достается он,  
Мечтают многие об оном.

(Сорё в мае 1826 г.)

Я уехал с директором в Хельсингёр. Поездка туда, впервые увиденный мною Зунд, множество кораблей, Кулленские горы и красивая живописная местность — все произвело на меня сильнейшее впечатление, о чем я не замедлил отписать Расмусу Ньюерупу. Я остался так доволен этим своим письмом, что разослал копии его и многим другим знакомым. К несчастью, и Ньюерупу оно очень понравилось, и он напечатал его в «Копенгагенских зарисовках»; таким образом, всякий, кто получил копию, мог думать, что именно им-то полученное письмо и напечатано.

Перемена места и обстановки благоприятно повлияла на расположение духа директора, однако — увы! — продолжалось это недолго. Скоро я опять почувствовал себя по-прежнему одиноким, покинутым и несчастным. А в то же время — и это мне доподлинно известно — директор давал обо мне Коллину совсем другие отзывы, нежели те, что приходилось выслушивать от него мне самому и всем окружающим. Мне даже и в голову не приходило, чтобы он мог отзываться обо мне так хорошо, а как бы это ободрило меня, подняло мой дух, какое благотворное воздействие оказало бы на все мое существование. В глаза же он прямо отрицал во мне какие бы то ни было способности, называл идиотом, упрекал в животной тупости. Коллин, получая, с одной стороны, его похвальные отзывы обо мне, а с другой — мои жалобные сообщения о том, как недоволен мною директор, наконец потребовал от него объяснения. Вот какой ответ прислал ему директор:

«Х.К.Андерсен, поступивший в школу в Слагельсе в конце 1822 года, был определен, вследствие крайнего недостатка начальных знаний и несмотря на свой возраст, во второй класс. Одаренный от природы живым воображением и горячим чувствительным сердцем, он начал усваивать различные предметы с большим или меньшим успехом, смотря по тому, насколько они привлекали его, в общем успевая настолько, что его вполне справедливо переводили в старшие классы. В настоящее время он достиг уже последнего класса и только переменял, вместе с нижеподписавшимся, Слагельсе на Хельсингёр.

Берусь утверждать, что он вполне достоин той поддержки благодетелей, которая обеспечивает ему возможность продолжать об-

разование. Способности у него вообще хорошие, а к некоторым предметам даже превосходные; прилежанием и особенно поведением, основанным на добрых сердечных свойствах его натуры, он может послужить образцом для каждого ученика. Продолжая заниматься с тем же похвальным усердием, он может надеяться поступить в университет в октябре 1828 г.

Х.К.Андерсен обладает тремя желательными для каждого ученика, но крайне редко соединяющимися в одном лице качествами, а именно — способностями, прилежанием и примерным поведением. Поэтому я не могу аттестовать его иначе, как вполне достойного всяческой поддержки, которая бы обеспечила ему возможность продолжать начатое учение, тем более что и годы его уже не позволяют ему свернуть теперь на иной путь. Не только его природная честность, но также усердие и несомненные дарования служат залогом того, что затраченные на него усилия не пропадут даром.

Хельсингёр. 18 июля 1826 года.

С.Мейслинг,  
доктор философии, директор  
школы в Хельсингёре».

О подобной аттестации, дышащей таким доброжелательством ко мне, как уже было сказано, я не мог даже и подозревать, ибо я был окончательно подавлен и уже не верил в себя. И вот тогда-то в мой адрес поступило лаконичное, но полное истинной любви послание от Коллина.

«Не падайте духом, дорогой Андерсен! Успокойтесь, будьте благо-разумны — и все пойдет на лад. Директор желает Вам только добра. Его методы воспитания, быть может, несколько своеобразны, но, несомненно, приведут к желаемым результатам. В следующий раз надеюсь написать об этом подробнее, теперь же недосуг. Помогите Вам Бог! Ваш Коллин».

Окружавшая меня чудесная природа производила на меня глубокое, живое впечатление, однако любовался я ею нечасто. Я почти совсем не гулял. Как только занятия заканчивались, ворота школы запирались, и я оставался сидеть взаперти, в душной классной, где должен был зубрить свои уроки, благо, что там было тепло. Покончив с уроками, я иг-

рал с детьми директора или сидел в своей каморке. Долгое время учебным классом и спальней мне служила гимназическая библиотека; здесь я дышал спертым воздухом, окруженный древними фолиантами и кипами старых школьных программ. Никто не заходил ко мне — товарищи не смели, боялись столкнуться с директором. Эта жизнь вспоминается мне теперь как тягостный кошмар. Я опять вижу себя трясущимся, как в лихорадке, на школьной скамье, ответы замирают у меня на губах, я вижу устремленные на себя сердитые глаза, слышу насмешки и глумление... Да, тяжелое, горькое то было для меня время. Я прожил в доме директора год с четвертью, и суровое, часто даже слишком суровое обращение его почти доконало меня. Я ежедневно молил Бога облегчить мое положение или уж не дать мне дожить до следующего дня. Директору же как будто доставляло удовольствие издеваться надо мною в классе, осмеивать мою личность и выставлять на всеобщее обозрение мои недостатки. Ужаснее всего было то, что когда занятия кончались, я вынужден был снова оставаться в его доме.

Узнай Чарльз Диккенс, давший нам такое яркое описание страданий бедных мальчиков, о том, что мне довелось испытать в то время, о всех моих бедах и горестях, он, наверное, извлек бы из этого обильный материал для своих трагикомических зарисовок. Но жизнь каждого человека так сплетена с жизнью окружающих его, что не имеешь даже права быть вполне откровенным; поэтому я и не стану говорить здесь о том, что пришлось мне пережить, как не говорил этого никому и в то время. Я не жаловался и не обвинял никого, кроме себя самого, и был вполне уверен, что попал совсем не на свою дорогу, так как, по-видимому, служу лишь посмешищем для всех. Письма мои к Коллину были проникнуты таким мрачным отчаянием, что, как я впоследствии узнал от него самого, глубоко трогали его, но он не мог с этим ничего поделать, тем более что приписывал мое отчаяние расстроенным нервам, умственному переутомлению, а не постороннему влиянию, как это было на самом деле. Я действительно слишком легко поддавался настроению; душа моя была так восприимчива к каждому солнечному лучу, да вот беда — мало их тогда выпадало мне на долю, разве только в те редкие дни, которые я во время каникул проводил в Копенгагене.

Резок, почти сказочен был контраст между моею школьною жизнью и жизнью в семейном круге, открывавшемся для меня в Ко-

пенгагене, в доме адмирала Вульфа. Его супруга отнеслась ко мне с истинно материнской добротой, а дети приняли меня с распростертыми объятиями. Это было первое семейство, приютившее меня как родного; здесь я обрел по-настоящему счастливый семейный очаг. Жили они в нынешнем Королевском дворце Амалиенборг, в котором тогда помещался Морской кадетский корпус. Вульф был его начальником. Мне отвели комнатку с окнами на площадь, и я помню, как, глядя вниз, повторял слова Аладдина, обозревавшего городскую площадь из своего богатого дворца:

«Вон там мальчишкой бедным я бродил!»

Я чувствовал, что милосердный Боже по-прежнему бережно направляет меня, и душа моя исполнилась благодарности.

За все время, проведенное в Слагельсе, я едва написал три-четыре небольших стихотворения. Два из них — «Душа» и «К моей матери» — напечатаны в моем «Собрании сочинений»; они относятся к самым первым моим стихам. В Хельсингёре же в годы учебы я написал и того меньше — всего два: «Ночь под Новый год», а также «Умиряющее дитя» — первое стихотворение, обратившее на себя особое внимание и ранее всех получившее широкую известность, в том числе и в переводах. Я привез его с собою в Копенгаген и здесь прочел своим знакомым. Некоторые слушали ради того, чтобы доставить мне удовольствие, другие — чтобы позабавиться над моим провинциальным выговором; вообще-то многие меня хвалили, но еще больше было увещаний держать себя скромнее и не особо обольщаться на свой счет. Одна из покровительниц моих даже сказала, а затем и повторила в письме ко мне дословно следующее: «...ради бога, не воображайте, что Вы поэт, раз смогли написать пару стихотворений! Смотрите, как бы это не сделалось у Вас идеей фикс. Ну что бы Вы сказали, если бы я вдруг вообразила себя будущей императрицей бразильской? Это было бы безумием, нелепостью, но так же нелепо и с Вашей стороны воображать себя поэтом!» В действительности ничего такого я и не воображал, а если же и подумывал иногда об этом, то только лишь затем, чтобы утешиться, внести хоть какой-никакой просвет в свою мрачную жизнь. Больше же всего доставалось мне от копенгагенских знакомых за мои неуклюжие манеры и привычку говорить все, что думаю. И все же дни, проведенные в Копенгагене, как бы возрождали меня



к жизни — ведь здесь я мог наконец встретиться с тем, перед кем мысленно преклонялся более всего и кого просто боготворили тогда — с Адамом Эленшлегером. Его имя было в то время у всех на устах, все произносили его. Каков же был мой восторг, когда на одном вечере в богатом, залитом огнями салоне, где я чувствовал себя столь жалким, а одеяние свое столь убогим, что спрятался в оконной нише за тяжелыми гардинами, он подошел ко мне и пожал мне руку! Я готов был упасть перед ним на колени. Мы часто встречались в доме Вульфа, где бывал и композитор Вайсе, всегда относившийся ко мне в высшей степени дружелюбно, и здесь я часто слышал его импровизации на фортепьяно. Брэндстед, вернувшийся к тому времени в Данию, оживлял атмосферу, демонстрируя свой блестящий талант оратора. Сам Вульф читал нам вслух свои переводы из Байрона. Изящный и образованный Адлер, человек света, друг короля Кристиана VIII, был также членом кружка, а душою его была живая, остроумная молоденькая дочь Эленшлегера Шарлотта. Да, чудесные дни и вечера довелось мне проводить в столице!

И вот от такой-то жизни во время каникул я снова возвращался в дом директора. Даже и при более благоприятных условиях контраст был бы довольно резок, я же попадал будто прямо на скамью пыток. Однажды директор пришел ко мне в комнату. Будучи в Копенгагене, он слышал от кого-то, по-моему, от Эленшлегера, что я читал там свое стихотворение «Умиряющее дитя». Одного взгляда на директора было достаточно, чтобы понять, что меня ожидает. Он испытующе посмотрел на меня и потребовал, чтобы я показал ему стихотворение, прибавив, что простит меня, если найдет в нем хоть искру поэзии. С трепетом подал я ему свое сочинение. Он прочел, рассмеялся, назвал мои стихи слезливым вздором и жестоко разбил меня. Добро бы еще он поступил так, думая, что я трачу на стихоплетство свое учебное время или что мой характер требует такого строгого обращения! Но ведь он сам писал Коллину о мягкости и кротости моего нрава, значит, в данном случае я просто стал жертвой его дурного расположения духа! День ото дня жизнь моя становилась все нестерпимее, и если бы в ней скоро не произошло перемены, я бы просто погиб. Я страдал, как загнанная, забитая птичка, постоянно — не только во время занятий, но и дома. Ныне эти времена вспоминаются мне как самый горький, тяжелый период моего

существования. Тяжесть моего положения понимали даже некоторые учителя. Один из них, пастор Верлин, преподававший нам тогда древнееврейский, будучи как-то в Копенгагене, явился к Коллину и рассказал ему все. Коллин тотчас же решил перевезти меня в столицу и устроить мне частные уроки. Такое решение немало оскорбило ректора, и он на прощание, когда я благодарил его за все хорошее, чем был ему обязан, заявил, что мне никогда не бывать студентом, что все стихи мои, хотя бы их и напечатали, останутся макулатурой и что жизнь я кончу в сумасшедшем доме. Я был потрясен до глубины души.

Много лет спустя, когда мои произведения получили признание, когда уже вышел «Импровизатор», я встретился в Копенгагене с бывшим директором. Он протянул мне руку в знак примирения и откровенно признался, что ошибался во мне и обращался со мной не так, как следовало. Но теперь, когда я твердо стою на ногах, прибавил он, я должен простить ему все прошлые обиды. Мы помирились. Как бы там ни было, но и эти тяжелые, горькие испытания послужили мне во благо!

Руководителем моих занятий стал ныне уже покойный пастор Людвиг Мюллер, известный специалист по истории и языкам скандинавских стран, бывший тогда еще студентом. Я занимал каморку на чердаке, в доме на Вингордстредзе. Эта каморка описана мною в романе «Всего лишь скрипач» и в «Книге картин без картинок». Чуть ли не единственным гостем моим там был месяц, заглядывавший ко мне со стороны башни Св. Николая, которую тогда еще не заслоняли высокие дома, выросшие на улице Николаегаде. Я продолжал получать от короля небольшую стипендию, но теперь мне нужно было платить за учение, так что тратить ее приходилось более экономно. Несколько знакомых семейств предложили мне столоваться у них, и таким образом я почти во все дни недели был обеспечен обедом, сделавшись всеобщим нахлебником, как многие бедные копенгагенские студенты поступают и в наше время. Обедая по очереди то в том, то в другом доме, я получил возможность познакомиться с жизнью различных кругов общества, что было для меня чрезвычайно полезно. Учился я прилежно. Во многих предметах, например, в арифметике и геометрии, я проявил свои способности еще в Хельсингёре и был в них настолько силен, что мог заниматься ими

самостоятельно. Помощь была мне нужна главным образом по части языков — латинского и греческого, на них-то и было теперь обращено особое внимание. Но вот какая странность: даже в Оденсе, в школе для бедных, а потом в латинских школах Слагельсе и Хельсингёра я всегда преуспевал по Закону Божьему, всегда получал высшие отметки, так что меня даже ставили в пример другим, а мой теперешний учитель — человек, впрочем, весьма обходительный — находил мои познания крайне слабыми. Он был знатоком библейского учения, строго держался буквы закона, я же, хоть и был знаком с Библией с раннего детства, понимал ее все-таки больше сердцем, чем умом, был проникнут убеждением, что Бог есть бесконечная любовь. Все, что этому противоречило, мною отвергалось, ни ада, ни вечных мук я не признавал и, не стесняясь, высказывал это. В тот момент я только что освободился от школьного гнета, чувствовал себя самостоятельным, свободным и высказывал свои верования как истое дитя природы, так что учитель мой, человек в высшей степени благородный и добросердечный, но, как уже сказано, строго придерживавшийся буквы Священного Писания, часто приходил в ужас. У нас возникали горячие споры, но они не мешали мне искренне радоваться общению с этим благородным и талантливым молодым человеком. Он был столь же своеобразною натурою, что и я. Впрочем, в то время я уже несколько утратил свою непосредственность; у меня появилась привычка не то чтобы высмеивать свои лучшие чувства, но как бы подшучивать над ними, ставя превыше всего разум. В латинской школе я выслушал столько злых насмешек за свою непосредственность, чувствительность и мягкосердечие, что теперь, освободившись от этого гнета, внезапно ударился в противоположную крайность. Моя робость сменилась если не бойкою развязностью, то по крайней мере напускной смелостью, желанием казаться не тем, что я представляю собой. Я стал подтрунивать над чувствами, пытаюсь внушить себе, что уже совершенно отучился от всякой чувствительности. А между тем я по-прежнему мог прийти в отчаяние на целый день, встретив вместо ожидаемой приветливой улыбки кислую гримасу. Всем написанным раньше трогательным стихотворениям, которые были как бы исторгнуты мною прямо из глубины души вместе с горькими слезами, я давал теперь разные пародийные заглавия. Одно из таких стихотворений, слегка измененное и озаглавленное

«Жалоба кота», я поместил в «Прогулке на Амагер», другое, проникнутое искреннею и неподдельною грустью, назвал «Чахлый поэт». Из нового в то время мною было написано только несколько юмористических стихотворений — «Вечер», «Ужасный час», «Мольба к месяцу», «Свиньи». Словом, со мною произошла коренная перемена: чахлое растение было пересажено на новую почву и начинало пускать свежие побеги.

Старшая дочь Вульфа Хенриетта, жизнерадостная и одаренная молодая девушка, всегда остававшаяся моим верным другом, одна понимала меня тогда, одна поощряла юмор, начинавший проглядывать в моих стихотворениях. Она приобрела полное мое доверие и храбро защищала меня от постоянных мелочных придирок окружающих, словом, была для меня настоящей доброй сестрой. Дружба с нею оказала на меня неоценимое влияние.

В то время в датской литературе обозначилось новое течение, живо интересовавшее общество. Почти никто не интересовался политикой, постоянными темами обсуждений служили только литература да театр. Йохан Людвиг Хейберг, уже завоевавший тогда среди датских литераторов почетное место своими великолепными «Психеей» и «Горшечником Вальтером», только что ввел на датскую сцену жанр водевиля. Ему удалось это лишь благодаря покровительству Коллина, так как остальные члены дирекции театра были против постановки «Царя Соломона». Водевиль, чисто датский, национальный водевиль, был принят публикой с восторгом и скоро стал занимать едва ли не первое место среди всех остальных видов драматического искусства. Талия правила отныне бал на датской сцене, а Хейберг был ее избранником. Я познакомился с ним на обеде у Эрстеда; этот изящный, красноречивый баловень минуты очень понравился мне. Ко мне он отнесся тоже очень приветливо; впоследствии я стал бывать у него, ему понравились мои юмористические стихотворения, и он решил напечатать их в своем известном еженедельном журнале «Летучая почта». Я дебютировал в нем двумя стихотворениями — «Вечер» и «Ужасный час», подписанными Х., то есть Х.К.А. Публика же подумала, что под этою буквою скрывается сам Хейберг, и это пошло стихотворениям на пользу — они имели большой успех. Я отлично помню тот вечер, когда вышел номер журнала с моими стихотворениями. Я был в гостях в одном знакомом семействе, где меня очень

любили, однако стихи мои считали пустяками, что и высказывали мне — конечно, ради моей же пользы. Глава семейства вошел в комнату с номером «Летучей почты» и, весь сияя от удовольствия, сказал: «Сегодня здесь напечатано два превосходных стихотворения! Ну что за молодец этот Хейберг!» И он прочел мои стихотворения. Сердце мое забилося сильнее, однако я не проронил ни слова. Зато одна молодая девушка, присутствовавшая при этом и посвященная в секрет, не смогла удержаться и радостно объявила: «Да ведь это стихи Андерсена!» Воцарилось молчание. Папаша молча поглядел на меня и вышел из комнаты. Никто больше не возвращался к моим стихотворениям, и я повесил нос.

До этого в другом копенгагенском журнале было напечатано только одно мое стихотворение, «Умиряющее дитя», написанное еще в гимназии, да и то лишь благодаря протекции директора театра Ольсена. Никто не желал помещать стихотворение, написанное учеником школы. Сёборг, автор строк «Пройдет сто лет, и будет позабыто все!», взял было его у меня, когда я еще учился в школе, и обещал пристроить в ютландский журнал «Услады чтения», но и в этом журнале редактор отказался принять стихи школьника. Наконец стихотворение нашло себе место в «Копенгагенской почте». А вскоре его перепечатал в «Летучей почте» и Хейберг, да еще с примечанием, что «с удовольствием» печатает его у себя, несмотря на то что оно уже появилось раньше в ином журнале. Это было первое официальное признание моего дарования, однако большинство окружающих по-прежнему продолжали считать мой поэтический талант очень незначительным. Один из наших малоизвестных поэтов, бывший, однако, крупным сановником, как-то раз пригласил меня к себе и за обедом рассказал, что его просили участвовать в альманахе «Новогодний подарок». Я сказал, что тоже получил подобное предложение и что обещал дать туда небольшое стихотворение. Хозяин рассердился: «Так, значит, в этом альманахе будут участвовать все кому не лень! В таком случае могут обойтись и без меня! Я вряд ли пошлю им что-нибудь!»

Об этом факте, пожалуй, и не стоило бы упоминать, настолько он сам по себе мелок, но в свое время вся эта история подействовала на меня крайне удручающе, и несколько дней после этого я ходил расстроенный.

Учитель мой жил в Кристиансхавне, и я ежедневно ходил туда по два раза; направляясь к учителю, я обыкновенно думал только об уроках, на обратном же пути давал мыслям полную свободу, и в уме у меня возникал целый калейдоскоп поэтических картин. Ни одна из этих картин так и не была занесена на бумагу. За весь год я написал только несколько юмористических стихотворений, и то лишь ради того, чтобы, по совету Бастхольма, «дать исход чувствам». Идеи и образы меньше тревожили меня, покоясь на бумаге, нежели живя у меня в мозгу.

В сентябре 1828 года я сдал экзамен и стал студентом. В тот год деканом был Эленшлегер; он дружески протянул мне руку, приветствуя в моем лице нового члена студенческой семьи. Этому событию я придавал глубокое значение, оно сильно взволновало и растрогало меня. Мне было уже двадцать три года, но при этом во многих отношениях я оставался сущим ребенком. Вот маленький эпизод, который может помочь составить некоторое представление об этом. Незадолго до начала экзаменов мне случилось обедать у Х.К.Эрстеда, и соседом моим за столом оказался молодой человек, очень скромный и тихий. Я до сих пор ни разу не встречал его в доме Эрстеда и подумал, что это какой-нибудь провинциал, недавно приехавший в Копенгаген. Поэтому, ничуть не смущаясь, я спросил его: «А у вас тоже на днях экзамен?» — «Да», — отвечал он с легкой улыбкой. «Вот и у меня!» — подхватил я и с увлечением принялся распространяться об этом важном для меня событии. Я непринужденно, как с равным, болтал с молодым человеком, а между тем это был профессор, который затем экзаменовал меня по математике, наш известный милейший фон Шмидтен, поразительно похожий лицом и фигурой на Наполеона. Очутись он в Париже, их, наверное, спутали бы. Встретившись лицом к лицу у экзаменационного стола, мы оба были немало смущены. Мой профессор оказался, однако, настолько же добр, насколько и умен, и от всей души пытался ободрить меня. Не зная, как бы это лучше сделать, он наконец нагнулся ко мне и прошептал: «Ну, каким же поэтическим произведением одарите вы нас по окончании экзаменов?» Я удивленно поглядел на него и боязливо ответил: «Не знаю еще... А вот будете ли вы так добры спрашивать меня не слишком строго?» — «Вы хорошо подготовлены?» — продолжал он по-прежнему тихо. «Да, в ма-

тематике я довольно силен. В школе в Хельсингёре мне приходилось даже помогать слабым ученикам, и мне всегда ставили «отлично», но тем не менее мне страшно!» Вот такая беседа профессора с учеником! Во время экзамена я от волнения сломал одно за другим все гусиные перья, лежавшие на столе у профессора; он же не сказал на это ничего и только осторожно отодвинул в сторону одно, чтобы было чем поставить мне отметку.

Экзамены я благополучно сдал. Тогда-то и явился на свет божий пестрый рой фантазий и мечтаний, которые преследовали меня во время моих ежедневных прогулок в Кристиансхавн; появились они в первом моем прозаическом произведении — «Прогулка от Хольмен-канала до восточного мыса острова Амагер». Эта юмористическая книжица, нечто вроде собрания фантастических арабесок, довольно ярко характеризует мою тогдашнюю личность, мое развитие и стремление воспринимать всю жизнь как шутку, смеяться сквозь слезы над собственными чувствами. Однако, несмотря на яркость и пестроту красок этой поэтической импровизации, ни один издатель не решался печатать ее. Я рискнул издать ее за свой счет, книжка вышла, и через несколько дней издатель Рейцель купил у меня право на второе издание, что прежде случалось лишь с лучшими из произведений Эленшлегера. Недавно «Прогулка...» была переведена на немецкий язык и вышла в Гамбурге. Весь Копенгаген читал мою книжку. Со всех сторон раздавались похвалы, но я все-таки подвергся строгому выговору со стороны одного из моих знатных покровителей. Получилось довольно забавно. Он находил, что я в этом произведении выставляю в сатирическом свете Королевский театр, а это, по его мнению, было с моей стороны не только неприлично, но еще и неблагодарно. Неприлично потому, что затронутым оказывалось имя короля, а неблагодарно потому, что я пользовался правом бесплатного входа в театр. Но этот комичный выговор со стороны во всех других отношениях умного человека был совершенно заглушен восторженными похвалами других. Я был на гребне восторга: наконец-то я студент и признанный поэт — сбылась моя самая заветная мечта.

Отзыв Хейберга в «Литературном ежемесячнике» о моей книге был очень благожелателен. Отрывки из «Прогулки...» были еще раньше напечатаны им в «Летучей почте». Как это следует из «Со-

чинений» Поуля Мёллера, их читали, и даже весьма охотно, и в Норвегии, что самого Мёллера немало раздражало, ибо сам он безжалостно критиковал мои книжки. Однако всего этого я тогда не знал, и мне казалось, что все вокруг в восторге от моей «Прогулки...».

В тот год в университет поступили почти двести новичков; многие из них писали стихи и даже печатались. В шутку говорили, что в том году четверо крупных и двенадцать мелких поэтов стали студентами; с некоторой натяжкой, но с этим вполне можно было согласиться. К четверым «крупным» причисляли Арнесена, чей первый водевиль «Интрига в развлекательном театре» был поставлен в Королевском театре в тот год, когда он стал студентом, Ф.Й.Хансена, издавшего тогда свое «Чтение для высшего света», Холларда Нильсена и, наконец, Х.К.Андерсена. Среди двенадцати же «мелких» был один, ставший впоследствии звездой первой величины в датской литературе, — создатель «Адама Хомо» Палудан-Мюллер. Но в то время он еще ничего не печатал, и только товарищи его знали, что он пишет стихи.

Однажды я получил от него письмо с предложением вместе издавать еженедельник.

«Возможно, — писал он, — Вы удивитесь, получив подобное предложение от того, кто до сих пор не выпустил ничего, что убедило бы Вас в моей способности взяться за осуществление подобного начинания. Однако, рискуя, быть может, показаться Вам излишне самоуверенным, я все же смею утверждать, что прихожусь музам не совсем пасынком. При этом рискну сослаться в качестве доказательства на сборник стихов, написанных мною для собственного удовольствия, который я храню в ящике своего секретера». Далее следовали план предполагаемого издания и перечень условий, среди которых значилось, что выпускаемые произведения не должны быть переводами, перепечатками из других изданий, все материалы обязаны быть оригинальными сочинениями и т.д. Специально для меня к письму было приложено небольшое стихотворение «Улыбка». Я, однако, не хотел связывать себя работой над еженедельником, и потому из этой идеи ничего не вышло. Еще до выхода в свет моей «Прогулки...» мы с Карлом Баггером договорились издать в одной книжке все написанные нами к тому времени стихи, однако



после того как выяснилось, что «Прогулка...» пробудила интерес в публике и приобрела массу читателей, Баггер решительно и недвусмысленно заявил, что теперь наши стихи не могут печататься вместе: ему постоянно будет казаться, что его самого читают только ради меня. План наш, таким образом, окончился ничем — в отличие от нашей дружбы, получившей дальнейшее развитие. К сожалению, не могу сказать того же о моих отношениях с Палуданом-Мюллером, который впоследствии пошел своим — причем, прямо скажем, блестящим — путем.

Среди своих товарищей я пользовался большой славой и упивался ею, как мог, решительно над всем подтрунивал и во всем старался отыскать смешные стороны. Плодом этого веселого настроения явился водевиль, пародия на классические трагедии, в которых главную роль играл рок: «Любовь на башне Св. Николая, или Что скажет партер<sup>1)</sup>», написанный рифмованными стихами. «Литературный ежемесячник» справедливо отметил главный недостаток водевиля — я осмеивал в нем то, что уже отжило в Дании свой век. Тем не менее водевиль был поставлен в Королевском театре, товарищи мои, студенты, встретили его восторженно и устроили мне настоящую овацию с криками «Да здравствует автор!». Я был вне себя от радости, отнюдь не задаваясь вопросом, было ли тут чему особенно радоваться, и придавал успеху водевиля такое значение, которого он, в сущности, вовсе не имел. Наплыв чувств был так силен, что я не выдержал, выскочил из театра, перебежал площадь и ворвался в квартиру Коллина. Дома была лишь его супруга; я почти без чувств опустился на первый попавшийся стул и зарыдал. Добрая женщина не знала, что и подумать, и принялась утешать меня: «Ну же, не принимайте это так близко к сердцу, ведь и Эленшлегера освистывали, да и многих других великих поэтов тоже!» — «Меня вовсе не освистали! — прервал я ее, рыдая. — Мне хлопали и кричали: “Да здравствует автор!”».

Ах, как я был тогда счастлив! Я любил весь мир, был полон поэтической отваги и юношеской свежести. Передо мною открывались одна за другой двери разных домов, легко, как мотылек, я перелетал из одного общества в другое и был в высшей степени вполне доволен собою. Эта рассеянная, полная сильных внутренних и внешних волнений и событий жизнь не мешала, однако, моим за-

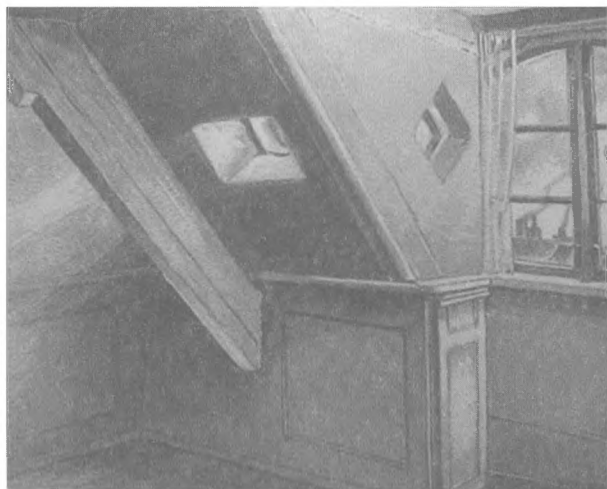
Til Styremet af 1828 i October 1828 har fremstillet sig  
*Kans Christian Andersen*, og paa Grund  
 af de specielle Characterer for

Udarbeidelse i Modersmaalet	.....	H. 20
Latin	.....	H. 20
Latinsk Stil	.....	H. 20
Græk	.....	H. 20
Hebraisk	.....	H. 20
Religion	.....	H. 20
Geographic	.....	H. 20
Historie	.....	H. 20
Arithmetik	.....	H. 20
Geometric	.....	H. 20
Tysk	.....	H. 20
Fransk	.....	H. 20

erholdt Hoved-Character *H. 20*

Kjøbenhavn d. 25. Oct. 1828.

Detto bevidnes herved af undertegnede



Школьный аттестат Х.К.Андерсена  
 Мансарда дома на Вингорстрæде,  
 где Х.К.Андерсен жил в 1821—1828 гг.

нятиям; учился я по-прежнему весьма прилежно и уже без посторонней помощи подготовился ко второму экзамену, так называемому философско-филологическому, который и выдержал на «отлично». Оригинальная сцена произошла у экзаменационного стола, когда я сдавал экзамен Х.К.Эрстеду. Я хорошо отвечал на все его вопросы, он радовался этому и, когда я уже готов был отойти, остановил меня следующими словами: «Ну, вот еще один вопросик!» При этом все лицо его так и сияло ласковой улыбкой. «Скажите мне, что вы знаете об электромагнетизме?» — «Даже слова такого не слышал!» — отвечал я. «Ну, припомните! Вы на все отвечали так чудесно, должны же вы знать что-нибудь об электромагнетизме!» — «Да в вашей “Химии” не сказано об этом ни слова!» — с уверенностью сказал я. «Это верно, — ответил Эрстед, — но я рассказывал об этом на лекциях!» — «Я был на всех, кроме одной, а вы, верно, тогда-то как раз и говорили об этом, поэтому-то я ровно ничего не знаю об электромагнетизме и даже названия этого не слышал». Эрстед улыбнулся своей особой, добродушной улыбкой, кивнул головой и сказал: «Жаль, что вы этого не знаете! Я бы вам выставил “отлично”, а теперь — получите “хорошо”!»

Когда мне случилось побывать в гостях у Эрстеда, я попросил рассказать мне про электромагнетизм и впервые услышал как об этом предмете, так и о том, какую роль играл по отношению к нему сам Эрстед. Десять лет спустя я написал по письменной просьбе Эрстеда (если не ошибаюсь, в «Копенгагенской почте») заметку о первом телеграфе, устроенном им в Политехнической школе; провода шли из заднего флигеля в передний. В заметке я призывал копенгагенцев познакомиться с «научным открытием, честь которого принадлежит датчанину». Подписана она была «у—».

Экзамены, таким образом, были благополучно сданы, я получил хорошие оценки, а к Рождеству вышел и первый сборник моих стихотворений, принятый, насколько мне было известно, и публикой, и критикой весьма благосклонно. В то время я вообще прислушивался лишь к звонким бубенчикам похвал в свой адрес; я был тогда еще так молод, так счастлив, будущее мое казалось мне сплошь залитым солнечным светом!

## IV

До сих пор я побывал лишь в очень немногих уголках моего отечества — в нескольких районах Фюна и Зеландии, а также на Мёнском утесе. Сколь ничтожно мало это было для такой экзальтированной личности, как моя, чей интерес к тому же подогревали живописные рассказы Мольбека. Летом 1830 года я отважился на большое путешествие — мне предстояло проехать по Ютландии до самого побережья Северного моря, а также поколесить по всей моей малой родине — острову Фюну. Я и не подозревал, как отзовется это путешествие на всей моей жизни. Больше всего радовался я, представляя, как увижу ютландские вересковые пустоши и, может быть, даже встречу там семью кочующих цыган. Устные рассказы о них и новеллы Бликера будили во мне сильнейший интерес. В то время в стране только еще налаживалась пароходная связь; плохонький неповоротливый пароход «Дания» делал один рейс в сутки, но по тем временам и это считалось рекордной скоростью. Год назад я уже плавал на подобном судне «Каледония», первом, появившемся в наших водах. Матросы парусных судов постоянно издевались над пароходами, называя их не иначе, как «шлепающими вертушками». Что касается Эрстеда, то он, конечно, был в восторге от этого крупнейшего изобретения, тем забавнее было слушать страстные речи одного его родственника, старого моряка, с которым я встретился раз у него за обедом. Старик ужасно сердился на «проклятые дымовики». «С сотворения мира люди пользовались нормальными судами, — говорил он, — судами, которые двигались ветром, так нет же — подавай им новые! Не пропускаю ни одного из этих дымовиков, чтобы не изругать его в рупор как следует, пока он не скроется из вида!»

В то время поездка на пароходе была целым событием. В наши дни мы до того уже освоились с этим изобретением, оно кажется нам таким древним, что невероятным представляется, как еще совсем недавно даже рассказы о нем казались мифом. Как сказку, пересказывали историю о том, как первый пароход был показан британцами Наполеону как раз перед его войной с Англией.

Я заранее рисовал себе предстоящую ночь плавания по Каттегату на этом новомодном судне самыми яркими красками, но — увы! — подвела погода. Я почувствовал приступ морской болезни. Только на сле-

дующий день к вечеру добрались мы до Орхуса. Там, как и во всех ютландских городах, знали «Прогулку на Амагер» и мои юмористические стихи, и я повсюду встречал самый радушный прием. Дорога пролегла по вересковой пустоши, все здесь было для меня ново и производило сильнейшее впечатление. Погода, однако, не благоприятствовала поездке; дул сильный сырой резкий ветер с моря, а у меня был с собой самый незначительный запас одежды. Пришлось поскорее заканчивать свое пребывание в Виборге, где я провел несколько дней, и поворачивать обратно на юго-восток, отказавшись от путешествия к Западному побережью. Неудача эта не помешала мне, впрочем, написать «Фантазию на берегу Северного моря» и «По Западному берегу Ютландии», тогда как я ни того, ни другого не видал, а знал о них лишь по рассказам. Я осмотрел окрестности Скандерборга, Вайле и Колдинга и направился на Фюн; тут я провел несколько недель желанным гостем в поместье Мариехой близ Оденсе, недалеко от канала, у вдовы книгопечатника Иверсена. С раннего детства это место казалось мне идеалом деревенской усадьбы. Небольшой садик был весь изукрашен разными надписями в стихах и в прозе, содержание которых диктовало, что следовало думать и чувствовать человеку, попавшему сюда. На берегу канала, по которому плавали суда, были выстроены крошечная батарея с деревянными пушками и караульная будка, возле которой стоял чудесный деревянный солдатик с детским лицом. Тут я и жил, в доме этой необычайно умной, радушной старушки, окруженной целою толпою милых и смысленых молоденьких внучек. Старшая из них, Хенриетта, выступила впоследствии на литературном поприще с двумя новеллами — «Тетя Анна» и «Дочь писательницы», о которых я расскажу несколько позднее. Недели летели в этом полном жизни и веселья обществе почти незаметно. Я написал за то время несколько юмористических стихотворений, в том числе и «Похититель сердец», и начал роман «Карлик Кристиана II». Некоторые материалы об этой эпохе мне любезно предоставил ученый-археолог Ведель-Симонсен, живший тогда в усадьбе Эльведгор близ Богенсе. Было готово уже около шестнадцати листов рукописи, я прочел их Ингеманну, и они ему очень понравились. Вероятно, вследствие этого он и дал столь хороший отзыв обо мне, когда я ходатайствовал о стипендии для поездки за границу. Но скоро и роман, и юмористические стихи — все было отложено мной, по крайней мере на время, в сторону. В моем сердце зазвучали

иные, до сих пор еще ни разу не затронутые струны — мне пришлось самому изведать чувство, над которым я до сих пор столько смеялся. Теперь оно мне отомстило за себя!

В это лето я заехал в один из маленьких фюнских городков и познакомился там с одним богатым семейством. Здесь для меня внезапно и открылся новый мир, началась новая жизнь. При всем богатстве моих тогдашних чувств и переживаний они вполне смогли уместиться в написанное мной тогда четверостишие:

Темно-карих очей взгляд мне в душу запал;  
Он умом и спокойствием детским сиял;  
В нем зажглась для меня новой жизни звезда,  
Не забыть мне его никогда, никогда!\*

Вторая наша встреча произошла осенью в Копенгагене. Меня переполняли новые планы, я собирался в корне изменить свою жизнь, бросить писать стихи — разве это настоящее дело? — и готовиться в пасторы. Все мысли мои были заняты ею, но — увы! — она любила другого и вышла за него замуж. Только много лет спустя я убедился, что все это было к лучшему как для меня, так и для нее. Она, по-видимому, даже не подозревала, как глубоко было мое чувство и какое оно имело для меня значение. Она сделалась добродетельной женой честного человека и счастливой матерью. Благослови их Господь!

В «Прогоулке на Амагер» и во многих других моих произведениях того времени очень силен был элемент пародии, сарказма, что не нравилось многим из моих друзей: они считали, что до добра это не доведет. Критика же удосужилась пробрать меня по этому поводу именно тогда, когда в моей душе зародилось глубокое чувство, полностью вытеснившее прежнюю ироничность. Сборник новых стихотворений «Фантазии и наброски», вышедший к Новому году, свидетельствовал об ином моем настроении; свою душевную драму я воспроизвел в пьесе «Разлука и встреча», вся разница была лишь в том, что здесь я изобразил любовь взаимную. Пять лет спустя пьеса эта была поставлена на сцене Королевского театра.

Среди моих друзей был один, Орла Леман, которому я особенно симпатизировал за быющую в нем ключом жизнерадостность и крас-

---

\* Перевод А. и П. Ганзенев

норечие. Он, в свою очередь, тоже относился ко мне весьма тепло, сердечно, и я охотно посещал его. Отец его был родом из Гольштейна, и в доме много говорили и читали по-немецки. Гейне тогда только что появился на литературном горизонте, и пылкая молодежь восхищалась его стихами. Однажды я явился к Леману, жившему тогда с семьей в Вальбю, и он встретил меня, восторженно декламируя из Гейне: «Thalatta, Thalatta, du ewiges Meer!»\* Мы стали вместе читать Гейне и засиделись далеко за полночь. Пришлось заночевать у друга, зато я познакомился с поэтом, который был мне так сродни, чьи стихи затрагивали самые чувствительные струны моей души. Скоро влияние Гейне пересилило даже влияние Гофмана, которое еще так заметно в моей «Прогулке на Амагер». Вообще я могу назвать только трех писателей, произведениями которых настолько увлекался в юности, что они стали для меня плотью от плоти и кровью от крови: Вальтера Скотта, Гофмана и Гейне.

День за днем болезненно-чувствительное настроение овладевало мною все сильнее и сильнее; меня все больше стали привлекать к себе печальные явления жизни, я засматривался теперь на теневые стороны, сделался раздражительным и скорее обращал внимание на порицания, нежели на похвалы. Зародыш такого настроения был посеян во мне моим поздним поступлением в школу, форсированным прохождением учебного курса и внутренним и внешним гнетом, заставлявшим меня выпускать в свет недостаточно зрелые произведения. Такая «доморощенность» сильно повредила мне во многих отношениях. В моих познаниях были большие пробелы; особенно хромал я по части грамматики, т.е. главным образом по части общепринятого правописания. «Прогулка на Амагер» пестрела не опечатками, а моими собственными погрешностями в правописании, шедшими вразрез с общепринятыми правилами. Я, конечно, мог бы избежать всех этих неприятностей, заплатив за корректуру какому-нибудь студенту. Я этого не сделал, и все ошибки, которые мог бы исправить любой студент-новичок, ставились мне в укор, подавали повод к глумлениям и насмешкам. Все же хорошее, поэтическое в моих произведениях упоминалось только вскользь. Я сам знавал людей, которые читали мои стихи только ради того, чтобы отыски-

---

\* «О, вечное море!» (нем.)

вать в них грамматические ошибки и сосчитать, сколько раз я употребил одно и то же выражение или слово, например, «красиво», что выходило, по их словам, совсем уж «некрасиво». Некий кандидат богословия (теперь он священник где-то на Ютландии), автор водевилей и критических статей, не постеснялся однажды в одном доме в моем присутствии разобрать одно из моих стихотворений, что называется, по косточкам. Когда он окончил и отложил книжку в сторону, шестилетняя девочка, бывшая тут же и с удивлением прислушивавшаяся к такой беспощадной критике каждого слова, взяла книжку и, в простоте душевной указывая на слово «и», сказала: «А вот тут есть еще одно словечко! Его ты не бранил!» Кандидат, должно быть, почувствовал неосознанную иронию, заключенную в слова малышки, покраснел и поцеловал ее. Я сильно страдал от такого отношения ко мне; казалось, вновь возвращается время школьного гнета, и я все ниже и ниже с какою-то непостижимой покорностью склонял под этим гнетом свою голову. Как говорится, «пошатнувшегося всяк норовит толкнуть». Да, я был слишком мягок, непростительно добродушен, все знали это, пользовались этим, и некоторые обращались со мною почти жестоко. Случалось, что сдерживавшие меня поводы зависимости или благодарности пусть необдуманно, бессознательно, но порой чересчур уж натягивались. Все поучали меня, почти все твердили, что меня захвалили, и кто, как не они, мои истинные друзья, скажут мне правду в глаза. Поэтому я постоянно слышал только о своих недостатках, о моих действительных или мнимых слабостях. Иногда сердце во мне так и вскипало от всех обид, особенно когда приходилось терпеть их со стороны лиц, стоявших в духовном отношении ниже меня и все-таки не стеснявшихся подвергать меня в своих богатых гостиных уничтожающей критике. Я выходил из себя, разражался слезами и с жаром восклицал, что, несмотря ни на что, стану-таки известным, признанным поэтом! Эти слова подхватывались и разносились по городу; в них видели зародыш, готовый принести недобрые плоды высокомерия и скудоумия. «Он — олицетворение тщеславия, — отзывались обо мне люди, прибавляя, однако: — А в сущности, еще дитя!» Как часто в это время я находился у самой последней черты отчаяния. Я все больше и больше терял веру в себя и в свои дарования, копил в сердце все порицания и, как бывало



в гимназии, готов был думать, что весь мой талант — одно лишь самообольщение. И хотя я сам был склонен поверить в это, но слышать такое от других все же не мог. Тогда-то у меня и вырывались гордые и необдуманные слова; их, как я уже говорил, подхватывали и потом ими же бичевали меня. А в руках тех, кого зовешь своими близкими, такие бичи поистине становятся скорпионами.

Коллин счел, что мне пошло бы на пользу небольшое путешествие, что мне следует хоть несколько недель побыть среди незнакомых людей, в иной обстановке, набраться новых впечатлений. У меня же, кстати, была скоплена небольшая сумма денег, вполне достаточная, чтобы совершить на нее поездку на пару недель в Северную Германию.

Итак, весной 1831 года я в первый раз выехал за пределы Дании, увидел Любек и Гамбург. Все поражало, занимало меня. Железных дорог там тогда еще не существовало, путь мой лежал через Люнебургскую пустошь по широкому песчаному почтовому тракту. Он был совсем таким, каким я себе представлял его по замечательному «Лабиринту» Багесена. Я добрался до Брауншвейга, в первый раз увидел горы — это был Гарц — и пешком совершил путь от Гослара через Броккен до Галле. Передо мною открылся новый, диковинный мир. Я снова обрел прежний свой юмор; он, словно перелетная птица, вернулся в свое гнездо, которое в его отсутствие занимал воробей — тоска. На вершине Броккена я оставил в книге для записей туристов следующее четверостишие:

Высот заоблачных достиг,  
 Но утаить, друзья, не смею,  
 Что к небу ближе был я в миг, —  
 В миг незабвенной встречи с нею!\*

Год спустя один мой друг, также посетивший Броккен, рассказывал мне, что видел мои стихи и под ними приписку одного земляка: «Мальш Андерсен, побереги свои стишки для “Усладительного чтения” Элквиста, не надоедай нам ими хотя бы за границей, куда им, впрочем, и не попасть, если ты сам не будешь таскать их с собою повсюду».

В Дрездене я познакомился с Тиком; Ингеманн дал мне письмо к нему. Мне удалось побывать на одном вечере и слышать, как Тик

\* Перевод А. и П. Ганzenов

читал «Генриха IV» Шекспира. На прощание он написал мне в альбом несколько слов, пожелав успехов на литературном поприще, горячо обнял и поцеловал. Это произвело на меня глубокое впечатление, я никогда не забуду кроткого взгляда его больших голубых глаз. Весь в слезах, вышел я от него и обратился к Богу с горячей мольбой поддержать меня на том пути, куда влекут меня сердце и душа, дать мне силу и умение высказывать волнующие грудь чувства и сделаться достойным похвалы Тика к тому времени, когда мне снова доведется свидеться с ним. Повторная наша встреча состоялась лишь много лет спустя, когда мои последующие произведения были уже переведены на немецкий язык и прекрасно приняты в Германии. Тик крепко пожал мне руку, и это его пожатие было мне тем дороже, что он, как я считаю, был первым из иностранцев, кто дал мне «напутственное благословение». В Берлине, благодаря письму Эрстеда, мне удалось познакомиться с Шамиссо. Высокий серьезный человек с открытым взглядом и длинными локонами до плеч сам отворил на мой звонок двери, прочел письмо, и — не знаю, каким образом — мы с ним сразу же поняли друг друга. Я почувствовал к нему доверие и излил перед ним всю душу — хотя и на плохом немецком языке. Шамиссо читал по-датски; я подарил ему свои стихотворения, и он был первым, кто перевел мои произведения на иностранный язык, первым, кто познакомил со мною Германию. В «Утренней газете для образованных» он отозвался обо мне следующим образом: «Стихи Андерсена, умные, искренние, полные неподдельного юмора, соседствующего с народной простодушностью, покоряют своей глубиной и звучанием. Несколькими меткими штрихами ему удастся не только создать поистине живые миниатюры и широкие полотна, но и сделать их понятными для тех, кто никогда не был знаком с родиной поэта. К сожалению, быть может, как предыдущие, так и эти переводы его стихов не вполне точно отражают действительные свойства его природы». С первой же нашей встречи он стал для меня верным, сочувствующим другом. О том, как он радовался моим более поздним успехам, свидетельствуют письма мне, напечатанные в собрании его сочинений.

Эта небольшая поездка в Германию, по общему мнению моих копенгагенских друзей, сильно повлияла на меня. Путевые впечатления мои скоро появились в печати под общим заглавием «Теневые картины».

Из путешествия по Гарду и Саксонской Швейцарии». Эти наброски были впоследствии не раз переведены на немецкий и английский языки. Окружающие говорили, что данное произведение указывает на заметный прогресс в общем моем развитии. Однако отношение ко мне вовсе не свидетельствовало о том, что они действительно признавали этот прогресс, — то же мелочное копание во всех моих ошибках и недостатках, то же стремление вечно поучать, воспитывать меня, которое я иногда имел слабость сносить даже от лиц совершенно посторонних. Однажды, вскоре после выхода в свет «Теневых картин», я застал одного из таких моих самозванных воспитателей за чтением этой книжки. На самом конце страницы он нашел слово *hun*, а следующая страница начиналась словом *den*, что вместе составляло *Hunden* (собака), напечатанное по недосмотру через маленькое *h*\*. Ментор строго спросил: «Что это? Неужели вы пишете “Hunden” через маленькое “h”?» Я был в шутовском настроении, к тому же мне стало досадно, что меня смогли заподозрить в такой безграмотности, и потому ответил: «Здесь речь идет о маленькой собачке, так будет с нее и маленького “h”!» Мою невинную шутку приняли, однако, за проявление высокомерия, тщеславия, за нежелание слушать советы ученых людей. Все это мелочи, — скажут, может быть, мои читатели; но ведь капли долбят камень! И я привожу здесь все эти факты только в защиту от постоянных и бездумных нареканий, упреков меня в тщеславии. Поскольку в частной моей жизни не было ничего такого, к чему бы можно было придаться, то и пустили в ход басню о моем тщеславии и часто впоследствии попрекали меня этим случаем.

Я охотно читал вслух свои произведения, особенно новые — они ведь так нравились мне самому, а я еще не был достаточно опытен, чтобы знать, что автору никогда не следует лично читать свои произведения, особенно у нас в стране. Любой господин или дама, мало-мальски брэнчащие на фортепьяно или умеющие исполнять какие-нибудь романсы, беспрепятственно могут являться в любое общество со

---

\* Слово *hun* само по себе означает личное местоимение «она», а *den* — местоимение указательное, и ошибка от того и произошла, что первую часть слова «*Hunden*» — «*hun*», заканчивавшую один лист, и вторую — «*den*», начинавшую другой, — приняли за местоимение. (Прим. А. и П. Ганzenов).

своими нотами и садиться за инструмент, не вызывая никаких нареканий; писатель также может читать вслух, но лишь чужие произведения, а не свои собственные, — это воспринимается как тщеславие, хвастовство. Так говорили даже и об Эленшлегере, который охотно и прекрасно читал свои произведения в разных салонах. Каких только замечаний не приходилось на этот счет выслушивать мне от людей, думавших прослыть благодаря этому остроумными и интересными. А уж коль скоро публика позволяла так относиться к самому Эленшлегеру, то чего же было стесняться с каким-то там Андерсеном!

Иногда юмор мой все-таки брал верх над досадой и огорчением, и слабости людские, в том числе и мои собственные, только смешили меня. В одну из таких минут у меня и родилось стихотворение «Та-та, та-та-та, та-та!».

Шуточный стишок этот назвали памфлетом, и мне здорово досталось за него в стихах и прозе во многих газетах и журналах. Мало того, одна почтенная дама, у которой я бывал, как-то отвела меня в сторону и с инквизиторским видом спросила, неужели я бываю в таких домах, какой рисую в своем стихотворении? Разумеется, это вовсе не ее дом, но люди-то могут подумать, что намекал я именно на него — ведь я же здесь бываю! И задала же она мне головоломку! Как-то раз в фойе театра ко мне подошла прекрасно одетая, совершенно не знакомая мне дама и, смерив меня негодующим взглядом, гневно бросила в лицо: «Та-та-та, та-та-та, та-та!» Я снял шляпу и отвесил ей поклон — ведь вежливость тоже хороший ответ.

С конца 1828-го по 1839 год я был вынужден жить единственным своими литературными заработками; между тем писательские гонорары были в то время очень скромные, и мне приходилось весьма туго, тем более что я, вращаясь в известных кругах общества, должен был обращать особое внимание на свою одежду. Редакции газет вовсе не платили своим случайным сотрудникам; постоянно писать все новые и новые вещи ради денег было немислимо трудно, практически невозможно, и я взялся за переводы пьес для Королевского театра. Так, я перевел «La Quarantaine»\* и «La reine de seize ans»\*\* и написал несколько оперных либретто.

---

\* «Карантин» (фр.).

\*\* «Шестнадцатилетняя королева» (фр.).

Еще произведения Гофмана заставили меня обратить внимание на комедии Гоцци: в «Il Sorvo»\* я нашел превосходный материал для оперного либретто. Ознакомившись с переводом этой вещи, сделанным Мейслингом, я пришел в полный восторг и в несколько недель написал текст для оперы «Ворон», который и отдал одному молодому композитору, тогда еще никому не известному, однако происходящему из семьи музыкантов. Дед его сочинил мелодию гимна «Король Кристиан у мачты высокой стоял». Это был нынешний профессор И.П.Э.Хартманн, наша гордость и слава. Теперь, пожалуй, многие улыбнутся, узнав, что мне в письме к директору театра пришлось некоторым образом ручаться за Хартманна, рекомендовать его как композитора! А ныне он является первым среди наших композиторов, гордостью Дании! Написанное мною либретто страдало сухостью и недостатком лиризма; впоследствии я и сам понял это и не включал его в собрание моих сочинений. Лишь один хор и одна песня из этой оперы, позже переработанные мною для концертного исполнения, вошли в сборник стихотворений. Сюжет оперы был основан на красивой старинной сказке, обработанной Гоцци; я же, в свою очередь, написал переложение его варианта. Как бы там ни было, но Хартманн написал на мое либретто чудную, истинно гениальную музыку, и я глубоко убежден, что со временем эта опера опять займет в репертуаре датской Королевской сцены почетное место. Теперь же ее давно не исполняли, и большинство знакомы с ней лишь по отрывкам, исполняемым в концертах музыкального общества, которое и выпустило издание нот оперы с прилагаемым текстом.

Для другого молодого композитора, концертмейстера И.Бредаля, я написал либретто по роману Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста». Обе оперы были поставлены на Королевской сцене, но меня за мои либретто критика осудила беспощадно, хотя последнее из них нельзя было назвать неудачным в литературном отношении. В самых энергичных выражениях рецензенты дали мне понять, что считают мои последние литературные опыты жалким плагиатом. От этого времени у меня сохранилось одно воспоминание об Эленшлегере, которое, с одной стороны, свидетельствует о его раздражительности, но с другой — о его искренности и сердечности.

---

\* «Ворон» (итал.).

«Ламмермурская невеста» имела большой успех; я принес Эленшлегеру печатное либретто, он улыбнулся и поздравил меня с успехом спектакля, часть которого приходилась и на мою долю. Впрочем, по его словам, успех этот достался мне довольно дешево: я просто отыскал подходящее произведение Вальтера Скотта, а композитор поддержал меня — вот и все! Мне было так больно услышать это от него, что на глазах у меня блеснули слезы. Заметив это, он бросился ко мне на шею, расцеловал меня и признался: «Это другие натравили меня на вас!» И он тотчас постарался со свойственными ему теплотой и сердечностью успокоить меня; на прощание он подарил мне одну из своих книг с любезной надписью.

Вайсе, один из первых моих благодетелей, с которым я регулярно встречался в доме адмирала Вульфа, был на премьере «Ламмермурской невесты» и остался в высшей степени доволен моим либретто. Вскоре он пришел ко мне и рассказал, что давно носитя с мыслью сочинить оперу на сюжет «Кенильворта» Вальтера Скотта и взял даже с Хейберга обещание написать ему либретто, но дальше обещания это дело не пошло. Теперь он думает, что либретто это мог бы написать и я — мы бы с ним великолепно сработались. Я и не подозревал, какие несчастья навлек на свою голову, ответив ему согласием. Как я уже говорил, я сильно нуждался тогда в деньгах, но взялся за упомянутую работу не из-за ожидаемого гонорара, а главным образом потому, что мне было лестно сотрудничать с Вайсе, любимейшим нашим композитором и моим первым благодетелем, который так благожелательно отнесся ко мне, бедному мальчику, в доме Сибони. Теперь наши с ним отношения переходили как бы в новое, высшее качество. Я сейчас же взялся за работу, но не успел еще довести ее до половины, как о ней заговорили в городе, и на меня посыпались самые обидные нарекания; две-три газетки даже писали, что я «уничтожаю одно чужое произведение за другим». Я был так огорчен, что хотел уже было отказаться от своего намерения, но Вайсе в шутку и всерьез принялся успокаивать меня; начало моей работы вполне его удовлетворяло, и он настаивал, чтобы я довел ее до конца. Его желание было для меня выше всяких порицаний и попреков со стороны посторонних, и я сдался. Сам Вайсе тоже немедленно принялся за дело и прежде всего написал музыку для небольшой песенки во втором акте: «Пастушок пасет

овец». Скоро я окончил либретто и, так как написал его только ради самого Вайсе, да и, кроме того, собирался уехать, то и передал его в полное распоряжение композитора, которому предоставил право переделывать и изменять его, как тому заблагорассудится. Вайсе действительно вставил несколько стихов, а некоторые изменил. Так, например, у меня было сказано:

По темным проходам, тело вия,  
Смерть ползала, как змея!

Вайсе изменил двестише:

Из темного угла  
Смерть, словно уж, ползла!

Когда я впоследствии сделал ему по этому поводу какое-то замечание, он в свойственной ему шутиливой манере парировал: «В темных переходах всегда есть и темные углы, а уж ведь та же змея, только маленькая. Значит, я не изменил нарисованной вами картины, а только приспособил ее к музыке!» У этого замечательного человека была еще одна особенность: он никогда не дочитывал книги, если подозревал, что конец ее печален. На этом основании он и в опере своей заставил Эми Робсар выйти замуж за Лестера. «Зачем же делать людей несчастными, если можно устроить их счастье одним взмахом пера?» — говорил он. «Да ведь это же противоречит истории! — возражал я. — А кроме всего прочего, что же мы сделаем в таком случае с королевой Елизаветой?» — «А она может сказать: “Великая Англия, я твоя!”» — ответил он. Делать нечего, пришлось мне закончить либретто этими словами. «Кенильвортский праздник» был поставлен на сцене, но из моего либретто я напечатал только несколько песенок; две из них благодаря музыке Вайсе скоро сделались у нас в Дании весьма популярными, а именно: «Братья далеко отсюда» и «Пастушок пасет овец».

Этот период моей жизни отмечен нападками на меня в анонимных письмах, доставлявшихся мне прямо на дом неизвестными личностями. Они избивали мальчишескими насмешками и ругали меня самым грубым образом. Тем не менее я в тот же год отважился издать новый сборник стихотворений, «Двенадцать месяцев года», который, как впоследствии отмечала критика, включал в себя

многие из лучших моих стихотворений; тогда же к нему, по обыкновению, отнеслись беспощадно. В то время «Литературный ежемесячник», основателем которого, как мне помнится, был Эрстед, переживал период своего наивысшего расцвета. В числе сотрудников журнала значились многие из ученых знаменитостей Дании, слышавшие за непогрешимых судей; тем не менее, как замечал и сам Эрстед, с точки зрения эстетического уровня литературно-критический раздел журнала сильно хромал. Ему приходилось довольствоваться теми рецензентами, какие попадались в тот момент под руку. К сожалению, большинство считают, что в критике произведений художественной литературы годится всякий; это, дескать, не то что шить сапоги или стряпать обед, для чего нужны специалисты. А между тем на деле оказывается, что можно составлять прекрасные латинские учебники или словари и в то же время не годиться в судьи поэтических произведений. Желаящий может отыскать множество тому примеров, прочтя оценку стиля моих произведений в «Литературном ежемесячнике» тех лет.

Но отыскивать подходящих лиц, готовых судить о чем угодно, становилось для редакции все труднее и труднее, и поэтому историк Мольбек, тогдашний директор Королевского театра, был и для нее просто находкой. Он часто высказывал обо мне свое мнение, так выскажу же хоть раз и я о нем свое. Я признаю в нем неутомимого труженика и составителя хорошего словаря, которым он, как принято выражаться, «восполнил важный пробел в датской научной литературе», хотя и этот его обширнейший труд можно упрекнуть в некоторой неполноте и односторонности. В нем Мольбек не столько стремится показывать нам, какого правописания придерживаются признанные авторитеты, сколько — какого считает нужным придерживаться он сам. В качестве же критика произведений художественной литературы он проявил себя крайне пристрастным и односторонним. Между тем собственного его дарования хватило только на два юношеских произведения — «По Дании», написанного цветистым языком того времени, и «Путешествие по Германии, Франции и Италии», причем все описываемое им представляется скорее почерпнутым из книг, нежели из действительности. Все свое время он проводил в кабинете и в архиве Королевской библиотеки и уже много лет не заглядывал в театр. И вдруг его сделали директором



Королевского театра и цензором представляемых в театр пьес. Амбициозный, предвзятый и брюзгливый человек — можно представить себе результаты! В начале моей авторской деятельности он проявлял ко мне особую благосклонность, но скоро моя звезда закатилась и взошла звезда Палудана-Мюллера, появившегося на литературном небосклоне со своей «Танцовщицей», а затем с «Амуром и Психеей». А раз Мольбек не за меня, значит, он против, — вот вам и вся история. Однако довольно об этом.

Есть такая поговорка: «Подтолкни покачнувшегося». Это как раз то, что мне пришлось испытать на себе в то время. Всюду говорили только о моих недостатках, и так как вполне в природе человеческой пасовать, если тебя уж чересчур донимают, то я и пасовал, что сразу же бывало отмечено моими так называемыми друзьями. Они же, в свою очередь, разносили рассказы о моих слабостях по всему большому городу, который, впрочем, иногда может быть и очень-очень маленьким. Случалось даже, что я встречал на улице прилично одетых людей, которые, проходя мимо меня, скалили зубы и отпускали на мой счет низкопробные шуточки. За нами, датчанами, вообще водится страстишка насмеяться, или, выражаясь изящнее, в нас есть комическая жилка; вот почему преобладающим литературным жанром у нас является комедия. В то время на литературном горизонте показалась новая звезда, Хенрик Херц, выступивший с «Письмами с того света». Херц умышленно не поставил под этой сатирой своего имени: написана она была от лица недавно умершего Баггесена, будто бы приславшего ее с того света. И действительно, Херц сумел так точно скопировать стиль и даже дух Баггесена, что многие готовы были поручиться: «Да, это писал сам Баггесен!» В «Письмах» автор восхвалял Хейберга, нападал на Эленшлегера и Хауха и снова вытаскивал на свет божий старую историю о моих орфографических ошибках в «Прогулке». Кроме того, к моему имени и обучению в гимназии в Слагельсе приплеталось имя св. Андерса, и таким образом появлялся «св. Андерсен верхом на однодневном жеребенке — Пегасе». Право, Хольберг придумал бы что-нибудь поостроумнее! Одним словом, меня подвергли публичной порке! «Письма с того света» произвели огромную сенсацию; по всей стране только и разговору было, что о них, все остальное отошло на второй план. На моей памяти другого тако-

го сенсационного произведения не было, если не считать «Клару Рафаэль» с предисловием Хейберга. То обстоятельство, что никто не мог угадать автора, делало ситуацию еще более пикантной. Все были в восторге, и недаром: подобные произведения не часто появляются! Хейберг в своей «Летучей почте» все же счел необходимым смягчить удар или, если хотите, заступиться за некоторых из своих друзей, критикуемых в «Письмах», для меня же у него не нашлось ни словечка. Быть выставленным на публичное осмеяние в печатном издании в то время значило гораздо больше, нежели сейчас, когда такое происходит со многими. Предшественник «Корсара», журнал «Ракета», издававшийся Матиасом Винтером, был тогда чем-то вроде позорного столба для публики, считавшей, что во всяком печатном слове есть доля истины. Однако и он оставлял надежду «приговоренному», если кто-то отважится выступить в его защиту. Мне на помощь не пришел никто, кроме одинокого благожелателя, подписавшегося псевдонимом — Давиено. Под ним скрывался студент Драйер, брат известного ботаника (ныне оба уже отошли в мир иной), человек, несомненно, одаренный. Стихи его были напечатаны уже после смерти автора в сопровождении биографии, в которой, однако, так и не была упомянута та самая поэма «Письмо в стихах к отцу Кнуда Зеландца», написанная им в мою защиту.

Мне не оставалось ничего другого, как покорно подставить голову под этот критический ливень, обрушившийся на меня, и все были убеждены, что он окончательно меня потопит. Я чувствовал себя глубоко уязвленным острым ножом насмешки и готов был так же разувериться в себе, как разуверились во мне другие. Ведь в то время считалось, что нет другого Аллаха, кроме автора «Писем», а Хейберг был его пророком.

И вот как раз в такое-то время вышел сборник моих стихотворений «Фантазии и наброски». Вместо эпитафии я выставил отрывок из «Писем», это было единственным моим ответом на все нападки!

Я просто-напросто процитировал слова самого автора.

Судите! Но суды творящим  
Скажу: трудов конечный плод,  
Рожденный гением, живет  
И в будущем, и в настоящем —  
Он движется. Ты, критик, взвесь

Все за и против: если вящим  
 Назвал одно, то можно ль весь  
 Труд счесть — пропащим?

Нетрудно ведь все в прах стереть  
 Иль целое разъять на части.  
 Но явится ль такое впредь?  
 И в нашей ли то будет власти  
 Спасти хоть крохи от напасти?

*«Письма с того света»*

Первым здравым откликом среди хора восторгов и ликований в адрес Херца явилась напечатанная в ежемесячнике «Прометей» оценка «Писем», данная им поэтом, профессором Вильстером:

«"Письма с того света" Херца — вовсе никакой не шедевр, а своего рода фокус. С трудом представляется, чтобы подобный опус, к тому же еще и столь объемный, явился плодом истинного поэтического вдохновения самобытного автора. Настоящий поэт вряд ли может опуститься до такого, если, конечно, не задумывал свое произведение как ироническую пародию. Применявшийся многими достаточно оригинальный прием — копирование языка Багтесена, в свое время вызывавшего настоящий фурор у большинства читателей, — объясняет неизменный успех подобного рода произведений, а анонимность лишь прибавляет им привлекательности. Итак, успех их обусловлен прежде всего формой, качество которой, впрочем, также является спорным, ибо сам оригинал в некоторой степени — также своего рода имитация. Удовольствие от подобных произведений сродни удовольствию, которое мы получаем, когда слышим, как один человек умело копирует голос другого. При этом важна не суть сказанного, а то, как это произносится, — вполне понятной поэтому является, так сказать, защитная реакция поэта, состоящая в том, что основное внимание он уделяет такой уникальной составляющей поэзии, как форма. Ведь именно форму все и пытаются копировать в подобного рода стихах, а залогом их успеха служит степень точности имитации. Истинная же поэзия, вдохновение, глубина мысли абсолютно чужды упомянутым "Письмам", ибо, обладай они данными качествами, их невозможно было бы считать умелой имитацией — ведь сами сатирические произведения Багтесена начисто лишены подобных свойств».

Вслед за этой вышла и другая небольшая моя книжка — «Виньетки к именам датских поэтов». Я задался целью в коротеньких стихотворениях дать характеристики всем современным и умершим нашим писателям. Книжка не осталась незамеченной: «День» поместил небольшое посвященное мне стихотворение:

АВТОРУ «ВИНЬЕТОК К ПОРТРЕТАМ ПОЭТОВ»

Достойным местом ты запасся в нашем зале,  
Когда на зовы муз откликнулся светло!  
И вечный лавр уже пророс при пьедестале —  
Когда-нибудь увьет венком твое чело.  
Сатира не страшись, ни фавна, ни Силену,  
И пусть смеется Мом — зло истребится злом!  
Ведь золото тоже очищается огнем,  
И драгоценность по огранке драгоценна!

за подписью — Кнуд Фюнец. То восхищение, с каким автор воспевал мое скромное дарование, сразу же сделалось предметом всеобщих насмешек, чего наверняка не случилось бы, знай публика, что автором этого стихотворения был, как он впоследствии признался мне лично, не кто иной, как Вегенер — достопочтенный старый ректор семинарии в Йонструпе, издатель «Друга дома», личность, всеми чтимая и уважаемая. Мои «Виньетки» вызвали много подражаний, но критика не удостоила их не единого доброго слова. Зато порицаниям за мои прежние «прегрешения» не было конца. Мне приходилось читать не критику моих произведений, а прямые выговоры себе; тянулось это долго, но в описываемое время дела мои были особенно плохи.

Херц наконец перестал играть с публикой в прятки, признал свое авторство «Писем», и в скором времени решено было выдать ему от казны субсидию на заграничную поездку. Я в это время тоже подал прошение о такой субсидии. Я чувствовал к королю Фредерику VI истинную благодарность за полученное мною по его милости образование и, желая как-нибудь выразить ему свои чувства, собирался преподнести ему свою книгу «Двенадцать месяцев года» с посвящением. Один из моих доброжелателей, человек опытный, бывалый, посоветовал мне самому постараться для себя: преподнося королю

книгу, я должен был коротко и внятно сообщить ему, кто я такой и как я сам пробил себе дорогу, и прибавить, что теперь я больше всего нуждаюсь в субсидии для поездки за границу, более всего необходимой для завершения моего образования. На это король, наверное, скажет: «Подайте прошение!», а оно уже должно быть у меня наготове, чтобы я мог тотчас же вручить его королю. Я же счел все это ужасным. Как? Даря королю книгу, я тотчас же буду просить его об ответном подарке! «Так уж заведено! — ответили мне. — Король отлично знает, что, преподнося ему книгу, вы ожидаете от него за это какой-нибудь милости!» Я был просто в отчаянии, но меня уверили, что «таков порядок». Аудиенция получилась достаточно комичной. Когда я вошел, сердце мое так и колотилось. Король в свойственной ему манере быстро и порывисто пересек зал и, подойдя ко мне, спросил, что за книгу я ему принес. Я отвечал: «Цикл стихотворений». — «Цикл! Цикл! Что вы хотите этим сказать?» Тут уж я совсем растерялся и промямлил: «Это... это разные стихотворения о Дании!» Король улыбнулся. «Ах, вот как! Это очень кстати! Благодарю». И он кивнул мне в знак того, что аудиенция кончена. А я ведь еще так и не успел начать разговор о своем деле и потому поспешил сказать, что мне еще столько надо сообщить ему, а затем о том, как я пробил себе дорогу. «Все это очень похвально!» — заметил король, а когда я наконец изложил свою просьбу о субсидии на поездку, сказал, как меня и предупреждали: «Ну так подайте прошение!» — «Да, ваше величество, оно у меня с собою! — сказал я, стараясь держаться как можно более непринужденно — По-моему, это просто ужасно, что приходится подавать его вместе с книжкой, но мне сказали, что так заведено... и все-таки это так неудобно, так стыдно!» И слезы брызнули у меня из глаз. Добрый король громко рассмеялся, ласково кивнул мне и взял прошение. Я же окончательно смешался, неловко поклонился и поспешно вышел из зала.

Все были того мнения, что талант мой достиг уже полного расцвета и что если я вообще рассчитываю на субсидию, то надо стараться получить ее именно теперь. Я, со своей стороны, чувствовал, в чем убедились впоследствии и другие, что путешествие — лучшая школа для писателя. Мне говорили, что если я хочу, чтобы на мою просьбу обратили внимание, то должен постараться добыть рекомендации у некоторых из наших крупнейших писателей и иных наиболее ува-

жаемых мужей. Пусть они рекомендуют меня как поэта, а то ведь, прибавляли мне с особенным ударением, как раз в этот год «столько прекрасных молодых людей» жаждут получить субсидии!

Делать нечего, я принялся добывать себе аттестации; пожалуй, только мне одному из всех датских писателей, как прошлых, так и нынешних, пришлось заниматься подобным делом. Х.П.Хольст, Палудан-Мюллер, Тистед, К.Мольбек — все они, насколько мне известно, получили субсидии на заграничные поездки без всяких там аттестаций, вовсе не нуждаясь в них. Замечательно то, что каждый из рекомендовавших меня находил во мне что-то свое: так, Эленшлегер подчеркивал мой лирический талант, Ингеманн — мое знание народной жизни, а Хейберг — остроумие и юмор, которыми я будто бы напоминал нашего знаменитого Весселя. Эрстед, в свою очередь, обращал внимание на то, что, несмотря на самые разнообразные мнения о моем творчестве, все, однако, единогласно признавали во мне поэта. Тиле же тепло отзывался о силе моего духа, поддержавшего меня в тяжелой борьбе с житейскими невзгодами, и выражал надежду, что просьба моя будет удовлетворена «не только ради самого поэта, но ради процветания поэзии в Дании».

Аттестации возымели действие, и просьба моя была удовлетворена. Херцу выдали стипендию покрупнее, мне поменьше.

«Ну вот и прекрасно! — говорили мне друзья. — Радуйтесь же теперь! Ловите свое счастье! Другой такой случай выбраться за границу вряд ли вам представится! Послушали бы вы, что говорят в городе по поводу вашей поездки! Знали бы вы, как мы отстаиваем вас! Хотя зачастую и нам, впрочем, приходится пасовать и соглашаться!» Такие речи разрывали мне сердце. Я рвался поскорее уехать, забывая слова Горация, что печаль садится в седло за спиной отъезжающего всадника. У меня же на сердце печали было хоть отбавляй. В «Агнете и Водяном» есть песня, начинающаяся словами:

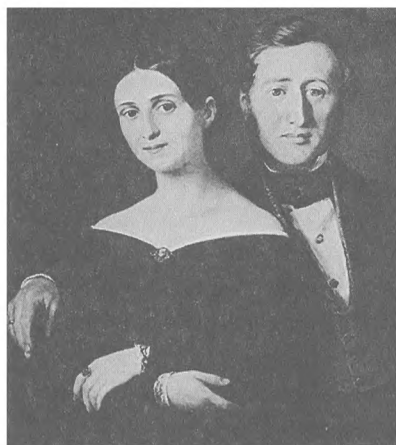
А за ольховой чащей там мельница скрипела.

Это яркий пример того, как вся душа человека может отразиться всего лишь в нескольких стихотворных строках.

Перед самой разлукой друзья мои стали мне еще дороже; среди них были двое, которые имели в то время на меня и на все мое развитие особенно сильное влияние. О них я должен рассказать здесь.

Одним из них была госпожа Лэссё, дочь того самого Абрахамсона, чья песня «Мой сын, стремись в сей мир!» одно время была у всех на устах, а редкая по красоте лирическая баллада «Да пребудет с вами мир!», исполнявшаяся у братской могилы павших воинов, заставляла трепетать сердца слушающих. Сын ее, храбрый полковник Лэссё, прославился своим мужеством в битве при Истедде. Нежнейшая мать, образованная и всесторонне одаренная женщина, она открыла для меня свой уютный дом, делила со мной все мои горести, утешала, ободряла меня и направляла мой взор на красоты природы и поэзию жизненных мелочей, учила искать красоту в так называемом малом и одна не теряла веры в мой талант, когда ее потеряли почти все. Если в каких-то моих произведениях есть отзвуки чистоты и женственности, то госпожа Лэссё — одна из тех, кому я особенно обязан этим.

Другой мой друг, также имевший на меня большое влияние, — один из сыновей моего покровителя Коллина, нынешний статский советник, Эдвард Коллин. Он воспитывался в счастливой свободомыслящей семье, отца его, влиятельного и доброго человека, все уважали; сам он отличался мужеством и решительностью характера, чего так недоставало мне. Я был уверен в его искренней привязанности ко мне, и так как в юности у меня никогда не было друзей, то я привязался к нему всей душою. Он пытался бороться с тем, что было в моей натуре девичьего, отличался рассудительностью, практичностью и, несмотря на то что был моложе годами, казался старшим благодаря своему здравомыслию, так что первая скрипка в нашем дружеском союзе принадлежала ему. Часто я, не понимая его, обижался и расстраивался; другие тоже нередко неверно истолковывали его благожелательную горячность. Мне, например, доставляло несказанное удовольствие читать в обществе свои собственные или чьи-нибудь чужие стихи, и вот однажды в одном семейном кружке меня попросили продекламировать что-нибудь. Я согласился, но бывший тут же Эдвард, лучше меня понимавший настроение общества и его ироническое отношение ко мне, резко объявил, что тотчас же уйдет, если я прочту хоть одну строфу. Я опешил, а хозяйка дома и другие дамы обрушили на него град упреков за такое поведение. Только позже я понял, что в эту минуту он вел себя как истинный друг, тогда же я готов был заплакать, хо-



Дом Колинов на Амалиегате  
Сын Й.Коллина Эдвард с женой Хенриеттой.  
*Портрет работы В.Марстранда*



тя и знал, как велика его дружба ко мне. Его горячим желанием было привить мне, гибкому и податливому, как тростник, хоть частицу своей самостоятельности и силы воли. В практической жизни он был для меня своего рода наставником и нянькой, помогал мне во всем, начиная с занятий латынью, когда я еще готовился к экзамену, и кончая многолетней возней с издателями, типографиями и даже корректурами. Он был мне верным другом в ту пору, когда я покорно склонялся под ударами судьбы, терпеливо снося все испытания, и остался им и тогда, когда душа моя обрела свободу, а сам я обзавелся собственной волей и стал сам себе господином.

Как горы по мере удаления от них выступают все рельефнее, яснее, так и с друзьями — чем дальше оказываются они от меня, тем лучше я их понимаю.

Маленький альбом со стихами любимых мною людей стал моим сокровищем, которое сопровождало меня повсюду и росло с годами.

Лети за Рейн, в Париж и вдруг —  
 В Неаполь, в Райский Сад, на юг,  
 Где вечерами льется  
 Волшебных песен дивный лад  
 И апельсинов аромат  
 Меж веток пиний вьется.  
 Природа, творчество и Бог —  
 Молись им! Но любви залог,  
 Священную лампаду  
 Воспоминаний, не гаси —  
 Как драгоценности носи  
 Печаль их и отраду:  
 Тогда, я знаю: верный друг  
 В свой улей на зеленый луг  
 Нам принесет, замкнувши круг,  
 Стихов своих награду.

Кристиан Винтер  
 Копенгаген, 19 апреля 1833

Поэт, витай фантазией свободной  
 Повсюду, как усердная пчела,

Но, собирая мед полезный,  
Нас тоже, между прочим, не забудь!

А.Эленшлегер  
Копенгаген, 19 апреля 1833

...Лишь глубина — опора высоте.  
Так кораблю опоры нет на суше,  
Но, опершись на бездну, в непогоду  
Взметнет свой парус к звездам, к небосводу.

На добрую память.  
Б.С.Ингеманн

Пусть Дания пребудет с вами,  
Не покидая вас равно  
На Сене, на брегах Арно,  
Под южными ли небесами!  
Вот вам совет мой, ибо вас  
И ваш талант люблю безмерно —  
Хотя, наверное, неверно  
Вас поучать в прощальный час:  
Поэт — мечтайте, как поэт,  
Но будьте же разумным мужем —  
Мы, цель поставив, цели служим,  
Иначе смысла в жизни нет,  
И зря объедешь целый свет,  
Коль не приложишь сил и знанья.  
Ну что ж, пора вам! До свиданья!  
Надеюсь, лишнего страданья  
Не причинил вам мой совет!

Вульф  
Военно-морская академия,  
20 апреля, 1833

Сей устав всегда блюди:  
Коль идешь, так знай, докуда,  
Коль идешь, так знай, откуда,  
Коль стоишь — не упади!

В том апельсиновом раю  
Коль встретишь душеньку мою,  
Скажи, что жив я, что пою  
На южный лад и не скорблю,  
Что денег нет и что люблю  
По-прежнему (покуда сплю),  
Что жажду встречи в том краю.  
Пусть, улыбнувшись этой гили,  
Воскликнет: «Ах!»

От  
Юста Тиле

Утоляй свой аппетит  
Видом пальм и виадука,  
Только помни (вот в чем штука):  
Все, что видишь, — все в кредит!

Потому что, между нами —  
Как юрист пишу о том! —  
Все, что видел ты, потом  
Должен нам вернуть стихами.

Твой друг  
Ф.Й.Хансен

В понедельник 22 апреля 1833 года я уехал из Копенгагена. Я был глубоко растроган при прощании с родиной и искренне молил Бога, чтобы Он или помог мне извлечь пользу из моей поездки и создать истинно поэтическое произведение, или ниспослал мне смерть на чужбине!

Исчезли из виду башни Копенгагена, мы приближались к Мёнскому утесу. Внезапно капитан подал мне письмо и шутовски сказал: «Сейчас только прилетело по воздуху!» В письме было всего несколько слов — последний дружеский привет Эдварда Колина. Близ Фальстера я получил письмо от другого друга, вечером перед отходом ко сну — от третьего, а утром близ Травемюнде — от четвертого. «Все прилетели по воздуху!» — смеялся капитан. Друзья мои, из участия ко мне, набили ему письмами полный карман. «Noch ein Strüsschen! Und wieder noch ein Strüsschen!»\*

---

\* «А вот еще один листок! И еще один листок!» (нем.)

## V

В Гамбурге в то время жил датский писатель Ларс Крусе, автор трагедий «Эзелин», «Вдова», «Монастырь», постановки которых я видел на сцене Королевского театра. Его роман «Семь лет» был весьма известной книгой, имевшей хорошую критику. Немецкий «Альманах муз» из года в год помещал его рассказы. Сейчас, к сожалению, имя его забыто как на родине, так и за рубежом. Со стороны этого дородного добродушного человека я встретил самый теплый и благожелательный прием; он много говорил со мной о своей любви к отчизне и оставил в моем альбоме такое стихотворение:

Да будете верны себе и красоте,  
В душе — веселию и в сердце — чистоте,  
В чужих языках вы датчанином пребудете,  
Но европейцем в Данию прибудете.

Гамбург, 25 апреля 1833 г.

Л.Крусе

Это был первый привет от собрата по поэтическому цеху, полученный мною на чужбине, потому-то он мне так и запомнился. Другое по-своему яркое событие произошло со мной в Касселе. Там на одном из угловых домов я заметил полустертые буквы, проступавшие через слой новой краски. Приглядевшись, я увидел, что буквы складываются в имя героя, с детства хранимое мною в сердце. По-видимому, ранее эта улица или площадь носила имя Наполеона. Это произвело на меня гораздо более сильное впечатление, нежели вся роскошь Вильгельмсхёхе со всеми искусственными руинами и водоемами.

Здесь же, в Касселе, я впервые повстречал Шпора, который отнесся ко мне весьма любезно. Он подробно расспрашивал меня о датской музыке и датских композиторах. Оказалось, что он даже знаком с сочинениями некоторых из них — к примеру, Вайсе и Кулау. Небольшая тема из «Ворона», записанная Хартманном в моем альбоме, особенно привлекла его внимание. Я знаю, что несколько лет спустя он списался с Хартманном и попытался сделать все от него зависящее — к несчастью, безрезультатно — для постановки «Ворона» в Касселе. Спрашивал он также и о том, что из собственных его сочинений поставлено на копенгагенской сцене, на что я, к сожалению, как тогда, так и теперь вынужден был ответить: «Ни-

чего». Сам же он среди всех своих произведений особо выделял — и горячо рекомендовал — оперу «Земира и Азор». Что касается нашей литературы, то ему известны были имена лишь Багтесена, Эленшлегера и Крусе. Впрочем, о моей отчизне он был самого высокого мнения благодаря тому, что эта крохотная страна подарила миру Торвальдсена, замечательным талантом которого Шпор не уставал восхищаться. Расставаясь с этим великим человеком, имя которого благодаря его творениям будет известно многим поколениям потомков, я ощущал искреннюю печаль, ибо полагал, что мы уже никогда больше не встретимся. Оказалось, что я ошибался — много лет спустя в Лондоне мы свиделись вновь и обнялись, как старые друзья. Однако об этом позже.

В наши дни добраться через Германию до Парижа — пустяк, в 1833 году же все было не так. Железных дорог еще не существовало, приходилось день и ночь тащиться на почтовых, сидя в тесном неуклюжем дилижансе, беспрестанно останавливаясь и глотать дорожную пыль. Проза такой поездки была, впрочем, отчасти вознаграждена поэтическими впечатлениями, полученными мною от Франкфурта, родины Гёте и колыбели Ротшильдов. Там жила старуха мать новоявленных крезов, не желавшая покидать своего скромного домика в еврейском квартале, где родились и выросли ее счастливы сыновья. Старинные, в готическом стиле, дома с фонтанами, средневековое здание ратуши — город раскрывался передо мной, как книжка с картинками. Композитор Алоиз Шмит, автор знаменитой оперы «Валерия», был первым из иностранцев, кто предложил мне написать либретто к своей музыке. Оказалось, что мои ранние стихи, переведенные Шамиссо, попались ему на глаза и, как он выразился, убедили его в том, что я именно тот поэт, который ему нужен.

И вот я увидел Рейн! Но увидел весною, когда берега его менее всего живописны. Виноградники еще невысоки и едва достигают развалин старинных крепостей. Я был обманут в своих ожиданиях, как, вероятно, и многие приезжающие сюда туристы. Красивейшим пунктом, бесспорно, является утес Лорелен у Сен-Гоара. Однако берега Дуная и даже Роны, на мой взгляд, не менее романтичны. Главное же украшение Рейна — связанные с ним легенды и чудные песни. Эти зеленоватые волны воспеты лучшими поэтами Германии!

От Рейна мы ехали, кажется, около трех суток через Саарбрюккен и известковую долину Шампани, направляясь к Парижу. Я не мог дожидаться, когда мы доберемся до «столицы мира», которой был для меня Париж, все глаза проглядел в ожидании, когда она наконец покажется. Я спрашивал о ней беспрестанно и в результате так устал сам и утомил всех, что вовсе перестал задавать вопросы и обнаружил, что мы в этом великом городе, когда дилижанс уже проезжал по бульвару.

Вот и все впечатления, вынесенные мною из этого довольно быстрого путешествия от Копенгагена до Парижа. Немного! А между тем на родине нашлись люди, которые и от этой длившейся несколько дней поездки ожидали какого-то особенного воздействия на мое развитие. Они, видно, думали, что взор мой должен охватить и усвоить всю картину тотчас же, как только поднимется занавес. Итак, я был в Париже, но до того усталый, разбитый, сонный, что даже поиски жилища были для меня непосильным трудом. Отыскав его в отеле «Де Лилль» на улице Тома, близ Пале-Рояля, я сейчас же завалился спать — слаще отдыха и сна для меня в эту минуту ничего не существовало. Однако спал я недолго — меня разбудил страшный грохот; яркий свет залил всю комнату. Я бросился к окну; напротив, в узеньком переулке, находилось большое здание, и я увидел, что из дверей его валом валит народ... Шум, крики, грохот, какие-то яркие вспышки света — все это заставило меня со сна решить, что в Париже восстание. Я вызвал слугу и спросил: «Что это такое?» — «C'est le tonnerre!»\* — отвечал он. «Le tonnerre!» — повторила и служанка. Замечая по моему удивленному лицу, что я все еще не понимаю, в чем дело, они произнесли слово «tonnerre» с раскатом: «tonnerre-re-rrr!» и показали мне на сверкнувшую в этот момент молнию, вслед за которой вновь загрохотало. Итак, это была гроза, а здание напротив оказалось театром, где ставили водевили; представление только что окончилось, и зрители расходились. Таково было мое первое пробуждение в Париже. Теперь мне предстояло ознакомиться со всеми его прелестями.

Итальянская опера была уже закрыта, зато великая парижская «Орега» блистала тогда такими звездами первой величины, как госпожа Даморо и Адольф Нурри. Последний был тогда в полном рас-

---

\* «Это гром!» (фр.).

цвете своего таланта и считался любимцем парижан. В июльские дни он храбро сражался на баррикадах и воодушевлял других борцов вдохновенным пением патриотических песен. Мне посчастливилось слышать его; каждое его появление на сцене вызывало у публики шумные овации. Четыре года спустя до меня дошло известие о его трагической гибели. В 1837 году он поехал в Неаполь, но там его встретил совсем иной прием — некоторые даже свистели. Избалованного певца это потрясло до глубины души; в тяжелом нервном состоянии он еще раз выступил в «Норме», и опять раздался чей-то свист, прорвавшийся сквозь шумные аплодисменты остальной публики. Нурри не вынес этого и после бессонной ночи выбросился утром 8 марта из окна третьего этажа. После него остались безутешная вдова и шестеро детей. Я же слышал его еще в то время, когда он пожинал лавры в опере «Густав III», имевшей огромный успех. Она настолько владела тогда умами парижан, что вдова подлинного Анкарстрёма, тогда уже пожилая женщина, проживавшая в Париже, напечатала в одном из наиболее распространенных журналов опровержение по поводу якобы имевшей место любовной связи ее с Густавом III, являвшейся полностью вымыслом Скриба. Оказывается, она и видела-то короля всего один раз в жизни.

В Театр Франсэ я видел в трагедии «Дети Эдуарда» тогда уже пожилую мадемуазель Марс в роли молодой матери. Несмотря на то что я очень плохо понимал по-французски, ее игра растрогала меня до слез; более прекрасного женского голоса я не слышал ни прежде, ни после. В первые годы моего пребывания в Копенгагене на столичной сцене еще выступала пользовавшаяся неизменным успехом девица Аструп; в глазах копенгагенской публики она являлась предметом восхищения и образцом вечной молодости. Когда мне впервые удалось увидеть ее, чувства мои граничили с истинным пиететом. В трагедии «Селим, принц Алжирский» она играла мать. Каково же было мое разочарование, когда я увидел туго затянутую в корсет пожилую женщину, державшуюся неестественно прямо и обладавшую довольно неприятным, режущим ухо голосом, — о качестве ее игры я тогда еще судить не мог. Мадемуазель Марс, будучи, как я сказал, уже немолода, являлась здесь олицетворением юности и свежести и достигала этого не перетягиванием талии, не закидыванием головы, а легкими пластичными манерами и дви-

жениями, а также чистым звучанием голоса. Глядя на нее, я имел случай понять, что же такое настоящая актриса!

В это лето нас, датчан, собралось в Париже несколько человек; все мы жили в одном отеле, вместе ходили по ресторанам, кафе, в театры и постоянно говорили между собой на родном языке — охотнее всего о письмах с родины. Все это было очень мило, сердечно, но не для этого же мы ехали за границу. Однако в ту пору такое времяпрепровождение мне вполне нравилось, и на одной из наших пирушек я запечатлел наши общие настроения в следующих строках:

Цветут на родине леса —  
И мы цветем, но за морями;  
Куда ни глянь, весны краса  
Встает, как дома, перед нами\*.

И далее что-то о встрече и днях, проведенных вместе, которые никогда не забыть...

Надо было во что бы то ни стало осмотреть все достопримечательности — так уж заведено у всех приезжающих в чужую страну; мне до сих пор памятно, как один из моих милых друзей от души благодарил Бога, когда он однажды вечером притащился домой усталый, измученный, покончив с осмотрами разных музеев и дворцов. «Наконец-то все это окончено! Но, — прибавил он, — и это посмотреть следовало непременно, а то вдруг спросят дома о чем-нибудь и окажется, что я этого не видел, — срам! Теперь, слава богу, мне остается суцая безделица, а там уж можно будет и по-настоящему повеселиться!» Вот как рассуждал мой приятель, да и до сих пор еще, я думаю, многие так же рассуждают!

Я тоже во время этого своего первого путешествия не отставал от других, ходил и осматривал все, но большая часть из увиденного мною недолго задерживалась у меня в памяти. Едва я успел осмотреть Версаль с его роскошными покоем и картинами, как его уже вытеснил из памяти дворец Трианон. С благоговением вступил я в опочивальню Наполеона: все там сохранилось в прежнем виде; стены были покрыты желтыми обоями, занавеси у постели были тоже желтого цвета. К постели вели ступеньки. Я дотронулся до одной из них —

---

\* Перевод В.Бакусева.



на нее ступала его нога! Потрогал и подушку. Будь я один в комнате, я бы, кажется, преклонил колени: Наполеон был любимым героем и моего отца, и моим с самого раннего детства, он в моих глазах был как святой для католика. Я осмотрел также маленькую маслобойню в саду дворца, где некогда в облачении простой крестьянки трудилась Мария Антуанетта. На память о Трианоне я сорвал цветок жимолости, выходящей под окном комнатки, принадлежавшей когда-то несчастной королеве; из Версаля же я взял простенькую маргаритку, так контрастирующую с великолепием роскошного дворца.

Из тогдашних парижских знаменитостей я виделся или, вернее, говорил лишь с немногими. К одному такому автору либретто многих водевилей, Полю Дюпору, у меня было письмо от балетмейстера копенгагенского Королевского театра Бурнонвиля. У нас в Дании была поставлена драма Дюпора «Квакер и танцовщица»; пьеса имела большой успех. Сообщение об этом и письмо Бурнонвиля очень порадовали старика, так что я явился для него желанным гостем. Само наше свидание носило, однако, довольно комический характер: я прескверно говорил по-французски, Дюпор же полагал, что может говорить по-немецки, но произносил все слова так, что я ровно ничего не понимал. Он подумал, что употребляет не те слова, достал французско-немецкий словарь и стал продолжать разговор, беспрестанно отыскивая слова в книге. Разумеется, беседовать с помощью словаря оказалось столь затруднительно, что не пришлось по вкусу ни мне, ни ему.

К другой знаменитости, Керубини, у меня было поручение от Вайсе. Многие, вероятно, еще помнят холодный прием, оказанный отечественной публикой операм нашего гениального композитора, а ведь среди них были такие музыкальные шедевры, как «Сонный напиток» и «Ладлэмская пещера». Тем не менее он предпочитал жить исключительно в Дании и творить для своих сограждан, хотя его признание здесь и было весьма ограничено. Соотечественники признавали за ним лишь бесспорный вклад в церковную музыку. Самым известным и высоко оцененным произведением его считался «Амброзианский гимн», фрагменты для клавира из которого мне и поручено было передать Керубини — бессмертному автору «Тех двух дней» и множества поистине гениальных «Реквиемов». Как раз в это время на него обращено было особое внимание Парижа:

после долгого творческого простоя он, будучи уже в преклонных летах, представил в «Гранд опера» новое свое произведение — оперу «Али-Баба, или Сорок разбойников». Особенных восторгов она, правда, не вызвала, тем не менее публика приняла ее с должным пиететом.

Керубини оказался чрезвычайно похожим на свои портреты; я застал его за фортепьяно, на каждом плече у него сидело по кошке. Выяснилось, что он никогда прежде даже не слышал имени Вайсе, так что мне пришлось предварительно рассказать ему кое-что о привезенных мною нотах. Керубини знал лишь одного датского композитора, Клауса Шалля, писавшего музыку к балетам Галеотти. Керубини жил с Шаллем одно время вместе, потому и интересовался им; Вайсе же так и не получил от него в ответ ни строчки. Это было мое первое и последнее свидание со стариком.

Однажды мне случилось побывать в кружке «Литературная Европа», своего рода парижском «Атениуме», куда меня ввел Поль Дюпор. Там ко мне подошел невысокий человек с лицом еврейского типа и, приветливо здороваясь со мной, сказал: «Я слышал, что вы датчанин, а я — немец! Датчане и немцы братья, и я хотел бы пожать вам руку!» Я спросил его имя, и он ответил: «Генрих Гейне!»

Итак, передо мной был тот самый поэт, который имел на меня в последнее время такое огромное влияние; он воспевал как раз те самые чувства, которые волновали меня и кипели в моей груди. Встреча именно с ним была для меня всего желаннее. Все это я поспешил высказать ему.

«То, что вы говорите, лишь дань вежливости! — сказал он, улыбаясь. — Если бы вы действительно интересовались мною, вы бы давно нашли случай встретиться со мной!» — «Но я не мог на это решиться!» — ответил я. — Вы так чутки ко всему комическому и, наверно, нашли бы в высшей степени смешным, что я, совершенно неизвестный писатель из такой маленькой страны, являюсь к вам и сам рекомендуюсь датским поэтом! Кроме того, я знаю, что держал бы себя при этом весьма неловко, и если бы вы засмеялись или вздумали подшутить надо мною, мне это было бы в высшей степени досадно. Именно потому, что я так высоко ценю вас, я и предпочел лишиться себя свидания с вами!»

Мои слова произвели на него благоприятное впечатление, и он держался в беседе со мною по-дружески и приветливо. На другой же день он пришел ко мне в отель «Вена», потом мы стали видеться чаще, несколько раз гуляли вместе по бульвару, но я все еще не вполне доверял ему: мне казалось, что между нами нет такой сердечной близости, какую он выказал несколько лет спустя, когда мы свиделись с ним опять и когда он уже успел познакомиться с моим «Импровизатором» и некоторыми сказками. Прощаясь же со мною тогда, перед отъездом моим из Парижа в Италию, он писал мне:

«Уважаемый коллега! Я бы с удовольствием нацарапал Вам здесь какие-нибудь стишки, но сегодня едва могу писать и мало-мальски сносной прозой. Будьте здоровы и веселы. Желаю Вам приятно провести время в Италии. Постарайтесь в Германии подучить немецкий и напишите мне потом из Дании по-немецки о том, какое впечатление произвела на Вас Италия. Это было бы для меня приятнее всего.

Париж, 10 августа 1833 года.

Г.Гейне».

Первой французской книгой, которую я попытался прочесть в оригинале, был роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Я каждый день ходил в собор и осматривал место действия. Эффектные картины и полные драматизма события, описанные Гюго, произвели на меня такое сильное впечатление, что я, вполне естественно, очень хотел встретиться с самим писателем. Он жил на углу Пале-Рояля; меблировка в комнатах была странная, по стенам повсюду висели гравюры и картины, изображавшие собор Нотр-Дам. Сам хозяин принял меня в халате и красивых домашних туфлях. На прощание я, как обычно делал при встречах с известными писателями, попросил его дать мне свой автограф. Он исполнил мое желание, но написал свое имя на самом верхнем крае листка, и у меня в уме сейчас же мелькнула неприятная мысль: «Он не знает тебя и принимает меры, чтобы его именем не была подписана какая-нибудь строчка, которую могли бы потом попытаться приписать ему!» Только во время вторичного моего пребывания в Париже я узнал Виктора Гюго ближе, но об этом после.

По пути в Париж, а также в течение целого месяца пребывания там я не получил с родины ни строчки. Напрасно я справлялся на почте — на мое имя не приходило ни одного письма. Может быть, друзья мои не мог-

ли сообщить мне ничего веселого и приятного, может быть, все еще завидовали субсидии на поездку, получить которую мне помогли многочисленные аттестации... Тяжело было у меня на сердце. И вдруг я получил толстое, тяжелое нефранкированное письмо\*. Мне пришлось довольно много платить за него, но я не жалел — ведь оно было такое толстое! Сердце у меня в груди стучало от радости, я сгорал от нетерпения поскорее прочесть его. Еще бы, ведь это была первая весточка с родины. И что же? Я вскрыл его — ни единой строчки, одна лишь газета «Копенгагенская почта» со стихотворным пасквилем на меня, присланным, вероятно, самим автором наложенным платежом из Копенгагена в Париж.

## ПРОЩАЙ, АНДЕРСЕН!

Ты покидаешь датский лес,  
Где нянчились с тобою слишком.  
Не рано ль из гнезда полез  
С неоперившимся умишком?  
Нехорошо, что ты, сынок,  
Вдруг на чужбину устремился,  
Коль языков постичь не смог  
И датскому недоучился.

Да, очень плохо сделал ты,  
Покинув Данию неожиданно,  
Где стихотворные листы  
Твои читают — как ни странно.  
Ведь ты мечтал, чтоб всякий час  
Твои звучали песнопенья —  
Зачем же ты покинул нас?  
Французам петь? Тут есть сомненья.

А помнишь, с кипами стихов  
На Старой или на Кузнечном  
Ты мерз, но был всегда готов  
Зачитывать их первым встречным.  
И что ты там ни говори,

---

\* *Нефранкированное письмо* — почтовое отправление наложенным платежом.

В свой чай водицы лил ты лишку,  
 Когда читал на раз, два, три  
 То «Ворона», а то «Воришку».

Осиротел наш датский лес!  
 Но я не проиграю спора,  
 Сказав: как скоро ты исчез,  
 Так и вернешься слишком скоро.  
 Немецкий? — датским не владеешь!  
 Английский? — знаешь лишь букварь.  
 А по-французски коль посмеешь,  
 В Париже скажут: вот дикарь!

И т. д. и т. п.

Так вот каков был первый привет, полученный мной с родины. Я был потрясен до глубины души; мне нанесли рану прямо в сердце! Я так никогда и не узнал имени написавшего его поэта, но стихи обличали опытное перо и, может быть, принадлежали одному из тех, кто впоследствии пожимал мне руку и называл другом. Что ж, люди часто бывают злы, я и сам тоже не исключение!

В разгаре июльских празднеств я был свидетелем открытия памятника Наполеону на Вандомской площади. Вечером, накануне, когда статуя еще была скрыта полотнищем и рабочие заканчивали последние приготовления, вокруг колонны собрался народ. Я тоже смешался с толпой, и тут ко мне подошла какая-то тщедушная старуха и, дурашливо посмеиваясь, сказала: «Вишь, куда его вознесли! А завтра, глядишь, опять сбросят вниз! Ха-ха-ха! Знаю я французов!» Мне стало не по себе, и я поспешил домой.

На следующий день я сидел в толпе зрителей на наспах сколоченной трибуне, установленной на углу площади. Мимо нас проследовала торжественная процессия, возглавлял которую Луи Филипп со своими сыновьями и генералами. За ним в сопровождении оркестра промаршировали гвардейцы с ружьями, в стволы которых были вставлены букеты цветов. Многие приветствовали их громким «ура!», но слышались и сердитые выкрики «А bas les forts!»\*.

\* «Долой тиранов!» (фр.).

В «Отель де Вий» был устроен торжественный бал, в котором участвовали все сословия — от членов королевской семьи до простых рыбаков. Давка была такая, что Луи Филиппу с супругой с трудом удалось добраться до предназначенных им мест. Весьма неприятное впечатление произвело на меня то, что как раз в тот момент, когда королевская чета вошла в зал, оркестр играл музыку к сцене из оперы «Густав III», в которой король Густав погибает. Насколько я мог судить по лицу королевы Омелии, ее охватили те же чувства, что и меня. В смятении она прижалась к Луи Филиппу, который с самым жизнерадостным видом рассыпал приветствия направо и налево и пожимал протянутые к нему руки. Блистательный герцог Орлеанский, юный и прекрасный, кружился в танце с бедно одетой девушкой — вне всякого сомнения, самого низкого происхождения. Торжества продолжались несколько дней. По вечерам на могиле павших героев, украшенной венками, зажигались траурные факелы, на Сене состязались в скорости лодки, оживление, царившее на Елисейских Полях, напоминало мне наши праздничные дни в Дюрехавене. Все парижские театры были открыты не только по вечерам, но и днем, вход для всех был бесплатным, и любой мог войти внутрь даже посреди представления. Нередко в самый разгар оперы или трагедии в зал вваливалась толпа, распеваящая «Парижанку» или «Марсельезу». По вечерам помимо праздничной иллюминации в городском небе вспыхивали бесчисленные ракеты и шутихи, в отблесках которых городские здания и церкви выглядели особенно торжественно. Так окончилось мое первое посещение Парижа — более яркого финала невозможно было даже и представить.

Что же касается моих успехов во французском языке за эти три месяца, то они были весьма невелики — ведь я, как уже говорилось, постоянно находился в компании своих земляков. Впрочем, сознавая необходимость выучить язык, я решил было ради этой цели провести некоторое время в каком-нибудь пансионе в Швейцарии, однако меня предупредили, что это обойдется чересчур дорого. «Вот если бы вы поехали в какой-нибудь маленький швейцарский городок где-нибудь в горах Юра, где уже в августе выпадает снег, — это другое дело. Там и жизнь дешевле, да и друзьями вы там скорее обзаведетесь!» — сказал мне один знакомый швейцарец, родственник моих копенгагенских друзей. Отдых в тихом провинциальном

городке после жизни в шумном Париже представлялся мне крайне заманчивым; к тому же я рассчитывал там без помех окончить начатую поэму. И вот через Женеву и Лозанну я отправился в маленький городок Ле Локль, расположенный в горах Юра!

Среди тех, с кем мне пришлось распрощаться в Париже, были двое соотечественников, чьи имена прекрасно известны в Дании. Их дружеское и сердечное отношение ко мне заставляет меня уделить им здесь несколько слов. Первым из них был автор комедии «"Фоны" и "ванны"» и «Laterna magica», поэт Петер Андреас Хейберг, которого во времена, столь отличные от теперешних, выслали из Дании; Париж стал для него вторым домом. Его история известна всем датчанам. В одном из самых маленьких столичных отелей я отыскал его — дряхлого, почти совсем слепого старика. Сын его, Йохан Людвиг Хейберг, недавно женился на одной из самых известных и блистательных датских актрис нашего времени, Йоханне Луизе. Старика Хейберга живо интересовало все связанное с нею, однако, как я понял, он придерживался весьма старомодных, да и к тому же еще и истинно «парижских» представлений о том, какой должна быть драматическая актриса. По его словам, его больше всего возмущало, что какой-то там директор театра — своего рода маленький тиран — смеет командовать невестой его сына, о которой, к его радости, и от меня, и от прочих датчан он слышал отзывы как о весьма уважаемой особе, обладающей истинным талантом. Как жаль, что он так никогда и не сумел насладиться ее гениальной игрой, оценить ее высокие духовные качества и понять истинное значение этой великолепной актрисы для всего датского театрального искусства! Несчастный одинокий старик, как больно было видеть его бродящим чуть ли не на ощупь по знакомым ему галереям Пале-Рояля. При расставании он написал мне в альбом:

«Примите прощальный привет от слепого старика!

Париж, 10 августа 1833 г.

П.А.Хейберг».

Другим знаменитым моим соотечественником был советник Брёндстед, которого я немного знал по посещениям дома адмирала Вульфа. В Париже, куда он прибыл из Лондона, ему довелось прочесть «Двенадцать месяцев года». До тех пор как поэт я был ему

совсем неизвестен. Стихи мои ему весьма понравились, и он был настолько добр, что познакомил меня с духовной жизнью Парижа, давал ценные советы и всячески заботился обо мне. Незадолго до моего отъезда он вручил мне свое стихотворение с посвящением:

За «Месяцы» спасибо! Дивный слог!  
 Как голубь, под родными небесами  
 Витает память — полон чудесами  
 Нордический сей Амальфеи рог.  
 А голубь мчится к Риму без дорог,  
 Он отразится в Альбе, как в зеркале,  
 И к пасти Этны в огненном оскале  
 Взлетит. Но к нам он возвратится в срок.  
 И, в роще Мнемозины побывав,  
 Огонь и ясность южную вобрав,  
 Он принесет вам лавровый венок!

Париж, середина лета, 1833 г.

Брэндстед

Опять несколько дней и ночей пришлось мне провести в битком набитом дилижансе. Опять мелькали перед глазами причудливые арабески и маленькие картинки, составляющие всю прелесть путешествия. Некоторые из них остались у меня в памяти, одну из них я хочу набросать здесь.

Мы уже оставили за собою плоскую, ровную Францию и ехали по швейцарским горам Юра. Поздно вечером мы добрались до какой-то деревеньки; я остался в дилижансе единственным пассажиром, и кондуктор посадил ко мне двух молоденьких фермерских дочек. «Не то им придется в такое позднее время два часа тащиться до дому по пустынной дороге!» — сказал он. Долго слышал я лишь хихиканье, фырканье и перешептывание. Девушки знали, что в дилижансе сидит господин, но видеть меня в темноте не могли. Наконец они расхрабрились и спросили, не француз ли я. Я сказал, что я из Дании, и им все стало ясно. Дания ведь это в Норвегии, как они знали из уроков географии. Слово «Копенгаген» им выговорить никак не удавалось, у них все выходило что-то вроде «капра». Затем последовали вопросы: молод я или стар, холост или женат и каков собой. Я нарочно забился в самый темный угол и описал им се-



бя настоящим красавцем. Девушки догадались, что я подшучиваю над ними, и на мой вопрос об их собственной наружности тоже описали себя красавицами. Они сильно приставали ко мне с просьбой показаться им на следующей станции, я, однако, не поддавался, а они, в свою очередь, выходя из дилижанса, прикрыли лица носовыми платками, звонко смеясь, пожали мне руку и убежали. Обе эти молоденькие веселые незнакомки стоят передо мною как живая картинка из моего путешествия.

Дорога наша пролегла по краю высокого обрыва, крестьянские дома внизу казались игрушечными, леса — картофельными грядками. Внезапно между двух холмов впереди мне открылось настоящее видение — упирающиеся в самые небеса горы, вершина которых была окутана туманным облаком. Так впервые я увидел Альпы и Монблан. Дорога начала спускаться вниз, казалось, мы парим в воздухе, падая в пропасть. Вся местность открывалась нам как будто с высоты птичьего полета. Вдруг мне показалось, что нас окутали клубы дыма, поднимавшегося от угольных шахт, однако оказалось, что мы просто-напросто въехали в облако. Когда мы опустились несколько ниже, то внезапно увидели город и водную гладь — это были Женева и известное Женевское озеро, на фоне гряды Альп, подножие которых утопало в тумане, а темные острые вершины достигали, казалось, самого неба. Глетчеры блистали и искрились в солнечных лучах. Это было воскресным утром, и душа моя исполнилась молитвенного благоговения, как будто я оказался в самой настоящей церкви, сотворенной самой природой.

Я знал, что в Женеве проживает со своей семьей старей Пюэрари, который долгое время провел в эмиграции в Копенгагене. Все приезжие датчане находят у него самый теплый прием. Я спросил о нем какого-то прохожего, который оказался его близким другом и проводил меня в этот милый и гостеприимный дом. Дочери Пюэрари говорили по-датски, и мы беседовали исключительно о Дании. Оказалось, что Хенрик Херц был учеником Пюэрари, он живо интересовал старика, в особенности ему приятны были рассказы об успехе и славе, которыми пользовались у меня на родине «Письма с того света». Пюэрари рассказывал о годах, проведенных им в Копенгагене, где он вынужден был зарабатывать себе на жизнь, торгуя скобяным товаром и составляя разные бумаги на французском языке. От него же я услышал

и о пребывании там Луи Филиппа, который жил в доме оптовика де Конинка под именем ботаника-путешественника господина Мюллера, держащего путь на север Норвегии к мысу Нордкап. Однажды на правах соотечественника Пюэрари был приглашен им на обед в «Отель Ройяль»; обедали они с глазу на глаз, без официантов, и Луи Филипп собственноручно прислуживал гостю за столом.

Мне казалось, что Альпы начинаются сразу за городом, поэтому наутро я решил прогуляться к ним. Я шел и шел, а до них все еще было далеко; лишь к обеду мне удалось подойти к предгорьям, а в Женеву я вернулся только поздним вечером.

Через Лозанну и Веве я добрался до Шильонского замка, который интересовал меня с тех самых пор, как я прочел «Шильонского узника» Байрона. Пейзаж был по-настоящему южный, несмотря на блиставшие снегом вершины гор Савойи. В долине же возле глубокого зеленого озера, на берегу которого и стоял замок, раскинулись виноградники, маисовые поля и густые рощи старых каштанов, ветви которых склонялись до самой воды, отбрасывая на нее причудливые тени. Миновав подвесной мост, я попал в мрачный двор, где, с любопытством осматривая стены замка, увидел небольшие отверстия, через которые осажденные, видимо, лили кипяток и раскаленное масло на головы атакующих. В комнатах замка было устроено множество ловушек, попав в которые, несчастные жертвы либо срывались в глубокое озеро, либо падали на металлические прутья, укрепленные в расщелинах скалы, служившей замку естественным фундаментом. В подвалах было множество ржавых железных колец, к которым крепились цепи узников; кроватями заключенным служили голые камни. На одной из колонн Байрон в 1826 году высек свое имя. Сопровождавшая меня женщина сказала, что не застала его здесь, а то никогда не позволила бы ему такого. Теперь же все посетители как один желают посмотреть на эту надпись. «Кто бы мог подумать, какой необычной персоной окажется этот господин!» — сказала она, со значением кивая головой на буквы.

Из Шильона путь мой лежал все время вверх, в горы Юра, к моему новому дому — маленькому городку часовщиков Ле Локль.

Расположен он в долине, которая в незапамятные времена была озером — об этом свидетельствуют окаменелые рыбы, найденные здесь; их с гордостью демонстрируют всем приезжим. Долина нахо-

дится столь высоко, что облака нередко не достигают ее. Все здесь дышало покоем — молчаливые темные ели, свежая зелень травы, сочные фиолетовые крокусы, создающие причудливый узор на этом зеленом ковре. Аккуратные, сияющие белизной домики местных жителей наполнены часами местного производства самых разных мастей. Тяжелые кисти рябин, растущих здесь в великом множестве, напоминали мне картинки из детского букваря, а сами ягоды — крупные, огненно-красные — навевали мысли о доме. Таков был Ле Локль — довольно известный торговый город, имеющий свои давние традиции. Моим временным пристанищем здесь стал гостеприимный дом семьи Урье — милых, приветливых людей. Глава семьи был родственником нашего талантливого соотечественника — ныне покойного Урбана Юргенсена. Меня здесь приняли как родного, даже речи не шло ни о какой оплате, ни о каком пансионе. «Вы — наш гость!» — с порога заявили мне эти милые люди, радостно пожимая мне руки. Их дети, даже младшие, так и льнули ко мне, и вскоре мы стали с ними лучшими друзьями. Свой ужасный французский я постоянно совершенствовал в беседах с двумя почтенными тетушками, жившими в этой большой и дружной семье. Звали их Розалия и Лидия; я потчевал их рассказами о Дании и об их любимой сестре, которую они не видели с тех самых пор, как она — совсем еще юной — вышла замуж и уехала с мужем к нему на родину. Никакого другого языка, кроме французского, в семье не знали, и хотя мой французский был из рук вон плох, все же мы понимали друг друга и довольно живо общались. Хотя на дворе стоял август, однако печь в моей комнате топили два раза в день, иногда даже шел снег. При этом я знал, что внизу у подножия гор все еще царит жаркое лето и, стоит мне потратить пару часов, я вполне могу очутиться там. По вечерам долина оказывалась объятай какой-то неповторимой торжественной тишиной, нарушал которую лишь звон колоколов, долетавший до нас с той стороны горной реки, где находилась граница с Францией. Неподалеку от города одиноко стоял живописный белый домик, войдя в который и миновав пару подвалов, можно было оказаться по ту сторону гор на берегу невидимой из города реки, вращающей мельничные колеса. Часто я приходил сюда и шел еще дальше по живописному горному склону. Столь милое моему сердцу пребывание в Ле Локле и воспоминания об этих местах нашли отражение в моем романе «О.Т.».

Но и сюда, в этот маленький городок, затерянный меж густых лесов и высоких гор, объятый покоем и безмолвием, долетали отголоски политических баталий. Как известно, кантон Нойшатель принадлежит Пруссии, и вот сторонники Пруссии и поборники независимости Швейцарии, издавна жившие как хорошие соседи, в одночасье перестали встречаться друг с другом; даже песни стали петь разные. Все это служило почвой для мелочных обид и бесконечных взаимных упреков и придирок. Так, один швейцарец абсолютно серьезно рассказывал мне, как его сосед, настроенный пропрусски, придя к нему в гости, разбил локтем стекло на картине, сюжетом которой была легенда о Вильгельме Телле, сбившем выстрелом яблоко с головы собственного сына. Картина оказалась безнадежно испорченной. «Поверьте, он сделал это нарочно!» — горячо убеждал меня рассказчик. Однако все эти политические дразги меня мало трогали. Наслаждаясь семейным теплом и положением желанного гостя, я узнал о частной жизни людей, а также об обычаях и нравах страны гораздо больше, чем обычный путешественник. Кроме того, мысли мои были заняты новой поэтической работой.

Еще по пути за границу и все время пребывания в Париже меня занимала мысль написать одну поэму. Чем лучше я уяснял себе свою задачу, тем рельефнее вырисовывались у меня в уме разные частности поэмы, и я надеялся покорить ею всех своих недругов, заставить их признать во мне истинного поэта. Сюжет я заимствовал из старинной народной песни «Агнета и Водяной». В Париже я окончил первую часть, в Ле Локле — вторую, а затем отослал обе на родину вместе с маленьким предисловием. Теперь я бы, конечно, написал его совсем иначе, равно как и саму поэму. Тем не менее приведу здесь это предисловие, так как оно ярко характеризует мой образ мыслей в то время.

«Еще ребенком увлекался я старинной песней об Агнете и Водяном; особо привлекало меня описание в ней двух стихий: земли и моря. Сделавшись старше, я понял и оценил и рисуемую в ней безотчетную грусть, и стремление к какой-то новой жизни. Давно уже хотелось мне рассказать все это по-своему. Старая песня звенела у меня в ушах в шумной толпе на бульварах Парижа, среди ослепительных сокровищ Лувра, и дитя зашевелилось у меня под сердцем, прежде чем я сам осознал, что ношу его.

Родилась же моя «Агнета» далеко от шумного Парижа, в высоких горах Юра, на лоне величавой природы, так напоминающей природу нашего Севера, под сенью темных еловых швейцарских лесов. Но душа в ней чисто датская! И вот я посылаю свое возлюбленное дитя на родину, которой оно принадлежит. Примите же его ласково, с ним я шлю всем вам свой привет. За границей все датчане кажутся нам друзьями и братьями. К моим друзьям и родным я и направляю свою «Агнету».

За окном моим валит снег; над вершинами деревьев нависли тяжелые облака, а внизу у подножия гор — лето, зреют виноград и маис. Завтра я перенесусь через Альпы в Италию, и там мне, быть может, приснится прекрасный сон... Его я тоже опишу и отошлю в Данию — ведь сын должен верить свои сны матери! Всего вам самого доброго!

14 сентября 1833 г. Х.К.Андерсен».

Моя поэма достигла Копенгагена, была напечатана и вышла в свет. Предисловие вызвало насмешки, особенно выражение: «И дитя зашевелилось у меня под сердцем, прежде чем я сам осознал, что ношу его!» Сама поэма была принята холодно; говорили, что я неудачно подражаю Эленшлегеру, который некогда присылал из-за границы свои шедевры. Кроме того, случилось так, что появление «Агнеты» совпало с появлением «Амура и Психеи» Палудана-Мюллера, произведения, вызвавшего всеобщий восторг. Достоинства последнего еще резче оттеняли недостатки моей поэмы, и она не произвела ожидаемого мною впечатления даже на Эрстеда. В пространном, доброжелательном письме от 8 марта 1834 года, полученном мною в Италии, он откровенно изложил мне причины этого; с приведенными им доводами я согласился, однако лишь несколько лет спустя.

Несмотря на все свои недостатки, «Агнета» все-таки свидетельствовала, что я сделал шаг вперед: мой субъективизм мало-помалу начинал уже уступать место творчеству объективному. Я пережил в то время переломный период, и поэма завершала определенный этап моего лирического творчества. Прошло несколько лет, и это было признано и критикою, которая отметила даже, что хотя «Агнета» и обратила на себя внимание в меньшей степени, нежели более ранние и менее совершенные мои произведения, она тем не менее куда глубже, сильнее и поэтичнее их. Позже «Агнета» в несколько измененном ви-

де была поставлена на сцене; имелось в виду поднять сборы в летнее время, и ее дали несколько раз как приманку, но, несмотря на то что госпожа Хейберг создала истинно гениальный и трогательный образ Агнеты, несмотря на написанную Нильсом Гаде чудесную музыку к отдельным песням, пьеса не удержалась в репертуаре.

Все это, впрочем, произошло значительно позже. Теперь же, как сказано, я отослал «Агнету» домой как изваянную мною драгоценную статую, понятную только Богу да мне. Сколько надежд и мечтаний моих понеслось вслед за нею на север! Сам же я днем позже направился на юг, в Италию, где передо мной открылась новая страница моей жизни.

Милые мои хозяева в Ле Локле отъезд мой восприняли чуть ли не как трагедию. Слезам и причитаниям не было конца, рыдали даже дети, успевшие весьма привязаться ко мне. Я же не понимал, чем заслужил такую любовь к себе, а они, думая, что я просто туговат на ухо, начинали причитать еще громче. Слуги также глотали слезы, пожимая мне руки, а престарелые тетуски подарили мне на прощание шерстяные напульсники, собственноручно связанные ими для меня, чтобы я не замерз во время поездки через перевал Симплон.

«Агнета» и пребывание в Ле Локле завершили очередную главу моей жизни.

## VI

Итак, спустя ровно четырнадцать лет с тех пор, как бедный провинциальный мальчик вступил в Копенгаген, въезжал я теперь в Италию, страну, куда издавна неслись все мои мечты и грезы.

По долине Роны мы преодолели перевал Симплон. Сколь же величественные картины природы окружали нас! Тесный дилижанс наш с упряжкой лошадей со стороны, вероятно, смотрелся мухой, ползущей по огромной каменной глыбе. Мы взбирались по узкому проходу меж скал, пробитому сквозь горный хребет по воле Наполеона; вокруг сияли изумрудные глетчеры. Чем выше мы поднимались, тем становилось холодней; встречные пастухи кутались в кожуки из коровьих шкур, в очагах постоянных дворов ярко пылало пламя. Казалось, настала суровая зима, однако стоило нам начать спуск, как дорогу окружили густые рощи зеленых каштанов, залитые теплыми лучами солнца. Оживленные площади и улицы первых же итальян-

ских городков подтвердили все то, что мне довелось прежде слышать о шумных итальянцах. Среди темно-синих гор сверкнуло зеркало Лаго-Маджоре с многочисленными островками, разбросанными по его глади наподобие пышных букетов. Небо тем не менее было подернуто серой дымкой, как и у меня на родине; расчистилось оно лишь ближе к вечеру, зато и воздух тогда стал прозрачен и свеж — раза в три чище нашего, датского. Лозы виноградников с гроздьями спелых ягод увивали весь наш путь, как праздничные гирлянды. Никогда с тех пор не встречал я в Италии ничего красивее этого.

Первым чудом искусства, увиденным мною в Италии, был Миланский собор, эта мраморная глыба, обточенная и преображенная искусством архитектора в арки, башни и статуи, рельефно выступавшая при ярком свете луны. С самого его купола виднелись вдали цепь Альпийских гор, глетчеры и роскошная зеленая долина Ломбардии. «Порта Семпионе», называемая в народе «наполеоновской», тогда еще только строилась; в «Ла Скала» давали оперы и балеты. Все это я осмотрел и посетил, однако наибольшее впечатление произвел на меня именно собор — царящая под сенью его сводов тишина, нарушаемая лишь аккордами церковной музыки, наполняла душу мою божественным покоем и заставляла мысли устремляться ввысь.

В сопровождении двух своих соотечественников я покинул этот славный город и покатил дальше. Страна лангобардов напоминала своей ровной плоскостью и сочной растительностью наши родные зеленые острова. Новизну представляли лишь плодоносные маисовые поля да прекрасные плакучие ивы. Горы, через которые пришлось перебираться, показались нам после Альп маленькими. И вот наконец нашим взглядам открылись Генуя и море, которого я не видел с того самого времени, как покинул Данию.

Горные жители питают страстную привязанность к родным горам, а мы, датчане, к морю. С моего балкона открывался чудный вид на эту новую, незнакомую и в то же время такую родную мне водяную равнину, и я вволю насладился им за время моей остановки в Генуе.

Вечером я собрался посетить театр — единственный крупный в Генуе. Расположен он был на главной городской улице, и казалось, найти его будет несложно. Однако один роскошный дворец следовал за другим, а нужного мне здания все не было видно. Наконец я все ж таки отыскал театр, узнав его по огромной мраморной белоснежной

статуе Аполлона, возвышавшейся перед входом. Давали премьеру оперы Доницетти «Любовный напиток», а после нее — комический балет «Волшебная флейта». По сюжету последнего при звуке флейты все и вся — даже важные члены городского муниципалитета и картины на стенах зала заседаний — пускаются в пляс. Впоследствии я использовал эту идею в своей сказке-комедии «Оле Лукойе».

Письменное разрешение от адмиралтейства открыло нам двери Арсенала, где жили и трудились приговоренные к каторжным работам — тогда их было 600 человек. Мы осмотрели внутреннюю тюрьму, общий спальный зал с расставленными вдоль стен нарами и свисающими с мощных скоб цепями, к которым приковывали на ночь каторжников. Даже в лазарете с некоторых из них не снимали кандалов. Жуткое впечатление на меня произвели трое умирающих. Надо было видеть, как они лежат там с залитыми смертельной бледностью темными от загара лицами и тусклыми, полузакрытыми глазами! Внезапно один из несчастных злобно взглянул на меня — и я понял его, ведь мы явились сюда утолить свое любопытство зрелищем их страданий. Он вдруг разразился жутким хохотом, приподнялся на койке и сел, пригвоздив меня к месту своим тяжелым, ненавидящим взглядом. Лежащий подле него, также в цепях, белый как лунь старик был слеп. Во дворе Арсенала помещались мастерские для заключенных, многие из которых — иногда до самого конца жизни — были скованы попарно. Я обратил внимание на одного каторжника, который, как и прочие, был одет в белые штаны и красную куртку, сшитые, однако, из дорогого сукна. Цепей на нем не было видно, был он молод и хорош собой. Нам рассказали, что он — генуэзец, некогда державший в городе один из самых шикарных домов, однако потом уличенный в воровстве из городской казны и приговоренный к двум годам каторжных работ. Тем не менее он не трудится с остальными, днем ходит без цепей, хотя на ночь его, как и прочих, приковывают к нарам. Жена регулярно присылает ему деньги, живет он здесь припеваючи и ни в чем не ведает недостатка. Однако, подумалось мне, что такое все это перед неизбежностью пребывания здесь, среди всех этих преступников, перед каждодневной процедурой приковывания к нарам, перед градом постоянных издевательств и злобных насмешек!

Весь первый день по выезде из Генуи мы двигались по великолепнейшей дороге вдоль морского берега. Сама Генуя расположена в го-



рах и окружена темно-зелеными оливковыми рощами. В садах повсюду золотились апельсины, померанцы и лимоны, что указывало на весну, тогда как жители Севера уже подумывают о зиме. Красивые картины так и мелькали одна за другой; все здесь было для меня ново и навсегда запечатлелось у меня в памяти. Я до сих пор еще вижу перед собою эти старинные мосты, увитые плющом, проходящих по ним капузинов и толпы генуэзских рыбаков в характерных красных шапочках. А что за яркую светлую картину представляли собой побережье, застроенное прекрасными виллами, и море, по которому проносились суда с белыми парусами и дымящие пароходы! Затем вдали выросли голубые горы Корсики, родины Наполеона. У подножия древней башни в тени раскидистого дерева сидели три старухи с прядками; длинные седые волосы старух спадали им на бронзовые плечи. Возле дороги росли огромные кусты алоэ.

Читатели, может быть, упрекнут меня за то, что я отвожу столько места описанию природы Италии, и у них, пожалуй, даже явится опасение, что описание моей жизни сойдет на описание впечатлений туриста. Дело, однако, в том, что в это первое мое путешествие главные впечатления я вынес именно из открывшихся передо мною новых картин природы и нового мира искусства, тогда как в последующие я уже имел больше возможностей набраться впечатлений от общения с людьми. На этот же раз я действительно всецело находился под обаянием здешней природы! Волшебная красота вечера, проведенного в Сестри ди Леванте. Постоялый двор, расположенный прямо на берегу моря, по которому ходят огромные валы. Пылающие огнем облака на небе, горы, постоянно меняющие свою окраску. Деревья, переплетая свои ветви, как бы образуют огромные корзины, полные кистей спелого винограда, которыми усыпана вьющаяся лоза. И вдруг, по мере того как мы углубляемся в горы, картина резко меняется — повсюду, куда ни кинешь взгляд, лишь уродливая пересохшая пустыня. Создается впечатление, что когда волею божественной фантазии Италия была превращена в один огромный цветущий сад, в этот уголок ее попали весь мусор и строительные отходы. Вместо горных вершин, как будто вырастающих из плодороднейшего чернозема, — каменные россыпи, сухая глина и обломки голых скал. И снова внезапно, как в сказке, все это сменяется великолепием сада Гесперид — перед нами открывается бух-

та Спедии. Голубые горы окружают прекраснейшую долину, которой, кажется, досталось все, что было в роге изобилия. Меж густой листвы свисают тяжелые кисти сочного винограда, пышной лозой увиты и апельсиновые деревья, и маслины, плоды которых едва видны в буйной зелени, лоза перекидывается с одного ствола на другой. И среди всего этого великолепия, как расшалившиеся дети, вприпрыжку носятся черные, с мягкой лоснящейся кожей, а не грубой щетиной, свиньи, задирающие брыкающегося осла, на котором важно восседает капуцин, прикрывшийся от солнца огромным зеленым зонтом.

В Карреру мы выехали во время празднеств по случаю дня рождения герцога Модены. Все дома в городе были убраны гирляндами, кивера солдат украшали миртовые ветви, все звуки утопали в непрерывной канонаде пушечного салюта. Нам захотелось осмотреть мраморную каменоломню, расположенную неподалеку от города. Дно прозрачной речушки, вившейся вдоль дороги, блестело, усыпанное белоснежной мраморной крошкой. Мы прибыли к большому карьеру, где добывали серый и белый мрамор, залегающий здесь в виде огромных кристаллов. Мне казалось, что я стою у подножия сказочной горы, в каменных глыбах которой заключены древние боги и богини, терпеливо дожидаящиеся, пока резец могучего волшебника — Торвальдсена или Кановы — освободит их и вновь выпустит в наш мир.

Несмотря на массу новых впечатлений и окружающие нас красоты природы, мы с нашей маленькой компанией, подобно Николаи, нередко испытывали довольно неприятные чувства, знакомясь с итальянской действительностью. Поездка складывалась непривычным для нас образом: постоянные вымогательства на постоялых дворах, бесчисленные требования предъявить документы — за несколько дней наши паспорта тщательно просматривали и даже переписывали не менее десятка раз. Веттурино наш толком не знал дороги, мы часто плутали и вместо того, чтобы приехать в Пизу днем, прибыли туда глубокой ночью. После долгой и мучительной процедуры строжайшего досмотра мы въехали на пустые и темные улицы: фонари не горели, и единственным светом нам служила огромная свеча, которую наш кучер купил у городских ворот и теперь держал перед собой. Наконец мы достигли цели, к которой так стремились — гостиницы «У гусара». «Подобно Йеппе, мы то валяемся на навозной ку-

че, то пребываем в баронском замке», — писал я домой. Теперь, несомненно, мы попали именно в замок барона. Прежде чем отправиться осматривать городские достопримечательности — церковь с купелью, кладбище Кампо-Санто и знаменитую башню, мы как следует насладились отдыхом. Декорация, создаваемая театральными художниками к «Роберту-дьяволу», смотрится точной копией Кампо-Санто. Галерея здесь полна разных статуй и барельефов. Одна из композиций — «Исцеление Фомы» — принадлежит резцу Торвальдсена; скульптор создал свой автопортрет в образе юного Фомы. Пизанская башня оказалась закрытой для посещения, однако нам все же удалось подняться на самый верх. Вся конструкция состоит из цилиндров, обнесенных колоннами, а на верхней площадке перила вовсе отсутствуют. Та сторона башни, которой она обращена к воде, подверглась разрушительному воздействию морских ветров: железо крошится, каменная кладка качается, все покрыто уродливым желтым налетом. С башни открывался вид на Ливорно. Теперь до него в два счета можно добраться по железной дороге, тогда же нам пришлось довольно долго трястись в повозке. Путешествие туда не оправдало затраченных на него усилий, ибо наш веттурино ничего кругом не знал и указывал нам лишь на то, что мы и без него прекрасно видели. «Здесь, — к примеру, говорил он, — живет турок торговец, но сегодня лавка его закрыта. Вот церковь с красивой росписью, но теперь она уже снята. А тот прохожий — один из самых богатых людей в городе!» Это было самое интересное из того, что он нам поведал, а под конец он отвел нас в синагогу — «самую красивую и богатую в Европе», которая ни в ком из нас вовсе не пробудила никаких религиозных чувств. Внутри она скорее напоминала мне биржу, мне было странно и непривычно, что все здесь ходят в шляпах и громко разговаривают, стараясь перекричать один другого. Грязные еврейские дети стояли прямо на скамьях, равнины с некоего подобия кафедры о чем-то весело беседовали с несколькими пожилыми иудеями; у скинии возникла настоящая давка — все толкали и пихали друг друга, стремясь занять место поудобнее. Ни намека на божественную благодать, да и откуда, спрашивается, взяться благочестивым мыслям в такой обстановке? Женщины размещались наверху в просторной галерее, практически скрытые от наших глаз густой решеткой.

Что действительно поразило нас своей красотой в Ливорно, так это картина солнечного заката: пылающие огнем облака, пылающее море и пылающие горы образовали своего рода ореол вокруг грязного народа, оправу, придававшую ему блеск, присущий всей Италии. Скоро этот блеск достиг своего апогея — мы были во Флоренции.

До сих пор я ничего не смыслил в скульптуре, не особенно ею интересовался и почти не знаком был с ее образцами на родине. В Париже я тоже проходил мимо них как-то безучастно. Первое сильное впечатление произвели на меня и скульптура, и живопись во Флоренции. Тут, при посещении великолепных галерей, музеев и соборов, впервые проснулась во мне любовь к этим видам искусства. Стоя перед Венерой Медицейской, я чувствовал, что мраморная богиня как будто глядит на меня, сам я смотрел на нее с благоговением и не мог наглядеться.

Бела, легка, из пены вод  
 Краса нетленная встает,  
 Лишь Богом постижима;  
 Вселенной остров — тлен и прах,  
 Одна любовь живет в веках,  
 Богинею хранима!

Я ежедневно ходил любоваться на нее да на группу Ниобеи, поражавшую меня своей необыкновенной жизненностью, правдивостью и красотой. Бродя меж отдельными статуями этой группы, поневоле сам начинаешь ощущать себя участником заключенного в ней действия. Каменная фигура матери простерла полу своего платья над последней оставшейся в живых дочерью в тщетной надежде защитить испуганного ребенка от готовой поразить его летящей стрелы.

А какой новый мир открылся для меня в живописи! Я увидел мадонн Рафаэля и другие шедевры. Я видел их и раньше — на гравюрах или в гипсе, но тогда они не производили на меня никакого особенного впечатления, ничто в них прежде не трогало мою душу. Теперь же я чувствовал себя как будто другим человеком.

Мы часто посещали крупные соборы и церкви, в особенности Санта-Кроче, чтобы еще и еще раз полюбоваться величественными монументами и надгробиями. Вокруг гробницы Микельанджело сидят высеченные из камня Скульптура, Живопись и Архитектура.

Хотя прах самого Данте и покоится в Равенне, однако памятник ему также установлен возле Санта-Кроче! Италия указывает на колоссальных размеров статую поэта, а Поэзия рыдает над его гробом. Здесь же стоит и памятник Альфьери работы Кановы: на фоне масок, лир и лавровых венков Италия горько плачет над могилой драматурга. Надгробия могил Галилея и Макиавелли оформлены менее торжественно, однако от этого не становятся менее святы.

Однажды мы втроем решили отыскать жилище четвертого нашего соотечественника, гравера по меди Сонне. Проходя по его кварталу, мы громко разговаривали; вдруг к нам подошел человек в рубахе с короткими рукавами и в кожаном фартуке и обратился к нам по-датски с вопросом: «Кого вы разыскиваете, господа?» Он оказался слесарем из Копенгагена, поселившимся здесь и женившимся на француженке; вот уже девять долгих лет он не видел Дании. Поведав нам свою историю, он жадно слушал наши рассказы о родине. Всю роскошь Флоренции, по его словам, он, не задумываясь, променял бы на милую его сердцу улицу Мёнтергаде.

Из Флоренции мы с двумя друзьями направились в Рим через Терни, знаменитый своим водопадом. Путешествие оказалось сплошной мукой! Днем — палящий зной, вечером и ночью — тучи ядовитых мух и комаров. В довершение всего нам попался еще худший, нежели прежде, веттурино. Восторженные отзывы о прелестях Италии, начертанные на стенах и окнах гостиниц, казались нам поэтому просто насмешкой. В то время я еще и не подозревал, с какой силой привяжусь я к этой чудной, поэтической, богатой славными воспоминаниями стране.

Уже во Флоренции вновь начались наши мучения. Мы погрузились в неплохую, в общем-то, карету, которую где-то раздобыл наш веттурино, и вдруг за дверцу взялся некий субъект, выглядевший, как Иов, выскобливший черепком свои язвы. Мы все дружно запротестовали, он обошел карету с другой стороны, но и там ему отказали в месте. Тогда в дело вмешался веттурино, заявивший, что это наш четвертый пассажир — дворянин из Рима, и мы, весьма заинтригованные, вынуждены были впустить попутчика. Вблизи, однако, грязь, покрывавшая тело и лохмотья этого субъекта, оказалась столь отвратительна, что при первой же остановке мы заявили веттурино, что откажемся от его услуг, если данный господин будет

сидеть с нами до самого Рима. После оживленной беседы с проводником, сопровождаемой отчаянной жестикуляцией, упомянутый «дворянин» забрался на козлы к кучеру. Тут как на грех начался проливной дождь, но хоть мне искренне было жаль беднягу, однако находиться с ним в одном помещении, тем более в тесной карете, было совершенно невозможно, так что все решили, что это даже к лучшему, если он помоеся под дождем. Окрестности дороги были в высшей степени живописны, однако после дождя началось настоящее пекло; нас одолевали полчища мух, которых мы отгоняли миртовыми ветвями. Бедные лошади наши едва передвигали ноги, а по тучам круживших над ними насекомых и вовсе напоминали павших кляч. На ночлег мы остановились в жуткой дыре в Леванте. Нашего «дворянина» я увидел сушащим одежду вблизи очага и помогающим хозяину постоялого двора ощипывать кур, которыми нам предстояло поужинать. По мере этого он сердито жаловался на «еретиков-англичан», которым еще воздастся по заслугам. Той же ночью пророчество его сбылось. Оставив все окна открытыми для притока свежего воздуха, мы подверглись атаке комаров и мошек, и наутро наши лица и руки опухли и сильно кровоточили. Я насчитал пятьдесят семь укусов только на одной руке. Целый день после этого боль не унималась, к ней добавилась и лихорадка. Теперь за окном кареты расстилались прекрасные пейзажи Кастильоне. Кругом шумели виноградники и масличные рощи, меж которых под присмотром красивых полуголых ребятишек и седовласых матрон паслись стада жирных угольно-черных свиней. Вблизи Тразименского озера, у которого бился Ганнибал, я впервые увидел дикорастущий лавр. На границе Папской области наши паспорта и чемоданы в очередной раз были подвергнуты тщательному осмотру, и вслед за тем мы продолжили наш путь в живописных лучах величественного заката. Красоты его я никогда не забуду, как не забуду и убожества принявшего нас постоялого двора: проваливающийся пол, толпа калек-попрошаек под дверью, одетая в грязную кофту хозяйка со злобной ухмылкой ведьмы, которая сплевывала каждый раз, подавая нам очередное блюдо, и спешила убраться из комнаты.

Когда в «Калошах счастья» я попытался нарисовать картину того, насколько убогой может быть «bella Italia», я вспоминал именно об этой странице нашего путешествия. На следующий день мы до-

стигли Перуджи, города, где Рафаэль учился мастерству у Перуджино. Осмотрев шедевры обоих, мы полюбовались открывавшимся с холма видом на масличные рощи, который улаждал взор Рафаэля, как, вероятно, и императора Августа еще в те времена, когда в его честь из огромных каменных блоков здесь возводили триумфальную арку, сохранившуюся до наших дней в таком виде, как будто она была построена только вчера. К вечеру мы прибыли в Фолино, который производил впечатление разоренного города. Почти между всеми зданиями на главной улице были установлены мощные распорки. Из-за случившегося здесь недавно землетрясения стены многих домов пересекали трещины, от некоторых строений остались одни руины. Пошел дождь, задул сильный ветер, и мы поспешили укрыться в гостинице, которая, впрочем, оказалась весьма неудобной, а предложенная нам там еда столь неаппетитной, что никто из нас к ней не притронулся, хотя мы и изрядно проголодались.

Kennst du das Land!\* —

иронично пропел молодой немец под аккомпанемент ветра и дождя, сотрясавших оконные стекла. Достаточно еще одного подземного толчка, и весь этот наш благословенный кров превратится в прах, думали мы; тем не менее ничего подобного за ночь не случилось, и мы отлично выспались. Ближе к вечеру следующего дня мы достигли наконец Тернийского водопада, которым по праву гордится Италия. Небольшой горный поток, струящийся меж масличных деревьев, растущих на склонах, срывается в долину к ветвям лавров и розмаринов, рассыпаясь в воздухе на мириады сияющих капель. Заходящее солнце в последний раз озарило эту водяную пыль своим багровым лучом и село за горами, погрузив все вокруг в глубокий мрак. Наступила непроглядная ночь, я потерял своих спутников и возвращался к дороге через рощу в компании молодого веселого американца, который по пути рассказывал мне о Ниагаре, Купере и широких прериях.

На следующий день с утра зарядил дождь, дорога размокла, ничего нового из окон кареты мы не увидели, все устали и тяготились поездкой. Гостиница в грязном Непи оказалась под стать самому городу. Отрадные воспоминания у меня остались лишь от вечерней прогулки,

---

\* Ты знаешь эту страну! (нем.)

когда случай привел меня в окрестностях города к живописным руинам и срывающемуся в глубокую пропасть водопаду. В своем романе «Импровизатор» я постарался передать картину данной местности в сцене, где Антонио в последний раз довелось видеть черты Фульвии.

Наконец настал день нашего прибытия в Рим. В сильнейший дождь и ветер проехали мы мимо воспетой Горацием горы Соракт и по Римской Кампанье. Никто из нас и не подумал прийти в восторг от ее красоты или от ярких красок и волнообразных линий гор. Все мы были поглощены мыслью о конечном пункте нашей поездки и об ожидающем нас там отдыхе. Признаюсь, что, очутившись на холме, откуда путникам, прибывающим с севера, впервые открывается вид на Рим и где паломники с благоговением преклоняют колена, а туристы, согласно их рассказам, приходят в неописуемый восторг, я тоже был очень доволен, но вырвавшееся у меня тут восклицание совсем не обнаруживало во мне поэта. Завидев наконец Рим и купол собора Святого Петра, я воскликнул: «Слава богу! Теперь уж, видно, скоро мы что-нибудь поедем!»

Рим!

Я прибыл в Рим 18 октября днем, и скоро эта столица всех столиц стала для меня второй родиной. Я приехал туда в знаменательный день повторного погребения Рафаэля. В академии Св. Луки много лет хранился череп, который выдавали за череп Рафаэля. В последние годы, однако, возникли сомнения в его подлинности, и папа Григорий XVI разрешил разрыть могилу Рафаэля в Пантеоне, или, как его называют ныне, в церкви Санта-Мария дела Ротонда. Это было сделано, и останки Рафаэля были найдены в целости. Теперь предстояло снова предать их земле.

Когда могила была вскрыта и останки Рафаэля извлечены, художник Камуччини получил исключительное право зарисовать всю процедуру. Орас Верне, который проживал в то время по стипендии французской Академии в Риме, ничего не знал об этом, а поскольку он также присутствовал при данном событии, то сделал карандашный набросок всего происходившего. Папские полицейские, заметив это, попытались помешать ему, на что он, удивленно посмотрев на них, спокойно спросил: «Ну а дома-то по памяти это сделать можно?» Не услышав возражений, он пошел к себе и за период с полу-



дня до 6 вечера изобразил все увиденное им маслом, после чего отдал изготовить с картины клише, чтобы возможно было делать оттиски. Полиция немедленно конфисковала клише, Орас Верне написал властям гневное письмо с требованием в течение 24 часов вернуть его, ибо на искусство в отличие от соли и табака монополия не устанавливается. Клише ему вернули, Верне разбил его на куски и отослал господину Камуччини в сопровождении письма, в котором в самых решительных выражениях пояснял, что не намерен использовать свое творение во вред прочим. Камуччини же склеил клише и переслал его обратно Орасу Верне вместе с любезным письмом, в котором, в частности, пообещал, что его собственный рисунок публика не увидит. После этого все ограничения были сняты, и появилось множество картин разных авторов на данный сюжет.

Земляки наши, проживавшие в Риме, достали нам билеты на церемонию повторного погребения Рафаэля. На обтянутом черным сукном возвышении стоял гроб из красного дерева, обитый парчой. Священники пропели «Misereere», гроб открыли, вложили в него предварительно зачитанные соответствующие документы, вновь закрыли и пронесли его по всей церкви под чудное пение невидимого хора певчих. В церемонии участвовали все выдающиеся представители искусства и знати. Тут, между прочим, я впервые увидел Торвальдсена, тоже шедшего в процессии с зажженной восковой свечой в руках. Торжественное впечатление было, к сожалению, нарушено весьма прозаическим эпизодом: могила оказалась слишком узкой, и чтобы втиснуть туда гроб, пришлось поставить его почти стоймя; уложенные в порядке кости опять смешались в кучу. Слышно было даже, как они застучали.

Итак, я находился в Риме и чувствовал себя здесь прекрасно. Все мои земляки встретили меня очень сердечно, особенно медальер Кристенсен. До сих пор мы не были с ним знакомы лично, но он знал и любил меня по моим лирическим стихотворениям. Он представил меня Торвальдсену, жившему на улице Феличе. Мы застали знаменитого нашего земляка за лепкой барельефа «Рафаэль». Торвальдсен изобразил художника сидящим среди развалин в окружении муз и граций и рисующим с натуры. Холст перед ним держит Любовь; другой рукой она протягивает ему цветок мака — художественный символ его ранней Смерти. Гений искусства с факелом в руках смот-

рит на своего любимца, а Слава венчает его голову лаврами. Торвальдсен с воодушевлением объяснил нам идею своего барельефа, описывал в красках вчерашнюю церемонию, рассказывал о Рафаэле, о Камуччини и Верне. Затем он показал мне большое собрание картин современных художников, которые он приобрел и собирался завещать по своей смерти родине. Простота, прямота и сердечность великого скульптора произвели на меня такое впечатление, что я при расставании с ним чуть не плакал, хотя по доброте своей он взял с меня обещание, что мы будем видеться ежедневно.

Среди прочих соотечественников, у которых я нашел самый теплый и сердечный прием, был Людвиг Бёдкер, автор множества стихов, воспевающих красоты итальянской природы. Он проживал в Риме как частное лицо, посвящая свое время изучению искусства, природы и духовному *dolce farniente*\*. Прожив в Риме несколько лет, он прекрасно знал все красивые места города, способные привлечь мой интерес; в его лице во время своих прогулок по городу я обрел весьма сведущего и доброжелательного спутника. Столь же теплые и искренние отношения сложились у меня и с художником Кюхлером, который в ту пору был еще совсем молодым телом и душою человеком с прекрасным чувством юмора и всегда готовым откликнуться на шутку. Не представляю себе, что могло заставить этого веселого, добродушного, жизнерадостного парня, рисовавшего картины со слегка фривольными сюжетами, каким он был тогда, стать впоследствии нищенствующим монахом в одном из маленьких монастырей в Шлезине. Когда я спустя несколько лет вторично приехал в Рим, его было не узнать — юношеская натура проступала в нем лишь временами. Когда же я увидел Вечный город в третий раз, Кюхлер уже был католиком и рисовал лишь картины на религиозные мотивы и расписывал алтарные доски. Несколькими годами позже он был, как мы теперь знаем, посвящен папой Пием IX в нищенствующие монахи и босиком проделал путь по всей Германии до бедного монастыря в одной из германских земель. Теперь это был уже не художник Альберт Кюхлер, а монах-францисканец святой отец Пьетро ди Санте-Пио. Пусть дарует ему, заблудшему, всемиловитый Бог те счастье и покой, к которым он стремится.

---

\* *Dolce farniente* (итал.) — услада, сладкое времяпрепровождение.

В те же недели и месяцы, когда мы увиделись с ним впервые, он, веселый и жизнерадостный, стал мне добрым другом. Таким он мне и запомнился с тех пор. Вообще же время, проведенное в тот раз в Риме, который давно являлся для меня желанной целью, было не вовсе безоблачно, однако прежде чем рассказать о горьких часах, я хотел бы поведать об удивительных по красоте прогулках в горы.

В Риме стояла прекрасная, чисто летняя погода, и стоило воспользоваться ею для прогулок по окрестностям, хотя я еще не успел ознакомиться и с чудесами самого Вечного города. Были предприняты экскурсии в горы. Кюхлер, Блунк, Ферли и Бёдкер были здесь как дома, и их основательное знакомство с итальянским народом, нравами и обычаями очень пригодились мне. Благодаря им я скоро освоился в Риме, можно сказать, акклиматизировался здесь и запасся впечатлениями, послужившими мне впоследствии для описания итальянской природы и народной жизни в «Импровизаторе». В то время, впрочем, я еще и не помышлял об этом романе и вообще не имел в виду воспользоваться своими впечатлениями для описаний, а просто наслаждался ими. Предпринятые на первой неделе прогулки можно считать, безусловно, самыми яркими, ничем не омраченными впечатлениями, самыми счастливыми часами за все время поездки.

Через Кампанью, мимо древних захоронений, живописных водоемов, мимо пастухов с их стадами, мы двинулись к Альбанским горам, волнистые вершины которых казались совсем близкими в прозрачном свежем воздухе. На обед мы остановились во Фраскати, где я впервые побывал в настоящей остерии, битком набитой простыми крестьянами и священниками. По полу здесь разгуливали куры с цыплятами, а мулов оборванные ребятишки нам подвели прямо к жарко пылающему очагу. Мы продолжали взбираться в горы, мулы наши трусили неторопливой рысью мимо развалин виллы Цицерона, по мостовым старинного Тускулана, где не осталось ни домов, ни даже стен, меж лавровых деревьев и каштановых рощ. Забрались мы и на Монте Поцио с глубоким колодцем, обладающим столь сильным резонансом, как будто в нем сосредоточена вся мощь музыкальных тонов. Россини черпал здесь свои задорные и веселые мелодии, тогда как Беллини ронял в него слезы, создавая свою печальную музыку. К вечеру мы вернулись во Фраскати. Яркая луна оттеняла черный бархат кипарисов, окружавших крепость Ченчи, где

Беатриче укрывалась от своего жестокого родителя. В «Собрании стихотворений» под рубрикой «Италия» есть стихотворение об этих местах — «Беатриче Ченчи». Во Фраскати мы наблюдали фейерверк — ракеты взмывали над погруженными во мрак деревьями, весь город вторил их взрывам восторженными возгласами.

На следующее утро мы отправились в горы пешком; под нами расстилалась Кампанья, мы видели Средиземное море. Вскоре мы достигли Гротта феррата; здешний монастырь некогда дал убежище Доменикино, за что художник подарил ему четыре своих шедевра. Тропинка привела нас к могучему дереву, густая крона которого являла собой естественный свод часовни. Верхушка его была подстрижена так, что образовывала крест в обрамлении венка, а ветки пониже составляли купол. В выдолбленном стволе находился шкафчик, в котором за стеклом помещалось изображение Мадонны. Мы шли как будто по огромному цветущему саду, одна красочная картина сменяла другую. Через Аричию мы достигли Джензано, города цветочных праздников, и только к вечеру подошли к Неми. Склоны горы, поросшие огромными платанами и кактусами, когда-то, сходясь, образовывали кратер вулкана, на месте которого в обрамлении деревьев теперь сияет голубыми глубокими водами озеро. С каким наслаждением вдыхали мы свежий воздух здешних мест, слушали рассказы о повседневной жизни и праздниках. Каждый день нашей экскурсии был похож на новую прекрасную сказку. Как-то пасмурным утром, проезжая на мулах по склону, мы обнаружили большую живописную пещеру. Стены ее были сплошь покрыты чудесной свежей зеленью венериного волоса, а огромные ветви папоротника — дивной красоты и формы — свисали перед входом наподобие густой занавеси; проникающие сквозь нее внутрь лучи света образовывали причудливый орнамент, создать который не под силу ни одному художнику. Тот, кто этого не видел, не поверит, что такая красота может существовать! На этот раз целью нашей экскурсии был монастырь на Монте Каво. Здесь было уже по-осеннему холодно. Монастырский сад, окруженный естественной изгородью из роскошных лавров, раскинулся до самого основания стоявшего здесь некогда храма Юпитера Статора, от которого ныне осталось лишь несколько огромных каменных плит. Большое продолговатое облако скрывало от нас все, что было расположено ниже; внезапно оно рассеялось, и нашим

взглядам открылись Рим, Кампанья и горы, а прямо под нами сверкали чистой голубишной девичьих глаз Альбанское и Немийское озера. Как сказочно чудесны были наши прогулки среди всего этого великолепия горного края под аккомпанемент веселых песен и шуток, какие вечера проводили мы там! Какие редкие по нынешним временам сцены из народной жизни как будто специально для нас подготовил щедрый случай! Мы видели, как зазывает публику к своей повозке *dulcamara*\* в своем пышном наряде с золотыми галунами в окружении слуг, облаченных в маскарадные костюмы. Встретились нам и пойманные разбойники, прикованные цепью к запряженной волами телеге, шагающие в пыли под конвоем жандармов. Мы видели похоронную процессию; тело покойного без всякого гроба несли прямо на носилках, и лучи заходящего солнца бросали багряные отблески на побелевшее лицо мертвеца; за носилками бежали дети с бумажными кулками, в которые они собирали капли воска, падающие со свечей священников. Звон колоколов, песни, веселые мелодии музыкантов, девушки, пляшущие под звуки тамбуринов, — никогда с тех пор не приходилось мне видеть Италию такой живописной и праздничной. Казалось, что передо мной наяву оживают картины Пиньелли.

Мы возвратились в Рим, к его величественным соборам, роскошным галереям, в эту сокровищницу искусства. Однако стоящее посреди ноября ласковое лето вновь манило нас в горы — на этот раз в Тиволи.

Утром, однако, уже ощущалось холодное дыхание осени. Чтобы согреться, крестьяне зажигали факелы, по пути нам то и дело попадались деревенские жители в огромных черных овечьих тулупах, как будто мы были не в Италии, а в стране готтентотов. Однако стоило выйти солнцу, как сразу же стало тепло. В окрестностях городка Тиволи, стоящего над водопадом, живописно зеленели оливковые рощи попеременно с зарослями кипарисов, багровели виноградники. Мощные струи водопада выделялись на фоне зелени, как длинные плотные облака. Днем стало совсем жарко, всем даже захотелось искупаться в фонтане на Вилла д'Эсте, где растут самые большие в Италии кипарисы, размерами не уступающие восточным. Вечером, когда уже

---

\* *Dulcamara* (итал.) — зазывала в бродячем театре, обманщик.



Х.К.Андерсен.  
*Портрет работы А.Кюхлера.*  
*Рим, 1833*

совсем стемнело, мы спустились к подножию водопада; наши факелы освещали неверным светом переплетение лавровых ветвей вокруг; пропасть, над которой мы стояли, казалась еще глубже из-за рева срывающихся вниз и разбивающихся на дне ее водяных потоков. По сигналу вверху зажгли охапки соломы, и колеблющееся пламя озарило длинный ряд колонн древнего храма Сивиллы.

И опять мы вернулись в Рим с его кипящей, как во времена Гёте, народной жизнью, где люди искусства тянулись друг к другу и жили единой семьей. Такого единения не случилось мне видеть с тех пор нигде и никогда.

Скандинавы и немцы образовали в Риме свой кружок, французы, у которых была целая Академия под председательством Ораса Верне, — свой, и каждый кружок занимал в остерии «Лепре» отдельный стол. Шведы, норвежцы, датчане и немцы проводили вечера превесело. Среди членов нашего кружка находились и такие маститые знаменитости прошлых лет, как престарелые живописцы Райнхард, Кох, а также, разумеется, наш Торвальдсен. Райнхард так сжился с красотою Италии, что навсегда променял на нее свою Баварию. Старый, но все еще юный душой, он выделялся среди нас своим сверкающим взглядом, белыми, как снег, волосами и по-юношески звонким раскатистым смехом. В одеянии его поражали своей оригинальностью бархатная куртка и красный шерстяной колпак на голове. Торвальдсен носил старый сюртук с орденом «Байокко» в петлице. Орден этот получал каждый из вступивших в члены кружка. Новичок предварительно выставлял всей компании угощение — это называлось организовывать «Понте молле», — а затем ему вручался и орден «Байокко», т.е. медная итальянская монетка, которую следовало носить в петлице. Церемония сопровождалась забавными переодеваниями и сценами. Председатель, или «генерал» общества — в ту пору один молодой немецкий художник — облачался во что-то похожее на военный мундир, прикалывал к груди золотую бумажную звезду и выступал в сопровождении экзекутора, который нес топор и пук стрел; через плечо у него была перекинута тигровая шкура. За ним шествовал миннезингер с гитарой и часто пел при этом какую-нибудь импровизированную песню, которая, собственно, и называлась «Понте молле». Ранее существовал такой обычай, что прибывающего в Рим встречали у «Понте Аэмилия» — в просторечии «Понте молле»; по-

том все веселились в ближайшем кабаке. Теперь подобное празднование прибытия перекочевало прямо в Рим.

Все усаживались, и затем раздавался стук в дверь, как в «Дон Жуане» в сцене появления Командора. Стук возвещал о прибытии ожидаемого гостя, и вот начинался дуэт “генерала и новичка”, которого поддерживал хор, стоящий за дверями. Наконец незнакомцу разрешалось войти. Он был одет в блузу и парик с длинными локонами; к пальцам у него были приклеены длинные бумажные когти, а лицо размалевано самым фантастическим образом. Члены общества окружали его, обрезали длинные волосы и когти, снимали с него блузу, чистили и охорашивали его, а затем читали ему 10 заповедей общества. Одна из них запрещала «желать вина соседа», другая приказывала «любить “генерала” и служить ему одному» и т.п. Над головой “генерала” развешивалось в это время белое знамя с нарисованною на нем бутылкою и надпись: «Vive la fogliette!»\*, что было созвучно здравице в честь Лафайета. После того все участники двигались торжественной процессией вокруг столов, распевая все вместе песню о путнике, а затем уже начинали раздаваться песни на всевозможных языках — «Snitzelbank», «Monte Cavo», «Kleiner Bravo», — настоящий вокальный винегрет. Иногда тот или другой из членов кружка выкидывал какую-нибудь забавную шутку, например, зазывал с улицы первого встречного крестьянина, ехавшего на осле, и тот въезжал прямо в комнату, производя переполох. Или же договаривался с дежурными жандармами нагрянуть в остерию во время пирушки, якобы для ареста какого-нибудь из участников, что также имело немалый комический эффект. Суматоха оканчивалась, как правило, тем, что «fogliette» получали и жандармы.

Веселее же всего праздновался здесь вечер сочельника. В «Базаре поэта» есть описание этого праздника, но оно не идет ни в какое сравнение с тем живым, неподдельным весельем, свидетелем и участником которого мне довелось быть в 1833 году. В этот святой вечер не разрешалось шумно праздновать в самом городе, и мы нашли себе приют в саду загородной виллы Боргезе, в домике, стоявшем возле самого амфитеатра. Художник Йенсен, медальер Кристенсен и я забрались туда с раннего утра, и, разгуливая по саду по случаю жары

\* «Да здравствует бутылка!» (фр.)



без сюртуков, в одних жилетах, плели венки и гирлянды. Елку нам заменяло большое апельсиновое дерево, отягченное плодами. Главным призом был серебряный кубок с надписью «Сочельник 1833 г.». Счастливец, выигравшим его, оказался я. Все члены кружка должны были явиться на праздник с подарками; каждому вменялось в обязанность выбрать что-нибудь забавное либо позабавить остальных оригинальностью упаковки или девиза. Я привез с собой из Парижа пару кричащих, ярко-желтых воротничков, годных разве только для карнавала. Их-то я и принес на елку, но мой сюрприз чуть было не подал повода к крупным неприятностям. Я был твердо уверен, что все считают Торвальдсена самым почтенным членом кружка, и решил поэтому увенчать венком именно его как царя пиршества. Я еще не знал тогда о том, что теперь известно всем из жизнеописания Торвальдсена, составленного Тиле, а именно — о прежнем соперничестве между Торвальдсеном и Бюстрёмом. Последний признавал превосходство Торвальдсена в барельефе, но не в скульптуре, и Торвальдсен раз сгоряча воскликнул: «Да свяжи мне руки — я зубами обработаю мрамор лучше, чем ты резцом!»

На нашей елке присутствовали и Торвальдсен, и Бюстрём. Я, как уже говорил, сплел для Торвальдсена венок, а также написал небольшое стихотворение, но рядом с венком положил желтые воротнички, которые должны были достаться кому-нибудь по жребию. Вышло так, что достались они Бюстрёму, содержание же прилагаемой к ним эпиграммы было: «Желтые воротнички зависти оставь себе, а венок, что лежит рядом, преподнеси Торвальдсену!» В обществе произошло замешательство; все сочли это бестактной или умышленно злой выходкой. Вскоре, однако, выяснилось, что все вышло совершенно случайно, а когда узнали, что сюрприз был приготовлен мною, кого уж никто не мог заподозрить в ехидстве, то все успокоились, и веселье закипело по-прежнему.

Я написал для этого праздника песню — свою первую песню в скандинавском духе. В Риме наш праздник был, конечно, общим скандинавским праздником, хотя тогда еще не было и помину о нынешних «скандинавских симпатиях». Я так и озаглавил свою песню: «Скандинавская рождественская песнь, Рим, 1833 г.» Пелась она на мотив: «На тинге стоял молодой Адельстен».

Рождественское древо мы  
Из лавровой добыли рощи!  
Давайте станем вновь детьми,  
Детьми быть радостней и проще.  
А разница меж нами? — вот:  
Кто ходит в школу, кто — пойдет.

Давайте вспомним, как, детьми,  
Толпились, ожидая елки,  
Мы пред закрытыми дверьми  
И лучик света бил из щелки.  
Свои, соседи — все равно!  
И здесь мы тоже заодно.

Трилистник мы! — норвежец, швед,  
Датчанин, — все мы люди чести!  
В разлуке, братья, столько лет!  
Но в Риме собрались мы вместе:  
Три языка — единый сплав,  
Три брата, каждый — скандинав.

Душой мы дома, и пора  
Нам выпить за князей толику:  
И Карлу Юхану — ура!  
Гип-гип-ура и Фредерику!  
Пусть каждый пьет, ведь то не грех:  
Мы — братья все и пьем за всех!

Пусть минет все, но из всего  
Пусть нам запомнится навечно,  
Как в Риме мы на Рождество  
Сходились весело, беспечно.  
Отпразднуем же эту ночь,  
Как дети малые, точь-в-точь!

Песню пропели, и наступила пауза, каждому хотелось первому провозгласить тост за своего короля; наконец все тосты были соединены в один. В своей песне я упомянул имена обоих скандинавских королей, полагая, что поступаю вполне естественно и тактично; я

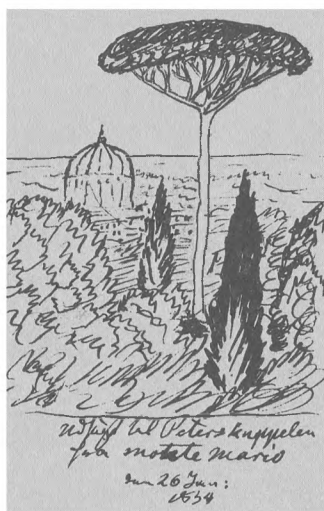
совсем не думал ни о какой политике, но меня еще тут же, за столом, упрекнули в «многopодданстве», а впоследствии до меня дошли слухи, что и в Копенгагене некоторые высокопоставленные лица сочли весьма странным, что я, разъезжая за датские деньги, воспеваю шведского короля! А мне казалось просто неприличным не упомянуть его имя рядом с именем датского короля, раз уж сама песнь пелась в кружке родственников между собой датчан, шведов и норвежцев. Все ведь мы были братьями, и каждый гость на нашей пирушке являлся в то же время и хозяином. Однако в то время не все разделяли мое мнение: слава богу, с тех пор взгляды изменились, тогда же я поплатился за то, что выступил со своими скандинавскими идеями слишком рано, хотя, на мой взгляд, и вполне уместно.

Возвращаясь с пирушки с Торвальдсеном и еще несколькими членами нашего кружка и подходя около полуночи к городским воротам, в которые нам пришлось стучаться, я невольно вспомнил сцену из комедии Хольберга «Улисс из Итаки», где Килиан стучится в ворота Трои. «Кто там?» — спросили за воротами. «Друзья!» — ответили мы, и в воротах открылась узенькая калитка, через которую едва можно было протиснуться. Ночь была чудная, по-нашему, по-северному — чисто летняя. «Да, это не то что у нас на родине в сочельник! — сказал Торвальдсен. — Здесь просто жарко даже в плаще!»

Письма с родины приходили ко мне редко, а те, что я получал, почти все носили отпечаток поучительности, мелочности и поверхностности. Они, конечно, только расстраивали меня, и иногда так сильно, что те из земляков, с которыми я в Риме сошелся наиболее близко, сейчас же говорили мне: «Видно, опять письмо из Дании получил? На твоём месте я бы не стал и читать таких писем и вообще порвал бы с такими друзьями; от них тебе одни сплошные мучения!» Я, разумеется, все еще нуждался в воспитании, вот меня и воспитывали, но грубо, безжалостно, не думая о том, какое тяжелое впечатление оставляют в сердце мертвые буквы таких писем. Врачи хлещут бичами, друзья — скорпионами.

Об «Агнете» не было еще ни слуху ни духу. Первое известие о ней я получил от одного из «добрых друзей» моих. Его суждения о моем произведении дают некоторое представление о том Андерсене, каким я был тогда.

Рисунки Х.К.Андерсена



Ле Локль. Швейцария

Вид на собор Святого Петра. Рим

«Ты знаешь, что твои, можно сказать, неестественные чувствительность и ребячество составляют резкий контраст со складом твоего характера. Признаюсь, я ожидал от тебя совсем другого, других идей, других картин и уже меньше всего изображения такого лица, как Хеннинг. Одним словом, “Агнета”, по-моему, чересчур уж похожа на твои прежние стихи (NB. На лучшие), а я было надеялся, что в этом новом произведении скажется влияние путешествия. Я говорил об “Агнете” с Э.Коллином, и он одного мнения со мною. Он твой лучший друг и в некоторой степени ментор, и я знаю, что он тоже пишет тебе по этому же поводу, так что я, со своей стороны, избавляю тебя от советов и нотаций. Дорогой друг, гони от себя все денежные заботы и наслаждайся путешествием вовсю! Побольше мужественности и силы, поменьше ребячества, выпренности и сентиментальности, побольше желания учиться и глубины, и — я поздравляю друзей Андерсена с его возвращением на родину, а последнюю — с поэтом!»

Письмо это было от человека, которого я любил, от одного из моих истинных друзей; он, хоть и был молод, но при этом весьма одарен, а также и находился в более счастливых условиях, нежели я сам. Принимая во внимание мою «ребяческую чувствительность», он высказывал мне свое мнение мягче, деликатнее всех других. Странно, однако, что он и прочие разумные люди могли ожидать особенных результатов от путешествия, состоявшего, как уже упомянуто раньше, лишь в том, что я доплыл на пароходе до Килия, а потом добрался в дилижансе до Парижа и Швейцарии, откуда и прислал «Агнету». К тому времени с начала путешествия не прошло и четырех месяцев. Результаты моей заграничной поездки могли сказаться гораздо позже — тогда-то я и написал «Импровизатора».

Еще сильнее потрясло меня письмо от другого моего друга, на которого я более всех мог положиться. Он писал:

«К моему глубокому сожалению, Андерсен, я не могу сообщить Вам ничего утешительного. Вы не знаете, как я и все другие Ваши друзья и доброжелатели, какие толки ходят про Вас в городе почти всюду. “Опять настроил что-то! Он уже давно надоел! Все одно и то же пережевывает!” Просто невероятно, как мало поклонников теперь у Вашей музыки. А в чем причина такого отношения к Вам? Вы пишете слишком много! Одно Ваше произведение еще печатается, а у Вас уже почти готова рукопись другого. Такой ужасающей,

прискорбной плодовитостью Вы обесцениваете свои труды. В конце концов ни один издатель не захочет издавать их и даром. Ну, разве не собираетесь Вы теперь, судя по Вашему письму к \*\*\*, опять описать свое путешествие? (Речь шла о начатом мною в Риме «Импровизаторе».) Да кто же, скажите мне, купит Ваш много-томный труд, повествующий о Вашем путешествии, путешествии, которое проделали до Вас тысячи людей? Неужели тысячи глаз могли пропустить столько нового и интересного, что рассказов об этом хватит Вам на два тома? В сущности, это просто эгоистично с Вашей стороны — приписывать себе такой интерес со стороны публики. Публика, по крайней мере рецензенты, никогда не подавала Вам повода вообразить это. Насколько я Вас знаю, Андерсен, Вы преспокойно ответите мне на это: “Да, но когда люди познакомятся с моей “Агнетой”, они переменят обо мне мнение, увидят, как переродило меня путешествие, сделало современнее и т.п.”. Таково приблизительно и есть содержание Вашего последнего письма. К сожалению, Вы ошибаетесь, Андерсен, прискорбно ошибаетесь. “Агнета” так напоминает прежнего Андерсена, что я просто готов был плакать от досады, находя в ней все старые знакомые черты, которых бы мне не хотелось встречать больше.

Прочтя это, Вы, вероятно, скажете, что я несправедлив и т.д. Поэтому хочу поведать Вам следующее. Я поделился возникшими у меня после просмотра корректуры невеселыми мыслями на Ваш счет с человеком, весьма интересующимся Вашими делами, которого сами Вы глубоко почитаете и на чей суд привыкли полагаться. Я убедил его просмотреть рукопись, чтобы затем вместе держать корректуру. Знаете, что он мне сказал? “Я честно намеревался посвятить сегодняшней вечер “Агнете” Андерсена, но — увы! — не в состоянии. Прошу меня извинить, но мне больно читать столь посредственный продукт его пера. Мне сложно судить, какая правка мелких ошибок тут требуется, ибо по мере прочтения мне лишь весьма редко удавалось отыскать во всем тексте хоть какие-то светлые пятна. Если Вы хотите знать мое мнение, то единственное, чем мы могли бы принести пользу нашему отсутствующему другу, это отговорить его печатать свое новое произведение; тем самым мы бы оказали ему дружескую услугу. К несчастью, его, по-видимому, вдохновляет на подобного рода стряпню, настроченную одним духом и как попало, пример Эленшлегера, некогда

присылавшего из Парижа свои шедевры на родину. С тем умываю руки и возвращаю Вам рукопись — поступайте с ней как знаете! Как бы нам со временем не пришлось пожалеть, что мы по-отечески отнеслись к этому дитяти!” Отсюда видно, что все, сказанное мною ранее, не только мое мнение, а со временем Вы, к сожалению, убедитесь, что так думают едва ли не все. Ради Господа Бога, ради сохранения Вашей же собственной репутации как поэта закликаю Вас — не пишите, сделайте перерыв хотя бы на полгода! Посвятите свою поездку исключительно развлечениям и постарайтесь набраться нового. Это не означает, что Вы непременно должны углубиться в изучение истории, чем, как Вы пишете, Вы как раз занимаетесь. Вероятно, Вы ответите, что вынуждены писать, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Что ж, признаю, в жизни Вам несладко приходится, однако на некоторое время Вы могли бы и прекратить писать — речь идет как раз о тех двух годах, в течение которых Вы получаете пособие в 600 ригсдалеров, хотя, конечно же, это не бог весть что!»

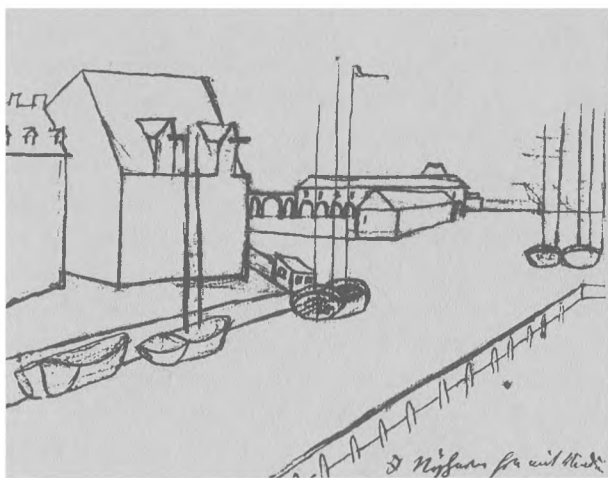
Затем он сообщил мне, что мне нечего рассчитывать на дополнительные суммы со стороны казны, а также надеяться получить так называемую Лассенскую стипендию. Кончалось письмо так:

«А теперь довольно с Вас неприятностей. В следующем письме постараюсь быть ласковее и спокойнее — здесь я немного расхотелся. Не стану поэтому распространяться о рецензии на сборник Ваших стихотворений, помещенный в “Литературном ежемесячнике”. Там Вас третируют уж чересчур неприлично, приводя сравнение — не в Вашу пользу — с Херцем, Хансеном, Хольстом, Кристианом Винтером и “Любовью при дворе”. Автор рецензии, вероятно, Мольбек, по обыкновению, злой, раздражительный и — по-своему — остроумный. Впрочем, в сущности, Вам не повредит подобная критика!»

Автором критической рецензии, разумеется, был Мольбек.

Понятно, как больно было мне читать такое письмо. Теперь, спустя столько времени, я смотрю на все это спокойнее и понимаю, что приведенное письмо было продиктовано искренним участием ко мне. Да и лучший мой друг, искренне любивший меня, поддался тогда общему настроению, заразился общим насмешливым пренебрежением ко мне. Письмо до того меня расстроило, что я почти разуверился в Боге, будучи отвергнутым и Им, и людьми, пришел в полное отчаяние; я даже начал было подумывать о смерти, причем так, как вовсе

Рисунки Х.К.Андерсена



Перевал Симплон в Альпах  
Нюхавн. Вид из окна кабинета



не пристало христианину. Но неужели же, спросят меня, быть может, мои читатели, не нашлось никого, кто бы отнесся к «Агнете», возлюбленному моему детищу, благосклоннее, дружелюбнее? Ведь это произведение вылилось у меня прямо из души, а вовсе не было «настроено одним духом и как попало»! Да, отвечу я, нашелся, так отнеслась к нему госпожа Лэссё. Вот несколько строк из ее письма:

«...Я понимаю, что “Агнета” не могла иметь собственного успеха, но то, что ее разнесли так, как Вам сообщают, я приписываю исключительно недоброжелательному отношению к Вам лично. В поэме много прекрасных мест, хотя я вообще нахожу ошибкой с Вашей стороны, что Вы выбрали именно этот сюжет. Кажется, я была этого мнения даже прежде, нежели Вы начали свой труд. “Агнета” для нас, датчан, — красивая бабочка, ею можно любоваться, но прикасаться к ней отнюдь нельзя. У Вас она тоже вышла воздушной, но Вы поместили ее в слишком тяжелую обстановку и заключили в слишком тесные рамки — ей негде порхать!»

И как раз теперь, в пору жестокого душевного потрясения и уныния, постигших меня из-за того, какому острому неприятию подвергаются на родине все мои труды, в довершение всего этого пришло известие о кончине моей старухи матери. Получив от Коллина эту весть, я невольно воскликнул: «Благодарение Богу! Окончились ее мятарства и нужда, которых я так и не смог облегчить». Тем не менее, я горько оплакивал ее, не в силах свыкнуться с мыслью, что теперь у меня уже нет никого на свете, кто бы любил меня, несмотря ни на что, побуждаемый к тому самой природой. Однако, и рыдая, я сознавал, что для нее-то смерть явилась все-таки благом: никогда бы не удалось мне обеспечить ей на старости лет полное довольство, так лучше, что она умерла со светлой верой в мое будущее, в то, что «из меня уже вышло нечто!». Вот что писала мне тогда госпожа Лэссё:

«Тяжело Вам, верно, было получить на чужбине скорбную весть о смерти Вашей матушки! Но ведь Господь отозвал ее в лучшую обитель, где находят упокоение все честные, добрые души. Там она, насколько я ее знаю, конечно, займет если не высокое (это неподходящее, земное выражение), то хорошее, вполне определенное место, какое она заслужила своею любовью. Мир ее праху! Неправда, однако, что теперь у Вас “нет никого, кто бы любил Вас”. Я по крайней мере отношусь к Вам, как к сыну; придется уж Вам примириться с этим».

Как благотворно действовали на меня эти ласковые, утешительные строки, как подняли мой упавший дух! Земляки мои, проживавшие в Риме, тоже высказывали мне в это время неподдельное участие, но главным образом по поводу смерти моей матери — сыновнее горе было им понятнее отчаяния писателя. В числе последних встреченных мною в Риме земляков был и Хенрик Херц, мой строгий судья в «Письмах с того света». Коллин заранее написал мне о приезде Херца в Рим и прибавил, что его очень порадует, если мы встретимся дружелюбно. Я сидел в «Кафе Греко», как вдруг вошел Херц и по-дружески протянул мне руку. Увидев мой убитый вид и узнав причины, он попытался утешить и ободрить меня, много говорил о моих произведениях и своем отношении к ним, коснулся «Писем с того света» и — вот диво! — просил меня не принимать близко к сердцу эту несправедливую критику. Он посетовал, что я слишком увлекся романтизмом и это повредило мне, зато описания природы, в которых наиболее полно проявилась природа моего таланта, он находил превосходными, и они нравились ему больше всего. По его мнению, я должен был утешаться мыслью, что почти всем истинным поэтам пришлось пережить подобный кризис, хотя их произведения в то время и не были столь же известны, как мои, и надеждою, что это переломное время станет для меня огненным крещением, благодаря которому я дойду до познания истины в царстве искусства!

Несколько дней спустя Херц вместе с Торвальдсеном был у меня и слушал «Агнету». По окончании чтения он объявил, что еще не может на слух составить себе полного впечатления о всем произведении, но находит, что лирические места мне весьма удались. Упреки же копенгагенских критиков в слабости формы он объясняет тем, что баллада вообще потеряла от переработки ее в драматическую поэму. Так и Эленшлегер своим «Бледным рыцарем» просто-напросто испортил «Оге и Эльсе». Я, конечно, мог бы возразить ему, что «Аксель и Вальборг» — гениальная трагедия, однако если говорить об этом произведении, то оно значительно превосходит по своему объему ту балладу, которая положена в основу сюжета. Торвальдсен говорил немного, но умное лицо его во все время чтения выражало большое внимание, а встречаясь со мной взглядом, он ласково и ободряюще кивал мне. Затем он пожал мне руку и похвалил музыкальность и гармоничность отдельных стихов и всей поэмы в целом

и прибавил: «К тому же от нее так и веет Данией, нашими родными лесами и озерами!»

Так уж случилось, что сблизился я с Торвальдсеном именно в Риме, хотя я и встречал его раньше в Копенгагене. В 1819 году, когда я, будучи еще мальчиком, попал в Копенгаген, Торвальдсен как раз находился в городе. Это был его первый приезд на родину из-за границы, куда он уехал еще бедным, никому не известным художником. Однажды я встретил его на улице; я знал, что это знаменитый художник, и почтительно поклонился ему. Он прошел было мимо, потом вдруг вернулся и спросил: «Где я с вами виделся прежде? Мне кажется, мы знакомы!» На что я отвечал: «Нет, мы совсем не знакомы!» Теперь в Риме я напомнил ему об этой встрече. Торвальдсен улыбнулся, пожал мне руку и сказал: «Да, тогда мне как будто что-то сказало, что со временем мы станем друзьями!» Всего более понравилось мне в его отзыве об «Агнете», что от поэмы моей, как он выразился, «веет нашими родными лесами и озерами». Застав меня однажды особенно расстроенным и огорченным, он обнял меня, поцеловал и стал уговаривать не падать духом. Я рассказал ему о пасквиле, полученном мною в Париже, и об отзывах о моей поэме, сообщаемых мне в письмах с родины. Он стиснул зубы и в порыве раздражения воскликнул: «Да, да, я знаю наших земляков! И со мной было бы то же, если бы я остался там! Меня, пожалуй, не считали бы достойным лепить даже модели! Слава богу, что меня ничто там не удерживает! Не то они замучили бы меня!» И он опять принялся увещевать меня набраться мужества, уверял, что все еще образуется, и рассказал мне о тяжелых испытаниях и обидах, которые ему самому пришлось в юные годы претерпеть в нашем родном отечестве.

Скоро начался карнавал; уже три года не праздновался он с такой пышностью, оживлением и раскованностью. На этот раз опять был дозволен блестящий праздник «мокколи», всю прелесть которого я описал в «Импровизаторе». Сам я, однако, в общем веселье участия не принимал: мое хорошее расположение духа было безвозвратно утрачено, юношеская беззаботная веселость уничтожена, смыта тяжелыми ударами волн, несшихся на меня с родины. На фоне всеобщего ликования и карнавального веселья состояние мое наилучшим образом передают следующие строки:

Ты в Риме! Пред тобою вечный град  
Богов, сокровищ и домашних ларов,  
Ты южный воздух пьешь под сенью лавров —  
Так будь же рад! —  
Ведь этот день мне не вернуть назад,  
И все ж на север обращаю взоры:  
Пришло письмо! Одно письмо! Но яд  
Не страшен так, как этот яд, который  
Мне друг прислал меж строчек на бумаге,  
Печась о благе!

Прекрасны грезы здесь — о, не гони  
Их от меня! Ведь кончатся они,  
И скоро я на родину приеду,  
Врагов не замирю, но их плетей  
Не утрашусь и одержу победу —  
Ведь скорпии в руках моих друзей.

Карнавал кончился, и я уехал из Рима в Неаполь вместе с Херцем. Его общество было мне очень полезно, и я мог теперь надеяться, что найду в нем в будущем более снисходительного судью.

Перевалив через Альбанские горы и миновав район болот, мы достигли Терразины. Стояла прекрасная весенняя погода, кругом росли апельсиновые деревья, в придорожных садах мы впервые за все время поездки увидели пальмы. На одном из холмов росла пышная смоковница, сквозь густую листву которой проглядывали развалины крепости Теодорика. Циклопических размеров стены, величественные лавры и миртовые деревья вскоре сделались столь неотъемлемыми деталями пейзажа, что перестали изумлять. С виллы Цицерона Мола ди Гаэта открывался великолепный вид на сады Гесперид. Я прогулялся в сени высоких лимонных и померанцевых деревьев и даже бросил несколько блестящих золотистых плодов в медленно перекатывающиеся, сверкающие на солнце морские волны. Мы пробыли там весь день и вернулись в Неаполь как раз во время извержения Везувия. Словно огненные корни, ползли с вершины горы потоки лавы, а столб дыма напоминал мощную пинию. Я в компании с Херцем и еще двумя земляками предпринял восхождение на Везувий. Дорога шла между виноградниками, кое-где попадались

одинокое строение. Вскоре, однако, пышную растительность сменила сухая тростниковая трава. Вечер был дивно прекрасен, и перед нами открылась чудная картина:

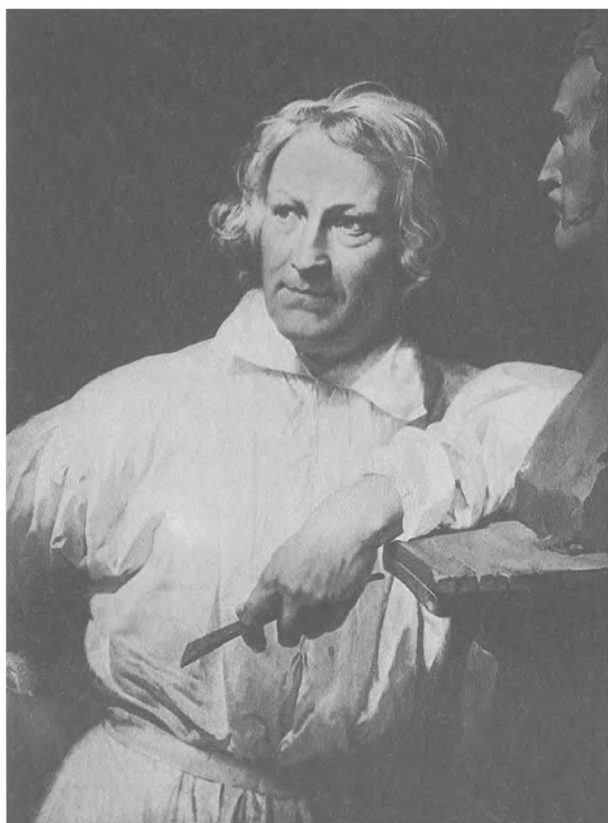
Под защитой гор лиловых  
Спит Неаполь. На волнах  
Реет Иския в багровых  
Угасающих лучах.

Белый снег на выси горной,  
Словно стая лебедей,  
И Везувий — с гривой черной,  
С прядью огненной в ней.\*

От хижины отшельника мы начали свое восхождение, по щиколотку увязая в густом слое пепла, покрывавшем склон. Я ощущал небывалый восторг, прилив сил, напевал какой-то мотив из Вайсе и был первым, кто взобрался на гору. Луна стояла прямо над самым кратером; оттуда поднимался столб черного дыма, поминутно вылетали и тут же падали почти отвесно вниз раскаленные камни; гора дрожала у нас под ногами. При каждом новом толчке клубы дыма полностью закрывали луну, и наступала беспроглядная ночь, так что нам приходилось останавливаться и придерживаться за огромные обломки окаменевшей лавы, разбросанные тут и там. Постепенно стало ощущаться огненное дыхание горы у нас под ногами. По склону до самого моря протянулась новая огненная река лавы. Мы захотели взглянуть на нее вблизи, но для этого нам надо было перейти через еще один только что застывший поток. Он еще не полностью окаменел, от соприкосновения с воздухом застыла лишь верхняя корка, через многочисленные трещины в ней проглядывало бушевавшее внутри пламя. Вслед за проводником мы вступили на огнедышащую поверхность, чувствуя жар сквозь подметки сапог. Стоило корке под ногами провалиться, и мы рухнули бы в пылающую бездну. Затаив дыхание, мы осторожно пересекли опасное место и достигли нагромождения застывших обломков по другую сторону, где встретили большую толпу уже раньше перебравшихся сюда ту-

---

\* Перевод А. и П.Ганzenов.



Скульптор  
Бертель Торвальдсен, близкий друг писателя.  
*Портрет работы О.Верне*

ристов, и стали вместе с ними созерцать неистово бурлящий несущийся вниз огненный поток. Воздух был наполнен серными испарениями, жар под ногами становился нестерпимым, и мы выдержали там лишь несколько минут, однако все увиденное нами за это время огненным клеймом запечатлелось навсегда в памяти каждого из нас. Вокруг сверкали огненные всполохи, вырывавшиеся из кратера с шумом, подобно стае птиц, взлетевшей из чащи леса. Взобраться на самый ствол кратера мы все же не рискнули, ибо раскаленные камни сыпались на него огненным дождем. Короткое, но трудное восхождение по склону этого бурлящего котла заняло у нас около часа, вниз же мы спустились менее чем за десять минут. Мы чуть не бежали, выкидывая ноги далеко вперед и опираясь на каблуки, чтобы если уж придется споткнуться, упасть на спину, а не лицом вниз в гущу пепла; это был своего рода свободный полет. Лужицы раскаленной лавы сияли на фоне темной земли, как колоссальных размеров звезды. Даже сейчас, ночью, вместе с луной они давали гораздо больше света, чем бывает на нашем родном севере в серый осенний полдень.

Когда мы спустились вниз, все дома и лавки в Портичи были уже закрыты, на улицах не было видно ни души, ни одного экипажа, и пришлось нам всей компанией направиться домой в Неаполь пешком. Херц, сбивший ногу при подъеме, не мог идти быстро; я остался с ним, и другие скоро исчезли из вида. Ярко выступали при ясном свете луны белые домики с плоскими крышами; кругом было полное безлюдье; Херц сказал, что наша прогулка напоминает ему странствие по вымершему городу из «Тысячи и одной ночи». Мы шли, беседуя о поэзии и еде. Да, мы страсть как проголодались, а все остерии уже были закрыты, и нам предстояло терпеть, пока не доберемся до Неаполя. Волны моря светились в лучах месяца голубым огнем, Везувий выбрасывал из себя огненный столб, а лава отражалась в зеркальной глади моря темно-красною полосой. Много раз останавливались мы и восхищались этою картиною, но затем разговор неизменно опять переходил на хороший ужин — его только и не хватало нам, чтобы достойно завершить любование величественными картинами.

Несколько дней спустя мы посетили Помпею, Геркуланум и греческие храмы в Пестуме. Здесь я увидел слепую нищенку, почти девочку, одетую в лохмотья, но дивную красавицу. Это было живое во-

площение самой богини красоты; в черных волосах ее было заткнуто несколько голубых фиалок, служивших ей единственным украшением. Она произвела на меня такое сильное впечатление, что я даже не посмел подать ей милостыню, а только стоял и смотрел на нее с каким-то благоговением, как на богиню того храма, у входа в который она сидела. Воспоминание о ней и создало Лару в «Импровизаторе».

Погода стояла прекрасная, как у нас летом, а между тем был только март месяц. Море так и манило к себе, и наша компания отправилась из Салерно на лодке. Мы решили доплыть до Амальфи и Капри, где незадолго перед тем туристы открыли для себя чудный Лазурный грот, куда стремятся попасть теперь все приезжие. «Пещера ведьм», как поначалу называли это место, на самом деле оказалась сказочным гротом фей. Я один из первых описал его; с тех пор прошли годы, я не раз еще бывал в Италии и на Капри, но бури и высокие приливы постоянно мешали мне опять посетить эту волшебную пещеру. Впрочем, кто раз ее видел, не забудет никогда.

Наименьшее впечатление из всех Итальянских островов произвела на меня Иския; даже несмотря на неоднократные приезды сюда, этот остров не стал мне ближе, чем Капри — этот деревянный башмак на водах Тибра.

В Неаполе пела Малибран; я слышал ее в «Норме», «Севильском цирюльнике», побывал на нескольких ее репетициях. Именно здесь, в Италии, мне суждено было познакомиться с чудесным миром звуков. Я плакал и смеялся, чувствовал себя вознесенным, влекомым музыкой в неизвестные дали. Однако и здесь, среди общего ликования, раздался свисток, правда, один-единственный — но свисток. Слышал я тогда же и Лаблаша, создавшего образ Зампы в одноименной опере, однако самое неизгладимое впечатление произвел он на меня в партии Фигаро; это была сама жизнь, само веселье!

Двадцатого марта мы вернулись назад в Рим, чтобы присутствовать на пасхальных торжествах. Как-то внезапно наступила зима, горы покрылись снегом. Мы посетили Казерту, где залы огромного Королевского дворца все еще увешаны великолепными картинами, оставшимися здесь со времен Мюрата, побывали в амфитеатре близ Калуи, видели знаменитые своды под полами трибун с широкими отверстиями, которые некогда использовались для подъемных механизмов, — словом, осмотрели все. В самую ночь на Светлое Воскре-



сенье во время иллюминации у собора Св. Петра толпа оттерла меня от моих товарищей и увлекла на мост Св. Ангела. Стиснутый толпою, я вдруг почувствовал, что силы оставляют меня; по всему телу пробежал судорожный трепет, ноги подкашивались, в глазах начинало темнеть... Я смутно осознавал, что, если упаду, меня растопчут, и напруг последние силы, чтобы выбраться из толпы и очутиться за мостом; это были ужасные минуты, и они запомнились мне даже больше, чем великолепные картины иллюминации.

К счастью, мне удалось выбраться за мост, и тут я вздохнул свободнее. Неподалеку находилось ателье Блунка; оттуда я и любовался величественной иллюминацией, превосходившей все те фейерверки, что мне когда-либо доводилось видеть. Огненные солнца, украшающие Париж во время июльских празднеств, жалки в сравнении с пламенными римскими каскадами. Скоро в остерии состоялась прощальная пирушка; товарищи выпили за мое здоровье и пропели мне напутственную песню. Торвальдсен крепко обнял меня и сказал, что мы еще увидимся — или в Дании, или опять здесь же, в Риме.

Мой друг, поэт Людвиг Бёдкер, адресовал мне следующие строки:

Коль юг в тебе не распалил сердечных сантиментов,  
Вот кара — поезжай домой и пой там серенады:  
С утра получишь поцелуй — как лед — от рецензентов,  
А ночью — ругань сторожей... Такие вот награды!

День своего рождения я отпраздновал в Монте Фьясконе; выпито там было немало. Компанию мне составляла одна весьма милая итальянская пара. Юная супруга чрезвычайно боялась разбойников, ибо местность эта слыла небезопасной да и окружающий пейзаж отнюдь не располагал к веселью. Леса вокруг дороги почти полностью выгорели, и вместо деревьев повсюду торчали черные пни. Когда мы углублялись в горы, тропинка сужалась, то и дело нам попадались глубокие зияющие пропасти. В довершение всего разразился настоящий ураган, заставивший нас несколько часов провести в небольшой гостинице в Новелле.

Завывала буря, дождь хлестал тугими струями; обстановка была вполне подходящей для разного рода разбойничьих историй — вот только сами разбойники так и не появились. Живыми и невредимыми мы добрались до Сиены, а там и до Флоренции,

свидание с которой было для меня сродни встрече со старым другом. Все здесь — от металлической свиньи до церквей и галерей было мне хорошо знакомо.

Филиппо Берти, перу которого принадлежит комедия «Шестидесятилетние любовники», ввел меня в круг своих друзей — людей искусства. Один из них, скульптор Бартолини, в то время как раз закончил свою знаменитую «Вакханку», ныне принадлежащую герцогу Девонширскому. Полная женщина возлежит, раскинувшись, на своем мраморном ложе; вокруг руки ее, сжимающей тамбурин, обвилась змея; голова увенчана венком из плюща, свисающего вниз длинными плетями. Будучи в гостях у Сантарелли, мы любовались его великолепными барельефами с изображениями силен и триумфа Бахуса.

Основатель «Литературного кабинета» Вьёссё шестнадцать лет назад побывал в Дании, где был принят в доме писательницы фру Брун. Он знаком был с Эленшлегером и Баггесеном и много говорил о них, о Копенгагене и вообще о Дании. Когда за рубежом слышишь от кого-то о доме, душу охватывает печаль — ведь что ни говори, а каждый сердцем прирос к своей отчизне. Тем не менее на протяжении всей моей поездки подобная тоска была мне чужда. Я, скорее, испытывал страх перед возвращением на родину, как будто мне предстояло очнуться от прелестных снов и вновь вернуться к страданиям грубой действительности.

С такими мыслями я и пустился в обратный путь. Весна провожала меня; возле Флоренции меня встретили лавровые деревья в цвету; да, вокруг царил весна, но я не смел отдаться ее очарованию всей душою. Путь мой лежал к северу, через горы в Болонью. Здесь опять я услышал Малибран, увидел «Св. Цецилию» Рафаэля и затем снова пустился в путь, через Феррару в Венецию — этот лотос морской равнины. После Генуи с ее роскошными палаццо, Рима с его памятниками древности и смеющегося, залитого солнцем Неаполя Венеция кажется падчерицей Италии. Тем не менее она настолько оригинальна и не похожа на все остальные итальянские города, что посетить ее стоит, причем прежде всех других городов, а не на прощание с Италией, когда и без того грустно. Еще Гёте отмечал похоронные настроения, навеваемые видом венецианских гондол. Наглухо задернутые темные пологи, угольно-черные кисти и бахромы делают их похожими на стремительно скользящие по воде катафалки.

У Фузины мы погрузились в одну из таких гондол и вдоль нескончаемого ряда палаццо по воде — где совсем грязной, где более прозрачной — достигли центра города. Кругом все как будто вымерло, лишь на площади Св. Марко у причудливого собора, выстроенного в восточном стиле, а также у сказочного Дворца дождей, о мрачных казематах которого ходит дурная слава, да еще на Мосту вздохов заметны были некоторые признаки жизни. Вдоль домов сидели со своими длинными трубками греки и турки, над флагштоками с огромными знаменами вились сотни голубей. В особенности днем возникало такое чувство, что ты плывешь на обломке огромного корабля-призрака. Лишь с приходом вечера, когда на небе появлялась луна, город оживал, очертания дворцов делались более рельефными и величественными. Венеция, днем еще напоминавшая мертвого лебедя, качающегося в замусоренных волнах, к ночи представляла во всей своей красе, как это и подобает королеве Адриатики.

Ко всему прочему посещение Венеции обернулось для меня и чисто физическими страданиями: меня ужалил скорпион. Рука распухла до самого плеча, я весь горел от лихорадки; к счастью, погода стояла достаточно прохладная, а сам укус оказался не особенно ядовитым. Наконец, все в такой же черной, похожей на катафалк гондоле я — признаться, без сожалений — покинул Венецию, с тем чтобы перебраться в другой город-усыпальницу, давший последний приют Скалигерам, а также Ромео и Джульетте, — Верону. Художник Бенс, как и я, уроженец Оденсе, где я еще ребенком видел его, приехал в Италию в самом расцвете сил и таланта. Завоевав заслуженное признание на родине, этот баловень судьбы в сопровождении невесты перебрался через Альпы, направляясь в Ханаан современного искусства, и — внезапно умер в Виченце! Я захотел отыскать его могилу, но не нашлось никого, кто сумел бы указать мне ее. Этот именитый собрат мой — да позволено мне будет так называть его — как живой стоял перед моим мысленным взором. Его жребий представлялся мне таким счастливым — я и сам не желал себе лучшей судьбы!

Чем ближе к дому оказывался я, направляясь на север в Альпы, тем тяжелее становилось у меня на душе. Попутчиком моим был молодой шотландец из Эдинбурга, некий Джеймсон. В горах Тироля он находил несомненное сходство с суровыми пейзажами своей родины и едва не плакал от умиления и тоски по дому. Я же, припо-

миная всю ту горечь, которую довелось мне испытать, все невзгоды и обиды, которые пришлось вынести, при мысли о возвращении испытывал лишь все возрастающий страх. Кроме того, я был в истинном отчаянии, что, быть может, мне уже никогда более не доведется увидеть эти милые моему сердцу края. Все эти настроения нашли отражение в строках, сочиненных мною в Альпах:

ПРОЩАНИЕ С ИТАЛИЕЙ

Страна, где воздух полн небесной страсти,  
Где дети — это дети красоты,  
Где горы изрыгают огонь из пасти  
И градов древних видятся черты,

Где мраморная плоть богов нетленна,  
Где ароматы с музыкой слились,  
Где моря гладь лазурна неизменно,  
Где склонов горных многоцветна высь.

Где живопись — все живопись и взгляду  
Всю мощь творенья созерцать дано,  
Где лавр вплетен в крестьянскую ограду  
И терние лозой оплетено,

Где сердцем я младенец стал, но разум  
Мой возмужал, познав искусства суть,  
Всех форм и красок сочетанье разом...  
Прощай, прекрасный сон! Пора мне в путь.

Альпы остались позади, впереди раскинулись плоскогорья Баварии. В конце мая я прибыл в Мюнхен.

Я снял комнату в скромном пансионе на площади Карлсплац. Знакомств в городе у меня не было никаких, однако вскоре они возникли сами по себе. Как-то, гуляя по улице, я встретил своего земляка Бирка, мужа известной писательницы и актрисы Шарлоты Бирк-Пфайффер. В то время она занимала пост директора «Штадттеатра» в Цюрихе, и хоть с ней мы не были знакомы лично, однако мужа ее я не раз видел в доме Сибони. Он и прежде бывал со мной весьма любезен, да и теперь искренне обрадовался на-

шей встрече, и мы с ним начали видаться довольно часто. В Мюнхене в ту пору проживал и философ Шеллинг. Хотя у меня не было с собой никаких рекомендательных писем и я не знал никого, кто был мог представить меня старику, я рискнул отправиться к нему без всяких рекомендаций. Он отнесся ко мне весьма мило, и мы долго беседовали с ним об Италии. Немецкий мой был все еще весьма плох, я то и дело вставлял в свой рассказ датские выражения, и это, казалось, весьма занимало старика. По его словам, проглядывавший в моем повествовании «датский элемент» был одновременно и чужим, и в то же время в чем-то неуловимо родственным. Шеллинг был настолько любезен, что даже познакомил меня со своей семьей и вообще отнесся ко мне чрезвычайно сердечно. Спустя несколько лет, когда имя мое стало известно и в Германии, мы с ним встретились в Берлине, как старые друзья.

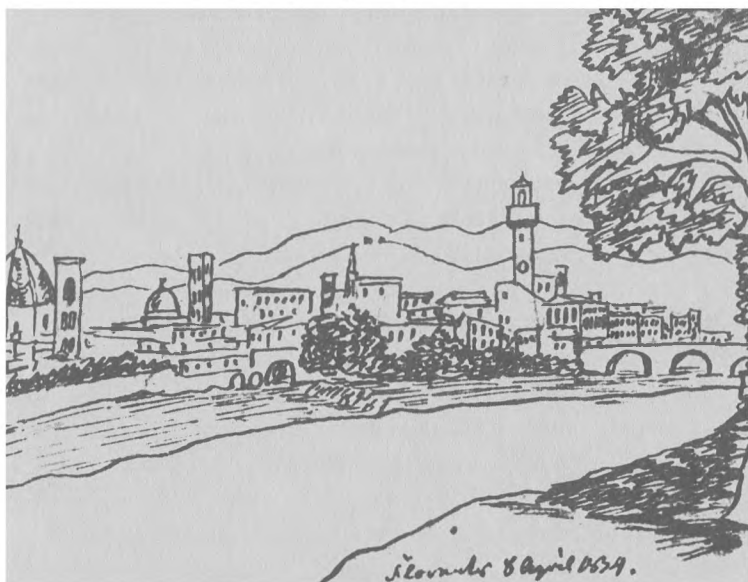
В моем альбоме он написал следующие строки:

Что было в мире, есть и будет,  
Тому вовек не устареть.

По мере пребывания моего в Мюнхене он становился мне все роднее и роднее, но время было подумать и о действительном возвращении на родину — о поездке в Копенгаген. Я, впрочем, старался посредством величайшей экономии продлить свое пребывание за границей насколько возможно. Я испытывал настоящий ужас при мысли, что скоро я снова прочно засяду дома и на меня опять обрушатся тяжелые волны людской молвы. Я знал из писем с родины, что я как поэт давно уже отпет и похоронен там — Мольбек уже официально оповестил об этом всех статей в «Литературном ежемесячнике». Во время моего отсутствия на родине вышло собрание моих стихотворений, тех самых, которые в отдельности имели такой большой успех. Теперь же, собранные все вместе, наподобие вышедших раньше «Двенадцати месяцев года», они подали Мольбеку повод окончательно похоронить меня. Один из друзей, встретившихся мне за границей, показал мне номер «Ежемесячника» с упомянутой статьей. Еще бы, я ведь непременно должен был лично прочесть ее!

В статье давался обзор «новейшей датской поэзии». Я был именован в ряду прочих современных молодых поэтов — Ф.И.Хансена, Х.П.Хольста, Кристиана Винтера и Палудана-Мюллера, —

Рисунки Х.К.Андерсена



Автопортрет. 1830-е годы

Флоренция. 1834

но затем вырван с корнем, выброшен, как сорная трава, выросшая среди полезных злаков. Относительно «Двенадцати месяцев года» критик говорил, что «невозможно представить себе, какая польза искусству и поэзии может быть от собрания таких бесформенных, бессмысленных и незрелых виршей!» «Это винегрет из рифм, который скоро набивает оскомину!» — говорил он дальше и прибавлял, что не хватает никакого терпения из года в год возиться все с тою же словесной трухоею, что «Письма с того света» должны были стать мне хорошим уроком, сетовал на то, что меня избаловали похвалы друзей, что разбирать все эти мои лирические стишки — поистине отупляющая работа. По его словам, то, что сам я самонадеянно называл в своих стихах «комическим», было таковым «гораздо больше в физическом, нежели в эстетическом смысле этого слова». В заключение Мольбек советовал мне побольше учиться и поменьше марасть бумагу безделицами и т.д. и т.п.

Далее следовала оценка автором творчества прочих молодых писателей. У Ф.И. Хансена он признавал наличие «в определенной степени некоторого остроумия и юмора», которые иногда характерны для этого «поэта, несомненно, обладающего недюжинным талантом».

Что касается Х.П. Хольста, то он обладает «более серьезным поэтическим дарованием и при этом демонстрирует довольно похвальное для начинающего художника качество — тщательную работу над отточенностью внешних форм».

Затем обзор вскользь касался «лирико-урбанистической музыки искусного и всегда корректного мастера слова» Кристиана Винтера и оканчивался подлинными дифирамбами в адрес Палудана-Мюллера. В статье подробно разбиралась его «Танцовщица». После долгих извинений за свой восторженный тон Мольбек писал: «Когда я впервые читал это произведение, оно подействовало на меня так, будто бы силой фантазии меня занесло в райские кущи, где аромат южных цветов сливается воедино со свежим запахом наших буковых рощ и бодрой прохладой датских прибрежных ветров. По мере того как душа моя впивала этот благодатный аромат, слух мой различал знакомые звуки, коими полон был волшебный поэтический мир, представший передо мной и стремящийся проникнуть в самые сокровенные глубины моего существа. Звуки эти казались сродни тем мелодиям, которые рождаются от соединения восторженных трелей певцов весны и лета с жалобным свистом осенних ветров в голых, ли-

шенных листья лесных чащах. Порой их заглушали отдаленный рокот сердитых морских волн и раскаты хохота неистового шторма, вздымающего высоченные волны...» и т.д. и т.п.! Вот вам образец слога критического обзора Мольбека — восторженного и уничижительного. На мою долю выпал последний, и мне довелось вдосталь испытать его. А ведь это был тот же самый Мольбек, который всего два-три года назад писал о моих «Стихотворениях», что они «свидетельствуют об истинном поэтическом даровании», «...дышат юношеской свежестью...», отмечал, что я обладаю «неподдельным юмором, который тем больше указывает на незаурядность таланта автора, что вообще встречается у молодых поэтов весьма редко!».

Критик забыл высказанное им прежде мнение, все окружающие — тоже; меня втоптали в грязь, исключили из числа датских поэтов. Каждое слово критики резало меня по сердцу ржавым тупым ножом. Можно представить себе поэтому, с каким ужасом я ожидал своего возвращения на родину. Я всеми силами старался отдалить эту минуту и отвлечься путевыми впечатлениями, чтобы отвлечь мысли от ждавшего меня на родине, куда я должен был прибыть через какой-нибудь месяц. Из Мюнхена я хотел проехать через Зальцбург в Вену, а оттуда уже направиться домой.

Я покинул Мюнхен. Попутчиком моим оказался весьма энергичный человек, ехавший на воды в Гаштайн. У городских ворот провожавший его поэт Зафир обменялся с ним шутками по поводу «подорожной» и «скоморошной» грамот и крепко пожал руку. Вскоре мы разговорились о театре и начали обсуждать последнее представление «Гецца фон Берлихенгена», во время которого Эсслера, игравшего главную роль, публика вызывала несколько раз. На меня же его игра не произвела особого впечатления, о чем я не замедлил сказать, прибавив, что из всех актеров мне больше всего понравился исполнитель роли Сельбица — Весперманн. «Благодарю за комплимент!» — отвечал мой попутчик, оказавшийся не кем иным, как Весперманном, которого я поначалу не узнал. Высокая оценка, данная мною его игре, способствовала продолжению знакомства, и к концу совместной поездки мы были уже добрыми друзьями.

Между тем мы достигли австрийской границы. Еще в Копенгагене паспорт мой был переведен на французский. Взглянув на него, солдат пограничной стражи потребовал, чтобы я назвал свое имя. «Ханс



Кристиан Андерсен!» — «А в паспорте значится, что вас зовут Жан Кретьен Андерсен! Стало быть, вы путешествуете под чужим именем?» И последовал строжайший досмотр, который вылился в настоящий фарс: у меня, единственного, кто не вез с собой ни сигар, ни каких-либо иных контрабандных товаров, весь чемодан перевернули вверх дном да еще и самого подвергли личному обыску. Все письма ко мне с родины были тщательнейшим образом просмотрены, и я вынужден был поклясться, что содержание их не выходит за рамки семейных дел. Затем настал черед шляпной коробки, и когда я сказал, что в ней хранится шляпа для выходов в общество, меня строго спросили: «Что за общество? Случаем, не тайное ли?» Мой венок из плюща с рождественского карнавала в Риме вызвал особые подозрения. «А в Париже вы были?» — спросили меня. «Да!» И тут наконец мне объяснили, что Австрию интересует лишь то, чтобы в ней не случилось никакой революции, что все здесь довольны императором Францем. Я заверил пограничников, что на мой счет они могут быть абсолютно спокойны: я придерживаюсь точно того же мнения, ненавижу революции и являюсь в высшей степени законопослушным подданным. Тем не менее никакого действия это не возымело; меня, как уже было сказано, прежде всех остальных подвергли жесточайшему досмотру — и все это исключительно из-за того, что полиции в Копенгагене вздумалось превратить датское имя «Ханс Кристиан» в «Жана Кретьена».

В Зальдбурге, неподалеку от того места, где я остановился, стоял старинный дом с лепными украшениями и надписями, принадлежавший некогда доктору Теофрасту Бомбасту Парацельсу. Старуха служанка в моей гостинице рассказала мне, что она родилась в том доме и кое-что знает о Парацельсе. Он умел превосходно лечить болезнь богачей — подагру. Другие врачи озлобились на него и дали ему яду. Он, однако, вовремя обнаружил это, и не учиться ему было стать, как выгнать из себя яд. Он затворился в своей комнате, строго-настрого приказав предварительно своему слуге не отворять дверей, пока его не позовут. Но слуга был страсть какой любопытный и открыл двери комнаты раньше, а господин-то его успел в это время выгнать яд из желудка только до горла и тут же грохнулся мертвым. Вот какую народную легенду довелось мне услышать. В моем представлении Парацельс всегда был романтической

личностью, вполне подходящей для героя датской поэмы, — он побывал, между прочим, и в Дании в качестве полкового врача при иностранных войсках в царствование Кристиана II и дал матушке Сигбригте чертенка в бутылке, который вылетел вон в сопровождении раскатов грома, стоило той бутылке разбиться.

Бедный Парадельс! Его называют шарлатаном, а ведь он был гением, опередившим эпоху в сфере своего искусства. Но всякий, кто обгоняет колесницу времени, рискует получить удар копытом или вовсе быть затоптанным запряженными в нее лошадьми.

Те, кто побывал в Зальцбурге, обязательно посещают Халлайн, бродят по соляным копиям, взбираются на крышку огромного котла, в котором выпаривают соль. Под Голлингом осыпает своими брызгами каменные глыбы большой водопад; однако в память мне запал не его величественный вид, а простая детская улыбка, которую я там видел. Провожал меня к водопаду маленький мальчик, сохранявший во время всей прогулки весьма серьезный вид, который часто бывает у детей его возраста. Казалось, он полностью проникся важностью доверенной ему задачи, был чрезвычайно горд, и за весь путь улыбка так ни разу и не коснулась его личика. Лишь когда мы приблизились к ревущему и бурлящему пенистому потоку, глаза его сверкнули и на лице проступило торжество. «Вот он — Голлингский водопад!» — гордо воскликнул он. Много воды утекло с тех пор, но эта ребячья улыбка никогда не сотрется из моей памяти.

Такое, впрочем, случалось со мною нередко и в других местах; память часто сохраняла такое, что иные сочли бы случайным либо не заслуживающим внимания. Из всех красот величественного монастыря Мелк на Дунае, из всего мраморного великолепия его внутреннего убранства и живописных окрестностей мне больше всего запомнилось большое черное прожженное пятно на полу одного из залов. Дело было во время войны 1809 года. Австрийские войска стояли на северном берегу Дуная, а штаб-квартира французов располагалась как раз в этом самом монастыре. Причиной появления пятна явилось донесение, которое Наполеон в гневе поджег и швырнул на пол.

Наконец вдалеке показался купол собора Св. Стефана, и вскоре уже я въехал в столицу империи. В то время Вена давала приют, а то и становилась вторым домом для многих датчан. Здесь, в доме

Зоннлайтнера, всегда можно было встретить множество моих соотечественников, среди которых были и весьма известные и уважаемые люди. Так, в момент моего приезда здесь находились капитан Чернинг, врачи Бендс и Туне, а также норвежец Швайгор, часто собиравшиеся вместе по вечерам. Я несколько выпадал из их кружка, ибо увлекся театром. В «Бургтеатре» мне посчастливилось видеть Аншюца в «Геце фон Берлихенгене», госпожу фон Вайссентурн в роли мадам Херб в комедии «Американец!» В те дни впервые ступила на сцену молоденькая девушка, чье имя — Матильда Вильдауэр — впоследствии вошло в историю мирового искусства. Я присутствовал на ее дебюте в роли Гурли в «Индейцах в Англии». Здесь же шли превосходные постановки многих пьес Коцебу, который был прекрасным автором, к сожалению, обладавшим небогатой фантазией, — своего рода Скрибом своей эпохи. Отсутствие фантазии лишало его произведения поэтического начала, однако создаваемые им блестящие диалоги являлись свидетельством таланта большого мастера. В Хитцинге я видел Штрауса и слушал музыку в его исполнении. Стоя в центре руководимого им оркестра, он являл собой как будто сердце играющей вальс шарманки; казалось, каждый член его тела источает мелодию, взор сверкал, видно было, что само его присутствие вдыхает жизнь в музыкантов. Здесь же, в Хитцинге, летом проживала госпожа фон Вайссентурн, что позволило мне свести знакомство с этой интереснейшей женщиной. Позже в «Базаре поэта» я попытался несколькими штрихами набросать ее портрет — портрет весьма любезной и одновременно чрезвычайно одаренной дамы. На датской сцене большим успехом пользовались принадлежащие ее перу комедии «Которая из них невеста?» и «Поместье Штернберг». К сожалению, сомневаюсь, чтобы юному поколению известно было имя Йоганы фон Вайссентурн, которая, будучи дочерью знаменитого актера, сама взошла на сцену еще ребенком. В 1809 году в Шенбрунне сам Наполеон видел ее игру в «Федре» и преподнес ей в подарок 3000 франков. В возрасте 25 лет она на пари написала за 8 дней трагедию «Друзены», за которой последовало около 60 драматических произведений. К сорокалетию творческой деятельности император Франц наградил ее — первую из всех актрис — «Золотой гражданской медалью почета», что, в свою очередь, привело к присуждению ей прусской золотой

медали за вклад в искусство и науку. В 1841 году она распрощалась с театром и умерла в Хитцинге 18 мая 1847 года, оставив после себя 14 томов драматических сочинений.

Впервые мне довелось беседовать с госпожой фон Вайссентурн в ее летней резиденции в Хитцинге. Она оказалась горячей поклонницей Эленшлегера — «великого Эленшлегера», как она его называла, — с тех самых пор, как он, еще юношей, посетил Вену; тогда-то она и познакомилась с ним и сумела оценить его по достоинству. Эта замечательная женщина могла часами без устали слушать мои рассказы об Италии, утверждая, что страна при этом предстает перед ней как живая. В мой альбом она написала следующее:

Многие страны познав, людские глубины изведав,  
Ныне, к себе обратясь, мудрость и свет сотвори.

Хитцинг, 6 июля 1834 г.

Вайссентурн

В доме Зоннляйтнера я познакомился с Грильпарцером, автором «Праматири» и «Золотого руна». С радушием истинного венца он протянул мне руку и приветствовал в моем лице собрата по перу следующими строками:

Родовых корней объятья  
Целый мир не разорвет:  
Песни те же, те ж понятия,  
Даны и тевтоны — братья,  
И напрасно Бельт ревет.

В Вене я чаще всего виделся с Кастелли. Вот тип безусловно истого венца со всеми его прекрасными отличительными свойствами: добродушием, юмором, преданностью и любовью к своему императору. «Наш добрый Франц!» — называл он своего государя и рассказывал, что подал ему когда-то просьбу в стихах о том, чтобы он, «отвечая на поклоны своих венцев, в холодную погоду не снимал с головы шляпы!». Кастелли показывал мне свою богатую коллекцию редких вещей, в том числе и коллекцию табакерок. Среди них была одна диковинная табакерка в форме улитки, принадлежавшая Вольтеру. «Поклонитесь и поцелуйте!» — сказал Кастелли, подавая мне ее. В своем романе «Всего лишь скрипач» в главе, когда На-

оми появляется в Вене, я сделал Каstellи одним из действующих лиц, а стихотворение, открывающее данную главу, было подарено поэтом мне при нашем прощании:

Вот ведь странно: сразу, с первых фраз,  
 Ты — по-датски, по-немецки — я,  
 Но мы друг друга поняли тотчас!  
 То было тайное наречье глаз,  
 А ключик — в сердце: мы — друзья!

Пробыв около месяца в Вене, я направился домой через Прагу. Надо сказать, что и эта часть пути была полна так называемой поэзии жизни на колесах, прелесть которой ощущается сильнее всего на расстоянии, т.е. уже при воспоминаниях о благополучно оконченном путешествии. Наш подпрыгивающий на каждой кочке экипаж был набит народом до отказа, что было весьма неприятно, однако в дело вмешался случай, внесший элемент юмора в эту тяжелую поездку. Среди пассажиров обнаружили несколько поистине комических персонажей, которые отчасти скрашивали неудобства. Так, один пожилой господин постоянно высказывал свое недовольство всем на свете. То он жаловался на бессовестное вымогательство трактирщика, заломившего за чашку кофе непомерную цену, то сетовал на испорченность и нерадивость нынешней молодежи, которая во всем пытается играть теперь ведущую роль и даже вершить судьбы мира. Подле него разместился без умолку болтавший неопрятный иудей — настоящий Герт Вестфалер, более десятка раз он пересказывал нам подробности своей поездки в Рагузу в Далмации! Нет, решительно заявлял он, королем бы ему быть не хотелось, уж больно это хлопотно. Кем бы он действительно желал стать, так это королевским камердинером; ему как-то приходилось знать одного, так тот был так толст, что едва мог ходить, так что ему самому требовался камердинер. Как уже было сказано, он чуть не до кончиков пальцев зарос грязью и при этом разглагольствовал о чистоте: его, видите ли, с души воротит, как вспомнит, что в Венгрии печи топят коровьим навозом! Он непрестанно потчевал нас старыми анекдотами и вдруг умолк, задумался, закатил глаза, затем вытащил из кармана какую-то бумажку и принялся лихорадочно строчить на ней. По его словам, его посетили «идеи». Я же вынужден был читать его писанину.

Места в экипаже не были пронумерованы, и пассажиры сами вынуждены были договариваться, кто где сядет. По прибытии в Иглау все мы, голодные и усталые, отправились ужинать, а когда вернулись обратно, оказалось, что два лучших места заняты новыми пассажирами — молодой дамой и ее супругом, который к нашему приходу уже успел уснуть. У дамы же сна не было ни в одном глазу, она была сама общительность и болтала и за себя, и за мужа — об искусстве и литературе, о хорошем воспитании, о чтении поэзии и ее понимании, о музыке и пластике, о Кальдероне и Мендельсоне. Время от времени она прерывалась, чтобы сделать замечание мужу, навалившемуся на нее: «Ангел мой, приподними головку, она стесняет мне грудь!» И снова начинала трещать о библиотеке своего отца, о желании поскорее с ним снова увидеться и т.д. Когда же я спросил ее о литературе Богемии, оказалось, что она состоит в приятельских отношениях решительно со всеми известными писателями, они бывают в доме ее отца, в его библиотеке представлены все сколько-нибудь значимые новинки — и все в том же духе. Когда вокруг немного рассвело, мне удалось рассмотреть и ее, и мужа; оба были евреи блондины. Супруг наконец проснулся, выпил чашку кофе и снова уснул, пристроив свою «ангельскую головку» на груди жены; при этом он лишь единожды открыл рот, чтобы произнести какую-то бородатую шутку, а потом благополучно захрапел — ну чем не ангел?! Попутчица же наша опросила всех и каждого о том, откуда он и чем занимается. Известие, что я поэт, еще пуще разогрело ее интерес ко мне, который — хвала Господу! — несколько остыл, когда мы достигли ворот Праги, где вынуждены были назвать свои имена. Услышав, что глухой пожилой господин назвался профессором Циммерманом, дама восторженно взвизгнула: «Так вы Циммерман?! Циммерман и одиночество!», нимало не задумываясь о том, что тот автор, которого она имела в виду, уже давным-давно умер. Глухой старик же повторил свое имя, а экзальтированная особа между тем принялась вслух горевать, что лишь в момент расставания узнала, с кем ей довелось ехать всю дорогу. Я поспешил сказать, что уже на следующее утро собираюсь ехать дальше, в Дрезден, чем вызвал бурю сожалений упомянутой дамы — она-то намеревалась пригласить меня осмотреть библиотеку своего отца и, быть может, встретиться с кем-нибудь из «родственных душ!» «Мы живем в самом большом доме на

главной площади!» — поведала мне она, и действительно, я видел, как они входили туда; напоследок супруг ее дал мне свою визитную карточку. На следующее утро, однако, я принял решение пробить в Праге еще два дня и вознамерился отправиться с визитом к попутчикам, чтобы ознакомиться с библиотекой богемских авторов. Я вошел в большой дом, куда, как я видел, проследовала супружеская чета, однако, сколько я ни расспрашивал об этой семье, никто ничего не знал ни о них, ни о какой-либо библиотеке ни на одном из этажей этого здания. Наконец, когда я уже вконец отчаялся, кто-то из жильцов вспомнил, что две чердачные каморки занимает какой-то старый еврей, и хотя не вызывало сомнений, что там никак не может быть разыскиваемых мною персон, я все-таки решил подняться к нему. От лестницы квартиру отделяла перегородка из струганых досок. Я постучал в небольшую дверку с приколотым к ней обычным листком бумаги. Мне открыл какой-то старик в грязном халате; за ним виднелась комната с низким потолком, посреди которой стояла огромная бельевая корзина, полная старых книг. «Не здесь ли проживает эта семья?» — спросил я, показывая ему визитную карточку. «Mein Gott!» — послышалось из соседней комнаты. Это был голос моей знакомой; затем показалась и сама дама, в неглиже, на ходу пытаясь натянуть на себя все то же дорожное платье из черного шелка; за ней я смог разглядеть и ее сонного мужа, который, с трудом подавляя зевоту, кивнул мне своей «ангельской головкой». В замешательстве я застыл на месте. В расстегнутом на спине платье и развязанном чепце дама подошла ко мне, вся пунцовая от смущения. «Фон Андерсен!» — назвала она меня и принялась извиняться за беспорядок, царящий в библиотеке отца, при этом она указала на корзину. Вот так — все хвастливые дорожные рассказы обернулись на деле чердачной каморкой да коробом старых книжек!

Миновав по пути из Праги Теплице и Дрезден, я прибыл наконец в Копенгаген.

Я сошел с корабля на датский берег с каким-то странным смешанным чувством; на глазах у меня были слезы, но не каждая из них была слезой радости. Господь Бог, однако, не покинул меня.

Путешествие по Германии, собственно, меня не особо впечатлило; все мои помыслы принадлежали Италии, как потерянному для меня раю, которого мне уже не видеть больше. Мысли об ожидающем ме-

ня на родине наполняли мою душу ужасом. Я несся в Копенгаген как будто влекомый против воли каким-то неодолимым течением. Я всею душой своей принадлежал Италии, был полон воспоминаний об итальянской природе и народной жизни, тосковал по Италии, как по настоящей родине. И вот в глубине моей души начал распускаться цветок поэзии. Он все рос и рос, и мне пришлось пересадить его на бумагу, хотя я и не сомневался в том, что он принесет мне на родине одно лишь горе, если нужда заставит меня показать его свету. Первые главы этого нового произведения были написаны еще в Риме; в Мюнхене к ним прибавилось еще несколько. В одном письме, полученном мною в Риме, мне сообщали, что Хейберг назвал меня как-то импровизатором. Слово это заронило в мое воображение искру, и вот у меня появились и главный герой, и название нового романа — «Импровизатор».

Первой пьесой, виденною мною в раннем детстве, была, как я уже рассказывал ранее, опера «Дева Дуная», которую давала в театре Оденсе немецкая труппа. Исполнительница главной роли имела шумный успех; ее вызывали без конца, и я смотрел на нее как на счастливейшее существо в мире. Много лет спустя, когда я уже студентом посетил Оденсе, я зашел в городскую больницу. Там в одной комнате, отведенной для бедных старух, где рядами стояли кровати, а у изголовий их маленькие шкафчики, столики да стулья, составлявшие всю меблировку, я увидел над одной кроватью женский портрет, писанный масляными красками и вставленный в золотую раму. На портрете была изображена женщина в роли Эмилии Галотти Лессинга, обрывающая лепестки розы. Картина резко выделялась на фоне жалкой обстановки, и я спросил: «Кто это?» Одна из старух ответила: «О, это портрет нашей барыни-немки!» Передо мною оказалась худенькая, маленькая, изящная старушка с морщинистым лицом, одетая в шелковое, когда-то черное платье. Это и была блестящая певица, любимица публики, которую я слышал некогда в «Деве Дуная». Встреча эта произвела на меня неизгладимое впечатление, и я часто вспоминал о ней. В Неаполе я впервые услышал Малибран; ее голос и игра были верхом совершенства, я никогда не видел ничего подобного; и все же, слушая ее, я не мог отделаться от воспоминания об этой несчастной состарившейся певице в больничной палате Оденсе. Образ обеих актрис я воссоздал в своем романе в лице Аннунциаты. Фоном же для разыгрывающегося в книге действия послужила Италия.



Мое путешествие было окончено; я вернулся в Данию в августе 1834 года и скоро, гостя в Сорё у Ингеманна, который отвел мне в мезонине маленькую каморку с окнами в сад и с видом на озеро и лес, я окончил первую часть «Импровизатора». Вторую я написал уже в Копенгагене.

Даже лучшие мои друзья готовы были махнуть на меня рукой как на поэта. «Мы ошиблись в нем!» — вот как стали теперь говорить обо мне. И мне едва удалось найти издателя для этой книги; наконец надо мною сжалился мой прежний издатель Рейцель и согласился издать «Импровизатора» с тем, однако, чтобы я сам обеспечил ему сбыт известного числа экземпляров, упросив своих друзей подписаться на издание. В уведомлении о выходе книги говорилось, что предлагаемое мною читателям произведение не есть прямое описание моего путешествия, но, так сказать, духовный результат последнего, и т.п. Гонорар я получил, разумеется, самый ничтожный, ведь на успех книги не было никаких видов. Посвящение гласило: «Конференц-советнику Коллину и его дорогой супруге, заменившим мне родителей, а также их детям, заменившим мне братьев и сестер, преподношу я в дар лучшее из того, что имею!»

Книга была быстро распродана и вышла вторым изданием. Критика безмолвствовала, газеты тоже, но в обществе я слышал, что произведение мое заинтересовало и порадовало многих. Наконец Карл Баггер, бывший тогда редактором «Воскресного листка», написал рецензию, начинавшуюся так: «Андерсен пишет теперь далеко не так хорошо, как прежде: он быстро исписался, я уже давно это предвидел!» Так стали отзываться о писателе в различных кругах столицы, даже в тех, где его так хвалили и почти боготворили на первых порах его литературной деятельности. Он, однако, вовсе не исписался; напротив, теперь он достиг небывалой высоты, и это самым блестящим образом доказывает его новый роман «Импровизатор»...»

Читатели, быть может, засмеются, если я скажу, что, читая эти строки, я плакал от радости и благодарил Бога и людей.

## VII

Многие из моих бывших противников переменили теперь мнение обо мне. Я приобрел среди них даже одного друга, смею думать — на всю жизнь, поэта Хауха, одного из благороднейших людей, каких только знаю. Он, проведя несколько лет в Италии, вернулся в Копенгаген

как раз в пору всеобщего увлечения водевилями Хейберга. В ту же пору вышла в свет и моя «Прогулка на Амагер». Хаух выступил со статьей, направленной против Хейберга, где походя зацепил и меня. Никто — как он объяснил мне впоследствии — не обратил его внимания на мои лучшие лирические вещи; зато все описывали ему меня как избалованного, своевольного счастливчика, и он отнесся к «Прогулке» как к пустой и бесцельной шутке. Теперь же он прочел «Импровизатора» и нашел в нем поэзию и глубину, каких не ожидал от меня. Он увидел во мне лучшие, более высокие чувства, нежели усматривал ранее, и, следуя естественному влечению своей природы, тотчас же написал мне сердечное письмо. Он признавался, что был несправедлив ко мне, и протягивал мне руку в знак примирения. С тех пор мы сделались с ним друзьями. Хаух стал горячо действовать в мою пользу и с искренним участием следил за каждым моим достижением.

Многие, однако, не понимали, насколько доброжелательно он ко мне относится, упорно не замечали установившихся между нами теплых отношений. Дошло даже до того, что когда позже он написал роман «Замок на Рейне», в котором создал карикатурный образ некоего поэта, доведенного до сумасшедшего дома собственным тщеславием, милые мои соотечественники возомнили, что он поступил слишком сурово по отношению ко мне, якобы нарисовав мой истинный портрет со всеми присущими мне слабостями. И добро бы это было лишь чье-то частное мнение — но нет, чуть ли не все полагали, да и высказывались публично, что в данном случае Хаух счел себя обязанным подвергнуть меня как поэта подобному анализу, с тем чтобы указать, какое место он отводит мне в ряду собратьев по перу. «Еженедельник» Шоу так прямо и написал об этом.

Почти так же получилось и с оценкой моих трудов известным нашим профессором философии Сибберном, мнение которого ценилось тогда всеми так высоко, что его похвалы «Амуру и Психее» Палудана-Мюллера приводились как несомненное доказательство высоких достоинств этой поэмы. Мне всегда говорили, что он строго судит мою литературную деятельность и даже вовсе не считает меня поэтом. Можно представить себе, как я обрадовался, прочитав маленькую брошюрку Сибберна, написанную им в защиту Ингеманна. Сибберн говорил в ней между прочим и о своем расположении ко мне и высказывал пожелание, чтобы и другие поддержали меня дружеским советом. Кроме того, я по-

лучил от него письмо — единственный последовавший тогда (если не считать коротенькой рецензии Карла Баггера) письменный похвальный отзыв об «Импровизаторе». Читая его, так и слышишь голос автора:

«Я прочел Вашего “Импровизатора” с истинным удовольствием и радостью. Удовольствие было вызвано самим романом, а радость — тем, что написали его именно Вы. Еще одна сбывшаяся надежда, еще один вклад в литературу! Сравнивая его с известными мне прежними Вашими трудами, я нахожу между ними такую же разницу, как между Аладдином — уличным мальчишкой, прячущимся за колоннами и играющим на рыночной площади, и Аладдином, вышедшим из купальни обновленным и возмужавшим. Я прочел “Импровизатора”, не отрываясь, с начала до конца все с тем же восклицанием: “Хорошо! Очень хорошо!”, с которым я прочел первые 24 страницы. А дочитав до финала, я уже не хотел после этого читать что-нибудь другое. Вы ведь знаете, что такое случается с нами лишь тогда, когда мы чувствуем полное удовлетворение!

Теперь о моей радости за книгу и — за Вас. Мы все знаем в Вас натуру, которую немцы называют “eine gute Seele”\*. Теперь же я с радостью узнал, что Вы обладаете и душевной глубиной. На людях Вы — человек открытый, добрый, отзывчивый, энергичный и весьма впечатлительный. Наедине же с собой, как я вижу, Вы умеете быть еще и сердечным, нежным, ласковым, и при этом полны неиссякаемой фантазии. Постарайтесь же сохранить себя в обеих ипостасях. Чтобы суметь это сделать, не стоит ожесточаться умом и душой на критиков и тех, кто себя таковыми считает. Лучше продолжайте учиться и дальше, не принимая выпадов близко к сердцу. Вы обладаете Музой, божеством, которое к Вам благоволит. Так не спугните же ее сами и не позволяйте другим сделать это.

Вы побывали в Италии; причем именно жили в этой стране, а не пытались делать зарисовки ее жизни. Художественное полотно появилось лишь позже и как бы само по себе — причем, как мы имели случай убедиться, полотно это самого высокого качества.

Настанет время — а может быть, оно уже настало? — и Вас повлечет в другой обширный регион — в историю. Я с удовольствием думаю о том, что вынесете Вы из этого путешествия и подарите нам.

\* «Добрая душа» (нем.).

Позже придет пора, когда Вы двинетесь еще в одну великую страну — в философию, чтобы пожить ее жизнью. И, зная теперь, как благосклонна к Вам Ваша Муза, я уверен, что и оттуда Вы вынесете для нас удивительные картины.

Я пишу Вам эти строки от самого чистого сердца и от всей души желаю Вам только всяческого блага. Однако если строки эти достигнут Вас, когда на душу Вашу и на Ваш дом снизойдет святой миг вдохновения, отложите мое письмо в сторону, дабы оно не мешало Вам. Если же миг этот еще не настал, от души верю, что он не за горами. И если тогда появится что-то, что будет мешать Вам и сбивать Вас, скажите: “Abitote, nam heic Dii sunt”\*.

С самыми сердечными пожеланиями от всегда преданного Вам Сибберна.

Копенгаген, 12 сентября 1835 года.  
Поэту Андерсену».

Итак, «Импровизатор» поднял меня из праха, вновь собрал вокруг меня моих друзей и даже увеличил число их. Впервые почувствовал я, что наконец завоевал успех.

Вскоре роман был переведен профессором Крузе на немецкий язык и получил длинное заглавие «Юность и мечты итальянского поэта». Я возражал против этого, но переводчик уверял — как я теперь знаю, ошибочно, — что такое заглавие необходимо, что оно скорее заинтересует публику, чем просто «Импровизатор». Карл Баггер, как упомянуто, приветствовал мою книгу, прочая же критика безмолвствовала — шли одни только пересуды. Наконец появилась одна рецензия, кажется, в «Литературном вестнике». Критик отнесся ко мне мягче, нежели обыкновенно, но, упомянув лишь вскользь о достоинствах романа — «Они уже известны!» — подробно перечислил все недостатки и подчеркнул все неверно написанные итальянские слова и выражения. Как раз в это время в Германии вышло известное описание Николаи «Италия, какова она есть», в котором Николаи отдает Германии предпочтение перед Италией, называет Капри «морским чудовищем», словом, отвергает все прекрасное в Италии, за исключением Венеры Медицейской, которую измерил по всем линиям тесемкой. Книга эта у нас в Дании

\* «Уходите, ибо здесь боги» (лат.).

пробудила большой интерес и вызвала громкие разговоры, сводившиеся к тому, что вот, дескать, теперь-то наконец видно, что написал наш Андерсен — а вот у Николаи описана настоящая Италия!

Я преподнес свой роман будущему королю Кристиану VIII, тогда еще принцу. В приемной я столкнулся с одним из наших мелких поэтов, но крупных сановников. Он был так любезен, что удостоил меня разговором: мы ведь были собратьями по цеху — оба поэты! И он тут же при мне прочел другому высокопоставленному лицу целую лекцию о слове «Колизей», которое я писал иначе, чем Байрон. Это было ужасно! Снова обнаружилась моя пресловутая слабость в правописании, которая невольно затмевала все хорошее в моих произведениях. Лекция была прочитана в приемной во всеулышание. Я пытался было доказать, что как раз у меня, а не у Байрона это слово написано правильно, но важный мой ментор только улыбнулся, пожал плечами и, возвращая мне книгу, пожалел, что «в столь изящно переплетенной книге встречаются такие опечатки!». А в кругах, где «Андерсена портили чрезмерными похвалами», говорили по поводу «Импровизатора» следующее: «Да только о себе самом здесь и пишет!» «Литературный ежемесячник», в котором вся интеллигенция видела высшего судью по вопросам эстетики, рассказывал в то время о всевозможных комедиях, о мелких, ныне забытых брошюрках; «Импровизатора» же он не удостоивал и словом, может быть, именно потому, что роман приобрел себе обширный круг читателей и вышел вторым изданием. И только в 1837 году, когда я, ободренный успехом, написал свой второй роман «О.Т.», в «Литературном ежемесячнике» появилась рецензия на оба произведения вместе. В ней меня, разумеется, опять пробрали, но об этом позже.

Первое громкое и, пожалуй, несколько преувеличенное признание достоинств «Импровизатора» донеслось до меня из Германии; я встретил его с глубокой признательностью, как больной — согревающие лучи солнца. Нет, не прав был наш датский критик, безапелляционно назвавший меня неблагодарным человеком, обнаружившим своим романом большой недостаток признательности по отношению к своим благодетелям! Я, дескать, сам был тем бедным Антонио, что стонет под тяжестью сыпавшихся на него благодеяний, которые он просто-напросто вынужден принимать. И это обо мне, который еще мальчишкой познал, что такое кусок хлеба из милости!



Ханс Кристиан Андерсен.  
Портрет работы К.А.Иенсена

В Швеции тоже вышел перевод «Импровизатора», и все шведские газеты, какие мне только пришлось видеть, отзывались о моем произведении с похвалами. На английский язык книга была переведена квакершей Мэри Ховит; все главные мысли книги были оценены по достоинству. «This book is in romance what "Child Harold" is in poetry»\*, — писала о ней британская пресса. Тринадцать лет спустя, когда я сам приехал в Лондон, мне сообщили о другом лестном отзыве в «Зарубежном обозрении», который приписывали зятю Вальтера Скотта, серьезному и строгому критику, Локхарту. Несмотря на то, что статья была помещена в одном из самых распространенных английских журналов, получаемом и у нас в Копенгагене, о ней ни словом не обмолвились в свое время ни в одной из датских газет, между тем как те же газеты отмечали малейшее упоминание в иностранной печати о всяком другом датском писателе. Вот что писал, между прочим, английский критик: «Импровизатор» — произведение датчанина, написанное на том самом языке, на котором говорил и думал печальный датский принц Гамлет. Как-то от одного из друзей мне довелось слышать, что «Коринна» — бабушка «Импровизатора»; может быть, оба романа и имеют некоторые сходные черты, но «Импровизатор» — более симпатичный чичероне».

Немецкая критика отзывалась об «Импровизаторе» так: «Небезынтересно будет провести параллель между «Импровизатором» Андерсена и «Коринной» госпожи Сталь. И тот, и другая в лице своих героев, итальянских импровизаторов, изобразили самих себя, и оба же воспользовались как фоном для своих картин прекрасной Италией. Но разница в том, что датчанин наивен, а француженка сентиментальна; то, что у Андерсена поэтично, у госпожи Сталь — риторика».

Датский «Литературный ежемесячник» тоже упомянул о «Коринне», но иначе: «Разумеется, роман госпожи Сталь-Гольштейн послужил для Андерсена образцом, но только сбившим его с толку», — и т.д. При всей несхожести немецкой и английской оценок при сопоставлении «Коринны» и «Импровизатора» — какое разительное отличие от разноса, устроенного мне датским «Ежемесячником».

Позже вышло несколько переводов «Импровизатора» в Северной Америке, а в 1844 году появились переводы на русский и чеш-

---

\* «Эта книга в жанре романа — то же, что "Чайльд Гарольд" в поэзии» (англ.).

ский языки, сделанные со шведского. Голландский перевод был встречен весьма доброжелательной статьей в журнале «Время». Во Франции перевод «Импровизатора», сделанный мадам Лебрюн в 1847 году, также стяжал роману похвалы — особенно за его «чистоту». В Германии же вышло в общей сложности семь или восемь переводов «Импровизатора», и некоторые из них выдержали по несколько изданий. Кстати, могу сослаться на напечатанное в собрании сочинений Шамиссо письмо ко мне, в котором он говорит, что предпочитает моего «Импровизатора» таким произведениям, как «Собор Парижской Богоматери», «Саламандра» и проч.

Итак, первые похвалы, поднявшие мой дух, раздались и продолжали раздаваться за границей, так что если Дания и имеет в моем лице поэта, то нельзя сказать, что именно она взлелеяла меня. Родители вообще нежно пекутся о своих чадах, заботливо ухаживают за каждым проявившимся в них ростком того, что они считают талантом; моя же родина в лице земляков по мере сил старалась задушить во мне всякий признак таланта. Но так, видно, угодно было Господу Богу, и Он ради развития моего дарования посылал мне благодатные лучи из-за границы. Он же устроил и так, что труды мои сами пробили себе дорогу. Публика ведь все-таки сильнее всех критиков и разных литературных партий. Итак, благодаря «Импровизатору» я завоевал себе прочное и почетное место в числе других писателей. Мое вдохновение вновь расправило крылья, и спустя несколько месяцев после выхода в свет «Импровизатора» я издал первый выпуск моих сказок. Не стоит, однако, полагать, что он сейчас же завоевал себе успех. Люди, говорившие, что желают мне добра, сожалели, что я, подав недавно такие надежды своим романом, «опять впал в ребячество». «Литературный ежемесячник» так никогда и не удосужился хотя бы упомянуть о моих сказках, а «Даннора», весьма в то время распространенный литературно-критический журнал, советовал мне не тратить времени на сочинительство сказок. Меня упрекали в отступлении от обычных форм этого жанра и рекомендовали мне, прежде чем писать, изучить известные образцы. Хотя, разумеется, он не удосужился этого сделать, прибавлял критик. Так я перестал работать над сказками и через некоторое время, в продолжение которого у меня не раз опускались руки, окончил роман «О.Т.».



Я испытывал непреодолимую потребность творить и полагал, что нашел самую подходящую для себя область творчества в жанре романа. Таким образом, после появления в 1835 году «Импровизатора», в 1836 году вышел «О.Т.», а год спустя, в 1837-м — «Всего лишь скрипач». «О.Т.» понравился многим, и прежде всего Эрстеду, который отличался особенной чуткостью ко всему комическому. Он советовал мне и дальше работать в этом направлении; у него в доме я всегда встречал сочувствие и понимание, он вселял в меня бодрость и уверенность в своих силах. У Сибберна, с которым я познакомился лично уже после того, как получил его письмо об «Импровизаторе», я устроил чтения своего «О.Т.». В один из таких вечеров на чтении присутствовал Поуль Мёллер, приехавший тогда из Норвегии. Моя «Прогулка...» ему не нравилась, теперь же он слушал весьма внимательно и заинтересованно. Особенно теплую его реакцию вызывали сцены, где я описываю Ютландию с ее вересковыми пустошами и Северное море.

«О.Т.» был переведен на немецкий язык, а затем уже с него на шведский, голландский и английский. Как я уже говорил, многие мои земляки сетовали на то, что в «Импровизаторе» было допущено много опечаток и страдало правописание некоторых латинских выражений. Перед выходом «О.Т.» в свет один из друзей моих, профессор университета, чтобы избежать подобных неточностей, предложил мне свою помощь по части корректуры. «Уж я-то опытный корректор! — сказал он мне. — Меня постоянно хвалят за тщательность и аккуратность моих собственных изданий! Ваши рецензенты, критикуя вас, не будут по крайней мере развлекаться такими мелочами, как корректурные погрешности!» Он держал корректуру всего романа, просматривая лист за листом; кроме него, их тщательно проверяли еще два сведущих лица. Книга вышла, и первая же рецензия о ней заканчивалась так: «И в этой книге мы встретились с обычными грамматическими небрежностями Андерсена». «Ну, это уж из рук вон! — возмутился мой профессор. — Я положил на корректуру этой книги не меньше труда, чем на корректуру своих собственных! К вам просто придираются!»

Роман стал известен публике, и круг моих читателей постоянно рос, но газеты и журналы все так же не высказывали мне особенного поощрения. Критики как будто забыли, что мальчик с годами вырастает в мужа, что мастерство приходит вовсе не с возрастом, и по-прежнему

упирали на мои старые ошибки и промахи. Самыми строгими критиками моими оказывались зачастую люди, которые, по-моему, вовсе и не заглядывали в мои последние произведения. Не все только были так честны и откровенны, как Хейберг, который на вопрос, читал ли он мои романы, ответил с улыбкой: «Я никогда не читаю толстых книг!»

Каков был тон высказываний, публикуемых пресловутым «Ежемесячником», легко себе представить по той отповеди, которую издание это получило от Палудана-Мюллера. Прочтя в нем такую же суровую оценку своих трудов, этот молодой, однако уже всеми ценный и общепризнанный писатель написал в качестве ответа полемическое стихотворение «Хореи и ямбы», снабженное примечанием, в котором разбирал, в какой степени журнал может противостоять поэту. Я привожу здесь его слова:

«В каком ином достойном уважения журнале — отечественном либо зарубежном — можно найти такие вольности, которые позволяет себе рецензент в адрес рецензируемого автора? Предметом обсуждения становится прежде всего отсутствие у автора здравого смысла, воспитания и элементарного образования, причем что касается последнего, то обычно отмечается нежелание писателя пополнить пробелы в своих знаниях. Все это сопровождается благими советами усерднее трудиться и больше учиться, ибо в противном случае автору грозят еще большие нападки со стороны критиков. Единственное, что ему остается, чтобы создать хоть более-менее удовлетворительное произведение, это внять добрым советам рецензента. И это еще отнюдь не все уничижительные высказывания, которые выпадают на долю авторов рецензируемых произведений (к примеру, “Импровизатора” и “О.Т.”). Ко всему прочему, писателя могут упрекнуть в неблагодарности по отношению к своим благодетелям. При этом редакция «Ежемесячника» одновременно и поощряет, и покрывает сего безымянного рецензента, который под завесой анонимности прячется от справедливого наказания со стороны обиженного!»

Характерно то, что, хотя впоследствии большинство авторов рецензий были названы, мой критик так и не решился назваться по имени.

Год спустя вышел, как уже сказано, роман «Всего лишь скрипач»; в нем ясно чувствуется отпечаток того угнетенного состояния души, в котором я пребывал в то время. И тем не менее этот роман свидетельствовал о том, что я сделал шаг вперед, стал лучше понимать и лю-

дей, и самого себя. Я уже отказался от мечты получить за свои труды воздаяние здесь, на земле, и утешал себя мыслью найти ясность и примирение в ином мире. Если «Импровизатор» явился настоящей импровизацией, то «Всего лишь скрипач» — произведением, глубоко прочувствованным, продуманным, можно сказать, выстрадавшим в процессе жизни. Самим романом и его образами — Наоми, Владислава, святого отца — я выразил свой душевный протест против людской несправедливости, глупости и гнета житейской прозы.

И этот роман пробил себе дорогу, но и тут ни одного слова поощрения и признательности! Критика милостиво изрекла только, что мною часто счастливо руководит инстинкт. Ко мне применили выражение, которое вообще принято употреблять, говоря о животных, тогда как в области поэзии, среди людей, это свойство носит название «творческого гения». У меня же был всего лишь «инстинкт». Все хорошее во мне продолжали затаптывать в грязь. Отдельные лица, правда, говорили мне, что со мной поступают чересчур уж грубо и нетактично, но заступиться за меня публично никто и не думал. Роман «Всего лишь скрипач» заинтересовал на короткое время одного из наших высокоодаренных писателей, Сёрена Киркегора. Встретясь со мной однажды на улице, он сказал мне, что собирается писать на этот роман рецензию, которой я, наверное, останусь доволен. По его мнению, ко мне вообще относились несправедливо. Прошло довольно много времени; Киркегор перечел книгу, и первое хорошее впечатление его испарилось; должно быть, чем серьезнее он вдумывался в произведение, тем несовершеннее оно ему казалось, и появившийся наконец отзыв уже никак не мог меня порадовать. Критическая статья Киркегора разрослась в целую книгу — кажется, первую изданную им. Для чтения она вышла тяжеловата, смахивала по стилю на философский трактат Гегеля, и многие говорили в шутку, что только Киркегор да Андерсен и прочли ее до конца. Называлась книга «Из записок еще живущего человека». Из нее я узнал, что я вовсе не поэт, а всего лишь поэтическая фигура, соскочившая со своего настоящего места в каком-нибудь поэтическом произведении, и что тому или иному будущему поэту предстоит водворить меня на мое место или поместить меня в свое собственное произведение, создать для меня новую подходящую обстановку! Впоследствии я стал лучше пони-

мать этого писателя, который тонко и сочувственно оценил мои более поздние работы.

Пока же мои романы не находили себе в датской печати заступника или хоть критика, который бы упоминал о них. Ко всему прочему, они оказались как бы в тени благодаря тому, что как раз в то же время общий интерес заполнили издаваемые Хейбергом «Обыкновенные истории». Язык этих новелл, их содержание и, главным образом, горячие рекомендации Хейберга, восхищавшегося ими, — все это выдвигало их тогда в датской литературе на передний план.

Все же, как бы там ни было, а меня читали, и большинство уже не сомневались в моем поэтическом таланте, в котором мне совсем уже было отказано до моего путешествия в Италию. Тем не менее ни в одной из отечественных рецензий не говорилось о моих идеях, о свежести восприятия жизни, о юморе, то есть о том, что бы могло выделить мои романы среди прочих. Лишь когда они вышли в Швеции, несколько газет не поленились дать более глубокий их анализ, ибо там их читали благожелательные и непредвзятые критики. То же самое можно сказать и о Германии. Именно это и поддерживало во мне веру в свои силы и желание писать.

«Лондонская литературная газета» отзывалась о романах «О.Т.» и «Всего лишь скрипач» следующим образом:

«Это одни из самых интересных произведений последних лет. Показ жизни датского общества в них весьма натурален и вызывает истинное восхищение, тон повествования чрезвычайно искренен и трогателен; автору превосходно удалось образы детей, он сумел проникнуть в их мысли. Безыскусный живой язык, знание мира, сила воображения, короче говоря, все очевидные достоинства романов обладают таким очарованием, что мы, нимало не колеблясь, заявляем: эти книги найдут своего читателя среди разных слоев публики и по праву заслуживают того, чтобы быть названными среди самых лучших романов, когда-либо увидевших свет».

В Дании же только много лет спустя с сочувственным отзывом обо мне как о писателе-романисте выступил человек, действительно пользующийся авторитетом и влиянием. Как я уже упоминал, это было исследование Хауха, помещенное им в «Еженедельнике» Шоу. Вот как вкратце он характеризовал мои романы:

«Героем лучших и наиболее зрелых произведений Андерсена, в которых так ярко выступают богатая фантазия и глубокая чувствительность души одаренного писателя, является талантливая или по крайней мере благородная натура, которая старается пробиться в гнетущих, подавляющих ее условиях окружающей жизни. Таковы герои трех романов Андерсена, и никто лучше его самого не может знать всех внутренних и внешних перипетий такой борьбы, — ему самому ведь пришлось испить чашу горечи до дна, изведать подобные же страдания, а память об этом — как гласит старинная мудрость — мать всех муз. Поэтому повествования Андерсена заслуживают всяческого внимания: если он и рисует нам внутреннюю жизнь единичного лица, то все же такую, которая является уделом почти каждого гениального или талантливого человека, поставленного судьбой в неблагоприятные условия. В романах “Импровизатор”, “О.Т.” и “Всего лишь скрипач” Андерсен рисует отнюдь не только одного себя, но также и ту знаменательную борьбу, на которую обречены многие и которую он так хорошо знает на собственном опыте. Описания его поэтому принадлежат не миру иллюзий, а дышат самую жизнью, самую правдою и в качестве таковых сохраняют за собой глубокое и прочное значение. Таким образом, как уже было сказано, он ратует не только за талантливые и гениальные натуры, но и за всех униженных и терпящих несправедливые гонения. Поскольку сам он немало пострадал от этой жестокой борьбы, когда простертые с мольбою к небу руки, как в композиции Лаокоона, оказываются стиснутыми кольцами змеиных тел, поскольку ему не раз доводилось полной мерой испить из чаши страданий, которую равнодушный и заносчивый мир готовит каждому угнетенному, он оказался в высшей степени в состоянии отобразить все это в правдивом и серьезном полотне с таким пронзительным трагическим пафосом, который не может оставить спокойным ни одно по-настоящему чувствительное сердце. Достаточно вспомнить сцену из его “Скрипача”, в которой “знатная собака”, как выражается сам автор, с отвращением отворачивается от той пищи, которую из милости дают бедному мальчику. Рисуя ее, Андерсен не столько пытался уязвить торжествующее тщеславие, сколько передать внутренние страдания оскорбленной человеческой личности».

Вот как отзывался о моих произведениях девять-десять лет спустя благороднейший человек и писатель. С критикой на мои произведе-

ния произошло то же, что бывает с хорошим вином: чем дольше его выдерживают, тем оно становится изысканнее. В том же 1837 году, когда вышел «Всего лишь скрипач», я посетил соседнюю страну, переправился через канал в Стокгольм. Тогда еще не было и помина о нынешних пресловутых скандинавских симпатиях. Прежние войны оставили в обеих нациях взаимное недоверие. Копенгагенские мальчишки не упускали случая всякий раз, как мороз соединял обе страны ледяным мостом и к нам приезжали на своих санях соседи-шведы, бежать за их санями с улюлюканьем. Шведская литература тогда была известна у нас крайне мало; датчанам и на ум не приходило, что при небольшом навыке читать и понимать по-шведски очень легко. Знали у нас, пожалуй, лишь «Фритьофа» и «Акселя» Тегнера, да и то лишь в переводах. Да, времена меняются!

Известные мне произведения шведских писателей очень мне нравились, особенно поэзия несчастного, уже умершего Стагнелиуса. Он приходился мне по сердцу даже больше Тегнера, который занимал тогда среди шведских поэтов первое место. До сих пор я предпринимал путешествия только на юг от родины, причем тотчас же, как переступал границы Дании, прощался с датской речью, теперь же я чувствовал себя почти как у себя дома; я говорил по-датски, мне отвечали по-шведски, и этот язык казался мне одним из наших провинциальных наречий. Мне казалось, что Дания как будто расширилась; родственные черты наций так и бросались мне в глаза, и я понял, как близки, в сущности, между собою шведы, норвежцы и датчане. Во время путешествия мне встретилось великое множество хороших, сердечных людей, и, по своему обыкновению, я быстро сходился с ними. Вообще эта поездка была одной из самых приятных для меня. Живописная страна с ее обширными лесами, огромными озерами, величественным водопадом Трольхеттан, красивыми шхерами на каждом шагу удивляла новизной. Стокгольм, который красотой местоположения напоминает Константинополь и поспорит с Эдинбургом, просто поразил меня. Рассказ о плавании по каналам звучит для непосвященного в его тайны новичка чем-то сказочным. Еще бы! Пароход движется по озерам, расположенным высоко в горах, так что с палубы видны внизу верхушки сосен и берез! Судно, поднимаясь и опускаясь, проходит многочисленные шлюзы, пассажиры в это время бродят по ближайшим лесным тропинкам.

С этим путешествием и особенно с поездкою по озеру Венерн связано у меня воспоминание об одном интересном и не оставшемся без влияния на меня знакомстве: я встретился на пароходе с известной шведской писательницей Фредрикой Бремер.

Во время плавания по каналу между Трольхеттеном и Венерсборгом я разговорился с капитаном. Среди прочего я спросил его, какие из современных шведских писателей проживают теперь в Стокгольме, и выразил желание встретиться там с госпожой Бремер. «Ну, ее-то вы там не застанете! — сказал капитан. — Она теперь в Норвегии!» — «Вернется, обязана вернуться, пока я здесь! — пошутил я и прибавил: — Мне вообще везет во время путешествий; стоит мне пожелать чего-нибудь, как так оно и будет!» — «Только не в этот раз!» — заметил капитан. Три часа спустя, перед отходом из Венерсборга, где мы останавливались принять груз и пассажиров, капитан, смеясь, подошел ко мне и, показывая мне список новых пассажиров, громко воскликнул: «Счастливец! Вам и впрямь везет! Госпожа Бремер уже на пароходе и поплывет с нами до Стокгольма!» Я подумал, что он шутит; тогда он указал мне в списке ее имя, но я все еще не верил, что это была та самая писательница. Рассматривая вновь прибывших пассажиров, я не нашел между ними женщины, в которой бы мог признать ее. Вечер прошел, и около полуночи мы были на огромном озере Венерн.

В три часа ночи я встал и вышел на палубу полюбоваться восходом солнца. Кроме меня, вышла из каюты одна дама, не молодая и не старая, закутанная в плащ и в шаль. Ей тоже, верно, хотелось посмотреть на восход солнца, и я подумал: «Если действительно Фредрика Бремер здесь, на пароходе, то это она!» Я завязал с ней разговор, она отвечала мне вежливо, но холодно. Наконец я спросил ее, не она ли известная писательница Бремер; дама дала уклончивый ответ и спросила о моем имени. Оказалось, что она слышала обо мне; с произведениями моими она, однако, не была знакома и спросила, нет ли у меня с собой какого-нибудь из них. Я как раз вез один экземпляр «Импровизатора» для Бескова и дал его ей. Она сошла в свою каюту и оставалась там все утро. Когда же мы встретились опять, она улыбнулась мне светлою, сердечною улыбкою, пожала руку и сказала, что прочла больше половины первой части книги и теперь знает меня. Корабль наш скользил меж горных вершин и густых лесов по глади спо-

койных озер и наконец достиг балтийских шхер с разбросанными по ним скалистыми островками; они были своего рода причудливым переходом от голых каменных глыб к островам с зелеными лужайками, а затем и таким, на которых росли деревья и стояли дома. Пароход мужественно боролся с прибоем и водоворотами; пару раз пассажиры замирали на своих местах, с надеждой глядя на лоцмана, все внимание которого было сосредоточено на прохождении особо трудного места. В эти моменты все ощущали, как на несколько секунд судно становилось игрушкой в руках стихии. Госпожа Бремер без умолку рассказывала разные легенды и истории, связанные с отдельными островами и усадьбами, мимо которых мы проплывали. Все это чрезвычайно оживляло и разнообразило наше путешествие.

Знакомство наше продолжалось в Стокгольме, а многолетняя переписка окончательно скрепила его. Фредрика Бремер — благороднейшая натура, проникнутая великими утешительными истинами религии, обладавшая редким даром понимать, истолковывать и поэтизировать мельчайшие частности жизни.

В то время ни один из моих романов еще не был переведен на шведский язык; меня знали лишь по моей «Прогулке на Амагер» и по стихотворениям, да и то лишь немногие, принадлежавшие к литературным кружкам; они и оказали мне в Стокгольме радушный и сердечный, чисто шведский прием. Один из популярнейших поэтов-юмористов, пастор Дальгрэн, теперь давно умерший, посвятил мне стихотворение. Благожелательный прием встретил я также у знаменитого Берцелиуса, к которому у меня было рекомендательное письмо от Эрстеда. В Упсале я пробыл несколько дней. Пребывавший тогда в добром здравии профессор Рудберг водил меня на Упсальский холм, и там мы выпили в честь скандинавского севера шампанское из громадного серебряного рога, подарка короля Карла Юхана. И Швеция, и шведы очень полюбились мне; как уже сказано, мне стало казаться, что границы моей родины раздвинулись; только теперь понял я, насколько родственны между собою шведская, норвежская и датская нации, и вскоре по возвращении на родину я написал песню: «Народ единый, все мы — скандинавы!» Песня эта явилась плодом моих непосредственных впечатлений и была чужда какой-либо политической идеи: поэт вообще не слуга политики, он лишь спокойно шествует впереди разных политических движений, ибо является provid-



цем. И я создал эту скандинавскую песню, когда еще и речи не было ни о каком скандинавизме в политике. Я написал ее, охваченный сознанием родственности всех трех народов, любовью к ним и желанием, чтобы и они наконец узнали и полюбили друг друга, избавившись от чувства взаимного недоверия и неприязни.

А вот что сказали по поводу моей песни у нас на родине: «Видите, что из него сделали шведы!» Однако прошло несколько лет, и соседи стали лучше понимать друг друга. Эленшлегер, Тегнёр и Фредрика Бремер пробудили в каждом народе желание ознакомиться с литературой соседей, и люди почувствовали и осознали взаимное родство. Прискорбное прежнее недоверие, проистекавшее от недостаточного знакомства друг с другом, исчезло, и между датчанами и шведами установились добрые, сердечные отношения. Скоро скандинавизм пустил такие корни в Копенгагене (в Швеции — тоже, в Норвегии же, насколько я знаю, — нет), что у нас было образовано «Скандинавское общество!» В этом обществе, или кружке, проносились речи о братском слиянии трех народов севера, читались исторические лекции и давались «скандинавские» концерты, на которых исполняли произведения Бельмана и Рунге, Линдблада и Гаде, — все это было прелесть как хорошо! Моя песня тут оказалась в чести. Мне говорили даже, что она переживет все, что я вообще написал! А один из наших крупнейших общественных деятелей на полном серьезе уверял меня, что только эта песня и сделала меня истинно датским поэтом. Да, вот как высоко ставили ее теперь, а еще год тому назад называли плодом польщенного тщеславия.

И в Дании, и в Швеции разные композиторы пытались положить ее на музыку для концертного исполнения, однако в таком виде заметного успеха она не имела.

По возвращении из Швеции я стал усердно заниматься изучением истории, а также знакомился с иностранной литературой. Но усерднее всего читал я все-таки великую книгу природы, из которой я всегда черпал самые лучшие впечатления. Лето я проводил, гостя в разных поместьях на Фюне, главным образом в романтически расположенном у самого леса «Люккесхольме», принадлежавшем некогда Каю Люкке, и в графском замке Глорупе, где некогда обитал Валькендорф, могущественный враг Тихо Браге, а теперь проживал благородный старик граф Мольтке-Витфельдт. Здесь я нашел самый

радушный прием и гостеприимный приют; тихие прогулки по окрестностям, несомненно, дали мне гораздо больше в плане воспитания чувств и фантазии, чем могла бы дать любая учеба. В Копенгагене же самым родным домом был для меня по-прежнему дом Коллина; в нем, как я писал в посвящении, предшествующем «Импровизатору», я нашел родителей и сестер с братьями. Весь юмор и жизнерадостность, которые находят в романе «О.Т.» и в некоторых написанных мною в эти годы драматических произведениях — к примеру, «Невидимка в Спрогё», — черпал я в доме Коллина. Здесь я возрождался духом, запасался душевным здоровьем и благодаря этому мог справляться с болезненными проявлениями своей натуры. Старшая дочь Коллина, Ингеборг, в замужестве госпожа Дреусен, отличалась замечательным остроумием, жизнерадостностью и веселостью и имела на меня особенно большое влияние. Моя мягкая, податливая, как гладь морская, душа всегда готова была отражать в себе все окружающее.

Я был довольно плодовитым писателем, и произведения мои принадлежали к числу находивших постоянный спрос у читателей. Гонорары мои повышались с каждым новым романом, но надо помнить общие условия датского книжного рынка и то, что я не был признан настоящим поэтом ни Хейбергом, ни «Литературным ежемесячником», поэтому и гонорары были довольно скромны. Но как бы там ни было, существовать на них было возможно, хотя, разумеется, вовсе не так, как должен был, по предположению англичан, жить автор «Импровизатора». Я хорошо помню изумление Чарлза Диккенса, когда он на свой вопрос, много ли получил я за этот роман, услышал в ответ: «19 фунтов стерлингов!» — «За лист?» — переспросил он. — «Нет, за весь роман!» — сказал я. — «Нет, мы, верно, не понимаем друг друга! — продолжал Диккенс. — Не могли же вы получить 19 фунтов за всю книгу! Вы, верно, получили столько за лист!» Пришлось мне лишь посетовать на то, что это было не так. За лист мне причиталось только около полуфунта стерлингов. «Боже мой! — воскликнул Диккенс. — Не поверил бы, если бы не услышал этого от вас самого!» Конечно, Диккенс не знал условий датского книжного рынка и сравнивал полученный мною гонорар с теми, что получал он сам в Англии; вероятно, даже моя английская переводчица получила больше, чем я — автор! Но как бы там ни было, мне удавалось сводить концы с концами, хотя и с грехом пополам.

Постоянно писать и писать было, как я чувствовал, губительно для всякого таланта, но все мои попытки заручиться какою-нибудь подходящею должностью терпели неудачу. Я пытался получить место библиотекаря при Королевской библиотеке, и Эрстед горячо ходатайствовал за меня перед ее директором, обер-камергером Хаухом. Письмо Эрстеда к последнему заканчивалось так: «Кроме заслуг в качестве писателя, Андерсен обладает добросовестностью, аккуратностью и любовью к порядку, которых вообще-то ожидают от поэтов. Все, знающие Андерсена, должны отдать ему в этом отношении должное!» Но и эта лестная рекомендация не помогла мне: обер-камергер с изысканной вежливостью отклонил мою просьбу, мотивируя свой отказ тем, что я «слишком талантлив для такой тривиальной должности, как библиотекарь!» Сделал я также попытку и связаться с «Обществом свободной печати» и даже представил его правлению план и конспект народного датского календаря, составленного мною по образцу столь распространенного в Германии календаря Губица. Ничего подобного в Дании до сих пор не существовало; к тому же я полагал, что в качестве автора «Импровизатора» имею некоторую репутацию человека, способного описывать картины природы, а в качестве автора изданных недавно сказок — репутацию хорошего рассказчика. Эрстеду мой план чрезвычайно понравился; он и тут горячо поддержал меня, но правление Общества нашло, что издание такого календаря связано со слишком большими хлопотами, и отказало мне в своем содействии. Проще говоря, мне не рискнули доверить это дело, так как впоследствии такой календарь был издан другим лицом, сумевшим добиться поддержки того же Общества.

И вот я постоянно был полон забот о завтрашнем дне; хорошо еще, что мне были открыты двери нескольких гостеприимных домов, в том числе и одного нового. Это был дом ныне уже умершей старушки, вдовы Бюгель, урожденной Адсер, более известной благодаря своей оригинальности, хотя и обладавшей превосходными душевными качествами. Ей весьма нравились мои произведения, а лично мне она оказывала истинно материнские внимание. По-прежнему самое горячее расположение, помощь и поддержку я находил у конференц-советника Коллина, но прибегать к нему я решался лишь в самых трудных случаях. Да, немало выпало на мою долю горя и нужды — однако об этом теперь вовсе нет охоты рассказывать. Впрочем, как



Писательница Фредрика Бремер.  
Портрет работы У.Сёдермарка

Певица Йенни Линд.  
Литография

бывало и в детские годы, я не переставал говорить себе: «Когда придется слишком уж плохо, тогда-то Господь и посылает помощь!» Я верил в свою счастливую звезду, и ею был Бог.

Однажды я сидел в своей каморке в Нюхавне неподалеку от Шарлоттенборга; вдруг в дверь постучали, и на пороге оказался не знакомый мне господин. Черты лица его были тонки и изысканны, выражение самое приветливое. Это был покойный ныне граф Конрад Ранцау-Брайтенбург, уроженец Гольштейна и тогдашний премьер-министр. Он искренне любил литературу, восторгался Италией и захотел посетить автора «Импровизатора», которого прочел в оригинале с живейшим, как он говорил, интересом. В своем кругу и при дворе граф пользовался большим уважением за поистине рыцарское благородство и имел репутацию человека литературно образованного и со вкусом. В молодости он много путешествовал, подолгу жил в Испании и Италии, и суждениям его поэтому придавалось большое значение. Не довольствуясь одними горячими похвалами мне, которые он высказывал и при дворе, и в обществе, он захотел лично навестить меня, поблагодарить за доставленное моею книгой удовольствие, пригласить к себе и спросить — не может ли он в чем-нибудь быть мне полезным. Я не скрыл от него затруднительности своего положения, вынуждавшего меня писать ради куска хлеба и исключавшего всякую возможность самосовершенствования. Он тепло пожал мне руку, обещал свое содействие и дружбу и сдержал свое слово. Думаю, впрочем, что дело не обошлось и без попутного участия Коллина и Эрстеда, которые всегда тайно выступали ходатаями за меня перед королем.

Уже в течение многих лет царствования короля Фредерика VI из средств Министерства финансов ежегодно отчислялась известная сумма на разовые пособия ученым, художникам и литераторам, отправляющимся за границу, а также на постоянные годовые стипендии, или, как еще говорили, «вспомоществование» тем из них, которые еще не успели упрочить свое положение или не имели постоянной должности. Такими стипендиями пользовались, например, Эленслегер, Ингеманн, Хейберг и др. Как раз в эту пору получил подобную стипендию Херц. Такая стипендия была моей мечтой, и вот мечта сбылась: король Фредерик VI назначил мне ежегодную сумму в 200 специй.

Как же я был рад, как благодарен! Теперь мне уже не нужно было все время писать и писать, чтобы сводить концы с концами; у ме-

на верное обеспечение на случай болезни, и я стал менее зависим от благоденствий окружающих. Для меня это было началом новой эры!

## VIII

С этих пор в моей жизни стало чаще проглядывать солнце; оглядываясь на свое прошлое, я яснее видел бодрствовавшее надо мною око Провидения и все более убеждался, что Бог постоянно направлял все к лучшему для меня, а чем сильнее такое убеждение, тем спокойнее, увереннее себя чувствуешь.

«В английском флоте по всем снастям, и большим, и малым, проходит красная нить, указывающая на принадлежность флота английской короне; так же по всем — и большим, и малым — событиям и проявлениям человеческой жизни тоже проходит невидимая нить, указывающая, что все мы принадлежим Богу». Вот в чем я успел убедиться и что высказал в романе «Две баронессы».

В моей жизни был период детства — оно давно минуло; отрочества у меня не было вовсе, а юность только началась теперь; предшествовавший ей отрезок жизни был просто каким-то мыканьем по волнам, борьбой со встречными течениями. Только теперь, на тридцать четвертом году, началась для меня настоящая весна; но весна — не лето, и весной также случаются серые ненастные дни, необходимые для того, чтобы развилось в нас то, что должно созреть летом.

Теперь, когда переживаешь тихую благодатную пору жизни, невольно улыбаешься своей прежней чувствительности, оглядываясь назад на эти «серые и ненастные дни», однако — к делу!

Отрывок из письма, полученного мною от одного из лучших друзей во время более поздней заграничной поездки, может послужить подходящим предисловием к тому, что я хочу здесь рассказать. В присущей ему своеобразной манере он писал:

«Все это лишь плод Вашего больного воображения, будто Вас презирают в Дании! Ничего такого на самом деле нет. Вы с Данией отлично ладите и ладили бы еще лучше, не будь в Дании театра: *hinc ille lacrima!*\* Ах, этот проклятый театр! Но разве театр — вся Дания, и разве Вы — всего лишь только поставщик театральных пьес?»

---

\* *Hinc ille lacrima (лат.)* — Вот отчего эти слезы.

В этих словах была доля правды. Действительно, театр в течение целого ряда лет являлся для меня источником величайших огорчений. Всем известно, что с театральным миром ох как трудно ладить! Большинство артистов — от первого любовника до последнего статиста — склонны класть на одну чашу весов свою собственную персону, а на другую — весь свет. Партер для них — граница мира, журнальные и газетные статейки — звезды небосклона; и если в этом своем мирке они слышат одни лишь похвалы и возгласы «браво!», часто необдуманные, повторяемые лишь по инерции, то не мудрено, что голова у них идет кругом и они утрачивают представление о своем истинном значении.

В то время, когда политика почти не занимала умов, все интересы общества сосредоточились на искусстве; театр был самой богатой и постоянной темой для разговоров. И то сказать — наша датская сцена принадлежала тогда к числу первых в Европе. Ее украшал ряд крупнейших талантов своего времени. Нильсен, в ту пору еще совсем юный, набирающий силу, помимо дарования истинного художника мастерски владел вдобавок чарующим музыкальным голосом. В лице д-ра Рюге — гениально одаренного духовно и физически — датская сцена получила прекрасного исполнителя героев трагедий Эленшлегера. Фрюдендаль являл собою идеал исполнения комических ролей, демонстрируя при этом прекрасный вкус и изящество. Стаге — изысканный кавалер, вылитый английский джентльмен — не чужд был комедийного дарования; особенно хорошо давались ему сатирические персонажи. Кроме них, блистали неувядаемым талантом госпожа Хейберг, госпожа Нильсен, Росенкильде и Фистер. В довершение всего опера по-прежнему оставалась на высоком уровне, а с появлением Бурнонвиля пору расцвета переживал и балет.

Но если датская сцена и была тогда одною из первых в Европе, из этого не следовало, что все представители ее были мировыми столпами, а они именно и воображали себя таковыми, по крайней мере в сравнении со мной: я-то в их глазах был не бог весть какой выдающийся писатель! Вообще, на мой взгляд, датская сцена страдала главным образом от недостатка дисциплины, которая так необходима там, где масса отдельных личностей должна составлять единое целое, да еще художественное целое. Я прожил на свете уже немало и знаю по опыту, что публика постоянно недовольна дирекцией теат-

ров — особенно за выбор пьес, а дирекция — артистами и наоборот. Должно быть, иначе и быть не может, должно быть, всем молодым драматургам, не успевшим еще стать баловнями минуты, суждено подвергаться таким мытарствам, каким подвергался я. Их не избежал даже сам Эленшлегер: ему не в диковинку было слышать в театре аплодисменты в адрес актеров-исполнителей и свистки — в свой собственный. А каких отзывов об этом гениальном писателе наслушался я от моих земляков! Такова уж, верно, повсеместно судьба всех талантов, однако как же это грустно! Сам Эленшлегер в своих воспоминаниях рассказывает, что детям его часто приходилось выслушивать в школе злые насмешки других учеников, повторявших только то, что они слышали об Эленшлегере от своих родителей!

Актеры и актрисы, занимающие в труппе благодаря своему таланту, дружбе с газетными рецензентами или благоволению публики первые места, мнят себя выше самой дирекции, не говоря уже о драматургах; а ведь с актерами приходится ладить — они могут и отказаться от роли, и — что еще хуже — распространить в публике неблагоприятное мнение о пьесе прежде, чем она появится на сцене. Новые пьесы подвергаются строгой критике в разных «кофейнях» даже раньше, чем кому-либо из публики становится известно хоть словечко из них. У копенгагенцев вообще есть одна характерная черта — редко кто скажет в ожидании постановки новой пьесы: «Как я рад!», а скорее всего: «Пьеса, кажется, дрянь! Должно быть, освищут!» Свистки вообще играют большую роль; вот забава, которая может обеспечить полный сбор. И ни разу еще не случилось, чтобы освистали плохого актера — нет, козлами отпущения постоянно являются драматурги или композиторы. И все те пять минут, пока делятся шум и свист, молодые и старые, красивые и безобразные дамочки с довольными улыбками прислушиваются к свисткам. Ни дать ни взять кровожадные испанки на бое быков! И вот еще что: в продолжение многих лет я наблюдал, что самое опасное время для постановки пьес — ноябрь и декабрь; ведь октябрь — пора студенческих экзаменов, и благополучно переступившие этот порог бывшие гимназисты спешат заявить себя строгими ценителями искусства.

Наши известные драматурги — и Эленшлегер, и Хейберг, и Херц и др. — все были освистаны; об иностранных классиках нечего и говорить — освистали даже Мольера.



А между тем, писать для сцены является для каждого писателя наиболее выгодным во всех отношениях полем деятельности. Вот почему я, находясь в крайности, брался и за составление либретто, за которые меня так бранили, а также за водевили. Впрочем, гонорар автора-драматурга был в то время еще до комизма незначителен. Довести его до более или менее приличных размеров удалось только Коллину в последний период своего управления делами театра. Вынужден все это припомнить, ибо факты — вещь упрямая. В то же время, о котором сейчас идет речь, директором датского Королевского театра стал один известный чиновник; ожидалось, что он приведет дела в порядок — он слыл хорошим счетоводом. Ожидали от него и поднятия оперного искусства, так как он любил музыку и сам часто пел в разных музыкальных кружках. В общем, все были в предвкушении различных энергичных преобразований. Последние и не заставили себя ждать. Первым делом была преобразована система регулирования постановочной платы авторам. Ведь при этом трудно руководствоваться одними достоинствами пьес, вот и решили сообразовываться с их продолжительностью. Во время премьеры режиссер стоял за кулисами и следил с часами в руках, сколько «четвертей часа» займет такая-то пьеса: за каждую четверть часа полагалась известная сумма. Излишек времени, не составляющий полной четверти часа, шел в пользу самой дирекции — истинно по-канцелярски практично! Своя рубашка к телу ближе! Что ж, я придерживался того же мнения, да к тому же действительно нуждался в каждом лишнем гроше, так что мне вовсе не сладко было нести убытки, когда дирекция разделила мой двухактный водевиль «Разлука и встреча» на два самостоятельных, которые можно было давать отдельно. Но «нельзя злословить о своем начальстве», а ведь театральная дирекция — начальство автора-драматурга. И все же вернусь к артистам. Впрочем, пусть они сами говорят о себе!

«Не мудрено, что твои пьесы имеют успех, когда их вывозят на себе первые силы труппы!» — сказал мне однажды один из первых актеров, недовольный своей ролью в моей пьесе. «Я не играю мужиков!» — заявила мне одна актриса, которой я как-то осмелился предложить «слишком мужеподобную», по ее мнению, роль. «Ну, скажите, есть ли у меня хоть одна остроумная реплика?» — гремел на репетиции одной из моих первых пьес некий артист. Увидав же

меня после того печально стоящим в углу, тот же Зевс-громовержец подошел ко мне и сказал: «А вы уж и приняли мои слова всерьез! Неужели вы думаете, что я считаю свою роль плохой? Да в таком случае я бы просто не стал играть ее! Но умаляя ваше участие в успехе, я тем более выставляю свое! Впрочем, если вы перескажете это кому-нибудь, — я отопрусь!» Артист произнес эту реплику великолепно, нисколько не помышляя о публике, которая теперь слышит его! Это все лишь смешные, забавные пустяки, скажут, пожалуй, мои читатели, но не так смотрит на дело молодой начинающий писатель. На корабле не следует понимать буквально иногда слишком энергичные выражения капитана, не следует этого делать и на театральном корабле, но я-то поступал именно так. Зачем же, в таком случае, я так настойчиво пробивал себе туда дорогу? Затем, что, во-первых, драматические вещи лучше всего оплачиваются, а ведь без денег не проживешь, а во-вторых, сцена — могущественная кафедра, с которой, как говорит Карл Баггер, «провозглашают сотням людей то, что едва ли прочтут и десятки».

Коллин к тому времени покинул пост директора. Цензором поступавших в дирекцию пьес был Мольбек — причем цензором суровым и, как говорится, «борзописцем». Лучшую характеристику ему могут дать исписанные им хранящиеся в театре цензорские книги с отчетами об отвергнутых и принятых пьесах. А прочитав его журнальные статьи, написанные уже в то время, когда он перестал быть директором и цензором и заменивший его Хейберг забраковал пьесу его сына, — так вот, прочитав эти сетования и увещевания быть снисходительным к молодым талантам, невольно скажешь: да не худо было бы иметь в виду ему самому все это, когда власть была в его руках! Я уже примирился с тем, что Мольбек постоянно браковал мои пьесы; и пусть бы себе браковал, но держался бы при этом общепринятого и, пожалуй, единственно верного со стороны дирекции приема: кратко объявлять автору отвергнутой пьесы, что она «не подходит», без объяснения причин. Мне же раз было прислано длиннейшее письмо, продиктованное, разумеется, не кем иным, как Мольбеком, и, конечно же, чисто из «любви к искусству»; воспользовавшись случаем, он высказывал мне массу неприятных вещей. И вот, чтобы видеть свои пьесы на сцене, мне не оставалось ничего другого, как отдавать их актерам для летних спектаклей. Имея в виду пре-

красные декорации, изготовленные для водевиля Херца «Бегство в Спрогё», не имевшего успеха, я летом 1839 года написал водевиль «Невидимка в Спрогё». Веселая, шаловливая вещица понравилась актерам, имела успех у публики, и это заставило дирекцию включить ее в постоянный репертуар. Пьеска выдержала такое число представлений, о каком я и не мечтал\*, но такой успех ничуть не улучшил моей репутации в глазах дирекции; она продолжала, к величайшей моей досаде, отвергать мои пьесы одну за другой. В это время мое воображение было сильно поражено небольшим французским рассказом «Les épreuves»\*\* , и я задумал написать на этот сюжет пятиактную драму в стихах; я надеялся при этом доказать свою способность тщательно обрабатывать уже готовый материал, способность, которую так часто отрицали во мне. Правда, сюжет, богатый драматическими событиями, был заимствован мною из чужого произведения, да и в некоторых местах я копировал поэтическую манеру Палудана-Мюллера, но я так перевил материал зелеными гирляндами моей собственной лирики, что выходило, как будто бы он вырос в саду моего собственного воображения. Кроме того, поэтическое прочтение данного сюжета, на мой взгляд, наполняло повествование новой музыкальностью и позволяло лучше приспособить его к сценическим требованиям. Словом, чужое произведение вошло, как говорится, в мою плоть и кровь, я заново родил его в себе и только тогда выпустил в свет. «Ну, уж теперь-то не скажут, как, бывало, в случае с переделками в либретто романов Вальтера Скотта, что я “только перекраиваю” или “калечу” чужие произведения!» — думал я. Драма была написана, я прочел ее кое-кому из своих старейших друзей и компетентных лиц, и она им очень понравилась. Затем я познакомил с нею некоторых артистов Королевского театра; они также очень заинтересовались пьесой, особенно господин Вильгельм Хольст, которому я предназначил главную роль. Он вообще всегда относился ко мне и моим произведениям в высшей степени внимательно и доброжелательно, за что я считаю своим долгом высказать ему здесь глубокую признательность.

---

\* Зимой 1855 года она снова имела успех при постановке в театре «Казино». Было дано несколько спектаклей. (Прим. автора).

\*\* «Les épreuves» (фр.) — «Обломки».

Зато один из высших сановников, прибывший из Вест-Индии, высказался в приемной короля Фредерика VI против моей драмы. Он слышал о ее содержании и находил, что ее не следует ставить на Королевской сцене — это может весьма пагубно отозваться на настроениях туземцев в наших вест-индских владениях! «Но ведь ее и не собираются давать в вест-индских владениях!» — резонно возразили ему.

Драма была представлена дирекции и, разумеется, забракована Мольбеком. Но публике уже хорошо было известно, что облюбленные им для сцены пьесы очень часто оказывались никуда не годными, а забракованные — наоборот. Таким образом, его неодобрение не смогло принести особого вреда. За мою драму вступился вице-директор театра советник Адлер, человек справедливый и обладающий вкусом. Благодаря ему, а также общему благоприятному мнению о моей пьесе, распространенному среди публики компетентными лицами, которые уже слышали ее в чтении, драму после многих разговоров решили принять. Однако еще до окончательного решения дирекции произошел один курьезный и характерный эпизод, который мне хотелось бы здесь привести.

Одно высокопоставленное лицо — человек весьма порядочный, но плохой знаток искусства, голос которого, однако, имел решающее значение, — заявил мне, что обо мне он вообще самого хорошего мнения, но самой пьесы не знает. «Конечно, многие ее горячо отстаивают, но Мольбек написал против нее статью на целый лист. Да и кроме того, сюжет пьесы почерпнут из чужого романа. Но ведь вы и сами пишете романы, почему же вы не придумали темы для своей драмы? Наконец, я должен вам сказать, что писать роман — одно, а писать комедии — другое! Тут нужны сценические эффекты. А в вашем “Мулате” есть хоть одна эффектная сцена, притом — не избитая?» Я постарался взглянуть на проблему с точки зрения собеседника и ответил: «Там есть сцена бала!» — «Бал — это отлично, но бал есть у вас и в “Ламмермурской невесте”. Нет ли чего-нибудь поновее?» — «Есть невольничий рынок!» — сказал я. «Ах, вот это ново! Невольничьего рынка у нас еще не было! Да, это действительно уже кое-что! Откровенно говоря, невольничий рынок мне очень нравится!» И я думаю, что невольничьему рынку пьеса была обязана в итоге своей постановкой. После первой читки на сцене актер Хольст в качестве благодарности за понравившийся ему материал прислал мне очаровательные стихи:

## ПОЭТУ АНДЕРСЕНУ

Я это слышал — до сих пор мой слух  
Улавливает шорох звуков странных,  
Как легкий ветер шевелит лишь пух  
На вайях пальм, на листьях их пространных.  
Я видел роскошь пышную лесов,  
И попугай там вил гнездо торопкий  
Из опаленных солнцем стебельков,  
И сахарный тростник грыз кролик робкий.  
Я видел в хижине в лохмотьях на полу —  
Сквозь стену видел я! — лежащих черных братьев,  
Скрип жерновов я слышал там, в углу,  
И звук хлыста, и отзвуки проклятий.  
Я слышал, видел и не мог понять,  
Как сердце, истекая кровью в муке,  
На крыльях может в небо воспарять  
И сквозь стенанья слышать арфы звуки.  
Что это было? Как душа могла  
Блаженствовать в пределах столь ужасных,  
Где волю к жизни зной сжигал дотла,  
Где сень лесов — приют для змей опасных?  
Но! — Где всевластная поэзия царит,  
Там злу природному поставлена граница,  
Душа там в сферах пальмовых парит  
И дивным облаком становится темница.  
Ах, добрый наш поэт! Твое созданье  
В тебя вложил, должно быть, сам Господь,  
Оно вернуло мне воспоминанья,  
И солнце тропиков мою согрело плоть.  
То солнце — поэтическое пламя,  
Восторг твой искрой прынул вниз, к земле —  
Ушла обыденность, что вечно правит нами,  
И новый свет и жизнь зажглись во мгле!  
В стихи вложил ты все и мной пережитое,  
И смел и горд твоих стихов полет,

И вот родной земле прекрасный зрелый плод  
Вручил ты, как сокровище златое.

В.Хольст

За два дня до первого представления пьесы я имел честь читать ее принцу, ныне королю Кристиану, и его супруге, оказавшим мне самый милостивый прием. Впоследствии они неоднократно давали мне повод убедиться в своей поддержке и участии.

Но вот настал и день премьеры — 3 декабря. Афиши были расклеены еще накануне; я не сомкнул глаз всю ночь от волнения. С раннего утра у дверей театра стояла большая очередь публики, явившейся за билетами. И вдруг по городу полетели эстафеты, на улицах стали собираться толпы народа; лица у всех были печальные и серьезные — разнеслась весть о кончине короля Фредерика VI. С балкона Амалиенбургского дворца было провозглашено восшествие на престол Кристиана VIII, на площади загремело «урал!». Городские ворота были закрыты; войска привели к присяге. Имя короля Фредерика VI отождествлялось народом с патриархальным периодом нашей истории. Кроме того, он был первым умершим королем в новой династии.

Театр был открыт лишь два месяца спустя, по окончании траура, и первым же представлением оказалась моя драма. Как я уже рассказывал, текст ее был преподнесен мною королю уже давно, и он весьма одобрительно отзывался о пьесе:

Ты снизошел к творенью моему,  
В нем духа я победу воспеваю,  
Ты в Боге духа чтишь, а посему  
Тебе, король, я песню посвящаю.

Она была прекрасно сыграна и имела шумный успех, но я все еще не мог по-настоящему радоваться этому — я чувствовал только, что с плеч моих свалилась гора и мне стало легче дышать. Пьеса с успехом выдержала целый ряд представлений. Многие ставили эту драму выше всего написанного мною и полагали, что она знаменует для меня начало периода истинного поэтического творчества. Все мои прежние произведения, начиная со стихов и кончая «Импровизатором» и «Всего лишь скрипачом», были признаны незначительными

в сравнении с «Мулатом», словом, на долю этой драмы выпало столько похвал, сколько не выпадало еще ни одному из моих трудов, кроме, пожалуй, первого — «Прогулки на Амагер». Высокая — быть может, не вполне обоснованная — оценка этих двух произведений была единственным до тех пор светлым моментом в моей жизни. Драма скоро была переведена на шведский язык и с большим успехом дана на сцене стокгольмского Королевского театра; шведский поэт Риддерстад даже написал к ней эпилог-продолжение. Разъезжающие по провинциям труппы ставили ее в разных городах и местечках страны, а Товарищество датских артистов г-на Верлига сыграло ее на датском языке в городе Мальмё, и присутствовавшая на представлении толпа студентов из Лунда приняла пьесу восторженно. С той стороны Зунда полетели ко мне дружеские приветствия в стихах и прозе:

О, лебедь датский, северная лира,  
 В смешенье языков твой благозвучен глас,  
 Тобою возрожденная Пальмира  
 Тобой вознесена на солнечный Парнас.  
 Ты напои нас красотой весенней,  
 На волю выведи из царства темных грез  
 И в свете утренней зари, о светлый гений,  
 Ты Севера создай апофеоз.

К.Адлерспарре

Как раз за неделю до упомянутого представления в Мальмё я находился в гостях у барона Врангеля в Сконе; наши соседи шведы приняли меня так радушно, так сердечно, что воспоминание об этом никогда не изгладится из моей памяти. Именно в Швеции удостоился я первого публичного чествования, которое произвело на меня глубокое, неизгладимое впечатление. Лундские студенты пригласили меня в свой старый университетский город и устроили в мою честь обед. Было произнесено множество речей, провозглашено немало тостов, а вечером решено было чествовать меня серенадой. Узнав об этом в одном семействе, где я находился в гостях, я пришел в неопишное волнение, перешедшее затем в настоящую лихорадку, когда я увидел в окно густую толпу студентов в голубых шапочках, направляющуюся к дому. Я чувствовал себя таким ничтожным, таким недостойным этого чествования, что оно просто подав-

ляло, уничтожало меня! Однако мне пришлось выйти к ним, и тут все обнажили головы. Я едва-едва удерживался от слез. Продолжая сознавать, насколько я был недостоин такой чести, я невольно искал на лицах окружающих иронические улыбки. Но, слава богу, вокруг были одни лишь приветливые и восторженные лица, не то подобная улыбка в такую минуту нанесла бы мне глубочайшую рану. Прогрело «ура!», и один из студентов обратился ко мне с речью; особенно живо запечатлелись у меня в памяти следующие его слова: «Когда вас станут чествовать на родине и в других странах Европы, вспомните, что первыми чествовали вас лундские студенты». В такие минуты не взвешиваешь своих слов, и я сказал им в ответ, что отныне всеми силами буду стараться прославить свое имя, чтобы оправдать это чествование. Затем я пожал руки ближайшим, поблагодарил их так горячо и сердечно, как только мог, и, вернувшись назад в комнату, забился в угол, чтобы выплакаться. «Ну, полно, полно! Не думайте больше об этом! Давайте веселиться!» — уговаривали меня мои шведские друзья. Да, им-то было весело, но в моей душе это событие затронуло самые сокровенные струны. Часто вспоминал я об этом вечере и надеюсь, что ни одна честная душа не сочтет с моей стороны проявлением тщеславия то, что я так подробно рассказываю о нем; скорее, это событие вытравило из моей души все зародыши высокомерия и тщеславия. Через неделю должно было состояться первое представление «Мулата» в Мальмё; лундские студенты решили отправиться на это представление, а я, чтобы не присутствовать на нем, как мог, торопился с отъездом из Швеции. С искренней признательностью и живейшим удовольствием всегда вспоминал я старый университетский Лунд, но ни разу больше не заезжал туда. Молодые восторженные чествователи разбрелись теперь по всей стране, пусть же дойдут до них мой привет и благодарность за эти незабвенные минуты!

Шведские газеты описывали выпавшие на мою долю почести, и датская газета «День» от 30 апреля 1840 года перепечатала отзыв шведской «Мальмё нюа аллеханда» об «Андерсене, удостоившемся самого лестного для него и всей датской нации приема со стороны лундских студентов». Вот что писал шведский автор статьи:

«Мы хорошо знаем, сколько резких, завистливых и пристрастных высказываний звучит в столице дружественной нам и соседней



страны в адрес одного из ее достойнейших сынов. Но теперь пора им смолкнуть: вся Европа кладет на чашу весов свое мнение, а им никогда еще не пренебрегали. Андерсен как поэт принадлежит не одной Дании, но всей Европе, и мы надеемся, что чествование, которого он удостоился со стороны молодых людей одного из южных университетов Швеции, поспособствует притуплению жал мелочности и завистливости, посредством коих на его собственной родине стараются превратить его лавровый венок в терновый. На прощание поднимем же и мы тост за дорогого нашему сердцу поэта и заверим его, что он всегда встретит в нашем отечестве, старой Швеции, истинное признание его таланта и дружественную приязнь».

Вернувшись в Копенгаген, я был обрадован проявлением искреннего участия и радости за меня со стороны некоторых из моих старейших испытанных друзей; я видел даже слезы на их глазах. Особенно же радовало их, по их собственным словам, мое отношение к оказанным мне почестям. Но разве же я мог относиться к ним как-то иначе? Я только радостно благодарил за них Бога и смиренно просил Его помочь мне стать воистину достойным их.

Некоторые, впрочем, подсмеивались над энтузиазмом моих чествователей и не прочь были свести все к шуткам. Так, Хейберг раз иронически сказал мне: «Надо будет попросить вас сопровождать меня в Швецию, когда я соберусь туда! Авось тогда и на мою долю выпадет малая толика славословий!» Мне эта шутка не понравилась, и я ответил: «Пусть вас сопровождает ваша супруга, тогда вы добьетесь их куда легче!»

Из Швеции летели только восторженные похвалы «Мулату», однако у нас начинали уже раздаваться голоса против него. Сюжет ведь был заимствован мною, так почему же я не указал на источник в печатном издании моей драмы? А вот почему. Я написал нужную ссылку на последней странице рукописи, но в наборе оказалось, что текст самой драмы занимает как раз весь последний лист до последней страницы; в типографии меня спросили, нельзя ли вовсе опустить эту ссылку. Я посоветовался с одним из наших писателей, и он нашел ссылку излишней, так как рассказ «Обломки» достаточно хорошо известен. Кроме того, и сам Хейберг, переработав в драматическую поэму «Эльфов» Тика, ни словом не обмолвился о своем знаменитом источнике. Однако меня решили поймать за руку.

Французский рассказ был внимательно перечитан, сличен с моей драмой, переведен на датский язык и передан редактору «Портфеля» с настоятельным требованием напечатать его. Редактор снесся сначала со мною, и я, конечно, сам попросил его напечатать перевод. Драма моя шла все с тем же успехом, но теперь критика стала, ссылаясь на французский рассказ, умалять значение моего труда. Между тем чересчур горячие похвалы, которые уже стяжала себе пьеса, сделали меня особенно чувствительным к такому несправедливому, по моему мнению, суду критики. И я тем менее мог примириться с ним, что, как я понимал, он был вызван, скорее всего, желанием насолить мне, опять втоптать меня в болото писательской посредственности, а вовсе не интересами искусства. Помимо критики, в развенчание «Мулата» внесли свою лепту и уже упомянутые мною «Обыкновенные истории»; в одной из новых новелл этого цикла ставился под сомнение успех спектакля и безжалостно высмеивалась моя идея о победе духа, которой проникнута вся пьеса, — она здесь названа «чепухой». Как известно, Й.Л.Хейберг приложил немалые усилия к изданию этого цикла; все сходилось во мнении, что написаны новеллы вполне в его духе, и, следовательно, автором их является кто-то из людей, достаточно близких ему. Известно, что во время премьеры драмы «Власть и коварство»\* на афишах имя Хейберга фигурировало в качестве автора пьесы, однако, когда оказалось, что особого успеха спектакль не имеет, Хейберг заявил, что пьеса принадлежит перу автора «Обыкновенных историй», к сочинениям которого она впоследствии и была отнесена. Исходя из этого, я считал, что упомянутый выпад в мой адрес либо исходит непосредственно от Хейберга, либо по крайней мере сделан с полного его одобрения. Чем дальше, тем все яснее мне становилось, что Хейберг меня не жалует, и это весьма меня огорчало. А я-то так тянулся к нему, не устаяя превозносить его талант, да и, кроме того, волею судеб мы вынуждены были постоянно встречаться, ибо возвращались в одних и тех же кругах. Я так искренне тянулся к нему, не забывая при этом о скромности — ведь он же был в Дании звездой первой величины, — и что же?! Он раз за разом, мягко говоря, холодно отталкивал меня. Правда, я стал весьма ранимым и подо-

---

\* 13 января 1832 года. (Прим. автора).

зрительным: каждое неосторожно брошенное в свой адрес слово рассматривал чуть ли не под микроскопом, так что, возможно, я был не совсем прав. Восхищение, которое окружающие питали по отношению к Хейбергу как поэту и знатоку литературы, не могло не сказываться на отношении ко мне. Это выводило меня из себя, ибо, как я полагал, сравнивая нас, никто не делал выбора в мою пользу. При этом с моей стороны речь не шла ни о зависти, ни о тщеславии — нет, для меня это была кровоточащая рана, поскольку выходило так, что все восхищаются и цитируют лишь моих недругов.

Впрочем, прочность и гибкость моей натуры помогли мне скоро оправиться; как раз в это время у меня возникла идея «Книги картин без картинок». Я развил и воплотил ее в жизнь, в результате чего получилась маленькая книжка, которая, однако, изо всех моих книг, включая сюда даже сказки, имела наибольший успех и невероятно широкое распространение, если судить по многочисленным откликам и переизданиям ее в Германии.

Один из критиков, первым высказавшийся о ней, писал: «Многие из этих картинок представляют материал для рассказов и новелл, а человек с богатой фантазией найдет в них материал даже для романов». И действительно, впоследствии талантливая госпожа фон Гёрен дебютировала романом «Воспитанница», сюжет которого она, по собственному признанию, почерпнула из третьего вечера моей «Книги картин без картинок».

В Швеции также не замедлил появиться перевод этой книжки; в ней только был прибавлен один вечер, в котором говорилось о том, что перевод посвящается мне. У нас же в Дании она не обратила на себя особого внимания, и, насколько мне помнится, один лишь господин Сиесбю, редактор «Копенгагенской утренней газеты», посвятил ей несколько одобрительных строк.

В Англии было сделано несколько переводов, и английская критика превозносила мою книжку, называя ее «Илиадой в ореховой скорлупе»! Затем я получил из Англии пробный экземпляр роскошного издания этой книжки; беда только, что «Книга картин без картинок», как позже и в Германии, были изданы с иллюстрациями!

У нас же все продолжали обсуждать «Мулата», правда, довольно однобоко, упирая главным образом на то, что сюжет его заимствован. Но ведь и Эленслегер заимствовал сюжет для своего

«Аладдина» из «Тысячи и одной ночи», а Хейберг — сюжет для своих «Эльфов» из сказок Тика, но об этом как-то умалчивали. Тика мало кто знал, да и Хейберга критиковать тогда было не принято.

Вечные напоминания о том, что я не способен сам придумать сюжет для своих произведений, заставили меня задаться этой целью, и я написал трагедию «Мавританка». Этим я намеревался заставить замолчать упомянутых недоброжелателей и наконец завоевать себе место среди писателей-драматургов. Кроме того, я надеялся, что доход с этой пьесы в соединении со скопленной мною небольшой суммой из гонорара за «Мулата» даст мне возможность еще раз съездить за границу и побывать не только снова в Италии, но и в Греции, и в Турции. Мое первое путешествие имело ведь такие благие последствия для моего духовного развития; это было признано всеми, да я и сам сознавал, что жизнь и широкий мир людей — лучшая школа для меня. Я сгорал от желания путешествовать, жаждал снова черпать из великой книги природы, узнать побольше людей. Душой и сердцем я был еще совсем юн.

Но Хейбергу, бывшему тогда цензором Королевского театра, «Мавританка» не понравилась, он ведь вообще был невысокого мнения обо мне как о писателе-драматурге. А госпожа Хейберг, которой я предназначал главную роль, наотрез отказалась участвовать в спектакле. Между тем я знал, что в этом случае пьеса не будет иметь успеха, ибо публика не захочет смотреть спектакли без ее участия, и тогда прощай все мои надежды на путешествие! Я высказал это госпоже Хейберг, стараясь склонить ее переменить свое решение; при этом я и мысли не допускал, что она поступает так из соображений высшего порядка, направленных на благо искусства. Она отказала мне, при этом не особенно церемонясь. Я был глубоко уязвлен и не утерпел, чтобы не посетовать на нее в разговорах с разными лицами. Быть может, жалобы мои как-то переиначили, а может быть, и сам факт, что я осмелился жаловаться на любимицу публики, показался Хейбергу преступлением, но, так или иначе, он с тех пор в течение целого ряда лет (теперь, я надеюсь, дело обстоит иначе) оставался моим постоянным недоброжелателем. Разумеется, он преследовал меня только в мелочах, настоящим, достойным соперником себе он — да и вся датская публика — меня ведь не признавал. Свое неудовольствие он дал мне почувствовать весьма скоро, госпожа

Хейберг, напротив, никогда. И если я здесь и рассказываю, что она однажды обидела меня, то считаю своим долгом во избежание каких-либо недоразумений тут же высказать, что всегда относился к ней с живейшей симпатией, считаю ее актрисой первой величины, которая могла бы стяжать себе европейскую известность, будь датский язык столь же распространен, как немецкий или французский. Ум и гениальное актерское мастерство делали каждую из сыгранных ею трагедийных ролей в высшей степени интересной; бесподобно жизненны и естественны были и созданные ею комедийные образы. Впоследствии я научился ценить в ней и прекрасную и благороднейшую женщину, относившуюся ко мне с сердечным участием. Но возвращусь к моему тогдашнему настроению.

Прав я был или не прав — не знаю; впрочем, несомненно одно: партия моих недоброжелателей была сильна, публика также меня не поддерживала, я чувствовал себя недооцененным и оскорбленным. Не было недостатка и в прочих неприятностях. Мне было крайне неуютно на родине; не в силах сносить свалившиеся на меня невзгоды, я чуть было не захворал. В конце концов я махнул рукой на свою пьесу; все мои мысли и стремления были сосредоточены на том, как бы поскорее выбраться отсюда. И вот как раз в эту пору я написал к «Мавританке» предисловие, в котором, разумеется, отразилось мое болезненное состояние. Конечно, из него сразу же сделали пошмище! Если бы целью моей было описать расстановку сил в творческой элите общества, мне пришлось бы здесь раскрыть великое множество тайн, нарисовать портреты отдельных личностей, чьи взгляды не укладывались в общепринятые, и т.д. Лишь тогда все сказанное мною стало бы ясно и понятно. Многие на моем месте действительно заболели бы или же вышли из себя и разразились гневом праведным — причем, скорее всего, последнее было наиболее вероятным. Самым же лучшим выходом из ситуации — и об этом в один голос твердили все мои друзья — было поскорее уехать отсюда.

«Соберитесь с духом и поскорее уезжайте от всех этих передряг! — писал мне из Нюсё Торвальдсен. — Надеюсь встретиться с Вами здесь или в Риме». «Ради бога, уезжайте!» — советовали мне все добрые друзья, понимавшие, как я страдаю. Эрстед и Коллин также укрепляли меня в моем намерении уехать, а Эленшлегер даже прислал прощальное напутствие в стихах:

Как Клейст говаривал, мудрец:  
 Поэт, мол, образов ловец.  
 Теперь таков же и твой обычай:  
 Ты едешь в Грецию за добычей,  
 Надеюсь, что не вернешься без  
 Ее земли, воды и небес  
 И впрок сумеешь набить чулан!  
 Но, помни, ты ведь из датчан!  
 И коль варягом пустился в путь,  
 И там, и здесь ты варягом будь,  
 И в битве стой, как можешь, твердо,  
 Но — не за князя Мюклегорда!  
 Венок поэту стяжает дело  
 Не то, в котором побеждает тело,  
 Но бой духовный за искусство —  
 За тонкий вкус и прекрасные чувства.  
 Так покажи, на что ты гожд,  
 И песней радость приумножь!

Мой друг, поэт Х.П.Хольст, также собирался тогда за границу. Написанное им стихотворение «Отчизна, что ты потеряла!» было у всех на устах: всего в нескольких безыскусных, идущих от сердца строках оно выражало то, что чувствовал в эту пору едва ли не каждый. Смерть Фредерика VI повергла страну в траур — для многих она стала поистине личной трагедией. Простые, искренние, красивые слова баллады наилучшим образом передавали всеобщее настроение. В мгновение ока Хольст стал всеобщим любимцем. Ему крупно повезло — легко, без каких-либо посторонних протекций он выхлопотал себе стипендию на поездку. Поверьте, что, рассказывая об этом, я вовсе не испытываю ни горечи, ни зависти к нему. Так вот, перед отъездом друзья из «Студенческого общества» решили организовать в его честь прощальный обед. Это послужило поводом к тому, что некоторые мои молодые знакомые вознамерились удостоить и меня той же чести. На обеде помимо студентов собрались и мои старые друзья, в том числе издатель Рейцель, конференц-советник Коллин, Адам Эленшлегер и Х.К.Эрстед. Эта встреча явилась настоящим лучом света, озарившим беспросветный мрак, окружавший несчастного поэта. Мы вместе пели песни Эленшлегера

и Хиллерупа, сердечность и сочувствие друзей несколько смягчили горькие чувства, увозимые мною с родины. Было это в октябре 1840 года. Я намеревался вторично посетить Италию, а оттуда переехать в Грецию и в Константинополь. О впечатлениях от этого путешествия я рассказываю в «Базаре поэта».

Перед началом самой поездки я провел несколько дней в Гольштейне, в имении графа Ранцау-Брайтенбурга, впервые наслаждаясь роскошной голштинской природой с ее степями и полями. Несмотря на позднюю осень, погода стояла прекрасная, и в один из таких чудных дней мы побывали на расположенном по соседству Мюнстердорфском кладбище, где похоронен автор «Зигфрида фон Линденберга». Мюллера по прозвищу «Мюллер из Итцехо», написавшего так называемые «Komische Romane aus den Papieren des braunen Mannes»\*, называли самым читаемым романистом Германии прошлого века. К старости же он был почти забыт современниками и лишь благодаря королю Дании, выплачивавшему ему пенсию вплоть до самой смерти (23 июня 1828 года), мог хоть как-то жить и — страдать, ибо принадлежал к числу, как у нас выражаются, «чувствительных натур».

От Магдебурга до Лейпцига только что была проведена железная дорога, и мне довелось впервые увидеть ее и проехать по ней. В «Базаре поэта» я попытался передать то сильное впечатление, которое произвела на меня эта поездка-полет.

В Лейпциге жил тогда Мендельсон-Бартольди; я должен был навестить его. За год перед тем дочь Коллина и муж ее Дреусен привезли мне поклон от Мендельсона, с которым встретились на пароходе на Рейне. Узнав о присутствии на судне знаменитого и столь любимого ими композитора, они заговорили с ним, а он, услышав, что они датчане, первым делом спросил, не знают ли они поэта Андерсена. «Он мне почти как брат!» — ответила госпожа Дреусен; тем самым найдена была общая тема для разговора. Мендельсон сказал, что ему во время болезни читали вслух роман «Всего лишь скрипач», который ему чрезвычайно понравился и пробудил интерес к самому писателю. Вот он и попросил их передать мне его сердечный привет и приглашение непременно побывать у него, когда мне

---

\* «Комические романы из записок загорелого человека» (нем.).

случится проезжать через Лейпциг. Теперь я наконец приехал сюда, правда, лишь на один день, поэтому я немедленно пустился разыскивать Мендельсона. Он был на репетиции в «Гевандхаусе». Я не назвал своего имени, а просто велел сказать ему, что его непременно желает видеть один приезжий. Он вышел сердитый, так как его оторвали от работы. «У меня очень мало времени, и я, собственно, не могу сейчас беседовать с иностранцами!» — сказал он мне. «Вы приглашали меня к себе, и я не мог проехать через ваш город, не посетив вас!» — ответил я. «Андерсен! — воскликнул он. — Так это вы!» И лицо его просияло. Он обнял меня, повел в зал и оставил слушать репетицию Седьмой симфонии Бетховена. Мендельсон непременно желал оставить меня у себя обедать, но я уже был приглашен к своему старому другу Брокгаузу, а сразу же после обеда отходил дилижанс, с которым я должен был отправиться в Нюрнберг. Тогда Мендельсон взял с меня слово провести у него несколько дней на обратном пути. Впоследствии я сдержал данное мною обещание. Теперь же, протянув мне листок и перо, Мендельсон попросил что-нибудь оставить ему на прощание, и я написал:

И зазвучал орган в церковном зале,  
 Был Феликсом младенец наречен.  
 Да, он «Счастливый» — ангелы сказали, —  
 Ему музы́ки царский жезл вручен.

В Нюрнберге я в первый раз увидел дагеротипные снимки; говорили, что их делают за десять минут, и это показалось мне настоящим чудом; в то время искусство это только что было открыто, и ему далеко еще было до того развития, какого оно достигло в наши дни. Дагеротип и железная дорога — с этими двумя важными открытиями века познакомился я в это мое путешествие. Из Нюрнберга я помчался по железной дороге в Мюнхен к старым друзьям и знакомым.

Здесь в ту пору собралось немало моих соотечественников: Блунк, Киллеруп, Вегенер, известный своими зарисовками животного мира художник Хольм, Марстранд, Сторк, Хольбек, а также поэт Хольст, с которым мне предстояло ехать дальше в Италию. Вместе с ним мы провели в Мюнхене несколько недель, в течение которых он относился ко мне в высшей степени по-товарищески —



с неизменным вниманием и участием. Вместе мы пару раз сходили в артистическое кафе — баварский аналог того, что мне довелось повидать в Риме. Вместо вина здесь, однако, подавали пиво, которое лилось прямо-таки рекой, да и неистовое веселье, царящее в этом заведении, было мне не по вкусу. Ни к кому из соотечественников меня особо не тянуло, тем более что их оценка моего творчества ничем не отличалась от мнения копенгагенской публики. К Хольсту же, напротив, они относились вполне благожелательно, так что по большей части я оказался предоставлен самому себе, иногда наслаждаясь прогулками, но чаще всего пребывая в унынии и сомнениях относительно силы своего творческого дарования. Поистине я обладал каким-то талантом находить в жизни все новые и новые невзгоды, вкушать все самые горькие ее плоды и при этом изводить самого себя болезненным самокопанием.

В Мюнхене я провел около двух недель, и если земляки мои не особенно интересовались мною, то я с лихвой вознагражден был здесь вниманием иностранцев. «Импровизатор» и «Всего лишь скрипач» были известны многим; знаменитый портретист Штилер отыскал меня, открыл мне двери своего дома, и я встретился у него с Корнелиусом, Лахнером и Шеллингом, которого уже знал. Скоро у меня образовался порядочный круг знакомств. Директор Мюнхенского театра, узнав о моем пребывании здесь, предоставил мне постоянное место в партере, рядом с Тальбергом. В «Базаре поэта» я рассказываю о моем визите к знаменитому живописцу Каульбаху, которого другие художники ставили тогда так низко; теперь-то он оценен по достоинству. Я видел у него картоны «Разрушения Иерусалима», эскизы для «Битвы гуннов» и чудесные рисунки к «Рейнеке Лису» и «Фаусту».

С нетерпением ожидал я тот момент, когда мы с Х.П.Хольстом отправимся наконец в Италию. Радуюсь, как ребенок, я предвкушал, как познакомя его со всем великолепием этой чудесной страны. Однако наши земляки — в особенности Блунк и Сторк — ни за что не хотели отпускать его из Мюнхена. То он вынужден был дожидаться, пока закончат писать его портрет, то задержка объяснялась другими причинами; однако когда выяснилось, что он и сам затрудняется назвать дату нашего отъезда, я вынужден был двинуться в путь в одиночестве, лишив себя удовольствия насладиться

компанией собрата по перу по дороге в горячо любимую мною страну, которую я считал колыбелью искусства. Впрочем, мы условились, что когда Хольст попадет в Рим, он поселится у меня, а затем мы вместе отправимся в Неаполь.

2 декабря я уехал из Мюнхена и через Тироль, Инсбрук и Brenner направился в Италию, страну моих грез и пламенных мечтаний. И так, мне суждено было увидеть ее опять вопреки ожиданиям моих земляков, говоривших, что «другой такой случай мне вряд ли представится». Переполюнявшая меня радость на какое-то время даже вытеснила все угнетавшие меня скорбные мысли, и я от всей души воззвал к Господу, моля даровать мне здоровье и духовные силы на избранной мною стезе поэта.

19 декабря я прибыл в Рим; картины и события этого путешествия я запечатлел в «Базаре поэта». Сразу же в день приезда я снял на улице Пурификационе квартиру, точнее, целый этаж у весьма приятных людей — в расчете на себя и Хольста, который обещал приехать вслед за мной.

Дни, однако, шли за днями, а его все не было и не было. Я в одиночестве слонялся по огромной пустой квартире, обошедшей мне, впрочем, весьма дешево, ибо приезжих той зимой в Риме было мало — погода стояла отвратительная и в городе свирепствовала лихорадка.

К снятой мною квартире прилегал небольшой садик с огромным апельсиновым деревом, сгибавшимся под тяжестью плодов. Из-за стены сада, увитой роскошным цветущим шиповником, доносились песнопения монахов. Оказывается, там был монастырь капуцинов — точно такой же, в котором прошло детство героя моего «Импровизатора».

И опять ходил я по церквям и картинным галереям, снова созерцал сокровища искусства. Свиделся я и со старыми друзьями и вторично встретил Рождество в Риме, хотя на этот раз сочельник вышел и не таким веселым. Снова я наблюдал карнавал с последующим праздником «мокколи», но и сам я чувствовал себя не вполне здоровым, и в воздухе не было того покоя и свежести, какими я наслаждался в первый свой приезд сюда, словом — все было не то. Вдобавок об эту пору как раз случилось землетрясение: земля дрожала, волны Тибра хлынули на улицы, по которым теперь приходилось передвигаться на лодках. Лихорадка уносила множество жизней, князь Боргезе в течение нескольких дней потерял жену и троих сыновей. Погода бы-

ла отвратительной: порывы ветра приносили то снег, то дождь. Большинство вечеров я проводил в своей огромной пустой квартире; из окон и дверей немилосердно дуло. Пламя, пылавшее в камине, не в состоянии было обогреть все жилище, и по мере того, как один мой бок жарился у огня, другой отчаянно мерз. Мне приходилось и в доме кутаться в плащ и надевать теплые дорожные сапоги. В довершение всего меня целые недели по ночам донимала жуткая зубная боль — такая, какую я описываю в своей сказке «Мои сапоги».

Незадолго до карнавала, в феврале, в Рим прибыл наконец Хольст. Приезд его стал для меня истинным счастьем: я нуждался в добром, участливом товарище, так как был болен и душою, и телом. Такое болезненное состояние часто заставляет всплывать со дна души старые горькие воспоминания. Я облакал их в стихотворную форму, однако помню далеко не все, что сочинил тогда:

Ей сердце и душу я отдал на век —  
Она лишь сказала: «Добряк человек!»  
Увы! Красотой я не вышел!

В минуту тяжелую друг мой собрал  
Житейского яда все капли в бокал  
И подал мне: «Пей на здоровье!»

Стихи мои прямо из сердца лились,  
Но умные критики живо нашлись:  
«Ах, все перепевы из Гейне!»\*

На улице по-прежнему стояли сырость и слякоть. Со временем стали приходиться письма из Дании — почти такого же рода, как и те, что я получал в первое свое пребывание в Риме. Вести были все невеселые. «Мавританка» шла несколько раз, но, как я и предвидел, из-за отказа от главной роли госпожи Хейберг пьеса не делала сборов и скоро была снята с репертуара. Гонорары за спектакли также были невелики, ибо пьеса длилась по времени менее трех часов и поэтому не считалась по новым правилам «вечерним спектаклем». Одному из моих земляков даже написали, что «Мавританку» освистали, чего на самом деле вовсе не было. Но прежде чем я успел узнать

\* Перевод А. и П. Ганzenов.

правду, неприятное известие уже сделало свое дело — расстроило меня. Впоследствии я узнал, что в действительности пьеса была принята хорошо, только, как уже говорилось, не делала сборов. Госпожа Хольст, исполнявшая главную роль, играла превосходно и с душой, музыка, написанная к пьесе Хартманном, вписывалась весьма удачно, но декорации — уродливые и безвкусные — из рук вон плохи, благодаря чему драматические события в Альгамбре выглядели смешными и нелепыми, что не замедлило отнестись к числу промахов автора. Фистер же в роли Лазарона поистине творил чудеса и был настолько комично естественен, что зал покатывался от хохота.

Однако самым худшим явилось известие, что Хейберг снова принялся за меня. Этот копенгагенский царь и бог датской литературы недавно выпустил новое сочинение, которое занимало теперь умы всей читающей публики страны. Называлось оно «Душа после смерти», и в нем, как значилось в письме, полученном одним из моих соотечественников, «Андерсена изрядно поливают». Даже один из моих друзей не поленился написать мне, чтобы сообщить: книжка вышла превосходной, и в ней меня поднимают на смех. И это все, что мне удавалось узнать или услышать, — никто так и не удосужился объяснить, в чем же именно состояла сатира на меня, за что меня высмеивали, над чем издевались. «Андерсена изрядно поливают!» — и ни слова более. А ведь вдвойне тяжело ощущать себя предметом насмешек, если толком не знаешь, что же именно в тебе осмеивают. Подобные известия похожи были на капли раскаленного свинца, попавшие на мои незаживающие раны. Книгу Хейберга я смог прочесть лишь по возвращении в Копенгаген, и оказалось, что в ней нет ровно ничего такого, из-за чего мне стоило бы особенно огорчаться. Хейберг только подшучивал над тем, что моя слава гремит от «Сконе до Хундсрюка», т.е. почти на таком же пространстве, которым ограничивались собственные заграничные поездки Хейберга. Как раз это ему и не понравилось, вот он и низверг меня в ад! Саму поэму я нашел прекрасной и даже хотел было сейчас же высказать это в письме к Хейбергу, но на другое утро раздумал, опасаясь, что он может понять меня неправильно. Что же касается того, что в поэме выведена моя персона, то многие, слышавшие чтение поэмы самим автором, утверждают, что в начальном варианте

меня в ней не было. Видимо, уже позднее Хейберг обиделся на меня за что-то и вывел в комическом свете.

Будучи в Риме, я еще толком не знал содержания книги; можно сказать, я слышал свист отравленных стрел, однако яд их меня не коснулся.

Как бы там ни было, но мое вторичное посещение Рима оказалось отравлено; мне даже стало казаться, что этот великий город, который я искренне любил и куда столь многое манило и привлекло меня, стал приносить мне одни несчастья. Одни горькие и унылые дни сменялись другими; вовсе не похожи они были на счастливые времена моего первого визита сюда в 1833 году. Я чувствовал себя совершенно больным и не чаял, когда же наконец уеду отсюда.

Незадолго до карнавала приехал Хольст, а с ним наш общий друг Конрад Роте — ныне священник церкви Девы Марии; все троим мы отправились в Неаполь. Среди покидающих Рим иностранцев бытует поверье: если хочешь вернуться сюда, следует вечером накануне отъезда испить воды из фонтана дель Треви. Когда я уезжал из города в первый раз, что-то помешало мне исполнить ритуал, и это не давало мне уснуть всю ночь. Наутро явился посыльный, чтобы помочь мне донести вещи; я последовал за ним, и вдруг мы очутились прямо перед фонтаном. Я погрузил пальцы в его воду, затем поднес их ко рту и подумал: «И все же я вернусь сюда!» — и вернулся. Теперь же я и не вспоминал об этой примете. Внезапно наш дилижанс свернул с иль Корсо — нам надо было забрать какую-то особу духовного звания из монастыря — и остановился прямо у фонтана дель Треви. И точно — мне довелось побывать в Риме и в третий раз. Духовной особой оказался монастырский капельмейстер — веселый человек, который, как только мы достигли Альбано, переделся в мирское платье. Он оказался весьма обходительным господином и всю дорогу развлекал нас забавными песенками. Х.П.Хольст упоминает о нашем знакомстве с ним в своих «Итальянских зарисовках».

В Неаполе оказалось холодно; Везувий и все горы кругом были покрыты снегом; меня продолжала трепать лихорадка; зубная боль не унималась несколько недель и довела меня до нервного состояния. Но я все-таки крепился и последовал вместе с земляками в Геркуланум; пока они бродили по раскопкам, я, однако, сидел в гостинице — у меня опять был приступ лихорадки. Затем мы хотели от-

правиться в Помпею, да, к счастью, перепутали поезда и приехали назад в Неаполь. Я вернулся уже окончательно больным, и только благодаря немедленной помощи в виде кровопускания, на котором настоял мой заботливый хозяин, избежал смерти. Через неделю я уже совсем оправился и отплыл на французском военном корабле «Леонид» в Грецию. С берега нас провожали криками «E viva la giola!»\*. Да, знать бы еще, как поймать ее, радость эту!

Я чувствовал, что жизнь моя теперь должна как-то измениться; так оно и случилось. Если это путешествие и не отразилось целиком в каком-либо из последующих моих произведений, то все же оно наложило отпечаток на все мое мировоззрение и духовное развитие. Я покинул Неаполь вечером 15 марта; мне казалось, будто я тем самым отрываюсь от всех моих друзей да и вообще от своей европейской родины; на душе было легко, между настоящим и всеми горькими воспоминаниями как будто легла полоса забвения; я опять был бодр душой и телом, смело и уверенно глядел вперед.

Неаполь был залит солнечными лучами, а Везувий до самой хижины отшельника окутывали облака. На море царил мертвый штиль. Ночью меня позвали на палубу полюбоваться изрыгающим пламя Стромболи; водная гладь блестела, отражая огонь. Утром мы миновали Харибду, полюбовались ревушим прибором у Сциллы, видели низкие утесы Сицилии и дымящуюся, покрытую снегом Этну.

Об этом нашем плавании вдоль побережья я подробнее рассказываю в «Базаре поэта». Там же я описываю короткое пребывание на Мальте, чудесные ночи и дни, проведенные нами на спокойной глади Средиземного моря. По ночам морская зыбь озарялась роскошным сиянием тысяч звезд. Свет их был столь необычно ярок, что предметы в нем отбрасывали тени, Венера сверкала на здешнем небе не хуже, чем у нас луна; в море резвились огромные дельфины. В салонах корабля жизнь была ключом; здесь собралось замечательное общество. Мы музицировали, пели, танцевали, играли в карты и вели оживленные беседы. Кого здесь только не было: американцы, итальянцы, азиаты, епископы и монахи, офицеры и туристы. Эти несколько дней, проведенные на корабле, сблизили нас настолько, что я чувствовал себя здесь как дома и был весьма опечален, когда у острова Сирос,

---

\* «Да здравствует радость!» (итал.)

расположенного на пересечении морских путей из Марсея в Константинополь, мне пришлось пересест с «Леонида» на корабль, следовавший из Египта в Пирей. Я был чуть ли не единственным, покидавшим судно, — кроме меня сошел еще один пассажир из Герата.

Раскинувшийся на острове город напоминал скорее палаточный лагерь из-за натянутых между домами огромных полотнищ, с помощью которых местные жители защищались от палящих солнечных лучей. Все побережье было окрашено в белый и красный цвета из-за толпы греков, одетых в национальные наряды — красные куртки и белые фостанеллы. Греческий пароход, ходивший отсюда в Пирей, встал на ремонт, но мне удалось добыть место на только что прибывшем из Александрии корабле, направлявшемся туда же. По приходу в Пирей нам предстояло провести пару дней в карантине. Впрочем, тех, кого интересуют подробности путешествия, я отсылаю к своему «Базару поэта», где я попытался воссоздать целый ряд замечательных картин; а сейчас — двинемся дальше.

Едва мы бросили якорь близ Пирея, где должны были выждать карантин, как с берега к кораблю подплыли на лодке несколько моих земляков и немцев. Они узнали из «Альгемайне цайтунг» о моем прибытии и непременно хотели поприветствовать меня хотя бы издали. Когда же карантин был снят, они доставили меня в Пирей, откуда в сопровождении греческого слуги в национальном наряде я по чудесной оливковой роще покати́л в Афины — к Ликабетту и Акрополю, которые давно уже созерцал на расстоянии.

Голландский консул в Афинах Траверс был одновременно и консулом Дании и даже говорил по-датски. Познакомился я и с голштинским пастором Лютом, женатым на молодой датчанке из Фреденсборга, который поведал мне, что выучил датский язык, читая в оригинале моего «Импровизатора». Среди прочих моих новых друзей были датчане Кёппен и архитекторы братья Хансен, а также профессор Росс из Гольштейна. В столице греческого королевства всюду зазвучала датская речь, раздавались залпы шампанского в мою честь и в честь Дании.

В Афинах я провел месяц. Друзья хотели отпраздновать день моего рождения — 2 апреля — на Парнасе, однако внезапно повеяло зимой, выпало много снега, и праздник нам пришлось справлять на Акрополе. Кроме уже перечисленных мною особ, в Афинах я свел весьма близкое знакомство еще с одним в высшей степени ин-

тересным человеком — австрийским послом в Греции Прокеш Остенем, известным своими книгами воспоминаний «Египет и Малая Азия» и «Его путешествие в Святую землю».

Консул Траверс представил меня королевской чете. В новых впечатлениях недостатка не было: я побывал на интереснейших экскурсиях, посмотрел, как отмечают в Греции Пасху и Праздник независимости; воспоминания об этом я также попытался отразить в «Базаре поэта».

Глазам моим открывались картины греческой природы, напоминавшей швейцарскую; небо здесь было еще яснее, еще выше, чем в Италии; все это производило на меня глубокое впечатление, будило серьезные мысли. Передо мною как будто раскинулось гигантское поле брани, на котором сражались и погибали целые народы. Впечатления были так величественны и богаты, что передать их в каком-нибудь отдельном произведении было бы невозможно. Здесь ведь каждое высохшее русло реки, каждый холм, каждый камень говорили о великих событиях — какими же мелкими и ничтожными казались по сравнению с этим все обыденные житейские невзгоды! Голова моя была так переполнена идеями и образами, что я не мог написать ни строчки. Зато здесь у меня родился сюжет, который я долго искал. Мне уже давно хотелось высказать в каком-нибудь произведении одну мысль — что все божественное обречено также и на борьбу земную, но, презираемое и унижаемое веками, оно в конце концов все-таки торжествует. Я загорелся желанием высказать эту мысль и нашел подходящий сюжет в легенде о Вечном жиде. Его образ представлялся мне всегда олицетворением истины, а благодаря этой новой идее можно было создать произведение, принципиально отличающееся от всех прежних обработок этого сюжета авторами, которые не в пример Гёте, как он признается в «Поэзии и правде», все же решались на это. К числу их относятся немец Мозен, голландец тен Кате, француз Эжен Сю, а у нас — Ингеманн. Кроме того, небольшие произведения на эту тему мы находим у Шубарта, Ленау, Карла Витте, Палудана-Мюллера и проч. Замысел написать такое произведение занимал меня уже в течение нескольких лет, но все никак не удавалось осуществить его. Со мной происходило то же, что, говорят, часто бывает с кладонискателями: кажется, что еще немного — и ты схватишь клад, — глядь, а сокровище ушло в землю еще глубже! Я стал на-



конец отчаиваться, что когда-либо справлюсь с этой задачей, требующей приобретения массы самых разнообразных познаний.

В то время критика, по своему обыкновению, твердила о моем невежестве и нежелании учиться. Я же как раз учился, и при этом весьма прилежно. Но каждый подразумевает под словом «учиться» свое. Так, от одной наставлявшей меня дамы я услышал однажды такой совет: «Ведь у вас нет никаких познаний в мифологии! Ни в одном из ваших стихотворений не является ни одного бога, ни одной богини. Вам непременно надо изучить мифологию! Читайте же Корнеля и Расина!»

Наконец у меня накопилось довольно много подготовительного материала, и вот тут-то, в Афинах, я и разобрался в нем и начал своего «Агасфера». Вскоре, впрочем, я отложил его в сторону, однако желание продолжать работу у меня не проходило, и я пытался утешиться мыслью, что и с детьми творческого гения бывает то же, что с обыкновенными человеческими детьми: пока спят, они растут.

21 апреля я отплыл из Пирея к Сиросу, а оттуда на французском пароходе «Рамзес», пришедшем из Марселя, отправился в Константинополь. В Архипелаге мы выдержали страшную бурю; я уже подумывал о кораблекрушении и смерти, а когда окончательно проникся убеждением в их неминуемости, мгновенно успокоился, лег на койку и заснул под стоны и вопли пассажиров, перемежающиеся скрипом и визгом снастей. Когда я проснулся, оказалось, что мы благополучно прибыли в Смирнскую бухту. Перед глазами моими лежала другая часть света. Готовясь ступить на ее почву, я ощущал в душе такое же благоговение, с каким переступал, бывало, ребенком за ограду церкви Св. Кнуда в Оденсе. Я думал об Иисусе Христе, чья кровь пролилась на этой земле, о Гомере, бессмертные песни которого разнеслись отсюда по всему свету. Глядя на азиатский берег, я как будто внимал проповеди, подобной которой мне еще ни разу не доводилось слышать в стенах церкви.

Смирна имела издали очень величавый вид благодаря островерхим красным крышам и минаретам; улицы же в ней были такие же узенькие, как в Венеции; когда по ним пробегал страус или верблюд, пешеходы, пытаясь уступить им дорогу, заходили в открытые двери домов. На улицах были толпы народа: турчанки с закрытыми лицами, так что видны были одни глаза и основание носа, евреи и американцы в белых и черных шляпах, некоторые из которых по форме

напоминали перевернутые ютландские горшки. Перед домами консулов реяли флаги соответствующих стран, а в порту пускал кольца дыма пароход под зеленым турецким стягом с полумесяцем.

Вечером мы оставили Смирну. Над Троянской равниной с курганом Ахилла стояла только что народившаяся луна. В шесть часов утра мы вошли в пролив Дарданеллы. На европейской его стороне видны были красные крыши домов, ветряные мельницы и красивая крепость; крепость на азиатском берегу была значительно меньше. Пролив, разделявший две части света, показался мне не шире, чем Зунд между Хельсингёром и Хельсингборгом; капитан наш сказал, что ширина его  $2\frac{3}{4}$  лье. Городок Галлиполи у выхода в Мраморное море по виду напоминал наши северные города: такие же старые дома с фонарями и деревянными балконами, такие же прибрежные утесы — невысокие, но абсолютно голые и имевшие довольно устрашающий вид. Море здесь было беспокойным, началась сильная качка, а к вечеру хлынул дождь — настоящая скандинавская погода. Наутро же нашим взорам предстал величественный Константинополь — здешняя Венеция, как будто вознесенная из морских глубин силой человеческой фантазии. То здесь, то там виднелись мечети, одна прекраснее другой, прямо перед нами, освещенное множеством огней, из предрассветного тумана выплыло здание серая. Выглянувшее наконец солнце осветило азиатский берег. Первые увиденные нами кипарисовые рощи, окружавшие высокие минареты, являли собой замечательное зрелище. Наше судно окружило великое множество раскачивающихся на волнах лодок; кругом стояли шум и гвалт — предприимчивые турки привезли вещи на продажу.

В Константинополе я провел одиннадцать интереснейших дней. Датский посол, барон Хюбш, пригласил меня погостить у него в имении, расположенном в нескольких милях от города, но я предпочел остаться в столице, вверив себя заботам нашего консула итальянца Романи. Мое обычное счастье туриста не покидало меня и тут; как раз во время моего пребывания здесь праздновался день рождения Магомета (4 мая). Я видел шествие султана в мечеть, войсковой парад, пестрые, празднично разодетые толпы народа, заполнившие улицы, и блестящую иллюминацию вечером. Все минареты были унизаны огоньками; над городом как будто повисла сеть из разноцветных фонариков, по яркости своей соперничающих со звезда-

ми, все корабли и лодки резко выделялись во мраке огненными контурами. Вечер был чудный, звездный; гора Олим на малоазийском берегу была озарена багровыми лучами заходящего солнца; такой волшебной, фантастической картины я еще не видывал!

Меня прекрасно принимали у греческого посла Христидеса, к которому у меня были рекомендательные письма из Афин, а также у австрийского посланника барона Штюрмера. Кстати, в доме этого в высшей степени достойного человека собиралось немало немцев, среди которых я завязал множество знакомств.

Вернуться домой мне хотелось через Черное море и Дунай, но часть Румынии и Болгария были объаты восстанием, и говорили, что христиан убивают тысячами. Все прочие туристы, товарищи мои по отелю, отказались от подобного плана путешествия и советовали мне последовать их примеру — вернуться опять через Грецию и Италию. Я колебался. Я не принадлежу к числу храбрецов; мне это часто говорили, да я и сам сознаю это, но должен все-таки оговориться, что трушу обыкновенно в пустыках. Когда же дело доходит до серьезного или когда обстоятельства действительно того требуют, во мне просыпается настойчивость, воля, которая преодолевает все. С годами она крепнет все больше. Я дрожу, боюсь и в то же время делаю то, что признаю в данную минуту должным. И я полагаю, что если человек, трусливый от природы, делает все от него зависящее, чтобы преодолеть свою слабость, ему нечего стыдиться.

Мне крайне хотелось проехать в глубь страны и увидеть берега Дуная, где в то время побывало не так уж много иностранцев. Итак, я не знал, на что решиться, фантазия рисовала мне всевозможные ужасы, я провел тяжелую бессонную ночь, а утром пошел к барону Штюрмеру и спросил его совета. Он полагал, что особенного риска нет и я могу ехать, тем более что тою же дорогою отправляются с депешами в Вену двое его офицеров, — я вполне могу рассчитывать на их помощь и защиту. С этой минуты решение было принято, всякий страх и тревоги оставили меня; я препоручил себя Всевышнему и успокоился.

Вечером четвертого мая я взошел на борт судна, пришвартованного в бухте неподалеку от огромного сада, окружающего дворец султана. Когда ранним утром мы выбрали якорь, к нам поступило печальное известие, что большой австрийский пароход, на который мы должны были пересечь предстоящей ночью, потерпел крушение — в тумане на-

ткнулся на рифы в Черном море. После того как мы миновали сказочно красивый Босфор, нас немного потрепала качка, на море пал туман, однако морское путешествие закончилось благополучно. Сутки мы провели в Костендесе близ разрушенного вала Траяна, а оттуда в странных плетеных, наподобие корзин, повозках, запряженных белыми волами, покатали по пустынной равнине, единственными обитателями которой были лишь одичавшие собаки. Только полуразрушенные надгробья двух кладбищ указывали на то, что когда-то здесь стояли города, сожженные русскими войсками в 1809 году. Местность эта именовалась Добруджа. В течение нескольких дней мы пробирались по огромному бывшему театру военных действий, где русские некогда дрались с турками. В сознании моем твердо запечатлелась карта течения Дуная и его окрестностей; перед глазами до сих пор стоят картины маленьких нищих городишек, полуразвалившихся крепостей, какими они были в то время, а то и вовсе руин или жалких земляных укреплений, поддерживаемых плетенками.

Убедиться в том, что в стране царят беспорядки, мы смогли, когда достигли Рушука с его множеством высоких минаретов. На берегу собралась большая толпа людей, наблюдавших за тем, как двое юношей в одежде повстанцев пытаются вплавь достичь суши. Одному из них это в конце концов удалось, другой же под градом камней, летящих в него с берега, повернул обратно и поплыл к нашему судну с громкими криками: «Помогите, они убьют меня!» Мы остановились, подняли его на борт и выстрелами подали сигналы на берег, откуда нам ответили; вскоре на наш корабль поднялся местный паша, объявивший, что отныне несчастный находится под его защитой. На другой день мы увидели покрытые снегом Балканы; все пространство между ними и побережьем было объято мятежом. Об этом мы узнали следующей ночью. Вооруженный татарин, возивший по суше письма и донесения из Видины в Константинополь, подвергся нападению и был убит, другого, кажется, постигла та же участь; третий же потерял всю сопровождавшую его охрану, однако самому ему чудом удалось уйти и добраться до Дуная. Спрятавшись в прибрежных камышах, он дождался нашего парохода. Когда при свете фонаря он вскарабкался к нам на борт, вид его был просто страшен: весь покрытый грязью, в одежде из овечьих шкур, вывернутых мехом наружу, и при этом, как говорится, вооружен до зубов. Он плыл с нами вверх по Дунаю

почти весь следующий день. В Видине — здешнем турецком опорном пункте — мы высадились на берег после того, как всех подвергли процедуре окуривания, дабы мы не занесли в город чумной заразы из Константинополя. Губернатор Хусейн-паша прислал нам все последние номера «Альгемайне цайтунг», чтобы мы из этого немецкого источника смогли узнать об обстановке в стране.

Сербия показалась мне странюю девственных первобытных лесов. Пару дней мы болтались на маленьких лодках по ревающим и грохочущим волнам Дуная, пока наконец не миновали Железные ворота — ущелье длиною в несколько миль. Картину этого нашего плавания я попытался воссоздать в «Базаре поэта». У старой Орсо-вы нас поместили в карантин в ужаснейшем здании, которое, быть может, и подходило валахским крестьянам, но никак не путешественникам, привыкшим к гораздо лучшим условиям. Пол почти во всех помещениях был каменным, еда — отвратительной, а вино — даже еще хуже, если это, конечно, возможно. Я делил комнату с англичанином Эйнсвортом, братом известного поэта, возвращавшимся из путешествия по Курдистану.

Когда впоследствии в Лондоне вышел английский перевод «Базара поэта», в номере «Литературной газеты» от 10 октября 1846 года вышла статья Эйнсворта, написанная им по заданию редакции, о нашем совместном пребывании в карантине. Тон ее свидетельствует о его самом сердечном ко мне расположении, что подчас заставляет его отзываться обо мне с незаслуженным восторгом. Кроме того, он рассказывает, что я был «весьма искусен по части вырезания фигурок из бумаги. Все иллюстрации к моим путевым заметкам, на которых изображены азиатские монахи и странствующие дервиши, — копии его вырезок».

По окончании карантина мы продолжили наш путь по объятной войною стране; дорога проходила в тени роскошных каштановых рощ мимо руин мостов и башен, оставшихся здесь со времен римского владычества. Видели мы и прекрасно сохранившуюся «доску Траяна», высеченную прямо в склоне скалы. Навстречу нам то и дело попадались живописные группы валахских крестьян, многочисленные части австрийских солдат и цыганские таборы, устраивающие свои лагеря вблизи просторных пещер. Одним словом, недостаток в смене впечатлений никто из нас не испытывал. Когда мы

вновь должны были грузиться на пароход, оказалось, что он настолько переполнен, что на палубе трудно было пошевелиться. Большинство пассажиров направлялись на огромный рынок, действовавший в то время в Пеште. Путешествие наше было долгим и трудным, спать было совершенно невозможно, и мы занимались тем, что созерцали картины жизни венгров по обоим берегам реки. Постепенно ландшафт становился все более равнинным, а местность обезлюдела — вплоть до самого Пресбурга. Проплывая мимо Тебена, мы видели, что весь город был объят пламенем. В общей сложности наше плавание по Дунаю продолжалось 21 день; наконец у Пратена мы сошли на берег и въехали в столицу империи. После визитов к старым друзьям я отправился на родину привычным уже путем — через Прагу и Дрезден. Характерно, что если за все путешествие от Италии до Гамбурга через Грецию и Турцию мой чемодан лишь дважды подвергался досмотру, а именно — на австрийской и германской границах, то по дороге оттуда до моего копенгагенского жилища меня досматривали целых пять раз. Первый раз это случилось при въезде в Гольштейн, затем при пересечении пролива у острова Эрё, далее — когда я сошел на берег на Фюне, потом по прибытии моего дилижанса в Слагельсе и, наконец, по приезде в Копенгаген. Что поделаешь, таковы были порядки в то время.

Прибытие мое в Гамбург как раз совпало с большим музыкальным фестивалем здесь, и я встретил за табльдотом много земляков. Я сидел рядом с кем-то из друзей и рассказывал ему о прекрасной Греции и роскошном Востоке. Вдруг одна из соседок, пожилая дама из Копенгагена, обратилась ко мне с вопросом: «Ну, а видели ли вы, господин Андерсен, в своих далеких путешествиях что-нибудь красивее нашей маленькой Дании?» — «Разумеется!» — отвечал я. — «И даже много красивее!» — «Фи!» — воскликнула она. — «Вы не патриот!»

Через Оденсе мне случилось проезжать как раз во время ярмарки. «Как это мило с вашей стороны!» — сказала мне одна почтенная тамошняя жительница. — «Рассчитать свою долгую поездку так, чтобы захватить здесь ярмарку! Да, я всегда говорила, что вы любите Оденсе!» Итак, здесь я оказался патриотом.

Близ Слагельсе же произошла одна встреча, которая произвела на меня особенное впечатление. Еще в годы моего учения здесь я каждый вечер видел, как почтенный пастор Бастхольм и его жена

выходили из калитки своего сада на прогулку, шли по тропинке через поле, сворачивали на проезжую дорогу и возвращались домой. И вот теперь я возвращался назад на родину из путешествия по Греции и Турции и, проезжая мимо Слагельсе, увидел престарелую чету, совершавшую все ту же обычную прогулку. Меня охватило какое-то странное чувство: из года в год они по-прежнему выходят ежедневно на свою коротенькую прогулку, а я объездил за это время пол-Европы! Какой контраст между моей и их жизнью!

В середине августа я прибыл в Копенгаген; на этот раз я уже не испытывал таких страхов и мучений, как в первое мое возвращение домой из Италии. Я от души радовался свиданию со всеми дорогами, близкими мне людьми, и у меня невольно вырвалось: «Первые минуты по возвращении — венец всего путешествия!»

Вышедший вскоре «Базар поэта» состоял из нескольких отдельных частей под заглавиями «По Германии», «По Италии», «По Греции» и т.д. Каждой части этого произведения, вышедшего в собрании моих сочинений, мною предпосланы посвящения различным лицам, имена которых связаны для меня с тем или иным местом, я чувствовал искреннюю признательность и привязанность к этим людям. Поэт, как птица, дарит то, что у него есть, — песню; и я хотел одарить песней каждого из дорогих моему сердцу людей.

Раздел книги, повествующий о странствиях по Италии, носит посвящение Ранцау-Брайтенбургу, который жил в этой стране, любил ее и был верным моим другом и благодетелем в пору работы над «Импровизатором». Та часть, где описана Греция, посвящена ученому, поэту, нашему послу в Греции Прокеш Остену, а также профессору-археологу Россу, проживавшему в Афинах; в числе прочих эти двое сделали пребывание в стране столь милым моему сердцу. Страницам, рассказывающим о путешествии по Востоку, предпосланы следующие строки: «Австрийскому посланнику в Константинополе барону фон Штюмеру, благодаря гостеприимству которого я, будучи на Востоке, ощутил дыхание родного Севера, а также величайшему поэту Скандинавии Адаму Эленшлегеру, проживающему в Копенгагене, благодаря «Аладдину» и «Али и Гульхинди» которого я, будучи на Севере, давно уже ощутил дыхание Востока, от всего сердца и с благодарностью посвящаю эти картины». Перед «Плаванием по Дунаю» я написал: «В честь царственных властителей»

лей рояля, моих друзей, австрийца Тальберга и венгра Листа, я торжественно исполняю эти свои “дунайские напевы с береговыми вариациями”. “Возвращение домой” посвящено «милому моему сердцу автору “Зарисовок из повседневной жизни”, госпоже Фредрике Бремер из Стокгольма и высокоодаренной дочери моего дорогого благодетеля, конференц-советника Колина, госпоже Ингеборг Дрезсен из Копенгагена, благодаря чьей поистине сестринской заботе и неизменному вниманию ко мне мысли мои не раз устремлялись в сторону дома».

Казалось бы, вполне очевидно, что именно имел я в виду, делая подобные посвящения. На родине моего намерения, однако, не захотели понять и ухватились за них как за новое доказательство моего тщеславия — мне, дескать, непременно хотелось связать свое имя с именами известных лиц, похвастаться дружбой с ними! Книга между тем продавалась отлично, но настоящей критики на нее так и не появилось. Лишь некоторые газеты отзывались о ней. Общий их тон, однако, сводился к тому, что книга «слишком богата содержанием». «Эту книгу следовало бы разбить на более мелкие главы, чтобы можно было смаковать каждый ее эпизод! — сказал мне один умный, расчетливый писатель. — Тогда бы она много выиграла!»

Газетная критика в адрес «Базара поэта» отличалась прямо-таки непроходимой глупостью. Меня упрекали в излишней экзальтированности и эстетизме, а рисуемые мною картины называли ужасными. Еще бы, ведь я позволил себе описать, как в пору новолуния в небе близ Смирны наблюдал абсолютно голубой лунный диск. Датские же литературные критики ничего не смыслят в природе. Даже такое в высшей степени изысканное издание — «Литературный ежемесячник» — как-то раз пробрало меня за стихотворение, в котором я рассказывал о радуге, явившейся мне в лунном свете. Разумеется, это также сочли плодом моей воспаленной фантазии. Я пожаловался на это Эрстеду; некий пробст, который, как я подозревал, и был автором критической статьи, услышав это, воскликнул: «Да как же вам не стыдно выдумывать подобную чепуху о радуге!» — «Да, но я видел ее собственными глазами». — «Где же?» — спросил он. «Однажды вечером на Вестербро!» — отвечал я. «Ах, так на Вестербро! — рассмеялся он. — Несомненно, в том самом театре, где демонстрируют всякие фокусы и пантомимы!» Он имел в виду театр Касорти. «Да нет



же, уверяю вас, на самом что ни на есть настоящем Божьем небе!» Видя мою горячность, Эрстед также принял мою сторону.

И какое же количество подобной глубокомысленной чепухи выпало на мою долю как в устном, так и в печатном виде! Я вынужден был отдуваться за все то, что другие не могли или не хотели понимать. Когда в «Базаре поэта», стремясь разнообразить стиль и перейти к воспроизведению достопримечательностей Нюрнберга, я написал, что если бы был художником, то нарисовал бы эти мост и башню так-то и так-то, а затем, желая продолжить повествование, сделал переход: «...однако я не художник, а писатель», — и продолжил свой лирический рассказ, мне это сразу же поставили в укор: «Подумать только, какое тщеславие — самого себя величать писателем!» Мелочность и глупость подобных придилок настолько очевидны, что они даже не кажутся оскорбительными. Но сколь бы ни был миролюбив человек, все же руки чешутся отхлестать паршивых собачонок, старающихся проникнуть к тебе в дом — в святая святых. Представляю, каких размеров вышла бы «шутовская книга», если собрать воедино все бесстыдные несуразицы, когда-либо высказанные в мой адрес, с самых первых шагов и вплоть до нынешнего времени!

Тем не менее «Базар поэта» привлек на свою сторону многих читателей и, как говорится, пользовался успехом. Единственный раз в жизни довелось мне беседовать с нашим известным историком, профессором Финном Магнуссеном. Несмотря на то что лично мы были не знакомы, он как-то раз остановил меня прямо на улице и завязал разговор. Всегда имевший важный и непрístupный вид, на этот раз он был сама любезность и обходительность. Сердечно поблагодарив меня за книгу, он рассказал, насколько высоко он ее ценит и с какой досадой относится к тому прискорбному факту, что публика так и не сумела отдать ей должное. И это далеко не единственный пример. Многие талантливые соотечественники, в том числе Х.К.Эрстед и Эленшлегер, с радостью и теплотой отзывались об этом моем труде, благодарили и всячески одобряли меня.

Позже появилось несколько изданий этой книги в немецком переводе, равно как и в шведском; особенно же изящно она была издана в переводе на английский, и английская критика отозвалась о ней с большим сочувствием. Экземпляр этого трехтомного издания в изящном переплете, снабженного моим портретом, был послан изда-

телем Ричардом Бенгли королю Кристиану VIII вместе с ранее появившимися переводами других моих произведений. Такие же издания были присланы ему и из Германии, и король порадовался тому успеху, каким я пользовался за границей. Высказывая свое удовольствие по этому поводу Х.К.Эрстеду и другим, он выразил также свое удивление совершенно противоположным отношением ко мне родной печати, ее постоянным стремлением оттенять все мыслимые и немыслимые мои недостатки в ущерб достоинствам, желанием высмеять и принизить все, что бы я ни делал. Мне было особенно отрадно услышать все это от Х.К.Эрстеда, почти единственного человека из близких мне лиц, который в полной мере признавал мой поэтический талант, ободрял меня и предсказывал, что рано или поздно я буду удовлетворен отзывами о себе не только за границей, но и на родине. Мы вообще часто обсуждали с ним вопрос, чем, собственно, можно объяснить такое отношение ко мне со стороны моих земляков, и сошлись на нескольких наиболее бросающихся в глаза причинах. Одною из них следовало признать мою прежнюю бедность и зависимое положение; земляки мои не могли забыть, как это верно подметили за границей, что нынешний Андерсен — всего лишь бедный мальчишка, выросший на их глазах. Другой причиной было, как отмечал мой биограф в «Датском пантеоне», мое неумение пользоваться теми средствами, которые порой ловко используют другие писатели, выезжающие за счет дружеских отношений с нужными лицами. Затем, по мнению Х.К.Эрстеда, причины следовало искать в личном неблаговолении ко мне такого влиятельного органа печати, как «Литературный ежемесячник», и глумлении надо мною в «Письмах с того света», положивших начало общей травле меня критикой, — короче говоря, в печатном приговоре общества в мой адрес; а ведь у нас при нашей готовности склоняться перед любыми авторитетами это — страшная сила. Наконец, косвенной подоплекой являлась свойственная всем датчанам чуткость ко всему смешному, а уж такова была судьба моя, что я благодаря неумелой услужливости некоторых доброжелательных журналистов часто оказывался выставленным в смешном свете. Так, когда-то одна газета в Оденсе, постоянно величавшая меня «дитя нашего народа», взяла за правило сообщать обо мне сведения, которые никоим образом не могли интересовать публику. Газеты часто выхватывали и печатали клочки из моих писем к частным лицам, что опять-таки выглядело

смешным. Так, например, раз я написал кому-то на родину, что видел в Риме, в Сикстинской капелле, королеву Кристину, прибавив, что она напомнила мне своей наружностью жену нашего композитора Хартманна. Сообщение это сей же час появилось в одной фюнской газете, но редакция не пожелала называть имя частного лица, и вышло, что «королева Кристина напомнила Андерсену известную особу из Копенгагена». Как же было не посмеяться над этим! Да, мне не раз пришлось убедиться в том, что неловкая услуга только вредит.

С тех пор я вообще боюсь разговаривать с легкомысленными редакторами газет, но избежать этого удастся далеко не всегда. Вот, например, как я, без всякой вины с моей стороны, опять-таки был поднят на смех.

Случилось мне как-то раз на почтовой станции в Оденсе полчаса ждать дилижанса; там столкнулся со мной один редактор местной газеты и спросил: «Опять за границу?» — «Нет», — ответил я. «И не подумываете?» — «Это зависит от того, будут ли у меня деньги. Теперь я пишу одну вещь для театра. Если она будет иметь успех — тогда можно подумать и о путешествии!» — «А куда вы тогда направитесь?» — «Еще не знаю. Либо в Испанию, либо в Грецию». И в тот же вечер в газете было напечатано приблизительно следующее: «Х.К.Андерсен работает над новой вещью для театра, и, если она будет иметь успех, он поедет за границу, в Испанию или в Грецию».

И эта заметка, разумеется, подала повод к смеху, и одна копенгагенская газета совершенно верно заметила, что о поездке этой еще вилами на воде писано: сначала надо, чтобы сама вещь была написана, принята и имела успех, а тогда... да и тогда еще неизвестно, куда я поеду, в Испанию или Грецию! Надо мною смеялись, а тот, над кем смеются, всегда оказывается в проигрыше. Я сделался очень чувствительным и щепетильным и имел неосторожность не скрывать этого. Бывает, что ребяташки бросают камни в бедную собачонку, отчаянно борющуюся с течением, но поступают так вовсе не всегда из злобы, а скорее, ради забавы; вот так же ради забавы потешались и надо мною. И никто не хотел заступиться за меня — ведь я не имел друзей и покровителей ни среди литературных критиков, ни вообще в газетах. Вот и приходилось мне терпеть, а между тем и тогда уже говорили и писали, что я предпочитаю возвращаться в кругах, состоящих из одних лишь моих поклонников. Вот как

мало бывают порой сведущи люди! Я пишу все это, отнюдь не жалуясь и не желая бросить ни малейшей тени на тех, кого искренно люблю; я уверен, что, случись со мною настоящее несчастье, они бы приложили все усилия, чтобы спасти меня. Повторяю, в их участии ко мне я не сомневался, но оно было иного рода, нежели то, которое необходимо поэту и в котором так сильно нуждался именно я. И самые близкие из моих знакомых не меньше моих критиков были поражены необычайным успехом моих произведений за границей и громко высказывали свое удивление. У Фредрики Бремер такая их реакция вызвала крайнее недоумение. В бытность ее в Копенгагене нам случилось встретиться с ней в гостях в одном доме, где меня, по общему мнению, «чересчур уж баловали»; рассчитывая сообщить обществу нечто приятное, она заговорила о «той необыкновенной любви, которою пользуется Андерсен в Швеции — от Сконе до Нурланда! Почти в каждом доме вы найдете его сочинения!». — «Полноте, не вздумайте вскружить ему голову похвалами!» — был услышан его ответ, причем сказано это было абсолютно серьезно.

Много толкуют о том, что благородное происхождение ныне уже не имеет значения, — все это одни пустые разговоры. Даровитый студент, бедняк, из простых, редко встретит в так называемых хороших домах такой вежливый и радушный прием, какой оказывают разодетому отпрыску дворянского рода или сынку всемогущего чиновника. Я мог бы привести немало тому примеров, однако довольствуюсь лишь одним — из собственной жизни. Имен я называть не стану; довольно знать, что речь идет о лице, занимающем или занимавшем — поскольку дело это прошлое — весьма почетное положение.

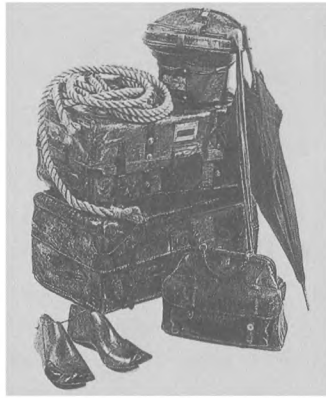
Король Кристиан VIII в первый раз по восшествии на престол посетил театр; шла как раз моя драма «Мулат». Я сидел в первых рядах партера рядом с Торвальдсеном, и он, когда опустился занавес, шепнул мне: «Король приветствует вас!» — «Нет, приветствие, верно, предназначено вам!» — ответил я. «Не может быть, чтобы мне!» Я поглядел на королевскую ложу; король опять кивнул — именно мне, но я чувствовал, что возможная ошибка с моей стороны страшно отозвалась бы потом на мне, и поэтому остался сидеть неподвижно. На другой день я отправился к Его Величеству поблагодарить его за такую необыкновенную милость, и он посмеялся тому, что я не сейчас же ответил на нее.

Спустя несколько дней в Кристиансборгском дворце должен был состояться бал для всех сословий общества. Получил приглашение и я.

«Что вам там делать?» — спросил меня один из наших маститых представителей науки, когда я заговорил в его доме об этом празднестве. «Что делать вам в подобном кругу?» — повторил он. Я попробовал отшутиться: «В этом-то кругу я лучше всего и принят!» — «Но вы не принадлежите к нему!» — сказал он сердито. И здесь мне не оставалось ничего, как пошутить в ответ, как будто я несколько и не был задет: «Сам король приветствует меня из своей ложи в театре, так отчего бы мне и не появиться на балу у него!» — «Король приветствует вас из ложи?! — воскликнул он. — Да, но и это еще не дает вам право лезть во дворец!» — «Но на этом балу будут люди и из того сословия, к которому принадлежу я!» — сказал я уже серьезнее. — Там будут студенты!» — «И кто же именно?» — спросил он. Я назвал одного молодого студента, родственника моего собеседника. «Ну еще бы, — подхватил он, — ведь он сын статского советника! А ваш отец кем был?» Тут уж я не выдержал и вспыхнул: «Мой отец был ремесленником! Своим теперешним положением я, после Бога, обязан себе самому, и мне кажется, что вам бы следовало уважать это!..»

Почтенному ученому мужу так никогда и не пришло в голову извиниться передо мною за сказанное.

Рассказывая о горьких минутах своей жизни, вообще сложно соблюдать должное беспристрастие, трудно и не задеть кого-нибудь из тех, кто в свое время обидел тебя, поэтому я и опускаю здесь большинство осушенных мною горьких чаш, а останавливаюсь лишь на нескольких отдельных капельках. Такие остановки нужны для освещения кое-чего в моих произведениях, и они особенно уместны здесь, так как после моего возвращения из второго большого путешествия и появления «Базара поэта» мне вообще зажилось легче. Критика если и не совсем прекратила поучать меня, то все-таки стала относиться ко мне лучше, и если на челн мой и набегали еще иногда грозные шквалы, то все же с этих пор он чаще нес меня по спокойной глади житейского моря к бухте того самого признания, какого только я вообще мог пожелать со стороны своих земляков и какое предсказывал мне Эрстед.



Дорожные вещи Х.К.Андерсена  
Маршрут путешествия 1840–1841 годов

## IX

В то время политическая жизнь со всеми ее хорошими и дурными сторонами достигла в Дании уже довольно высокой степени развития. Красноречие, до сих пор полусознательно прибавлявшееся по примеру известного древнего философа маленькими камешками во рту, камешками повседневной жизни, теперь свободнее двинулось навстречу высшим интересам. Я, однако, не чувствовал ни способности, ни нужды вмешиваться в политику да и вообще считаю увлечение политикой в наш век пагубным для поэта. Госпожа политика — это Венера, заманивающая поэтов в свою гору на погибель их. С политическими песнями этих поэтов бывает то же, что с газетами, которые, чуть появятся в свете, жадно разбираются, читаются и — забываются. В наше время все хотят править, личность выступает на первый план, но большинство забывают, что многое, хорошее в теории, неприменимо на практике; забывают, что с вершины дерева многое кажется совсем иным, нежели снизу, тем, кто сидит у корней его. Я, впрочем, охотно преклоняюсь перед всяким, будь то князь или простой крестьянин, кто желает лишь блага и способен вести к нему. Однако политика — не мое дело; Бог определил мне иную задачу, я чувствовал и чувствую это!

Среди так называемых лучших фамилий страны я встречал немало сердечно расположенных ко мне людей, которые, приняв меня в свой круг, предоставляли мне возможность пользоваться летним отдыхом в их богатых имениях. Там я мог наконец вволю наслаждаться природою, лесным уединением и изучать помещичью и сельскую жизнь; так я написал большинство моих сказок и роман «Две баронессы». У тихих озер, в глубине лесов, на зеленых лужайках, где из кустов то и дело взлетала и выпрыгивала дичь, где важно разгуливал красноногий аист, никто не говорил ни о политике, ни о полемике, не рассуждал о Гегеле. Я слышал лишь голос природы, говоривший мне о моей миссии. В Нюсё, имении баронессы Стампе, я был представлен семейству Даннескьольдов из Гиссельфельда. В их старой, чем-то напоминающей монастырский замок помещичьей усадьбе я справил Рождество. Все было обставлено, как это у нас принято, пышно и торжественно. Пожилая графиня Даннескьольд была сама доброта и любезность. Прежде всего благодаря ей я чувствовал себя здесь желанным гостем,

а вовсе не бедным крестьянским мальчиком, из милости приглашенным на праздник в богатый дом. Да покоится она с миром — вот уже несколько лет, как над ее могилой вблизи того самого леса, который был так близок ее поэтической натуре, шумят ветви могучих буков.

Из Гиссельфельда я переехал в очаровательный, уютный Брегентвед, куда меня пригласили тогдашний министр финансов Вильгельм Мольтке и его — ныне покойная — добрейшей души супруга. Гостеприимство, с которым меня здесь встретили, и жизнь в этом доме на правах чуть ли не члена семейства согрели мою душу подобно лучам солнца. Во время моих последующих многочисленных визитов в Нюсе я имел возможность наслаждаться там обществом Торвальдсена, для которого было построено в саду имения прекрасное ателье. Здесь я по-настоящему сблизился с великим скульптором, узнал его и как художника, и как человека. Это был один из интереснейших периодов моей жизни, на котором я впоследствии остановлюсь несколько подробнее.

Общение с представителями различных слоев общества имело для меня огромное значение. Я находил благородных людей и среди высшего дворянства, и среди беднейших простолюдинов; хорошими, лучшими своими свойствами мы все похожи друг на друга.

Большую же часть времени я проводил все-таки в Копенгагене в доме Йонаса Коллина и в семьях его замужних дочерей и женатых сыновей, окруженных детьми. Все теснее сближался я также с нашим гениальным композитором Хартманном; его энергичная, жизнерадостная супруга являлась настоящей волшебницей своего домашнего очага, озаряя его солнечным светом и душевной теплотой. Под стать мужу, она и сама была натурой пламенной, гениальной и удивительно наивно-ласковой. Старый мой покровитель Коллин был моим постоянным советником в повседневной жизни, Эрстед — в литературной деятельности. С последним мы все больше и больше сближались. О его влиянии на меня я буду еще иметь случай поговорить обстоятельнее.

Вечера я обыкновенно проводил в театре; театр был, так сказать, моим клубом. Как раз в этот год я получил постоянное место в так называемом придворном партере, отделявшемся от остальной части партера железной перекладной. По существовавшим тогда правилам каждый драматург, поставивший на сцене Королевского театра



хоть одну пьесу, получал бесплатное место в партере; две пьесы давали ему право на место во «втором партере», а три — в «первом придворном». Речь шла, разумеется, о так называемых вечерних пьесах, то есть о таких, которые занимали весь вечер, маленьких же требовалось больше — столько, чтобы они в совокупности также могли занять три полных вечерних представления. Автору, удовлетворявшему таким условиям, открывался доступ в придворный партер, где по повелению короля были отведены места его придворным кавалерам, дипломатам и первым сановникам государства. Говорят, что когда один драматург — тогда актер — написал ряд пьес и благодаря этому получил место в придворном партере, ему было сказано: «Ну вот, теперь вам открыт вход туда, однако держите себя скромно — там сидит вся знать!» Теперь и я удостоился этой чести, получил право сидеть рядом с Торвальдсеном, Вайсе, Эленшлегером и другими. Торвальдсен обыкновенно просил меня садиться рядом с ним, чтобы объяснять ему непонятное; я и занимал соседнее с ним кресло во все последние годы его жизни. Эленшлегер также часто бывал моим соседом, и много раз — вряд ли кто и подозревал об этом! — душа моя исполнялась глубочайшего смирения; я перебирал в уме разные периоды своей жизни с того времени, когда я еще сидел на самой последней скамейке в ложе фигурантов, в третьем ярусе, когда преклонял колена посреди пустой и темной сцены и читал «Отче наш»; и вот теперь я сижу рядом с величайшими людьми своей страны! А земляки мои, пожалуй, думали: «Вот сидит себе подле двух гениев и важничает!» Пусть же увидят они из этой моей исповеди, как неверно судили обо мне! Я был полон смирения и возносил Богу горячие молитвы, прося Его даровать мне силы заслужить свое счастье. Да ниспошлет мне Господь милость навсегда сохранить в душе такие чувства! Я каждый вечер виделся здесь с Торвальдсеном и Эленшлегером, оба дарили меня своею дружбою, а ведь в то время они сияли крупнейшими звездами на северном небосклоне. На наших взаимоотношениях мне хотелось бы остановиться подробнее.

В характере Эленшлегера было что-то открытое, детски-привлекательное — разумеется, это проявлялось, когда он бывал в кругу друзей, а не в большом обществе; там он был тих и держался обособленно. Значение Эленшлегера для Дании, для всей Скандинавии общеизвестно. Он был истинный, природный, вечно юный поэт и даже в старости пре-

восходил всех молодых продуктивностью своего гения. С истинно дружеским участием прислушивался он к первым звукам моей лиры, и если в течение долгого времени никогда и не высказывался в мою пользу с особенным жаром, то все же горячо возражал против несправедливых и безжалостных нападков на меня со стороны критики. Однажды он застал меня сильно расстроенным чересчур строгой и даже жестокой статьей. Он крепко обнял меня и сказал: «Не обращайтесь внимания на этих крикунов! Вы — истинный поэт, это я вам говорю!» Затем он высказал свое мнение о нашей поэзии, ее представителях и критиках и наконец обо мне самом. Он сердечно и искренне ценил во мне поэта-сказочника и, услышав однажды чей-то суровый отзыв обо мне по поводу моих орфографических огрехов, горячо воскликнул: «Ну и пусть их! Это присущие ему характерные мелочи! Не в них же суть! Экие грехи, подумаешь! Гёте тоже раз указали на такую ошибку в одном из его произведений, и что он сказал? “Пусть ее останется, каналья!” — и не подумал даже исправить ее». Позже я еще вернусь к личности этого гениального поэта и нашим отношениям в последние годы его жизни, когда мы сошлись еще ближе. Автор моей биографии, помещенной в «Датском пантеоне», нашел у нас с Эленшлегером одну родственную черту. Вот что он говорит в предисловии:

«В наши дни все реже и реже бывает, что художник или поэт вступает на свое поприще единственно в силу непреодолимого природного влечения; чаще им управляют судьба или обстоятельства. В творчестве большинства наших поэтов сказывается, скорее, раннее знакомство со страданиями, ранние душевные переживания и чисто внешние побуждения, нежели исконное природное призвание. Ярчайшим примером тому можно с уверенностью признать двоих поэтов: Эленшлегера и Андерсена. Именно этими обстоятельствами можно объяснить себе тот факт, что первый так часто являлся у себя на родине предметом критических нападков, а последний был признан прежде всего за границей, где цивилизация старше, у людей уже отбит вкус к школьной дрессировке и развито обратное стремление к естественной природной свежести, тогда как мы, датчане, все еще свято преклоняемся перед унаследованным от предков ярмом школы и перед отжившей свой век отвлеченной мудростью».

Я уже рассказал, что первое мое знакомство с Торвальдсеном произошло еще в 1833—1834 годах в Риме. Осенью же 1838 года его

ждали в Дании и готовили ему торжественную встречу. На башне Св. Николая должны были вывесить флаг, как только корабль, на котором находился Торвальдсен, покажется на рейде. Встреча обещала превратиться в национальный праздник. Лодки, украшенные цветами и флагами, занимали все водное пространство от Лангелинии до крепости Трекронер. Художники, скульпторы, писатели — все явились со своими знаменами. На знамени студентов красовалась Минерва, на нашем, писательском, — золотой Пегас. Всю эту картину можно видеть теперь на фреске, украшающей наружные стены музея Торвальдсена; на ней видны стоящие в лодке Эленшлегер, Хейберг, Херц и Грундтвиг; я изображен взобравшимся на скамью, одной рукой я обнимаю мачту, а другой машу шляпой. В день торжества погода выдалась туманной, и корабль заметили, только когда он подошел уже совсем близко. Раздались сигналы, народ бросился на набережную. Все писатели, созванные Хейбергом, который оказался весьма деятельным распорядителем, уже стояли на набережной у своей лодки; недоставало только Эленшлегера и самого Хейберга. Приходилось ждать, а между тем с корабля уже раздались пушечные выстрелы, и судно отдало якорь. Я боялся, что Торвальдсен высадится на берег, прежде чем мы успеем встретить его на рейде. Ветер уже доносил до нас звуки приветственных песен, торжество началось; я непременно хотел участвовать в церемонии и предложил другим отплыть. «Без Эленшлегера, без Хейберга?!» — воскликнули те. «Да ведь их еще нет, а скоро уже все закончится!» Кто-то из поэтов, указывая на Пегаса, сказал, что без Эленшлегера и Хейберга я, верно, не вправе осмелиться плыть под этим флагом. «А мы его положим на дно лодки!» — сказал я и снял флаг с древка. Другие тоже уселись в лодку, мы поплыли и подоспели на место как раз тогда, когда Торвальдсен отплывал к берегу. Там же встретили мы и Эленшлегера с Хейбергом, которые приплыли в другой лодке, а теперь пересели к нам. Все утро стояла пасмурная погода, но теперь солнце вдруг прорвалось сквозь облака, и над Зундом перекинулась чудесная радуга, словно «триумфальная арка Александра Македонского». Да, это поистине был торжественный въезд Александра! На берегу раздавались восторженные крики народа, теснившегося вокруг экипажа Торвальдсена; лошадей выпрягли, и толпа повезла его мимо Амалиенбургского дворца к нему на квартиру. Туда же хлынула и вся публика; в квартиру к нему стремился попасть каждый, кто только был с ним

хоть мало-мальски знаком или имел такого знакомого, который мог ввести его туда. На площади целый день до позднего вечера стояли толпы, глаза на знакомые красные стены Шарлоттенбургского дворца, — за ними ведь находился Торвальдсен. Вечером представители разных искусств исполняли в его честь серенаду. Под высокими деревьями Ботанического сада запылал целый костер из сброшенных в кучу смоляных факелов участников шествия. Стар и млад стремились в открытые двери Академии, и чувствуемый старец приветливо обнимал и целовал всех знакомых. Казалось, что он окружен каким-то сиянием, и это и заставляло меня держаться несколько в стороне. Сердце мое билось от радости при виде того, кто так сердечно относился ко мне на чужбине, крепко обнимал меня и говорил: «Мы навсегда останемся друзьями». Но видя его теперь в таком ореоле славы, в центре всех взглядов, следивших за каждым его движением, я благоразумно держался в тени, стараясь не попасться ему на глаза. Ведь если бы я подошел к нему, меня бы тотчас же заметили и осудили. Да, осудили бы как тщеславного человека, желавшего показать, что, дескать, «и я тоже знаком с Торвальдсеном! И я пользуюсь его благосклонностью!». Только несколько дней спустя, рано утром, когда никто не видел этого и в доме его никого не было, я решился зайти к нему и нашел в нем все того же милого, сердечного, откровенного друга. Он радостно обнял меня и высказал свое удивление, что только теперь видит меня у себя.

В честь Торвальдсена было устроено что-то вроде торжественного музыкально-литературного вечера. Каждый из поэтов должен был написать и прочесть на нем свои стихи, посвященные возвратившемуся на родину великому скульптору. В моих стихах говорилось о Язоне, пустившемся на поиски золотого руна, о Язоне — Торвальдсене, пустившемся в странствие в поисках золотого искусства. Торжество окончилось легким ужином и танцами; было очень весело и многолюдно. Сам Торвальдсен, весь сияя от удовольствия, выступал в полонезе об руку с молоденькой фрекен Пугтор, впоследствии женой Орлы Лемана, теперь уже умершей. В эти праздничные дни впервые на моей памяти я смог убедиться, что народ испытывает неподдельный интерес к искусству.

Торвальдсен был принят в постоянные члены Студенческого общества, и я по этому поводу написал стихи, встреченные с восторгом и до сих пор еще, кажется, популярные:

Студентом стал ты и, ей-богу,  
Как раз октябрьским новичком!  
Пробил себе ты путь-дорогу  
Своим резцом да молотком!  
«Вам о Гомере что известно?»  
Ты рыться в памяти не стал —  
Из глины гений твой чудесно  
Всю Илиаду воссоздал!..\*

С этих пор я ежедневно виделся с Торвальдсеном в обществе или у него в ателье. Много недель подряд провел я также вместе с ним, гостя у барона Стампе в Нюсё, где он всегда был желанным гостем; за ним ухаживали там, как за самым близким, родным человеком, забавляли его и побуждали к деятельности; большинство чуждых произведений, созданных им на родине, были задуманы и выполнены именно в Нюсё. Здоровая, цельная натура Торвальдсена не была лишена юмора, и поэтому он особенно любил Хольберга. «Мировой скорби» он знать не хотел, вследствие чего и не жаловал Байрона. Однажды, гостя в Нюсё, я вошел утром в маленькое ателье, выстроенное баронессой специально для великого скульптора в саду возле старого крепостного рва. Торвальдсен как раз трудился над собственной статуей. Я пожелал ему доброго утра, но он, казалось, не замечал меня, продолжая усердно работать. Чуть погодя он отступил от статуи на шаг и стал смотреть на нее, крепко стиснув свои великолепные белые зубы, как делал всегда, когда внимательно рассматривал свою работу. Я тихонько удалился. За завтраком он был еще менее словоохотлив, чем обыкновенно; к нему начали приставать, пытаясь разговаривать. Наконец он сухо сказал: «Я уже говорил утром битый час, наговорился на несколько дней вперед, а оказалось, что меня никто не слушал. Я знал, что сзади меня стоит Андерсен — он только что здоровался со мною, — и начал рассказывать ему длинную историю о Байроне. Рассказываю, рассказываю и жду в ответ хоть словечка. Обращиваюсь — никого! Выходит, я целый час беседовал с пустым местом!» Мы стали просить его повторить нам эту историю, но он рассказал ее лишь вкратце. «Дело было в Риме! — начал он. — Я рабо-

---

\* Перевод А. и П. Ганzenов.

тал тогда над статуей Байрона. Он согласился позировать мне, но как только уселся, сейчас же соорил гримасу. “Будьте добры, посидите смиренно! — сказал я ему. — Не надо гримасничать!” — “У меня всегда такое выражение!” — ответил он. “Вот как!” — сказал я и изборазил его по-своему. Все находили, что статуя похожа на оригинал, только сам он говорил: “Это не я! Я выгляжу гораздо несчастнее!” Ему, видите ли, непременно хотелось выглядеть несчастным!» — закончил Торвальдсен с иронической улыбкой.

Большое наслаждение великому скульптору доставляло дремать после обеда под звуки фортепьяно, а величайшей забавой была для него игра в лото. Баронесса Стампе обыкновенно каждый вечер появлялась в гостиной с мешочком костяшек, и начиналась игра. Все обитатели Нюсё выучились играть в лото; играли на разные стекляннне безделушки, и мне нечего скрывать, что Торвальдсен был большой охотник выигрывать. Ему и давали выигрывать, и это доставляло великому человеку несказанную радость. Мне же эта игра всегда казалась скучной, и я частенько ясным лунным вечером предпочитал ей лесные прогулки, хотя и слышал, как игроки зовут меня.

Торвальдсен всегда готов был горячо вступить за тех, к кому, по его мнению, относились несправедливо; несправедливости, насмешек, особенно если в них проглядывало злое намерение, он не переносил и восставал против них, с кем бы ему ни приходилось иметь дело. В Нюсё, как сказано, его окружили всяческой заботой. Баронесса Стампе — урожденная Дальгас — любила его, как отца, и только и думала, как бы угодить ему.

В Нюсё я написал несколько сказок, между прочим, и «Оле Луккойе». Торвальдсен слушал их с удовольствием и интересом, хотя вообще-то сказкам моим еще не придавали тогда на родине особого значения. Часто в сумерки, когда вся семья собиралась на выходившей в сад веранде, Торвальдсен тихонько подходил ко мне, хлопал меня по плечу и говорил: «Ну что, побалуете сегодня детишек сказочкой?» Со своей обычной прямоотой и естественностью он высказывал мне самое лестное одобрение, хваля мои произведения, особенно за их правдивость. Его забавляло слушать одни и те же сказки по несколько раз, и часто, работая над самыми своими поэтическими произведениями, он с улыбкою слушал «Влюбленную парочку», «Гадкого утенка» и другие сказки.

Я умел импровизировать и часто сочинял маленькие стишки и песенки, что тоже очень забавляло Торвальдсена. Однажды, когда он только что окончил лепить из глины бюст Хольберга и все любовались им, меня попросили сказать что-нибудь экспромтом по поводу этой работы. Я сочинил:

«Лишь стоит глиняную форму мне разбить,  
Дух улетит, и Хольберг ваш умрет!» —  
Сказала смерть. Но рек Торвальдсен: «Будет жить!»  
И вновь вон в этой глине он живет!\*

Торвальдсен трудился над большим барельефом «Шествие на Голгофу», который ныне украшает собор Богоматери, и я раз как-то утром зашел посмотреть его работу. «Скажите мне, — спросил он, — верно ли я одел Пилата? Как по-вашему?» — «Не смейте ничего говорить ему! Все верно, все превосходно!» — закричала баронесса Стампе, которая почти безотлучно находилась возле Торвальдсена. Но Торвальдсен повторил свой вопрос. «Ну, хорошо! — сказал я. — Если уж вы спрашиваете меня, то я скажу, что, по-моему, Пилат ваш одет скорее как египтянин, нежели как римлянин!» — «Ну вот, и мне так казалось!» — сказал Торвальдсен, протянул руку и уничтожил фигуру. «Вы стали причиной того, что он разрушил бессмертное творение!» — вскричала баронесса. «Создадим новое бессмертное творение!» — весело сказал Торвальдсен и вылепил нового Пилата, которого мы теперь и видим на барельефе в соборе Богоматери.

Летом Торвальдсен ежедневно уходил купаться в купальню, находившуюся на взморье довольно далеко от усадьбы. Раз я встретил его на пути домой, и он с веселым видом поведал мне: «Знаете, сегодня я чуть было не погиб!» Он рассказал, что, вынырнув из воды, попал головой под дверь купальни и так ударился об нее, что едва не сорвал ее с петель. «Даже в глазах потемнело, однако, к счастью, быстро прошло! А случись со мной обморок, пришлось бы вам искать меня там, в воде!»

Последний день его рождения был торжественно отпразднован в Нюсё. Затеяли спектакль — были разыграны водевиль Хейберга «Апрельские шутки» и «Сочельник» Хольберга, а я написал по

---

\* Перевод А. и П.Ганzenов.

этому случаю застольную песню. Кроме того, мне пришлось сымпровизировать еще и другую. Баронесса позвала меня к себе рано утром и сказала, что Торвальдсена, наверное, очень позабавит, если мы разбудим его музыкой, ударяя в гонг, колотя по сковородкам вилками, ножами, водя пробкой по стеклу и проч. При этом надо было также петь что-нибудь, все равно что, лишь бы веселое. И вот она тут же заставила меня придумать шутовскую песенку, которую мы и исполнили перед комнатой Торвальдсена. Я пел соло, а остальные хором подхватывали припев под оглушительный аккомпанемент наших музыкальных инструментов. Песенка пелась на мотив «Что скажет господин барон».

Давайте песню грянем все,  
 Поскольку каждый рад,  
 Что есть на свете Торвальдсен,  
 А также — шоколад!  
     Громче стучите,  
     Громче кричите,  
     Как стая лебедей —  
     Вставай скорей!

Весь мир о гении его  
 Поет — уж он привык,  
 А мы устроим шутовство  
 И неприличный крик!  
     Бей в сковородку,  
     Пой во всю глотку —  
     Пусть посмеется уж  
     Великий муж!

Пока не выдохлись совсем,  
 Пусть лиры замолчат,  
 Твоих бумаг, о Торвальдсен,  
 Пусть кляксы не мрачат!  
     Все мы пропели,  
     Даже вспотели,  
     Теперь кричать пора —  
     Ура! Ура!



Скоро Торвальдсен вышел из комнаты; еще в халате и комнатных туфлях, размахивая своим рафаэлевским беретом, он пустился вместе с нами в пляс, повторяя припев:

Будем топтать мы ногами,  
Пусть с нас льется пот ручьями!

Сколько жизни и веселья кипело в этом бодром, крепком старике! В день его смерти я еще сидел с ним рядом за столом. Мы обедали у барона и баронессы Стампе, которые зимой жили в Копенгагене на Кронпринцессегаден. Кроме нас, там были Эленшлегер, художники Сонне и Константин Хансен. Торвальдсен был необыкновенно весел, пересказывал разные остроты из «Корсара», которые его очень забавляли, и говорил о своей предполагаемой поездке в Италию. День был как раз воскресный, и вечером в Королевском театре должна была состояться премьера трагедии Хальма «Гризельда». Эленшлегер собирался в этот вечер что-то читать у Стампе. Торвальдсена больше тянуло в театр, и он звал меня с собою, но в этот вечер мой авторский билет был недействителен, и я, зная, что пьеса пойдет и завтра, решил подождать. На прощание я протянул Торвальдсену руку и пошел к дверям, а он остался подремать в кресле и уже закрыл глаза. В дверях я обернулся, а он как раз в эту минуту открыл глаза, улыбнулся мне и кивнул. Это было его последнее «прости».

Весь этот вечер я просидел дома, а утром слуга отеля «Du Nord», где я жил, сказал мне: «Странная это штука — умереть вот так, в одночасье, как Торвальдсен вчера!» — «Торвальдсен! — воскликнул я в замешательстве. — Но он и не думал умирать! Я обедал с ним вчера!» — «Говорят, он умер вчера в театре!» — сказал слуга. «Он, верно, только заболел!» — с надеждой попытался возразить я, но сердце мое сжалось в предчувствии недоброго. Я схватил шляпу и поспешил на квартиру к Торвальдсену. Тело его лежало на кровати. Комната была полна чужих людей, на полу стояли лужи от снега, нанесенного ими с улицы, воздух был тяжелый, спертый, никто не говорил ни слова. Баронесса Стампе сидела подле постели и горько плакала. Я был глубоко потрясен.

Похороны Торвальдсена превратились в день национальной скорби.

Все тротуары, все окна домов были сплошь заняты мужчинами и женщинами в трауре; все невольно обнажали головы, когда пе-

чальная процессия следовала мимо. Тишина и порядок были удивительные; даже буйные уличные мальчишки стояли смиренно, держась за руки и образуя цепь от самого Шарлоттенборга вдоль всех улиц, по которым везли гроб. У собора Богоматери процессию встречал сам король Кристиан VIII. Вот зазвучал церковный орган, раздались дивные, могучие звуки траурного марша Хартманна, и казалось, будто сами хоры ангелов присоединились к оплакивавшим Торвальдсена людям. Студенты пропели над гробом мою песню «Покойся с миром», музыку для которой также написал Хартманн:

Дорогу дайте к гробу беднякам —  
Из их среды почивший вышел сам!  
Страну родную он режцом прославил  
И память по себе в веках оставил.  
Так гимном плач пускай звучит в устах:  
Покойся с миром, славный прах!\*

## X

Летом 1842 года я дал актерам труппы Королевского театра для летних спектаклей маленькую вещицу «Птица на грушевом дереве». Пьеска имела такой успех, что дирекция включила ее в репертуар театра, а госпожа Хейберг даже настолько заинтересовалась ею, что взяла на себя исполнение роли главной героини. Публике пьеска казалась весьма забавной, подбор мелодий находили в высшей степени удачным, и я был вполне спокоен за ее участь, как вдруг на одном из зимних представлений ее освистали. Свистели несколько молодых людей, разыгрывавших роль вожаков толпы; когда же их спросили о причине, они отвечали: «Эта пустяковая вещица пользуется уж чересчур большим успехом. Андерсен может уж слишком много о себе вообразить!» Сам я в этот вечер не был в театре и не подозревал ни о чем. На другой день мне случилось быть в гостях. У меня болела голова, и я выглядел несколько удрученно, а хозяйка дома, думая, что мое настроение вызвано вчерашним инцидентом, с участием взяла меня за руку и сказала: «Ну, стоит ли горевать из-

---

\* Перевод А. и П. Ганzenов.

за какой-то пары свистков, ведь вся остальная публика была на вашей стороне!» — «Свистки! Моя сторона! — вскричал я. — Так меня освистали?» И хозяйка пришла в настоящий ужас, что она первая сообщила мне такую новость.

На следующем представлении я тоже не присутствовал, но по окончании спектакля у меня в квартире разыгралась комическая сцена. Ко мне зашли выразить свое сочувствие несколько добрых друзей. Первый явившийся заверял, что сегодняшнее представление обернулось для меня настоящим триумфом: все шумно аплодировали и раздался всего-навсего один свисток. Явился второй приятель. Я спросил, много ли было свистков. «Два!» — ответил он. Следующий сказал: «Всего лишь три, никак не больше!» Затем пришел один из моих лучших друзей, милейший, наивно-откровенный Хартманн. Он не знал, что сказали мне другие, и когда я попросил его по совести сказать мне, сколько было свистков, ответил, приложив руку к сердцу: «Самое большее — пять!» — «Ну, нет! — вскричал я. — Уж лучше я больше не буду спрашивать, — количество все растет и растет, прямо как у Фальстафа! Ведь только что один из этих господ уверял меня, что был всего лишь один свисток!» Желая поправить дело, добрейший Хартманн выпалил: «Да, пожалуй, что и один, но чертовски сильный!»

На следующий день балетмейстер Бурнонвиль прислал мне премилое стихотворение собственного сочинения, озаглавленное «Древо поэта»; оно напечатано в приложении к его воспоминаниям. В заключительных его строках о моем поэтическом древе сказано следующее:

Ты грушами попотчевал нас летом,  
А перезрели, что же — прочь их с глаз,  
Пусть виноград взрастет на древе этом,  
И гроздьями попотчуеть ты нас.  
А посему утишь свою тревогу,  
Не дай унынью сердце омрачить!  
Скажи-ка, разве благодарны Богу  
Все, кто должны Его благодарить?  
Не будь же сам перед Творцом невеждой!  
Ведь от Него и речь твоя, и слух.

Поэт живет трудами и надеждой:  
Бессмертен он, его творенья — дух!

Письмо в стихах к моему другу Х.К.Андерсену  
от преданного и искренне расположенного к нему  
Августа Бурнонвиля.  
Копенгаген, 13 ноября 1842 г.

Многие газеты безжалостно осмеивали «Птицу на грушевом дереве», а заодно уж вспоминали и свои прежние нападки на «Базар поэта». Кстати сказать, Эленшлегеру оба произведения весьма понравились, и он поддерживал меня. Хейберг же в «Листках для интеллигенции» так отозвался о моей пьеске:

«Было бы слишком уж педантично со стороны дирекции театра протестовать против включения в репертуар вещиц подобного рода — ведь эта пьеса столь же мала и незначительна, сколь и невинна, а потому если и не приносит репертуару пользы, то уж, во всяком случае, не доставляет и особого вреда. Театр часто нуждается в таких безделицах, которыми можно дополнить вечернее представление; они даже могут доставить некоторым удовольствие, но уж никак не оскорбить публику. Что же касается данной наивной пьески, то ей нельзя отказать в наличии определенных поэтических достоинств!»

Несмотря на то что Хейберг в то время не испытывал никаких особых дружеских чувств ни ко мне лично, ни к моему творчеству, он все же, будучи при всей своей критичности человеком талантливым и принципиальным, верно подметил одно обстоятельство, а именно: я стал жертвой закулисной борьбы противостоящих друг другу партий. В той же самой рецензии он пишет: «Жестокая оценка публикой “Птицы на грушевом дереве” — проявившаяся, однако, лишь во время третьего или четвертого представления пьесы — могла бы быть выражена гораздо более богоугодным способом (если вообще можно говорить о том, что Богу это было угодно) и учесть попытку автора — правда, достаточно неуклюжие и неумелые — спасти дурной сюжет, что, впрочем, отнюдь не увенчалось успехом. Однако “Птица на грушевом дереве” — настолько крохотная и невинная пташка, что сама по себе не могла вызвать столь бурную реакцию у спокойного и уравновешенного человека, пусть даже ему и не по вкусу пришлось ее трели. Не-

истовое шиканье и свист, которые при последнем звуке театрального колокола знаменовали собой конец недолгой жизни несчастной пернатой твари, ожесточенный отпор, который получила пьеса, как если бы речь шла о чем-то действительно принципиальном, — все это не что иное, как проявления нашего доморощенного управляемого фанатизма».

Десять лет спустя Хейберг — тогда директор Королевского театра, который владел правами на данную пьесу, — отдал ее в распоряжение театра «Казино». К тому времени успело подрасти новое поколение более благосклонных ко мне зрителей, пьеса имела шумный и прочный успех, выдержала немало представлений и идет до сих пор.

8 октября 1842 года умер Вайсе, мой первый покровитель, с которым я часто встречался у адмирала Вульфа и даже работал вместе над «Кенильвортом», но особенно близких, дружеских отношений между нами как-то не установилось. Он вел, в сущности, такую же одинокую жизнь, как и я, несмотря на то что его — как, смею думать, и меня — многие любили и охотно принимали у себя. Но у меня уж натура такая: я — перелетная птица, летаю по всей Европе, а самым далеким его полетом были поездки в Роскилле. Там жило одно знакомое ему семейство, там он чувствовал себя как дома, мог импровизировать на соборном органе; в Роскилле его и похоронили. Ему и в голову никогда не приходило путешествовать, и я помню шутовское замечание, с которым он обратился ко мне, когда я посетил его раз, вскоре по возвращении из Греции и Турции. «Ну, вот и ваш вояж окончился там же, где и мой! И вы теперь, как и я, на Кронпринцессегаде, смотрите на Королевский сад, а сколько денег-то потратили! Нет, коли уж хотите путешествовать, поезжайте себе в Роскилле; довольно и этого, а нет — так подождите, пока можно будет летать на Луну и другие планеты!»

У меня хранится одно письмо, в высшей степени характерное для него, относящееся ко времени первых постановок «Кенильворта». Начинается оно словами:

«Carrisme domine poeta!»\*

Копенгагенские tygodumy оказались не в состоянии постичь смысл того, что происходит в финале второго акта нашей с Вами оперы...» и т.д.

\* «Дражайший господин поэт!» (лат.)

В память Вайсе предлагалось поставить спектакль «Кенильворт». Это было его последнее и, может быть, именно поэтому любимейшее произведение. Он сам выбрал сюжет, вставил в текст много собственных стихов, и я думаю, что если его бессмертный дух сохранил и на том свете земную привязанность к своим творениям, то его больше всего порадовала бы постановка в этот день именно «Кенильворта», произведения, не оцененного по достоинству при его жизни. Но потом дирекция передумала и поставила трагедию Шекспира «Макбет», к которой Вайсе также написал музыку, однако, по моему мнению, наименее характеризующую его дарование.

Удивительно, что тело покойного долго не остывало, и даже в день погребения ощущалось еще некоторое тепло. Узнав об этом, я принялся упрашивать докторов еще раз хорошенько осмотреть его и испытывать все средства, чтобы вернуть его к жизни. Те после тщательного осмотра объявили, однако, что Вайсе действительно мертв и что в подобном явлении нет ничего необыкновенного. Тогда я стал просить докторов по крайней мере перерезать ему артерии раньше, чем гроб заколотят наглухо, но просьба моя осталась неисполненной. Эленшлегер, услышав о ней, подошел ко мне и со свойственной ему в некоторых случаях горячностью сказал: «С чего это вам вздумалось уродовать тело несчастного!» — «Это, по-моему, лучше для него, чем проснуться в могиле! И вы, наверное, тоже не захотели бы этого, когда умрете!» — «Я?!» — воскликнул он и даже отшатнулся. К прискорбию, Вайсе действительно был мертв. Над его могилой звучала моя песня:

Мы предали земле усталый прах,  
Но дух вознесся, обретая силу:  
Был одинок — у многих на глазах,  
И одиноким он сошел в могилу.  
Был одинок, когда, душой скорбя,  
Пел юности любовь, смиряя горе:  
Увековечила его любовь себя  
В мелодии «Как светлы волны в море»!  
Садился за орган — и тот же миг  
К небесному мы возносились своду,  
Он в душу Севера музыкою проник  
И кладезь песен подарил народу.

Как море, щедр, обилен и здоров  
 Был дух его — да обретет он счастье!  
 Скончался *Вайсе!* Не осталось слов —  
 Лишь слезы и молитва в нашей власти.

Из гонораров за последние труды я путем строжайшей экономии скопил небольшую сумму и решил съездить на эти деньги в Париж. В конце января 1843 года я выехал из Копенгагена.

С учетом времени года я отправился в Шлезвиг и Гольштейн через Фюн. Должен признаться, мне более чем хватило сомнительной поэзии зимних раскисших дорог, об отсутствии которой остается лишь лицемерно пожалеть тем, кто предпочитает им благословенное железнодорожное сообщение. Я порядком устал и натерпелся неудобств, пока добрался наконец до Итцехо, а оттуда до милого моему сердцу Брайтенбурга. Его превосходительство Ранцау-Брайтенбург оказал мне самый сердечный и гостеприимный прием; мне снова довелось провести несколько чудесных дней в его старинном замке. Шумели весенние грозы, однако солнечные лучи с каждым днем становились все теплее и теплее, над зеленью полей звенели песни жаворонков, я бродил по знакомым окрестностям, дни и вечера здесь слились для меня в один сплошной праздник.

Я никогда не интересовался политикой и не вникал ни в какие политические проблемы. И вот здесь я впервые получил возможность убедиться в наличии некоторой напряженности в отношении отдельных подданных герцогств к королевству. Я-то вовсе не думал об этом, когда в посвящении к одной из частей «Базара поэта» написал: «Моему соотечественнику голштинцу профессору Россу». Теперь же я увидел, что с проблемой единого отечества все обстоит вовсе не так гладко. Однажды я услышал, как некая дама сказала: «Unzer Herzog»\*, — имея в виду короля. «Почему вы не говорите о нем “король”?» — спросил я, демонстрируя свою полнейшую политическую неосведомленность. «Для нас он не король, а герцог!» — отвечала дама. Вслед за этим кто-то из гостей отпустил еще пару резких замечаний политического характера. Граф Ранцау, искренне любивший короля, Данию и датчан, будучи к тому же радушным хозяином, попытал-

\* «Наш герцог» (нем.).

ся обратить все сказанное в шутку. «Бывают же чудаки!» — шепнул он мне, и я решил, что, верно, попал в общество каких-то оригиналов, имевших свое особое мнение, отличавшееся от взглядов большинства.

Как известно, незадолго перед описываемым временем в Гамбурге случился жуткий пожар; весь город вплоть до самого Альстера выгорел чуть ли не дотла. Отдельные здания начали восстанавливать, но от большинства домов остались лишь обугленные балки и каменные руины башен. Лишь вдоль Юнгфернштиг и Эспланады были построены ряды крохотных каменных лавочек, где теперь вели свою торговлю владельцы сгоревших магазинов. Иностранцу найти пристанище в городе было крайне трудно; мне, однако, посчастливилось отыскать лучшее из всех: граф Хольк, заведующий отделом переписки датского посольства, гостеприимно распахнул передо мной двери своего дома, где меня встретили как самого дорогого гостя.

В Гамбурге я провел несколько приятных часов у гениального художника Шпектера. Он как раз принялся тогда за иллюстрации к моим сказкам. Эти превосходные, полные жизни и юмора рисунки были помещены потом в одном английском издании, а также в одном из наименее удачных немецких. Переводчик переделал, например, моего «Гадкого утенка» («Grimme ælling») в «Зеленую утку» («Grüne Ente»), а потом заглавие это превратилось во французском переводе, сделанном с этого немецкого, в «Маленькую зеленую уточку» («Le Petit Canard Vert»)!

Железной дороги в тех местах тогда еще не было, и мне пришлось круглые сутки тащиться в почтовом дилижансе по скверным дорогам через Люнебургскую пустошь, Хаарбург и Оснабрюк до Дюссельдорфа, куда я прибыл в последний день карнавала. Теперь я имел возможность сравнить немецкий и римский карнавалы, хотя, как говорили, в Германии лучшие уличные шествия устраивали в Кёльне. В Дюссельдорфе, как писали газеты, «веселью особо благоприятствовала прекраснейшая погода». Я видел шутовскую процессию — мальчиков в костюмах кавалеристов, самих гарцевавших наподобие лошадок, на которых они должны были бы скакать. Побывал я и в комическом аналоге «Вальгаллы» — «Наргале», пользовавшейся большим успехом у посетителей. Говорили, что праздничные действия явились плодами усилий художника Ашенбаха, с которым я успел познакомиться и подружиться. Вообще среди художников дюссель-



дорфской школы я встретил немало своих прежних приятелей, знакомство с которыми я свел во время первого своего посещения Рима.

Здесь же повстречал я и своего соотечественника фон Бенсона, уроженца Оденсе. Когда-то он был первым, кто нарисовал мой портрет. Это был его дебют в качестве художника, и портрет, надо сказать, вышел прямо-таки ужасным: это была какая-то тень человека, или даже не человека, а высохшей мумии. Поэтому мой издатель Рейцель поспешил выкупить рисунок у автора. Здесь же, в Дюссельдорфе, Бенсон вырос в настоящего художника; недавно он закончил писать полотно «Кнуд Святой», изображающее сцену убийства короля в церкви Св. Альбана в Оденсе. Картина мне понравилась, однако мне показалось досадным, что художник не включил в свое полотно один образ, способный, несомненно, придать картине особый колорит, а именно — фигуру предателя Блаке Светлого. Странно, что Бенсон никогда не слышал о нем — ведь его имя даже стало нарицательным в датском языке. Однако что сделано — то сделано.

Через Кёльн и Льеж, где дилижансом, где по частично построенной железной дороге, я добрался до Брюсселя; там я слушал Ализара в «Фаворитке» Доницетти, провел несколько скучных часов за созерцанием пышнотелых белокурых красоток Рубенса с их простоватыми лицами и в бесцветных одеждах, исполнился благоговения в величественных церквях и соборах и постоял в задумчивости перед старинной городской ратушей, отбрасывающей тень на площадь, где некогда был обезглавлен Эгмонт. Шпили и причудливые завитушки, украшающие это здание, напоминают сказочный узор брюссельских кружев.

В поезде, идущем в Монс, мне удалось занять место у двери вагона, чтобы по пути наслаждаться видом окрестностей. Увлечшись, я не заметил, что дверь эта не заперта, облокотился на нее, и если бы не сосед, с силой втащивший меня обратно, я полетел бы вниз головой прямо на насыпь. Порядком испугавшись, я отсел подальше. Во Франции была уже весна, поля зеленели, ярко светило солнце. Я видел Сен-Дени, по пути полюбовался на новые военные укрепления в предместьях Парижа и вот наконец оказался в номере гостиницы «Валуа» на улице Ришелье прямо напротив здания библиотеки.

Еще до моего посещения Парижа Мармье поместил обо мне в «Ревю де Пари» статью «Жизнь одного поэта», а Мартэн перевел на французский язык некоторые из моих стихотворений и даже посвятил мне одно

собственное, также напечатанное в упомянутом журнале. Итак, мое имя было уже известно здесь многим в литературных кругах, где я нашел весьма радушный прием. Мне даже посчастливилось дружески сойтись с Виктором Гюго, чего не удалось в свое время Эленшлегеру, который жаловался на это в своих воспоминаниях, — так как же мне было после этого не чувствовать себя польщенным! Виктор Гюго прислал мне билет на представление в «Театр Франсэ» своей последней трагедии «Бургтрафы»; каждый ее показ сопровождался свистками, на маленьких же частных сценах то и дело давали пародии на нее. Жена Виктора Гюго была красивой женщиной, отличавшейся тою свойственною француженкам любезностью, которая так очаровывает иностранцев. Обо мне, как о поэте, она к тому времени могла судить лишь по одному небольшому стихотворению, переведенному, как мне кажется, Мармье.

*Посвящается  
супруге писателя Виктора Гюго*

Недалеко, в двух днях пути, не дале,  
Там — Дания, край буков и полей;  
Жаль, Тихо Браге из нее изгнали,  
Но Торвальдсен, как море, дорог ей;  
Она же — лира северного края.  
Там я родился. Датский — мой язык.  
Там пел я девам, радость воспевая,  
Свободно петь я с музами привык;  
А в келье той, куда вернусь я скоро,  
Гостили песни твоего Виктора:  
И «Нотр Дам», и «Анжело», и «Эрнани»  
И «Ласточки осенние» — они  
Все принесли мне радость узнаваний:  
Его я полюбил, он мне сродни.  
Тебе, его любовь, его супруга,  
К ногам слагаю песенный букет:  
Пусть знает муж, что приобрел он друга  
На Севере — меня... И целый свет.

Меня стали приглашать в свой дом мсье и мадам Ансело, где я встречал не только французских, но и иностранных художников

и писателей. Так я познакомился у них с немецким писателем и литературным критиком Рельштабом и испанцем Мартинесом де ла Роса. С последним я долго разговаривал, не зная, кто он такой; впечатление от нашей беседы и от его личности вообще побудило меня осведомиться у мадам Ансело, кто этот господин. «Разве я не представила вас друг другу? — удивилась она. — Это известный политик и писатель Мартинес де ла Роса!» Она представила меня Роса; тот сразу стал расспрашивать о живущем в Копенгагене старом графе Йолди и рассказал собравшимся, как любезно и чутко обошелся с этим испанским вельможей наш король Фредерик VI. Граф попросил у короля совета, к какой партии ему примкнуть на родине, и когда оказалось, что избранная им сторона потерпела поражение, датский король предоставил ему приют и взял к себе на службу. Общая беседа мало-помалу переключилась на Данию. Среди нас оказался один молодой дипломат, побывавший у нас в стране с какой-то миссией в связи с коронацией Кристиана VIII, и из его уст присутствующие услышали восторженный рассказ — показавшийся мне как датчанину достаточно своеобразным, хотя и крайне лестным — о Фредериксборге и состоявшихся там празднествах. Он с упоением описывал могучие зеленые дубравы, возвышающийся посреди водной глади старинный замок в готическом стиле, огненные всполохи солнца на позолоченной крыше собора, а также поведал — что весьма меня позабавило, ибо он считал это повседневным явлением, — что все высокопоставленные датские сановники ходят в расшитых золотом белых шелковых одеждах, шляпах с перьями и бархатных плащах, настолько длинных, что на улице им приходится перекидывать шлейфы через руку. Он видел все это собственными глазами! Что ж, я вынужден был подтвердить его слова, вот только случается это лишь во время коронации.

Ламартин показался мне благодаря всей окружающей его обстановке и манерам королем французских литераторов. Я извинился, что так плохо говорю на его родном языке, а он с изысканной французской вежливостью ответил, что это он заслуживает упрека за то, что не понимает языков скандинавских стран, обладающих, как он узнал, столь своеобразной, свежей и богатой литературой. На севере сама почва настолько полна поэтическими находками, что стоит только наклониться, чтобы поднять древний

золотой рог! Он расспрашивал меня о «Трольхеттанском канале», высказав желание посетить Данию проездом по пути в Стокгольм, вспоминал о том, как принимал у себя в Каstellамаре нашего ныне властвующего короля Кристиана VIII. Вообще он поразил меня своей осведомленностью о таких личностях и местах у меня на родине, знакомство с которыми трудно было ожидать от француза. Жена его принадлежала к тому разряду милейших, искренних людей, к которым привязываешься навсегда, стоит всего лишь раз увидеть их умные и спокойные глаза. Перед моим отъездом из Парижа Ламартин подарил мне следующее небольшое стихотворение, написанное им специально для меня:

С вешней ветки сорвавши цветок заревой,  
Им заложишь страницу, бывало... Потом  
Минут зимы, и тот же откроется том —  
Тот же запах пьянящий, весенний, живой...  
Пусть по смерти моей стих, написанный мной,  
Вам напомнит потом обо мне — о живом.

Париж, 3 мая 1843 года  
Ламартин

Жизнерадостного Александра Дюма я заставлял обыкновенно в постели, хотя бы дело было уже и за полдень. У кровати его всегда стоял столик с письменными принадлежностями — он как раз писал тогда новую драму. Однажды, когда я пришел к нему и застал его пишущим, он приветливо кивнул мне головой и сказал: «Посидите минутку — у меня как раз с визитом моя муза, но она сейчас уйдет!» И он продолжал работать, разговаривая вслух с самим собой. Наконец с криком «Виват!» он выпрыгнул из постели и сказал: «Третий акт готов!» Жил он в отеле «Принцесса» на улице Ришелье. Жена его находилась во Флоренции, а сын, пошедший впоследствии в литературе по стопам отца, имел собственную квартиру здесь же в Париже. «Я живу холостяком! Не взыщите — каков уж есть!» — говаривал он мне. Однажды он целый вечер водил меня по разным театрам, чтобы познакомить с миром кулис. Мы побывали в «Пале-Рояле», разговаривали с Дежазе и Анаис, а потом двинулись под ручку по бульвару к «Театру Св. Мартина». «Теперь можно заглянуть в царство коротеньких юбочек! — сказал Дю-

ма. — Зайдем?» Мы вошли внутрь и сразу же очутились среди кулис и декораций, пересекли море из «Тысячи и одной ночи», в общем, попали в сказочное царство, где царили шум, гам, толкотня рабочих сцены, хористок и танцовщиц. Дюма был моим проводником в этом запутанном лабиринте. На обратном пути нас остановил на бульваре какой-то юноша. «Это мой сын! — сказал Дюма. — Он родился, когда мне было восемнадцать лет; теперь он в таких же летах, а у него еще нет никакого сына!» Это был столь знаменитый впоследствии Александр Дюма-сын.

Все тому же Дюма обязан я и знакомством с Рашелью. Я еще ни разу не видел ее на сцене, и вот однажды он спросил меня, не хочу ли я познакомиться с нею. Разумеется, это было моим заветнейшим желанием! Как-то вечером, когда Рашель играла в «Федре», Дюма повел меня в Театр Франсэ. Бывая со мною в других театрах, он обыкновенно без всяких церемоний прямо вел меня за кулисы; здесь же он попросил меня подождать немного и уже потом, вернувшись обратно, повел меня к королеве французской сцены. Спектакль уже начался; мы прошли за одну из передних кулис, за которой было отгорожено ширмами что-то вроде отдельной комнатки, где стояли стол с прохладительными напитками и несколько табуретов. Здесь сидела молодая женщина, та самая, которая, по словам одного французского писателя, могла изваять из мраморных глыб Расина и Корнеля живые статуи. Она была весьма худощава, изящного сложения и очень молода на вид. На меня она и здесь, и позже у себя дома произвела впечатление воплощения статуи скорби. Она как будто только что выплакала все свое горе, и теперь мысли ее тихо витали в прошлом. Рашель приняла нас очень приветливо; голос у нее был низкий, грудной, почти мужской. Разговорившись с Дюма, она, казалось, совсем забыла обо мне; он, должно быть, заметил это и, указывая на меня, сказал ей: «Вот истинный поэт и ваш искренний почитатель! Знаете, что он сказал мне, когда мы поднимались по лестнице?» «Со мною, того и гляди, сделается дурно, так бьется у меня сердце при мысли, что я сейчас буду беседовать с женщиной, говорящею по-французски прекраснее всех во Франции!» Она улыбнулась и произнесла несколько приветливых слов, пытаясь вовлечь меня в беседу. Я ободрился и сказал, что прибыл в Париж главным образом ради нее, потратив на это гонорар за одну из последних своих книг. Я немало путешествовал и видел

много интересного и прекрасного, но еще не видел Рашель! Затем я извинился за свой дурной французский. Она опять улыбнулась и ответила: «Ну, если вы будете обращаться к француженке с такими любезными речами, как сейчас ко мне, то она всегда найдет, что вы говорите превосходно!» Я рассказал ей, что имя ее прекрасно известно и у нас на севере. «Если я когда-нибудь попаду в Петербург и в Копенгаген, — сказала она, — то попрошу вас быть моим покровителем. Кроме вас, я ведь там никого не знаю. А если вы, как говорите, прибыли сюда, чтобы встретиться со мной, то надо нам познакомиться поближе; милости прошу бывать у меня! Я принимаю своих друзей по четвергам. А теперь... долг зовет!» — заключила она, протягивая нам руку, приветливо кивнула головой и, отойдя от нас на несколько шагов в глубину сцены, сразу как бы выросла, изменилась до неузнаваемости. Перед нами была сама муза трагедии! Из зрительного зала к нам донесся приветствовавший ее взрыв аплодисментов.

Я как северянин не могу привыкнуть к французской манере игры в трагедиях. Та же манера, казалось, была и у Рашель, но у нее все выходило естественно, все же остальные, казалось, лишь копировали ее. Рашель — сама муза французской трагедии, другие актеры и актрисы — всего только убогие люди. Глядя на ее игру, трудно и представить себе, что можно сыграть это как-то по-другому; ее игра — сама правда, сама естественность, но не в том их проявлении, к какому привыкли мы, северяне.

Обстановка в квартире Рашели была роскошная, может быть, даже чересчур рассчитанная на эффект... В первой комнате, зеленовато-бирюзовой, висели лампы с матовыми абажурами и красовались статуи французских писателей. В гостиной — и в обоях, и в мебелировке — преобладал пурпурный цвет. Сама Рашель была одета в черное платье и очень напоминала свой портрет на известной английской гравюре. Общество состояло из мужчин, преимущественно представителей искусства и науки. Впрочем, я услышал и два-три титула: одетый в богатую ливрею лакей громко объявлял имена гостей. Мы пили чай и прохладительные напитки — скорее на немецкий, нежели на французский лад. При мне Рашель говорила также и по-немецки; Виктор Гюго рассказывал, что он слышал, как она раз говорила на этом языке с Ротшильдом, и я спросил ее, правда ли это. Она ответи-

ла мне на немецком: «Да, я и читать могу; я ведь уроженка Лотарингии. У меня есть и немецкие книги. Вот, поглядите!» И она показала мне «Сафо» Грильпарцера, но затем опять перешла на французский. Она высказала, между прочим, свое желание сыграть роль Сафо, потом заговорила о роли шиллеровской Марии Стюарт, которую исполняла. Я видел ее в этой роли и никогда не забуду, с каким истинным величием вела она сцену с Елизаветой. В этот момент она стала даже как будто выше ростом. «Je suis la reine! — tu es — tu es — Elisabeth!»\* В одно лишь слово — Elisabeth — она вложила столько презрения и насмешки, сколько не высказать другим и в целом монологе. Но особенно поразила меня Рашель в последнем действии; она играла настолько просто и достоверно, как способны играть лишь наши северные и, пожалуй, еще германские актрисы. Однако именно в этом-то действии она менее всего и нравилась французам. «Мои соотечественники, — сказала она мне, — не привыкли к такой трактовке этой сцены, а между тем никакая иная здесь не уместна. Нельзя неистовствовать, когда сердце готово разорваться от скорби, когда прощаешься навеки со всеми своими друзьями!»

Главнейшим украшением ее салона были книги в богатых переплетках, стоявшие в роскошных стеклянных шкафах. На стене красовалась картина, писанная маслом, на которой был изображен зрительный зал Лондонского театра; на переднем плане стоит сама Рашель; к ногам ее сыплются букеты и венки. Под этой картиной висела небольшая аккуратная полочка с творениями, как я их называю, «благороднейших аристократов среди всех поэтов»: Гёте, Шиллера, Кальдерона, Шекспира и др. Рашель много расспрашивала меня о Германии и о Дании, об искусстве и о театре, ободряя меня ласковой улыбкой либо дружеским кивком, когда я, преодолевая трудности языка, приостанавливался, чтобы найти нужное выражение. «Продолжайте! — говорила она. — Хотя вы, и правда, не вполне владеете французским — я слышала иностранцев, говоривших куда лучше, — но их речи не так меня интересовали, как ваши. Я понимаю вашу душу, а это самое главное; она-то в особенности и интересует меня». На прощание она написала мне в альбом:

---

\* «Я королева, а ты — ты — Елизавета!» (фр.).

«L'art c'est le vrai.

J'espere que cet aphorisme ne semblera pas paradoxal à un écrivain aussi distingué que Monsieur Andersen.

Rachel

Paris le 28 Avril 1843\*».

Еще одного милого знакомого приобрел я в лице Альфреда де Виньи. Он был женат на англичанке, и в их доме приятно поражало сочетание всего лучшего, что есть в обеих нациях. В последний вечер моего пребывания в Париже Альфред де Виньи явился в мою маленькую комнатку отеля «Валуа», находившуюся под самой крышей, в такое время — около полуночи, когда человека его духовного склада и общественного положения можно было бы, скорее всего, искать в богатых салонах. Он пришел, чтобы лично передать мне свои произведения и проститься со мною. В словах его слышалось столько искренности, а в глазах было столько сердечности и теплоты, что я, прощаясь с ним, невольно прослезился.

Часто виделся я и со скульптором Давидом; прямотой и вообще всем своим характером он несколько напоминал мне Торвальдсена и Биссена. Познакомились мы с ним уже под конец моего пребывания в Париже; он сожалел, что это случилось так поздно, и спрашивал, не могу ли я остаться здесь подольше, — тогда бы он выполнил мой бюст в медальоне. «Да ведь вы же совсем не знаете меня как поэта! Может быть, я вовсе не стою такой чести!» — сказал я ему, но он посмотрел мне прямо в глаза, потрепал меня по плечу и ответил с улыбкой: «Я читаю в вашей душе еще до того, как прочту ваши произведения. Вы — поэт!»

В салоне графини Бокарме, где я познакомился также с Бальзаком, я увидел однажды пожилую даму, обратившую на себя мое особое внимание. Лицо ее носило отпечаток высоких душевных качеств и сердечности — это поразило меня еще на ее портрете, выставленном в тот сезон на художественной выставке в Лувре. Графиня представила нас друг другу; это оказалась госпожа Рейбо, автор расска-

---

\* Искусство есть истина. Надеюсь, что этот афоризм не покажется парадоксальным столь изысканному писателю, как господин Андерсен. Рашель. Париж, 28 апреля 1843 г. (фр.).



за, сюжетом которого я воспользовался в своей драме «Мулат»; я рассказал ей об этом, а также о том, как у нас была принята эта пьеса. Ей все показалось крайне интересным, и она с того вечера взяла меня под свое особое покровительство. Однажды мы целый вечер провели вместе, обмениваясь мыслями; она поправляла меня, когда я делал ошибки во французском, заставляла меня повторить, если я произносил фразы неверно, — словом, относилась ко мне с истинно материнскою добротой. У меня она оставила впечатление высокоодаренной женщины с ясными и верными взглядами на жизнь.

Здесь же, в салоне, познакомился я, как уже говорил, и с Бальзаком; у него была очень элегантная наружность, и одет он был щегольски. Улыбаясь, он обнаруживал великолепные блестящие белые зубы между пунцовыми губами и вообще выглядел бонвиваном, но был неразговорчив — по крайней мере в этом обществе. Какая-то дама, писавшая стихи, вцепилась в нас обоих, усадила нас на диван, сама уселась посередине и все говорила о том, что чувствует себя между нами такой маленькой, маленькой!.. Я повернул голову и встретился за ее спиною взглядом с Бальзаком; он улыбался и вдруг, забавно вывернув губы, состроил мне комическую гримасу. Такова была наша первая встреча с ним.

Однажды, проходя по Лувру, я встретил человека, лицом, фигурой и походкой — настоящего двойника Бальзака. Но одет этот человек был в плохое, поношенное и грязное платье; сапоги его были стоптаны, на панталонах висела грязная бахрома, шляпа — сплюснута... Я был поражен. Человек улыбнулся мне. Я прошел мимо, но такое сходство показалось мне невероятным; я развернулся, догнал его и спросил: «Вы не Бальзак?» Он засмеялся, показав мне свои белые блестящие зубы, и сказал в ответ лишь следующее: «Завтра господин Бальзак уезжает в Петербург!» Потом он пожал мне руку своей мягкой, податливой рукой, кивнул на прощание и ушел. Положительно, это был сам Бальзак! Он, вероятно, бродил в таком одеянии по Парижу, открывая его тайны; вполне возможно, разумеется, что это был и другой человек, сильно похожий на Бальзака и развлекавшийся подобного рода мистификациями. Когда несколько дней спустя я рассказал об этой встрече графине Бокарме, она передала мне поклон от Бальзака, который действительно уехал в Петербург.

Возобновил я знакомство и с Генрихом Гейне. Он успел за это время жениться здесь, в Париже. Я нашел его несколько нездоровым, но полным энергии. На этот раз он был со мною так искренен, сердечен и прост, что я перестал бояться показаться ему таким, каков я есть на самом деле. Однажды он пересказал своей жене по-французски мою сказку «Стойкий оловянный солдатик» и затем привел меня к ней и представил как автора. Предварительно он, впрочем, спросил меня: «Вы будете издавать описание этого путешествия?» Я сказал: «Нет!» — «Ну тогда я покажу вам свою жену!» Она оказалась весьма живой, хорошенькой и молоденькой парижанкой. Вокруг нее резвилась целая куча детей. «Это все соседские. Своих у нас нет!» — сказал мне Гейне. Я тоже стал возиться с детьми, а Гейне удалился в соседнюю комнату и написал мне в альбом такое стихотворение:

Всё в солнечных бликах сверкает и дышит.  
И смех и песни! Волна колышет  
Веселый челнок. Несет он меня  
И милых друзей в сияние дня.

Но буря пронеслась над нами,  
Друзья погибли под волнами  
Вблизи отчизны, и только я  
Был брошен на берег бытия.

На новом корабле плыву я  
Средь новых товарищей, сердцем тоскуя, —  
Чужие волны, под нами дыша,  
Несут нас — по родине плачет душа.

И снова песни и смех, и грозно  
Корабль скрипит, кренится... Но поздно:  
Последней надежды гаснет звезда...  
На родине мне — не быть! Никогда!

«Эти строки в альбом моего любезного друга Андерсена написаны мною 4 мая 1843 года в Париже.

Генрих Гейне».

Встречи с этими людьми, к числу которых я мог бы добавить и прочих, таких, как композиторы Калькбреннер и Гати, а также одного из издателей «Gazette musicale» Ампера, объездившего Данию, Норвегию и Швецию, — встречи с ними сделали мое парижское путешествие приятным и богатым впечатлениями. Я совсем не чувствовал себя здесь чужим. Теплый прием, оказанный мне всеми этими великими современниками, я расценивал как своего рода аванс тем трудам, которые, как они ожидают, в будущем должны выйти из-под моего пера; я чувствовал себя обязанным не разочаровать их. Кроме того, будучи в Париже, я постоянно вращался в кругу моих молодых соотечественников, знакомство с которыми мне довелось свести ранее. Этими людьми, чьи высокие дарования и прекрасные душевные качества не нуждаются в дополнительных рекомендациях, были Лэссё (впоследствии павший при Истедде), Орла Леман, Кригер, Бунтсен, Ширн и один из самых любезных моему сердцу и наиболее близких моих друзей Тэодор Коллин.

На этих же днях получил я весьма приятное и обнадеживающее доказательство интереса ко мне и моим произведениям в Германии. Некое немецкое семейство — одно из самых милых и интеллигентных, каких я только знал, — прочитав переводы моих произведений и мою краткую биографию, предпосланную изданию романа «Всего лишь скрипач», почувствовало такую сердечную симпатию ко мне, что написало мне письмо, в котором высказывало свое неподдельное восхищение и приглашало меня на обратном пути на родину проехать через их городок и погостить у них в доме, если только мне там придется по душе. Письмо дышало самыми искренними и теплыми чувствами; кроме того, это было первое письмо, полученное мною в Париже. Какая разница с первым письмом, пришедшим ко мне с родины в предыдущий мой приезд сюда! Об этом также упоминалось в полученном мною послании из Германии; как видно, корреспонденты мои знали об этой истории и писали мне: «Надеемся, что это наше искреннее послание из немецкой страны явится для Вас более приятным приветом на чужбине!» Я принял приглашение и был встречен в этом доме как родной. Я охотно бывал у этих людей и впоследствии — чувствовал, что меня полюбили там не только как писателя, но и как человека.

И сколько подобных доказательств интереса к моим произведениям получал я впоследствии! Одно из них я хочу здесь привести вследствие его оригинальности. В Саксонии проживало одно богатое, почтенное семейство; хозяйка дома прочла мой роман «Всего лишь скрипач», и он произвел на нее такое впечатление, что она пообещала в случае, если встретит бедного ребенка с большим музыкальным талантом, не дать ему погибнуть, как моему бедному скрипачу. Отец Клары Шуман, музыкант Вик, слышал ее слова и вскоре привел ей не одного, а целых двух бедных мальчуганов — братьев, отличавшихся музыкальными дарованиями, — и напомнил ей данное обещание. Переговорив предварительно с мужем, она сдержала свое слово. Оба мальчика были взяты ею в дом, получили хорошее воспитание и образование в консерватории. Как-то раз младший из них играл для меня, и я радовался, видя, какое у него было одухотворенное, счастливое лицо. Теперь оба они, кажется, музыканты в оркестре одного из лучших германских театров. Конечно, можно справедливо заметить, что эта добрая дама могла бы сделать для бедных мальчиков то же самое, вовсе не читая моего романа, но раз это случилось так, а не иначе, то я и привожу этот факт, явившийся для меня одним из звеньев цепи выпавших на мою долю радостей.

В обратный путь из Парижа я двинулся вниз по Рейну. Мне было известно, что где-то в одном из городов, мимо которых мы следовали, проживает поэт Фрейлиграт, недавно получивший пенсию от прусского короля. Его стихи, живые и выразительные, весьма нравились мне, и я очень хотел встретиться с ним лично. Я расспрашивал о нем в нескольких прибрежных городках, и наконец в Сен-Гоаре мне указали дом, к которому он жил. Я вошел; поэт сидел за рабочим столом и казался весьма раздосадованным визитом помешавшего ему незнакомца. Не представившись, я сказал, что не мог проехать мимо Сен-Гоара, не поприветствовав Фрейлиграта. «Весьма любезно с вашей стороны», — довольно холодным тоном сказал поэт и осведомился о моем имени. Услышав в ответ, что «у нас есть один общий друг — Шамиссо!», Фрейлиграт едва не подпрыгнул от неожиданности, в глазах его сверкнула радость. «Андерсен! — воскликнул он. — Так это вы!» — и заключил меня в объятия. «Вы непременно должны побыть у меня несколько дней», — принялся уговаривать он меня, однако я сказал, что у меня есть всего лишь два часа, так как я

путешествую в компании соотечественников и нам необходимо двигаться дальше. «В нашем маленьком городке у вас множество друзей и почитателей! — поведал мне Фрейлиграт. — Совсем недавно я читал в одном из салонов ваш роман «О.Т.». Как бы там ни было, а одного друга я вам все же представляю — мою жену! Представьте себе, вы ведь, сами того не подозревая, отчасти поспособствовали нашему браку!» И он поведал мне, что «Всего лишь скрипач» стал предметом его переписки с будущей супругой, и в результате дело кончилось свадьбой. Он позвал жену, представил меня ей, и они принимали меня как старинного друга семьи. Когда мы прощались, Фрейлиграт достал какую-то рукопись. «Еще задолго до нашей встречи я написал это для вас, — сказал он. — Как я слышал, вы тогда путешествовали, и я хотел переслать вам это свое стихотворение, однако что-то мне помешало, и оно так и осталось неотправленным». С этими словами он взял лист чистой бумаги и, заглядывая в рукопись, написал на нем:

«Первая строфа незаконченного стихотворения, посвященного Х.К.Андерсену, в конце 1840 года отправившемуся в путешествие на Восток».

Сен-Гоар, 18 мая 1843 года. Ф.Фрейлиграт.

И ты за ними устремись в дали —  
 Ты аистам, я знаю, верный друг.  
 Вдруг крыльев шум — их только и видали,  
 И в воздухе остался только звук.  
 Посмотришь — перья белые кружатся,  
 Блестя на солнце, укрывая луг,  
 И скажешь: «Для чего мне оставаться?»  
 Прочь, прочь отсюда! Я лечу на юг!»

На ночь мы остановились в Бонне, и на следующее утро я отправился с визитом к Морицу Арндту, тому самому пожилому поэту, который впоследствии так «не жаловал» нас, датчан. Я знал его как автора необычайно сильных, вдохновенных строк песни «Was ist das Deutschen Vaterland!»\*. Меня встретил крепкий, румяный, седой как лунь старик. Мы говорили с ним по-шведски; этот язык он выучил,

\* «Германия — Отечество мое!» (нем.).

когда, бежав от Наполеона, гостил у наших соседей. Старец поразила меня поистине юношеской бодростью и живостью ума. Я был ему небезызвестен, кроме того, интереса моей персоне в его глазах добавляло то обстоятельство, что я прибыл из одной из скандинавских стран. В разгар нашей беседы в комнату вошел какой-то человек, представился и сел подле двери, однако ни Арндт, ни я имени его толком не расслышали. Это был красивый юноша с открытым загорелым лицом; в разговор наш он не вмешивался. Лишь когда я собрался уходить, молодой человек поднялся, и Арндт, который провожал меня до дверей, узнал его и радостно воскликнул: «Да это же Эммануэль Гейбель!» Да, это был он, юный поэт из Любека, чьи вдохновенные песни вскоре зазвучали во всех уголках Германии. Ему король Пруссии назначил такой же пенсион, как и Фрейлиграту; как раз к последнему, в Сен-Гоар, Гейбель теперь и отправлялся, намереваясь провести там несколько месяцев. Завязавшееся новое знакомство заставило меня повременить с уходом. Несмотря на юный возраст, в Гейбеле угадывалась какая-то внутренняя целостность и сила. Я смотрел на этих двоих — почтенного, убеленного сединами старца и стройного юношу — и дивился их сходству, ощущая исходящие от обоих свежие волны поэтического вдохновения. Из погреба принесли рейнское, зеленый змий заискрился в бокалах; мои новые друзья называли это вино «майским напитком». Веселый весенний месяц май и стал темой строк, которые на прощание вручил мне престарелый поэт:

«Ты, весна моя, не прячься,  
 Майской радостью звучи,  
 Соловьями обозначься,  
 Флейта, скрипка, не молчи!  
 Пусть весна звучит призывом  
 К немцам: «Племена встают!»  
 Храбрым и благочестивым  
 Посвящаю этот труд.

В этом последнем моем стихотворении запечатлелись мои воспоминания о милом скандинаве, обладающем по-детски кроткой душой.

Бонн, 19 мая 1843 г.

Э.М.Арндт из Рюгена».

Да, один английский писатель назвал меня «the child of fortune»\*, и я с благодарностью должен признаться, что на мою долю действительно выпало немало радостей. Главное мое счастье заключалось в том, что жизнь постоянно сталкивала меня с лучшими, благороднейшими людьми моего времени. Я рассказываю здесь о своих радостях так же, как рассказывал о своих горестях и тяжелых испытаниях, а вовсе не из желания похвастаться, отнюдь не из тщеславия. Приписывать мне в этом случае подобные побуждения было бы крайне несправедливо.

Большей частью своих радостей и признанием меня поэтом я прежде всего обязан чужеземцам, и меня, пожалуй, могут спросить — неужели я так-таки ни разу и не был уязвлен заграничной критикой? С легким сердцем отвечаю — нет! Раз в отечественной печати ни разу не появлялось сообщения о чем-либо подобном, значит, ничего такого и не было. Единственным исключением из общих благоприятных откликов обо мне за границей явился отзыв одного немца, обязанный своим происхождением, однако, датской критике и появившийся как раз во время моего пребывания в Париже. Некий господин Боас, путешествовавший по Скандинавии, описал свою поездку в книге, где, между прочим, попытался дать обзор современной датской литературы. Этот обзор был перепечатан в «Grenzboten»\*\* и в нем обо мне и как о писателе, и как о человеке было высказано довольно много резкого. Не я один, многие из наших писателей — к примеру, Кристиан Винтер — также имели повод быть недовольными им. Господин Боас черпал свои сведения главным образом из слухов и сплетен, ходивших по Копенгагену. Никто не пожелал удостоиться сомнительной чести считаться источником его информации. Так, поэт Х.П.Хольст, который, как следует из упомянутой книги, составлял господину Боасу компанию в путешествии по Швеции, а в Копенгагене неоднократно принимал его у себя, публично заявил по этому поводу в газете «Отечество», что не имеет с господином Боасом ничего общего. По всей видимости, как мне рассказывали, этот молодой человек близко сошелся с юнцами определенного пошиба, которые ради красного словца болтали невесть что о датских писателях и их произведениях, запомнил или записал все это, а затем пересказал в своей книжке. В отношении

---

\* «Дитя счастья» (англ.).

\*\* «Вести из-за границы» (нем.).

меня правдой в ней является лишь то, что если не все, то большинство моих соотечественников в указанное время высказывались крайне нелестно и грубо обо мне как о писателе и о человеке. Характерно, что первые сведения о строгом суде господина Боаса в мой адрес я получил именно от соотечественников, находившихся в тот момент за границей. Немцы же — среди прочих Людвиг Тик — пытались, как могли, сгладить горькие впечатления, вызванные у меня этим печатным пасквилем. Они уверяли, что в Германии у меня множество почитателей и с общим благожелательным отношением ко мне не в состоянии конкурировать никакие копенгагенские аттестации господина Боаса. Я уже писал об этом в «Книге моей жизни без вымысла» и повторяю теперь то же самое и здесь: я уверен, что, явись господин Боас к нам в Данию годом позже, он взглянул бы на меня совсем иначе. За год многое может измениться, и как раз спустя год в общественном мнении произошел крутой поворот в мою пользу. Я издал тогда мои «Новые сказки», которые и укрепили за мной почетное место в ряду отечественных писателей. С того времени мне, собственно, не на что было жаловаться — я и в отечестве своем начал мало-помалу приобретать такую благосклонность и такое признание, каких только вообще мог заслуживать, а может, даже и не заслужил.

Сказки ставятся у нас в Дании, безусловно, выше всего, что я написал, поэтому я и нахожу нужным подробнее поговорить здесь об этих моих произведениях, которые при первом своем появлении были приняты далеко не благосклонно.

Первая моя сказка находится в «Путешествии по Гарцу» в главе «Брауншвейг», где я иронизирую над драмой «Три дня из жизни игрока». В этой же книге можно найти и зародыш «Русалочки»; описание эльфов Люнебургской пустоши тоже, безусловно, принадлежит к сказочным мотивам, что и заметил автор критической статьи, появившейся в «Современном ежегоднике» за 1846 год.

Первый выпуск «Сказок» увидел свет в 1835 году, вскоре после «Импровизатора», и, как уже говорилось, не встретил особенного одобрения. Напротив, многие даже сожалели, что автор, сделавший, несомненно, шаг вперед в «Импровизаторе», снова откатился назад, взявшись за такие ребячьи пустяки, как сказки. Словом, меня упрекали именно за то, что заслуживало поощрения и похвалы, — за ста-



рание выйти на новый путь творчества. Многие из моих друзей, причем именно те, чье мнение я особенно ценил, тоже советовали мне бросить писание сказок; одни говорили, что у меня нет таланта к этому и что это вообще не в духе времени, другие полагали, что уж если я хочу попробовать свои силы в этой области, то мне следовало бы предварительно изучить французские образцы. «Литературный ежемесячник» совсем не говорил о моих сказках — никогда. Отозвался о них в 1836 году один только журнал «Даннора», издаваемый и редактируемый Й.Н.Хёстом. Теперь-то отзыв этот представляется мне довольно забавным, но тогда он, разумеется, изрядно огорчил меня. В нем говорилось, что «сказки эти могут позабавить детей, но считать их мало-мальски назидательными или ручаться за их полную безобидность нельзя. Вряд ли кто сочтет особенно полезным для привития ребенку понятия о приличиях читать о принцессе, разъезжающей по ночам на спинах собак к солдату, который целует ее, после чего сама она объявляет это милое приключение всего лишь волшебным сном», и т.д. «Сказка о принцессе на горошине» была, по мнению критика, «лишена соли», и он находил «не только неделикатным, но даже прямо непозволительным со стороны автора внушать ребенку ложное представление, будто бы знатные особы женского пола всегда так ужасно чувствительны». Критик заканчивал свою статью пожеланием, чтобы автор «впредь не тратил времени на писание «Сказок для детей». А я между тем никак не мог преодолеть свое желание продолжать писать их.

В первом выпуске находились сказки, слышанные мною в детстве; я только пересказал их по примеру Музеуса, сохранив, однако, тот же самый язык и тон — простой, естественный и, по-моему, наиболее подходящий. При этом я понимал, что ученые критики будут высмеивать меня как раз за этот язык, и чтобы выработать у читателей нужную мне точку зрения, я и назвал свои сказки «Сказками для детей». Сам же я всегда имел в виду, что пишу их не только для детей, но и для взрослых. Первый выпуск заканчивался одною оригинальною сказкою, «Цветы маленькой Иды», и ее-то как раз меньше всего и порицали, даром что она была явно сродни рассказам Гофмана; кроме того, истоки ее находятся еще в «Прогулке на Амагер».

Влечение к этому виду творчества все усиливалось во мне, и я не мог преодолеть его, а проблески одобрения, такие, как признание оригинальности какой-либо моей сказки, заставляли меня пытаться написать еще несколько вещей подобного рода. Через год вышел второй небольшой выпуск, а скоро и третий, включавший самую большую из оригинальных моих сказок — «Русалочку». Она-то главным образом и обратила внимание общества на это новое явление в литературе; внимание все возрастало по мере выхода в свет новых выпусков. Появлялись они обыкновенно к Рождеству, и скоро как-то даже вошло в обычай украшать елку книжкой моих сказок. Господин Фистер и госпожа Йоргенсен сделали даже попытку читать некоторые мои сказки со сцены; это было нечто новое, вносившее известную долю разнообразия в набившую уже оскомину декламационную часть программы различных артистических вечеров. Данное нововведение привилось и стало пользоваться, особенно несколько позднее, большим успехом.

Один из самых известных в Германии преподавателей эстетики как-то раз, обсуждая со мной эту декламацию со сцены, дал ей самую высокую оценку, прибавив, что, вероятно, датская публика весьма образованна и обладает тонким вкусом, раз она, как он выразился, способна наслаждаться чистой сутью, презрев все блистание мишуры. Я лишь промолчал, хотя мог бы ответить, что, скорее всего, аплодисменты адресованы вовсе не моим сказкам, а горячо любимым публикой актерам и актрисам, читающим их.

Как уже говорилось, чтобы сразу настроить читателей на нужный лад, я озаглавил первые выпуски своих сказок «Сказками для детей». Писал я эти небольшие сказки тем же самым языком, теми же выражениями, как рассказывал их детям и устно, и наконец пришел к тому убеждению, что такая манера изложения лучше всего соответствует всем возрастам. Детей более всего интересовала сама фабула повествования, или, как я называю это, стаффаж, взрослых же — вложенная в него идея. Истории мои стали излюбленным чтением как для детей, так и для взрослых, чего, по-моему, и должен в наше время добиваться всякий, кто хочет писать сказки. Убедившись в том, что они повсюду встречают самый сердечный прием, я откинул слова «для детей» и напечатал следующие три выпуска уже под

заглавием «Новые сказки». Все они были оригинальными, и приняли их так хорошо, как я только мог пожелать; всерьез в то время меня заботило лишь одно: как бы ухитриться поддержать такое же благоприятное отношение и к последующим выпускам.

После выхода начального выпуска, включавшего сказки «Гадкий утенок», «Соловей» и проч., первым печатным органом Дании, который поместил хвалебную рецензию на него, была газета «Отечество». Она же первая указала на благоприятные отзывы о моих сказках в иностранной печати. Так, например, в 1846 году в ней появилась такая заметка: «В лондонской газете “Атенеум”, известной своей критическою беспристрастностью, о появившихся в английском переводе сказках Андерсена говорится следующее: “Хоть это, пожалуй, и покажется шуткой, мы все-таки берем на себя смелость утверждать, что наиболее подходящей рецензией на эти произведения явилась бы какая-нибудь волшебная мелодия, вроде той, которую написал Вебер для русалок в “Обероне”, или тех, что импровизирует в минуты своего упоительного вдохновения Лист. Обыкновенная же рецензия слишком угловата, тяжела, неграциозна, чтобы убедить читателя, обладающего тонким вкусом, взяться за такие полные волшебного очарования страницы, как эти. Покуда стоит мир, нельзя (как делают некоторые) отказывать писателю в праве с упорством лунатика рыться в курганах предков в поисках хранящихся там богатств, коль скоро время от времени он извлекает на свет божий истинные сокровища, подобные тем, о которых мы пишем здесь...” и т.д.

Какая разница между первым отзывом о сказках, появившимся за границею, и первым же, появившимся у нас! На родине тепло и сердечно писал о них в свое время только блистательный П.Л.Мёллер в “Пантеоне”, где он был автором большинства биографий; он был вообще чуть ли не единственным писателем, осмелившимся тогда отзываться обо мне как о поэте одобрительно. Но его суждениям вообще и обо мне в частности мало придавали значения; его не любили за то, что он не плыл по общему течению, дерзал во многом расходиться с господствующим мнением. Однако мне уже и то было важно, что за меня раздавался публично хоть один голос! Мои сказки стяжали себе одобрительные отзывы и у нас, и за границей, и я мало-помалу набирался сил, чтобы противостоять разного рода возможным неприятностям, обретал твердую почву под

ногами. В душу мне хлынули ободряющие лучи солнца, я ощущал прилив радости, мужества и настойчивого желания все более и более совершенствоваться в избранном направлении, проникнуть в самую суть сказочных элементов, вернее, уразуметь богатейший источник, из которого я мог черпать их, — природу. Смеею надеяться, что всякий, кто прочтет мои сказки в том порядке, в каком они написаны, заметит в них постепенное развитие и совершенствование как в смысле ясности выражения основной идеи, умения пользоваться материалом, так и в жизненной правдивости и свежести.

Как вырубает себе ступеньку за ступенькой в отвесной скале, так и я отвоевывал себе шаг за шагом прочное место в датской литературе и наконец добился такого признания и поощрения, которые могли способствовать дальнейшему развитию моего таланта куда больше, чем резкая, беспощадная критика. На душе у меня просветлело, я успокоился и проникся уверенностью, что все, даже самое горькое в моей жизни, было необходимым для моего же развития и блага.

Сказки были переведены почти на все европейские языки: на немецкий, английский, французский, шведский, фламандский, голландский и др.; в некоторых странах было сделано даже несколько различных переводов их, выдержавших много изданий и продолжающих издаваться и теперь. Оказалось, таким образом, что я с Божьей помощью сам нашел верную дорогу вопреки указаниям критиков, советовавших мне “изучать французские образцы”. Послушайся я их, меня навряд ли стали бы переводить на французский язык и сравнивать с Лафонтеном. В предисловии к одному из французских изданий моих сказок их действительно сравнивали с лафонтеновскими “*fables immortelles*” (бессмертными баснями), а меня называли “*nouveau Lafontaine, il fait parler les bêtes avec esprit, il s’associe à leurs peines, à leurs plaisirs, semble devenir leur confident, leur interprète, et sait leur créer un langage si naïf, si piquant et si naturel qu’il ne semble que la reproduction fidèle de ce qu’il a véritablement entendu*”\*. Не уда-

---

\* «Новый Лафонтен, он заставляет говорить животных со смыслом, входит в их положение, в их горести и радости, становится как бы повеленным и истолкователем их; он умеет создать для них особый язык, наивный, игривый и естественный, который кажется точным воспроизведением подслушанного в действительности» (фр.).

лось бы мне тогда и оказать известного влияния на датскую литературу, которое, надеюсь, я оказываю теперь и которое признается даже за границей. Укажу здесь, например, на работу почтенного критика Юлиана Шмидта, «Историю немецкой литературы, Лейпциг, 1853»\*, где он ставит мои сказки и «Книгу картин без картинок» весьма высоко. Он находит вполне естественным, что поэзия, пытаясь отвечать требованиям времени и желая дать яркое и правдивое изображение реального мира, бросается в мир фантазии в поисках радующего сердце материала, однако в то же время и излучает все то, что составляет так называемые мелочи, как в окружающей нас природе, так и в жизни человеческой. «Это владение деталью, этот глубокий и остроумный взгляд на мельчайшие частички природы и человеческой души позволили Андерсену по праву занять достойное место в литературе нового времени. Как правило, писатели, сосредотачивающие свое внимание на мелочах, редко находят признание за рубежом, ибо в описываемых ими деталях многое бывает непонятно иностранцам. Тем не менее Андерсен был принят в Германии настолько благосклонно, что здесь он может чувствовать себя как дома — на родине, в Дании. Для Германии его поэтическое творчество стало в высшей степени актуальным, ибо оно доказывает, что и в наше время способность радоваться мелочам отнюдь не исчезла. Сказки его по праву органично вошли во все слои общества. Полные юмора и фантазии, они полностью лишены какого-либо кокетства и напыщенности; лишь изредка писатель позволяет себе быть сентиментальным. Идеи автора во всех этих произведениях настолько же изысканны, насколько и неожиданны. При этом его многочисленным и достаточно пестрым персонажам одновременно чужды как горькие стороны реальной жизни, так и блеклый идеализм сказочного существования, почерпнутый из модных журналов. Поражает мастерство поэта, познавшего в полной мере пантеизм детской души, ее умение очеловечить весь мир вещей — от солнца и планет до домашней туфли и грязного газового фонаря. Заставить говорить любое живое существо или неодушевленную вещь, худо ли, хорошо ли, но уметь передать диалог неразумных предметов — приемы не из самых легких. Благодаря мастерству автора мы всерьез ощущаем, что постигаем души столов, стульев, эльфов и гномов, понимаем психологические нюансы поведения ок-

ружающих нас предметов вплоть до старой штопальной иглы. Мы имеем самое четкое представление о том, что именно должен думать этот кот, контрабас или барвинок в данной ситуации — если, разумеется, они вообще были бы наделены способностью мыслить. Андерсен в состоянии отыскать комическое даже в ситуации, в которую попадает престарелый Петер Шлемиль, от которого сбежала его собственная тень. Обладая истинно поэтической натурой, Андерсен легко и непринужденно преобразует романтические фантазии в картины реальной жизни...» и т.д.

С 1834-го по 1852 год «Сказки» выходили отдельными выпусками, выдерживавшими каждый по несколько изданий; и вот наконец они вышли все вместе одним иллюстрированным сборником. Последующие мои произведения того же рода стали появляться под названием «Истории»; это название было выбрано мною отнюдь не случайно, но об этом, так же как о сказках и историях вообще, — несколько позже.

Автор книги «Неаполь и неаполитанцы» д-р С.А.Майер высказался о моих сказках очень сочувственно еще в 1846 году. Обширная статья его «Андерсен и его работы», помещенная в сентябрьском и октябрьском выпусках «Современного ежегодника», вообще содержит много лестного для датской литературы, но прошла, кажется, совсем не замеченной нашей печатью. Заканчивается упомянутая статья так: «Das Märchen Andersen in seiner vollsten Entfaltung füllt die Kluft zwischen den Kunstmärchen der Romantiker und den Volksmärchen, wie es die Brüder Grimm aufgerechnet haben!»\*

Место, которое Майер отводит моим сказкам, настолько почетно, что остается только мечтать о том, чтобы они когда-нибудь стали бы достойны его; однако мне кажется, что я не погрешу против истины, сказав, что я всегда стремился работать именно в том направлении, которое указывает автор.

---

\* «Сказки Андерсена в значительной мере заполняют пропасть между искусственными сказками романтиков и народными сказками, как они записаны братьями Гримм» (нем.).

## XI

К этому периоду моей жизни относится сближение мое с личностью, имевшей на меня весьма большое влияние. Ранее я уже имел случай говорить о том, какое значение для меня как писателя имело знакомство с различными людьми, однако никто из них не оказывал на меня более благотворного влияния, чем человек, о котором сейчас пойдет речь. У него я научился еще полнее отрешаться от своего «я», познавать святое в искусстве и ценить предназначение поэта, дарованное мне Богом.

Однако вернусь сначала к 1840 году. Я жил тогда в отеле в Копенгагене и однажды прочел на доске с именами вновь приехавших постояльцев имя шведской певицы Йенни Линд. Я слышал о ней как о первой певице Стокгольма и ввиду оказанных мне недавно в Швеции почестей счел долгом вежливости сделать ей визит. В то время Йенни Линд еще не пользовалась особой известностью вне пределов своей родины, и я думаю, что даже в Копенгагене мало кто о ней слышал. Она приняла меня вежливо, но довольно равнодушно, почти холодно. Она рассказала, что была со своим отцом в Южной Швеции и заехала всего на несколько дней — посмотреть город. Визит мой был очень краток, расстались мы, едва познакомившись, и она оставила у меня впечатление совершенно заурядной личности; вскоре я совсем позабыл об этой встрече. Осенью 1843 года Йенни Линд опять была в Копенгагене, и друг мой, балетмейстер Бурнонвиль, женатый на шведке, подруге певицы, сообщил мне о ее приезде и передал, что она с теплотой вспоминает обо мне и будет рада снова увидеться. Оказалось, что за это время она успела познакомиться с моими произведениями. Бурнонвиль звал меня к ней сейчас же и просил помочь ему уговорить ее остаться здесь на гастроли в Королевском театре. Он прибавил при этом, что я наверняка приду в восторг от ее пения.

Мы явились к певице, и теперь уже она приняла меня как старого знакомого, сердечно пожала мне руку, беседовала со мной о моих произведениях и о своей приятельнице Фредрике Бремер. Скоро речь зашла о предполагаемых гастролях певицы здесь в Копенгагене, и она призналась, что никак не может решиться выступить. «Я никогда не пела вне Швеции! — говорила она. — Дома меня все любят, а здесь, пожалуй, освищут. Нет, я не осмелюсь выступить здесь!» Я ответил,

что не имею возможности судить ни о ее пении, ни о ее артистическом даровании, но ввиду господствующего ныне общего настроения уверен, что она будет иметь успех, если только хоть мало-мальски обладает голосом и драматическим талантом.

Так благодаря уговорам Бурнонвиля копенгагенцам довелось испытать величайшее наслаждение. Йенни Линд выбрала для своего дебюта здесь партию Алисы в «Роберте Дьяволе». Молодой, свежий, прелестный голос ее прямо лился в душу! Исполнение дышало самой жизнью, самой правдой; все становилось таким ясным, понятным, исполненным значения. Это было настоящим открытием в мире искусства.

В данном ею затем концерте Йенни Линд спела, между прочим, несколько шведских песен, и народные мелодии в ее исполнении положительно увлекли всех своей оригинальной прелестью. Можно было забыть, что находишься в концертном зале, так сильно было очарование, производимое ее пением и чистой девственностью всей ее натуры, отмеченной печатью гения. Весь Копенгаген превозносил ее, хотя, разумеется, нашлись и такие, кто не пожелал пропустить абонементного спектакля модной итальянской оперы из-за певички, не успевшей еще снискать себе европейской известности. Но это вполне естественно. Зато все слышавшие ее были в восторге, и Йенни Линд первой из иностранных актрис удостоилась особой награды — в ее честь датские студенты исполнили серенаду. Певичка переехала из отеля в семью Бурнонвиля, где ее приняли как дорогого друга, почти как родственницу. И вот однажды вся семья была на вечере у главного режиссера Королевского театра Нильсена, жившего на Фредериксбергском бульваре, — тут-то студенты и устроили факельное шествие, а затем исполнили серенаду. Одну из песен для них написал Ф.Л.Хёдт, а другую я. Певичка отблагодарила студентов, спев, в свою очередь, несколько шведских песен. И вдруг после этого я увидел, что она забилась в темный уголок и плачет от радости. «Да, да! — твердила она. — Я буду трудиться, буду работать над собой! Я обязательно должна петь еще лучше к тому времени, когда снова приеду в Копенгаген!»

На сцене Йенни Линд была великолепной актрисой, звездой первой величины, а дома — робкой и скромной девушкой, с детски-благочестивой душой. Ее появление на сцене Королевского театра составило эпоху в истории нашей оперы, мне же она открыла святое



в искусстве, я увидел в ней одну из его служительниц-весталок. Вскоре она вернулась в Стокгольм, и Фредрика Бремер писала мне оттуда о ней: «О Йенни Линд как об актрисе мы одного мнения; она стоит на такой высоте, какой только вообще может достигнуть в наше время артист. Но Вы все же еще не вполне знаете ее; поговорите с ней о ее искусстве, и Вы оцените ее ум и духовное развитие, увидите, как лицо ее засияет святым восторгом. Наконец, поговорите с ней о Боге и о религии, и вы увидите в ее невинных глазах слезы. Она — великая актриса, но еще выше стоит как человек!»

Год спустя я был в Берлине. Однажды ко мне зашел композитор Мейербер, и мы разговорились о Йенни Линд. Он слышал, как она пела шведские песни, и был просто поражен. «А как она играет? Как исполняет речитативы?» — спросил он меня. Я высказал ему свой полный восторг, привел несколько подробностей исполнения ею партии Алисы, и он сказал, что, быть может, ему удастся заполучить ее сюда в Берлин, но что пока идут только переговоры. Известно, что приглашение Йенни Линд в Берлин состоялось, она покорила берлинцев, и это положило начало ее европейской славе.

Осенью 1845 года Йенни Линд снова побывала в Копенгагене, и на этот раз восторг публики достиг невероятных размеров — что ж, некоторым ореол славы помогает яснее разглядеть талант. Люди устраивали перед театром настоящие бивуаки в надежде получить билет на спектакль с участием Йенни Линд; то же повторялось впоследствии и в различных европейских и американских городах. Йенни Линд произвела на этот раз еще более сильное впечатление даже на тех, кто уже и раньше был от нее в восхищении; публика имела возможность услышать ее в нескольких в высшей степени разнообразных партиях. Исполнение ею «Нормы» было поистине классическим! Каждая ее поза могла служить моделью скульптору. Напрашивалось предположение, что она заранее обдумывала малейшие подробности, изучала перед зеркалом каждый жест, а между тем все это было результатом одного лишь вдохновения и потому всегда поражало новизной и жизненной правдой. Я видел и слышал в «Норме» знаменитых Малибран, Гризи и Шрёдер-Девриент, но как ни гениально было исполнение каждой из них, Йенни Линд произвела на меня еще более глубокое, чарующее впечатление. Она вела роль правдивее, захватывала своим пением и игрой сильнее, чем все они.

Ее Норма была не беснующейся итальянкой, а оскорбленной женщиной, женщиной с редким сердцем, готовой пожертвовать собою ради невинной соперницы. Она решается на убийство детей вероломного возлюбленного лишь под влиянием минутной вспышки, а стоит ей взглянуть на невинных малюток, и она обезоружена. «Норма, святая жрица!» — поет хор, и эту-то жрицу и олицетворяла собою Йенни Линд, когда исполняла «каста дива». В Копенгагене Йенни Линд исполняла все свои партии на шведском языке, тогда как остальные участники спектакля пели по-датски, и оба языка отлично гармонировали один с другим; ничто не нарушало целостности впечатления даже в «Дочери полка», где много диалогов; в устах Йенни Линд шведский язык звучал как-то особенно характерно, как-то особенно шел к ней. А ее игра! Впрочем, слово «игра» здесь неуместно; это была сама жизнь, сама правда, каких до сих пор еще не знала сцена. Йенни Линд показала нам настоящее дитя природы, выросшее в солдатском лагере, и в то же время в каждом ее движении проглядывали врожденные грация и благородство. «Дочь полка» и «Сомнамбула» были лучшими партиями Йенни Линд, ни одна певица не могла бы в них соперничать с нею. Слушая ее, глядя на нее, хотелось и смеяться и плакать от умиления, казалось, что сидишь в церкви, становишься лучше и добрее! Появлялось такое чувство, что Бог не только в природе, но и в искусстве, а церковь и есть то место, где ощущаешь присутствие Бога. Мендельсон, говоря со мною о Йенни Линд, выразился так: «Такая личность, как она, рождается даже реже, чем раз в столетие!» Таково же и мое убеждение. Видя ее на сцене, чувствуешь, что священный напиток искусства подносится тебе в чистом сосуде. «Вот была бы исполнительница для моей Вальборг!» — воскликнул Эленшлегер, сияя от восторга, и посвятил ей прекрасное, глубоко прочувствованное стихотворение. Торвальдсен с первого же раза признал в ней гениальную актрису, и когда я познакомил его с нею в театре, он низко поклонился и поцеловал ей руку. Она вся вспыхнула и хотела, в свою очередь, поцеловать его руку; я же откровенно перепугался, зная нашу публику, в которой критический настрой всегда преобладал над благожелательными чувствами.

Да, никто не мог затмить Йенни Линд как актрису, кроме нее же самой, какую она являлась в частной жизни. Она очаровывала своим умом и детской радостью, с которой стремилась к скромной до-

машней жизни. Она была так счастлива, когда выпадала возможность хоть на время не принадлежать публике! Ее заветной мечтою была тихая семейная жизнь, и в то же время она всей душой любила искусство, сознавая свое высокое призвание, и была готова служить ему. Ее благородную, благочестивую натуру не могло испортить всеобщее поклонение; всего лишь один раз при мне она показала, что осознает свой талант и радуется ему. Это было во время ее последнего пребывания в Копенгагене. Она почти ежедневно выступала на сцене, каждый час был у нее расписан, но вот она услышала о деятельности «Союза призрения покинутых детей», о его нужде в материальных средствах и сказала нам: «Да разве у меня не найдется свободного вечера! Я обязательно сыграю в пользу этих детей! Только уж на этот раз цены мы назначаем двойные!» Вообще же она строго следила за тем, чтобы этого никогда не случилось во время ее гастролей. Спектакль состоялся, он включал в себя акты из «Волшебного стрелка» и из «Лючии»; особенно хороша была Йенни Линд в партии Лючии. Сам Вальтер Скотт навряд ли мог бы представить себе более прекрасный и правдивый образ своей несчастной Лючии. Сбор со спектакля составил очень крупную сумму, и когда я назвал ее Йенни, прибавив при этом, что теперь бедные дети обеспечены года на два, она, вся сияя от счастья, со слезами на глазах воскликнула: «Как все же чудесно, что я могу так петь!»

Я привязался к ней всем сердцем, как нежный любящий брат, и был счастлив, что мне довелось узнать и понять столь незаурядную душу. Во время ее пребывания в Копенгагене я виделся с нею ежедневно. Она жила в семействе Бурнонвиля, и я проводил у них большую часть свободного времени. Перед отъездом Йенни Линд дала в отеле «Рояль» прощальный обед для всех, кто, как она выразилась, оказал ей услуги, и, насколько я помню, все приглашенные получили от нее что-нибудь на память. Бурнонвилю она подарила серебряный кубок с надписью: «Балетмейстеру Бурнонвилю, ставшему мне отцом в Дании, моем втором отечестве». Бурнонвиль в ответной речи сказал, что теперь все датчане захотят быть его детьми, чтобы сделаться братьями Йенни Линд! «Ну, это для меня слишком уж много! — ответила она, смеясь. — Лучше я выберу из них себе в братья кого-нибудь одного! Хотите вы, Андерсен, быть моим братом?» И она подошла ко мне, чокнулась со мною бокалом шампанского, и все гости вы-

пили за здоровье новоиспеченного «братца». Когда она уехала из Копенгагена, голубь-письмоносец частенько летал между нами. Я так полюбил ее! Мне довелось встречаться с нею еще несколько раз, как это будет видно в дальнейшем. Виделись мы в Германии и в Англии, и об этих встречах можно было бы написать целую поэму сердца — разумеется, моего, и я смело могу сказать, что благодаря Йенни Линд я впервые познал святость искусства и проникся сознанием долга, повелевающего забывать самого себя ради достижения высших целей! Никакие книги, никакие люди долгое время не оказывали на меня как поэта более благотворного и облагораживающего влияния, нежели Йенни Линд; неудивительно поэтому, что я так долго и обстоятельно останавливаюсь на воспоминаниях о ней.

На собственном счастливом опыте я познал, что чем яснее становятся для человека задачи искусства и жизни, тем ярче озаряет солнечный свет и всю его душу. Благодатное время сменило для меня прежние мрачные дни! В душу мою снизошли мир и спокойствие, но вот что интересно: оказалось, что такое спокойствие отлично гармонирует с разнообразной, полной сменяющихся впечатлений жизнью путешественника. Было время, когда мне тяжело жилось на родине, так что пребывание за границей являлось для меня как бы передышкой, вот я и привык видеть в любой чужой стране настоящую землю обетованную. К тому же я легко привязывался к людям, которые, в свою очередь, платили мне сердечным участием и доверием. Поэтому неудивительно, что я чувствовал себя за границей отлично и ездил туда охотно. «Кто путешествует — живет!»

Летом 1844 года я снова отправился в Северную Германию. Одно милое любезное семейство из Ольденбурга — нынешний министр фон Эйзендекер с супругой — приглашало меня провести какое-то время у них. Граф Ранцау-Брайтенбург в своих письмах также постоянно напоминал, что в его доме меня всегда ждет самый теплый прием, и предлагал вновь посетить уютный Гольштейн. Вот и собрался я в путешествие, которое оказалось если не самым дальним, то наверняка самым интересным из всех, предпринятых мною.

По пути я наслаждался картинами идиллических летних пейзажей. У самого взморья в изменности, похожей на долину в Швейцарии, паслись коровы с колокольчиками на шее. Сам Брайтенбург расположен в лесах на побережье реки Стёр, выше Итцехо. Пароходы, сле-

дующие отсюда до Гамбурга, несколько оживляют эту небольшую речку. Местность здесь в высшей степени живописная, а сам замок необычайно уютен и знаком мне до мельчайших подробностей. Здесь я полностью мог отдаваться чтению книг и творчеству, чувствуя себя при этом в родной стихии, как птица в полете; любезные хозяева между тем окружали меня своей неустанной заботой, как если б я был их приехавшим погостить родственником. Мы часто совершали с графом Ранцау небольшие прогулки, во время которых я наслаждался красотами голыштинской природы. Здоровье графа к тому времени уже заметно пошатнулось; это было его последнее лето. Никогда с тех пор не доводилось мне посещать уютный, гостеприимный Брайтенбург. Граф сам предчувствовал свою близкую кончину. Как-то днем мы встретились с ним в саду. Он с чувством пожал мне руку и стал говорить о том, какую радость доставляет ему мое повсеместное признание за границей в качестве большого поэта, о своем дружеском ко мне расположении, а под конец неожиданно сказал: «Что ж, мой юный друг, Господь свидетель, но есть у меня определенные опасения, что видимся мы с вами здесь в последний раз! Дни мои, думается, уже сочтены...» С этими словами он посмотрел мне в глаза. Во взгляде его было столько грусти, что сердце встрепенулось у меня в груди; я стоял, не в силах вымолвить ни звука в ответ. Мы с ним находились как раз поблизости от садовой часовни. Распахнув калитку в густой живой изгороди, он вошел внутрь; я последовал за ним, и мы оказались в маленьком палисаднике прямо подле заросшей травой могилы с небольшой скамейкой перед ней. «Здесь вы меня и найдете, когда в следующий раз надумаете посетить Брайтенбург!» — сказал он. Горькие эти слова оказались пророческими: следующей зимой в Висбадене граф скончался. В его лице я утратил верного друга, защитника, поистине прекрасную, благороднейшую душу.

Когда в 1831 году я впервые приехал в Германию и посетил Гарц и Саксонскую Швейцарию, Гёте был еще жив. Моим страстным желанием было увидеться с ним. Путь от Гарца до Веймара невелик, но я не запасся тогда рекомендательным письмом к великому поэту, из произведений моих еще не было переведено на немецкий язык ни строчки, да вдобавок я слышал от многих, что Гёте — персона весьма важная. Захочет ли он принять меня? Я усомнился в этом и решил отложить свое посещение Веймара до тех пор, пока мне удастся

создать такое произведение, которое сделает мое имя известным и в Германии. Благодаря «Импровизатору» мне это удалось, но тогда Гёте уже не было в живых. Возвращаясь на родину из путешествия по Турции, я познакомился у Мендельсона с невесткою Гёте, урожденной госпожой Погвиш, которая, по ее словам, приехала в Лейпциг по железной дороге из Дрездена специально ради меня. Эта умная почтенная женщина отнеслась ко мне с сердечной приветливостью и рассказала, что сын ее Вальтер давно уже бредит мною и что он еще мальчиком переделал моего «Импровизатора» в драму, которую играли в доме Гёте. Затем она добавила, что увлечение молодого человека моей персоной доходило до того, что он даже собирался поехать в Копенгаген — лично знакомиться со мною. Какой-то путешественник-датчанин, которого он встретил в Саксонской Швейцарии, дал ему письмо ко мне, но обо мне самом отзывался не слишком тепло и был просто поражен тем уважительным отношением ко мне как писателю, которое демонстрировал юный Гёте.

Итак, у меня уже были друзья и в Веймаре. И меня непреодолимо влекло в этот город, откуда живущие в нем Гёте, Шиллер, Виланд и Гердер излучали мощный поток света, разливающегося по всему миру. Я въехал в это маленькое герцогство, гордость которого составляют фигура Лютера, певческие праздники в Вартбурге и многочисленные воспоминания о славном прошлом. В сам же Веймар я попал 24 июня, как раз в день рождения великого герцога. Все кругом говорило о празднике, и прибывший в театр, где давали премьеру оперы, юный наследный великий герцог был встречен всеобщим ликованием и шумными овадиями. Не думал, не гадал я тогда, как крепко привяжусь я всем сердцем к красоте, открывавшейся ныне моим глазам, сколько будущих моих друзей сидит тут вокруг меня, как дорого и мило станет для меня это место! Да, этот немецкий город стал для меня второй родиной! Меня познакомили с достойным другом Гёте и прекраснейшим человеком, старым канцлером Мюллером, и он принимал меня у себя с самым сердечным радушием. В первое же свое посещение я случайно встретился у него с камергером Больё де Марконэ, которого я знал еще по Ольденбургу. Он только недавно получил назначение в Веймар и жил здесь холостяком. Он предложил мне вместо того, чтобы жить в отеле, переехать на все время моего пребывания в Веймаре к нему. Я с благодарно-

стью принял приглашение и несколько часов спустя уже устроился у него как нельзя лучше. Есть люди, которые располагают к себе с первого же знакомства и которых любишь потом всю жизнь; к такому принадлежал и мой хозяин, и за эти дни я приобрел в нем, хочется надеяться, навсегда, верного друга. Больё ввел меня во все лучшие семейства города, канцлер Мюллер также взял меня под свое покровительство, и вот я из одинокого, всем чужого приезжего (госпожа фон Гёте и ее сыновья в тот период были в Вене) превратился в желанного гостя во всех кругах местного общества.

Милостивый и сердечный прием великого герцога и его супруги совершенно очаровал меня. После того как я был им представлен, они пригласили меня на обед к себе, а вскоре затем я получил приглашение и от наследного великого герцога с супругою, урожденной принцессой Нидерландов. Они проживали тогда в охотничьем замке Эттерсбург, расположенном на холме близ леса. Я поехал туда с канцлером Мюллером и биографом Гёте Эккерманом. Недалеко от замка нашу карету остановил какой-то молодой человек с приятным, открытым лицом и красивыми кроткими глазами и спросил: «А что, Андерсен с вами?» Заметив, что он рад видеть меня, я пожал ему руку; он же сказал: «Прекрасно сделали, что приехали! До скорой встречи!» — «Кто этот молодой человек?» — спросил я, когда мы тронулись дальше. «Да ведь это и есть наследный великий герцог!» — ответил канцлер Мюллер. Итак, представление мое уже состоялось. В замке мы опять встретились. Все здесь дышало каким-то удивительным уютом и покоем; я видел вокруг себя приветливые, радостные лица, в обществе царило оживление. После торжественного обеда герцогская супружеская чета в сопровождении гостей отправилась в близлежащую деревушку. Молодежь со всей округи собралась здесь, чтобы отпраздновать день рождения всеми любимого наследного герцога, а заодно и его возвращение в Эттерсбург. Всюду расставлены были высокие шесты с призами — расшитыми полотенцами и развевающимися на ветру красочными лентами; под звуки скрипок в сени могучей липы начались веселые танцы. Обстановка царила самая непринужденная, все вокруг были довольны, счастливы. Молодую герцогскую чету, по-видимому, объединяло глубокое искреннее чувство. Чтобы легко чувствовать себя при дворе, надо обладать способностью разглядеть за звездами на мундирах быющие в груди сердца; как раз одним из благородней-

ших, лучших сердец и обладал Карл Александр Саксен-Веймарский. Много раз впоследствии — и в счастливые, радостные и в трудные, полные печальных событий годы — имел я возможность лишней раз убедиться в этом. Во время пребывания в Веймаре я еще не раз посетил прекрасный Эттерсбург, и однажды наследный великий герцог показал мне в парке, откуда видны горы Гарца, старое дерево, на стволе которого вырезали свои имена Гёте, Шиллер и Виланд. Казалось, сам Юпитер пожелал отметить его, расщепив своей молнией одну из ветвей. Госпожа фон Гросс, — женщина с большим умом, известная под псевдонимом Амалии Винтерс писательница, а также милейший канцлер Мюллер сумели живо воскресить перед нами своими рассказами время Гёте и пояснить нам текст «Фауста» самыми яркими комментариями. К кружку нашему принадлежал еще добрейший, по-детски наивный Эккерман, и вечер за вечером пролетали для меня чередой чудесных снов. Часто кто-нибудь из нас читал вслух свои произведения, и я также отважился прочесть по-немецки свою сказку «Стойкий оловянный солдатик». Канцлер Мюллер сводил меня в герцогский склеп, где рядом со своей супругой похоронен Карл Август. Выходит, я ошибался, когда, думая, что он похоронен между могилами Шиллера и Гёте, писал: «Покоясь между солнцем и бурным водопадом, герцог поживает в радужных лучах славы». Великие бессмертные друзья царственных супругов, которых они сумели оценить еще при жизни, нашли последнее пристанище здесь же; увядшие лавровые венки лежат на простых темных гробницах, единственным украшением которых являются нетленные имена — Гёте и Шиллер. Как при жизни государь и поэт шли рука об руку, так и после смерти останки их покоятся под одним сводом. Такие места навсегда остаются в памяти; оказавшись в нем, невольно шепчешь про себя молитву, слышать которую может лишь один Господь!

Перед отъездом я написал в альбом маленькому принцу Карлу Августу следующее стихотворение:

#### ВЕЙМАР

В тюрингском лесу замок-дворец  
 Уютен стоит и светел.  
 Вот в этой обители я образец  
 Семейного счастья встретил:



Вошел я — роскошь, мрамор вокруг,  
Величье тронного зала,  
И там, едва я вошел, как вдруг  
Мне дивная сцена предстала.

Играла с сыном княгиня, мать,  
Сама весела и невинна,  
Пускалась галопом, галопом скакать,  
Взяв на спину сына.  
И лик материнский так ясен был,  
Так радостны, радостны взоры,  
Что, верю, на чисто молитвенный пыл  
Откликнутся ангелов хоры!

И ты с отцовской улыбкой, дитя,  
С голубыми глазами вместе  
Его добросердие приобретаю,  
Открытость и чувство чести,  
Да будешь верен его судьбе:  
Науки — твой светоч яркий,  
И книжкой сказок природа тебе  
Раскроет свои подарки.

О лес тюрингский! В тебе вовек  
Не смолкнут отзвуки мира —  
И то, что Лютер великий рек,  
И Гёте живая лира!  
Благослови же сей дом, Творец,  
Он многих людей приветил!  
В тюрингском лесу замок-дворец  
Стоит, уютен и светел.

Прощание с Веймаром было для меня почти таким же тяжким, как расставание с отчим домом. Когда, выезжая из ворот на мельничный мост, я обернулся, чтобы бросить последний взор на город и замок, сердце мое сжалось от грусти: одна из самых прекрасных глав моей жизни закончилась. Мне казалось, что дальнейшее путешествие уже не будет иметь для меня никакой прелести. Часто с тех пор летел от меня туда голубь-письмоносец, а еще чаще — мои мысли. В Веймаре, городе поэтов, душу мою озарил яркий солнечный свет.

В Лейпциге, куда я прибыл затем, меня ожидал прекрасный, истинно поэтический вечер у Роберта Шумана. Гениальный композитор год тому назад положил на музыку четыре моих стихотворения, переведенные Шамиссо, и оказал мне честь, посвятив их мне. Романсы эти и были спеты в упомянутый вечер госпожой Фреге, восхищавшей тысячи людей своей манерой исполнения. Аккомпанировала ей Клара Шуман, а единственными слушателями были лишь сами авторы — композитор да поэт. Прекрасная музыка и оживленная беседа за ужином заставили время пролететь чересчур быстро. В одном письме ко мне Роберт Шуман также вспоминает об этом очаровательном вечере: «Когда же повторится такая встреча, как в тот вечер, когда сошлись вместе все мы — поэт, певица, аккомпаниаторша и композитор? Знаете ли Вы «Кораблик» Уланда?»

— На том же месте  
встретимся ли снова? —  
Тот вечер я не забуду никогда».

В Дрездене я обрел новых друзей — людей старше меня по возрасту, но вечно юных душою. Одним из них стал мой почти соотечественник, гениальный норвежец Даль, умевший на своих полотнах заставлять березу расти, а струи водопада с шумом низвергаться вниз, как у себя на родине в норвежских долинах. Другим — Фогель фон Фогельштайн, почтивший меня тем, что написал мой портрет, который впоследствии был включен в Королевское собрание живописи. Директор театра Люттихау закрепил за мною место в директорской ложе на все вечерние спектакли, а высокочтимая баронесса Декен — одна из благороднейших дам, когда-либо входивших в высшее общество Дрездена, — принимала меня у себя, как родного сына. Позже, бывая в ее доме и наслаждаясь обществом ее милых детей, я постоянно ощущал ее поистине материнскую заботу обо мне. Как же светел и прекрасен мир, как добры бывают люди! Какое великое счастье — жить! Здесь я в полной мере сумел ощутить все это.

Армейский офицер Эдмон де Марконэ — младший брат Болё — приехал сюда на денек из Таранда, где отдыхал в летние месяцы. Приняв его любезное приглашение, я также провел несколько удивительных дней среди великолепных гор! Помимо этого, я завязал массу новых знакомств: все вокруг были так добры ко мне, видели во мне только хорошее, совершенно не обращая внимания на недостатки.

Баронесса Декен представила меня гениальному художнику Речу, известному своими прекрасными иллюстрациями к Гёте и Шекспиру. Его уютный гостеприимный дом был расположен за городом на полпути к Мейсену среди невысоких холмов, покрытых густыми виноградниками, — настоящая сельская идиллия. Каждый год в день рождения жены он преподносил ей одну из своих работ, как правило, лучшую. За много лет коллекция ее составила целый обширный альбом. Художник завещал, в случае если он умрет раньше супруги, она продала альбом и таким образом получила средства к безбедному существованию. Среди неоконченных картин в его мастерской меня особо поразило полотно «Бегство в Египет». На нем изображена глухая ночь; все объято сном: спят Мария и Иосиф, деревья и кусты, спит даже осел, и лишь младенец Иисус бодрствует. Лицо его открыто, и от него исходит сияние, озаряющее окрестности. Я пересказал Речу одну из своих сказок и получил в качестве ответного подарка замечательный рисунок: юная девушка выглядывает из-за маски пожилой матроны. Так за старинной мудростью сказок нет-нет да и блеснет юной прелестью вечно молодая душа народа. Все гениальные творения этого великого мастера отмечены печатью тончайшей игры мысли.

В богатом имении майора Серре и его любезной супруги, в Максене у границы Саксонской Швейцарии, я вкушал прелести немецкой деревенской жизни. Здесь было несколько каменоломен, печей для обжига извести, работа на них кипела день и ночь. Принимали меня в высшей степени радушно; не знаю, кто в мире способен сравниться в гостеприимстве с этой удивительной супружеской парой, в доме которой благодаря созданной хозяевами обстановке сердечной теплоты привыкли собираться в высшей степени интересные и богатые в духовном отношении личности. Я пробыл у них более недели и за это время успел познакомиться с Колем — автором замечательных, живых и образных книг путевых очерков. Бывала здесь также и писательница графиня Ида Хан-Хан, чьи романы и путевые заметки пользовались в то время особым успехом. Впоследствии благодаря переходу писательницы в католическую веру и в связи с выходом книги «Из Вавилона в Иерусалим» ее имя снова у всех на устах. Ее отец, как говорили, славился своей страстью к театральному искусству, так что в конце концов почти полностью забросил дела в имениях и разъезжал повсюду со своей актерской труппой. Сама она вышла замуж за двоюродного брата, богатого графа Хан-Хана, с которым впоследствии развелась и занялась

сочинительством стихов, романов и путевых зарисовок. Романы ее упрекали в излишней утонченности и якобы выдвинутом на передний план нарочитом аристократизме; в тех же прегрешениях обвиняли и саму писательницу, чего, впрочем, в общении с ней я совершенно не заметил. За дни, проведенные нами в Максене, я сумел в полной мере оценить ее неподдельную женственность и веселый нрав, что вкупе с прочими положительными качествами не могло не внушать доверие к этой, на мой взгляд, в высшей степени достойной особе. На родине и в путешествиях постоянным спутником ее был барон Бюстрам, человек весьма милый и любезный. Все сходились во мнении и высказывали это вслух, что графиня и барон женаты; в обществе их так и принимали в качестве супругов. Когда я как-то раз поинтересовался причиной того, что брак их содержится в тайне, мне сказали, что, выйдя официально замуж, графиня лишится большого пенсионера, выплачиваемого ей бывшим мужем, а вместе с ним и средств к существованию. Как писательница она подверглась бесчисленным жестоким насмешкам и нападкам. Те, кто пытается представить ее всего лишь пишущей монахиней или же пропагандисткой идеи католицизма, судят явно предвзято и несправедливо. Остается только горько сожалеть, что таланты, дарованные Господом столь благородной и достойной женщине, не получили должного развития, не расцвели пышным цветом и не принесли тех плодов, которые могли бы получиться в иных, более благоприятных условиях. Ко мне она всегда относилась с добротой и участием, воспринимая меня как поэта через призму моих сказок и романа «Всего лишь скрипач», о чем и повествует строфа, написанная ею мне в альбом как-то в утренний час:

*Андерсену*

Сколько же эльфов и фей, и растений,  
Гениев, духов — смеяться изволь!  
Сколько за этим сердечных мучений,  
Какая же в этом душевная боль!

Ида Хан-Хан.

Дрезден, 14 июля 1844 г.

Где принимают хорошо, там с радостью и остаешься, и я чувствовал себя во время этого маленького путешествия по Германии неска-

занно счастливым. Я утвердился во мнении, что никто здесь не считает меня чужаком. В моих произведениях ценили главным образом сердечность, естественность и правдивость; ведь как бы ни была прекрасна и достойна похвалы форма произведения, как бы ни поражали своей глубиной высказанные в нем идеи, главную роль играет все-таки пронизывающее его искреннее чувство. Из всех свойств человеческой природы оно менее всего подвергается влиянию времени и наиболее доступно пониманию каждого.

Домой я направился через Берлин, где я не был уже несколько лет, но самого дорогого из моих тамошних друзей, Шамиссо, к тому времени уже не было в живых.

Здесь дикий лебедь, летавший по свету,  
На дикие камни главу преклонил.

Ныне он унесся в иной, лучший мир. Я увиделся с его детьми, оставшимися теперь круглыми сиротами. Лишь глядя на окружающую меня молодежь, я осознаю, что старею, по себе же я этого совсем не замечаю. Сыновья Шамиссо, которых я видел в последний раз еще мальчуганами, игравшими в садике, были теперь уже офицерами, носили сабли и каски, и я подумал о том, как быстро летят годы, как все меняется и сколько дорогих сердцу людей уносит с собой время.

Не так страшны, как говорят о том,  
Потери в этой жизни быстротечной:  
Жди встречи там — соединен мостом  
Наш бранный мир с той жизнью вечной.

Еще один дом гостеприимно распахнул для меня свои двери — в семье посла Савиньи меня ждал самый теплый, сердечный прием. Здесь я познакомился с необычайно одаренной, гениальной госпожой фон Арним, или, если называть ее тем именем, под которым она гораздо более известна всем, Беттиной — той самой Беттиной Гёте. Она и госпожа Савиньи приходились сестрами Клеменсу Brentано. Сперва, правда, я свел знакомство с красивыми и смешливыми дочерьми Беттины, младшая из которых являлась автором в высшей степени поэтической сказки «Дочь лунного короля». Представив меня матери, дочери спросили: «Ну, и что ты о нем скажешь?» Пристально посмотрев на меня, Беттина коснулась рукой



Ханс Кристиан Андерсен в Риме.  
Художник Э.Майер

Х.К.Андерсен читает вслух свои сказки в Августенбургском дворце.  
Рисунок К.Хартманна

моей щеки и, обронив: «Passable!»\*, отошла в сторону. Вскоре, однако, она вернулась и завязала со мной разговор в свойственной ей любезной и слегка чудаковатой манере. Беседа наша длилась около часа; первую скрипку в ней играла Беттина, я же по большей части молча внимал ей, совершенно покоренный красноречием и настоящим фейерверком идей этой интереснейшей женщины.

Когда под вечер общество стало расходиться, она отпустила свой экипаж и мы все вместе двинулись пешком по Унтер-ден-Линден: Беттина под руку с принцессой Вюртембергской, я же в компании девушек. Поравнявшись с отелем «Майнхардтс», где я снимал номер, мы остановились. Проводив меня до самого крыльца, Беттина на манер военных приложила руку к виску и отчеканила: «Доброй ночи тебе, товарищ! Спи спокойно». Когда пару дней спустя я нанес ей визит, она произвела на меня совсем иное впечатление: все тот же острый ум, сердечность, душевная глубина и очарование, однако — ни малейшего намека на прежнюю шутливую игривость.

Она хорошо известна благодаря своим книгам, однако лишь немногие знакомы еще с одной гранью ее удивительного дарования — гениальным талантом рисовальщицы. Причем и здесь на первом плане у нее стоят оригинальность замысла и необычный способ его воплощения. На ее рисунке, изображающем смерть молодого человека от алкоголя, полуобнаженный юноша спускается в сводчатый погреб, где, подобно чудищам, поджидают его винные бочки. Вокруг него в неистовой вакханалии беснуются жрецы Бахуса обоего пола; они вцепились в свою жертву, обвивают ее, как змеи, и наконец убивают. Я знаю, что Торвальдсен, которому Беттина однажды показала свои рисунки, был поражен ими.

«Da haben Sie mein letztes Buch, lieber Andersen!»\*\* — написала она свою книжку «Весенний венок Brentano», подаренную мне при расставании.

Так удивительно прекрасно, когда вдали от родины находишь дом, где ты — желанный гость, где при виде тебя в глазах хозяев вспыхивает неподдельная радость и ты с первых же шагов чувствуешь себя

---

\* «Passable!» — «Подходит!» (франц.)

\*\* «Любезный Андерсен, примите от меня в дар мою последнюю книгу!» (нем.)

членом счастливой семьи, отогреваешься душой у теплого домашнего очага. Подобный прием ждал меня в доме профессора Вейса, к которому у меня было рекомендательное письмо от Х.К.Эрстеда. Семья профессора встретила меня мило и сердечно. Однако сколько бы новых знакомств я ни завязал, ничуть не менее интересно мне было обновить старые. Я вновь повстречал здесь Корнелиуса, которого знал по Риму, Шеллинга, с которым судьба свела меня в Мюнхене, своего почти что земляка норвежца Стеффенса. Тика, знакомого мне по Дрездену, я не встречал со времени своей первой поездки в Германию. Он немало изменился с тех пор, однако умные глаза его по-прежнему светились добротой, а в рукопожатии чувствовались все та же теплота и сердечность. Чтобы повидать его, мне пришлось отправиться в Потсдам, где он проживал в богатом и красивом доме. За обедом я был представлен его брату — скульптору. Здесь же я узнал, что прусская королевская чета удостоила мою особу своего милостивого внимания: прочтя роман «Всего лишь скрипач», который им чрезвычайно понравился, они подробно расспрашивали Тика обо мне. К сожалению, в тот момент венценосной четы не было в Берлине — я прибыл сюда вечером накануне их отъезда, во время которого произошло известное омерзительное покушение.

На прощание меня ждал чудесный подарок: провожавшие меня друзья немцы исполнили вдохновенную песню, сочиненную в мою честь народным поэтом Клетке, всегда восхищавшим меня своей по-ребячески чистой и свежей душой. За год до этого он посвятил мне вторую часть своих «Немецких сказок», в то время как первая их часть посвящена Тику. Привожу здесь текст этого прекрасного прощального привета из Берлина:

*Х.К.Андерсену*

Прекрасных эльфов дивный хор

Поет тебе ночами.

Краса лесов и рек, и гор

Раскрылась пред очами —

Волшебный мир в золотой пылице,

Где мраморные своды

Встают, и эльфы во дворце

Заводят хороводы,



Ведь ты, волшебник, их призвал,  
 Слуг верных и проворных,  
 Ты — их король средь чащ и скал,  
 И в рудниках подгорных.

Издаലെка смотрю я в даль  
 Страны твоей поющей,  
 А там — там легкая печаль  
 Пронизывает кущи

И одиночество поет,  
 И ветер воет либо...  
 А впрочем — вот, за это вот —  
 Немецкое спасибо!

Переправившись в бурную погоду из Штеттина в Копенгаген, я с радостью повидался со всеми своими дорогими друзьями, однако несколько дней спустя снова уехал из столицы. Несколько превосходных летних дней я провел в милом Глорупе у графа Мольтке-Витфельда. Здесь я получил письмо от посла Ранцау-Брайтенбурга, находившегося вместе с королем Кристианом VIII и королевой Каролиной Амалией на купаньях на острове Фёр. Оказалось, что Ранцау сообщил королю о моей поездке в Германию и об оказанном мне Веймарским двором милостивом приеме, и король с королевой, всегда относившиеся ко мне весьма благосклонно, также пожелали пригласить меня провести в их обществе несколько дней. Милостивое приглашение свое они и передали мне через графа Ранцау.

Зарисовки красот здешней, дотоле неизвестной мне природы — едва возвышающиеся над морем острова Халлигенского архипелага, столь образно описанные в новеллах Бирнацки, а также песчаные дюны Амрума — я попытался дать в своем романе «Две баронессы»: именно милостивому приглашению короля и королевы книга обязана появлением в ней картин удивительных и своеобразных пейзажей Южного Шлезвига. Не скрою, приглашение весьма польстило мне; кроме того, я был счастлив вновь повидаться с моим милым графом Ранцау-Брайтенбургом. К сожалению, то была наша последняя встреча.

И вот как раз через двадцать пять лет со дня моего прибытия в Копенгаген бедным беспомощным мальчуганом мне предстояло

быть в гостях у своих короля и королевы, к которым я всегда был искренно привязан и которых мне представлялся теперь случай узнать поближе и полюбить еще искреннее. Вся обстановка этого моего пребывания на Фёре, природа и люди, окружавшие меня, неизгладимо запечатлелись в моей памяти. Я чувствовал себя здесь достигшим той высоты, с которой я еще яснее мог видеть пройденный мною за эти двадцать пять лет жизненный путь, осознать все радости, выпавшие мне на долю, и понять, как весь ход событий неукоснительно вел меня к моему же благу. Да, воистину действительность зачастую превосходит самую прекраснейшую мечту!

С Фюна я переправился во Фленсбург, а затем началась долгая медленная поездка через вересковую пустошь, где быстро проносятся одни лишь облака. Вечный хруст песка, однообразный свист редких птиц в вереске — все нагоняло сон. Но еще медленнее, еще труднее, даже опаснее стала наша поездка, когда пустошь кончилась и размытая дорога обратилась в месиво; здесь положительно можно было сломать себе шею. Ни на минуту не прекращавшийся дождь превратил окрестные поля и луга в настоящие озера. Дорожная насыпь размокла и больше напоминала трясину, в которую лошади проваливались чуть ли не по брюхо. В некоторых местах крестьянам приходилось поддерживать наш неустойчивый экипаж, который в противном случае грозил вылететь за обочину и врезаться в один из низеньких придорожных домиков. Милю мы преодолевали за несколько часов; наконец кое-как достиг я Дагебюля, откуда видно было Северное море с островками вдоль всего берега, представлявшего, собственно, искусственную насыпь, укрепленную со стороны моря сплетенными из соломы волнорезами. Я приехал как раз во время прилива, ветер был попутный, и всего через какой-нибудь час я уже был на Фёре, который после трудного пути показался мне поистине волшебной страной. Городок Вюк, самый большой на всем острове, построен по голландскому образцу — дома все одноэтажные, с соломенными крышами и выступающими фронтонами. Вообще все здесь имело довольно-таки жалкий вид, но масса приезжих иностранцев и присутствие королевского двора придавали городку, особенно главной его улице, необычайно оживленный и праздничный вид. Гости разместились едва ли не в каждом доме, изо всех окон выглядывали знакомые лица, развевались датские флаги, играла музы-

ка — словом, я будто попал в самый разгар какого-то празднества. Матросы с парохода понесли мой багаж в курзал. Неподалеку от пристани, вблизи одноэтажного домика, где разместились королевская чета, увидели мы дощатый дом с раскрытыми настежь окнами; не успели мы подойти к нему, как в окнах появилось несколько дамских головок. Раздались крики: «Андерсен! Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Матросы сняли шапки и низко поклонились мне; до сих пор я был для них неизвестным пассажиром, о звании и положении которого они могли лишь догадываться, теперь же я превратился в их глазах в важную персону — приветствовавшие меня дамы были принцессы Августенбургские и их мать, герцогиня. Едва я уселся в курзале за табльдот, как уже привлек к себе, как вновь прибывший, всеобщее любопытство; вскоре явился посланец короля звать меня к обеду в королевское семейство. Обед у них уже начался, но король и королева, узнав о моем прибытии, велели сейчас же пригласить меня к себе. «Наконец-то, с вашим появлением здесь определенно станет интереснее!» — сказал мне мой земляк, сосед по столу. Согласно распоряжению короля, мне было немедленно отведено помещение, завтракал же, обедал и ужинал я в обществе их величеств и Ранцау-Брайтенбурга. Я провел на Фёре чудные, светлые, поистине поэтические дни, каких уже не видал никогда потом. Как приятно открыты для себя благородных и прекрасных людей там, где обычно привык видеть лишь короны да пурпурные мантии. Немногие в своей частной жизни были приветливее и проще нашей царственной четы, которую я имел здесь случай узнать поближе. Благослови их Бог за ту ласку, которой они согрели тогда мою душу!

По вечерам я обыкновенно читал вслух какие-нибудь сказки. Королю особенно нравились «Соловей» и «Свинопас», и их часто приходилось перечитывать. Вскоре проявился и мой талант импровизатора, причем вот по какому поводу. Однажды вечером кто-то из придворных кавалеров сочинил для одной из молодых принцесс Августенбургских некое шутовское двустушие. Я стоял рядом и с иронией заметил: «Вы неправильно читаете свои стихи! Я их знаю лучше! Вам следовало сказать...» И я произнес экспромт. Поднялся смех, раздались шутки; шум долетел до короля, игравшего в карты в соседней комнате, и он спросил, в чем дело. Я повторил ему свой экспромт, сочиненный как бы от имени другого лица, и тут все дружно

принялись выдумывать разного рода экспромты, а я должен был выслушивать каждый и помогать в случае каких-либо затруднений.

«Выходит, я один ничего не сочинил?! — воскликнул генерал Эвальд, игравший в карты с королем. — Будьте добры, напомните мне что-нибудь из моих лучших сочинений!» — «Стихи Эвальда прекрасно известны его величеству, да и всей стране!» — отшутился я и хотел было отойти, однако меня остановила королева Каролина Амалия. «А не могли бы вы припомнить, что я думала и чувствовала?» — попросила она. Я решил, что по этому случаю следует сочинить более продуманные строки, и ответил: «Разумеется, ваше величество, я все это записал, сохранил и готов завтра же принести свои записи!» — «Не забудьте же!» — сказала королева, однако все принялись с таким жаром уговаривать меня прочесть стихи тотчас же, что мне пришлось сочинить следующие строки, помещенные впоследствии в сборник моих стихов:

## МОЛИТВА

Да устоит сей замок и земля,  
Да воссияет солнцем он в ненастье,  
Да укрепится сердце короля,  
Да будет в Дании навечно мир и счастье!  
И пусть несет наш стяг победный тут  
Любовь, с одним лишь благородством споря,  
Когда ж на Суд все царства призовут,  
Да будет Дания, как лилия средь моря!

Участвовал я также в различных прогулках и экскурсиях королевской четы. Между прочим, мы посетили самые большие из прибрежных островов Халлигена, в этих зеленых, поросших травой рун моря, которыми оно рассказывает нам о некогда затонувшей здесь суше. Бурные волны превратили плоскую равнину в островки, которые часто размываются, и при этом гибнут люди и целые населенные пункты. Год за годом исчезают один за другим эти клочки земли, и лет через пятьдесят здесь, пожалуй, будет сплошная морская гладь. Острова Халлигенского архипелага сейчас — крохотные равнинные кусочки суши, поросшие жесткой темно-зеленой травой, на которых пасутся небольшие стада овец местных жителей.

Когда уровень воды повышается, овец приходится поднимать на крыши домов, чтобы уберечь от волн, полностью покрывающих эти участки земли, расположенные в миле от берега.

Бирнацки удалось в своих рассказах прекрасно воссоздать колорит этих мест. Я читал его описания, глядя на расстилающиеся передо мной пейзажи, и дивился, с какой точностью рисует он те картины, которые проходят у меня перед глазами. Казалось, лучше, естественнее его передать их никому не под силу. То, что в романе «Две баронессы» я все же решился описать природу этих мест, вызвано попыткой посмотреть, какую окраску они приобретут под пером другого писателя.

Мы посетили остров Оланд, на котором есть даже небольшой городок. Дома в нем стоят, тесно прижавшись друг к другу, как бы сплоченные общей бедой. Все они выстроены на сваях; оконца везде маленькие и напоминают корабельные иллюминаторы. В крохотных, обшитых грубыми досками комнатках за неизменными прялками жены и дочери здешних жителей нередко проводят в одиночестве по полгода. В каждом доме непременно висит книжная полка — среди книг я находил датские, немецкие и фризские. Так, за работой и чтением, и проходят дни отшельников этих мест, а прямо за стенами домов, похожих на обломки потерпевших бедствие кораблей, рокочет бушующее море. Иногда по ночам сбившиеся с курса суда садятся здесь на мели. В 1825 году поднявшиеся во время шторма волны смывали людей и целые дома; едва одетые жители искали спасения на крышах собственных домов, сидели там дни и ночи, до тех пор, пока и крыши не уходили под воду. Ни с Фёра, ни с материка помочь им было невозможно. Местное кладбище также было наполовину размыто; ужасное зрелище являли собой волны, игравшие останками тел и обломками гробов. И все же никто из местных жителей и не думает уезжать отсюда — печаль по дому гонит их с материка обратно, в родные места.

На острове мы побывали вместе с королевской четой. Пароход, доставивший нас, бросил якорь далеко от берега, и надо было переправляться на лодках, а их было немного. Я скромно держался в стороне, так что едва попал в последнюю и прибыл на остров тогда, когда король уже возвращался обратно. «Вы только что едете? — приветливо сказал он мне. — Ну ничего, не спешите, хорошенько осмотрите все, пусть лодка подождет! Побывайте на старом кладбище и непременно загляните в один домик там, неподалеку, хозяйка — такая красавица!»

Все мужское население острова находилось в плавании, и нас принимали одни женщины. Единственный оставшийся здесь мужчина оказался только что вставшим после болезни. Перед церковью была выстроена триумфальная арка, увитая цветами. Их пришлось привозить с Фёра, а сама арка вышла такой узкой и низкой, что ее приходилось обходить. Однако благие намерения были налицо! Единственный розовый куст, росший на островке, срезали и прикрыли им грязную лужу на дороге, по которой должна была пройти королева, и это внимание глубоко ее тронуло. Девушки здесь были очень красивы; одеты они были в полувосточном стиле; здешнее население считает, что ведет свой род от греков. Женщины ходят с наполовину закрытыми лицами, а на голове под покрывалом носят красочные греческие фески, вокруг которых укладывают косы.

Я побывал на кладбище, видел красавицу, о которой говорил король, и вернулся на пароход к самому обеду. После обеда, когда судно наше лавировало между островками архипелага, освещенными лучами заходящего солнца, палубу парохода на скорую руку превратили в бальную залу, и начались танцы. Танцевали все — и стар, и млад, лакеи разносили прохладительные напитки, а матросы, стоя на колесных ящиках, измеряли глубину и монотонно сообщали количество футов. Взошла полная круглая луна; Амрунские дюны возвышались, словно снежная цепь Альпийских гор.

Эти пустынные дюны я посетил немного позже. Король отправился в эти места поохотиться на кроликов; тысячи этих тварей расплодились на острове всего несколько лет спустя с того дня, как «Адам и Ева» этих зверушек попали сюда с севшего на мель судна. Кроме меня, участия в охоте не принимал один лишь принц Норский; вдвоем с ним мы и отправились побродить среди дюн. Вид их чем-то неуловимо напоминал покрытую пеплом вершину Везувия, тем более что здесь, как там в пепле, ноги вязли на каждом шагу в податливой песчаной почве. Солнце так нещадно обжигало своими лучами белесые холмы, что казалось, будто идешь по какой-то африканской пустыне. Меж дюнами цвел вереск, кое-где попадались кусты какого-то особого вида роз, прочая же местность была полностью лишена растительности. На подсыхающем песке угадывались отпечатки волн — отхлынувшее море оставило здесь свои причудливые иероглифы.

Мы с принцем взобрались на верхушку самой большой дюны и присели отдохнуть. Был час отлива; мы гляделись в волны Северного моря, отошедшие от берега более чем на милю. Оставшиеся на песке в ожидании прилива суда напоминали выброшенных на берег рыб. Сновавшие вдалеке между ними матросы казались нам движущимися черными точками. Там, где отхлынувшее море неторопливо лизало песчаную гладь, видна была длинная отмель, упомянутая в «Датской лоции». Над нею возвышалась высокая башня на сваях, построенная специально для тех, чьи суда могут сесть в этих местах на мель. Здесь жертвы кораблекрушения находят приют; специально для них в башне оставлены бочонок с питьевой водой и корзинка с едой и вином, чтобы несчастные могли переждать здесь бурю, пока море не успокоится и не даст возможности прийти им на помощь. В часы отлива появлялась возможность посуху перебраться с Амрунских дюн на Фёр; мы видели многочисленные повозки, катившие по подсыхающей почве с одного острова на другой. На фоне белого песка и голубизны горизонта они выглядели вдвое больше своих реальных размеров, и казалось, что они плывут по воздуху. Хотя песок обнажившегося дна и подсох, однако он был весь иссечен сетью мелких трещинок, в которых струилась вода, — море недвусмысленно заявляло свои права на эту часть суши, которая вскоре вновь отойдет ему.

Какое сказочное разнообразие впечатлений — после созерцания этих картин дикой природы вновь вернуться к торжественному обеду с королем, к великолепному концерту придворных музыкантов и импровизированному балу в курзале, к прогулке по бульвару в лунном свете в обществе нарядной здешней публики!

Графу Ранцау было известно, какое значение имеет для меня шестое сентября — ведь это был день моего первого прибытия в Копенгаген двадцать пять лет тому назад. Сидя в этот день за королевским столом и мысленно воскрешая в памяти все пережитое мною, я едва сдерживал слезы. В такие минуты душа преисполняется благодарности Творцу, и мы льнем к Нему всем сердцем. Я ясно сознавал все свое ничтожество, сознавал, что всем, решительно всем обязан Ему одному!

После обеда король и королева стали меня поздравлять, причем мало сказать, милостиво — с необыкновенным сердечным участием. Король поздравил со всем, чего я достиг за эти двадцать пять

лет, и стал расспрашивать меня о моих первых шагах в столице. Я рассказал ему о нескольких наиболее характерных эпизодах, а он, продолжая разговор, спросил, между прочим, получаю ли я какое-нибудь годовое пособие. Я сказал, что получаю 200 специй. «Немного!» — заметил он. «Да мне немного и надо!» — ответил я. — «Кроме того, кое-какой доход дают мне и мои произведения!»

Расспросив меня с неподдельным участием еще о различных обстоятельствах моей жизни и деятельности, король сказал: «Надо, чтобы вам теперь жилось лучше!» — и закончил наш разговор следующими словами: «Если я могу когда-нибудь в чем-нибудь быть вам полезным, обращайтесь ко мне!» Вечером, во время придворного концерта, король возобновил со мною тот же разговор. Я был глубоко тронут.

Впоследствии некоторые из лиц, слышавших наш разговор с королем в этот день, упрекали меня в неумении пользоваться благоприятным моментом. «Король ведь чуть ли не в рот вам положил, что вы должны просить его о прибавке вам пособия! Он же сам сказал, что вы получаете слишком мало и что надо вам теперь устроиться лучше!» — «Что вы!» — ответил я им. — Как же мог я в такую минуту, когда был гостем их величеств, когда оба они выказали мне столько сердечной доброты, как же я мог ловить их на добром слове, воспользоваться им! Может быть, я вел себя и неумно, но иначе я не могу! Если король находит, что я заслуживаю большего, то он может и сам все устроить!»

Шестое сентября превратилось для меня в настоящий праздник; кроме короля, дали мне доказательство своего расположения и проживавшие на Фёре приезжие из Германии. За обедом в курзале, в то время, как я был приглашен к королевскому столу, немецкие гости провозгласили тост за датского поэта, которого они хорошо знали у себя на родине по его произведениям, а теперь узнали и лично. Один из моих земляков встал и поблагодарил за этот тост от моего имени. Столько знаков внимания, скажут мне, пожалуй, легко могут испортить человека, сделать его тщеславным. Но нет! На мой взгляд, подобное, напротив, делает человека лучше, добрее, проясняет его мысли и пробуждает стремление быть достойным такого отношения.

На прощальной аудиенции королева подарила мне на память о днях, проведенных мною на Фёре, дорогое кольцо, а король снова выразил мне свое милостивое, сердечное участие и при-



язнь. Сердце мое было преисполнено самой горячей благодарности им обоим.

Герцогиня Августенбургская, с которой я здесь ежедневно виделся и беседовал, тоже самым любезным образом пригласила меня заехать по пути на несколько дней в Августенбургский замок. Король и королева поддержали ее приглашение, и я с Фёра отправился на Альс, поистине красивейший из островов в Балтийском море, настоящий цветущий сад. Тучные поля и покрытые клевером пастбища окружены там кустами орешника и шиповника, возле крестьянских домиков разбиты обширные яблоневые сады; всюду леса, холмы... Восхитительны и виды открытого моря с лесистыми холмами Ангеленса, и узкого, похожего на реку Бельта. От замка вниз до самого фьорда тянется прекрасный сад. Я нашел здесь самый радужный прием и прекрасную семейную обстановку. Разговор велся всегда по-датски, окружали меня милые и любезные соотечественники, и ничто не предвещало грядущих мрачных событий. Я провел здесь две недели, наслаждаясь роскошной природой, прогулками и экскурсиями; тогда же начал я писать свой роман «Две баронессы». Почти каждый вечер в салоне звучала музыка. Несколько раз здесь бывал Келлерман; все заслушивались его чудесным исполнением собственных нежных, убаюкивающих фантазий, «Романески» и альпийских мелодий. Во время празднования дня рождения герцогини под аккомпанемент песен «застольного хора» состоялось факельное шествие, в самом замке праздничные мероприятия увенчались балом. Как всегда, приуроченные к этому дню, прошли знаменитые трехдневные августенбургские скачки. И в замке, и в городке собралась масса народу — похоже, все голштинское дворянство было здесь. За торжественным обедом герцог встал и произнес речь о значении, которое приобрела в настоящее время датская литература, о ее свежести и здоровой направленности в сравнении с новейшей германской и затем провозгласил тост в честь присутствующего здесь представителя датской литературы — меня. Я видел тогда в Августенбурге только веселые, приветливые лица, милую, счастливую жизнь; все здесь дышало поистине датским воздухом, — казалось, что над этим прекрасным местечком парил ангел мира. Было это осенью 1844 года. Как же скоро все переменялось.

## XII

Весной 1844 года я закончил работу над сказочной комедией «Цветок счастья», в которой развивал мысль, что жизненное счастье — не в бессмертной славе имени художника, не в сиянии королевского блеска, а в радости взаимной любви. Характеры и действие в пьесе чисто датские; на светлом фоне безоблачной жизненной идиллии внезапно, словно тени, возникают два мрачных образа — несчастного поэта Эвальда и воспетого в героических народных песнях злополучного принца Буриса. Истины ради, а также к чести нашего времени, я стремился показать, насколько в сравнении с ним мрачно и тягостно было наше давнее прошлое, которое многие поэты так любят превозносить. Пьесу свою я предназначал для постановки в Королевском театре. Цензором-критиком был тогда Хейберг, без сомнения, принесший театру много пользы, но не благоволивший ко мне. Еще в сатире «Душа после смерти» мои пьесы «Мавританка» и «Мулат» в его трактовке служили орудиями пытки для грешников; затем мне досталось от него несколько щелчков в его «Датском атласе» и в «Листках для интеллигенции», а мою сценическую постановку поэмы «Агнета и Водяной» он назвал «произведением, перенесенным на сцену непосредственно из книжной лавки», и заявил, что Гаде напрасно потратил на нее свою замечательную музыку. Кроме того, он постоянно твердил о моем «обычном недостатке оригинальности», об «отсутствии разумной связи в изображении характеров» и о «крайней неясности идеи». Все эти противоречащие друг другу обвинения были собраны им воедино, и на основе этой мешанины, в которой невозможно было уловить никакой последовательной мысли, он и вершил свой строгий суд.

Смею думать, что такое неприязненное отношение к моим трудам в немалой степени зависело от той немилости, в которой я вообще находился у этого писателя, бравшегося судить о вкусах публики. Я догадывался, что им руководит недоброжелательство ко мне, и это было мне всего неприятнее. Меня огорчило не столько известие, что и новая моя пьеса не была одобрена им, сколько сознание, что я ровно ничем не заслужил такого предвзятого ко мне отношения со стороны писателя, которого я всегда так высоко ценил. И вот я, желая наконец выяснить наши отношения, написал Хейбергу откровенное

и, как мне представляется, сердечное письмо, в котором просил его пояснить мне причины неодобрения им «Цветка счастья», а также его недружелюбие по отношению ко мне вообще.

Получив мое письмо, Хейберг тотчас же нанес мне визит, но не застал меня дома, и на другой день я отправился к нему в Фредериксберг сам. Он принял меня в высшей степени приветливо. Как само свидание, так и беседа вышли в высшей степени оригинальными, но, так или иначе, объяснение все же состоялось, и мы смогли прийти к лучшему взаимопониманию. Он ясно изложил мне причины своего неодобрения «Цветка счастья», причины вполне основательные, с его точки зрения. У меня же был свой взгляд на это, и мы, разумеется, не сумели прийти к общему мнению. Затем он объяснил, что не питает ко мне никакой особой неприязни и отдает должное моему таланту. Тогда я указал ему на его нападки в «Листках для интеллигенции», где он отрицает во мне всякую способность к оригинальному творчеству, между тем как она, по моему мнению, достаточно ясно проглядывает в моих романах. «Впрочем, вы же сами говорите, что ни одного из них не читали!» — прибавил я. «Да, это правда! — ответил он. — Я еще не читал их, но теперь прочту!» — «Кроме того, насмехаясь над моим “Базаром поэта”, вы пишете в “Датском атласе”, будто я восторгаюсь Дарданеллами!\* — продолжал я. — Я же восхищался там вовсе не Дарданеллами, а Босфором, но вы, должно быть, этого не заметили, а быть может, и вовсе не читали этой книги — вы ведь сами сознавались, что не читаете больших, толстых книг!» — «Ах, так это вы про Босфор! — сказал он со своей обычной усмешкой. — Ну, я это уже позабыл, да и публика тоже; кроме того, все дело было не в этом, а в том, чтобы слегка уколоть вас!» Признание это прозвучало в его устах так естественно и непринужденно, что я невольно улыбнулся, а поглядев в его умные глаза и вспомнив, сколько прекрасных произведений он создал, так и вовсе понял, что не могу долго сердиться на него. Беседа наша становилась все оживленнее и непринужденнее; он наговорил мне много лестного, сказал, что высоко ценит мои сказки, и просил меня почаще навещать его. С того разговора я

---

\* В этой связи следует припомнить его стихотворение в данном издании о Кронборге. (Прим. автора).

стал лучше понимать эту поэтическую натуру и думаю, что и он стал лучше понимать меня. Мы сильно расходимся с ним характерами, но оба идем к одной цели, правда, каждый своею дорогой.

В последние годы — вообще говоря, очень благоприятные для меня — я сумел заслужить одобрение и этого замечательного писателя. Однако, чтобы не нарушать хронологию событий, вернемся к «Цветку счастья». Пьеса все-таки была принята, но шла всего семь раз в течение сезона, а затем мирно сошла в архив, по крайней мере на время правления тогдашней дирекции.

Я часто задавал себе вопрос, в чем причина столь строгого и придирчивого отношения к моим драматическим произведениям — в литературных их недостатках или в том, что автор их я? И вот я решил послать в дирекцию одно свое произведение анонимно и подождать результатов. Но разве мог я проделать такое и промолчать? Все были едины во мнении, что нет, и это обстоятельство сыграло мне на руку. Гости в Нюсё, я написал романтическую драму «Грезы короля»; один лишь Коллин был посвящен в тайну моего авторства. Хейберг, который как раз в это время в очередной раз строго обошелся со мной в своих «Листках», сильно заинтересовался этой анонимной пьесой и, насколько я помню, лично поставил ее на сцене Королевского театра. Впрочем, я должен прибавить, что впоследствии он поместил в тех же «Листках» весьма хвалебную рецензию об этой драме, кажется, уже подозревая, что автором ее был я, тогда как почти все в этом сомневались.

Другая подобная же попытка доставила мне еще больше удовольствия. Как же забавлялся я, выслушивая разного рода домыслы и догадки! В то же самое время, когда я так добивался постановки моего «Цветка счастья», я написал и отослал в дирекцию, опять-таки анонимно, комедию «Первенец». Ее поставили на сцене театра, и в ней участвовал замечательный ансамбль исполнителей. Госпожа Хейберг играла роль Кристины так живо, с таким огоньком, что воодушевляла всех, и пьеса, как известно, имела огромный успех. В тайну мою опять был посвящен Коллин да еще Эрстед, которому я читал «Первенца» еще у себя дома. И он от души радовался тем похвалам, тому, пожалуй, даже чрезмерному успеху, который снискала эта вещица. Кроме двух названных лиц, никто не знал настоящего автора. После премьеры пьесы, когда я только что пришел из театра домой, ко мне завернул один из на-

ших молодых талантливых критиков. Он тоже был в театре и принялся восторгаться «этой прекрасной комедией». Я был очень взволнован и, боясь выдать себя, поспешил сказать: «А я знаю автора!» — «Кто же это?» — спросил он. «Вы!» — воскликнул я. — Вы ведь так взволнованы, и многое из того, что вы сейчас говорили, выдает вас с головой. Не ходите сегодня ни к кому больше! Если вы будете продолжать хвалить ее в том же духе, вас сразу узнают!» Гость мой совсем смутился, покраснел и, положив руку на сердце, принялся разуверять меня. «Ну, ну, полно вам! Я что знаю, то знаю!» — отвечал я, смеясь, и затем извинился перед ним, сославшись, что должен сейчас уходить. Я положительно не мог больше сдерживаться, потому-то и был вынужден сыграть такую комедию; собеседник мой, между тем, ничего не заподозрил. Вскоре я зашел к директору театра Адлеру узнать о судьбе «Цветка счастья». «Разумеется, — сказал он, — это очень поэтическая вещь, но нам она не подходит! Вот если бы вы дали нам такую вещицу, как “Первенец”! Это прелестная пьеса, но, конечно, абсолютно не в характере вашего дарования! Вы — лирик и не обладаете подобным юмором!» — «К сожалению!» — ответил я и также похвалил «Первенца». И долго еще эта пьеса пользовалась все тем же успехом, но автор ее оставался неизвестным. Одно время многие думали на Хострупа, и это было не в ущерб мне; некоторые все же указывали и на меня, но этому уж совсем не хотели верить. Я сам был свидетелем, как доставалось тем, кто называл автором меня; противники этого мнения главным образом упирали на то, что «Андерсен не мог бы смолчать, раз пьеса имеет такой успех!». «Никак не смог бы!» — подтверждал я, давая себе слово молчать до тех пор, пока пьеса не потеряет с годами интереса новизны. И я сдержал слово; автора узнали, лишь когда я включил «Первенца», так же как и «Грезы короля», в собрание своих сочинений, изданное в 1854 году. А между тем многие характеры персонажей романов «О.Т.» и «Всего лишь скрипач» могли бы навести людей на мысль, что я и есть автор «Первенца». Да и в сказках моих, кажется, можно найти кое-какой юмор; но вот подите же — его находили только в «Первенце». Все это весьма забавляло Эрстеда, который первым заметил и обратил мое внимание на развитие именно этой, юмористической стороны моего таланта. Он замечал проявления юмора и во многих ранних моих произведениях, да и в самих моих поступках вроде следующих. Собираясь издать в 1830 году в первый раз собрание своих сти-

хотворений, из которых многие были уже напечатаны раньше, я хотел предпослать ему какой-нибудь эпиграф. Сколько я ни рылся в памяти, ничего, однако, не приходило на ум, и я взял да и сочинил его сам: «“Vergessene Gedichte sind neu!” Jean Paul»\*. И впоследствии я немало забавлялся, слыша, как цитировали это изречение Жан-Поля другие литераторы, люди начитанные. Я-то ведь прекрасно знал, откуда они взяли его! Знал это и Эрстед.

Одно время мне приходилось очень несладко от жестокой и пристрастной критики; часто меня доводили до отчаяния, но иногда на меня находили и минуты юмористического настроения, заставлявшего меня воспрянуть духом, выйти из подавленного и угнетенного состояния. В такие минуты я отлично сознавал свои собственные слабости и недостатки, но также и весь комизм, а часто даже и глупость выходок моих ретивых менторов. И вот как-то раз я сам написал критическую статью о Х.К.Андерсене, причем очень жесткую и придирчивую, совсем в стиле извечных нападок; в заключение я строго требовал, чтобы Андерсен побольше учился и не забывал, скольким он обязан своим воспитателям. Вообще я не только упомянул в ней обо всех обыкновенно выставляемых на вид недостатках моих произведений, но еще и прибавил от себя несколько таких, которые, как я знал, могли бы найти в моих книгах, если бы хотели насолить мне. С этой критической статьей я и явился к Эрстеду в день, когда в доме у него собрались гости. Я сказал, что принес с собою снятую мною копию со свирепой рецензии, и прочел ее. Все подивились моей охоте переписывать такое и согласились, что критика чересчур уж резка. «Резка-то резка, — заметил Эрстед, — но сдается мне, есть здесь и кое-что справедливое, в некотором смысле достаточно верный взгляд на вас!» — «Еще бы, — сказал я, — коли я сам написал все это!» Последовали всеобщее изумление, смех и шутки. Большинство присутствовавших были поражены тем, что я мог написать подобную статью. «Да ведь он настоящий юморист!» — сказал Эрстед, и мне самому в первый раз стало ясно, что я действительно не лишен юмористической жилки.

С годами у всякого человека, как бы много он ни странствовал по свету, возрастает потребность иметь постоянное убежище, уют-

---

\* «“Забывтые стихотворения новы!” Жан-Поль» (нем.).

ное гнездо, в котором нуждается даже перелетная птица. Такими убежищами для меня стали дома Эрстеда, Вульфа, госпожи Лэссё, главным же образом — дом Коллина, бывший для меня поистине родным домом. Принятый в нем как сын, я практически вырос вместе с родными детьми Коллина, стал как бы членом их семьи. Более тесных родственных связей я не наблюдал ни в какой другой семье, и вдруг из этой цепи выпало одно звено, и в час скорбной утраты я еще яснее сознал, как крепко я был привязан к семейству, причислявшему меня к числу своих членов. Если бы мне пришлось указать на образец хозяйки и матери семейства, всецело забывавшей самое себя ради мужа и детей, то я указал бы на супругу Коллина, сестру известного ботаника Хорнеманна и вдову философа Биркнера.

В последние годы она лишилась слуха, а вскоре затем почти утратила и зрение. Ей сделали операцию, которая удалась, и к зиме она уже опять, к великой своей радости, могла читать книги. С каким нетерпением ждала она весну, чтобы вновь насладиться веселыми красками первой зелени в своем маленьком садике, и дождалась. Однажды я провел у них все воскресенье и, уходя вечером домой, оставил ее веселую и здоровую, а ночью слуга принес мне записку Колина: «Жене моей очень плохо; все дети собрались возле нее!» Я понял и поспешил к ним. Она тихо спала спокойным, безмятежным сном, казалось даже — без сновидений. Это был тот священный сон, в котором к душам праведным медленно и осторожно приближается смерть. Три дня лежала она все в той же тихой дремоте, затем лицо ее покрыла смертельная бледность — она умерла.

Закрывает очи ты, чтоб в мыслях вновь  
 Все пережить — и счастье, и любовь,  
 И сном забылась тихо, без страданья.  
 О, смерть! Не тень ты — светлое сиянье!\*

Никогда не думал я, чтобы можно было покинуть этот мир так легко, так блаженно-безболезненно. Душу мою озарила такая вера в Бога и в вечность, что минута эта стала для меня одною из важнейших во всей моей жизни. То был первый раз, когда я, вступив в пору зрелости, присутствовал при отходе в вечность близкого мне

---

\* Перевод А. и П. Ганзенов.

человека. Вокруг усопшей собрались все ее дети и внуки; в комнате царила благоговейная тишина. Ее душа была полна любви, и она ушла к источнику вечной любви, к Богу!

В конце июля вблизи Сканденборга должны были открывать памятник королю Фредерику VI. По поручению комитета я написал текст торжественной кантаты, музыку сочинил Хартманн, а исполнить ее должен был хор студентов. Все мы — и певцы, и композитор, и поэт, — разумеется, были в числе приглашенных на это торжество.

Меж высоких холмов, поросших роскошными буками, простирается живописное озеро, в бухтах которого Кристиан IV в детстве изображал из себя маленького матроса. На руинах замка построена церковь, перед которой и установили монумент королю работы Торвальдсена. Повсюду царили суэта и возбуждение, порядка почти совсем не было. Чтобы попасть поближе, люди стремились проникнуть за ограждение, однако и здесь практически ничего не было слышно. Сильный ветер относил в сторону звуки музыки и пение хора, а слова оратора заглушал шум толпы. Как мне представляется, торжественность и красота церемонии в полной мере проявились лишь к вечеру, уже после того, как открытие памятника состоялось. Вокруг монумента разложили костры из смолистых веток; дрожащие отблески языков пламени отражались в водах озера. В лесу мерцали тысячи огоньков, а из разбитых неподалеку шатров доносились звуки танцевальной музыки. На вершинах окрестных лесистых холмов одновременно, словно повинаясь команде, вспыхнули огромные факелы, похожие на фоне черного неба на красные звезды. И берег, и озеро были объаты тихим покоем; кругом царил пьянящий аромат, столь присущий нашим чудесным северным летним ночам. Огромные колеблющиеся тени тех, кто проходил между памятником и церковью, как будто извивались на кирпичной стене в каком-то причудливом танце; казалось, что это духи, решившие также принять участие в празднике.

Чтобы доставить студенческий хор и нас домой, король выделил свой пароход, однако до нашего отъезда жители Орхуса, движимые самыми лучшими побуждениями, вознамерились дать бал в нашу честь. Длинная череда наших экипажей прибыла к городу, однако несколько раньше, чем следовало. Еще не все было подготовлено к торжественному приему. Нас попросили немного повременить, и на



протяжении нескольких часов мы в ожидании чествований коротали время за городом под лучами палящего июльского солнца. Когда наконец мы прибыли на главную площадь Орхуса, нас построили в ряд, и добрые горожане стали выбирать себе гостей среди студентов; каждый должен был быть принят в семье и вкусить домашнего уюта и угощения. Хартманн уже ранее получил от кого-то приглашение, а же скромно встал в один ряд со студентами. Горожане один за другим подходили ко мне, кланялись, осведомлялись о моем имени, а услышав его, все как один спрашивали: «Но вы же не поэт, не так ли?» — «Он самый и есть!» — отвечал я. Тогда они снова кланялись и отходили в сторону. Никто так и не захотел взять на постой поэта, или же, смею надеяться, как мне потом вежливо объяснили, каждый из них счел себя недостойным такой чести. В результате же от этого проиграл лишь я один. Я остался стоять на площади, как раб на невольничьем рынке, которого так никто и не купил. Вот и вышло, что гостеприимный Орхус встретил меня уютом здешней гостиницы.

Обратная дорога в Копенгаген прошла под звуки песен, смех и шутки молодежи. Вскоре показались темные утесы. Кулленский утес, свежая зелень буковых роц; композитор и поэт в теплой компании поющих друзей вернулись наконец домой. Здесь я с новыми силами принялся за литературную деятельность.

В начале того же года роман мой «Импровизатор» был переведен на английский язык известной писательницей Мэри Ховитт и, как я уже упоминал, имел немалый успех. За ним последовали переводы других моих романов «О.Т.» и «Всего лишь скрипач», и наконец все они вышли одним изданием под общим заглавием «The Life in Denmark» («Жизнь в Дании»). Из Англии эти мои произведения перекочевали в Америку. На немецкий и шведский языки они были переведены еще раньше, а теперь появились также и на голландском; в России мой «Импровизатор» вышел в переводе с шведского издания. Сбылось то, о чем я не смел и мечтать. Произведения мои читались чуть ли не во всей Европе; положительно, они родились под счастливой звездой — иначе я себе и объяснить этого не мог. Книжки странствовали по белу свету, везде находя себе друзей и куда более снисходительных критиков, нежели на родине, где их могли читать в оригинале. Какое же это великое и одновременно пугающее чувство, когда мысли твои разлетаются по свету и оседают в душах других

людей! Становится прямо-таки страшно в такой степени ощущать свою причастность всему миру! Все, что есть в человеке хорошего, доброго, приносит в таких случаях благословенные плоды, но ведь и заблуждения, зло, таящиеся в его душе, тоже могут пустить свои ростки. Невольно рождается мысль: «Не дай мне, Господи, никогда написать ни единого слова, в котором бы я не мог потом дать Тебе отчета!» Смешанные чувства радости и страха охватывают меня всякий раз, как ангел-хранитель переносит мои произведения в чужую страну.

Путешествие всегда было для меня освежающим купанием, животворным напитком из кубка Меден, испив которого, молодеешь душой и телом.

Я страстно люблю путешествовать, и вовсе не ради того, чтобы собирать материал для творчества, как выразился один из моих рецензентов в статье о «Базаре поэта» и как потом повторяли за ним другие. Свои идеи и образы я нахожу в собственной душе, и даже жизни не хватит исчерпать этот богатый источник. Но чтобы перенести на бумагу окончательно оформленные и созревшие мысли, нужны известная свежесть, бодрость духа; ими-то я и запасюсь во время путешествий, они для меня — освежающее купание, после которого чувствуешь себя сильнее и моложе. Разумная бережливость в расходовании своих литературных заработков уже несколько раз давала мне возможность проехаться по Европе. Признание моих заслуг, а быть может, даже некоторое их преувеличение, но прежде всего сердечная теплота, наполняющая душу радостью и счастьем, — вот то, что в полной мере ждало меня за границей. Как печально, что о родине своей я не могу сказать того же. Если за рубежом я весь бывал объят солнечным светом, то в родном отечестве на мою долю выпадали лишь редкие лучики. Здесь, в основном, обращали внимание на мои недостатки, пытались меня поучать, зарубить на корню все те новые, оригинальные ростки, что появлялись в моем творчестве. И они были бы безжалостно затоптаны, если бы не всеобщее признание и любовь ко мне за рубежом. Именно они взлелеяли мой талант, придали уверенность в собственных силах. То, с каким сочувствием относились ко мне за границей, как высоко оценили мое дарование, в каких восторженных выражениях писали о моих произведениях, поразило многих соотечественников, заставило их призадуматься и в конце концов оказать мне как поэту по крайней мере уважение. Воистину, если у се-

бя на родине я был бедной Золушкой, козлом отпущения, то за рубезом меня ласкали и лелеяли, как любимое дитя. Однако это было слабым утешением, ибо боль и страдания, причиненные близкими, воспринимаются куда как острее.

Однако вернемся к моей поездке. Та, о которой сейчас пойдет речь, стала одним из самых счастливых моих путешествий, во время которого Господь даровал мне огромную радость от признания моего дарования многими. Я намеревался вновь, в третий раз, посетить Италию, а также проехаться летом по югу Европы, поэтому план мой включал в себя также Испанию и Францию.

В последних числах октября 1845 года я выехал из Копенгагена. Прежде, отправляясь в путешествие, я, бывало, размышлял: «Господи, что-то Ты пошлешь мне в эту поездку?» Теперь же я думал: «Господи, что-то случится с моими друзьями за долгое время моего отсутствия?» Мне было не по себе: ведь сколько раз за один только этот год может выехать из ворот погребальная колесница! Чьи-то имена будут высечены на крышках этих гробов?.. Есть у нас такая поговорка — почувствовав в теле холодную дрожь, мы говорили: «Как будто смерть уже готовит нам могилу!» Однако с куда большей дрожью думаем мы о тех могилах, в которые смерть уносит лучших наших друзей!

Как ни влекло меня в Италию, я все-таки провел несколько дней у графа Мольтке в Глорупе; меня неудержимо влекла к себе красота природы, полной, несмотря на позднюю осеннюю пору, какой-то поэтической прелести. Листва уже опала, но яркая зелень травы и щебетание птиц в солнечные дни заставляли думать, что на дворе ранняя весна, а не глубокая осень. Такие чувства, должно быть, испытывают пожилые люди в осеннюю пору своей жизни, когда сердце грезит давно ушедшей весной.

В своем родном городе, в старом Оденсе, я остановился всего на один день. Я чувствовал себя здесь более чужим, нежели в любом из больших городов Германии. В детстве я был очень одинок, и у меня не осталось здесь никаких близких друзей, большинство знакомых мне семейств уже умерло, на улицах встречались все незнакомые лица, да и самые улицы сильно изменились. Бедных могил моих родителей было уже не сыскать; на тех местах давно похоронили новых покойников. Все изменилось!

Я отправился в связанную с моими детскими воспоминаниями усадьбу Мария-Хой, принадлежавшую Иверсенам. Семья их разбрелась по свету; из окон глядели на меня чужие, незнакомые лица. А ведь с этим домом было связано так много в моей юности! Одна из молодых моих приятельниц, тихая, скромная Хенриетта Ханк, некогда так внимательно, с сияющим взглядом слушавшая мои первые стихотворения, которые я читал, приезжая сюда из Слагельсе еще гимназистом, а потом и студентом, теперь так же тихо и скромно жила далеко отсюда, в шумном Копенгагене. К тому времени она уже выпустила в свет два романа: «Тетя Анна» и «Дочь писательницы», и оба они были переведены на немецкий язык. Немецкий издатель их полагал, что несколько добрых слов с моей стороны могли бы содействовать их успеху, и вот я, чужестранец, может быть, не по заслугам хорошо принятый в Германии, рискнул рекомендовать немецким читателям произведения этой скромной девушки. Я побывал в доме, где прошло ее детство. Здесь, на берегу городского канала, собирался маленький кружок наших знакомых; здесь впервые мои стихи нашли сочувственный отклик. Все тут изменилось, все выглядело таким незнакомым, изменился и я сам. Никогда больше не довелось нам с ней свидеться. Вернувшись год спустя на родину, я узнал, что она умерла в июле 1846 года. Родители лишились в ней милой любящей дочери, свет — вдохновенной поэтической природы, а я — верной подруги юности, которая с любовью и истинно сестринским участием следила за всеми и веселыми, и грустными перипетиями моей жизни.

Герцог Августенбургский удостоил меня чести в числе прочих датчан быть приглашенным на празднование его серебряной свадьбы. Между тем в обществе уже вовсю ощущалось брожение умов, некоего рода напряженность, из-за которой положение герцогского дома по отношению к интересам королевства становилось все более двусмысленным. Хотя я всегда был и остаюсь чужд политической жизни, все же мне не хотелось, чтобы в моем присутствии произносились резкие слова или же допускались какие-то иные проявления антидатской направленности. Да и кроме того, мне было удобнее заехать и поблагодарить герцога за его милостивое приглашение несколько позже, когда я буду уже на пути в Италию, чем ехать сейчас в Гравенстен, затем возвращаться на родину, а вскоре после этого опять собираться в здешние места. Таким образом, я впервые посетил красивейшие

окрестности Гравенстена и сам охотничий замок лишь спустя какое-то время после празднований. Как и ранее, со стороны хозяев меня ждал самый теплый и милостивый прием, я не заметил ничего, что могло бы оскорбить разум или чувства датчан. Правда, вечером среди прочих песен, исполняемых гостями, прозвучала и «Шлезвиг-гольштейнское море волнуется», однако я счел это не заслуживающим внимания. Гораздо важнее то, что все в герцогской семье говорили между собой исключительно по-датски; да и вообще расположенность герцога к Дании ощущалась решительно во всем, что позволило мне лишний раз убедиться, как ошибались в Копенгагене на его счет. Никто не подозревал, насколько уже близка была буря. Я пробыл в имении герцога четырнадцать дней, и эти две чудесные недели стали как бы прологом к той божественной радости, тому несказанному счастью, которые сулила мне новая встреча с Германией. Местность в районе Фленсбург-фьорда принадлежит к самым живописным уголкам Шлезвига: дремучие леса и скалистые возвышенности следуют здесь попеременно с морскими бухтами и многочисленными пресными озерами. Даже расплзающийся в воздухе туман, не столь привычный мне, как жителю островов, добавлял в моих глазах прелести здешнему пейзажу. Окружающие меня красоты природы, спокойная и счастливая жизнь, текущая за стенами замка, — все это заставило меня написать сказку о нужде и горе. Так появилась «Девочка со спичками». Издатель «Датского народного календаря» как-то раз прислал мне три гравюры на дереве с просьбой написать небольшую историю на сюжет одной из них. Я выбрал картину, изображавшую маленькую девушку в переднике, полном серных спичек; несколько штук зажаты также у нее в руке.

Получив приглашение почаще бывать в Гравенстене и Августенбурге, я покинул милые моему сердцу места, где я провел столько счастливых дней. Вскоре тут наступили совсем другие — тяжкие и кровавые времена. С тех пор я так и не решился побывать в здешних краях. Последнее, что я здесь слышал, это звуки рояля, под аккомпанемент которого принцесса Августенбургская с присущим юности задорным весельем напевала «Лота умерла». Это «умерла» — «умерла» — отдастся в моей душе болезненным эхом всякий раз, как я вспоминаю те дни. Однако — вернемся к моему путешествию.

В Гамбурге к моим старым друзьям прибавился теперь еще один, новый — художник Шпектер. Он поразил меня своими великолепны-

ми, смелыми иллюстрациями к моим сказкам. Позднее все они были включены в одно из немецких, а затем и в английское издание. Его иллюстрации, несомненно, были самыми гениальными из всех, какие мне доводилось когда-либо видеть. Вся его личность дышала тою же свежестью и смелой простотой, которой так поражают все его работы и которая ставит их на степень маленьких шедевров. Он еще не был женат и жил с отцом и сестрами. От этой семьи веяло какою-то особенною патриархальностью; милый, сердечный старик отец и сестры, талантливые молодые девушки, всей душой любили своего сына и брата. Мои сказки, по-видимому, произвели на Шпектера сильное впечатление и пробудили в нем искреннюю приязнь ко мне. Его живая, жизнерадостная натура сказывалась во всем. Однажды вечером он провожал меня в театр; в распоряжении у нас оставалось всего четверть часа, как вдруг, проходя мимо одного богатого дома, он заявил: «Сначала, любезный друг, нам следует зайти сюда! Здесь живет одно семейство, мои друзья и — ваши друзья благодаря вашим сказкам. Дети будут неопишимо счастливы!» — «Да, но ведь спектакль сейчас начнется!» — сказал я. «Ну, какие-нибудь две минуты!» — возразил он и потащил меня в дом, громко назвал мое имя, и нас сразу же окружила толпа детей. «Расскажите им хоть одну сказку! Ну, пожалуйста!» Я рассказал и поспешил в театр, чтобы не опоздать. «Да, странный визит!» — заметил я. «Восхитительный! — ликовал он. — Дети только и бредят Андерсеном и его сказками, и вдруг он сам стоит среди них, рассказывает им сказку и — исчезает! Да само это событие для них — настоящая сказка. Они этого вовек не забудут!».

В великом герцогстве Ольденбургском жили люди, которых я без всякого преувеличения могу назвать в числе тех моих зарубежных друзей, кто принимал в моей судьбе наибольшее участие. Ими были уже упоминавшиеся мною ранее посол фон Эйзендехер и его умнейшая супруга, в доме которых меня всегда ждала специально отведенная комнатка, где все было устроено специально по моему вкусу — мило и по-домашнему. Я обещал погостить у них две недели, получилось же гораздо дольше, о чем я вовсе не жалею, ибо в этом доме собирались лучшие, умнейшие люди из местного светского общества. Следует отметить, что, несмотря на размеры герцогства, местный драматический театр принадлежал — по крайней мере в то время — к числу лучших в Германии. Заведовал им тогда Галл — личность

весьма талантливая; кроме того, большую и плодотворную помощь ему оказывал поэт Юлиус Мозен. Внешне Мозен чем-то неуловимо напоминал мне Александра Дюма: по-африкански смуглое лицо, огромные блестящие карие глаза; несмотря на тщедушное телосложение, он оказался сгустком бурлящей энергии и остроумия. Мы быстро сошлись с ним и часто встречались. Ему же обязан я тем, что мне удалось посмотреть одну из классических немецких пьес, «Натана Мудрого» Лессинга, где главную роль исполнял Кайзер — блестящий и весьма тонкий актер и чтец-декламатор.

Вновь встретился я здесь и с Майером, автором интереснейшей книги «Неаполь и неаполитанцы». Он уже прочел все мои произведения, переведенные на немецкий язык, и годом позже поместил в сентябрьском и октябрьском выпусках «Современного ежесеместричника» большую и обстоятельную статью «Андерсен и его сочинения», дышащую искренней любовью ко мне, а также глубоким пониманием всего прочитанного. Помимо всего прочего, статью эту можно назвать настоящим гимном датской литературе, что имело для меня огромное значение. Однако на родине у нас она осталась незамеченной, несмотря на то что имела довольно шумный резонанс во многих странах. Мне кажется, я знаю причину этого: дело в том, что в статье автор сравнивает меня с Гейне, находя при этом поразительное сходство. Для нашей же публики само упоминание рядом имен Гейне — признанного гения — и какого-то там Андерсена казалось в высшей степени режущим слух диссонансом: «Оба поэта имеют прямое отношение к немецкому романтизму. Но если Гейне в счастливые часы вдохновения вплетает в романтический венок прелестные цветы, которые вянут, тронутые прозой жизни, то Андерсен во главу угла ставит, как того требует новая школа, не признающая эгоистического романтизма, прежде всего содержание. Это характерно для обоих видов его сочинений, как для романов, так и для сказок. При этом ему чужды недостатки новой школы — увлечение философией и политическими теориями. Он не знает работ Гегеля, да и не хочет ничего о нем знать, ибо по-детски искренняя природа его как писателя изо всех сил противится этому».

Неоднократно виделся я и с моими старыми друзьями — капельмейстером Поттом и художником-соотечественником Йерндорфом; каждый день, проведенный в обществе, собиравшемся в доме фон

Эйзендехера, приносил мне все новые и новые знакомства. Великий герцог также не обходил меня своим милостивым вниманием: на следующий же день по прибытии я был приглашен на придворный концерт; впоследствии меня также не раз звали во дворец к обеду.

Я несколько раз читал свои сказки по-немецки в доме фон Эйзендехера и у тайного советника Больё. Мягкое произношение мое, а также чисто датский характер чтения, вероятно, придавали сказкам то наивное звучание, которое — правда, довольно-таки безуспешно — пытался придать им переводчик; поэтому меня всегда слушали с особенным интересом. Читал я свои сказки, как уже говорил раньше, и при Веймарском дворе, а затем в домах многих моих немецких друзей. Оказывалось, что иностранный акцент при чтении их нисколько не мешал, а напротив, вполне подходил к их детскому тону и придавал им какой-то особенно характерный колорит. Постоянно вокруг себя я видел заинтересованные лица, даже когда читал перед самой изысканной публикой.

В упомянутой уже мною статье в «Современном ежемесячнике» автор пишет:

«Андерсена упрекают в тщеславии, ибо он никогда не устает перечитывать вслух одни и те же сказки и разговаривать о своем творчестве. Однако, во-первых, лишь такая душевная доброта заставляет его уступать многочисленным упрашиваниям почитать или рассказать какую-либо из своих сказок, и даже если это и не на шутку утомляет его, читает он легко и просто, как будто исполняет песню; сказки в его исполнении так и льются рекой — сначала одна, затем другая, потом еще несколько. Во-вторых, многие писатели точно так же не прочь были бы озвучить свои произведения, однако сделать это им весьма затруднительно, поскольку толстые рукописи редко находят благодарную аудиторию. Другие писатели равным же образом любят говорить о своих творениях, как правило, лишь мельком касаясь того, что к ним не относится, и постоянно стараются свести тему разговора к обсуждению собственного “я”. О них лишь можно сказать, что, действуя более ловко, они умудряются глубже запрятать собственное тщеславие, не выставляя его на всеобщее обозрение».

Зиму я встретил, по-прежнему находясь в Ольденбурге. Покрытые водой окрестные луга застыли и превратились в огромные катки; на них всегда можно было увидеть толпы катающихся. Я поистине



прикипел сердцем к старому доброму Ольденбургу; дни здесь слились для меня в сплошную череду общения с милыми друзьями, в гостеприимных домах которых мы читали вслух, музицировали, вместе смотрели театральные спектакли, вели увлекательные беседы. Время летело поистине незаметно. Я услышал здесь одну никому не известную историю о нашей несчастной королеве Каролине Матильде, настолько поразившую меня, что я позволю себе пересказать ее здесь.

Одна из пожилых придворных дам при дворе великого герцога рассказала, что ее отец входил в состав датского посольства, с которым из Англии в Данию направлялась будущая королева наша, Каролина Матильда, супруга Кристиана VII. Во время плавания через Северное море их застиг сильнейший шторм. Порыв ветра сорвал с мачты полотнище, которое представляло собой сшитые вместе флаги Дании и Англии. Ураган был такой силы, что швы не выдержали и полотнище разорвалось пополам — флаги разделились. При виде этого дурного предзнаменования в глазах Каролины Матильды блеснули слезы, однако она тут же взяла себя в руки, подобрала обрывки полотнища, достала иглу с нитками и здесь же, на палубе, под градом соленых брызг вновь сшила наши флаги.

Не могу не рассказать здесь и об одном весьма тронувшем меня поступке маленького сына поэта Мозена. Мальчик всегда с большим вниманием слушал мое чтение. Накануне отъезда я зашел к ним проститься, и мать ребенка, велев ему подать мне руку, прибавила: «Неизвестно еще, когда ты его опять увидишь!» Мальчик расплакался. Вечером я встретился с Мозеном в театре, и он сказал мне: «У моего Эрика два оловянных солдатика, и он попросил меня передать вам одного из них в качестве спутника». Я взял солдатика, и он поехал со мною. В сказке «Старый дом» я как раз и вспоминаю солдатика маленького Эрика. Сам же Мозен, посылая мне своего «Йогана Австрийского», писал:

Из-за моря прилетела  
Птица певчая ко мне,  
Спела — дальше полетела  
Сказки петь по всей стране.  
Добрый путь! Но не забудь  
К другу снова заглянуть.

Я долго откладывал свой отъезд, но наконец пришлось решить-ся: Рождество было не за горами, а я в этом году хотел провести его в Европе.

Однако в наши дни это — не расстояние! От Ганновера до Берлина паровоз доставил меня за один день. С печалью покидал я Ольденбург, оставляя здесь столько милых моему сердцу друзей.

Во время последнего моего пребывания в Берлине я в качестве автора «Импровизатора» был приглашен в «Итальянское общество», куда входили лишь те, кто хоть раз побывал в Италии. В этом кружке я в первый раз увидел Рауха, напомнившего мне своей мощной, мужественной фигурой и серебристыми волосами Торвальдсена. В тот раз меня почему-то не познакомили с ним, а отрекомендовать-ся ему сам я как-то постеснялся. Не удалось мне заговорить с ним и в его ателье, которое я посетил, как и все иностранцы. Мы познакомились только позже, во время пребывания его у нас в Копенгагене вместе с директором музея Олферзом, и в нынешний свой приезд в Берлин я сразу же отправился к нему. Он заключил меня в объятия и начал осыпать похвалами — за это время он успел познакомиться с большинством моих сочинений и особенно восхищался сказками. Такие похвалы, пусть, может быть, и чрезмерные, со стороны гениального человека в состоянии развеять самые мрачные мысли! Раух, таким образом, первый приветствовал меня по моему прибытию в Берлин, и от него я узнал, какой обширный круг друзей ожидает меня здесь, в столице Пруссии, и получил возможность убедиться в этом воочию. Я встретил здесь наилучший прием со стороны лиц, столь же выдающихся своими высокими нравственными качествами, сколько и заслугами в науке и искусстве, таких, как Александр Гумбольдт, князь Радзивилл, Савиньи и многие другие.

Еще в первое свое посещение Берлина я отыскал братьев Гримм, но знакомство наше не было близким. Я не позаботился тогда заручиться никакими рекомендательными письмами к ним: мне говорили, да я и сам полагал, что если я кому-либо известен в Берлине, так это именно братьям Гримм. На вопрос отворившей мне служанки, кого из братьев я желаю видеть, я ответил: «Того, который больше написал!» Я ведь не имел понятия о том, который из братьев принимал наибольшее участие в собирании и издании народных сказок. «Якоб

ученеe!» — сказала служанка. «Ну, так и ведите меня к нему!» И вот наконец я увидел перед собой характерное умное лицо Якоба Гримма. «Я являюсь к вам без всякого рекомендательного письма, надеюсь, что имя мое вам небезызвестно!» — начал я. «Кто вы?» — спросил он. Я назвал себя, и Гримм с некоторым смущением ответил: «Я что-то не слышал вашего имени. Что вы написали?» Теперь я, в свою очередь, смутился и назвал некоторые свои сказки. «Я их не знаю! — с еще большим смущением сказал он. — Однако, быть может, я знаю какое-нибудь из других ваших произведений, назовите их!» Я назвал «Импровизатора» и еще несколько других моих сочинений, но Гримм только качал головою. Мне стало совсем не по себе. «Какого же вы, должно быть, мнения обо мне! — смешавшись, сказал я. — Пришел к вам ни с того, ни с сего и перечисляю вам свои сочинения!.. Но вы все-таки должны меня знать! Есть сборник сказок всех народов, изданный Мольбеком и посвященный вам; в нем помещена и одна из моих сказок». Гримм, сконфуженный не меньше моего, самым добродушным тоном сказал на это: «Я и этой книги не читал. Но все-таки я очень рад видеть вас у себя. Позвольте мне познакомить вас с моим братом Вильгельмом». — «Нет, благодарю вас!» — сказал я, желая одного — поскорее убраться прочь. Я потерпел такое сокрушительное фиаско с одним из братьев, что никак не желал испытать того же и с другим. Пожав руку Якобу Гримму, я поспешил удалиться. Несколько недель спустя, когда я уже был в Копенгагене и как раз упаковывал свой чемодан, собираясь ехать в провинцию, ко мне в комнату вошел одетый по-дорожному Якоб Гримм. Он только что прибыл в Копенгаген и по дороге в гостиницу завернул ко мне, чтобы поскорее сказать мне: «Теперь я вас знаю!» Он сердечно пожал мне руку, проникновенно глядя на меня своими умными глазами. В ту же минуту в комнату вошел носильщик, явившийся за моими вещами, и наша встреча с Якобом Гриммом в Копенгагене вышла такой же короткой, как и берлинская. Но все-таки с этих пор мы уже знали друг друга и вот теперь встретились в Берлине как старые знакомые.

Якоб Гримм был одним из тех в высшей степени симпатичных людей, которые сразу же невольно располагают к себе. На этот раз я познакомился и с его братом и имел случай оценить также и его. Однажды вечером я читал у графини Бисмарк-Болен какую-то из

своих сказок. Среди слушателей особенно поразил меня своим вниманием и деятельными и оригинальными замечаниями один; это и оказался Вильгельм Гримм.

«Вот если бы вы попали ко мне, когда были здесь в последний раз, я бы вас наверняка узнал!» — сказал он. С тех пор я встречался с этими милыми высокоодаренными людьми почти ежедневно. Я часто читал в их присутствии свои сказки, и внимание, которое оказывали этим произведениям знаменитые собиратели «Немецких народных сказок», было мне особенно дорого. Первое мое неудачное посещение так огорчило меня, что в тот мой приезд в Берлин всякий раз, как кто-нибудь начинал особенно горячо толковать при мне о сочувствии ко мне берлинцев и о моей известности среди них, я качал головою и говорил: «Гримм меня, однако, не знает!» Теперь же я достиг и этого!

Тик был болен и, как мне сказали, не принимал никого; однако, получив мою карточку, он тотчас же послал мне записку и устроил в мою честь обед для небольшого кружка избранных лиц. Кроме меня, там были только брат Тика, скульптор, историк Раумер и вдова и дочь Стеффенса. В последний раз мы собирались так вот вместе. Прекрасные, полные истинного наслаждения часы пролетели незаметно. Никогда не забыть мне волшебного красноречия Тика, проникновенной задушевности взгляда его умных глаз, блеск которых не только не потухал с годами, но все более и более разгорался. «Эльфы» Тика — одна из прекраснейших сказок новейшей литературы, и если бы даже Тик не написал ничего, кроме нее, она одна обессмертила бы его имя. Как сказочник я глубоко преклоняюсь перед этим истинным художником, который много лет тому назад первый из всех немецких поэтов сердечно прижал меня к груди, как бы благословляя идти одним с ним путем.

Мне пришлось навестить всех моих старых друзей; число же новых с каждым днем возрастало, приглашения так и сыпались на меня одно за другим, и надо было обладать просто геркулесовой силой и выносливостью, чтобы выдержать такое широкое гостеприимство! Около трех недель провел я в Берлине, и чем дальше, тем, казалось, время летело все быстрее; наконец силы мои иссякли, я был утомлен и духовно, и физически и не предвидел иной возможности отдохнуть спокойно, как только снова оказавшись в вагоне поезда, который помчит меня из страны в страну.

И все же среди всей этой сутолоки гостеприимства и чрезмерного внимания, которыми окружали меня со всех сторон, выдался один вечер, который отозвался в душе особенно горько, дав мне в полной мере почувствовать все мое одиночество. Это было в сочельник, как раз в тот вечер, которого я всегда жду с какою-то ребячьей радостью и не могу себе представить без елки, без окружающей меня толпы радостных ребятишек и взрослых, снова становящихся в этот день детьми!.. Вот этот-то вечер я и провел у себя в номере один-одиношенок, думая о рождественском веселье у нас на родине, а все мои добрые берлинские друзья полагали, как сами потом рассказывали мне, что я провожу его там, где мне всего приятнее и куда я давным-давно уже был приглашен.

Йенни Линд была тогда в Берлине; Мейербер, как он ранее и задумывал, добился своего и устроил ее гастроль здесь. В германской столице она пользовалась огромным успехом; все восхищались ею — и не только как артисткой, но и как женщиной. Каждый выход ее на сцену сопровождался взрывами восторга; публика просто осаждала театр в те вечера, когда она пела. Во всех городах, куда бы я ни приехал, говорили только о ней. Однако и без этих напоминаний мысли мои были заняты ею, и я давно уже лелеял в душе мечту провести сочельник в ее обществе. Я надеялся, что если мне в этот вечер случится быть в Берлине, то я непременно встречу Рождество вместе с нею. Надежда эта переросла мало-помалу прямо-таки в навязчивую идею, и из-за этого-то я и отклонил все приглашения моих берлинских друзей. Но Йенни Линд не позвала меня к себе, и я провел сочельник в одиночестве. Я чувствовал себя несчастным и всеми покинутым; отворив окно, я вглядывался в звездное небо — вот моя елка! Мною овладело тихое, умиротворенное настроение... Иные, пожалуй, назовут его сентиментальным — пусть! Для них это просто слова, мне же известна теперь самая суть его. На другое утро меня, однако, уже разобрали досада; чисто по-детски мне было обидно за потерянный сочельник, и в то же время я не мог не рассказать Йенни Линд, как печально я провел его. «А я-то думала, что вы проводите его в обществе принцев и принцесс!» — сказала она. Я рассказал ей, что я отклонил все приглашения, чтобы провести сочельник с нею, что я давно бредил этой мыслью и только ради этого-то и приехал в Берлин к Рождеству. «Какое же вы все-таки дитя! — сказала она с улыбкой, ласково про-

вела рукой по моему лбу, рассмеялась и прибавила: — А мне-то это и в голову не пришло! К тому же меня давно пригласили в одно семейство. Но ведь мы можем еще раз справить сочельник! Ребенок получит свою елку! Мы зажжем ее у меня под Новый год!» И она действительно зажгла для меня в этот вечер нарядную елочку. Йенни Линд, ее компаньонка да я составляли все общество. И вот мы, трое детей севера, встретили в Берлине Новый год, любуясь огнями елки, зажженной ради меня одного. Мы веселились, словно дети, играющие в прием гостей; все было прекрасно продумано и приготовлено, как будто в расчете на целое общество, нам подали чай, мороженое и наконец ужин. Йенни Линд спела большую арию и несколько шведских песен — словом, для меня был дан настоящий музыкальный вечер, и все подарки с елки достались мне одному. В городе узнали о нашем скромном торжестве, и в одной газете даже появилась заметка, в которой дети севера — Йенни Линд и Андерсен были изображены под елкой, чуть ли не в обнимку.

Хочу рассказать здесь о небольшом эпизоде, который, на мой взгляд, является лучшим доказательством того успеха, которым пользовалась в Берлине Йенни Линд. Как-то утром, выглянув из окна, выходящего на Унтер-ден-Линден, я заметил неподалеку от дома стоящего в тени деревьев бедно одетого мужчину. Достав из кармана расческу, он причесался, затем тщательно разгладил манишку и принялся прямо рукой пытаться очистить какую-то грязь с сюртука. Не понаслышке знакомый с тем, что такое стыдливая бедность, я начал с интересом наблюдать за этим человеком. Приведя себя в порядок, он направился прямо к моей двери и постучал. Я распахнул дверь и впустил его внутрь. Человек отрекомендовался мне как поэт-любитель Б., сапожник по профессии. Я слышал об этом самородке: Рельштаб, Клетке и прочие берлинские поэты весьма тепло отзывались о нем в печати как об истинно поэтической натуре, отмечая в его поэзии здоровое начало и неподдельное религиозное чувство. Б. сказал, что прочел в газетах о моем приезде и решил меня навестить. Мы присели на диван; он держался так скромно и одновременно настолько благожелательно и с таким достоинством, что я немало подсадовал на свою относительную стесненность в средствах, что не позволяло оказать ему денежную поддержку, которая не оскорбила бы его своей скудностью. Я ведь пре-

красно видел, как он в ней нуждался, однако, к сожалению, денег у меня было недостаточно; тогда я решил отблагодарить его за любезное посещение хотя бы тем, что было в моих силах, и спросил, могу ли я пригласить его послушать Йенни Линд.

«А я уже слышал ее! — с улыбкой сказал Б. — На билет у меня денег не было; я отправился прямоком к старшине статистов и попросился на один вечер статистом в “Норму”. Согласие я получил, и вот в наряде римского легионера с мечом на боку тем же вечером я вышел на сцену и, смею уверить, слышал Йенни Линд лучше, чем кто бы то ни было в зале, ибо стоял прямо рядом с нею. Как же она пела, как играла! Я не смог сдержаться и заплакал, чем вызвал немалый гнев со стороны старшины статистов, который запретил мне впредь появляться за кулисами — в театре ведь не плачут!»

Йенни Линд решила познакомить меня с госпожой Бирх-Пфейффер. «Это она обучила меня немецкому! — рассказывала мне Линд, провожая меня к ней. — Она для меня все равно что мать! Вы непременно должны познакомиться с нею!» Выйдя на улицу, мы взяли первого попавшегося извозчика. «Всемирно известная Йенни Линд — и на извозчике! Как можно!» — подумаете, пожалуй, вы, подобно тем копенгагенцам, которые заметили однажды ее, едущую со своей старой подругой на обычном извозчике. «Йенни Линд не приличествует раскатывать на каком-то извозчике. Это ни на что не похоже!» Какие, однако, бывают у людей странные понятия о приличии! Истинно великий человек никогда не придает значения таким мелочам! Как-то раз в Нюсё, когда я собирался отправиться в город в дилижансе, Торвальдсен захотел составить мне компанию, и все тоже стали говорить: «Это невысказано! Торвальдсен — в дилижансе!» — «Да ведь Андерсен же едет!» — сказал он простодушно. И тут уже я сам принялся объяснять ему, что это совсем другое дело, что если поедет в дилижансе он, Торвальдсен, то это будет воспринято как верх неприличия. Так получилось и в тот раз, когда копенгагенцы увидели Йенни Линд на извозчике. Впрочем, это ничуть не помешало ей воспользоваться таким же экипажем здесь, в Берлине, когда мы отправились к госпоже Бирх-Пфейффер. Я знал последнюю как прекрасную актрису и незаурядную драматическую писательницу, чей талант по масштабам не уступает таланту романиста Скриба, знал также, как жестоко отно-

силась к ней критика, и невольно подумал, что именно это и придавало оттенок некоторой горечи той милой улыбке, с которой нас встретила эта достойная женщина. «Я еще не читала ваших сочинений, — сказала она, — но знаю, как благосклонны к вам наши рецензенты! Я, к сожалению, этим не могу похвастаться!» — «Он мне все равно что добрый, любящий брат!» — сказала Йенни Линд и вложила мою руку в ее. В следующее же свое посещение я застал госпожу Бирх-Пфейффер за чтением «Импровизатора» и понял, что теперь у меня стало одним другом больше.

Во время пребывания в Берлине мне посчастливилось несколько раз быть принятым принцессой Прусской, сестрой ныне правящей великой герцогини Веймарской. Замок ее — настоящий дворец фей — отличался каким-то особым уютом. Чтобы попасть в покои, где меня уже ожидал самый теплый прием со стороны любезной принцессы в окружении ее милых детей, следовало сперва миновать цветущий зимний сад со статуей, у подножия которой весело журчал пробивающийся сквозь мох источник. Как-то утром я прочел по ее просьбе пару своих сказок; при этом присутствовали также ее венценосный супруг и князь Пюклер-Мускау, автор «Земилассо».

На прощание принцесса подарила мне красивый альбом в бархатном переплете, на первой странице которого изображено то крыло дворца, где я имел удовольствие быть принятым ею. Кроме того, она была столь любезна, что написала свой подарок, который дорог мне не только как воспоминание о нашей встрече. Глядя на него, я всякий раз возвращаюсь мыслями к сцене нашего расставания, и та сердечность, с которой принцесса преподнесла мне альбом, делает подарок стократ более ценным для меня.

Сейчас же по приезде в Берлин я был удостоен приглашения на обед во дворец. Мне досталось место рядом с Гумбольдтом, которого я знал лучше других и искренне любил не только как великого ученого, но и как милейшего, простого в общении человека, оказывавшего мне всяческие знаки внимания. Король принял меня очень любезно и сказал, что во время своего пребывания в Копенгагене спрашивал обо мне, но ему ответили, что я за границей. Затем он сказал, что прочел мой роман «Всего лишь скрипач» с большим интересом и с тех пор всякий раз, как увидит аиста, невольно вспоминает бедного Кристиана. Глубоко тронуло его описание смерти аис-



та. Королева также беседовала со мной весьма приветливо. Вскоре после того меня пригласили в Потсдам, где в обществе короля и королевы я провел незабываемый вечер. Кроме их величеств, дежурных дам и кавалеров, Гумбольдта и меня, никого не было. Когда я занял свое место за маленьким столиком, вокруг которого разместилось все небольшое общество, королева заметила, что я сижу как раз на том самом месте, на котором сидел Эленшлегер, когда читал им свою трагедию «Дина». Я прочел четыре сказки: «Ель», «Гадкий утенок», «Влюбленная парочка» и «Свинопас». Король был чрезвычайно оживлен, так и сыпал остроумными замечаниями. Разговор перешел на Данию, ее природу, в особенности леса, которые король находил удивительно красивыми. Вспоминал он также о прекрасном исполнении в датском Королевском театре комедии Хольберга «Оловянный политикан». Сидя в этом уютном салоне, в истинно дружеском кругу, встречая устремленные на меня добрые, ласковые взгляды, я чувствовал, как здесь меня любят, — пожалуй, даже больше, чем я заслуживал!.. Вернувшись поздно вечером к себе, я долго не мог заснуть — впечатления этого вечера слишком взволновали меня. Все вокруг вдруг приобрело какой-то сказочный колорит; башенные часы-куранты играли всю ночь; их красивая музыка удивительно гармонировала с моим настроением... Да, в минуты счастья чувствуешь себя как-то добрее, в душу спускается блаженный покой.

Накануне моего отъезда из Берлина я получил еще одно доказательство милостивого расположения ко мне прусского короля. Мне был пожалован орден Красного орла III степени. Такой знак отличия порадовал бы всякого, и я откровенно признаюсь, что был безмерно счастлив. Я видел в этом явный знак расположения ко мне благородного, просвещенного монарха, и сердце мое исполнилось благодарности к нему. Это был первый мой орден, и получил я его как раз в день рождения моего благодетеля Коллина, шестого января, так что день этот стал для меня с тех пор двойным праздником. Я был бесконечно рад и от души желал, чтобы Господь ниспослал счастья и удачи монарху, оказавшему мне подобную милость.

Последний вечер я провел в дружеском кружке, состоявшем по большей части из молодежи. Пили за мое здоровье и декламировали стихотворение: «Der Märchenkönig» («Король сказок»). Возвратился домой я лишь поздней ночью, а ранним утром уже сидел

в вагоне, готовясь отправиться в Веймар, где мне снова предстояло свидеться с Йенни Линд.

В «Сказке моей жизни без вымысла», написанной во время данной поездки под свежим впечатлением пережитого, я высказал по поводу этого отъезда следующее: «Я привел здесь примеры некоторых из оказанных мне в Берлине бесчисленных знаков доброго расположения ко мне. Я счел себя просто обязанным, как, мне думается, должен был бы поступить всякий, получивший от большого числа лиц крупные суммы для известной цели, отдавать отчет в доверенном мне богатстве, высказать волновавшие меня при этом чувства. Благодарение Господу, что он своей щедрой рукой отпустил мне силы осуществить теперь данное намерение».

Через сутки я уже опять находился в Веймаре у наследного великого герцога. У меня нет слов, чтобы высказать, с каким бесконечным радушием и приветливостью я был принят в герцогском доме; сердце мое преисполнилось чувством глубокой благодарности. Как во время придворных приемов, так и в уютном семейном кругу герцог относился ко мне с неизменной сердечностью; каждый из дней, проведенных здесь, стал для меня истинным праздником. Длился же этот праздник почти целый месяц. Никогда не забуду я тихих вечеров, проведенных в дружеской беседе с Больё. Часто присоединялись к нам умные, талантливые Шель и Шобер и почтенная годами, но по-юношески живая госпожа Швиндлер, верная подруга юных лет Жан Поля. Она отнеслась ко мне при первом же знакомстве с истинно материнским участием и чрезвычайно польстила мне своим замечанием, что я напоминаю ей этого великого писателя. Она рассказала о нем много интересного и нового для меня. Жан Поль, или, как его звали в действительности, Фридрих Рихтер, до такой степени был беден в молодости, что ему даже не на что было купить бумагу, и он, готовясь писать свое первое сочинение, вынужден был сперва заработать деньги на покупку ее перепиской копий с единственного печатного экземпляра газеты, которую выписывали в складчину крестьяне. Поэт Глейм первый обратил внимание на Жан Поля и написал госпоже Швиндлер об этом одаренном молодом человеке, которому он выслал на его нужды 500 талеров, пригласив к себе.

Госпожа фон Швиндлер жила в Веймаре еще в ту славную пору, когда по вечерам при дворе здесь собиралось блестящее общество:

Виланд, Гердер, Музеус. О своих встречах и беседах с ними, а также с Гёте и Шиллером у нее было что рассказать. Она подарила мне одно из писем к ней Жан Поля и написала при этом:

«Ввиду господствующего ныне в немецкой литературе направления я почти не ожидала встретить на своем пути писателя, который бы находился в таком прекрасном духовном родстве с Жан Полем, в каком, бесспорно, находится господин Андерсен».

В Веймар прибыла и Йенни Линд; я слышал ее выступавшей и в концерте при дворе, и в театральных спектаклях. Вместе с ней мы бродили по тем святым местам здесь, которые хранили воспоминания о Шиллере и Гёте, канцлер Мюллер сводил нас посмотреть на место их вечного упокоения. Австрийский поэт Роллет, с которым мы при этом свели знакомство, несколько позже написал об этом чудесное стихотворение. Перечитывая его, я как будто снова переносусь в то время и в те места. Существует привычка вкладывать меж страниц книг свои любимые цветы. Вот и я не могу удержаться, чтобы не вложить в свою книгу эти превосходные строки:

Часто, сказочная роза,  
я вдыхал твой аромат.  
Увиваешь ты гробницы,  
где поэты вечно спят.

И у каждого надгробья  
с болью сладкой видел я  
в зале мертвенно безмолвном  
с тобой рядом соловья.

О волшебница, в молчанье  
я утешился душой,  
Ибо каждый мрачный камень  
ты украсила собой.

И твоя здесь пахнет роза,  
в сладком запахе тая  
Онемевшего от горя  
скорбь ночного соловья.

Веймар, 29 июня 1846 г.

В литературном кружке, собиравшемся в доме достопочтенного Фрорипа, я свел знакомство с Бертольдом Ауэрбахом, который был тогда в Веймаре. Его «Деревенские рассказы» привели меня в восторг; я не знаю в новейшей литературе более поэтического, более здорового по духу и радующего сердце произведения. Такое же впечатление производил и сам Ауэрбах. Общаясь с ним, я постоянно невольно возвращался мыслями к «Деревенским рассказам». В глазах его так и светились незаурядный ум и честная, благородная душа. Мы сразу же подружились, и он со своей обычной простотой и искренностью предложил мне быть с ним на «ты». «Но вы должны знать, — прибавил он с улыбкой, — я — еврей!» Я рассмеялся: что за нелепая мысль, как будто принадлежность к одному из старейших, интереснейших народов мира могла что-то изменить!

Мое пребывание в Веймаре все затягивалось; я так привязался к моим новым друзьям, что едва мог расстаться с ними. Наконец, по окончании празднеств в честь дня рождения великого герцога я уехал; во что бы то ни стало хотелось попасть в Рим до Пасхи. Ранним утром я еще раз увиделся с наследным великим герцогом и простился с ним. Не желая преступать границ, проводимых между нами его высоким рождением и положением в свете, я все же считаю себя вправе сказать о нем то, что и последний бедняк может сказать о государе: он дорог мне, я люблю его как одного из самых близких друзей. Господь, благослови все его благие начинания! За звездами, покрывающими его грудь, бьется истинно доброе сердце!

В сопровождении Больё я отправился в Йену, где меня поджидал самый теплый прием в доме, который хранил в себе воспоминания о посещениях его великим Гёте. Это был дом книготорговца Фромманна, сестра которого — особа весьма незаурядная, одаренная — принимала во время моего пребывания в Берлине самое непосредственное участие во мне. Снова увиделся я здесь и с прибывшим в Йену наследным великим герцогом; это случилось в доме родственницы Шиллера госпожи фон Вольцоген, вдохновенному перу которой принадлежит роман «Агнесс фон Лилен».

Голштинец профессор Михельсен собрал у себя однажды вечером большое общество, состоявшее из друзей моей музыки, и, подняв бокал за мое здоровье, произнес прекрасную прочувствованную речь, в ко-

торой особо подчеркнул, какое важное место занимает современная датская литература благодаря своей свежести и естественной простоте. Из гостей особенно заинтересовал меня знаменитый богослов, профессор Хазе, автор «Жизни Христа» и «Истории Церкви». Вечером накануне я читал при нем некоторые из моих сказок, и он проникся ко мне живейшей симпатией. Сердечное свое расположение ко мне и моим сказкам он выразил, написав мне в альбом следующее:

«Изречение Шеллинга — не того, что живет теперь в Берлине, но живущего бессмертным героем в царстве духа, — “Природа есть видимый дух, а дух — невидимая природа”, — невольно пришло мне на ум вчера вечером. Я слушал Ваши сказки, и мне снова стали ясны и этот дух, и эта невидимая природа. Насколько сказки эти, с одной стороны, обнаруживают глубокое проникновение в тайны природы, понимание языка птиц и чувств ели или маргаритки, так что мы наравне с детьми, несмотря на то что все это существует, несомненно, само по себе, принимаем живейшее участие в их горе и радости, настолько, с другой стороны, все это является только отражением духа, во всем чувствуется биение вечно волнующегося человеческого сердца. От души желаю, чтобы источник этот, бьющий из дарованного Вам Богом сердца поэта, еще долго не иссякал на радость людям и чтобы сказки Ваши в представлении германских народов стали бы народными сказками».

Какой более высокой оценки своего творчества мог бы пожелать любой поэт? Хазе и талантливому импровизатору, профессору Вольфу из Йены, я был обязан еще и тем, что немецкие переводы моих произведений наконец стали приносить мне некоторую материальную пользу. Они были чрезвычайно удивлены, узнав, что я до сих пор не получил ни одного гонорара за все многочисленные переводы моих сочинений, довольствуясь исключительно лишь тем, что они вообще находят себе переводчиков и читателей; я чувствовал себя еще и обязанным издателям, если они посылали мне по несколько экземпляров. Хазе и Вольф заявили, что подобному положению вещей пора положить конец и устроить все таким образом, чтобы я мог извлекать из успеха, которым пользуются в Германии мои произведения, хотя бы некоторую материальную выгоду; оба они приложили в этом отношении все свои старания. Прибыв в Лейпциг, я получил там одно письменное предложение из Берлина и затем личные — от лейпцигского

издателя Брокгауза, от Хертеля и, наконец, от моего земляка Лорка. Все они желали приобрести право на переводы и издание всех уже появившихся моих произведений и предлагали за это выплатить мне одновременно несколько сот далеров. Я принял предложение своего земляка, и мы оба остались весьма довольны нашим соглашением. Итак, город книжной торговли преподнес мне подарок в виде гонорара. Кроме того, меня ожидали здесь и другие радости: я вновь свиделся с семейством Брокгауза, провел несколько счастливых часов у гениального Мендельсона и чуть ли не ежедневно слушал его игру. Его выразительные глаза, казалось, глядели вам прямо в душу. Немного встретишь людей, носящих на себе подобно Мендельсону отпечаток истинного гения; приветливая супруга его и прелестные дети делали этот уютный дом еще чудеснее; редко где я чувствовал себя так хорошо. Мендельсон любил подтрунивать над тем, что во многих моих произведениях на переднем плане оказывается образ аиста. Самому ему аист, впрочем, полюбился еще с тех пор, как он прочел «Всего лишь скрипач»; он радовался, встречая старого знакомого в моих сказках, и часто в шутку говаривал мне: «Ну, расскажите нам свою новую сказку про аиста!» И как же лукаво улыбались при этом его умные глаза. В них светилось в такие минуты что-то детски-шаловливое! На обратном пути я свиделся с ним еще раз — в последний, как оказалось, на этом свете. Супруга его также вскоре последовала за ним; их прелестные дети, живые копии рафаэлевских ангелочков из Дрезденской галереи, разбрелись ныне по всему свету.

Я снова встретился здесь с Ауэрбахом, который ввел меня во многие в высшей степени интересные мне кружки; здесь я познакомился с композитором Калливодой и моим талантливым соотечественником, любимцем Мендельсона, композитором Гаде, для которого Лейпциг стал поистине родным домом.

Сразу же по приезде в Дрезден я поспешил с визитом к милой моей старой баронессе Деекен, которая всегда с радостью и поистине материнским участием следила за всеми моими успехами. Она и теперь встретила меня с распростертыми объятиями. Не менее сердечный прием ждал меня и у художника Даля, в доме которого я снова свиделся со знакомым мне еще по Риму Рейником, чья вдохновенная творческая лира, к несчастью, теперь уж смолкла, оставив нам напоследок свою «Лебединую песню». Встречался я и с гениальным ху-

дожником Бендеманном, чье полотно «Скорбящие евреи» является истинной поэмой красок; кисть его оживила и одновременно увековечила слова Библии: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали».

Тогда же художник Грааль написал один из лучших моих портретов; его гравюра помещена в немецком издании моих «Сочинений».

Среди моих прежних дрезденских друзей была и одна горькая утрата — отошел в мир иной автор «Трубадура» поэт Бруннов. Помню, с какой радостью и теплотой он принимал меня в прошлый мой приезд сюда в своей уютной, украшенной цветами комнате — теперь те же цветы стоят у него на могиле. Странное это чувство: всего лишь один-единственный раз встретить на жизненном пути человека, ощутить взаимную приязнь, родство душ и — расстаться с ним навеки, зная, что никогда на этом свете дороги наши не пересекутся.

Один из интереснейших вечеров провел я в обществе королевской семьи, где меня принимали удивительно радушно и милостиво. С первого взгляда видно было, что здесь царит истинное семейное счастье. Я сразу попал в окружение целой толпы милых детей — все они были детьми принца Иоганна. Младшая из принцесс — совсем еще малышка — знала мою сказку «Ель» и доверчиво поведала мне: «А у нас на Рождество тоже была елка! Она стояла как раз в этой комнате». Когда ее — раньше, чем остальных детей — повели укладывать спать, она пожелала доброй ночи родителям, затем королю и королеве и уже в дверях обернулась ко мне, приветливо кивнула и послала на прощание воздушный поцелуй — я был для нее кем-то вроде «сказочного принца»!

Я прочел вслух несколько своих сказок; одна из них — «Хольгер Датчанин» — направила беседу в русло обсуждения того несметного богатства, какое представляют наши, северные предания. Я пересказал некоторые из них, особо подчеркивающие красоты датской природы: зеленую прелесть листвы, которой одеваются буковые леса за ночь, аромат полей душистого клевера, богатырские курганы и величественные надгробия, воздвигнутые на пустынном взморье. При этом — удивительное дело! — я не чувствовал ни малейшего стеснения, налагаемого придворным этикетом; со всех сторон ко мне были обращены лишь ласковые, сердечные взгляды.

Перед самым отъездом из Дрездена меня пригласил к себе на обед министр Кённериц, оказавший мне самый любезный прием,

а спустя уже каких-то пару часов я садился в дилижанс, который должен был увезти меня в Прагу, — ведь в ту пору между Прагой и Дрезденом железнодорожного сообщения еще не было. Все мои многочисленные дрезденские друзья и знакомые собрались проводить меня на почтовой станции; госпожа Серре преподнесла мне большой букет прекрасных цветов. Когда мы тронулись, кондуктор в дилижансе заметил: «Ну и большая же у вас семья!» Я же с благодарностью вспоминал всех тех, кто сделал мое пребывание здесь столь счастливым и богатым впечатлениями. Ярко светило солнце, стояла прекрасная весенняя пора; весна была и у меня в сердце!

В Праге знакомых у меня не было. Рекомендательное письмо от доктора Каруза, которым я предусмотрительно запасся в Дрездене, распахнуло для меня двери гостеприимного дома графа Туна. Наследный великий герцог Веймарский также снабдил меня письмом к эрцгерцогу Стефану, оказавшемуся человеком в высшей степени умным и сердечным. Разумеется, я осмотрел Градчину и дворец Валленштейна, однако их величественное очарование не произвело на меня такого сильного впечатления, как посещение еврейского квартала. Вид его был поистине ужасен! Улица, по которой я шел, с каждым шагом становилась все уже, и мне приходилось с трудом пробираться сквозь толпу женщин, стариков и детей, галдящих, смеющихся и чем-то торгующих. Местная древняя синагога — по форме точная копия иерусалимского храма — была тесно зажата между домами. Стены ее от времени осели и покрылись слоем земляного налета; чтобы войти внутрь, мне пришлось спуститься на несколько ступенек. Потолок, окна и стены здесь были черны от копоти, а густой запах лука и какая-то затхлая вонь настолько пропитали все помещение, что я поспешил выбраться на двор на свежий воздух. Во дворе оказалось кладбище с семейными склепами. В беспорядке разбросанные почерневшие надгробия, испещренные иудейскими надписями, все заросли низенькими полузасохшими кустами бузины, с которых, как обрывки траурного крепа, свисали лоскуты паутины.

Отъезд мой из Праги совпал по времени с интересным событием: войска, на протяжении ряда лет расквартированные здесь, перебрасывались по железной дороге в Польшу, где разразились беспорядки. Казалось, весь город вышел проводить своих друзей — военных. Ведущую к вокзалу улицу заполнили толпы народа, а поскольку отъ-



езжавших солдат также набралось несколько тысяч, то попасть к поезду было крайне затруднительно. Наконец, преодолев все осложнения, я устроился на своем месте, и мы тронулись в путь. Все склоны окрестных гор были густо усеяны провожающими. Это было поистине величественное зрелище: людская масса напоминала оживший узор роскошного пестрого ковра, сотканного из мужчин, женщин и детей. Кругом царило непрерывное движение голов, в воздухе мелькали платки и шляпы. Такого огромного скопления народа мне никогда прежде не доводилось видеть. Ни одна сцена, да, пожалуй, и ни один холст в мире не смогли бы вместить такое количество людей и передать торжественные чувства, которые пробуждались при виде этого столпотворения. На протяжении нескольких миль вдоль всего железнодорожного полотна стояли люди, приветствовавшие отъезжающих. Всю ночь поезд наш шел по величественной Богемии. Возле каждого города и деревни нас встречали огромные толпы народа; казалось, здесь собралось все население края. Загорелые лица, живописные лохмотья, в которые были одеты многие из собравшихся, красочное сияние факелов по ночам и звуки непонятного для меня богемского диалекта — все это слилось в единую картину, придававшую путешествию особый колорит. Мы мчались вперед, минуя туннели и виадуки, оконные стекла звенели, паровоз гудел, выплевывая клубы дыма; наконец, утомившись, я прислонился к стенке вагона и уснул, вверив себя заботам Господа.

В Оломоуце, где к нашему поезду прицепляли новые вагоны, кто-то окликнул меня по имени. Это был Вальтер Гёте; оказалось, мы ехали вместе всю ночь, даже не подозревая об этом. В Вене затем мы часто встречались с ним. Благородная сила истинного таланта в равной мере была присуща внукам Гёте — и композитору, и поэту, однако тень великого деда как будто довлела над ними обоими.

В Вене я увиделся с Листом. Он пригласил меня на один из своих концертов, на которые вообще крайне трудно было достать билеты. Я во второй раз услышал его фантазии на темы из «Роберта», увидел, как он, словно какой-то дух бури, играл струнами. Эрнст тоже находился в то время в Вене, но его концерт был назначен уже после моего предполагаемого отъезда; между тем, я еще ни разу не слышал его, и неизвестно было, свидимся ли мы еще когда-нибудь; и вот он, когда я зашел к нему, по собственному почину дал концерт мне одному. Скрипка в его

руках плакала и стонала, раскрывая нам тайны человеческого сердца!.. Несколько лет спустя, в первые годы войны, мы снова встретились в Копенгагене и стали друзьями. Ему чрезвычайно нравились мои «Сказка моей жизни без вымысла» и в особенности «Книга картин без картинок». «Наслаждаясь Вашей «Книгой картин без картинок», совершенно забываешь, что читаешь книгу!» — писал он мне в одном из писем.

Здесь я вновь повидался с блистательным Грильпарцером, часто бывал в приятном обществе весельчака Каstellи, которого как раз в эти дни король Кристиан VIII посвятил в кавалеры ордена Даннеброга. Каstellи был весьма обрадован и просил меня передать землякам, что отныне каждый, кто войдет в его дом и скажет, что он датчанин, будет принят здесь с распростертыми объятиями. В Каstellи меня всегда подкупали какая-то открытость, добросердечие, простодушный юмор, его нельзя было не полюбить; для меня он — образец истинного вэнца, лучший из лучших представителей этого прекрасного города. Своими сочинениями он смог накопить некоторую сумму денег, на которую купил себе поместье в сельской местности. Он подарил мне на память свой весьма удачно выполненный портрет, под которым приписал несколько стихотворных строк в свойственной ему манере:

Картина эта — знак любви и желанья  
Увидеть тебя и приветствовать вновь,  
Ведь ты *наш Датчанин!* Ты — в центре вниманья,  
Как все, кого делает центром любовь.

Каstellи познакомил меня с Зайдлем и Бауэрнфельдом. Оба они совсем не известны в Дании, хотя первый, несомненно, заслужил это своими вдохновенными и искренними поэтическими опытами, а второй — прекрасными комедиями, многие из которых с успехом могли бы идти на датской сцене, к примеру, «Пограждански и романтически», «Хроника любви» и т.д. В моем альбоме он отметил следующие остроумными строчками:

Кто-то пашет,  
Кто-то пишет,  
Кто-то «контра», кто-то «про» —  
Кому — гусь, кому — перо.

Большинство ярчайших звезд австрийского литературного неба-склона во время моего пребывания в Вене успели лишь мелькнуть у меня перед глазами, как шпиль церковных башен перед окнами мчащегося поезда. Я могу только сказать, что видал их, и, продолжая сравнение со звездами, прибавлю, что в кружке «Конкордия» перед глазами моими предстал целый Млечный Путь. Здесь было много и молодых талантов, и личностей, уже обладавших именами и известностью.

Я получил любезное приглашение побывать в доме графа Чехени, где встретился с его прибывшим из Пешта братом Стефаном, чья благородная деятельность на пользу родной страны известна всякому венгру. Наше краткое знакомство я числю среди наиболее интересных из всех, которые мне удалось завязать в этот мой приезд в Вену. Весь облик этого человека говорил о незаурядности натуры; глядя ему в глаза, невозможно было не почувствовать к нему доверия\*.

Еще перед отъездом моим из Дрездена королева Саксонская спросила меня, есть ли у меня рекомендательные письма хоть к кому-нибудь в Вене. Я отвечал, что нет, и королева была настолько добра, что дала мне собственноручное письмо к своей сестре, эрцгерцогине австрийской Софии. Последняя и пригласила меня к себе через графа Чехени. Принят я был в высшей степени приветливо. У эрцгерцогини находилась в этот вечер и императрица-мать, вдова императора Франца I, также обошедшаяся со мной очень милостиво. Среди прочих были здесь и принц Ваза с сестрой, герцог и герцогиня Гессен-Дармштадтские, и множество разных других принцев, один из которых вступил со мной в дружескую беседу; это был старший сын эрцгерцогини, ныне царствующий император. Я разговорился с графом Бомбелло, гофмейстером принца; он

---

\* Речь идет о Стефане, графе Чехени, основателе Венгерского Национального музея, одном из руководителей гидравлических работ, благодаря которым стало возможным судоходство на Дунае. Является автором книг «Коневодство», «Судоходство на Дунае», «О венгерской Академии» и проч., свидетельствующих о разнообразии его талантов, всегда направленных на благо родины. Родился в Вене 21 сентября 1792 год. (Прим. автора).

спросил меня о своей датской родне — брат графа был женат на Иде Брун. Баггесен и Эленшлегер неоднократно упоминали графа в своих записях. После чая я прочел несколько своих сказок: «Влюбленную парочку», «Гадкого утенка» и «Красные башмачки». Да, не думал я, когда писал эти вещицы, что мне когда-нибудь придется читать их в столь изысканном обществе! Вообще могу сказать, что я находил самый сердечный и радушный прием повсюду — начиная с императорского двора и кончая хижиною бедного крестьянина!

Я всегда буду с благодарностью хранить подаренную мне на прощание эрцгерцогиней Софией прелестную заколку для галстука в память о столь милом моему сердцу вечере, проведенном в императорском замке.

Перед самым отъездом из Вены я нанес визит достопочтенной госпоже фон Вейссентурн. В то время она только-только начала вставать после тяжкой болезни, от которой еще не совсем оправилась, однако изъявила желание непременно видеть меня. Дни ее были сочтены; она и сама чувствовала, что вскоре сойдет в Царство мертвых, и, пожимая мне руку, сказала, что, вероятно, теперь мы видимся с нею в последний раз. По-матерински теплый взгляд ее лучистых глаз провожал меня до самых дверей, как будто она желала напоследок запечатлеть мой образ в своей душе.

Действительно, то была наша последняя встреча.

Железная дорога, которую тянули в Триест, была построена лишь до Граца, так что дальнейший путь мне предстояло проделать на лошадях. Какая это была мука — после прекрасного дня, проведенного в вагоне поезда, со скоростью улитки тащиться день и две ночи до Триеста в тряском дилижансе. Наконец мы достигли места, откуда виден стал раскинувшийся у подножия гор город на Адриатическом море, кругом звучала итальянская речь, но это была еще не Италия, к которой так стремилось мое сердце. Лишь первые несколько часов ощущал я себя чужаком в Триесте. Самый теплый прием оказали мне наш датский консул фон Эстерайхер, а также прусский и ольденбургский посланники, к которым у меня имелись рекомендательные письма. У них я завязал множество новых интересных знакомств, среди которых

были граф О'Доннел, губернатор Стадион, граф Вальдштайн. Последний проявлял ко мне как к датчанину особый интерес, ибо, как выяснилось, был потомком Корфица Ульфельдта и Элеоноры. Их портреты украшали стены его кабинета; граф показывал мне мемуары известных наших соотечественников, восходящих к тому времени. Именно тогда я впервые увидел изображение Элеоноры Ульфельдт. Печальная улыбка на ее губах, казалось, говорила мне: «Сними же звуками своих песен тень позора с имени того, ради которого я жила и страдала!» Еще до того, как Эленшлегер задумал написать “Дину”, события того времени весьма занимали меня, и я даже начал собирать материалы той эпохи с целью написать историческую драму. Однако граф Ранцау-Брайтенбург отговорил меня, открыв по секрету, что время для этого еще не пришло, ибо тогдашний король Фредерик VI был категорически против появления на театральных подмостках кого-либо из своих предков после Кристиана IV. Кристиан VIII, бывший тогда еще принцем, однако, пытался ободрить меня в моем начинании, говоря, что это произведение «можно будет и просто читать». Но как бы там ни было, я все же предпочел в то время оставить эту затею. Когда на датский престол взошел Кристиан VIII, эти соображения отпали сами собою, и как-то раз Эленшлегер сказал мне: «А я закончил свою “Дину”! Помнится, и вас когда-то привлекал этот сюжет». Тем не менее созданная им драма ни по тематике, ни в плане характеров не имела ничего общего с тем, что задумывал я. Поэтому вполне очевидно, что все, связанное с Ульфельдтом и его близкими, живо интересовало меня. Граф Вальдштайн поведал мне, что в замке его отца — где-то в Венгрии или Богемии, точно не помню, — хранится множество писем и других документов, имеющих отношение к Корфицу и Элеоноре. С другой ветвью рода Ульфельдтов, графом Бек-Фрисом, я познакомился в Сконе. Стену столовой в его замке украшает портрет его знаменитого предка — Кристиана IV. Я снова почувствовал, что должен рассказать об этих людях и обо всем том в Копенгагене, что связано с их именами — от «голубой башни» до позорного столба на площади Ульфельдта. Кстати, не так давно по приказу короля позорный столб был снесен, о чем не-



Издатель сочинений Х.К.Андерсена К.Б.Лорк  
Художник В.Педерсон иллюстрировавший  
сказки и истории Х.К.Андерсена

возможно было бы и помыслить в недавнем прошлом. И я написал следующие строки:

*Благородному просвещенному королю  
Дании Кристиану VIII в благодарность  
за то, что он повелел снести  
позорный столб Ульфельдта.*

Столп Ульфельдта был знак его вины.  
Но в памяти датчан — его заслуги  
И верность благороднейшей жены,  
И памятник — любовь его супруги, —  
Они пребудут! Прочее — не в силе.  
Исчезла эта мета темноты,  
И обрела жена покой в могиле.  
Король, покой тот даровал ей ты!  
Осталась верность, прочее — забыли.

Так с берегов современной Адриатики мысли мои переносились на родные датские острова в эпоху Ульфельдта. Встреча с графом Вальдстайном и портрет его знаменитой прародительницы настолько увлекли меня в мир моих поэтических дум и видений, что я почти совсем забыл, что на следующий день мне предстояло попасть в милую Италию.

В прекрасную тихую погоду наш пароход «Мария Доротея» взял курс на Анкону. Кругом стояла звездная ночь, тишину которой нарушал лишь чуть слышный плеск волн о борт корабля. Плавание длилось шестнадцать часов, и на рассвете перед нами открылся итальянский берег. Вершины прекрасных голубых гор были покрыты снегом, ярко сияло солнце, заливая своим светом сочную зелень травы и деревьев. Еще вчера вечером — в Триесте, сегодня утром — в Анконе, в сердце Италии, одном из городов Папской области, — все эти чудеса стали возможны лишь в наше время.

Итак, Италия снова предстала передо мной во всем великолепии своей роскошной природы. Весна прикоснулась устами к плодовым деревьям, и все они расцвели от ее поцелуя; каждый колосок на полях был наполнен солнечным светом, вязы стояли, словно кариатиды, поддерживая зеленые густые виноградные лозы. А над этою пышною зеленью растительного царства возвышались подобно волнам громады голубых гор со снежными вершинами.

Несколько дней я путешествовал в компании графа Венцеслава Паара из Вены — самого приятного из попутчиков, каких мне когда-либо доводилось иметь, — а также еще одного молодого дворянина из Венгрии. Нас сопровождал веттурино. Венгр, как все, кто приезжает в Италию впервые — в том числе ранее и я, — постоянно опасался нападения разбойников и потому не расставался со шпагой и пистолетами. «Они у меня оба заряжены!» — говорил он, а когда я поинтересовался, где же они, ибо на поясе у него их не было, он преспокойно ответил: «В портпледе!» Портплед же его лежал под моей скамейкой! Мне вовсе не хотелось сидеть все время на заряженном оружии, и я принялся убеждать венгра, что разбойники едва ли станут дожидаться, пока я встану с места. Венгр наконец согласился, и с этого момента убийственные снаряды эти все время были у него под рукой — и в карете, и на остановках в гостиницах. Мы побывали в Лоретто, видели коленопреклоненных монахов в святой обители, перенесенной сюда, как говорят, по воздуху Божьими ангелами, наслаждались романтическими видами дикой природы Апеннин — вот только разбойников ни разу не встретили, за исключением закованных в цепи, которых везли куда-то в фургоне под усиленной охраной солдат.

Наконец глазам нашим открылись пустынные просторы Кампаньи. 31 марта 1846 года мне предстояло в третий раз увидеть Рим — этот Вечный город, и я был полон радости и благодарности Творцу, даровавшему мне так много в сравнении с тысячами других людей! В минуты безграничной радости, так же как и в минуты глубочайшей скорби, душа невольно устремляется к Богу! И первое чувство, охватившее мою душу, когда я въехал в Рим, было благоговейное умиление. Другого выражения и подобрать не могу. Все переполнявшие душу чувства, которые я испытал во время этого моего пребывания в любезном моему сердцу городе, я высказал в письме к одному из друзей:

«Я как будто бы сжился с этими руинами, с этими точно окаменевшими улицами, с вечно цветущими розами и вечно звучащими колоколами, а между тем Рим уже не тот, каким он был тринадцать лет назад, когда я посетил его в первый раз. С тех пор все приобрело какой-то отпечаток современности — даже руины. Трава и кустарник выдернуты, все вычищено и приглажено, жизнь простого народа как бы задвинута на задний план. Не слышно больше на улицах звуков



тамбурина, нет молодых девушек, отплясывающих сальтарелло. Цивилизация промчалась, как поезд по невидимой железной дороге, даже через Кампанию; крестьянин уже лишился прежней своей наивной веры. На Пасху я видал, как во время папского благословения многие оставались стоять на ногах, тогда как прежде все благоговейно повергались на землю. Теперь весь здешний народ как будто состоял не из римлян-католиков, а из протестантов-чужеземцев; разум победил веру. Меня это взволновало так, что я сам был готов преклонить колена перед невидимою святыней. Лет через десять, когда железные дороги еще более сблизят города между собой, Рим изменится еще более. Однако, как говорится, что ни свершается — все к лучшему, и не любить этот город нельзя. Рим — как книга сказок: беспрестанно открываешь в нем все новые чудеса, здесь живешь как бы одновременно и в мире фантазии, и в действительности!»

В первый свой приезд в Италию я еще не обращал особого внимания на скульптуру; в Париже меня от нее отвлекала роскошная живопись, и только во Флоренции, как я уже рассказывал, статуя Венеры Медицейской открыла мне глаза; с них, употребляя выражение Торвальдсена, «как будто стаял снег». В этот же раз я во время беспрестанных своих странствий по залам Ватикана полюбил скульптуру гораздо больше живописи. Впрочем, в каких же других городах, как не в Риме да еще в Неаполе, это искусство и открывается вам в таких грандиозных образах. Здесь уходишь в него всецело, глядя на прекрасные, дышащие жизнью образы его, начинаешь глубже чувствовать природу и жизнь.

Среди замечательных шедевров скульптуры, виденных мною на выставке в Риме и в мастерских молодых художников, нашлось также и несколько произведений моего земляка, скульптора Йерихау, которые обратили на себя мое пристальное внимание. В последнее мое пребывание в Риме Йерихау также был здесь, но тогда он находился еще в самом бедственном положении: никто знать его не хотел, да он и сам-то себя еще не знал. Теперь же он был на взлете своей славы. Я видел у него в мастерской группу «Геркулес и Геба» и его последнюю работу «Охотник на пантер», которую как раз в это время заказал ему в мраморе какой-то русский князь. В то время в Рим как раз прибыл доктор Стар из Ольденбурга, который послал в «Альгемайне цайтунг» большую статью с целью привлечь внимание общест-

венности к таланту Йерихау. Я весьма радовался за молодого скульптора, видя, что он способствует дальнейшему распространению славы Дании за границей. Я знал его еще мальчиком, оба мы были уроженцы Фюна; в Копенгагене же мы встречались в доме госпожи Лэссё. В то время никто, даже сам он, не подозревал еще, что таится в его натуре. Полушутя-полусерьезно он часто говорил сам, что не знает, на что решиться — отправиться ли в Америку и жить там среди гуронов или же ехать в Рим и сделаться художником. Скоро, однако, он отложил кисти и взялся за глину. Последней его скульптурной работой в Копенгагене был мой бюст. Он думал что-нибудь выручить за него и поручил мне после продажи переслать ему деньги в Рим, но дело не сладилось: никто, конечно, не хотел тогда приобретать творение какого-то Йерихау, да к тому же еще и такое, как бюст Андерсена.

Теперь, как сказано, Йерихау быстро шел в гору и был вполне счастлив. Он только что женился на замечательной немецкой художнице Элизабет Бауман, чьи смелые, полные дыхания жизни картины восхищали всех. Как раз в дни наших встреч она работала над большим полотном «Итальянки у колодца», купленным впоследствии бароном Хамбро в Лондоне. Полученный Йерихау заказ на «Охотника на пантер» позволял ему с женою провести все лето в Дании, как того требовало состояние его здоровья; туда он собирался отправиться буквально через несколько дней.

Снова довелось мне побывать в мастерской вдохновенного Кюхлера, наблюдая за тем, как на стоящем перед ним холсте возникают картины, как будто волшебством перенесенные сюда из реальной жизни. Но не только с соотечественниками и шведами встречался я в Риме — с великой охотой принимали меня у себя также и немецкие художники, считавшие меня наполовину своим земляком. Вновь вместе с ликующей римской детворой я до слез смеялся над балетными па марионеток в уличном кукольном театре.

День своего рождения 2 апреля я отпраздновал превосходно. Госпожа Гёте находилась в это время в Риме и случайно жила как раз в том самом доме (угол Виа Фелице и площади Барбарина), где появился на свет и провел свои первые детские годы герой моего «Импровизатора»; она прислала мне в этот день чудесный, истинно римский букет — живую цветочную мозаику с записочкой: «Из сада импровизатора». Меня пригласили в одну компанию, где собра-

лись датчане, норвежцы и шведы. После прекрасного сердечного тоста в мою честь, произнесенного шведским художником Сёдермарком, все осушили бокалы. Однако и здесь нашелся один соотечественник, довольно неучтиво выразивший свое изумление по поводу того, что, дескать, никак не может понять, за что же все так превозносят Андерсена. Услыхав это, Сёдермарк громко ответил ему, что, будучи шведом, прекрасно понимает, за что следует превозносить упомянутого датского писателя. Мне подарили несколько чудесных картин, скульптор Кольберг преподнес мой бюст, выполненный им. Прямо здесь же некоторые попытались сделать наброски к моему портрету — к сожалению, как всегда, малоудачные, ибо, как мне кажется, истинный мой облик могут правильно запечатлеть лишь фотографии и дагеротипы.

От постоянного волнения, непрерывной беготни по городу, боязни потерять даром хоть один час, не успеть осмотреть все я под конец совсем изнемог, а тут еще этот непрекращающийся удушливый сирокко! Рим решительно становился мне вреден, и я сразу же после Пасхи, полюбовавшись вдоволь иллюминацией собора св. Петра и жирандолой, отправился в Неаполь. Со мною вместе поехал и австрийский путешественник граф Паар, и мы поселились с ним в отеле «Святая Лючия». Перед нами расстиралось море, пламенел Везувий. Стояла пора чудных летних вечеров и лунных ночей. Небо как будто поднялось выше, звезды казались еще более недосыгаемыми. Какие световые эффекты! На севере луна струит на воду серебряную дорожку, здесь — золотую. Вращающийся фонарь маяка то вспыхивает ярким светом, то как будто совсем гаснет. Огни, зажженные на носу рыбачьих лодок, бросают на водную гладь длинные, похожие на обелиски световые полосы, иногда же на них падает тень лодки и заволакивает их точно темным облаком; вода под ним становится светлее, так что, кажется, можно видеть самое дно, рыб и водяные растения. На улицах перед разными лавочками тоже блестят тысячи огоньков. Проходит процессия детей с зажженными восковыми свечами, они направляются в местную церковь; кто-то из малышей падает и барахтается на земле со свечой в руках. А над всей этой картиной возвышается дымящийся огненный гигант — Везувий!

Солнце между тем с каждым днем палило все сильнее, сирокко совсем высушил воздух. Я, как северянин, полагал, однако, что мне

не мешает набраться тепла про запас, и, не имея еще понятия о силе здешних солнечных лучей, бегал себе беспечно по городу то в Моло, то в Музей Бурбонов даже в такое время дня, когда неаполитанцы благоразумно сидят дома или пробираются по улицам, прижимаясь чуть ли не к самым стенам домов, чтобы держаться в их узенькой тени. И вот однажды, проходя по Ларго ди Каstellо, я почувствовал, что мне не хватает воздуха... Солнце ярко брызнуло огнем мне в глаза, жар его разлился по всему телу, опалил голову, и я упал без чувств. Когда я пришел в себя, оказалось, что меня уже перенесли в кафе и прикладывают к голове лед. Все тело мое охватила ужасная слабость. Я был весь разбит и с тех пор осмеливался выходить из дому лишь по вечерам. Долго я не в силах был выносить ни малейшего напряжения и позволял себе лишь по несколько минут сидеть на широкой прохладной террасе приморской виллы прусского посланника барона Брокгаузена да иногда прокатиться в экипаже из Камальдони. Я побывал также на Капри и Иския; туда как раз приехала на купания моя соотечественница танцовщица Фьельстед и скоро так поправила здесь свое здоровье, что часто по вечерам танцевала под сенью апельсиновых деревьев сальтарелло вместе с другими молоденькими девушками. Молодежь была от нее в таком восторге, что однажды исполнила в ее честь торжественную серенаду. Иския, впрочем, никогда не восхищала меня так, как прочих путешественников. Жара и здесь стояла невыносимая, и мне посоветовали поехать отдохнуть в Сорренто, город Торквато Тассо. Вместе с одним знакомым мне по Риму английским семейством я нашел помещение в Кальмелло близ Сорренто. Маленький садик наш был расположен на самом берегу моря, которое с шумом катило свои волны в пещеры, находившиеся как раз под самым садом. Днем я из-за жары вынужден был сидеть дома, в комнатах, и усердно работал над «Сказка моей жизни без вымысла». Эти картины из моей жизни, являющиеся яркими иллюстрациями к немецкому изданию моих сочинений, были написаны мною, в основном, в Риме, Неаполитанской бухте и в Пиренеях. Лист за листом отсылал я рукопись по почте в Данию одному из друзей, который редактировал ее и затем переправлял моему издателю в Лейпциг. И во всех этих странствиях не пропало ни единого листка.

Пребывание в Кальмелло оказалось достаточно приятным прежде всего благодаря прекрасному виду на море и Везувий, от-

крывающемуся из окон домика и с веранды. Однако гулять там можно было лишь по длинной узкой тропинке, проложенной среди высоченных каменных стен, окружавших сад со всех сторон и практически полностью скрывавших его от посторонних глаз. При этом каменные глыбы по обеим сторонам тропинки настолько нагревались на солнце, что так и дышали жаром, и чтобы сделать глоток свежего воздуха, приходилось вставать чуть ли не на четвереньки. Тому же, кто желал заглянуть через них, чтобы полюбоваться окрестностями, следовало сперва запастись ходулями. Как бы там ни было, я решил переехать оттуда в Сорренто, где проводили лето двое моих друзей — композиторы, — швед Юсефсон и голландец Ферхюльст. День моего приезда совпал с большим празднеством — трех молоденьких девушек, дочерей богатого торговца, посвящали в монахини. Местная церковь была пестро украшена, оркестр в ней наигрывал бравурные мелодии — в особенности мне запомнилась исполненная целиком ария дона Базиля о клевете из комической оперы «Севильский цирюльник», — стены содрогались от грома пушечного салюта. Крикливая пышность, с которой была обставлена вся процедура, уничтожала то благочестивое настроение, в каком я явился сюда; не способствовал торжественности момента и один из гостей — пожилой офицер довольно комичной наружности, которому никак не удавалось преклонить колени. Лишь когда одна из девушек начала читать слова мессы и под сводами храма зазвучал ее нежный, чуть дрожащий голосок, я снова проникся благодатным умилением.

Нашему сближению с Юсефсоном помимо превосходных качеств его натуры содействовало еще одно обстоятельство: так же, как и я, он был другом Йенни Линд. Когда он, будучи иудеем, задумал принять христианскую веру, Йенни Линд стала его крестной матерью и с тех пор принимала искреннее участие в его судьбе. Во время своей поездки в Берлин Юсефсон ежедневно бывал у нее в доме. Его называли «кандидатом теологии из Швеции», что впоследствии превратилось просто в «ein Landprediger»\*. Если верить слухам, он и наш «шведский соловей» были весьма близки — будто бы даже состоялась их помолвка! Казалось, не было никого,

---

\* Сельский пастор (нем.).

кто бы ни читал или ни слышал об этом а между тем все эти сплетни, по собственному его признанию, не имели под собой ровно никакого основания. Мы немало шутили с ним на тему того, насколько изобретательны, а подчас и гениальны бывают слухи в своем искажении действительности!

Прошло несколько недель, и наступило время неаполитанского праздника в честь «Мадонны дель Арко», того самого, который увековечил Бурнонвиль в своем блестящем балете «Неаполь». Это снова привело меня в Неаполь, тем более что теперь я чувствовал себя немного окрепшим и намеревался отправиться оттуда через Марсель в Барселону, посетив попутно Альгамбру и Севилью. Кроме того, я давно уже послал на родину просьбу прислать мне в Неаполь аккредитив и теперь со дня на день ожидал его прихода. По возвращении в Неаполь мне пришлось поселиться в гостинице в самом центре города, вблизи улицы Толедо. Я останавливался здесь и прежде, но это было в зимнюю пору, а теперь мне пришлось познакомиться с летним зноем и невыносимым шумом Неаполя. Это было нечто поистине ужасающее, чего я никогда не мог бы и представить себе! Солнце лило свои раскаленные лучи в узенькую улочку, в самые окна и двери дома. Приходилось запереться наглухо и отказываться, таким образом, от малейшего дуновения ветерка. Каждый уголок, каждое местечко на улице, находившиеся в тени, кишмя кишели громко и весело болтавшим рабочим людом, то и дело грохотали экипажи, уличные разносчики донимали своим криком, шум и гам людской походил на шум морского прибоя, колокола звонили не переставая!.. А тут еще сосед мой, бог весть кто, с утра до вечера играл гаммы! Просто с ума можно было сойти! Все время дул пышущий жаром сирокко. Я совсем изнемогал. В «Святой Лючии», старом моем жилище, все было занято, и волей-неволей приходилось оставаться там, где уже поселился. Морские купания не приносили ни малейшего облегчения; казалось, они скорее даже расслабляли, чем освежали. И тем не менее из всего этого получилась сказка! Я придумал здесь «Тень», но был до того разбитым и раскисшим, что не смог записать ее, и она была перенесена мною на бумагу лишь дома, на севере. Солнце давило меня просто как кошмар, высасывало из меня подобно вампиру все жизненные соки. Я снова и снова пытался искать спасение в окрестностях города,

но и там было не лучше: воздух хоть и был чуть свежее, все же давил и жег меня словно отравленный плащ Геркулеса. А я-то еще считал себя истинным сыном солнца за свою любовь к югу! Теперь пришлось сознаться, что в жилах моих немало северного снега, который так и таял под лучами солнца, по мере чего я слабел все больше и больше. Большинству туристов приходилось так же плохо, да и сами неаполитанцы говорили, что не помнят такого знойного лета. Основная часть иностранцев разъехалась, я тоже хотел было уехать, но аккредитив мой что-то запаздывал. Каждый день ходил я справляться о нем, и все напрасно. До сих пор еще ни разу во время моих путешествий не случилось, чтобы письмо, адресованное мне, где-либо затерялось; друг мой, который взялся выслать мне перевод, отличался аккуратностью в делах, но письма все не было и не было. Прошло уже три недели сверх ожидаемого срока. «Никакого письма!» — повторял мне могущественный «Ротшильд» — банкир, к которому должен был поступить перевод, — и однажды, потеряв терпение, даже всплыв, с силой выдвинул ящик, предназначенный для писем. «Нет здесь никакого письма!» — повторил он и толкнул ящик обратно. Внезапно на пол упало письмо. Сургуч на нем растаял от жары, и оно приклеилось где-то в глубине ящика. Это и был мой аккредитив, пролежавший здесь уже добрый месяц. Валялся бы он, может быть, и дольше, если бы ящик не встряхнули так сердито. Итак, наконец-то я мог уехать!

Я взял место на пароходе «Кастор», отходившем в Марсель. В гавань я отправился в сопровождении гостиничного слуги: для того, чтобы попасть на корабль, мне предстояло нанять лодку, а гребцы здесь славились своим умением обирать пассажиров до нитки. С помощью слуги мы сторговались с лодочниками на два карлинга, однако когда слуга ушел, а мы уже отплыли на порядочное расстояние от берега, гребцы внезапно бросили весла и заявили, что не двинутся с места, если я не уплачу им скудо — а пароход, что ж, пусть себе уходит! Я попытался было возражать, что это нечестно, ведь мы же договорились, однако гребцы даже не удостоили меня ответом. Младший из них — красивый юноша — лишь рассмеялся, и, надо сказать, веселость весьма шла ему; в остальном же он был ничуть не лучше своего товарища. Я оказался всецело в их власти и вынужден был пообещать им то, что они запрашивали. Тогда они

стали настаивать, чтобы я отдал деньги вперед; на это я уже ответил решительным отказом. Когда мы наконец прибыли на пароход, я громко отчитал лодочников за их поведение, но обещанное скудо им все же отдал — свое слово надо держать. Таким было мое последнее воспоминание о Неаполе.

Судно было переполнено туристами; вся палуба была уставлена дорожными экипажами. Под одним из них я и велел устроить себе постель — в каюте совершенно нечем было дышать. Многие последовали моему примеру, и скоро палуба превратилась в одну большую спальню. На пароходе находился со своей супругой один из первых аристократов Англии, маркиз Дуглас, женатый на принцессе Баденской. Мы разговорились; он слышал, что я датчанин, но имени моего не знал. Разговор коснулся Италии и произведений, в которых она описывается. Я назвал «Коринну» госпожи Сталь, а он прервал меня возгласом: «Земляк ваш описывает Италию гораздо лучше!» — «Мы, датчане, однако, этого не находим!» — ответил я, он же принялся горячо хвалить и «Импровизатора», и его автора. «Жаль только, — посетовал я, — что Андерсен пробыл в Италии так недолго, когда писал эту книгу». — «Он наверняка прожил здесь несколько лет!» — отвечал Дуглас. «О, нет! — возразил я. — Всего-то девять месяцев, я это наверное знаю!» — «Хотелось бы мне с ним познакомиться!» — сказал он. «Нет ничего легче, — ответил я. — Он тут, на пароходе!» И я назвал себя.

Погода между тем испортилась, поднялся сильный ветер, и я улегся спать. Ночью пошел дождь, который не прекратился и днем. Больше мы с маркизом не встречались. Следующей ночью ветер превратился в настоящий шторм, не утихавший на протяжении суток. Судно наше швыряло из стороны в сторону, как какой-то жалкий бочонок, попавший в открытое море; огромные пенистые гребни волн вздымались выше поручней корабля, как будто старались рассмотреть, что происходит на палубе. Пароход содрогался и отчаянно скрипел, скрипели и качались закрепленные на палубе экипажи, под которыми мы устроились; казалось, еще немного, и мы будем раздавлены, а судно пойдет ко дну. Со всех сторон слышались плач и причитания; я тихо лежал, глядя на несущиеся по небу тучи, и размышлял о Боге и всех дорогих моему сердцу людям. Когда мы наконец достигли Генуи, большинство пассажиров решили продол-



жить свое путешествие посуху. Я хотел было последовать общему примеру и через Милан отправиться в Швейцарию, отказавшись на этот раз от поездки по Испании, но внезапно возникла одна проблема. В аккредитиве моем значились Марсель и несколько испанских портовых городов, а когда я попытался у местного датского консула взять некую сумму в счет аккредитива, то получил решительный отказ: оказалось, что он не знает тех крупных банкирских домов Копенгагена, которые выписали аккредитив, имя мое ему ни о чем не говорит, да и вообще он не занимается никакими делами, касающимися денежных операций. Таким образом, я вынужден был продолжить свое морское путешествие по меньшей мере до Марселя. Тем не менее меня это не огорчило, ибо погода установилась отличная, воздух дышал свежестью, и с каждым новым его глотком ко мне возвращалось прежнее желание увидеть Испанию. По первоначальному плану эта страна должна была стать венцом всего моего нынешнего путешествия, и когда выяснилось, что мне придется плыть дальше до Марселя, я воспринял это как перст судьбы — уж на этот-то раз ты увидишь родину испанцев! Да, признаться, я и сам снова был не прочь попасть туда.

В Марсель мы, однако, прибыли днем позже против намеченного и потому пропустили пароход на Барселону, который ходил туда раз в десять дней. Ждать следующего я не стал. Морское путешествие настолько взбудило меня, что я чувствовал в себе силы продолжать поездку посуху через юг Франции, что, кстати, давало возможность полюбоваться Пиренеями.

Еще до отбытия из Марселя судьба послала мне приятнейшую встречу с одним из моих друзей-скандинавов, Уле Буллем. Он только что приехал из Америки во Францию, и здесь его принимали восторженно. Мы жили в Марселе в одном отеле и встретились за табльдотом. Оба мы чрезвычайно обрадовались встрече, кинулись друг другу в объятия и принялись рассказывать обо всем, что видали и пережили за время нашей разлуки. Он сообщил мне новость, которой я еще не знал тогда, о чем даже не решался мечтать: оказалось, что у меня в Америке много друзей, которые с большим интересом расспрашивали его обо мне. Дело в том, что английские переводы моих произведений были там перепечатаны в дешевых изданиях и получили самое широкое распространение. Итак, имя мое пере-

неслось через океан! Каким маленьким почувствовал я себя при этой мысли, и в то же время как я был рад, счастлив! За что мне, одному из многих тысяч людей, выпала на долю такая удача? Я испытывал в эту минуту такие же ощущения, какие, должно быть, испытывает бедный крестьянский парень, когда на него вдруг накидывают королевскую мантию. Какое же великое счастье переполняло все мое существо! Может быть, это ликование и есть тщеславие или же тщеславие мое в том, что я смею высказывать свою радость?

В тот же вечер, уже лежа в постели, я услышал на улице музыку. Это давали серенаду в честь Уле Булля. На следующий день он уехал в Алжир, а я в Пиренеи.

Путь мой лежал через Прованс. Роз я что-то не видал здесь в особенном изобилии, зато было много цветущих гранатовых деревьев; в общем же, своей свежей зеленью и волнистыми холмами местность эта отчасти напоминала Данию. В путеводителе говорится, что женщины Арля отличаются красотой и происходят от римлянок. Путеводитель прав; здесь даже беднейшие поселанки поражают своей незаурядной внешностью; у всех благородная осанка, чудные фигуры, выразительные, полные огня глаза. Все туристы, соседи мои по дилижансу, были поражены и восхищены, и девушки отлично это понимали. Они не убегали с быстротой газелей, но тем не менее весьма напоминали их легкостью и грацией своих движений и глубиной сверкающих глаз. Да, человек — все же прекраснейшее творение Божье!

В Ниме я первым делом посетил великолепный римский Амфитеатр, как бы олицетворявший своим величественным видом всю древнюю историю Италии. Насчет памятников старины южной Франции я почти ничего не знал и поэтому был крайне поражен ими. Так, например, «четырёхугольный дом в Ниме» поспорит красотой с храмом Тезея в Афинах; даже в Риме нет столь хорошо сохранившихся памятников древних времен.

В Ниме живет один булочник, Ребуль, который пишет прекрасные стихи. Если же кто-то не знает его поэзии, то, наверное, знаком с ним по описанию Ламартина своего путешествия на Восток. Я отыскал нужный мне домик и вошел в пекарню. Какой-то человек с засученными рукавами сажал хлеб в печку. Это и был сам Ребуль. Благородные черты лица свидетельствовали о силе его характера. Он любезно поздоровался со мною; я назвал ему свое имя,

и он вежливо ответил, что знает его из стихотворения в «Ревю де Пари», посвященного мне французским поэтом Мартином. Затем он попросил меня, если позволит время, навестить его в обеденную пору — тогда он сумеет принять меня получше. Я явился в указанный час, и хозяин провел меня в маленькую, достаточно элегантно обставленную комнату, полную картин, скульптур и книг, среди которых, кроме произведений французской литературы, находились и переводы греческих классиков. Некоторые из висевших на стене картин были, по его словам, подарены ему; сюжетом для них послужило его известное стихотворение «Умиравшее дитя». Ребуль знал из книги Мармье «Chansons du Nord»\*, что у меня есть стихотворение на ту же тему, и я пояснил, что написал его еще в школьные годы. Если утром я видел Ребуля заправским булочником, то теперь он выглядел настоящим поэтом. Он с большим оживлением толковал о родной литературе и высказал желание побывать на Севере, живо интересовавшем его своей природою и духовною жизнью. Я расстался с Ребулем, проникнутый глубоким уважением к этому человеку, который, обладая недюжинным поэтическим дарованием, не дал вскружить себе голову похвалами и остался при своем честном ремесле — предпочел быть замечательным булочником в Ниме, нежели позволить ослепить себя лучам сиюминутной славы и стать одним из сотен малоизвестных поэтов в Париже.

Я и опомниться не успел, как долетел по железной дороге из Монпелье в Сет. Во Франции поезда мчатся с такой скоростью, как будто пытаются обогнать «дикое воинство»! Невольно мне вспомнилась надпись, которую мне довелось видеть на углу одного из домов, стоящих поблизости от железной дороги, когда я был в Базеле. На площади, где некогда стояла стена с нарисованной на ней знаменитой «Пляской смерти», имеется соответствующая табличка, а прямо напротив нее на стене дома висит указатель «Железная дорога». Соседство этих двух надписей, расположенных в непосредственной близости к границе с Францией, дает определенную пищу фантазии. Сидя в стремительно мчащемся поезде, я вспомнил это — «Пляска смерти» и «Железная дорога». Здесь, во Франции, они как бы сливаются, образуя единое целое, — паровозный гудок

---

\* «Песни Севера» (фр.).

дает сигнал к началу пляски смерти! Ни в Германии, ни у нас дома по пути в Роскилле ничего подобного мне и в голову бы не пришло.

Как жители гор любят свои скалы, так островитяне грезят морем — я прекрасно знаю это по себе! Каждый прибрежный городок, каким бы малым он ни был, благодаря своей близости к морю приобретает в моих глазах особый ореол. А уж коли близость к морю сочетается со звуками родной датской речи, которыми меня встретили в двух семействах в Сете, то в таких местах я и подавно чувствую себя как дома. Так и по приезде в Сет мне показалось, что я, скорее, вернулся обратно в Данию, а не продолжаю путешествовать по югу Франции. Если, будучи далеко, за границей, ты попадаешь в дом, где все, от хозяев до слуг, говорят на родном тебе языке — как это было со мной в Сете при посещении Казалис-Тютенов, — то эти знакомые с детства звуки приобретают поистине волшебную силу, которые, как плащ Фауста, единым махом как бы переносят этот дом со всеми его обитателями к тебе на родину. То же самое я испытал, и побывав у здешнего датского консула Янсена — коренного копенгагенца. Сет сразу же стал для меня островком родной Дании. Вот только здешнее лето никак нельзя было назвать северным: солнце палило, как в Неаполе, воздух нагрелся так, что, казалось, был в состоянии сжечь плащ Фауста. Зной тяжелым маревом навис над городом, солнечные лучи высасывали из тела все силы, даже местные старожилы не могли припомнить такого жаркого лета. Со всей страны также поступали известия о людях, падавших замертво под воздействием этой удушающей жары. Даже ночи не приносили облегчения.

Мне предрекали, что поездку до Испании мне не вынести, да я и сам это чувствовал, однако Испания — конечная цель моего путешествия — была так близка! Пиренеи были уже видны, голубые вершины гор притягивали меня — и вот ранним утром я ступил на палубу парохода, ходившего по Летан де То. Поднявшееся выше солнце, отражаясь от водной глади, жгло нестерпимым зноем и сверху, и снизу по обоим бортам нашего судна, как колышущаяся желеобразная масса, плавали мириады медуз. Казалось, вся вода испарилась под палящими солнечными лучами и кругом остались одни лишь эти дрожащие представители животного мира. Никогда ни до, ни после этого не доводилось мне видеть подобного зрелища. У входа в канал Лангедок мы все перешли с парохода на огромную конную баржу, ко-

торая, казалось, более подходила для перевозки грузов, нежели людей. Вся палуба была заставлена чемоданами и сундуками, на которых, раскрыв зонтики в тщетной надежде оказаться в тени, примостились пассажиры. Теснота здесь царилла жуткая — не повернуться, вдобавок поручней на палубе не было, так что вся эта груда людей и чемоданов, влекомая по каналу тремя-четырьмя клячами на длинных шлеях, была ничем не огорожена, и, поднявшись на ноги, ты рисковал сорваться в воду. Оба салона также оказались заполнены до отказа, люди в них сидели, тесно прижавшись друг к другу, как мухи в стакане с сахарным сиропом. Одна из женщин, сидевших на палубе, от жары и табачного дыма лишилась чувств; ее перенесли к нам в салон первого класса и положили прямо на пол — на единственное свободное место здесь, чтобы она смогла хоть немного перевести дух, однако, сколько ее ни обмахивали, воздуха это практически не прибавляло. Никаких прохладительных напитков здесь не было, даже простой питьевой воды, если не считать желтой теплой воды за бортом. Иллюминаторы салона заслоняли сапоги тех, кто сидел на палубе, свесив за борт ноги; они не только загораживали свет, но и не добавляли свежести воздуху внутри. Запертые в тесном помещении, мы к тому же вынуждены были безропотно сносить болтовню одного из пассажиров, который постоянно пытался острить либо рассказать что-то интересное. Рот у него не закрывался, и журчание его речи сливалось воедино с плеском воды за бортом баржи. Все это было поистине невыносимо. Я поднялся на палубу и, протиснувшись между чемоданами, людьми и зонтами, подошел поближе к борту, сразу же окунувшись из духоты в изнурительный зной. По обе стороны канала впереди и сзади час за часом можно было наблюдать смену одних и тех же картин: зеленая трава — зеленые деревья — шлюз, зеленая трава — зеленые деревья — шлюз, и так до бесконечности. Поистине, было от чего сойти с ума.

На берег нас высадили в местечке, находящемся в полудне ходьбы от Безье. Я чувствовал себя абсолютно обессиленным, а тут еще как назло никто нас не встретил — кучер омнибуса не думал, что мы приплывем так рано. Солнце пекло просто ужасно, чахлые, низкорослые деревца совсем не давали тени. Юг Франции иногда называют райским уголком; я же в тех обстоятельствах, в которых мне довелось здесь побывать, назвал бы его скорее уголком самого

настоящего раскаленного ада, вознесшимся сюда прямо из inferнального пламени преисподней.

Дилижанс поджидал нас в Безье. Все лучшие места были уже заняты, и мне пришлось в первый и, надеюсь, в последний раз в жизни ехать в самом заднем отсеке повозки. Рядом со мною уселась необъятных размеров дама в каких-то домашних туфлях и высоченном чепце, который она сразу же сняла и повесила прямо передо мною. Вслед за нею пришел матрос; заметно было, что он изрядно навеселе. Дополнили компанию несколько весьма неприятного вида работников, которые первым делом стянули с себя сапоги и куртки и уселись, распространяя вокруг устойчивый аромат пота и лука. Дилижанс наш тронулся и покатил, поднимая тучи пыли, забивавшейся внутрь; немилосердно пекущее солнце слепило глаза. Такая езда была поистине невыносима, я с трудом вытерпел до Нарбонна. Там я почувствовал себя абсолютно разбитым, опустошенным, нуждающимся в немедленном отдыхе. Однако тут появились жандармы и принялись проверять наши паспорта. В начале ночи в соседней деревне вспыхнул пожар, завывла сирена, в сторону деревни с грохотом понеслись повозки пожарных; казалось, нашим мучениям не будет конца. На пути от Нарбонна до Пиренеев паспорта наши проверяли несколько раз, причем процедура была еще более утомительной, чем та, которой я подвергался в Италии. Оправданиями этих бесчисленных проверок служили близость к испанской границе, огромное количество беженцев и несколько недавних убийств, случившихся в этой местности. Поездка наша вылилась в одно сплошное мучение; сам не знаю, как еще у меня хватило сил и нервов выдержать все это.

Наконец мы прибыли в Перпиньян. Жгучее солнце, казалось, смело с улиц всех людей; лишь с наступлением ночи народ покинул свои дома. Но что тут началось! На улицы хлынули ревушие толпы; казалось, еще немного — и они разнесут весь город. Под нашими окнами шумело и волновалось целое людское море, раздавались громкие выкрики, каждый из которых болью отдавался в моем измученном теле. Что все это значило? Что произошло? Неужели же все это лишь плод моего больного воображения? Шатаясь, я кое-как добрался до балконной двери и распахнул ее. Вся площадь была запружена людьми, которые смотрели вверх, прямо на мои окна, махали шляпами и кричали: «Да здравствует!» — «Господи! — по-

думал я. — Это истинное безумие! Все это только мне кажется! На самом деле здесь никого нет, я ничего не слышу — просто-напросто мне все это привиделось! Какой кошмар!» Чуть живой от всего свалившегося на меня, я догадался наконец осмотреться. Рядом со мною на балконе стоял, обращаясь к толпе, какой-то человек. Это его появление люди приветствовали с такой неистовой горячностью. «Добрый вечер, господин Араго!» — раздался громкий крик, подхваченный тысячью глоток. Тотчас же зазвучала музыка. Оказалось, моим соседом по гостинице был знаменитый Араго, в честь которого местные жители собрались исполнить серенаду. Лихорадка моя, следовательно, здесь была ни при чем — хоть и слабое, но утешение. Однако царящие вокруг шум и гам по-прежнему жутко мучили меня. Не много за мою жизнь выдалось вечеров, когда бы я испытывал столь же жгучие физические страдания! Облегчить их не смогла даже исполненная вслед за этим чудесная серенада. Араго вновь обратился к толпе с речью. Выяснилось, что Перпиньян — его родной город, куда он приехал после многолетнего отсутствия. Лиюющие крики толпы сотрясали улицы, всякий раз заставляя напрягаться мои и без того натянутые нервы.

Я чувствовал себя совсем больным и оставил всякие мысли о том, чтобы продолжить свою поездку в Испанию. Я бы просто этого не выдержал. Но и здесь оставаться нельзя — здешние воздух и жара вконец меня доконают. Быть может, вернуться в Швейцарию? Сама мысль о долгом путешествии повергала меня в ужас, да и вообще смогу ли я его вынести? Мне посоветовали поскорее добраться до Пиренеев и подышать целебным горным воздухом. Особо рекомендовали мне купальный курорт Верне — говорили, что там очень мило и достаточно прохладно. Я получил рекомендательное письмо к коменданту водолечебницы и решил, что делать нечего, придется ехать. Отправился в путь я ночью — единственное более-менее прохладное время суток — и после утомительного путешествия, продлившегося всю ночь и часть утра, прибыл наконец на место. Верне расположен в горах во французской части Пиренеев. Действительно, воздух в этих местах был свежим и бодрящим — такого мне не доводилось вдыхать уже долгие месяцы. После нескольких дней пребывания здесь я, на мой взгляд, достаточно окреп и чувствовал себя значительно лучше.

И снова мысли мои устремились в Испанию, от которой я теперь был так близко, всего в нескольких часах езды. Всего лишь небольшая прогулка через горы — я проделал ее и стоял теперь, как Моисей, глядя на страну, куда мне так и не суждено было попасть. Все мысли, все мечты мои в ту минуту сводились к тому, что — даст Бог — когда-нибудь в один прекрасный зимний день я опять перенесусь с севера в сей чудесный богатый край, путь в который преградило мне своим пылающим мечом здешнее солнце.

Верне, несмотря на то что круглый год здесь полно народу, до сих пор считается одним из наиболее изысканных купальных курортов. В то время самым известным из когда-либо отдохавших здесь знаменитостей был Ибрахим-паша, который провел на водах всю предыдущую зиму. Имя его — краса и гордость заведения — было на устах у всех местных работников, от хозяйки гостиницы до последнего служителя, а комнату, в которой он останавливается, непременно показывали всем вновь прибывшим как главную здешнюю достопримечательность. Постоянной темой для шуток служило то, как неправильно он произносил «merci» и «tres bien» — два единственных французских выражения, которые были ему известны. Вообще же, если говорить о Верне как о купальном курорте, то, надо признать, в то время он еще находился в зародышевом состоянии. В один ряд с лучшими курортами Европы его ставили — как поторопились поведать мне гости — только счета, выписываемые здешним комендантом.

Ни в каком другом месте на водах нельзя было найти такой изоляции от всего окружающего мира и уединения, как здесь, — и это было превосходно! Однако следует признать, что если бы гостям пришла охота как-то развеяться, то возможностей для развлечений в Верне практически не было предусмотрено никаких — разумеется, я имею в виду лишь то время, в последующие же годы многое могло измениться. В течение моего пребывания единственным увеселением для здешних гостей служила прогулка в горы — либо пешком, либо на ослике. Тем не менее получаемые в ходе нее впечатления были столь яркими и разнообразными, что отнюдь не уступали развлечениям, которые обычно предлагают на курортах подобного рода. В окрестностях Верне причудливым образом смешалась природа юга и севера, бок о бок с растительностью долин можно встретить гор-



ные растения. То видишь горный склон, покрытый виноградниками, среди которых мелкими вкраплениями выделяются хлебные поля и луга со стогами скошенного сена. То — чуть дальше — точно такой же склон представляет из себя сплошное нагромождение голых и серых, как сталь, скал; узкие и продолговатые глыбы старинной формы больше всего напоминают обломки каких-то статуй и колонн. Вот тыходишь под сень тополей на равнинную лужайку, поросшую душистой мятой, и оказываешься на лоне самой настоящей датской природы, как будто находишься в каком-то укромном уголке Зеландии. Но уже в следующий момент ты попадаешь в горное ущелье, где склоны гор покрыты кипарисами и смоковницами, увитыми виноградной лозой, — чисто итальянский пейзаж. Но истинной душою, сердцем, стучащим в груди Пиренеев, несомненно, являются здешние горные родники. В их извечном журчании слышится голос самой жизни. Ключи здесь бьют повсюду: просачиваются через мох и лишайники, пробиваются сквозь камни. Словами невозможно описать звенящие аккорды, издаваемые миллионами водных струй; кажется, будто отовсюду — сверху, снизу, со всех сторон — до тебя доносится шелестящий шепот речных нимф.

Высоко в горах на краю глубокой пропасти раскинулись живописные руины мавританского дворца. Там, где некогда были его балконы, теперь гуляют тучи, прямо посередине рыцарского зала видна протоптанная ослами тропинка. Отсюда открывается чудесный вид на поросшую деревьями длинную и узкую долину, которая похожа на зеленую реку, извивающуюся среди красных, обожженных солнцем скал. В середине ее на террасах горного склона расположен крохотный городок Верне, который от турецко-болгарских городков отличается лишь отсутствием минаретов. На верхней террасе рядом с разрушенной башней примостилась жалкого вида церквушка; две узкие длинные щели заменяют в ней окна. Ниже виднеются грязно-серые домишки с темно-коричневыми крышами и поднятыми на манер крышек люков деревянными ставнями незастекленных окон. Все это являет собою довольно-таки живописное зрелище; между тем, стоит зайти в сам городок, аптека которого в то же время являет собой и книжный магазин, как общее впечатление однозначно — убогость! Почти все дома здесь сложены из камней, однако не из отесанных и подогнанных каменных плит, а из простых булыжников, которые, казалось, выковыривали из старых

каменных мостовых и просто складывали один на другой. Пара оставленных в кладке отверстий служат дверью и окнами, через которые постоянно снуют ласточки, свившие гнезда под стропилами крыши. Внутри — по крайней мере там, куда я заходил, — доски деревянного пола пригнаны неплотно, и сквозь зияющие в них щели можно заглянуть в мрачный погреб. На стене у двери висит, как правило, кусок жирного мяса с неснятой щетинистой шкурой, который используют, как мне объяснили, для чистки и натирания сапог и башмаков. Спальня ярко расписана «al Fresco»\* — примитивнейшими картинками на библейские сюжеты, разными ангелочками, веночками и коронами. Все местные жители внешне чрезвычайно уродливы; у ребятишек здешних лица взрослых карликов, тяжелые черты которых не может смягчить даже их детское выражение. А между тем всего лишь в нескольких часах ходьбы оттуда, по другую сторону гор, живут испанцы, бросающую красоту которых подчеркивают их живые карие глаза. Единственной поэтической сценой, запомнившейся мне по моему пребыванию в Верне, было зрелище городской рыночной площади. Под красивым могучим деревом развернул свою торговлю бродячий коробейник, разложив прямо на земле все свои товары: платки, книги, картинки и прочие мелочи. Все местные юноши и девушки с некрасивыми, обожженными солнцем лицами сошлись вокруг него, любуясь этими сокровищами. Даже несколько пожилых мамаш в ближайших домах высунулись из окон, стремясь получше рассмотреть их. Мимо верхом на лошадях и ослах следуют группы отдыхающих на водах дам и господ. Двое мальчишек выглядывают из-за груды сваленных здесь досок и кричат по-петушину: «Кукареку!»

Гораздо с большим правом может считаться городом расположенная всего в паре часов езды от Верне крепость Виллефранш с замком, построенным во времена Людовика XIV. Это относится как к здешнему населению, так и к внешнему виду строений. Проселочная дорога отсюда ведет прямо в Испанию, и на ней даже наблюдается подобие движения транспорта. Многие дома здесь поражают взгляд красотой своих окон в мавританском стиле, высеченных в мраморных стенах. Даже церковь здесь выстроена на мавританский манер, алтарь такой же, как и в исламских храмах, мадонна

---

\* В технике фрески (итал.)

с младенцем на руках вся украшена золотом и серебром. В Вилле-Франше я побывал в один из первых дней моего пребывания здесь; в поездке пожелали принять участие все отдыхающие на водах, для чего нам пришлось собирать лошадей и ослов со всей округи. Запрягли мы и знаменитую карету нашего коменданта; внутри и снаружи набилось столько народу, что это напомнило мне путешествие на конной барже. Возглавлял нашу процессию лучший наездник — весьма приятный голштинец Доза, известный художник, друг Александра Дюма. Мы осмотрели всю крепость, казематы и пещеры, не обошли своим вниманием и небольшой городок Корнелию с довольно интересной церковью. На всем в здешних краях сохранились следы мавританского владычества и искусства, все больше напоминало Испанию, чем Францию, даже язык местных жителей был чем-то средним между французским и испанским.

В Верне, на лоне свежей горной природы, у границы новой, еще не знакомой мне страны, я наконец завершил подготовленную для немецкого издания моих сочинений «*Das Märchen meines Lebens*»,\* или «*The true story of my life*»\*\*, как называли ее англичане. Закончил я ее так: «Прежде чем я оставлю Пиренеи, эта написанная мною большая глава из моей жизни полетит в Германию; сам я последую за ней; начнется новая глава. Какой-то будет она? Что уготовано мне судьбой? Может быть, меня ожидает самая кипучая и деятельная пора моей жизни? Ничего этого я не знаю, но гляжу в будущее без страха и с благодарностью. Вся моя жизнь со всеми ее радостями и горестями неизменно вела лишь к благу. Ее можно сравнить с морским плаванием, имеющим определенную цель. Я сам стою у руля, сам избираю себе путь и делаю свое дело, но ветры и море во власти Господней, и если и не все сбывается, как я того желаю, то я все-таки верю, что все это к лучшему; лишь такая вера может сделать человека счастливым! Когда зажгутся рождественские елки, когда, как у нас говорят, “закружатся белые пчелы”, я буду, Бог даст, в Дании, свижусь с дорогими друзьями, вернусь из путешествий с роскошным букетом новых, свежих впечатлений, воспрянувший и телом, и духом. Тогда-то с благословения Господа польются на бумагу новые мои мысли.

\* Сказка моей жизни (нем.).

\*\* «Правдивая история моей жизни» (англ.).

Да пребудет над ними длань Господа! Я родился под счастливой звездой; ярко сияет она на небосклоне моей жизни. Тысячи людей были бы в большей мере, чем я, достойны этого; я и сам не знаю, чем заслужил столько счастья не в пример другим! Да, звезда моя сияет... Если же она вдруг начнет меркнуть — быть может, даже в то время, как я пишу эти строки, — я скажу: и все же она светила, мне посчастливилось вкусить от полной чаши счастья. И даже если звезда моя померкнет совсем — я ни на миг не усомнюсь, что и это к лучшему! Благодарю и Бога, и людей; сердце мое полно любви!

Верне, июль 1846 год».

### XIII

С тех пор прошло девять лет, целая эпоха в истории человечества. Эти годы принесли Дании испытания, скорбь и радость, а мне знаменательные дни признания на моей родине. Годы сделали меня старше, но сохранили дух молодости, и они же принесли спокойствие и ясность. Развернем же свиток глав, который о них повествует!

Из Верне, где горный воздух укрепил мое здоровье и я решил, что достаточно восстановил силы для обратного путешествия, я отправился далее в Швейцарию; мне предстояло проехать в дилижансе только одну ночь, а жаркий день провести в Перпиньяне и Нарбонне. Но намного ли мне это помогло? Из жизнетворной атмосферы я будто попал в мертвую и неподвижную стихию, меня словно окутывал тяжелый, густой, раскаленный воздух, жара мучила страшно, и скоро я почувствовал, что у меня обожжен каждый нерв! Даже ночь не приносила прохлады — а только мух, у которых сил на то, чтобы устраивать вокруг меня хоромы, хватало.

Выдержать зной помогли мне несколько дней, или, вернее, спокойных ночей, проведенных мною в Сете, где я попросил вынести матрас на балкон и спал под звездным небом и мог дышать; но из красот Монпелье я помню только, что город лежал в лучах солнца, прожигавших меня насквозь. Я весь день просидел в комнате с плотно закупоренными ставнями окнами, одетый, как для купания, — туда они, к счастью, не проникали. В поезде, как раз в тот момент, когда он стрелой мчался вперед, меня достигло известие об ужасном несчастье, случившемся на французской Северной железной дороге.

В любое другое время, будь я бодр и здоров, оно непременно разбудило бы мою фантазию, но, измученный солнцем южной Франции, я, как страдающий от морской болезни, впал в такое оцепенение, что мне стало совершенно безразлично, что бы ни происходило вокруг. В Ниме железная дорога заканчивалась, и далее до Авиньона мне предстоял путь в пропыленном и переполненном дилижансе.

В Авиньоне на миндальных деревьях созрели плоды, и единственное, что мне здесь понравилось, — это миндаль и фиги; бесконечное сидение за закрытыми ставнями — не самое интересное в путешествии! Папский дворец выглядел, как крепость, превращенная в казарму, а собор казался лишь ее крылом. В музее я увидел бюст Верне работы Торвальдсена; слово «датский» в табличке с именем автора на постаменте какой-то остроумец перечеркнул карандашом, здесь же висели весьма отличающиеся от медных гравюр два портрета Мазепы, подаренные Верне «доброму городу Авиньону». Вечером улицы оживились, и какой-то человек на коне и с барабаном наперевес громогласно, что твой *dulcamara*, расхваливал перед публикой, свои товары. Над моим окном нависали пышные лозы винограда, на манер маркиз защищавшие от солнечных лучей.

Я находился совсем рядом с Воклюзом, но и на это маленькое путешествие сил у меня не хватало — последние, оставшиеся, следовало, как скупцу, поберечь, чтобы добраться до Швейцарии и прохлады ее гор. Вот почему мне так и не удалось побывать у знаменитого источника, воды которого некогда видели отражение Лауры; впрочем, вдохновенные строки Петрарки, запечатлевшие ее образ, проносят его сквозь века.

Далее Рона мчится вперед с такой стремительной скоростью, что пароход, идущий вниз по течению, добирается от Лиона до Марселя всего за один день, в то время как на обратный путь от Марселя до Лиона тратит целых четверо суток. Впрочем, грязному пароходу я предпочел быстро катящийся дилижанс, здесь он мчится подобно упряжке диких коней из баллады о Леоноре.

В Оранже античных времен римский театр гордо возвышается над всеми прочими, даже недавно построенными зданиями! Триумфальная арка, воздвигнутая здесь в честь Септимия Севера, и многочисленные другие роскошные древнеримские достопримечательности, которыми так усеяны берега Роны, напомнили мне об Италии.

Я не знал ранее о них и не представлял себе величия древнеримских развалин, которое предлагает путешественникам южная Франция.

Берега становились все более интересными; я видел города с прекрасными готическими соборами и старые замки на вершинах гор, похожие снизу на громадных нетопырей; в воздухе парили великолепные висячие мосты, нитями натянутые над стремнинами, с которыми боролась, пробивая себе дорогу, суда.

Наконец я оказался в Лионе, где в Рону впадает Сола. Отсюда, с одной из верхних улиц, я увидел на расстоянии многих-многих миль к северо-востоку нависшее над плоской зеленой равниной свещающееся белое облако, это был Монблан, Швейцария! Итак, я оказался уже близко к тому месту, где надеялся снова вдохнуть свежего воздуха, опять воспрянуть телом и душой, но, увы, швейцарский консул отказался завизировать мой паспорт: лионская полиция должна была сперва поставить в нем свою визу, а полиция объявила, что мой паспорт не в порядке. И это случилось со мной, человеком, который в путешествии только и думает, что о своем паспорте и о визах, так что мое постоянное беспокойство из-за них доходит до смешного! Я ведь, наверное, только один на тысячу путешественников, с кем постоянно случаются какие-нибудь неприятности с паспортом: то пограничник не умеет читать, то младший клерк поставит в паспорт неверную цифру и не туда, куда следует, так что ее сразу не найдешь, то итальянский пограничник уставится на имя Кристиан, считая, что имеет дело с каким-то сектантом, подчеркивающим, что он — христианин. В Лионе неразбериха превзошла все мои ожидания: мне заявили ни больше ни меньше, что паспорт следует переправить в Париж, чтобы завизировать его там у министра внутренних дел. За день я избегал местную префектуру вдоль и поперек, пока наконец не кинулся в ноги к одному из высокопоставленных полицейских чиновников и не заявил ему, что никто, совершенно никто не уведомлял меня о том, что для того чтобы совершить путешествие от Пиренеев до Швейцарии через Лион, я должен отсылать свой паспорт для визирования в Париж, куда ехать мне совершенно не хочется. Но на это мне было сказано, чтобы я возвращался в Марсель: датский консул там оформит мой паспорт для въезда в Швейцарию. В ответ я объяснил, что поездки обратно не выдержу, как не выдержу и дальнейшего пребывания в раскален-

ном от солнца Лионе — мне надо в горы! Человек, к которому я обратился, оказался весьма чуток и учтив. Забрав у меня паспорт, он проэкзаменовал меня на предмет времени и места каждой отмеченной в нем остановки, после чего заявил, что никаких причин, препятствующих моему скорому отъезду, не видит. После этого он оформил все наилучшим образом, и уже на следующий же день я мог лететь куда моей душеньке угодно. Поэтому вечером я со спокойным сердцем отправился в оперу. На тот момент в городе гастролировала немецкая труппа из Цюриха, дававшая в один вечер — получите, как говорится, за одну сумму все удовольствия сразу — и «Страделлу» Флотова и «Вольного стрелка» Вебера. Времени, однако, представление у меня особенно много не заняло. Из «Вольного стрелка» угощали исключительно арией и музыкой, пропуская дуэты, наверное, посчитали, что французам все равно немецкого не понять, — получалось, правда, довольно комично: сразу же после застольной песни Каспара Макс хватал шляпу, кланялся и уходил, а Каспар тем временем воспевал свой триумф, словно он победил противника одной своей арией.

Я въехал в Швейцарию, но и здесь тоже стояла угнетающая жара, снежный покров на вершине Юнгфрау и даже на Монблане сократился, как никогда, — на белом проступили черные каменные полосы. Воздух, однако, здесь был свежее, и по вечерам наступала прохлада. Я сразу же поехал в Вевей. Здесь у озера и снежных гор Савойи я по настоящему ожил и задыхался — какое благословение! По вечерам на черном фоне гор как будто вспыхивали красные звездочки: это пастухи и угольщики жгли на противоположном берегу костры. Я снова посетил Шильон. Имя Байрона, высеченное им на колонне — я видел эту надпись, когда был здесь в последний раз, — немного пострадало: его сильно исцарапали, по-видимому, пытаясь стереть. Это сделал какой-то англичанин, но ему помешали; хотя даже если бы ему удалось уничтожить имя Байрона на колонне, в памяти человечества оно все равно осталось бы неизгладимым. На колонне, кстати, появились еще два новых имени: Виктор Гюго и Роберт Пил.

Во Фрайбурге я увидел самый смелый, самый великолепный висячий мост из всех, какие встречал. Покачиваясь в такт движению тяжелых повозок, он парил в воздухе над рекой и долиной. В Средние века подобные чудеса существовали лишь в сказках, ныне наука

творит их в действительности. Наконец мы приехали в Берн, город, где так долго жил Баггесен, здесь он женился и обрел свое счастье. В свое время он любовался тем же самым огненным отблеском Альп, которым теперь на закате солнца наслаждались мы! Я провел в окрестностяхерна и в Интерлакене несколько дней, совершив прогулки в долину Лаутербруннен и Гриндельваль. После путешествия в дилижансе по огненному чистилищу освежающая изморось водопада Штауббах и холодный ледяной воздух гриндельвальдских глетчеров показали мне истинным раем. Коричневые швейцарские домики на склонах гор на бархатистых зеленых лугах под нависающими над ними голыми вершинами, приветливая и щедрая природа, преобразжающаяся вдруг в величественную и дикую, — вот чем отличается Швейцария! По вечерам вершины Веттергорна, Шилбергорна и Юнгфрау горят огнем в отблесках заката; повсюду царит величавая тишина, и все было бы хорошо, если бы не преследующие вас повсюду попрошайки, они безуданно выводят рулады йодля — своего рода прелюдию к попрошайничеству, хотя и попрошайки не могут все же испортить целительное и вселяющее новые силы пребывание в этом милом горном краю.

Отсюда я отправился в Базель и далее по железной дороге через Францию — в Страсбург. По Рейну я двинулся на пароходе; над рекой стоял тяжелый горячий зной, и плавание продолжалось весь день, под конец судно переполнили пассажиры; в основном, это были отдыхающие, они пели и веселились; все были настроены против Дании и всего датского: Кристиан VIII только что опубликовал свое открытое письмо. Подобные настроения оказались для меня внове; путешествовать по баденской земле, будучи датчанином, оказалось не слишком приятно; но никто здесь не знал меня да я ни с кем не знакомился. Так, больной и страдающий, я просидел в одиночестве все время путешествия по реке.

Через Франкфурт я проехал в мильей моему сердцу Веймар и здесь у Больё нашел участие и отдохновение; в летнем замке Эттерсбург, куда пригласил меня наследный великий герцог, я провел прекрасные дни; а вот в Йене мне пришлось поработать — я помог профессору Вульффу перевести на немецкий язык большую часть моих лирических стихотворений; но здоровье мое было сильно подорвано, и мне, столь страстному приверженцу юга, пришлось при-



знать, что я все же — сын Севера и мои плоть, кровь и нервы укоренены в снегах и возвращены на холодных ветрах. Я возвращался домой медленно, не спеша. В Гамбурге я получил от короля Кристиана VIII орден Даннеброга, решение о присуждении которого, как мне сообщили, приняли еще до моего отъезда, вот почему, наверное, я и получил его еще до того, как через два дня вернулся на родину. В Киле я встретился с семьей ландграфа а также с принцем Кристианом, впоследствии принцем Дании, и его супругой, и, поскольку за ними туда прислали королевский пароход, мне оказали честь и пригласили отправиться домой вместе. Правда, путешествие по морю оказалось в высшей степени утомительным: мы шли целых два дня в шторм и туман, прежде чем я ступил на твердую землю у копенгагенской таможни.

Как мне сообщали в письмах, в мое отсутствие пошла на сцене и снискала большой успех опера Хартманна «Маленькая Кирстен», для которой я написал либретто. Музыка получила признание, как она того и заслуживала, — истинно датский букет мелодий и звуков, сочетание своеобразия и трогательности. Текст оперы понравился даже Хейбергу, и я радовался тому, что скоро увижу и услышу эту маленькую вещицу. Удивительно, но «Маленькая Кирстен» шла на сцене как раз в тот день, когда я вернулся домой. «Вот увидишь, тебе она понравится! — сказал Хартманн. — Все очень довольны и текстом, и музыкой!» Я пошел в театр, меня там заметили, и, когда «Маленькая Кирстен» закончилась, в мой адрес раздались аплодисменты, сопровождаемые не менее громким шиканьем. «Странно! — сказал Хартманн. — Этого раньше не было. Не понимаю!» — «А вот мне это понятно вполне, — ответил я. — Не волнуйся, тебя это не касается. Просто соотечественники заметили, что я вернулся домой, и столь своеобразно меня приветствуют!»

В довершение ко всему, еще не оправившись от пребывания на юге, я чувствовал себя совсем разбитым, хотя освежающий зимний холод все-таки немного меня поддерживал. Нервическое расстройство одолевало меня и в то же время обостряло духовные силы: как раз в это время я закончил поэму «Агасфер». Х.К.Эрстед, кому я в последние годы читал все мои произведения, своим живейшим участием и дельными советами оказывал мне немалое содействие. Душа его с такой же страстью стремилась к добру и красоте, с ка-

кой его пылкий ум старался отыскать истину. Ясно и решительно заявлял он, что истина — душа всякого поэтического произведения. Кто-то раз я принес ему свой перевод стихотворения Байрона «Тьма», восхищавшего меня своей живописностью и полетом фантазии автора. Каково же было мое изумление, когда Эрстед заявил, что считает стихотворение неудачным от начала и до конца, а мысли, высказанные в нем, одну нелепей другой. Однако, выслушав доказательства Эрстеда, я вынужден был признать справедливость его слов. «Разумеется, — говорил он, — поэт вправе представить себе, что солнце может исчезнуть с небосклона, но он также обязан знать, что это приведет совсем к иным результатам, чем описаны тут. Все эти тьма, холод и прочие, изображенные в стихотворении явления — суть нелепые фантазии больного воображения!» Я ощутил правоту его аргументов и уже тогда в полной мере оценил те идеи, которые позже были изложены им в труде «Дух природы» и адресованы поэтам — современникам. Стремясь к тому, чтобы играть роль властителей дум своего времени, поэты обязаны обратить свой взор к достижениям современной науки, а не к образам и выражениям, черпаемым в поэтическом арсенале былых времен. Если же поэт, напротив, хочет описать исчезнувшую эпоху, тогда вполне естественно, что его мысли, как и способ их выражения, должны соответствовать представляемым автором характерам. Эти столь же здравые, сколь и истинные положения Эрстеда были, к моему удивлению, не поняты даже Мюнстером. Многие из мудрых положений упомянутого труда ученый зачитывал мне вслух; затем мы обсуждали их. Бесконечно терпеливый и скромный, он даже согласился с одним моим возражением, единственным, которое я позволил себе, — по поводу того, что использованная им форма диалога, напоминающая принятую в «Робинзоне» Кампе, к настоящему времени устарела. В самом деле, в произведении Эрстеда, где нет необходимости в обрисовке характеров, диалог сводится просто к механическому повторению имен, и содержание книги ясно и без него. «Возможно, вы правы! — сказал мне автор с присущей ему тактичностью. — Тем не менее так вот, сразу решиться на изменение формы, которой я пользовался многие годы, я не могу. Хотя я, пожалуй, подумаю о ваших словах и учту их, когда возьмусь писать что-нибудь новое».

Эрстед обладал поистине огромными знаниями, а также большим опытом и талантом, которые ни в коем случае не вступали в противоречие со свойственными ему милой наивностью и чуть ли не ребячливостью. Редкая натура, отмеченная Божьим даром во всех ее проявлениях и к тому же наделенная глубокой религиозностью, Эрстед познавал величие Господа, используя для этого призму науки и отвергая распространенный и легкий путь слепой веры. Мы часто обсуждали с ним глубокие и великие религиозные догматы и первую книгу Моисея прочитали вместе. О, какое же непосредственно детское и в то же время мудрое философское осмысление древних мифов и преданий о сотворении мира я от него услышал! От моего милого, чудесного Эрстеда я всегда возвращался со спокойной душой и ясностью в мыслях, и это он — повторюсь еще раз — в самые тяжкие времена, когда меня не признавали и осмеивали, поддерживал меня и предрек наступление лучших времен.

Однажды, когда я, жестоко страдая от несправедливости и жестокости, проявляемых ко мне обществом, ушел от него с беспокойной душой, он не смог успокоиться до тех пор, пока поздно вечером не явился ко мне домой, где снова высказал свое участие и утешил меня. В результате, глубоко тронутый его заботой, я, забыв о своем горе и боли, разрыдался от благодарности за его бесконечную доброту и снова собрался с силами и преисполнился мужества продолжать свои труды и творчество.

В Германии после выхода моего «Собрания сочинений» и многочисленных переизданий отдельных произведений я приобретал все большую популярность и ко мне стали относиться благожелательно. Более всего читали «Сказки» и «Книгу картин без картинок», у первых даже появились подражатели. Мне стали присылать книги, сочинения и письма, но особую радость доставило мне одно замечательное послание, в котором значилось: «Немецкие дети передают сердечный привет своему датскому другу Х.К.Андерсену».

Благодаря солнечным лучам извне и дома, на родине, появился некоторый просвет. Мысль работала бодро, сердце билось молодо — несмотря на все воспоминания о пережитом. Проходя долгий круг жизни, мы испытываем периоды радости и страданий. Последние разнообразнее и их больше, но окружающие о них ничего не знают.

В человеческом сердце есть уголки, в которые не позволено заглядывать никому, даже самым близким; именно оттуда, из сердца поэта, подчас звучат самые сокровенные его мотивы. Часто трудно бывает понять, что это — сама действительность или же вымысел. Сказка моей жизни полна именно таких мелодий. Мне они почти что неподвластны, и лишь поэзии под силу выразить то, чем на протяжении дней и ночей были наполнены все мои мысли и поступки.

I

Спокойно спи!  
 Я схоронил тебя в своей груди,  
 О, роза нежная моих воспоминаний!  
 Мир о тебе не знает, ты — моя,  
 И о тебе одной пою и плачу я.  
 Как ночь тиха! Но светлых грез и упований  
 Пора прошла...

II

ХОР

Послушай нашу песню, ты, старый холостяк:  
 «Ложись-ка спать скорее, надень ночной колпак,  
 И сам себе присниться во сне ты можешь смело, —  
 Собою ведь только занят, так то ли будет дело!»

ОДИНОКИЙ

Ведь я в самом себе, в душе своей  
 Сокровище бесценное скрываю!  
 Но знает ли о нем кто из людей,  
 Известно ль им, как втайне я страдаю?  
 Как слезы, точно градины, ложатся  
 Тяжелые, свинцовые на грудь...  
 «Собою ты только занят! Пора тебе уснуть!»\*

В течение этого года из печати вышло еще несколько моих сочинений, и среди них в Англии — «Базар поэта», «Сказки» и «Книга картин без

---

\* Перевод. А. и П.Ганзенов.

картинок», получившие тот же благожелательный прием у читателей и критиков, что и ранее «Импровизатор». Ко мне стали приходиться письма от незнакомых людей, мужчин и женщин, в лице которых я, таким образом, приобрел новых друзей. Мой лондонский издатель, книготорговец Ричард Бенгли, прислал королю Кристиану VIII в подарок несколько моих красиво оформленных книг. Один довольно известный у нас в стране человек рассказал мне, что король, получив их, выразил радость по поводу моего признания, но также удивление тем, что меня, как оказывается, так чествуют за рубежом, в то время как дома, на родине, я зачастую подвергаюсь нападкам и унижению. Благосклонность короля ко мне еще более усилилась после того, как он прочитал изданную в Германии «Сказку моей жизни без вымысла». «Вот теперь я узнал вас по-настоящему!» — с сердечной теплотой сказал он мне, как только я переступил порог зала для аудиенций с намерением подарить ему последнюю свою книгу. «Я так редко вижу вас! — продолжал он. — Нам следовало бы встречаться почаще!» — «Это зависит от Вашего Величества», — ответил я. «Да, да, вы правы!» — ответил он, а затем рассказал, какую радость доставил ему мой успех в Германии и особенно в Англии, и, имея в виду историю моей жизни, поведал об удовольствии, с которым читал мою книгу. Перед тем как мы расстались, он спросил: «Где вы обедаете завтра?» — «В ресторане!» — ответил я. «Так приходите лучше к нам! Пообедаете со мной и моей супругой, обед у нас в четыре часа!»

Я, как уже упоминалось, получил в подарок от прусской принцессы красивый альбом, в котором уже имелось несколько записей, собственноручно сделанных разными интересными людьми. Их Величества просмотрели его, и, получив альбом обратно, я увидел, что король Кристиан VIII написал в нем следующие строки:

«Почет, достигнутый надлежаще употребленным талантом, — лучше, чем любые милости или подарки.

Пусть эти строки напоминают о неизменно расположенном к Вам короле  
Кристиане».

Под надписью стояла дата «2 апреля» — оказывается, королю был известен день моего рождения. Королева Каролина Амалия

также сделала в альбоме очень лестную и дорогую для меня запись — никакой подарок не обрадовал бы меня больше, чем это настоящее сокровище духа и слова.

Однажды король спросил меня, не хочу ли я посетить Англию. Я отвечал, что как раз собирался этим летом отправиться туда. «Тогда я дам вам для этого денег!» — сказал Его Величество.

Я, поблагодарив его, отвечал: «Мне они не нужны! Я получил за немецкое издание моих сочинений 800 ригсдалеров, как раз их я и потрачу на поездку!»

«Но, — настаивал король, улыбаясь, — вы же представляете теперь в Англии датскую литературу и должны быть там обеспечены и ни чем не ощущать нужды!»

«О, на это средств у меня хватит. А как только они кончатся, я поеду домой!»

«Если вам что-нибудь понадобится, пишите прямо мне!» — сказал король.

«О, нет, Ваше Величество, сейчас мне ничего не нужно. Возможно, мне и придется прибегнуть к Вашей милости когда-нибудь в будущем, сейчас же я ничего от вас принять не могу — негоже быть слишком назойливым! Да и говорить о деньгах мне не хочется. Вот если бы вы позволили мне писать Вашему Величеству, ничего для себя не испрашивая, не как к королю — ибо тогда это будет официальное обращение, — а просто как к человеку, которого я люблю...»

Король милостиво разрешил мне это и, по всему видно, был доволен тем, как достойно я принял его ко мне благорасположение.

В середине мая 1847 года я направился в Копенгаген. Стояла прекрасная весна. Я видел, как, расправив крылья, взлетел со своего гнезда аист. Троицу я встречал в старом Глорупе, а потом присутствовал на празднике стрелков в Оденсе; во времена детства это был самый любимый мой праздник. К этому времени появилось новое поколение мальчишек, на долю которых, как и встарь, выпадало нести простреленные мишени; их толпа, вооруженная зелеными ветками, смахивала на подступающий к замку Макбета Бирнамский лес.

То же, что и раньше, веселье, та же давка — но насколько же поиному я смотрел теперь на все это! Глубокое впечатление произвел меня несчастный, по-видимому, больной мальчик, стоявший напротив моего окна. Черты лица его были правильны, глаза блестели, но в це-

лом было в нем что-то ущербное, и мальчишки дразнили и преследовали его. Я подумал о себе и своем детстве, о моем слабоумном деде. Что случилось бы со мной, если бы я остался тогда в Оденсе, пошел бы в ученики к портному, если бы время и обстановка притупили мою фантазию, которая тогда столь кипела во мне, если бы я не сумел приспособиться ко всему тому, что меня окружало? Что бы из меня тогда получилось? Не знаю. Но вид несчастного, всеми гонимого дурачка за окном заставил мое сердце забиться, а мои мысли с благодарностью обратиться к Господу за Его милость и любовь ко мне.

Мой путь лежал через Гамбург. Там я познакомился с писателем Глассбрэннером и его талантливейшей супругой, замечательной актрисой Перони-Глассбрэннер. Одна копенгагенская газета писала, что остроумный сатирик Глассбрэннер отпустил в мой адрес как писателя-сказочника одну колкость, я же не обнаружил ее, получив, напротив, посвященное мне стихотворение:

*Г.Х. Андерсену*

Когда б мы знали, что поет нам птица  
 И что в цветочном запахе таится,  
 Когда б мы знали, что живет в могиле  
 И что мы в хладной жизни хоронили,  
 Когда бы тайны моря понимали  
 И ветру с пониманием внимали,  
 И детский взгляд встречали с пониманьем —  
 Читали бы тебя, не знаясь с толкованьем.

А.Глассбрэннер

А это совсем не означает, что автор что-то против меня имеет.

После встречи с дорогими друзьями в Ольденбурге путешествие продолжилось по Голландии. По мощеной шоссейной дороге, гладкой и чистой, как полы в молочной лавке, дилижанс, в котором мы ехали, быстро катил вперед. Дома и городки являли собой образцы чистоты и благополучия. В крепости Девентер был рыночный день; по улицам валили толпы народа в живописных нарядах; на площади с лотков торговали вафлями, подобное я в прежние времена видел у нас в парке Дюрехавен. На церковных башнях били куранты,

и повсюду развевались голландские национальные флаги. Из Утрехта поездом я добрался до Амстердама всего только за один час,

а там живут чуть-чуть что не в воде!  
Каналы всюду! —

что вовсе не так уж плохо, ибо на Венецию, город мертвых палаццо, напоминающих своим видом бобровые хатки, Амстердам непохож вовсе. Первый же человек на улице, у которого я спросил дорогу, ответил мне вполне понятно. Удивительно, до чего же голландский похож на датский, подумал я, но тут выяснилось, что прохожий ответил мне по-датски. Оказалось, это был француз, который долгое время работал учеником у парикмахера Косса в Копенгагене. Он узнал меня и на мое обращение по-французски ответил мне, как мог, по-датски.

Тенистые деревья нависали над каналами, одновесельные, пестро размалеванные неуклюжие лодки с мужьями, женами и целыми семьями медленно проплывали мимо. Женщины в лодках стояли. Они орудовали веслом, в то время как отцы семейств степенно сидели и курили свои длинные трубки. В людской сутолоке особенно выделялись несколько совсем маленьких мальчиков в одежде двух цветов — одна штанина черная, другая красная, и с такими же разноцветными рукавами. Затем показались и девочки в платьях такой же расцветки — похоже на каторжников у нас дома. Я спросил, что это значит, и услышал в ответ, что это приютские дети, их здесь так одевают. В театрах шли французские комедии. Национальный театр, к сожалению, во время моего пребывания в городе был закрыт, иначе я непременно стал бы свидетелем настоящих голландских обычаев: в течение всего представления в голландских театрах курят, в то время как яны — янами называют в Голландии всех официантов — обходят публику, зажигая трубки и подавая чай, который здесь пьют из больших чашек. Действие на сцене тем временем всюду продолжается, куплеты исполняются, а из трубок валом валит дым, застилающий весь зрительный зал и сцену. Мне об этом рассказывали сами голландцы, так что, смею думать, это не преувеличение.

Свою первую прогулку по Амстердаму я начал с книжной лавки, где мне хотелось купить книжку с голландскими и фламандскими стихами. Продавец, с которым я заговорил, вдруг удивленно взглянул на меня, коротко извинился и скрылся. Я не понял, что это значит, и уже собрался уходить, как вдруг из смежной комнаты появи-



лись двое мужчин; они тоже пристально на меня взглянули, а потом один спросил, не я ли датский писатель Андерсен. И они указали на мой портрет, который висел в зале, по нему они меня и узнали; голландские газеты давно уже сообщили, что ожидается мой приезд. Один датчанин, г-н Нюгорд, который уже много лет жил в Голландии и здесь носил имя ван Нийвенхёйсом, перевел на голландский все мои романы. Кроме того, незадолго до моего приезда в Амстердам здесь вышли «Сказка моей жизни без вымысла» и несколько сказок — «Sprookjes»\*. Издатель голландской газеты «Время», недавно скончавшийся ван дер Флиет, с большой любовью представил меня публике и очень живо описал мое творчество, а в еженедельном приложении к газете даже напечатали мой портрет.

Таким образом, очень скоро я узнал и почувствовал, что в Голландии у меня много друзей. Перед отъездом Х.К.Эрстед снабдил меня рекомендательным письмом к амстердамскому профессору Фрëлиху, и тот представил меня известному голландскому писателю ван Леннепу, автору романов «Декамская роза» и «Освобождение Харлема», которые относят к наилучшим во всей голландской литературе. Ван Леннеп, любезный и приятный человек, жил в уютном и богатом доме. Меня, к счастью, принимали здесь вовсе не как чужака, а как желанного гостя, ко мне тут же подбежали прекрасные приветливые дети, они знали мои сказки. Особенно глубокое впечатление на одного из мальчиков произвели «Красные башмачки», сказка так сильно подействовала на него, что он долго стоял молча, рассматривая меня, а потом показал мне книгу с этой сказкой: башмачки на черно-белой иллюстрации к ней были раскрашены им в красный цвет. Старшая дочь писателя Сара, уже взрослая девушка, в высшей степени приветливая и живая, сразу же спросила, красивы ли копенгагенские дамы, и я в тон ей ответил, что «они очень похожи на голландок». Потом ей захотелось послушать, как звучит датская речь, и я написал на бумаге и произнес несколько слов, которые должны были ей понравиться. За обеденным столом ван Леннеп, спросив, смогу ли я понять голландский текст, вручил мне исписанный листок бумаги. Это было его стихотворение, посвященное мне. Он зачитал его вслух. Начиналось стихотворение так:

---

\* «Сказки» (нидерл.).



Физик и философ Х.К.Эрстед

*Поэту*  
*Х.К.Андерсену*

Отвергнут, заброшен, ничей,  
Птенец, ты бродил сиротливо  
По Фюну, где тучная нива  
И быстрый журчащий ручей...

и т.д.

Позже стихотворение, кажется, напечатали в голландской газете «Время».

Из Амстердама до Харлема я ехал по железной дороге, которая проходит в одном месте по дамбе между Северным морем и заливом Харлем Меер. Здесь я увидел одно из самых дерзких инженерных начинаний нашего времени — откачку залива; уровень его уже значительно понизился. В Харлеме я увидел самый мощный в мире орган: 8000 его металлических трубок как раз звучали под сводами поддерживаемого балками купола, когда я вступил в церковь. Изнутри сводчатый купол этот весьма напоминал трюм перевернутого кверху килем корабля. Очень странно, смешением немецкого и датского, звучал и здешний язык, и на некоторых домах я увидел надписи «Hier gaat man uit rogen!»\*, видно, чтобы добудиться хозяев. Колокола всех церквей постоянно звонили, а вся страна казалась одним большим английским парком. Эти свои первые впечатления от Голландии я отразил в маленьком стихотворении, которое написал в альбом супруги профессора Шлегеля, который она подала мне для записи, когда я был у них дома в Лейдене.

Ты, как воскресный праздник, хороша!  
Ты, как хорал воскресный, безупречна!  
Голландия! В саду твоём душа,  
Как дома, дышит радостно, беспечно.

Фру Шлегель понимала датский язык и знала Данию, она приезжала в Копенгаген. Как-то я застал ее в кабинете у Эленшлегера, когда приходил к нему; она хорошо это помнила. Вместе с ней, ее мужем и профессором Геелем я посетил достопримечательности Лейдена,

---

\* «Hier gaat man uit rogen!» (нидерл.) — «Стучать громко!»

в число которых входит Скансен, воздвигнутый англосаксами, когда они под водительством Хенгиста и Хорса двинулись на Англию.

Стены зала ожидания на железнодорожном вокзале были увешаны картинами и плакатами, самый большой плакат изображал номер газеты «Время» ван дер Флита, как раз тот самый, в котором красовались мое имя и портрет. Люди замечали мое сходство с портретом, я смутился и поспешил занять место в вагоне. Я ехал в Гаагу, но прочел на билете, который мне дали, «Гравенхаге» — голландское название города, которого я не знал. Поезд между тем тронулся, и я обреченно подумал, что попаду совсем не в то место, в которое направлялся.

Первым же человеком, которого я увидел из окна гостиницы в Гааге, был мой знакомый, приятель по Риму, голландский композитор Ферхюлст, на которого меня, если не чертами лица, то походкой и жестикующей, считают похожим. Я кивнул ему, но он меня не узнал, он и представить себе не мог, что встретит меня здесь. Когда я через час вышел, чтобы осмотреться в незнакомом городе, я вновь столкнулся с Ферхюлстом. Радости его не было конца. Мы поговорили о Риме и о Копенгагене, я сообщил ему новости о Хартманне и Гаде, музыку которых Ферхюлст отлично знал. Композитор очень хвалил Данию за ее национальную оперу. Голландцы же, как мне сдается, играют только французскую и итальянскую музыку. Я прошелся с Ферхюлстом до его дома на окраине города. Оттуда из окон открывался чудесный вид на тучные, истинно голландские зеленые поля и луга; в это время зазвонили колокола в ближайших церквях и пролетела, приветствуя нас, стая аистов, ведь Голландия — это их родина: аист изображен на гербе Гааги.

Раньше я не знал ван дер Флита лично, он лишь писал мне, присылал переводы и рецензии на мои произведения. Теперь я вступил в его кабинет. Ван дер Флит оказался молодым добродушным человеком; истинный сын природы, он с восторгом читал и принимал все мои произведения. Мой неожиданный визит застал его врасплох и чуть ли не ошеломил, хотя он знал о моем приезде заранее и сделал в доме все необходимые приготовления, чтобы предложить мне пожить у него. Он позвал свою молодую жену, она тоже весьма обрадовалась и приняла меня крайне радушно, хотя и говорила только по-голландски. Но и не понимая один другого, мы приветливо рас-

кланялись и пожали друг другу руки. Мои добрые хозяева совсем растерялись, не зная, что бы еще такое сделать, чтобы мне угодить. Своего единственного ребенка, пока еще очень маленького мальчика, они называли Кристианом, как сказал отец, в честь меня или же несчастного скрипача из моего романа. Радость, которую, как кажется, доставил им мой приезд, меня тронула, я попал в семью, где все любили друг друга, и все-таки, поскольку я приехал в Гаагу всего на несколько дней, а их дом находился на окраине, я предпочел остаться в гостинице в центре города. Чтобы продолжить подольше наше общение, муж с женой проводили меня до самой двери гостиницы. В чужой стране такую приветливость и сердечность встречаешь нечасто. Мой визит подействовал на них, как радостное известие, и в том же благодушном настроении, с улыбками и шутками мы расстались. Я начал подниматься вверх по лестнице в мою комнату и в коридоре встретил человека в трауре, он назвал мое имя, и я узнал его. Какой разительный контраст в сравнении со смеющимися, радостными лицами, которые я только что видел! В глазах у мужчины стояли слезы. Это был Хенсель, шурин Мендельсона-Бартольди, только что приехавший из Берлина. Доктора посоветовали ему на время уехать из дома, чтобы переменить обстановку и отвлечься от горестных мыслей: тяжесть их могла довести его до нервного срыва. Его в высшей степени одаренная жена, сестра Мендельсона, во многом напоминавшая брата и походившая на него даже внешне, внезапно умерла. Я встречал ее и Хенселя в берлинском свете, тогда эта женщина была само воплощение талантливости и веселья, своим духом и смелостью она не уступала брату и играла, как и он, совершенно и с пленительной выразительностью. И вот... совсем еще недавно здоровая и веселая, она сидела в садовой беседке после обеда и вдруг, неожиданно вскрикнув, умерла. Хенсель, ранее офицер, а теперь известный художник-портретист, написал ее посмертный портрет. Он возил эту большую картину с собой; стоявшая на столе в его номере, она поразила меня, только что расставшегося с весельем и радостными людьми; и вот теперь я видел этого человека, столь сильного некогда, а ныне совсем потрясенного горем, плачущего.

Через год, как мы теперь знаем, столь же неожиданно последовал за своей милой талантливой сестрой и сам Мендельсон.

Я провел в Гааге уже четыре дня; было воскресенье, я собирался во французскую оперу, когда мои друзья попросили меня присоединиться к кругу тех, кто встречался в этот вечер в гостинице «Европейская». «Так сегодня бал? — спросил я, когда мы поднимались вверх по лестнице. — По какому случаю? Все выглядит так празднично!» Мой сопровождающий улыбнулся и ответил: «Это праздник в вашу честь!» Я вступил в большой зал и был поражен множеством собравшихся здесь людей. «Здесь собрались, — сказали мне, — некоторые из ваших голландских друзей, которые этим вечером хотели бы порадовать себя общением с вами!»

Оказывается, за короткое время, которое я провел в Гааге, ван дер Флиет и еще несколько человек успели разослать по всей стране письма поклонникам моей музыки, в которых сообщалось о времени и месте моего появления. Вот почему на вечер приехал, несмотря на долгое путешествие от самого Зюйдерзее, даже автор «Рассказов о юности», богач ван Кнеппельхоут. Я обнаружил среди собравшихся множество людей искусства: литераторов, художников и артистов. Во время обеда за большим, украшенным цветами столом в мою честь провозгласили множество тостов и произносили речи. Особенно тронул меня тост, провозглашенный ван дер Флиетом за «Коллина, отца семейства и благородного человека, который принял Андерсена в свой дом как сына». «Два короля, — сказал он и повернулся ко мне, — король Кристиан VIII и Фридрих Вильгельм Прусский, наградили вас орденами. Когда же их понесут за вашим гробом, пусть сам Господь Бог удостоит вас за ваши благочестивые сказки самой чудесной награды — короной бессмертной славы».

Затем кто-то произнес речь о связи языков и истории Дании и Голландии. Один из художников, нарисовавший прекрасные иллюстрации для моей «Книги картин», поднял бокал за мой талант создателя зрительных образов, а Кнеппельхоут провозгласил на французском тост за свободу фантазии и формы искусства. Потом пели песни и декламировали юмористические стихи, и, поскольку я еще совершенно не знал голландских пьес и трагедий, знаменитый гаагский актер-трагик Петерс представил нам «сцену тюрьмы» из «Тассо» Гравенвэйрта. Я не понял из нее ни слова, но чувствовал искренность игры актера. Ни у кого еще я не видел такой совершенной мимики: он бледнел и краснел по малейшему своему жела-

нию — по-видимому, он в совершенстве владел обращением своей крови. Собрание разразилось бурными аплодисментами. Люди за столом пели чудесные песни; особенно захватили меня мелодия и торжественность патриотической песни «В чьих жилах голландская кровь». Это был один из самых славных вечеров в моей жизни. Наивысшие почести выпали на мою долю, как мне представляется, в двух странах — Швеции и Голландии, но Господь, которому хорошо известны сердца людей, знает также, с каким смирением я принимаю все повороты судьбы. Слезы радости и благодарности я считаю поистине посланным нам свыше Господним даром.

Следующий день мы провели на открытом воздухе: Кнеппельхот повез меня в городок и парк Ден Бош, где гуляли люди и играла музыка. Оттуда мы совершили небольшую поездку в экипаже по прекрасной дороге мимо идиллических зеленых лугов и богатых деревенских домов, пока перед нами не открылся вид на Лейден. Мы приблизились к нему и затем свернули к деревне Шевенинген, защищенной от Северного моря дамбами и высокими песчаными дюнами. Здесь за табльдотом в павильоне для купаний маленький кружок друзей снова поднял бокалы с вином за искусство и поэзию, за Данию и Голландию. На всем протяжении побережья мирно лежали рыбацьи лодки, звучала музыка, море накатывало на берег свои валы, повсюду царили домашние уют и спокойствие, и вечер у нас выдался чудесный.

Когда на следующее утро я покидал Гаагу, хозяйка гостиницы принесла мне ворох газет, в которых описывался праздник в мою честь. На вокзал меня провожали несколько друзей, которых я успел полюбить и с которыми расставался с грустью, не зная, придется ли нам еще увидеться на этом свете.

Роттердам показался мне первым по-настоящему живым голландским городом — в гораздо большей мере, чем Амстердам. В его широких заводях стояло много самых различных, больших и малых судов. Как и в Амстердаме, по каналам медленно ходили красочно размалеванные небольшие голландские лодки, которыми зачастую правили женщины — пусть и не в туфлях со шпорами, как поется в народной песне о «молодом г-не Педерсене», но они все-таки стояли у руля, в то время как отцы семейств возлежали рядом и попыхивали трубками. В Роттердаме, казалось, продавалось и покупалось все.

«Батавиец», один из самых старых голландских пароходов, по истине пароход-улитка, на который я взял билет до Лондона, отошел от причала на следующее утро. Судно было сильно перегружено, огромные корзины с вишней громоздились выше поручней, а на палубе расположилось множество эмигрантов, отправлявшихся на поселение в Америку. Тут же весело играли их дети и прогуливался взад-вперед один толстый, как Фальстаф, немец со своей хулущей и уже заранее страдающей от морской болезни женой, которая с ужасом ждала момента, когда мы выйдем из устья Мааса и попадем в открытое море. Губы женщины да и все ее тело мелко дрожали, она зябко куталась в какое-то перехваченное лентами с бантами покрывало. Наконец наступил отлив, хотя, прежде чем мы вышли в Северное море, прошло не меньше восьми часов. Низменности Голландии, казалось, погружались в серо-желтую мглу все глубже и глубже. Наконец солнце зашло, и я отправился спать.

Выйдя на палубу следующим утром, я увидел английское побережье. В акватории устья Темзы сновали тысячи рыбацких суденышек, похожие на неисчислимый выводок дыплат или множество клочков мелко разодранной бумаги, или бесчисленные палатки огромной ярмарки. Уже по одной Темзе можно судить, что Англия — это действительно владычица морей: отсюда, из устья реки, отправлялись в морские походы ее слуги на бесчисленном множестве различных кораблей. Они отчаливали и причаливали один за другим каждую минуту, как бы передавая эстафету друг другу. Особое мое внимание привлек один пароход-красавец, шляпу-трубу которого украшали столб дыма и красный цветок огня. Важно выгибая грудь, как лебеди, бесшумной и гордой чередой мимо нас скользили большие парусные суда, встречались и более мелкие увеселительные яхты с молодыми и богатыми джентльменами на борту, судно следовало за судном, и чем выше мы поднимались по Темзе, тем вереница судов все увеличивалась. Я стал считать встречные пароходы, однако вскоре устал и сбился со счета. У Гравесенда мне показалось, что участок Темзы, в который мы входим, похож на огромное дымящееся от пожара болото — так много дыма выпускали черные пароходные трубы. А тут еще разразилась сильная гроза, на черном как смоль небе заискрились голубые молнии, мимо промчался поезд, за ним волнами клубился белый дым, и тут же, как дружный залп множества пушек, прогремел гром.



«Страна узнала о вашем приезде и салютует вам!» — сказал мне в шутку молодой англичанин. «Возможно, — подумал я, — на все воля Господня!»

Темза тем временем превращалась, хоть это и казалось невероятным, в еще более густую кашу из пароходов, лодок и парусников, уподобляясь тем самым узкой и переполненной народом улице. Я не понимал, каким образом вся эта масса двигалась без столкновений. Потом начался отлив, у берегов проступили полосы заиленного, слизистого дна, и мне вспомнились вдруг диккенсовские Квилп, Нелли и ее бабушка, вспомнилось, как описывал жизнь на этих берегах Мэрриет.

У таможи, где мы сошли на берег, я взял кеб и отправился в путь. Мы все ехали и ехали, в этом огромном городе путь наш, казалось, не кончится никогда. Толпы народа на улицах становились все гуще, движение на проезжей части шло в два ряда в обоих направлениях. Все куда-то спешили: omnibusы, переполненные внутри и облепленные народом снаружи, огромные повозки с рамами, на которые клеились плакаты с последними известиями дня, люди с большими вывесками о купле и продаже всего на свете на древках, которые возвышались над людской массой. Все это находилось в беспрестанном движении, словно одна половина населения Лондона рекою текла на один край города, в то время как другая — на противоположный. Посредине перекрестков находились возвышения, отделенные от движения большими камнями. Туда устремлялись люди с тротуара, проскальзывая между повозками, и там они ждали возможности проскочить между экипажами далее — на противоположный тротуар. Лондон действительно город городов! Это я почувствовал сразу и впоследствии день ото дня убеждался в этом все сильнее. Он — как Париж, только стократ больше, в нем еще оживленнее, чем в Неаполе, хотя, может быть, не так шумно. Все в спешке, хотя и без излишней суеты, мчатся мимо, omnibus за omnibusом — всего их, говорят, в Лондоне 4000 штук, — рабочие повозки, грузовые повозки, кебы, дрожки, разряженные экипажи грохочут, выбиваются из сил, катятся и срываются с места, словно на другом конце города происходит событие, на которое все должны поспеть непременно. И это море постоянно в движении. Постоянно! Даже когда все эти люди, которых мы видим перед собой, упокоятся в могилах, движение продолжится, и все так же будет ка-

тять вперед и назад волны омнибусов, кебов, двуколок, людей, бредущих с объявлениями спереди, сзади и на шестах, повозок с плакатами на бортах и с афишами о путешествиях на воздушных шарах, представлениях карликов-бушменов, гуляниях в Воксхолле, зрительских панорамах и выступлениях Йенни Линд.

Наконец я доехал до «Отеля де Саблоньер» на Лестер-Сквер, который порекомендовал мне Х.К.Эрстед, и устроился в номере, где прямые лучи солнца падали на кровать, словно демонстрируя, что и в Лондоне бывают солнечные дни, хотя свет солнца здесь, как пропущенный через стекло пивной бутылки, отливал красно-желтым цветом. Вскоре, однако, когда солнце зашло, воздух стал восхитительно чистым, и на небе замерцали звезды, посылая слабый свет на освещенные газовыми рожками улицы, которые по-прежнему волновались, шумели и гудели. Усталый, я заснул еще до того, как повидал знакомых.

Я приехал в Лондон, не имея никаких рекомендательных писем. Единственный человек, который мог бы ознакомить меня с жизнью английского света хотя бы немного и к которому я обратился на родине, высокопоставленная персона, имевшая связи в Англии, писем мне не дал. «Да вам и не нужно писем! — сказал наш посланник в Дании граф Ревентлов, которого я посетил на следующее утро. — Вы известны и рекомендованы своими произведениями. Как раз сегодня вечером у лорда Пальмерстона собирается небольшое изысканное общество, я напишу леди Пальмерстон о том, что вы прибыли в Англию, и смею вас заверить, вы сегодня же получите приглашение!» Действительно, через несколько часов приглашение оказалось у меня в руках, и вечером мы отправились туда вместе с графом.

На приеме собралась высшая английская знать, дамы щеголяли в богатейших туалетах из шелка и кружев, в глазах рябило от сверкающих алмазов и многоцветных пышных букетов. Лорд и леди Пальмерстон приняли меня очень приветливо, а когда наследный великий герцог Веймарский, присутствовавший здесь же с супругой, сердечно поздоровался со мной и подвел меня к герцогине Суффолкской, оживленно заговорившей об «Импровизаторе» — «Это лучшая книга об Италии!», как изволила она выразиться, — я сразу же попал в кружок наибогороднейших английских леди, которые, оказывается, все датского писателя знали, читали «Влюблен-

ную парочку», «Гадкого утенка» и т.д. Я выслушал от них немало теплых слов и чужаком в их среде себя вовсе не чувствовал. Герцог Кембриджский заговорил со мной о Кристиане VIII; прусский посланник Бунзен, друг Ревентлова, который ранее, будучи послом в Риме, оказал датчанам в Вечном городе много услуг, вместе со своей супругой любезно поспешил мне навстречу. Многие дарили мне свои визитки и приглашали их посетить. «Вы сегодня, — сказал граф Ревентлов, — совершили прыжок в высший свет, на что у многих уходят долгие годы! Только не тушуйтесь! Здесь, чтобы пробиться, нужно действовать смело!» Со свойственным ему дерзким юмором он вдруг перешел на датский, которого здесь никто не понимал: «Завтра мы просмотрим визитки и выберем из них лучшие!» Продолжал он в том же духе: «Вот с этим вы говорили слишком долго, вон там стоит человек, который будет вам более полезен, у этого вы найдете хороший стол, а вон у того — изысканное общество. Поверьте, чтобы добиться у них приглашений, иному придется затратить немало усилий!»

Под конец, двигаясь по натертому до блеска паркету и продираясь сквозь дебри незнакомых мне языков, я выбился из сил физически и морально; духота стояла поистине гнетущая, и, не выдержав, я вырвался из сутолоки и удалился в коридор, чтобы подышать там воздухом или, во всяком случае, отдохнуть, прислонившись к перилам.

Так продолжалось в течение трех недель. Я приехал в Лондон в летний сезон, разгар светской жизни, которую мы, датчане, ведем только зимой. Светские рауты следовали один за другим каждый день: званые обеды и вечера, затем — ночные балы. И повсюду — людская толчея в залах и на лестницах, а поскольку вся неделя была расписана наперед, приходилось принимать приглашения и на завтраки. Это стало невыносимо: праздничный шум, гул и гудение праздной толпы слились в одни непрерывные сутки, продлившиеся все три недели. Поэтому память моя сохранила только моменты, отдельные отрывки воспоминаний. Почти повсюду выступали одни и те же фигуры в меняющемся обрамлении позолоты, атласа, кружев и цветов. Особенно красиво в парадном убранстве комнат выглядели розы. Они покрывали все окна, столы, лестницы и ниши, стоя в воде в столь искусно задрапированных вазах, бокалах и чашах, что образовывали сплошные, благоухающие и дышащие свежестью ковры.

Я поселился, как уже ранее было сказано, на Лестер-Сквер в «Отеле де Саблоньер», где ранее жил Х.К.Эрстед, который и рекомендовал мне это место, хотя оно, как сказал граф Ревентлов, было недостаточно модным. Здесь, в Лондоне, все происходило по моде, поэтому граф обязал меня не упоминать в разговорах, что я живу на Лестер-Сквер, это, по его мнению, равнозначно тому, как если бы я сказал в Копенгагене, что «живу в переулке Пера Мадсена». Тем не менее моя гостиница располагалась рядом с Пиккадилли, на широкой площади, где напротив моих окон в окружении зеленых деревьев стояла мраморная статуя графа Лестера. Лет шесть или восемь назад жить здесь еще было модно, теперь же — нет. Хотя в гостиницу ко мне и приходили барон Бунзен, граф Ревентлов и еще несколько посланников, но все равно жить здесь считалось не модно. В Англии все подчинено моде и этикету, ему обязана следовать в быту даже сама королева. Мне рассказывали, как однажды она гуляла по прекрасному парку и, возможно, хотела бы побыть в нем чуть дольше, но вдруг в панике заторопилась, ведь ужин подают ровно в восемь и ей следовало быть к этому времени дома — иначе о ее опоздании судачила бы вся Англия! В государстве свободы этикет способен замучить вас до смерти, хотя в сравнении с превосходнейшими достижениями нации это, конечно же, пустяки. В Англии вы находитесь в стране, которая в наше время, наверное, остается единственной по-настоящему религиозной; тут уважают нравы, тут царит мораль, о которой нельзя судить по отдельным и неизбежным в большом городе язвам.

Лондон — это город вежливости, и полиция показывает тому прекрасный пример. Стоит вам обратиться на улице к обычному постовому, и он сразу же любезно укажет вам кратчайшую дорогу до вашей цели. Приветливый прием вы найдете и в каждой лавке. Что же до рассказов о вечно сером и задымленном воздухе Лондона, то и здесь люди преувеличивают. Конечно же, в отдельных, густо заселенных старых кварталах города мглы и дыма хватает, но в большей его части воздух чист и свеж, как в Париже. Я повидал в Лондоне немало солнечных дней и много звездных ночей. Впрочем, после недолгого пребывания в городе иностранцу чрезвычайно трудно дать его верный портрет. Чтобы понять это, достаточно ознакомиться с описаниями своей собственной родины иностран-

цами и с их суждениями о ней, так резко отличающимися от всего привычного и знакомого тебе. Турист запоминает то, что сообщают ему отдельные люди с их заинтересованной точки зрения, а сам он наблюдает за картинками жизни чужой страны в преломлении своих «очков путешественника», схватывая, как пассажир из окна движущегося поезда, лишь пейзажи да фигуры и не различая подробностей. Для меня Лондон — это, если не считать Рима, город городов, и если Рим я воспринимаю как всемирный барельеф, обобщенно изображающий Ночь, где веселый и шумный карнавал — сладкая греза, а папа Пий IX — сон вполне серьезный, то Лондон — это всемирных масштабов барельеф Дня, воплощение деятельного начала — пусть даже в образе вращающегося с молниеносной скоростью ткацкого веретена.

Впрочем, темой дня в Лондоне была Йенни Линд — и одна только Йенни Линд. Чтобы избежать многочисленных визитов и дышать самым свежим в Лондоне воздухом, она сняла дом в квартале Олд Бромтон — вот все, что я смог узнать в своей гостинице, где сразу же осведомился о ней. Чтобы найти это место, я немедленно помчался в итальянскую оперу, где выступала Линд. Постовой и здесь сослужил мне добрую службу, проводив меня к театральному кассиру, но ни он, ни портье театра не сообщили или же не захотели сообщать мне никаких сведений. Тогда я написал на одной из моих визиток несколько слов самой Йенни Линд. Я написал ей, что приехал в Лондон, сообщил, где живу, и попросил ее незамедлительно прислать свой адрес. В результате я на следующее же утро получил от нее приветливое и сердечное послание «брату». Я сориентировался по карте, отыскал квартал Олд Бромтон и сел в омнибус, кондуктор которого подробно объяснил мне, до какой остановки мне нужно ехать, где затем свернуть и к какому дому идти, чтобы найти «шведского соловья», как с улыбкой назвал он Линд. Через несколько дней я снова поехал к ней, и среди тысяч лондонских омнибусов мне попался тот же самый. Я не узнал кондуктора, зато он меня признал сразу и спросил, нашел ли я «соловушка Йенни Линд». Она жила на далекой окраине Лондона в маленьком домике за невысоким палисадником, выходящим на улицу, на которой почти постоянно дежурила толпа людей, собиравшихся здесь, чтобы хотя бы краешком глаза взглянуть на Йенни Линд.

На этот раз им повезло. Когда я позвонил, она, выглянув из окна, узнала меня, подбежала к экипажу и стала пожимать мне руки, разглядывая меня с сестринской заботой и неподдельной радостью, совершенно не обращая внимания на собравшихся вокруг и напиравших на нас людей. Мы поспешили в дом, он был прелестен, роскошен и уютен; к нему примыкал небольшой сад с просторной лужайкой и лиственными деревьями, где резвилась коричневая длинношерстная собачка, тут же прибежавшая в дом и вскочившая на колени к своей хозяйке, за что ее тут же погладили и поцеловали. На столе в комнате лежали элегантно переплетенные книги. Йенни показала мне «Сказку моей жизни без вымысла», в английском переводе названную «Правдивая историей моей жизни», которую переводчица, Мери Ховитт, прислала ей. Тут же лежала газета, раскрытая на развороте с карикатурой: Йенни Линд изобразили на ней в виде большого соловья с девичьим лицом, рядом с ней стоял Ламли и сыпал птичке на хвост соверены, чтобы она запела. Мы поговорили о родине, о Бурнонвилях и Коллинах, а когда я рассказал ей, какой праздник устроили в честь меня голландцы и как на нем провозгласили тост в честь старика Коллина, она захлопала в ладоши и воскликнула: «Превосходно!» После этого она пообещала прислать мне постоянный билет в Оперу, чтобы я мог посещать все ее выступления, билет, конечно же, бесплатный, они стали до глупости дорогие, говорила она, «я буду петь для вас, а за это дома вы прочтаете мне еще одну сказку!».

Заваленный приглашениями на званые вечера, я смог воспользоваться ее билетом только два раза. Сначала я посмотрел ее, конечно же, в лучшей ее роли в «Сомнамбуле». Невинность и чистота певицы, казалось, озаряли всю сцену, придавая атмосфере действия что-то священное. То, как в последнем акте, идя в забытие, она снимает со своей груди розу, поднимает ее высоко вверх и вдруг непроизвольно роняет, настолько прелестно и прекрасно, настолько удивительно и трогательно, что глаза сами собой наполняются слезами. Сцену встречали восторженными и горячими аплодисментами — подобных я не слышал даже у пылких неаполитанцев. На Йенни Линд пролился настоящий дождь из цветов. Театр выглядел празднично. Известно, как элегантно одеваются в Лондоне, отправляясь в оперу. Все господа в партере и в амфитеатре были в белых шейных платках,

а дамы — в самых роскошных туалетах, и каждая держала в руках по большому букету. На спектакле присутствовали королева и принц Альберт, а также наследный великий герцог Веймарский с супругой. Итальянские слова в устах Йенни Линд звучали для меня несколько странно, а ведь про нее говорили, что она говорит на этом языке правильнее, чем многие итальянцы. То же говорили и про ее немецкий. И тем не менее, несмотря на все это многоязычие, пение Линд сохраняло все очарование и прелесть ее родного языка — шведского. Композитор Верди как раз для этого сезона и специально для нее написал новую оперу «Разбойники» по мотивам драмы Фридриха Шиллера. Я уже слышал оперу один раз, составил о ней свое мнение и считаю, что даже игра и пение Йенни Линд не смогли спасти это мертворожденное музыкальное сочинение. Партия Амалии заканчивается тем, что ее в лесу как раз в тот момент, когда банда разбойников окружена, убивает Карл Моор. Старика Моора исполнял Лаблаш, поэтому сцена, в которой этот огромный, тучный мужчина, выходя из башни, заявляет, что от голода еле волочит ноги, выглядит весьма комично и над ней веселится весь зал. На этом же представлении я впервые увидел знаменитую танцовщицу Тальони, исполнявшую «*le pas des déesses*». В ожидании ее выхода у меня, как всегда, когда я предвкушаю появление чего-то прекрасного или великого, учащенно забилось сердце. И вот появилась она — слегка расплывшаяся, хотя и все еще красивая, однако, увы, уже пожилая женщина. Она по-прежнему способна была одним своим присутствием украсить любой салон, однако что до выступления в роли молодой богини — *fuius Troes!* — подумал я, холодно и безучастно наблюдая за танцем грациозной дамы. Тут необходима юность, тут нужна Черрито! Роль требовала легкости, воздушности, подобной полету ласточки, игривой резвости Психеи, летучести! Увы, их у Тальони не было: *fuius Troes!*

В Лондоне в это время выступала одна наша соотечественница, юная Гран. Ею тоже все восхищались, но во время моего пребывания в городе она не танцевала, подвернула ногу. Однажды вечером во время представления оперы «Любовный напиток» она вызвала меня в свою маленькую ложу, где оживленно и остроумно описала мне мир кулис. Она дала характеристику каждому исполнителю

---

\* *Fuius Troes!* — Мы были троянцами! (лат.).

и к поклонницам Йенни Линд явно не относилась. Вполне естественно, что у сегодняшних кумиров есть и свои критики — удел, которого не избежал еще ни один великий. Мне очень нравится Йенни Линд в роли Нормы, которую она трактует как тип оскорбленной благородной женщины, но англичане, видевшие Норму в исполнении Гриси и ее подражательниц, игравших ее как страстную Медею, от такого прочтения образа были отнюдь не в восторге. Особенно энергичным противником Йенни Линд в роли Нормы выступил Планше, автор «Оберона» и многих других пьес, однако отдельные нападки тонули в восторженном гуле признания, и в своем тихом доме под сенью тенистых деревьев Йенни была совершенно счастлива. Однажды я приехал к ней на обед. К этому времени торжественные славословия и ежедневные приглашения меня уже порядком измучили. «Ну, вот, вы и на себе испытали, чего стоит слава! — сказала она. — Успех тоже изматывает! Как много, как бесконечно много пустых речей, и все — об одном и том же!» Когда чуть позже я отправился в гостиницу в ее экипаже, его окружила напиральная толпа, люди посчитали, что внутри находится Йенни Линд, но это был всего только я, незнакомый и чужой для них господин. Старик Хамбро попробовал через меня пригласить певицу на обед в свое поместье, но она так и не изменила решения никуда не ездить. И ни предложение самой определить число приглашенных, ни обещание, что на обеде будем присутствовать только старик и я, не заставили ее отказаться от установленного ею же самой правила. Единственное, на что она согласилась, это принять достойного джентльмена у себя дома, что и произошло. Меня даже удивило, до чего же быстро эти двое нашли общий язык. Говорили они, в основном, о деньгах и немало смеялись надо мной, ничего не смыслившим ни в самих деньгах, ни в том, как выгоднее всего превращать свой талант в сей презренный металл.

Один молодой скульптор по имени Дюрхем решил вылепить наши поясные портреты, но ни Йенни, ни я не могли позировать перед ним долго. Я замолвил за него пару слов, и ему позволили приехать и полчаса поработать над переделкой глиняной заготовки, которую он, увидев Линд однажды на сцене, уже сделал. Я, со своей стороны, предоставил ему вдвое больше времени, и только за один этот час он вылепил отличную скульптуру. Обе работы побывали на вы-



ставке в Копенгагене, где подверглись чрезмерно суровой, на мой взгляд, критике: ведь портретное сходство в обеих было сохранено и в них несомненно присутствовал некий духовный смысл. В конце концов, ничего подобного не смог бы создать за такое короткое время ни один датский художник.

Я встретился с Йенни Линд снова только через долгие годы. Как всем хорошо известно, она переехала жить в Америку, оставив Лондон на высшей точке своей триумфальной карьеры.

Граф Ревентлов познакомил меня с леди Морган. Он предупредил меня о визите к ней за несколько дней. Старая дама сама назначила визит на определенный день, доверительно сообщил мне граф, ей известно мое имя, но ничего из моих сочинений она не читала и теперь в спешке восполняет упущенное, знакомясь с «Импровизатором», «Сказками» и прочим. Леди Морган жила в доме, разделенном на множество небольших комнат, обставленных в стиле рококо. Французский стиль здесь царил во всем, был присущ он и самой старой даме: она была сама живость и веселье, говорила по-французски, выглядела француженкой и была ужасно накрашена. В разговоре она так и сыпала цитатами из моих книг, которые, как я знал, едва успела прочитать, тем не менее я оценил это как дань вежливости. На стене на видном месте висел рисунок Торвальдсена, это был набросок известного барельефа «Ночь и День», который автор подарил ей в Риме. Леди Морган сказала, что в честь меня хотела бы пригласить к себе всех известных писателей Лондона, чтобы я смог познакомиться с Диккенсом, Бульвером и другими, и в тот же вечер свела меня с леди Дафф Гордон, переводчицей сказки «Русалочка», дочерью писательницы Остен. У леди Морган в салоне я получил возможность свести знакомство со множеством знаменитостей, что и произошло впоследствии, но в еще более широкий и изысканный круг я попал в салоне другой английской писательницы, с которой познакомил меня мой друг Джердан, издатель «Литературной газеты», а именно у леди Блессингтон, жившей на окраине Лондона в загородном доме Гор-Хаус. Хозяйка салона оказалась цветущей, несколько полноватой дамой, одетой с подчеркнутой элегантностью; в глаза мне бросились сверкавшие на ее пальцах кольца. Она сердечно, как старого знакомого, приняла меня, пожала руку и заговорила о «Базаре поэта», сказав, что обнаружила в моих путевых записках

настоящий кладезь поэзии, которой недостает большинству нынешних книг, о чем она уже успела упомянуть в своем последнем романе.

Мы вышли на балкон, нависавший над живописно заросшим плющом и виноградом обширным садом. На виноградных лозах раскачивались большая черная птица из Земли ван Димена и два белых попугая; моя спутница хлопнула в ладоши, и черная птица рассыпалась передо мной трелями; под балконом на широкой лужайке с двумя плакучими ивами росли кусты роз, а чуть далее пейзаж дополняла пасущаяся на лугу корова — истинная пастораль. Мы вместе спустились в сад. Леди Блессингтон была первой английской дамой, язык которой я полностью понимал. Правда, она прилагала заметные усилия, чтобы говорить медленно, и к тому же все время держала меня за запястье, при каждом слове заглядывая в глаза и спрашивая, понимаю ли я ее. Она подарила мне идею книги, которую, по ее мнению, мне следовало написать: сюжет, как она считала, подсказывали условия жизни на моей родине. Жили-были бедняк, который мечтал о лучшем будущем, и богач, имевший все и уже потому ни о чем не мечтавший. Мне надлежало, как считала моя хозяйка, показать, насколько несчастлив был богач по сравнению с бедняком.

Через некоторое время к нам присоединился зять леди Блессингтон граф д'Орсе, элегантнейший лондонский джентльмен, туалеты которого, как мне сказали, диктовали моду всей Англии. Он пригласил нас в свое ателье, где стоял уже почти готовый, вылепленный из глины бюст леди Блессингтон а рядом с ним висел выполненный маслом портрет Йенни Линд в роли Нормы, написанный графом по памяти. Граф показался мне талантливым человеком и к тому же — очень вежливым и приятным. Леди Блессингтон провела меня по всем покоям дома; почти в каждой комнате здесь были бюсты или портреты Наполеона. Наконец мы вступили в ее рабочий кабинет; на столе лежало множество раскрытых книг, как я заметил, все они были посвящены Анне Болейн. Мы заговорили о поэзии и искусстве. В разговоре хозяйка с любовью и знанием предмета коснулась нескольких моих сочинений, в которых подметила многое, что сближало их с искусством Йенни Линд и было ей особенно дорого, — присущую нам обоим задушевность и искренность. Потом она заговорила об игре Линд в «Сомнамбуле» и об атмосфере чистоты и невинности, которую она своим исполнением создавала. При этом на глазах у нее выступили слезы.

Две девушки, кажется, это были ее дочери, принесли мне охапку роскошных роз. Назначив определенный день, леди Блессингтон пригласила меня и Джердана на обед, пообещав познакомить меня с Диккенсом и Бульвером. Когда мы в назначенное время явились к ней, весь дом сиял праздничным блеском. В проходах стояли слуги в шелковых чулках и в напудренных париках, а леди Блессингтон была само великолепие и радушие. Со знакомым нам уже ослепительным выражением приветливости она сообщила, что Бульвер не придет, его занимают в эти дни одни только выборы, и в данный момент он занят сбором голосов избирателей; впрочем, по ее словам, она не в особом восторге от человеческих качеств этого писателя: Бульвер отталкивал своим непомерным тщеславием и к тому же отличался некоторой глухотой, так что общение с ним никому особой радости не приносило. Не знаю, сознательно ли она чернила Бульвера или это получилось у нее непроизвольно, но о другом человеке она отозвалась совершенно иначе, с намного большим теплом, как, правда, насколько я успел к этому времени заметить, и все прочие. Речь шла о Чарлзе Диккенсе; он тоже обещал прийти, и мне с ним нужно познакомиться непременно.

Я как раз сидел, выводя свое имя и пару строк на экземпляре английского перевода «Сказки моей жизни без вымысла», когда в комнату вошел Диккенс, молодежавый и красивый, с умным приветливым выражением лица; длинные волнистые волосы ниспадали ему на плечи. Глядя друг другу в глаза, мы обменялись долгим рукопожатием, заговорили и мгновенно поняли один другого. Мы вышли на веранду; я был настолько растроган и рад тому, что разговариваю со своим любимым и величайшим из ныне живущих в Англии писателей, что на глазах у меня выступили слезы. Диккенс был тронут такими проявлениями любви и восторга, которые я в тот момент испытывал. Из моих сказок он выделил «Русалочку», которую в переводе леди Дафф Гордон Бенгли напечатал в своем «Журнале», а из прочего упомянул «Базар поэта» и «Импровизатора». За столом я сидел неподалеку от Диккенса, нас разделяла только юная дочь леди Блессингтон. Он чокнулся со мной бокалом, и то же самое сделал герцог Веллингтон, в то время носивший титул маркиза Дуэро; в конце стола на стене висел ярко освещенный лампами портрет Наполеона в полный рост в естественную величину. На обеде также присутствовали поэт Милн, главный почтмейстер Англии, писатели, журна-

листы и представители знати, но я во все глаза глядел только на Дикенса.

Впрочем, я отметил одну особенность. Хотя на вечер собралось множество достойных людей, за столом, кроме двух дочерей леди Блессингтон, сидели одни мужчины. Женщины дом Блессингтон почему-то не посещали, хотя мужчины стремились в него безусловно. Граф Ревентлов и еще некоторые люди постарались внушить мне: в больших салонах говорить о том, что я принят у леди Блессингтон, не стоит; ходить к ней не принято, она пользуется дурной репутацией. Причина этого проста — я не знал, верить этому или не верить, — зять леди, граф д'Орсе, охотнее проводил время в обществе тещи, чем собственной жены, падчерицы леди Блессингтон. Графиня поэтому покинула этот дом и жила теперь у подруги, супруг же ее оставался здесь. Впрочем, на меня леди Блессингтон произвела в высшей степени благоприятное впечатление, поэтому на вечерах, когда стайки высокопоставленных дам допрашивали меня на предмет того, у кого я уже успел побывать, я, ничего не скрывая, упоминал ее имя. После этого всегда возникала неизменная тяжелая пауза, когда же я спрашивал у дам, почему мне не следовало посещать леди или что такого неподобающего она сделала, я получал в ответ одну только отговорку, что ходить к ней не принято. Однажды, оказавшись в подобной ситуации, я заговорил о приветливости леди Блессингтон и ее жизнерадостности, рассказал, как тронула ее игра Йенни Линд в «Сомнамбуле», в чем я ни на секунду не усомнился, я поверил искренности ее женского чувства, потому что собственными глазами видел, как роняла она при этом слезы! «Притворство! — вознегодовала одна пожилая дама. — Подумать только! Леди Блессингтон плачет, растрогавшись при виде невинности Йенни Линд!» Через несколько лет я прочитал сообщение о смерти леди Блессингтон в Париже, у ее смертного одра был граф д'Орсе, он не покидал ее до последнего часа.

Среди других литературных дам я отмечу квакершу Мери Ховитт. Именно ей и ее переводу «Импровизатора» я обязан тем, что мое творчество стало известно в Англии. Муж Мери Чарлз Ховитт также был литератором, одно время они издавали в Лондоне «Журнал Ховиттов». Как раз за неделю до моего приезда в Англию в нем напечатали похвальную статью о моем творчестве и мой портрет, ко-

торый тогда выставили в витринах сразу нескольких книжных лавок. Я заметил это в первый же день, по приезду, зашел в один магазин и купил портрет. «Как вы думаете, портрет похож на оригинал?» — спросил я у мадам, продавшей мне его. «О, поразительно похож! — сказала она. — Вы сразу же узнаете по нему Андерсена!» Но сама-то она меня не узнала, хотя мы долго обсуждали тему сходства.

Свой перевод, сделанный с немецкого издания «Сказки моей жизни», Мери Ховитт сравнительно недавно выпустила в издательстве братьев Лонгманов. Эту книгу, как уже говорилось выше, я посвятил Йенни Линд; чуть позже она вышла также в Бостоне. Как только я приехал в Лондон, Мери Ховитт с дочерью немедленно посетили меня и пригласили к себе в Клэптон, неподалеку от Лондона. Ехать пришлось не меньше двух датских миль, и я добирался до места на переполненном омнибусе. Казалось, дорога наша не закончится никогда. Ховитты устроились в своем домике довольно уютно, повсюду висели картины и стояли статуи, перед домом располагался аккуратнейший садик. Приняли меня очень тепло.

За несколько домов от Ховиттов жил Фрейлиграт, немецкий поэт, которого я однажды уже посетил в Сен-Гоар на Рейне, я помню, как пел он тогда задушевные и очень выразительные песни. Король Пруссии даровал Фрейлиграту ежегодную пожизненную ренту, но он отказался от нее, после того как Гервег высмеял его, назвав поэтом-пенсционером, стал писать революционные песни, уехал в Швейцарию и оттуда — в Англию, где теперь зарабатывал себе и своей семье на хлеб в одной торговой конторе. Однажды я столкнулся с ним в лондонской толпе, он узнал меня, а я его нет: он сбрил густую черную бороду, ранее закрывавшую лицо. «Вы, видно, не желаете со мной знаться?» — спросил он и засмеялся. — Я — Фрейлиграт!» А когда я вытащил его из толпы и отвел в подворотню, где было поспокойнее, он пошутил: «Не хотите разговаривать со мной среди масс, вы — любимчик королей!»

Мы уютно устроились в его маленькой гостиной, на стене ее висел мой портрет, написанный в свое время в Гравенстене художником Хартманном — именно он и вошел в этот момент к нам в гостиную, мы говорили о Рейне и о поэзии, но недолго, ибо я ужасно устал от лондонской жизни и дороги в Клэптон. Понадеявшись, что вечер будет прохладным и попрощавшись с Фрейлигратом, я занял свое ме-

сто в омнибусе. Омнибус еще не покинул Клэптона, как я почувствовал, что заболел — руки и ноги сковала еще большая усталость, чем та, что охватила меня когда-то в Неаполе, они отказывались меня слушать. Я едва не терял сознания, в переполненном омнибусе стояла страшная духота, и он то и дело останавливался, принимая пассажиров, располагавшихся наверху: ноги в сапогах болтались у моего открытого окна с обеих сторон. Несколько раз я чуть было не обратился к кондуктору: «Остановитесь, пожалуйста, у любого дома, где меня можно было бы уложить в постель, я этого больше не выдержу!» Обильный пот струился, казалось, из всех пор моего измученного тела. Меня охватил настоящий страх! Омнибус продвигался вперед так медленно, все окружающее плыло у меня перед глазами. Наконец, когда мы доехали до Банкена, я пересел в дрожки и только теперь, оказавшись на свежем воздухе, пришел в себя и смог благополучно добраться до дома. Однако более мучительного путешествия, чем возвращение из Клэптона, я не припомню.

Тем не менее я обещал тамошним хозяевам приехать к ним снова и остановиться у них на несколько дней. Именно перспектива продолжительного отдыха придала мне мужества отправиться опять в ту же поездку и снова в омнибусе. Меня ожидали тихие и приятные дни, но друзья, как известно, всегда стремятся сделать наше пребывание у них как можно более приятным. Мы всегда отвергаем близкое ради далекого, вот почему уже в день моего приезда после обеда мы отправились в путь в одноконном экипаже — пятеро внутри, трое снаружи — в поместье к одной старой даме. Жара стояла ужасная, и наше предприятие весьма смахивало на главу из романа Диккенса.

Наконец мы приехали к старой фрёкен, любительнице литературы. На лужайке перед домом играли множество детей. Казалось, это целая школа или пансион, все пели и танцевали вокруг большого дерева в венках из буковых веточек и плюща. Как выяснилось, детей созвали, сказав, что я и есть тот самый Ханс Кристиан Андерсен, который написал их любимые сказки. Облепив меня со всех сторон, они принялись пожимать мне руки, а затем снова продолжили свои игры и танцы на зеленом лугу. Совсем рядом располагались холмы и группы деревьев с пышными кронами, отбрасывавшими прохладную тень. Я искоса бросал на них тоскливые взгляды, поскольку все наше небольшое общество, включавшее глухую писательницу, писавшую по-

литические статьи, и еще нескольких литераторов с именами, совершенно мне не известными, расположилось в раскаленной от солнца садовой беседке. Я утомлялся все больше и больше; в конце концов я вынужден был уйти и прилечь и провел всю вторую половину дня в комнате в одиночестве, не в силах пошевелить даже пальцем.

Когда солнце зашло и повеяло ветерком, я с радостью обнаружил, что снова обрел способность дышать. На обратном пути в Клэптон прямо перед собой внизу мы увидели освещенный Лондон. Он казался одной сплошной грандиозной иллюминацией, призрачным эскизом, вычерченным на огромном пространстве: уличные газовые фонари сливались в огненные контурные линии, многие из них причудливо изгибались, другие, прямые, как стрелы, тянулись до самого горизонта, это было настоящее фосфоресцирующее море из тысяч пылающих огоньков. На следующий день я вернулся наконец к себе в гостиницу.

Я воочию убедился, что значат в Лондоне «высший свет» и «бедность», — о них я впоследствии вспоминал как о двух противоположных полюсах здешней жизни. Бедность предстала передо мной в образе бледной изголодавшейся девушки в заношенной и потертой одежде; я видел такую, ютившуюся в углу омнибуса. Она была воплощением безнадежной нищеты, не решающейся, однако, проронить ни слова мольбы, ибо попрошайничество в Англии запрещено. Я помню также других нищих, мужчин и женщин, носивших на груди большие листы картона с надписями «Умираю от голода! Сжалось!» Они не смели вслух обратиться за помощью, подавать им строго возбранялось, и поэтому они проскальзывали мимо бессловесными тенями. Вот они останавливаются и смотрят на вас — выражение их бледных, худых лиц полно печали. Вот они стоят напротив кафе и кондитерских и выбирают кого-нибудь меж посетителей, на которого потом смотрят неотрывным взглядом. О, этот взгляд, взгляд самого Несчастья! Оно попеременно указывает пальцем на своего больного ребенка и на лист бумаги с надписью: «Я не ела два дня». Я видел много нищих, хотя, как мне говорили, в квартале, где я жил, их почти нет, а в богатых кварталах их нет и вовсе — представителей несчастного племени париев туда попросту не пускают.

Дух предпринимательства пронизывает в Лондоне все — и, наверное, даже попрошайничество. Как известно, главное здесь — при-

влечь к себе внимание, и я заметил, каким образом достигают этого лондонские нищие. Вот вам пример: прямо в сточной канаве, а не на дороге и не на тротуаре, чтобы не мешать движению, стоит чисто одетый мужчина с пятью детьми, мал мала меньше. Все они в трауре — в шляпах и каскетках с траурным крепом. Каждый держит коробок серных спичек, которые «продает», ведь попрошайничать запрещено. Другой превосходный и еще более доходный способ попрошайничества — стать подметальщиком улиц; вооруженные метлами, они встречаются в городе чуть ли не на каждом шагу и обычно подметают переходы или тротуары. Всегда находятся люди, охотно дающие им пенни. Говорят, что в некоторых кварталах такие пенни складываются в настоящие состояния. Кажется, Бульвер написал рассказ о человеке, о занятиях которого в том квартале, где он проживал, никто не имел понятия. Он посватался к честной девушке и женился на ней, но каждый день пропадал из дома неизвестно куда, а по субботам приносил домой серебро. Семья девушки забеспокоилась и встревожилась: уж не фальшивомонетчик ли он? За ним начали следить и обнаружили, что он — подметальщик. Я сам видел одно дитя Африки, негра с тюрбаном на голове, практиковавшего на здешних улицах благородное искусство подметания.

Более всего в Лондоне меня привлекала бьющая ключом жизнь. Я получил представление о «высшем свете», ознакомившись с его привычками и обычкновениями в пышных залах, я слонялся в толпах по улицам и аплодировал вместе со зрителями актерам в театрах и, наконец, участвовал в таких важных для жизни нации ритуалах, как богослужение, хотя итальянские церкви и нравились мне больше.

Собор Св. Павла выглядит гораздо внушительнее снаружи, чем изнутри. Он намного меньше собора св. Петра и не так величественен, как церкви Санта-Мария Маджоре и замок и мост св. Ангела в Риме. Своими мраморными статуями собор напоминает мне величественный Пантеон. Однако все здешние статуи как бы подернуты черным флером — тончайшим слоем въевшейся угольной пыли, лежащей на гладком мраморе своего рода шелковым покрывалом.

На памятнике Нельсону среди других персонажей присутствует фигура ребенка, который протягивает руку к одной из четырех надписей о победах адмирала — «Копенгаген»; однако мне, датчанину, кажется, что он стремится вычеркнуть ее из триумфального списка.



Совершенно иное, величественное впечатление произвело на меня как своим внешним видом, так и интерьером Вестминстерское аббатство — вот уже собор так собор! Жаль только, что из соображений удобства англичане выстроили внутри большой церкви малую, где происходят службы. Когда я в первый раз через боковую дверь вошел в Вестминстер, то оказался как раз в «уголке поэтов», и первый же памятник, на который упал мой взгляд, принадлежал Шекспиру. В мгновение ока забыв, что прах его покоится совсем не здесь, а в другом месте, преисполненный благоговения и почтения, я прижался лбом к холодному мрамору. Рядом находится памятник или могила Томсона, слева — Саути, и тут же под широкими плитами лежат Гаррик, Шеридан и Сэмюэл Джонсон. Как известно, духовенство не позволило похоронить в соборе Байрона. «Мне не хватает там могилы Байрона! — сказал я как-то вечером одному из английских епископов, будто бы не зная причины ее отсутствия. — Как могло случиться, что памятнику, исполненному самим Торвальдсеном в честь величайшего из поэтов Англии, в аббатстве не нашлось места?» — «Он гораздо лучше смотрится там, где он стоит сейчас!» — уклончиво ответил мой собеседник.

Среди множества других скульптур Вестминстера, стоящих здесь в честь королей и великих мира сего, меня особенно поражает один памятник, у которого я останавливаюсь всегда, когда бываю здесь: мраморное лицо его удивительно похоже на мое собственное. Столь похоже мой облик не передавал еще ни один скульптор или художник. Поразительно, но я вижу перед собой свой собственный бюст! Горстка незнакомых мне людей, которая однажды случайно приблизилась к памятнику как раз в момент, когда я стоял там, переводила свои взгляды с него на меня с любопытством и удивлением; им, наверное, показалось, что по переходам аббатства, сойдя с постамента, гуляет сам этот высокий мраморный господин.

Я уже ранее отмечал, что попал в Лондон как раз в момент выборов, именно из-за них мне не удалось познакомиться с Бульвером. Выборы со всеми сопутствующими им мероприятиями и бесчинствами, к которым мы на родине, думается, также непременно придем, на первый взгляд кажутся красочным народным гуляньем. На многих площадях и улицах возводятся трибуны для выступающих. По улицам ходят люди с выборными списками на груди и спи-

не, повсюду вывешиваются флаги, по улицам торжественно шествуют под своими знаменами колонны избирателей, из повозок машут платками, а над ними красуются огромные лозунги. Крича и распевая песни, к собравшимся прибывают все новые и новые плохо одетые люди в элегантных экипажах, которыми правят красиво разряженные слуги, так что постороннему взгляду кажется, будто господа специально приказали доставить свою самую ничтожную челядь на площадь, где проходит нечто вроде старинного языческого праздника, на котором господа прислуживают рабам. На трибунах царят теснота и гомон, иногда в голову выступающего летят гнилые апельсины или даже дохлые животные.

В одном из зажиточных кварталов я наблюдал следующую картину: двое молодых, хорошо одетых джентльменов приблизились к трибуне, но когда один из них попытался на нее подняться, несколько человек подбежали к ним, нахлобучили обоим на глаза шляпы, развернули, а потом людская масса тычками погнала их от трибуны и вообще с улицы, передавая от одного к другому с тем, чтобы они не имели возможности выдвинуть перед собравшимися свои кандидатуры. В одном из лондонских пригородов, далеко от центра, куда я несколько раз отправлялся в экипаже на прогулку, люди, по-видимому, только и были заняты, что решением этой первоочередной задачи дня, исключая все прочие. Отовсюду в пригород стекались процессии сторонников различных кандидатов с большими знаменами, на которых были намалеваны всевозможные лозунги. Большинство выступали за некоего г-на Ходжеса, его имя было повсюду. Одна процессия несла синие с оранжевым флаги, другая — голубые, надписи на транспарантах гласили примерно следующее: «Навеки с Ходжесом!» или «Ротшильд — друг бедняков!» и т.п. Оба шествия, сопровождаемые оркестрами, постепенно обрастали разномастной чернью. Старого, больного, трясущегося человека везли на садовой тележке — надо же было и ему проголосовать! На площади собирали голоса, по этому случаю на ней устроили целую ярмарку с деревянными лотками и полотняными палатками, в которых продавалась всякая всячина; был даже на скорую руку возведен целый театр, я видел, как через улицу в этот шатер Теспия пронесли декорации с изображением леса.

Что, однако, действительно выглядело живописно и могло бы стать предметом поэтического описания, это передвижные жилища

бродячих или, вернее, конных странствующих коробейников. Они представляли собой целые хозяйства, помещавшиеся в двухколесных тележках, запряженных лошадьми, — самые настоящие дома с крышами и печными трубами, разделенные каждый на два помещения; в заднем находилась своего рода гостиная или кухня с тарелками и кастрюлями. В дверях каждого лицом к улице, как в омнибусе, сидела хозяйка и пряла свою прялку; на открытом окне висела короткая красная занавеска. Отец семейства с сыном ехали рядом верхом, умудряясь одновременно править и лошадью, тащившей за собой такой дом.

Приблизительно в это время один из моих знакомых, нынешний барон Хамбро, снимал близ Эдинбурга на побережье бухты Стерлинга загородное имение, где его семья проводила лето, а больная жена могла принимать морские купания. Он написал своему отцу, чтобы тот уговорил меня посетить имение: по его словам, у меня в Шотландии было много друзей, которые обрадовались бы моему приезду. Я, однако, боялся отправиться в столь дальнее путешествие, поскольку владел английским явно еще недостаточно, чтобы отважиться один-одинешенек передвигаться по стране. Повторное приглашение и письмо отцу с просьбой сопровождать меня все же решили дело, и в обществе Хамбро-старшего я сел на поезд, отправлявшийся из Лондона в Эдинбург. Путешествие длилось два дня с ночевкой в Йорке. Поезд наш был так называемый экспресс: он шел без остановок, и за все время пути пассажиры не имели возможности покинуть вагон. Если прежде пели в пути «По долинам над горами», то теперь самое время было бы спеть «Сквозь горы над долинами»! Мы мчались вперед, как дикое воинство. Впереди и под нами открывались живописные пейзажи, сейчас же стремительно уносившиеся вдаль. Места напоминали мне наши Фюн и Альс. Временами поезд нырял под землю и шел по бесконечным, многомильным туннелям, воздух в которые проникал через сделанные сверху для вентиляции отверстия. Навстречу нам попадались бесчисленное множество поездов, которые со свистом проносились мимо, и снова следовали пейзажи, местность становилась, все более и более гористой, часто виднелись кирпичные заводы с дышащими пламенем трубами.

На вокзале в Йорке меня приветствовал господин, представивший мне двух дам; это был нынешний герцог Веллингтон, знавший

меня, он путешествовал со своей невестой. Мы переночевали в гостинице «Черный лебедь», и наутро я увидел этот старый город с его роскошной церковью и домами, украшенными резными балками на фронтонах, а также фонарями, подобных которым я еще никогда не видел. Над улицами стаями кружили ласточки, и прямо надо мной пролетела моя любимая птица — аист.

Из Йорка на следующий день мы отправились на местном поезде в Ньюкасл, расположенный в котловине в дыму и тумане. Виадук и мост над городом еще не построили, поэтому к продолжению железной дороги нам пришлось добираться на противоположную сторону города, воспользовавшись omnibusом, внутри которого царили теснота и беспорядок. К сожалению, в Англии вы не получаете, как в других странах, бирочку за сданный багаж и сами должны следить за ним, что при пересадках порядочно досаждают. Теснота преследовала всю поездку; пассажиров скопилось много, ведь именно этим ранним утром из Ньюкасла ушел экспресс с джентльменами, отправлявшимися со своими собаками на охоту в Шотландию; в поезд этот забрали все вагоны первого класса, и нам всем до одного пришлось ехать во втором, хуже которого с его деревянными лавками и деревянными ставнями — ими, кстати, в других странах снабжаются только вагоны четвертого класса — трудно и представить. Над двумя глубокими котловинами дорогу еще полностью не достроили, но она уже действовала: шпалы и рельсы, опиравшиеся на мощные каменные колонны, уже положили, но проемы еще не обшили досками, и, казалось, мы в любую минуту могли выехать за поручни моста, а внизу сквозь переплет балок взору открывалась страшная бездна, на дне которой вдоль берега реки ходили и работали люди.

Наконец мы доехали до реки, разделяющей Англию и Шотландию. Перед нами лежала страна Бернса и Вальтера Скотта, местность стала более гористой, мы увидели море со множеством лодок и кораблей — железная дорога шла здесь вдоль побережья. И вот мы достигли Эдинбурга. Он делится на две части — старый и новый город. Между ними по дну узкого и глубокого оврага, напоминающего осушенный крепостной ров, как раз и проложен железнодорожный путь Лондон—Глазго. Улицы нового Эдинбурга расположены ровно и правильно, на них стоят скучные современные здания. В этой части города нет ничего шотландского, кроме того, что

кварталы здесь, нарезанные правильными квадратами, напоминают шотландский плед, но вот старый Эдинбург — это город живописный и роскошный, древний, сумрачный и своеобразный! Дома, обращенные фасадом на главную улицу, имеют от одного до трех этажей, а тыльной своей стороной они выходят на овраг, отделяющий старый город от нового, и здесь поэтому они девяти-, одиннадцатизэтажные. Когда по вечерам жители этих домов этаж за этажом зажигают в своих окнах огни, свет из окон и от газовых фонарей, отражаясь от крыш других домов верхних улиц, представляет собой исключительное зрелище — настоящую праздничную иллюминацию. Любоваться им можно из вагона поезда, когда тот проезжает под Эдинбургом.

Мы доехали до места назначения со стариком Хамбро только к вечеру. Хамбро-младший ждал нас с экипажем. Встреча оказалась радостной и восторженной, после чего мы во весь опор, галопом помчались в его пригородную усадьбу — дом на Маунт Тринити, где в кругу семьи Хамбро я обрел свое новое пристанище на земле Бернса и Вальтера Скотта! В качестве приветственного подарка вместо обычного букета здесь меня уже ожидало множество писем. Дом Хамбро оказался богатым, уютным и со всеми удобствами, которые только может предложить старая добрая Англия. В нем я встретил дорогих моему сердцу, в высшей степени приятных, искренне расположенных ко мне людей. Этот вечер был одним из счастливейших в моей жизни.

Дом находился в саду, окруженном невысокой стеной; неподалеку проходила железная дорога, ведущая из Эдинбурга к морскому заливу. Рыбацкий поселок там, на побережье, разросся до размеров небольшого городка и весьма напоминал наши зеландские рыбацьи деревеньки. Вот только одеты шотландские селянки были не в пример живописнее, чем наши: юбки их в широкую полоску, как правило, были кокетливо поддернуты вверх, так что из-под них выглядывали пестрые подола нижних юбок.

Уже на следующий день я ощутил себя полноправным членом семьи Хамбро. Когда вы чувствуете, что хозяева принимают вас как дорогого и желанного гостя, дом их становится для вас родным. Дети хозяев показались мне живыми и приятными. Старый дедушка в них души не чаял. Я снова попал в счастливую семью, полную

любви и взаимной заботы. Распорядок дня и обычаи здесь были типично английскими. По вечерам семья и слуги собирались на домашнюю молитву; молились все, после чего зачитывалась глава из Писания, что я наблюдал потом здесь и во всех прочих семьях, в которые попадал. На меня это произвело прекрасное впечатление.

Каждый день был богат разнообразными впечатлениями. Уже первое утро началось с визитов и знакомства с местностью, хотя более всего я нуждался в отдыхе и покое. Но разве можно было отдаваться им здесь, где меня ожидало столько нового?!

Местный поезд доставил нас до Эдинбурга всего за несколько минут. Он остановился перед въездом в туннель в горе, по склону которой карабкалось вверх несколько улиц нового Эдинбурга. Большая часть пассажиров вышли из вагонов. «Мы уже приехали?» — спросил я. «Нет, — отвечал мой попутчик, а поезд между тем действительно двинулся дальше. — Здесь немногие остаются в вагоне, туннель далее не особенно прочен и может обрушиться вместе со всеми находящимися наверху улицами, поэтому большинство здесь выходят. Ну, а мы поедem, думаю, пока мы здесь, туннель не рухнет!» И мы помчались дальше по длинному и темному сводчатому коридору — он и вправду не обрушился, но приятным я бы это путешествие не назвал. Впоследствии, правда, я еще не раз проезжал здесь по местной линии, направляясь в Эдинбург и обратно.

Вид из нового города на старый открывается впечатляющий и величественный: это зрелище ставит Эдинбург в один ряд с такими живописными столицами, как Константинополь и Стокгольм. Длинная улица, или набережная, если огромный овраг, по которому тянется железная дорога, считать руслом реки, обрамляет всю панораму старого города с его старинным замком и госпиталем Джорджа Хериота. Там же, где город выходит к морю, высится гора — Трон Артура, — известная по роману Вальтера Скотта «Эдинбургская темница». Впрочем, весь старый город можно считать единым развернутым комментарием к его великим сочинениям. Здесь же, в новом городе, откуда открывается панорама старого Эдинбурга, красиво смотрится памятник Вальтеру Скотту, возведенный в виде могучей готической башни, у подножия которой находится изваяние самого поэта. Писатель сидит, у ног его лежит собака Майда, а сверху, под сводами башни видны скульптуры известных всему

миру персонажей его произведений: Мег Меррилиз, Последнего менестреля и других.

Над огромным оврагом, по дну которого проходит железная дорога, отделяющая старый город от нового, нависает грандиозный мост, который едва не касается верхних этажей возносящихся из глубин зданий. Известный врач, доктор Симпсон согласился провести меня по городу. Главная его улица поднимается вверх к хребту горы; от нее отходит множество узких, грязных и застроенных шестиэтажными зданиями улочек; самые старые из домов сложены из огромных камней — наверное, над ними поработали великаны. Мне они невольно напомнили массивные здания грязных итальянских городов; кажется, что из открытых люков, которые служат здесь окнами, на тебя так и смотрят бедность и несчастье; из этих же окон вывешиваются для просушки белье и одежда. Среди таких домов в одном из узких переулков стоит темный, мрачный, смахивающий на конюшню особняк; когда-то он был единственной крупной гостиницей Эдинбурга, где останавливались короли и долгое время проживал Сэмюэль Джонсон.

Видел я также и дом, где проживал Бурке, куда заманивали несчастных жертв, которых душили, чтобы затем продавать их трупы. На главной улице тогда еще цел был готовый в любую минуту рухнуть небольшой каменный дом Нокса, на одной из стен которого красовалось высеченное в камне изображение выступающего с кафедры проповедника.

Мимо старой эдинбургской тюрьмы, привлекающей к себе внимание не столько своим видом, сколько благодаря произведению Вальтера Скотта, дорога спускается вниз к Холирудхаусу, расположенному на западной окраине города. Меня он поначалу ничем не поразил: длинный рыцарский зал с невыразительными портретами, унылые комнаты, в которых жил Карл X. Настоящий Холирудхаус я увидел только в спальне Марии Стюарт. На драпировке ее покоев красовался рисунок, изображающий падение Фаэтона, который, следовательно, всегда был у королевы перед глазами, предвещая ее собственное падение. Совсем рядом со спальней находилась каморка, в которую втащили, чтобы убить, несчастного Риццио; на полу до сих пор виднеются следы кровавых пятен. С обеих сторон от покоев в башенках располагалась еще по одной темной ком-

натке, а перед ними снаружи — церковь, от которой теперь остались только живописные руины, почти полностью, как ковром, покрытые плющом, который в Англии и Шотландии настолько пышен, что его можно сравнить разве только с тем, который я видел в Италии; вечнозеленым растением этим увиты здесь окна и колонны, а трава и цветы пробиваются между каменными надгробиями.

Я не претендую на то, чтобы называть эти эскизы Эдинбурга путевыми записками, но они — неотъемлемая часть истории моей жизни, настолько глубоко и прочно запечатали их мои чувства и мысли. И пусть они отныне хранятся там, как результат тех дней, что я провел здесь.

Во время очередного осмотра города и его зданий меня особенно поразила и восхитила одна сцена. Мы осмотрели госпиталь Джорджа Хериота большой компанией. Это великолепное дворцового типа здание, основанное королевским ювелиром, которого все мы хорошо знаем по общеизвестному роману Вальтера Скотта «Приключения Найджела». Все посетители госпиталя обязаны приносить с собой письменное разрешение на его посещение и, кроме того, собственноручно записывать у портье свое имя, что сделал и я, написав его так, как меня всегда именуют в Англии и Шотландии, полностью: «Ханс Кристиан Андерсен». Старик портье прочел мое имя и, доброжелательно оглядев доброе, жизнерадостное лицо Хамбро-старшего и шевелюру его серебристых волос, спросил, не он ли тот самый известный датский писатель. «Таким я его себе и воображал — доброе лицо и почтенная шевелюра!» — «Нет! — ответили ему и указали на меня. — Писатель — вот!» — «Такой молодой? — вырвалось у старика. — Я читал его книги, да и здешние мальчишки тоже! Удивительно, что он такой молодой! Знаменитости, когда о них узнаешь, всегда либо очень старые, либо уже в могиле!»

Мне пересказали его слова, я подошел к старику и пожал ему руку, после чего он и несколько подошедших мальчиков, ответив на несколько моих вопросов, показали, что хорошо знают «Гадкого утенка» и «Красные башмачки». То, что мои произведения знают, удивило и растрогало меня. Стало быть, и здесь даже среди детей и бедняков у меня есть истинные друзья. Чтобы скрыть слезы, мне пришлось отступить в сторону. Одному лишь Господу известно, что ощущаю я в своем сердце и думаю в такие моменты!



«This is indeed popularity!»\* — пишет английский писатель Бонер, который в предисловии к сборнику «Мечты маленького Тука и другие сказки» рассказывает, как принимают в Англии и Шотландии мои книги.

Редактор «Литературной газеты» Джердан дал мне с собой рекомендательное письмо к известному сотруднику «Эдинбургского обозрения» лорду Джеффри, которому посвятил своего «Сверчка за очагом» Диккенс. Лорд Джеффри жил под Эдинбургом в своем поместье, в настоящем старом романтическом замке, стены которого почти скрывала вечнозеленая растительность. В большом зале в камине пылал огонь, здесь вскоре собралась вся семья, молодежь и взрослые члены рода обступили меня плотным кругом. Пришли дети и внуки; я надписал им все мои книги, которые у них были. Потом мы прогулялись по большому парку до места, с которого открывался вид на Эдинбург, похожий отсюда на Афины: с этой точки были хорошо видны эдинбургские Ликавит и Акрополь. Через несколько дней семья лорда Джеффри явилась ко мне с ответным визитом на Маунт Тринити. При прощании лорд сказал мне: «Поскорее приезжайте снова в Шотландию, если хотите свидеться! Жить мне осталось недолго!» Смерть уже отметила его своей печатью — мы и вправду больше не увиделись.

Еще с некоторыми знаменитостями я познакомился в домах у замечательного доктора Симпсона и у писательницы мисс Ригби, которая в свое время посетила Копенгаген и писала о нем. Надо сказать, что среди моих новых друзей встречались занятнейшие типы — приведу в пример добродушнейшего критика Уилсона, остроумца и шутника, по-своейски называвшего меня «братом». Впрочем, самые различные критики относились ко мне в целом доброжелательно. «Датский Вальтер Скотт» — вот каким почетным и незаслуженным, с моей точки зрения, именем награждали меня многие. Писательница миссис Кроув подарила мне свой, переведенный на датский язык роман «Сьюзен Хопли». Мы познакомились с ней у доктора Симпсона как-то вечером во время устроенного у него для довольно большого круга друзей сеанса вдыхания эфира. Мне это начинание не понравилось — особенно вид дам, впавших в состояние, подобное опьянению:

---

\* «Вот это истинная известность!» (англ.)

они смеялись, не переставая, сидя с неподвижным, остановившимся, как бы омертвевшим взглядом, и в этом было что-то ужасное. Я не стал скрывать своего мнения и прямо в этом же обществе высказался в том духе, что, хотя эфир — это в высшей степени превосходное и полезное изобретение, которое облегчает боли при хирургических операциях, играть с ним все же не стоит. Я думаю, что не следует задавать вопросы потустороннему миру, это ведь все равно что дразнить самого Господа Бога. Присутствовавший в то время в доме доктора один пожилой, достойного вида человек присоединился ко мне, высказав примерно то же самое. По-видимому, мои слова расположили его ко мне. Через несколько дней мы случайно встретились на улице, когда я, в основном, желая иметь что-то на память об Эдинбурге, покупал маленькое изящное и дешевое издание Библии; он отнесся ко мне чрезвычайно любезно: потрепал по щеке и тепло отозвался о моем благочестивом нраве, чего я, право же, не заслуживал. Так простая игра случая выставила меня в выгодном свете.

Прошло восемь дней, и мне захотелось познакомиться с горной Шотландией. Хамбро, который с семьей направлялся на воды на западное побережье, предложил мне проделать часть пути вместе с ними и заодно осмотреть места, описанные Вальтером Скоттом в «Деве озера» и «Роб Рое». Наши пути должны были разойтись только в Дамбартоне.

На правом берегу залива Стерлинга располагается небольшая деревня Керколди. Здесь на заросшем холме высятся мощные древние руины, морские чайки стаями вьются вокруг них, поминутно ныряя с высоты вниз и с криком задевая крыльями воду. Мне сказали сначала, что это — остатки замка Рейвенсвуд, но местный житель объяснил, что все это — выдумка, которую придумали для привлечения иностранцев, поскольку Рейвенсвуд — всего только название из «Ламмермурской невесты», плод фантазии поэта, настоящие же места, где происходили события, описанные в романе, находятся дальше, в горной Шотландии. Имя Эштон — тоже придуманное, потомки настоящей семьи, фигурирующей в романе, живы поныне и носят фамилию Стар.

Тем не менее руины замка с мрачными сводами темниц и пыльным плющом, который плотным ковром покрывал стены и даже вздымающийся из воды утес, были чрезвычайно живописными

и своеобразными — особенно когда море при отливе отступало от берега. Открывающийся отсюда вид на Эдинбург был величественным и поистине незабываемым!

Наш пароход отправился вверх по Стерлингу, какой-то современный менестрель пел шотландские баллады и играл на скрипке, она звучала печально, под эти звуки мы приблизились к горной Шотландии, форпосты которой возникли перед нами в виде укутанных туманом утесов. Затем туман как будто по мановению чьей-то могучей руки быстро рассеялся, словно кто-то стремился показать нам страну Оссиана в ее истинном облиции. Мощная крепость Стерлинг возвышается на огромной скале и похожа на гигантскую каменную фигуру, исторгнутую из недр плоской равнины. Крепость господствует над городом, старые улицы которого выглядят грязными, плохо замощенными и такими старинными, словно их целиком перенесли в настоящее из седой древности. Шотландцы славятся тем, что с удовольствием рассказывают свои легенды. И в самом деле, как только мы оказались на улице, где расположен дом Дарнли, к нам подошел сапожник в кожаном фартуке и пустился в пространные рассуждения и рассказы о Дарнли и Марии Стюарт, о старых временах и подвигах шотландцев. Отсюда, из крепости, открывался грандиозный вид на знаменитую равнину, где происходила великая битва времен Эдуарда II и Роберта Брюса. Мы подъехали к холму, на котором король Эдуард водрузил свой штандарт. Потомки почти разобрали легендарный бугор, унося каждый по камешку, так что ныне, предотвращая дальнейшее разорение, оставшуюся его часть огородили железной решеткой. Неподалеку стоит бедная кузница. Именно в ней скрывался Якоб IV. Он послал за священником и исповедался перед ним, когда же священник услышал, что перед ним — король, он тут же на месте вонзил ему кинжал в сердце. Жена кузнеца показала нам свою маленькую комнату; как раз в углу, где стоит ее кровать, и произошло убийство. Окрестности здесь, впрочем, весьма напоминают датскую природу, хотя и чуть беднее, да и погода стоит в здешних местах намного более холодная, чем в это время у нас в Дании: например, липы всего лишь цветут, в то время как дома в эту пору они уже набирают семечко.

Путешествие по Англии и Шотландии обходится дорого, зато за свои деньги ты и получаешь здесь немало: все обустроено и проду-

мано удобно и превосходно, в чем я убедился на собственном опыте. Даже в захудалой деревушке Каллендер, проступавшей на карте совсем незаметной точкой, постояльцы гостиницы ощущают себя гостями графского замка: на лестницах и в коридорах лежат мягкие ковры, а в камине весело потрескивает огонь, здесь чрезвычайно необходимый, хотя снаружи и сияет солнце. Местные жители ходят с голыми коленками даже зимой, и теплой одеждой горцам, как я понял, служат пледы. Шотландцы искусно заворачиваются в свои клетчатые покровы, которые — пусть это и всего лишь небольшие тряпицы — есть даже у самых маленьких. За моим окном река огибала старинный курган, похожий на те, что во множестве имеются и у нас на родине, а через реку был перекинут увитый вечно-зеленым плющом арочный мост. Рядом же возвышались скалы. Горная страна открывалась нам. Мы двинулись в путь ранним утром, чтобы успеть к пароходу через озеро Лох-Катрин; с каждым шагом дорога становилась все более трудной, кругом расстился цветущий вереск, мы проезжали мимо одиноко стоящих сложенных из камня хижин. Озеро Лох-Катрин, длинное и узкое, с глубокими темными водами, раскинулось между коричнево-зелеными холмами, берега его заросли вереском и низким кустарниковым лесом, и, куда бы я ни бросал свой взгляд, впечатление у меня складывалось такое: если пустоши Ютландии похожи на море в штиль, то эта местность — на штормовое море! Горы в зеленом наряде кустарника и трав казались огромными застывшими волнами. Налево от нас посреди озера виднелся маленький, плотно заросший лесом остров Эллен; отсюда отплывала Дева озера на своей лодке, этот остров прославил своим романом Вальтер Скотт.

На противоположной, самой дальней точке озера, где мы высадились на берег, располагалась бедная гостиница, по сути, постоялый двор, достаточно большое здание с длинным рядом стоящих одна подле другой коек; всего их было, наверное, с полусотни штук. Потолки в доме были низкие, пол устлан циновками, а в стенах были проделаны крохотные окошечки. Здесь, на этом постоялом дворе, более похожем на землянку, путешественники, прибывающие по озеру Лох-Ломонд из владений Красного Робина, отдыхают до следующего утра, чтобы продолжить далее путь пароходом по озеру Лох-Катрин. Мы не стали здесь задерживаться. Все пассажиры

отправились дальше, большая часть пешком, некоторые на лошадях. Хамбро раздобыл для своей жены и меня небольшую повозку, мы были слишком измучены, чтобы идти пешком, тем более что горные пустоши обещали нам немало препятствий. Настоящей дороги в обычном смысле этого слова далее не было, вместо нее пролегала тропа, по которой мы ехали, как могли, взбираясь на пригорки и спускаясь в низины, тряслись по камням и кочкам, ориентируясь по знакам, указующим, что здесь когда-нибудь будет проложена дорога. Кучер шел рядом с лошастью; тропа резко петляла; мы то стремительно спускались вниз, то медленно ползли вверх. Темп нашего путешествия поэтому был весьма своеобразен. По пути мы не видели ни одного дома, не встретили ни единого человека, нас окружали одни только туманные и неподвижные темные горы — однообразная картина! Первое и единственное живое существо, попавшееся нам по дороге после того, как мы проделали уже несколько миль, был зябко кутавшийся в серый плед охранявший своих овец пастух. Все вокруг было недвижимо. Наконец сквозь туман проступил Бен-Ломонд, высочайший из здешних гор, а через некоторое время внизу показалось озеро Лох-Ломонд. Путь к нему, хотя тропа и стала больше походить на дорогу, выглядел таким крутым, что спускаться вниз в повозке было бы самоубийственно, поэтому мы оставили ее наверху, а сами преодолели спуск пешком, найдя в конце его совсем неплохую гостиницу, в которой, дожидаясь прибытия парохода, скопилось много людей. Интересно, что первый, кого я встретил, вступив на борт, был мой соотечественник, описавший геологическое строение острова Мён, — Р.Пугтор. Все здесь закутались в пледы. Так, в дождь и изморось, в туманную и ветреную непогоду, пароход добрался до северной оконечности озера, которая переходила там в устье маленькой речки. Пассажиры садились на пароход и с него сходили. Мы оказались в стране Красного Робина.

Страна пустошей и лесов,  
Страна гор и рек.

Так описывает ее «Песнь последнего менестреля». На обратном пути по озеру справа на берегу мы увидели пещеру Красного Робина, заваленную обломками огромных скал. Одна из лодок доставила меня туда в числе прочих, среди которых была одна молодая да-

ма, очень пристально на меня смотревшая. Спустя какое-то время ко мне подошел мужчина, сказавший, что молодая леди, как ей показалось, узнала меня по портрету: не я ли датский писатель Ханс Кристиан Андерсен? Я ответил утвердительно. Радостная и возбужденная, молодая дама кинулась ко мне, доверчиво, словно старому знакомому, пожала руку и искренно и просто сказала, что очень рада со мной познакомиться. Я попросил у нее один цветок из тех, что она насобираала в горах Красного Робина; и она выбрала для меня самые редкие и красивые. Отец дамы и вся семья окружили меня и стали приглашать к себе, я, однако, был вынужден отказаться, поскольку не мог и не хотел покинуть своих спутников. Хамбро тем временем немало позабавили славословия в мой адрес, ибо вскоре я оказался в центре внимания всех пассажиров — просто поразительно, как широк оказался круг моих друзей и почитателей! Какое все-таки удивительное чувство охватывает вас, когда, находясь далеко от дома, вы вдруг обнаруживаете, что такое количество людей принимает вас как родного.

Мы сошли на берег в Баллохе, проехали в экипаже мимо памятника Смоллетту, поставленного в его родной деревеньке, и к вечеру были в Дамбартоне, истинно шотландском городе на берегу Клайда. Ночью разразилась буря с резкими и мощными порывами ветра, казалось, совсем рядом бушует морской прибой: все вокруг трещало и скрипело, хлопали ставни, непрерывно мяукала большая кошка. Мы всю ночь не смыкали глаз. На рассвете все стихло, наступившая тишина казалась едва ли не мертвой, что наилучшим образом соответствовало новому дню — воскресенью, которое в Шотландии проводится по-особенному: в воскресенье здесь положено отдыхать, и, за одним исключением, особенно раздражающим строгих набожных шотландцев — поезда Лондон—Эдинбург, — в это время здесь не ходят даже поезда. По воскресеньям здесь все двери закрыты, люди сидят по домам и читают Библию или напиваются — так, во всяком случае, мне говорили.

Но сидеть весь день дома — это не по мне. К тому же я еще не видел города и предложил сходить по нему погулять, на что мне было указано, что делать этого не следует, ибо это вызовет раздражение. Ближе к вечеру мы все же отправились на прогулку за город, однако, проходя по улице, среди гробовой тишины чуть ли не спи-

ной ощущали неприязненные взгляды — за нами следили из окон. В результате вскоре мы предпочли вернуться. Один молодой француз, с которым я разговорился, рассказал мне, как недавно он с двумя англичанами отправился в воскресенье за город на рыбалку. Мимо проходил пожилой господин, и он громко и зло осудил их «безбожное» поведение в святой день. Развлекаться, вместо того чтобы сидеть за Библией! Пусть хотя бы не смущают и не вводят в соблазн других! По моему же мнению, подобная воскресная набожность далеко не у всех искренна. Я уважаю набожность, идущую от души, но, как унаследованная привычка и правило, она либо маска, либо подает повод к ханжеству!

Вместе с Хамбро я зашел в одну маленькую книжную лавку, чтобы купить книги и карту местности. «У вас есть портрет Ханса Кристиана Андерсена?» — в шутку поинтересовался Хамбро. «Да! — ответил продавец и добавил: — Писатель должен быть сейчас в Шотландии». — «И вы бы его узнали?» Продавец взглянул на Хамбро, достал мой портрет, внимательно посмотрел на него, потом опять на Хамбро и сказал: «Да это же вы!» Вот насколько велико было сходство! Но мне не позволили остаться неузнанным, и когда этот добрый человек из Дамбартона узнал, что писатель — я, он, не помня себя от радости, испросил у меня позволения позвать жену и детей, чтобы они посмотрели на меня и со мной поговорили. Те пришли, совершенно счастливые от того, что меня видят, и я пожал им всем руки. Это было лишним подтверждением того, что я или, во всяком случае, мое имя действительно известны в Шотландии. «Дома в это не поверит никто, — сказал я Хамбро и добавил: — Ну, да и ладно, все равно я не заслуживаю такой чести!» Я расчувствовался и, как всегда, когда мой поэтический талант хвалят больше, чем он того заслуживает, прослезился. Все, что со мною происходит, превосходит самые дерзкие мои юношеские мечты и ожидания; часто мне самому кажется, что настоящее — это всего лишь сон, тщеславный сон, который я, когда проснусь, не осмелюсь пересказать даже друзьям.

В Дамбартоне я распрощался с Хамбро, его женой и детьми, они поехали на приморский курорт, я же на пароходе отправился по Клайду в Глазго. Прощание настроило меня на печальный лад. Все время, проведенное мной в Шотландии, я жил рядом с этими милы-

ми мне людьми. Хамбро был для меня заботливым братом. В его компании я имел все, что, по его мнению, меня могло бы обрадовать; он угадывал наперед мои желания, а его замечательная жена, само воплощение искренности и духовности, относилась ко мне с редким пониманием; их непоседливые и озорные дети также любили меня.

Более я никогда их не видел. Мать семейства я, наверное, встречу только у Господа. Она покинула ради Его царства своих родных на земле, и мои воспоминания возносятся к ней с благодарным чувством. Лишь одно служит утешением: дорогие и близкие нам люди живут не только на земле — они ждут нас на небесах.

Прежде чем покинуть Дамбартон, мне пришлось выдержать внутреннюю борьбу: возвращаться через Лондон домой или продолжить путешествие по Шотландии и продвинуться еще дальше на север, к озеру Лох-Лагган, где находились в это время королева Виктория и принц Альберт. Они, как следовало из направленного мне письма, милостиво изъявили желание увидеться со мною.

Получению этого письма предшествовали некоторые события. Когда в конце моего пребывания в Лондоне, уже измученный и измотанный напряженной жизнью светского общества, я получил любезное приглашение посетить королеву и принца в их резиденции на острове Уайт, я не нашел в себе сил отправиться туда и им представиться. В высшей степени польщенный их необычной милостью, я в равной же мере страдал от невозможности из-за состояния своего здоровья принять ее. Я обратился тогда к нашему посланнику графу Ревентлову, и он, знавший тогдашнее мое нервное и болезненное состояние, посоветовал написать об этом в письме Их Величествам. Когда я отправлюсь в шотландские горы, отдохну там и немного переvedу дух, в случае, если я окажусь там поблизости от королевы в добром здравии и самочувствии, мне следовало попробовать испросить у нее аудиенции. Уже будучи в Шотландии, я получил частное письмо от одного из вельмож двора, в котором сообщалось, что Их Величества весьма ко мне расположены и, если мне доведется посетить Лох-Лагган, Ее Величество примет меня.

Пребывание в Шотландии не стало тем отдохновением, на которое я рассчитывал, и состояние моего здоровья после трехнедельного путешествия не улучшилось, к тому же знающие люди сообщили, что на расстоянии в несколько миль от королевской резиденции



в Лох-Лаггане нет гостиниц, да и явиться ко двору я должен был непременно со слугой, то есть продемонстрировать, что я гораздо более богат, чем то позволяла мне моя дорожная касса. Писать же королю Кристиану VIII, который столь великодушно предложил мне свою помощь, я тоже не мог, поскольку устно уже отказался принять ее; к тому же, прежде чем я получил бы ответ, прошли бы недели. Я мучительно размышлял, как же мне поступить, и решение далось мне нелегко! В ответном письме моему благожелательному корреспонденту я честно сообщил обо всех этих обстоятельствах, а также о своем желании возвратиться домой. Принятое таким образом решение вынудило меня отказаться от приглашений многих знатных и богатых шотландцев. К великому сожалению, мне так и не удалось побывать в Абботсфорде, куда я имел рекомендательные письма от зятя Вальтера Скотта Локхарта. В Лондоне он радушно принимал меня; дочь Локхарта, любимица бабушки, немало рассказывала мне о старике; вместе с ней мы осмотрели оружие и другие вещи, принадлежавшие великому писателю. Меня поразило его великолепный портрет, с которого он, изображенный сидящим со своей собакой Майдой, как живой, смотрел на меня. От мисс Локхарт я получил автограф того, кого в свое время называли «Великим Инкогнито». И все же, как ни прискорбно, от посещения Абботсфорда и Лох-Лагган мне пришлось отказаться и отправиться обратно домой — сперва на поезде от Глазго до Эдинбурга.

Об одном эпизоде, самом по себе весьма незначительном, но для меня послужившем еще одним подтверждением благоволения ко мне судьбы, я все же расскажу. Во время последней поездки в Неаполь я купил там простую пальмовую тросточку, которая сопровождала меня в нескольких путешествиях, в том числе и в Шотландию. Когда я с семьей Хамбро ехал по пустоши, направляясь от озера Лох-Катрин к Лох-Ломонду, один из мальчиков играл ею и в тот момент, когда мы увидели гору Бен-Ломонд, поднял трость в воздух и воскликнул: «Пальма, видишь ли ты самую высокую гору Шотландии? Видишь ли ты это великое озеро?» — и продолжал в том же духе. Я пообещал мальчику, что, когда тросточка вернется со мной в Неаполь, она расскажет своим подругам-пальмам о стране туманов, в которой обитают духи Оссиана, о земле, где в чести красный цветок чертополоха, красующийся в гербе страны. Паро-

ход прибыл ранее, чем мы ожидали, и нас спешно попросили взойти на борт. «Где моя тросточка?» — заволновался я. Оказалось, что ее забыли в гостинице. Поскольку судно, доставив нас на северный берег озера, возвращалось обратно, я попросил Пугорда, который как раз отправлялся с ним, захватить мою трость с собой в Данию. Я приехал в Эдинбург и утром, когда стоял на вокзале, дожидаясь отправления в Лондон, увидел, как за несколько минут до отхода нашего поезда на станцию прибыл другой состав — из Глазго. С него спрыгнул проводник, подошел ко мне и протянул мне мою пальмовую трость. Улыбаясь, проводник сказал: «Она прекрасно путешествует и в одиночестве!» К трости была прикреплена записка: «Передать датскому писателю Хансу Кристиану Андерсену!» Представьте себе, сколь великую обязательность и заботливость требовалось проявить, чтобы трость, переходя из рук в руки, добралась наконец до своего хозяина, путешествуя сначала на пароходе по озеру Лох-Ломонд, потом с водителем омнибуса, затем снова на пароходе и, наконец, на поезде — и все это при наличии столь туманного адресата. Она попала мне в руки только потому, что дело происходило в Шотландии. Я чувствую, что просто обязан сочинить после этого сказку о трости, и как было бы хорошо, если бы она вышла у меня столь удачной, как путешествие самой трости!

Мы ехали на юг через Ньюкасл и Йорк. Я встретил в вагоне английского писателя Хука с женой, они знали меня и рассказали, что сейчас во всех газетах Шотландии только и пишут, что обо мне и о моем визите к королеве, которого в действительности вовсе и не было. Однако газеты обо всем знали лучше — я видел потом одну из них, в которой описывалось, как я читал вслух королеве свои сказки. Естественно, в статье не было ни слова правды. На одной из станций я купил последний номер «Панча»; в нем также писали обо мне. Это была небольшая заметка, автор которой негодовал по поводу того, что я, иностранец, зарубежный литератор, удостоился приглашения королевы — чести, которой не заслужил еще ни один английский писатель! Это едкое замечание вкупе с описанием визита, который так и не состоялся, немало огорчило меня. Спутники поспешили меня утешить, говоря о заметке в юмористическом журнале «Панч», что «попасть в этот журнал — верное свидетельство популярности. Немало нашлось бы англичан, готовых заплатить

изрядную сумму, лишь бы о них напечатали на его страницах!». Тем не менее я все же предпочел бы быть от этой чести избавленным. Расстроенный и подавленный подобными отзывами и сопутствующей скандальной славой, я прибыл в Лондон совершенно больным. Граф Ревентлов обещал мне при случае обязательно замолвить за меня словечко перед благородной королевой и принцем Альбертом.

Я решил остаться в Лондоне еще на несколько дней, ведь ничего, кроме «светской жизни» и немногих выдающихся деятелей этой страны, я здесь еще не видел. Галереи, музеи и все прочие достопримечательности оставались для меня неизвестными, у меня не было времени даже на то, чтобы осмотреть Туннель. Как-то утром я все же решил посетить его. Добраться до места мне посоветовали на одном из небольших пароходов, курсировавших вверх и вниз по Темзе, но как раз тогда, когда я наконец собрался отправиться в путь, здоровье мое внезапно настолько ухудшилось, что я решил отложить экскурсию и тем самым, как знать, быть может, спас себе жизнь, потому что именно в тот день и час, когда я, предположительно, должен был находиться на борту, одно из таких суденышек под названием «Крикет» взорвалось вместе со всеми 100 пассажирами, находившимися на нем. Слух о несчастье мгновенно облетел Лондон, и хотя, конечно же, я не обязательно попал бы именно на «Крикет», возможность да и сама вероятность несчастного поворота судьбы были так близки, что я вознес торжественную и благоговейную молитву Господу с благодарностью Ему за посланное мне недомогание, которое заставило меня отказаться от этой поездки.

Весь высший свет в это время покинул Лондон, Опера закрылась, большинство моих друзей отправились на курорты или на континент. Я затосковал по Дании, по дорогим моему сердцу людям, но еще до моего отъезда из Англии меня пригласил провести несколько дней у себя в Севеноксе мой английский издатель Ричард Бентли. Севенокс, маленький городок рядом со знаменитым парком Кноул, находится совсем неподалеку от железной дороги, идущей к Каналу, таким образом, сей приятный визит оказался еще и удобным — я наносил его, можно сказать, по дороге домой.

Я уже и ранее бывал в Севеноксе, крохотном игрушечном городке. На этот раз я добрался по железной дороге до Танбриджа, где меня уже ожидал экипаж Бентли. По дороге нас окружали картины самой

настоящей датской природы: пространства зеленых полей разнообразили невысокие холмы, на которых росли одиночные старые деревья, придававшие ландшафту вид парка, — отличие составляли лишь разделявшие поля деревянные резные изгороди или железные решетки.

Дом Бентли произвел на меня самое благоприятное впечатление: комфортные и богато убранные комнаты, розы и вечнозеленые растения в саду, а также прекрасный вид на расположенный неподалеку знаменитый Кноул-парк со старым замком, принадлежащим эрлу Амхорсту. Один из прежних обладателей замка был поэтом, в честь него один из его покоев назвали Залом поэтов; в нем на самом видном месте висит портрет самого поэта — старого благородного господина в полный рост; остальные стены также украшены портретами знаменитых писателей, составляющих ему компанию.

По соседству с домом Бентли располагался магазинчик, в точности напоминавший старую антикварную лавку, какую описывает Диккенс в «Часах мастера Хамфри». Среди хозяев дома, близких моему сердцу милых людей, день пролетел, как праздник. Мне понравился староанглийский семейный уклад, понятие которого включает в себя все те удобства и уют, какие только могут доставить богатство и хваленая английская вежливость. Из многих записей, которые я сделал здесь в альбомах, наилучшим образом выражает владевшее мною тогда настроение стихотворение, которое я посвятил самому Бентли.

Страной Шекспира с детства грезил я...  
В пути был страх, сомнения, истома,  
Но здесь земля — луга, леса, поля, —  
Как в Дании. Я оказался дома.

И пусть я к звукам речи не привык,  
Зато сердце понятен мне язык, —  
Обыденность под солнцем Альбиона  
Вдруг расцвела, как посох Аарона.

Как бы ни нуждался я в отдыхе и покое после столь напряженного путешествия, какое выпало мне на долю в Англии и Шотландии, описанное время вспоминается мною как самая солнечная пора жизни, когда мне довелось в полной мере вкушать мед почестей и признания. Признаться, в конце концов все это даже начало меня

утомлять; тем не менее я с грустью покидал людей, подаривших мне столько тепла и радости, и в особенности того человека, которого искренне полюбил и с которым расставался, как впоследствии оказалось, на долгие годы, а именно Чарлза Диккенса. После нашего знакомства, состоявшегося в салоне у леди Блессингтон, он несколько раз приходил ко мне в гостиницу, но меня не заставлял. Более в Лондоне мы не виделись, я лишь получил там от него несколько писем, и он сам принес ко мне в гостиницу все свои книги — отличное иллюстрированное издание с посвящением в начале каждого тома: *Хансу Кристиану Андерсену от друга и поклонника его таланта Чарлза Диккенса.*

Я знал, что он с женой и детьми отдыхает, принимая морские ванны, где-то на побережье Канала, но, где именно они останавливались, никто точно сказать не мог. Домой я ехал через Рамсгит и Остенде. В надежде, что письмо найдет своего адресата, я написал Диккенсу, указав день и час, когда буду в Рамсгите; таким образом, он мог оставить адрес своего пребывания в гостинице, где я должен был остановиться. Я сообщал ему в письме, что, если он живет не очень далеко от тамошних мест, я с удовольствием навещу его, чтобы повидаться еще раз. В гостинице «Ройел Оукс» меня действительно ожидало письмо от Диккенса, он жил примерно в одной датской миле оттуда, в Бродстере; они с женой ожидали меня там к обеду. Я взял экипаж и помчался в этот маленький городок, расположенный на самом берегу моря. Семейство Диккенсов снимало небольшой, но приятный и аккуратный домик. Хозяин с женой встретили меня очень радушно, и мне у них до того понравилось, что я долгое время не замечал, какой прекрасный вид открывается из столовой, где мы сидели: окна комнаты выходили прямо на Канал, волны открытого моря подкатывались почти к самым стенам. Пока мы ели, начался отлив, вода отступила удивительно быстро, обнажив большую отмель, в песках которой, наверное, покоятся кости многих погибших здесь моряков; вскоре зажегся и маяк. Мы говорили о Дании и датской литературе, о Германии и языке этой страны; Диккенс собирался учить его. Неожиданно к дому подошел шарманщик-итальянец, и остаток обеда прошел под аккомпанемент его инструмента. Диккенс заговорил с ним по-итальянски, и при первых же звуках родной речи лицо музыканта засияло от радости.

После обеда в столовую пришли дети. «У нас их хватает», — сказал Диккенс. Их и в самом деле было ни больше ни меньше, как целых пятеро, да еще шестого не было дома. Дети исцеловали меня, а самый маленький поцеловал себя в ладошку, а потом протянул ее мне. К кофе явилась молодая дама, как сказал Диккенс, одна из моих поклонниц; он обещал пригласить ее сразу же, как только я приеду. День клонился к вечеру. Миссис Диккенс была примерно одного возраста с мужем, чуть полноватая; милое и искреннее выражение ее лица сразу же пробуждало к ней доверие. Она восторгалась Йенни Линд и мечтала когда-нибудь заполучить ее автограф, хоть и понимала, как это будет трудно. К счастью, у меня сохранилась записка от Йенни Линд, в которой она приветствовала мое появление в Лондоне и сообщала о своем местожительстве, и я подарил ее миссис Диккенс. Мы расстались поздно вечером, Диккенс обещал писать мне в Данию.

Но мы встретились до моего отъезда еще один раз. Диккенс удивил меня: он приехал в Рамсгит на следующее утро, появившись на пирсе в тот момент, когда я уже собирался взойти на борт парохода. «Мне захотелось еще раз пожелать вам счастья», — сказал он, поднялся со мной на пароход и оставался на нем, пока колокол не подал сигнал к отплытию. Мы пожали друг другу руки. Диккенс ласково заглянул мне в глаза своим пронизательным взглядом, а когда пароход отходил, встал на самый край смотровой площадки маяка, такой энергичный, моложавый и прекрасный! Он махал мне шляпой. Диккенс был последним, кто посылал мне привет с милого побережья Англии.

Я сошел на берег в Остенде и сразу же увидел на причале короля Бельгии с супругой, они были первыми, кого я приветствовал, вернувшись на континент, и кто доброжелательно ответил на мое приветствие; никого из знакомых у меня здесь не было, а об этих двоих я по крайней мере знал, кто они. В тот же день я отправился по железной дороге в Гент. Утром в Генте, когда я на вокзале ожидал поезда, следующего на Кёльн, ко мне подошли несколько пассажиров и познакомились со мной, сказав, что узнали меня по портрету. Вскоре на перрон вышла английская семья, от нее отделилась дама, приблизилась ко мне, и сказала, что она писательница и уже встречала меня на званых вечерах в Лондоне, но меня тогда окру-

жало так много народа, что на просьбу представить ее граф Ревентлов отвечал: «Вы же видите, что это невозможно». Я рассмеялся. Действительно, заметил я, тогда это было невозможно, ибо я был в большой моде, однако теперь я в полном ее распоряжении. Дама вела себя искренне и непринужденно и превозносила мою счастливую звезду — ведь я так заменит! «Ах, это такая малость! — сказал я и добавил: — Да и долго ли это продлится! Впрочем, я приемлю славу с удовольствием, хоть и не без опаски: вознестись нетрудно — сложнее оставаться на высоте!» Я был так благодарен, так преисполнен счастья; по дороге через Германию, куда долетели слухи об оказанном мне в Англии торжественном приеме, повсюду меня встречали знаки приязни и уважения. Но вот в Гамбурге я встретил соотечественников и соотечественниц.

«Боже мой! Андерсен! Вы ли это? Нет, вам обязательно надо видеть, как уморительно высмеял «Корсар» ваше пребывание в Англии. Вы нарисованы там в лавровом венке и с мешками денег! Боже, как смешно!»

Спустя несколько часов по приезде в Копенгаген я стоял у окна своей комнаты. Мимо проходили два опрятно одетых господина, они увидели меня, остановились, засмеялись, и один, указав на меня рукой, сказал громко, чтобы я мог слышать каждое слово:

— Смотри-ка, вот и наш знаменитый заграничный орангутанг!

О, как грубо и зло! Это оскорбление уязвило меня в самое сердце — мне его вовек не забыть!

Были, правда, и благожелатели. Многих радовали почести, коих удостоился я — а в моем лице и вся датская нация — в трудолюбивой Голландии и могучей Англии. Один из немолодых наших писателей дружески протянул мне руку и сердечно сказал: «Я, признаюсь, не читал вас прежде, но теперь обязательно это сделаю. Люди судили о вас презрительно и зло, но в вас есть — не может не быть — нечто большее, чем способны оценить наши соотечественники. Если бы это было не так, то в Англии бы вы не встретили подобного приема! Скажу вам откровенно, я совершенно переменяю свое мнение о вас!»

Совсем в ином ключе звучал рассказ одного из моих добрых друзей. Он послал редактору крупнейшей нашей газеты несколько английских газет с описаниями почестей, которые выпали на мою до-

лю в Лондоне, и с одной особенно хвалебной рецензией на английский перевод «Сказки моей жизни без вымысла». Редактор отказался взять английские материалы, сказав: «Люди подумают, что там, в Англии, Андерсена просто разыграли!» Мое признание казалось ему невероятным, и он был уверен, что то же самое посчитают другие — мои соотечественники.

Одна газета написала, что деньги на поездку мне дало государство и что разъезжаю я ежегодно. Я рассказал королю Кристиану VIII о распространяемых слухах.

— Вы поступили так, как поступают немногие, — сказал он, — отказавшись от моего искреннего предложения! К вам несправедливы у нас на родине, ибо совсем вас не знают!

Первую же книжку, которую я написал после возвращения домой, небольшую тетрадку «Сказок», я послал в Англию, и она вышла там к Рождеству как «Рождественский подарок моим английским друзьям» со следующим посвящением:

*«Чарлзу Диккенсу»*

Я снова сижу в своей тихой комнатке у нас на родине, но душой и мыслями до сих пор каждодневно уношусь в милую Англию, где всего несколько месяцев назад друзья превратили для меня действительность в прекрасную сказку.

Я работаю сейчас над большой вещью, но по мере работы, как цветочки в большом лесу, вдруг появились на свет эти пять небольших историй. И я решил, что не могу не послать в Англию в качестве подарка к Рождеству те первоцветы, что выросли в моем саду поэта. Я приношу этот подарок Вам, мой дорогой и благородный друг Чарлз Диккенс, тому, кого я с самого сначала полюбил за его произведения и к кому после нашего личного знакомства привязался искренне и от всего сердца. Вы последний, кто пожал мне руку на английском берегу и передал мне прощальный привет от старой Англии. Вполне естественно поэтому с моей стороны послать Вам из Дании свой ответный привет — высказанный со всей искренностью, на которую способно преданное Вам сердце.

Ханс Кристиан Андерсен.  
Копенгаген, 6 декабря 1847 г.».



Эта книжка была принята особенно хорошо, и хвалили ее в рецензиях чрезвычайно, хотя поистине солнечным лучом осветило мою душу и сердце первое полученное от Диккенса письмо, в котором он приветствовал и благодарил меня. Душевностью и доброю дышит каждая строчка его письма, получив которое, я почувствовал себя богачом. Я уже и прежде раскрывал перед читателем свои сокровища, так почему же не показать и это! Диккенс не истолкует моего шага неверно.

«Тысяча благодарностей, мой дорогой Андерсен, за Ваше любезное и высоко ценимое мною упоминание обо мне в рождественской книжке. Я весьма горжусь им и чувствую себя крайне польщенным. Не могу сказать Вам, как высоко я ставлю столь сердечный знак признания со стороны человека, наделенного Вашим гением.

Ваша книга осчастливила мой рождественский очаг, сделав его светлее. Мы все от нее в восторге. Ваши маленький мальчик, старик и оловянный солдатик стали моими любимцами. Раз за разом я перечитывал эту сказку с невыразимым удовольствием.

Несколько дней назад я побывал в Эдинбурге, где виделся с некоторыми из Ваших друзей, которые отзываются о Вас с большой теплотой. Так приезжайте же в Англию снова — и поскорее! Впрочем, какое бы решение Вы ни приняли, только не прекращайте писать! Мысль, что мы можем потерять хотя бы одну из Ваших идей, поистине невыносима. Они слишком истинны и прекрасны, чтобы быть достоянием только одного человека.

Мы уже давно вернулись с моря, где я попрощался с Вами, и живем теперь снова в своем доме. Жена просит, чтобы я передал Вам от нее самый теплый привет. То же самое — ее сестра, а также и дети. И, поскольку все мы, как выяснилось, исполнены самых теплых по отношению и Вам чувств, позвольте передать Вам их вместе с приветом от Вашего истинного друга и неизменного почитателя.

Чарлза Диккенса.  
Хансу Кристиану Андерсену».

В то же Рождество вышло одновременно на датском и немецком языках мое новое сочинение «Агасфер».

Несколько лет назад, когда идея его создания овладела мной, я обсудил ее с Эленшлегером.

— Что я слышал? — сказал он. — Говорят, вы пишете историческую драму на библейский сюжет! Не понимаю, зачем это вам?

Я изложил ему идею, которую уже описывал здесь выше.

— Но какая же форма вместит все это? — спросил он.

— Я использую их все, переходя от одной к другой, — лирику, эпос и драму, стихи и прозу!

— Но это невозможно! — энергично воскликнул великий поэт. — Я ведь тоже кое-что смыслю в творчестве! В литературе есть формы и границы, и их необходимо соблюдать! К примеру, дерево — это одно, а древесный уголь — нечто совсем иное. Что вы на это скажете?

— Сказать-то я бы сказал! — лукаво отвечал я, а маленький чертенок остроумия уже защекотал меня изнутри, раззадоривая, и воспротивиться ему я не мог. — Сказать-то я бы сказал, да, боюсь, вам мой ответ придется не по вкусу!

— Клянусь Богом, что не стану на вас обижаться! — пообещал он.

— Сошлюсь в ответ на ваши собственные слова: дерево — это одно, а древесный уголь — нечто совсем иное. Древесный уголь вы приводите здесь для сравнения. Но ведь с таким же успехом вы могли бы продолжить и сказать: сера — это одно, а селитра — нечто совсем иное. Однако всегда может найтись некто, кому придет на ум соединить воедино все три эти столь разные ингредиента, и тогда — он изобретает порох!

— Андерсен! Что такое я слышу — вы изобретаете порох! Я знаю, вы хороший человек, однако верно о вас говорят: слишком уж вы тщеславны!

— Увы, тщеславие — неперменный ингредиент нашего ремесла! — отвечал за меня разгулявшийся лукавый чертенок.

— Ремесла! Ремесла! — эхом повторил за мной мой дорогой великий поэт, который на этот раз совершенно меня не понял.

Когда наконец «Агасфер» вышел в свет и Эленшлегер прочитал его, он, следуя моей просьбе — ведь я хотел знать, не изменилось ли его первоначальное мнение о поэме, — прислал мне письмо, в котором благожелательно, но чистосердечно признавался, как мало понравилось ему мое новое произведение. Поскольку слова Эленшлегера наверняка будут интересны читателям не одного поколения и многие придерживаются относительно этой моей поэмы одного с ним мнения, я не хочу скрывать от публики его приговор.

«Мой дорогой Андерсен!

...Я всегда признавал и поощрял в Вас прекрасный талант оригинального сочинителя наивных и вдохновенных сказок, равно как и бытописателя жизни в новеллах и путевых записках. Радовали Вы меня и своим даром драматурга, сказавшимся, например, в «Мулате», хотя в этом случае Вы воспользовались уже готовым и поэтически обработанным материалом, так что достоинства пьесы — в основном, лирического характера. Несколько лет назад, когда Вы прочитали мне отрывки из задуманного вами произведения, я честно высказался, что подобный план и форма сочинения не по мне. Несмотря на это, Вы выглядели в высшей степени удивленными, когда при последнем нашем свидании услышали от меня, что я остался об этой книге того же мнения, с тем, правда, замечанием, что я еще недостаточно вчитался в нее. Я внимательно перечитал ее снова, но своего суждения не меняю. Книга произвела на меня неприятное и раздражающее впечатление. Вы должны простить меня за то, что говорю Вам это начистоту! Вы хотели, чтобы я высказал свое мнение, и я излагаю его Вам, поскольку не хочу прибегать к вежливым оговоркам. Насколько я разбираюсь в драматической композиции, Агасфер для драмы — неподходящий сюжет. По этой самой причине от него отказался Гёте. Сказочная легенда в духе барокко требует юмористического подхода. Башмачнику суждено остаться башмачником. Мы же имеем дело с башмачником, не желающим знаться со своими колodками, и при этом настолько заносчивым, что он не желает верить в то, чего понять не способен. Делая этого башмачника абстрактным понятием умозрительной поэзии, Вы тем самым лишаете его возможности стать предметом поэзии истинной и тем более драмы. Драма требует напряженного, полного и видимого действия, которое выражается и проявляется в характерах. Но этого в Вашей пьесе нет. На протяжении всего действия Агасфер выступает у Вас как пасующий перед трудностями, рефлектирующий созерцатель. Другие персонажи действуют столь же мало, и вся поэма состоит из лирических афоризмов, фрагментов, иногда рассказов, весьма условно связанных между собой. Мне кажется, что она при всей своей претенциозности никакими особыми достижениями похвастаться не может. Ваша поэма по своему содержанию замахивается чуть ли не на всю мировую историю от рождения Христа и до наших дней. Того, кто ос-

новательно и усердно изучал все ее знаменательные эпизоды и великих личностей, подобного рода лирические афоризмы, изрекаемыми всеми этими гномами, ласточками, соловьями, русалками и т.д., могут лишь разочаровать. Разумеется, в Вашем сочинении местами встречаются прекрасные лирические отступления и описания, примером чего могут служить сцены с гладиаторами, гуннами и дикарями. Тем не менее этого недостаточно. Таковы мои суждения по поводу того, что касается формы и содержания; в поэтическом же отношении произведению также не хватает истинной глубины и торжественности, неотъемлемых от всего великого и возвышенного. В целом оно представляется мне описанием сна. Ваша естественная склонность к созданию сказок проявляется и в этом сочинении, ибо все события в поэме выступают почти как сказочные видения. Гений истории не вносит в Ваше произведение своего основного качества — великого разнообразия, да и работа мысли в нем не особо видна, а образы не новы и недостаточно оригинальны. Ничто в поэме не трогает нашу душу, более того, наши симпатии даже оказываются на стороне Вараввы. Действительно, преступник, по сути, вознаграждается и прославляется, поскольку мы не видим его в действии и не наблюдаем за развитием характера, нам лишь рассказывают о том, что он убил старую женщину, после чего на небесах происходят ликование и радость по поводу его обращения.

Вот таково мое мнение! Возможно, я и ошибаюсь, однако говорю абсолютно искренне, в соответствии с моими убеждениями, кои не могу менять из вежливости или лести!

Поэтому простите меня, если я нечаянно Вас обидел; уверяю Вас в совершеннейшем своем почтении к Вам, в ком я признаю и уважаю гениального и оригинального писателя, работающего в несколько иных направлениях.

Всегда преданный Вам  
А.Эленшлегер.  
23 декабря 1847».

Письмо содержит много правильных суждений о моем сочинении, хотя я оцениваю и рассматриваю его иначе, чем наш великий благородный поэт. Я никогда не называл «Агасфера» драматической поэмой, поэтому его нельзя рассматривать в ряду произведений этого жанра; в нем нет и не может быть драматической интриги, как не мо-

жет быть и присущей поэме красочности в обрисовке характеров. «Агасфер» — это сочинение, которое благодаря многообразию форм должно пояснять и подчеркивать следующую идею: человечество отвергло божественное начало, однако вопреки этому движется вперед к совершенству и знанию. Я хотел показать это кратко, ясно и образно, используя при этом самые разнообразные формы; пики истории в этом смысле служили мне лишь необходимой декорацией.

Сопоставлять «Агасфера» с драмой Скриба или же эпосом Мильтона также неправильно; главное в этом сочинении — фигура автора, зримо раскрывающая идею в избранной мною форме. Именно за счет этого афористические фрагменты, о которых пишет Эленшлегер, подобно кусочкам мозаики складываются в единое целое, образуют общую картину.

О любом здании можно сказать, что оно состоит из отдельных, лежащих один поверх другого камней. Каждый из них можно рассматривать по отдельности, но тогда не увидать созданное их соединением единое целое.

В последние годы, однако, звучит все больше голосов, созвучных с надеждами, которые я возлагал и отчасти все еще возлагаю на это мое сочинение, в любом случае знаменующее переломный момент в моем развитии как писателя.

Первым и, пожалуй, единственным, кому произведение сразу же и безоговорочно понравилось, был историк Людвиг Мёллер; он считал что именно «Агасфер» и «Сказки» определили мое место в датской литературе.

За рубежом это мое сочинение также пользовалось успехом. Так, например, в немецком сборнике под заглавием «Вернисаж мировой литературы», представляющем образцы лирической и драматической поэзии всех стран с древних времен по настоящее время, от индийской драмы, еврейских псалмов и народных сказителей Аравии до трубадуров и поэтов наших дней, в раздел «Скандинавия» из произведений датских писателей, помимо сцен из «Хокона Ярла», «Дочери короля Рене» и «Тиберия», включены также сцены из «Агасфера».

Замечу, впрочем, что именно сейчас, когда я дописываю эти листы, то есть через 8 лет после выхода «Агасфера» в свет, в благожелательной основательной рецензии на мое «Собрание сочинений», опубликованной в «Датском ежемесячном журнале», ему уде-

ляется большее внимание, чем прежде. В «Агасфере» наконец разглядели то, что вижу я, — новое начало, определившее развитие моего творчества в будущем.

## XIV

Наступил 1848 год — год-вулкан, кровавая лава которого докатилась и до моей родины.

В первые же дни января заболел король Кристиан VIII. В последний раз я виделся с ним, когда меня запиской пригласили во дворец к чаю, попросив при этом почитать Его Величеству что-нибудь новое. Кроме меня, в покое присутствовали королева, фрейлина и один придворный. Король лежал на диване, но все же собрался с силами и ласково со мной поздоровался. Я прочитал ему несколько глав из еще не оконченного романа «Две баронессы» и две-три сказки. Слушая их, король, казалось, чуть приободрился, он смеялся и оживленно, с чувством разговаривал с нами. Когда я уходил, он приветливо кивнул мне со своего ложа; последними словами, которые я слышал из его уст, были: «Мы скоро снова увидимся». Однако этого нам было не суждено. Болезнь короля усилилась. Я волновался и ежедневно ходил к замку Амалиенбург справиться о здоровье короля; скоро стало известно точно, что дни его сочтены. В отчаянии я пришел с этим известием к Эленшлегеру, который, к моему удивлению, даже не знал, что король при смерти; при виде моего отчаяния он и сам разрыдался; он всем сердцем своим любил монарха. Утром я встретил Эленшлегера на лестнице Амалиенборга; опираясь на руку Кристиани, он только что покинул приемную. Бледный Эленшлегер не сказал мне ни слова и, проходя мимо, пожал руку. В глазах его стояли слезы. Состояние короля было безнадежно.

Двадцатого января я приходил туда несколько раз. Помню, как вечером, невзирая на снег, я долго стоял там и смотрел на окна, за которыми лежал и умирал мой король. В четверть одиннадцатого он скончался.

На следующее утро народу, собравшемуся у дворца, объявили, что король Кристиан VIII умер! Я пошел домой и там с глубокой и искренней печалью оплакал того, кем несказанно дорожил и кого теперь потерял.

Из самой глубины моего объятго горем сердца изверглось несколько посвященных ему строф. Одну из строк этого стихотворения:

Ты помнил и ценил талант, —

позже не раз ставили мне в вину — я будто бы указывал в ней на самого себя. Весь Копенгаген был объят движением, наступала эпоха нового порядка. Двадцать восьмого января была провозглашена Конституция.

Гроб с телом Кристиана VIII выставили для прощания. Когда я подошел в последний раз взглянуть на короля, сердце пронзило такое горе, что меня, совсем больного, пришлось отвести в соседнюю комнату.

Двадцать пятого февраля тело короля доставили в Роскилле. Я просидел весь день дома, слушая, как звонят колокола.

Вся Европа пришла в движение. В Париже разразилась революция, Луи Филипп с семьей покинул Францию. Могучее море восстания разлилось по городам Германии. К нам пока что доходили только тревожные вести, у нас еще царили мир и спокойствие. Мы дышали свободно и могли полностью отдаваться искусству, театру и всему прекрасному.

Однако спокойствию скоро пришел конец; волны европейского шторма докатились и до нас. В Гольштейне произошло восстание. Весть о нем мгновенно, как стрела молнии, облетела страну, и она сразу заволновалась.

В большом зале театра «Казино» собралось невообразимое множество людей, и на следующий день к королю Фредерику VII направились депутация. Я стоял тогда на Дворцовой площади и видел эту большую толпу. Очень скоро ответ короля и известие об отставке правительства распространились по городу.

Я был свидетелем того, как по-разному встречали события представители различных сословий. Толпы народа, выкрикивая лозунги и сопровождая свои шествия патриотическими песнопениями, двигались по улицам с утра и до позднего вечера. Никаких чрезвычайных происшествий во время таких шествий не происходило, но встречаться с этими ордами, состоящими сплошь из незнакомых, дотоле никогда не виденных мною лиц, было неприятно, создавалось ощущение, что на свет Божий появился совершенно иной, чуждый мне род людей. Понемногу, однако, к этой человеческой стихии

присоединялись сторонники дисциплины и порядка, они не дали массам свернуть на неверный путь. Комитет порядка даже меня привлек к содействию в поддержании дисциплины, что, в общем-то, было довольно нетрудно. Если в толпе начинали раздаваться выкрики, указывающие, что еще немного, и все могут свернуть на опасный путь, достаточно было лишь одному человеку повторить несколько раз: «Прямо!», как вся людская масса снова двигалась в правильном направлении. В театре собравшаяся публика даже сама исполняла патриотические песни под аккомпанемент оркестра. Раздавались призывы устроить иллюминацию, и как это ни комично, но люди, менее всего расположенные в пользу нового правительства, ставили на свои окна свечи из боязни, что в противном случае толпа разобьет в них стекла.

В Копенгаген прибыла депутация из Гольштейна. Это вызвало у населения города настолько сильное раздражение, что король выпустил специальную прокламацию: «Что касается безопасности посланцев Шлезвига и Гольштейна, мы всецело полагаемся на честь датского народа!»

Студенты поддержали короля. Обходя толпы, они призывали их к сдержанности. На улицах, по которым посланцы должны были проследовать к своему пароходу, выставили солдат, но народ все равно собирался в порту, поджидая депутатов. К счастью, их удалось вывести из дворца через черный ход к Каналу, а оттуда — к зданию таможни, где они незамеченными сели на пароход.

На суше и на море шла подготовка к войне. Каждый помогал, чем мог. Один из самых дельных наших чиновников явился ко мне домой и сказал, что было бы чрезвычайно полезно, если бы я через английскую прессу выступил в защиту нашего дела в стране, где меня читают и знают. Я тотчас же написал м-ру Джердану, редактору «Литературной газеты», и мое письмо, рисующее истинную картину настроений и положения в нашей стране, было сразу же напечатано.

«Копенгаген, тринадцатое апреля 1848 г.

Дорогой друг!

Я писал Вам всего несколько недель назад, однако с той поры произошло так много исторического масштаба событий, как будто минули долгие годы. Я никогда не занимался политикой — у поэта другая миссия, — но теперь, когда в движение пришли целые страны и вся-



кий вне зависимости от рода занятий постоянно кончиками пальцев ощущает сотрясающую их дрожь, говорить о ней, к несчастью, приходится. Вы знаете о том, что происходит сейчас в Дании: мы ведем войну, причем в войне этой с восторгом принимает участие весь датский народ; дворянин и крестьянин — все, как один, добровольно встанут в ряды воинов, сражающихся за правое дело. Вот об этом-то общем восторге, об этом едином патриотическом порыве, в котором всколыхнулась нынче вся датская нация, я и должен поведать Вам.

Ложный свет, в котором руководители шлезвиг-голландской партии выставляли нас в течение ряда лет в немецких газетах, натравливая на нас честный и трудолюбивый народ Германии, и подлая уловка, с помощью которой принц Норский захватил Рендсбург, объявив, что датский король несвободен в своих действиях и что он-де, принц, действует от имени короля, возмутили датчан. Народ поднялся в едином порыве, отринув во имя великого и благородного дела все мелочи повседневной жизни. Все пришло в движение, но не в хаотическое, а упорядоченное и сплоченное. От всех классов и сословий рекою потекли крупные денежные суммы, даже бедный подмастерье и простая служанка кладут на алтарь общего дела свой последний грош. Пронесся было слух, что армия испытывает недостаток в лошадях, и вот всего за несколько дней из городов и деревень их начали присылать в таком количестве, что военному министру пришлось специально заявить о полной укомплектованности войск лошадьми. Во всех семьях женщины щиплют корпию, а в старших классах школы мальчики изготавливают патроны. Большая часть из тех, кто способен носить оружие, проходят военную подготовку. Молодые графы и бароны вступают в армию простыми рядовыми. В любви к Отечеству и желании защитить его равны все датчане, а это, как Вы понимаете, укрепляет мужество солдат и воодушевляет их.

Среди добровольцев оказался даже сам сын наместника Норвегии, молодой человек, принадлежащий к одной из лучших семей страны. Он гостил этой зимой в Дании и, заразившись всеобщим воодушевлением послужить правому делу, захотел принять участие в военных действиях. Когда же он узнал, что как иностранца его принять в нашу армию не могут, он тут же купил в Дании по-

местье, получил датское гражданство и уже как наш соотечественник надел красный мундир датского рядового и записался в маршевый батальон, полный решимости, как и все, получать лишь солдатский паек да по двенадцать скиллингов в день и в полной мере разделить судьбу своих фронтовых товарищей. Его примеру следовали представители самых разных датских сословий; на войну с песнями и ликованием шли дворяне и студенты, богатые и бедные! Наш король, истинный датчанин душой и телом, сейчас находится при штаб-квартире датского войска, он полностью поглощен своим служением ратному делу. Лейб-гвардия находится с ним; часть ее состоит из голштинцев. Когда армия отправлялась в поход, им предложили остаться дома, чтобы не вынуждать сражаться против своих земляков, тем не менее все они, как один, решили остаться в войске и просили об этом как о милости, которая и была им оказана.

До сих пор и, надеюсь, в будущем Господь остается с нами. Наше войско победоносно продвигается вперед, взяты остров Альс а также города Фленсбург и Шлезвиг; мы стоим сейчас на голштинской границе и взяли в плен уже свыше тысячи человек. Большинство их отправлены сюда, в Копенгаген, преданные принцем Норским, который, обещав драться вместе с ними, не щадя жизни, бросил их в первом же сражении, когда датчане, ведя ружейный огонь, штыками, проложили себе путь во Фленсбург.

В наше время буря перемен прокатилась по многим странам. И все-таки одно останется в любой из них неизменным, и это — Господь, Господь Справедливый! Он — за Данию, которая лишь защищает свое право, оно и должно быть и будет признано, ибо истина — это всепобеждающая сила всех народов и наций.

«Нациям — их права, работающим и праведным — процветания!» Таков девиз всей Европы, или, во всяком случае, таким он должен быть; лишь это позволяет мне с оптимизмом смотреть в будущее. Немцы — честный и правдолюбивый народ, они поймут истинное положение вещей, и их непримиримое к нам отношение обязательно превратится в уважение и дружелюбие. Дай же Бог, чтобы это поскорее осуществилось! И тогда лик Господа просияет над всеми странами!

Ханс Кристиан Андерсен».

Это было одно из немногих писем из Дании, которые перепечатали едва ли не все зарубежные газеты.

В течение всей этой навязанной нам злосчастной войны я духовно страдал гораздо сильнее, чем многие. В большей степени, чем когда-либо, я чувствовал, как привязан к родине, насколько я датчанин — всем сердцем, всем моим существом. Я мог бы встать в ряды сражающихся и с радостью отдать жизнь за то, чтобы приблизить нашу победу и мир. Но в то же самое время во мне была жива мысль о доброй Германии, о признании моего таланта, которое я получил в этой стране, и о многих немцах, которых я любил и которым был благодарен. Я невыносимо страдал! Вот, наверное, почему многие озлобленные войной датчане, как бы интуитивно ощущая во мне эти чувства и мысли, изливали свой гнев и горечь именно против меня, что превосходило меру горечи, которую я мог перенести! Не буду приводить примеров. Я бы предпочел, чтобы все горькие слова того времени исчезли и раны, нанесенные родственными народами друг другу, поскорее затянулись. Единственным утешением и поддержкой служил мне тогда Х.К.Эрстед, уверявший меня, что рано или поздно настанут времена полного признания моего таланта.

И это же было время сплоченности и любви. Многие мои молодые друзья отправлялись на войну добровольцами. Назову среди них Вальдемара Дреусена и барона Хенрика Стампе. Происходившие события сильно волновали Эрстеда: в одной из газет он помещил три своих стихотворения: «Борьба», «Победа» и «Мир».

Мы знаем, что враг — он все же нам брат,  
Столетиями связанный с нами,  
Но в распре кровавой он сам виноват.  
Поднимем победное знамя!

Таков был основной аккорд.

Ранее надеть красный мундир солдата было шагом отчаяния, солдаты были чуть ли не париями. Ныне красный мундир стал знаком чести и уважения, и дамы в шелках и флере охотно шли под ручку с его обладателями. Одним из первых представителей высшего сословия, надевших солдатскую форму, был сын шведского наместника в Норвегии Лёвенскьёльд. Потом его примеру последовал юный, совсем еще недавно принявший первое причастие граф Адам Кнут. Его ранило

в ногу, и он потерял ее. Лёвенскъёльд пал на поле битвы, погиб и живописец Люндбю, хотя последний — от случайной, шальной пули; я слышал об этом от очевидца. Люндбю стоял в меланхолической позе, опершись на ружье; мимо него как раз в том месте, где стояла пирамида из других ружей, проходили крестьяне. Наверное, кто-то из них задел пирамиду, прогремел выстрел, и Люндбю рухнул на землю; пуля пробила ему нижнюю челюсть, вырвав губу и часть подбородка с росшей на нем бородой. Люндбю успел издать несколько слабых вдохов и скончался. Его завернули в знамя и предали земле.

Воодушевление молодых людей трогало меня до слез. Когда однажды я услышал шуточный рассказ о юных господах, прежде носивших лайковые перчатки, а теперь рывших окопы, держа лопаты голыми руками, покрытыми волдырями мозолей, я вскочил с места и от всего сердца воскликнул: «Я готов целовать эти руки!» Группы молодых людей отправлялись в поход почти ежедневно. Однажды, проводив таким образом одного своего юного друга, я пришел домой и написал песню, которая начиналась следующими словами:

Сердце не на месте, мне покоя нет!

Песня скоро оказалась у всех на устах. Наверное, она нашла отклик в сердце каждого.

«Зазвучал пасхальный колокол» — настал тот самый несчастный пасхальный день, когда вражеские войска в Шлезвиге рассеяли наши. Тяжелое горе обрушилось на страну, но мужества она не утратила, мы собрались с силами, еще теснее сомкнули наши ряды, и это проявлялось как в малом, так и в великом.

Пруссаки вошли в Ютландию, наши отступили на Альс. В середине мая я отправился на Фюн и обнаружил там, что весь Глоруп забит войсками, штаб-квартира которых расположилась в Оденсе. В Глорупе, кроме нескольких офицеров высокого ранга, квартировали еще сорок человек; за воротами имения генерал Хедеман проводил с ними учения.

Ко всем рядовым добровольцам старый граф относился, как к офицерам, и ежедневно усаживал их обедать за свой стол.

Большинству офицеров уже довелось участвовать в военных действиях, и они живо рассказывали о том, что им довелось испытать. Им не раз приходилось ночевать прямо под дождем и ветром

в какой-нибудь деревеньке, устроившись возле стены дома и подложив ранец под голову, или в какой-нибудь тесной каморке, где единственным ложем служил им высокий комод, обитый медными полосами, впивавшимися в тело, — устав до смерти, люди все равно спали, не замечая боли. Один молодой врач рассказывал, как однажды в походе по голой безлюдной пустоши ему пришлось приспособить под лазарет церковь. В ней зажгли все алтарные свечи, но рассеять полутьму так и не удалось. В это время издалека раздался сигнальный выстрел: приближался неприятель. Я живо представил себе эту ночную картину и словно сам пережил напряжение тех минут.

Пруссаки вторглись в глубь Ютландии. Они требовали выплаты контрибуции в пять миллионов. Скоро разнеслись слухи о новой предстоящей нам решительной битве.

Все наши помыслы и надежды обратились теперь к шведам, которые должны были прийти к нам на помощь. Их высадка ожидалась в Ньюборге; все готовились к праздничному приему.

В поместье Глоруп расположились шестнадцать шведских офицеров с денщиками и еще человек двадцать музыкантов из военного оркестра и унтер-офицеров. Среди последних были четверо, которых мобилизовал герцог Августенбургский из своего шведского поместья, точнее, поместье предоставило их в качестве рекрутов по приказу своего хозяина.

Принимали шведов с восторгом! Характерный и прекрасный пример тому — рвение, проявленное домоправительницей в Глорупе, старой г-жой Ибсен, устраивавшей солдат на постой. Немалое их число заставило добрую женщину поломать голову. Кто-то предложил: «Надо устроить им общую постель на гумне». — «Вы хотите заставить их спать на соломе?! — возмутилась она. — Нет уж, у всех будут нормальные постели! Раз они помогают нам, то и спать будут по-человечески!» И она задала работу столярам и плотникам, которые из досок и дверей срочно соорудили кровати, которые и расставили в 10—12 комнатах. Нашлись и одеяла, пусть грубоватые, и скоро в ее, как называла домоправительница, «казарме» засияли белые простыни.

Пребывание шведских солдат на Фюне, которому я был свидетелем в поместье Глоруп, описано мной в очерке, опубликованном в «Нордишер телеграф». Обобщенная картина, которую он дает, будет здесь как раз к месту.



Основоположник школы скандинавского романтизма,  
поэт А.Эленшлагер.  
*Портрет работы Й.Рода*

## ШВЕДЫ НА ОСТРОВЕ ФЮН В 1848 Г.

Я чувствую, что просто обязан хотя бы немного рассказать о шведах на Фюне! Их пребывание на острове принадлежит к самым светлым моим воспоминаниям о том лете. Я видел, как по-праздничному встречали их в деревушках, как энергично махали флагами, как светились радостью лица. Вдоль дорог, ведущих в глубь острова, на протяжении многих миль выстраивались толпы крестьян, молодых и старых. Все с надеждой спрашивали: «Ну, как там шведы, идут?» Их кормили и поили, бросали им цветы и пожимали руки. Шведы оказались прекрасными людьми и дисциплинированными солдатами. Весьма трогательную картину являли собой их обязательные утренние и вечерние молитвы, а также воскресная церковная служба. По старому военному обычаю, унаследованному со времен Густава Адольфа, службы устраивались прямо под открытым небом. По воскресеньям они проходили на территории старого поместья, в котором квартировали командир части с офицерами, а также весь военный оркестр.

Под громко звучащую музыку солдаты строились в просторном внутреннем дворе замка во главе со своими офицерами. Затем опять же под музыку начиналось пение псалмов. В какой-то момент на высоком каменном крыльце, перила которого были застланы коврами, появлялся священник. Я хорошо помню последнюю воскресную службу здесь. Она началась в серую ненастную погоду; священник заговорил об ангеле мира, которого Господь посылает на землю в виде нежного, животворящего лучика солнца. Не успел он произнести это, как из-за туч выглянуло солнце, озарившее своим сиянием блестящие каски солдат и их одухотворенные лица. Еще более торжественными выглядели утренние и вечерние молитвы. Роты выстраивались на проселочной дороге, унтер-офицеры читали короткую молитву, после чего все запевали псалом без всякого музыкального сопровождения. Когда псалом заканчивался, по рядам прокатывалось басистое «Боже, храни короля!». Я видел многих наших старых крестьян, стоявших у придорожных канав или за изгородами. Обнажив головы и молитвенно сложив руки, они молча участвовали в богослужении.

После ежедневных учений шведские солдаты, расквартированные на хуторах, усердно помогали хозяевам убирать в полях богатый урожай нынешнего года. Жизнь брала свое, все были при де-

ле. В поместье, где квартировали полковые музыканты, музыка звучала каждый день с обеда и до захода солнца. Липовые аллеи парка постепенно заполнялись народом, сходявшимся со всей округи; здесь царил ежедневный праздник. К вечеру из людской слышались звуки шведской скрипки и, ко всеобщему удовольствию, начинались танцы. Фюнский крестьянин и шведский солдат скоро научились понимать язык друг друга. О, как же приятно было видеть царящую здесь сердечность и то, как собравшиеся из всех сил стараются угодить друг к другу.

«Что же шведское войско не сражалось?» — быть может, спросит кто-то. Но не только удары меча имели для нас значение в тот момент. Взаимное уважение, дружба и понимание, установившиеся перед этим, в основном, в среде молодежи датских и шведских университетских городов, распространились теперь среди тысяч простых людей. В самом деле, что знал фюнский крестьянин или его шведский сосед об общности наших народов? Воспоминания о былой вражде еще жили в них. Теперь же соседние народы сплотились теснее, семя доброго понимания уже было посеяно среди них, а понимание — это ведь росток мира, и лишь он может считаться истинно благословенным. В крестьянских домах, в усадьбах священников, в дворянских поместьях при расставании были пролиты реки слез. Когда шведы грузились на корабль на пристани Ньюборга, отправляясь домой, под развевающимися шведскими и датскими флагами представители обеих наций дали друг другу немало обещаний о взаимных визитах в наступающем мирном году. Датчанин никогда не забудет шведа, биение сердца которого он слышал и ощущал, как свое собственное. Немало шведских деревень, отнюдь не отличающихся богатством, собирали деньги, лепту вдовы, в пользу своих датских братьев. Когда слухи о поражении датчан в Шлезвиге достигли Швеции, в одной из местных церквей происходило богослужение. Священник уже помолился за короля и отечество, и в этот момент со своего места поднялся старик крестьянин и сказал ему: «Отец, не помолитесь ли вы и за датчан тоже?» Из таких незначительных на первый взгляд поступков складываются черты, позволяющие прозревать в нас божественное начало.

Народы Скандинавии понимают, ценят и любят друг друга. Так пусть же этот дух единства и любви вечно осеняет наши страны!



Большую часть лета я провел в Глорупе, и гостил там также весной и осенью, став, таким образом, свидетелем прибытия туда шведов и их отъезда. На театре военных действий я не был, я все время оставался в поместье, куда ежедневно поступали раненные с поля битвы, а также не было недостатка в любопытных и родственниках, навещавших своих близких. Но и сюда долетали военные ветра, принося с собой подобно прекрасному аромату рассказы о поистине замечательных проявлениях человеческой природы; именно они занимали мои мысли. Я, например, слышал о старухе, стоявшей на дороге со своими внуками, когда по ней проходили наши войска. Бабушка посыпала их путь песком и цветами, восклицая вместе с малышами: «Господи, благослови датчан!» Слышал я также и о странном природном феномене: в Шлезвиге в саду у одного крестьянина выросли красные маки с белым крестом — точь-в-точь копии нашего национального флага. Один из моих друзей посетил Альс, а оттуда отправился в Дюббель, где все дома стояли в трещинах и проломах, изрешеченные попаданиями пушечных ядер и картечи. Тем не менее даже там на одном из домов сохранился символ мира — гнездо аиста со всеми его обитателями. Стрельба, огонь и дым не отпугнули родителей от птенцов, которые еще не научились летать.

В конце лета почта доставила мне из-за рубежа письмо, почерк на конверте которого ничего мне не говорил. Содержание послания меня сильно взволновало, пролив одновременно свет на то, как зачастую воспринимаются непосвященными происходящие у нас события. Послание исходило от высокопоставленного чиновника, подданного одной иностранной державы; он писал, что хотя никогда не встречался со мной и не имеет до меня никого касательства, но все же посчитал на основании прочитанных им моих произведений, в особенности «Сказки моей жизни без вымысла», что мне можно доверять. Однажды утром в их городе распространились слухи о том, что датчане напали на Киль и подожгли его. Вся городская молодежь, в том числе и его младший сын, в едином порыве поспешила на выручку к несчастным погорельцам. В сражении при Бау молодого человека взяли в плен и отправили в Копенгаген вместе с другими на борту линейного корабля «Королева Мария». После долгого пребывания на судне в качестве заключенного ему и еще нескольким его товарищам разрешили его покинуть, однако среди сошедших на берег оказались не-

сколько человек, которые повели себя в городе недостойно, так что по их вине всем остальным было предложено либо отправиться обратно на борт плавучей тюрьмы, либо каждому найти жителя Копенгагена, который бы поручился за него. Автор письма не имел в Копенгагене ни одного знакомого. Единственным копенгагенцем, о котором он слышал, кому верил и на кого мог надеяться благодаря прочитанным им книгам, был я. Поэтому он умолял меня поручиться за этого храброго и по натуре своей доброго молодого человека. Кроме того, он просил подыскать в Копенгагене семью, у которой его сын мог бы ежедневно столоваться и которая «не слишком ненавидела бы немцев».

Доверие этого человека так меня тронуло, что я немедленно написал о нем одному из моих наиболее состоятельных друзей в Копенгагене, приложив к посланию, чтобы пояснить суть дела, немецкое письмо. Я попросил моего адресата, разумеется, под мою ответственность, выполнить обращенную ко мне просьбу и позаботиться о молодом человеке. Поскольку каждый час был для юноши, по сути, лишним часом, проведенным им в тюрьме, я, не мешкая, отправил письмо с посыльным в ближайший торговый город. Ответ пришел со следующей же почтой; в нем сообщалось, что предпринимать какие-либо действия в отношении молодого человека уже излишне, поскольку на днях всех пленных отправили пароходом в Киль. Я порадовался за убитого горем отца, а также тому, что поддался первому порыву и поступил так, как подсказывало мне сердце. На письмо я решил не отвечать, ибо надобность в этом отпала. Корреспондент мой так и не узнал о моем участии. Только сейчас, в благословенные дни мира, я посылаю ему мой привет, что уже не раз собирался сделать. Хочу лишь прибавить, что своим письмом он вызвал у меня глубокое чувство и что так же, как я, поступил бы любой удостоенный подобного доверия мой соотечественник.

Глоруп я покинул поздней осенью. Приближение зимы привело к перерыву в военных действиях. Наступившее на какое-то время спокойствие вновь обратило мои стремления и помыслы к привычным занятиям. Кстати, за это лето я окончил свой роман «Две баронессы». Представляется, что мое летнее пребывание на острове придало ему известную долю природной свежести.

Английское издание романа я посвятил моему британскому издателю, высокочтимому и славному Ричарду Бенгли.

Учитывая время и обстоятельства выхода книги, приняли ее хорошо, хотя в одной из наших газет рецензент спутал содержание романа с реальными событиями наших дней. Он посчитал радость старой баронессы по поводу успехов ее любимца камер-юнкера в Лондоне и ее тост в честь Англии преждевременными, заметив, что Англия еще ничего не сделала, чтобы помочь нам, датчанам.

Роман прочитал Хейберг, он написал мне пару любезных строк и пригласил меня и еще нескольких друзей и знакомых к себе. Здесь он произнес прекрасный тост «за роман, который освежает, как прогулка по весеннему лесу». Впервые за много лет мое произведение удостоилось столь лестной оценки этого писателя, что было мне весьма приятно. Как говорится, «добро помни, а зло забывай».

Восемнадцатого декабря отмечался столетний юбилей датского театра. Хейберг и конференц-советник Коллин предложили мне написать драматический пролог к празднику. В честь того же события Бурнонвиль ставил балет под названием «Старые воспоминания». Как в волшебном фонаре, в нем повторялись наиболее живописные сцены из датского балетного репертуара. Замысел «Пролога» получил одобрение дирекции театра, которая всецело согласилась с моей идеей, основанной на ситуации, переживаемой в данный момент датской нацией. Я знал, с каким настроением приходили в те дни люди в театр и сколь мало он тогда для них значил. Всеми своими мыслями они были там, с солдатами, на поле брани. Потому и я выстроил свое сочинение таким образом, чтобы сначала осветить занимавшие всех события, и лишь затем возвратить зрителей обратно на датскую почву. Что-то говорило мне: сила наша — не в мощи разящего меча, а в духовности, вот почему я назвал пролог «Данневирке искусства»; под этим заглавием ныне данное произведение известно и вошло в собрание моих сочинений. На праздничном вечере оно было встречено бурными аплодисментами. Но пролог решили повторить и в ряде прочих театров и тем самым совершили ошибку, использовав его как средство привлечения публики на протяжении целой недели. На праздновании юбилея, как сказано, он имел шумный успех — публику он по-настоящему тронул, — но потом в дело вмешались газеты. Одна из них особенно упрекала меня в том, что в прологе было слишком уж много громких слов о Дании и Даннеброге и что нам следовало бы не хвалить самих себя а подождать,

когда другие нас похвалят, иначе мы уподобляемся хвастливому Якобу фон Тибо и т.д. и т.п.

В другой статье о прологе говорилось так, что я, по сути, не понял, написал ли ее автор от скудоумия или же от переполнявшей его злобы. К четвертому представлению пролог публике надоел, и именно на этот спектакль и поместил рецензию журнал «Север и юг», редактор которого вообще был ярким противником моего творчества. Тем не менее пролог имел благотворное влияние на ситуацию, и я до сих пор считаю его идею и форму удачными. В те дни и при тех настроениях публики они были единственно верными.

В январе состоялась премьера спектакля «Свадьба на озере Комо». На этот раз произведение композитора Глэзера, долгое время, и, по-моему, несправедливо никаким успехом не пользовавшегося, было оценено весьма высоко — оперу встретили оглушительными аплодисментами. В рецензии на спектакль воздавалось должное его музыке и аранжировке Бурнонвиля, меня же при этом даже не упомянули. Сам Глэзер, напротив, тепло и от всего сердца благодарил меня за то, что мое либретто в немалой степени способствовало его успеху.

К рождественским праздникам в Копенгаген впервые приехала Фредрика Бремер. Я был единственным человеком в городе, которого она знала лично, прочие ее знакомства ограничивались одним лишь нынешним епископом Мартенсенем, с которым она переписывалась. Мне, таким образом, выпала честь встречать ее, помочь ей устроиться и показать ей Копенгаген — обязанности столь же легкие, сколь и приятные, когда имеешь дело с такой женщиной, как она. Фредрика Бремер пробыла у нас всю зиму и большую часть лета, когда она посетила Ингемана в Сорё и побывала в Свенборге и на Мёнском утесе. Она от всего сердца сочувствовала датчанам, что хорошо видно из ее небольшого сочинения «Жизнь на Севере», блестящего итога ее пребывания в наших краях. Эта книжка вышла на шведском, английском, немецком и датском языках. Мыслью и душой Бремер была на стороне датчан.

Твердость и гордость,  
Смелость и милость —  
Таковы датчане  
На поле брани.

Этот небольшой стишок она написала в Копенгагене, выразив в нем сполна свою глубокую и горячую приязнь ко всему датскому.

Ее маленькая книжица между тем не получила признания или даже благодарности, которых, несомненно, она заслуживает. Мы всегда критикуем тех, кто пишет от чистого сердца. В случае с Бремер внимание и упреки критиков вызвало слишком подробное описание толчеи на улице Эстергаде, к которой мы здесь, дома, призывали, в то время как ей, не посетившей еще Лондона или больших городов Америки, все это было внове. Маленькая книжка, которая является ярким свидетельством большой любви писательницы к Дании, получила, как я уже упоминал, отнюдь не тот прием, которого заслуживают слезы, не раз виденные мною в ее глазах, когда она глубоко переживала вместе с нами за судьбу датского народа и государства. В самые тяжелые, судьбоносные дни она всегда была на нашей стороне.

В апреле в четверг на страстной неделе пришло известие о том, что линейный корабль «Кристиан VIII» взлетел на воздух со всем своим экипажем. Горе и скорбь потрясли всю страну. Был объявлен национальный траур. У меня самого возникало чувство, что я стою на тонущем корабле. К единственному спасшемуся члену экипажа относились как к победителю, как к внезапно обретенному нами сокровищу. Я встретил на улице своего друга капитан-лейтенанта Кр.Вульфа; когда он пожимал мне руку, глаза его сияли. «Вы знаете, кого я везу домой? — сказал он. — Лейтенанта Ульрика! Он не погиб на взорвавшемся корабле, он спасся, бежал, добрался до наших передовых отрядов, и теперь я привезу его на родину!» Я, хоть и не был знаком с лейтенантом Ульриком, сразу же разрыдался от радости. «Где он? Можно ли его видеть?» — «Он отправился в Морское министерство, а оттуда — к матери, которая считает его погибшим!»

Я зашел в первую же овощную лавку, взял путеводитель и нашел, где живет мать Ульрика. Когда я добрался до их дома, меня, однако, охватил страх: а вдруг она еще ничего не знает о сыне? Поэтому я спросил служанку, которая мне открыла: «Горюют в этом доме или радуются?» Лицо девушки просияло. «Радуются. Сыночек-то точно с неба упал!» Услышав это, я решительно вошел в дом, где вся семья сидела в траурной одежде; они оделись так с утра, как вдруг, внезапно, сын, которого они уже считали погибшим, предстал пред ними

живой и здоровый! Я бросился к нему на шею, ничего не в силах поделать с собой, — мне просто необходимо было выплакаться. Окружающие прекрасно меня поняли, я пришелся здесь не чужим. Когда я рассказал фрёкен Бремер эту историю, которую она позже использовала в своей книге, она ошеломила ее не меньше, чем меня. Эта благородная и великая женщина обладала также чуткой душой.

Я тем временем был на грани болезни, причем страдания мои были как физического, так и духовного свойства. Мне требовалось переменить обстановку. Фрёкен Бремер так заманчиво описывала свою прекрасную родину, где у меня было немало друзей, что я решил на поездку или в Далекарлию, или, может быть, в Хапаранду, где решил провести день летнего солнцестояния. Эту идею подсказало мне «Путешествие в середине лета» фрёкен Бремер; она, не уставая, писала обо мне в рекомендательных письмах своим друзьям, жившим по всей стране. В Швеции приезшему без этого не обойтись, там не везде есть гостиницы, и путешественникам обычно приходится проситься на ночлег в дом пастора или в дворянское поместье. Перед моим отъездом писательница устроила мне, целиком в духе шведских традиций, прощальный праздник — обычай, которого мы в нашем высокоинтеллектуальном Копенгагене не практикуем да и не знаем. Вечер оказался веселый — с переодеваниями, декламацией и большим числом приглашенных гостей, среди которых были Х.К.Эрстед, Мартенсен и Хартманн. В подарок мне преподнесли красивый серебряный кубок с надписью «На память от Фредрики Бремер». К нему прилагалось стихотворение:

С перелетными птицами к нам прилетай  
Ты, Дании певчая птица,  
В наш скованный стужей северный край,  
Когда весна возвратится.

Вся Швеция в тысячу голосов  
Тебе приготовит встречу,  
Шведским друзьям будь же готов  
Ответить приветственной речью.

И мой талисман не забудь прихватить,  
Скрепляющий дружбу нашу,

Чтоб шведской воды родниковой испить  
За датских друзей твоих чашу.

Сей дружества кубок, Ханс Кристиан,  
Вези хоть на самый край свет,  
Но, помни, никто, кроме нас, северян,  
Не пьет так за здравье за поэта!

Ф.Б.

На Вознесение я отправился в Хельсингборг. Весна уже вступила в свои права, молодые березки благоухали свежестью, тепло пригревало солнце, обстановка путешествия располагала к творчеству и в конечном итоге вылилась в образы и мысли, запечатленные мною в путевом очерке «По Швеции».

Освещенный газовыми рожками Гётеборг показался мне полуанглийским-полуголландским городом. Большой и оживленный, он казался гораздо более современным, нежели другие сонные шведские города, только театр в нем, по-видимому, не сильно продвинулся, и спектакль по отечественной шведской пьесе, который я видел в нем, показался мне достаточно безвкусным — или, может, следовало бы сказать — грубым? Главную роль, как мне поведали, играл сам автор. Меня возмутило, что действие разворачивалось вокруг личности реального, живого человека и сводилось оно к следующему: старый ученый магистр, за знание восточных языков прозванный Арабом, хотел во что бы то ни стало жениться. В пьесе обыгрывались комические эпизоды из его жизни, и она представляла собой набор сцен, не связанных единым сюжетом; сколь-нибудь яркие образы также отсутствовали. Сцены объединяла лишь фигура главного героя, который в действительности в это время влачил жалкое существование в одной стокгольмской богадельне. Актер достаточно точно копировал его внешний облик и характер, чем вызывал шумные аплодисменты публики. Я ушел после второго действия. Бездумное и лишённое всякого смысла издевательство над человеком может вызвать лишь отвращение.

Гётеборг располагает прекрасным портом и роскошными банями с купальнями, изготовленными, кажется, из чистого мрамора. Ими город обязан солидному и предприимчивому дельцу, коммерческому советнику Вику, в лице которого я нашел гостеприимного хозяи-

на. В его богатом и уютном доме я всего за несколько часов познакомился с самыми достойными людьми Гётеборга, среди коих из дам назову прекраснейшую писательницу фрёкен Руландер.

Я еще раз осмотрел величественный водопад Тролльхэттан, впечатления от которого позже попытался изложить на бумаге. Чувства, возникающие при виде его, каждый раз удивляют своей новизной; здесь же, к тому же, к ним прибавились и впечатления от одного эпизода, произошедшего чуть позже на пристани Венерсборга, к которой наш пароход причалил, чтобы забрать пассажиров. На пристани я встретил мальчика-трубача, которого за год до этого видел среди шведских солдат на Фюне. Немало удивленный тем, что встречается меня в своем отечестве, он радостно и любезно со мной поздоровался. Когда он вместе с другими солдатами жил в Глорупе, как-то раз они должны были выступить на учения. В это время у парнишки заболел живот, и славная старуха домоправительница не отпустила его с остальными. Дитя должно поесть овсяного супа! Командовавший учениями офицер уверял, что с ним все в порядке. «Здесь я — его мать! — заявила она. — Ребенок болен, и сегодня он в свою трубу дуть не будет!» Парнишка справился о домоправительнице и о старом графе, но первой упомянул ее — свою покровительницу.

Приехав в Стокгольм, я первым делом переоделся, чтобы немедленно отправиться к нашему послу, у которого надеялся услышать новости о войне, которые сильно интересовали меня, но по пути к нему я, к своему несчастью, повстречался с неким д-ром Лео, немцем, говорившим по-датски, которого я знал по Копенгагену, где ранее дружески принял его и познакомил с гостившей у нас тогда фрёкен Бремер. О нас обоих он отозвался впоследствии в своем очерке «Лица из моей скандинавской папки», напечатанном в виде фельетона в журнале «Новеллен-цайтунг», весьма нелестно, а в моем случае — даже карикатурно. По его словам, едва покинув пароход и ступив на улицы Стокгольма, я тут же вырядился в свой лучший костюм и надел белые лайковые перчатки, чтобы показаться в таком виде на променаде, дабы все меня тут увидели и на следующий день напечатали о моем прибытии в газетах. Его несправедливая оценка обидела меня, но я помню также, как прекрасно он перевел несколько моих книг и как дружески и лестно отзывался обо мне в другое время и при других обстоятельствах. Поэтому я снова готов протянуть ему свою руку — пусть и не в «лайковой перчатке».



Одним из первых в Гётеборге я встретил композитора Линдблада. Это его прекрасные мелодии прославила по всему свету Йенни Линд. Интересно, что он даже похож на Линд, как брат бывает похож на сестру, — те же меланхолические черты лица, хотя, может быть, чуть более тяжелые. Линдблад просил меня написать для него либретто оперы, что я, возможно, сделаю в будущем. Его великолепный музыкальный талант способен наделять поэзию крыльями истинно народных песен.

В здешнем театре шла в исполнении итальянской труппы сочиненная капельмейстером Форони опера «Королева Кристина», либретто которой написал певец Казанова. Опера производила впечатление скорее своей величественной гармонией, а не отдельными мелодиями. Особенно мне понравилась в ней сцена заговора, неплохие костюмы и красивые декорации. Интересно, что лица актеров, играющих Кристину и Оксеншерну, загримированы под портретное сходство. Довольно странно видеть, как королева Кристина выступает на сцене в ампула певицы в своей собственной столице.

Местный книготорговец магистр Багге пригласил меня на праздничный вечер в Литературное общество и усадил рядом с поэтом камергером Бесковым. В этот день здесь принимали также д-ра Лео, и президент общества воспользовался случаем, чтобы провозгласить тост за «двух замечательных иностранных писателей, г-на Андерсена из Копенгагена, автора романа «Импровизатор» и «Сказок, рассказанных детям», и д-ра Лео из Лейпцига, редактора журнала «Нордишер телеграф». Чуть позже магистр Багге также провозгласил прекрасный и сердечный тост за меня и мою отчизну и просил передать моим соотечественникам восхищение шведского народа их подвигом и сочувствие им.

Я ответил строфой из одной моей песни:

Зунд сверкал, как меч стальной,  
 Наши страны разделяя;  
 Чьей-то брошена рукой  
 Ветка роз, благоухая,  
 Мостом стала в добрый час!  
 Место нам то назовите,  
 Розы где выросли? — Парнас! —  
 Кто же бросил их, скажите,

К нам сюда из высших сфер?<sup>3</sup>  
— Эленшлегер и Тегнер!\*

И добавил: «В последнее время появляются все новые и новые скальды — шведы и датчане, народы наши все больше учатся понимать друг друга, чувствовать биение сердец своих соседей. Шведские сердца бьются в наши дни в унисон с датскими, мы ощущаем это проникновенно и глубоко, точно так же, как я — сейчас!» Слезы выступили у меня на глазах, а вокруг звучало громогласное «ура»!

Бесков представил меня королю Оскару, тот приветливо меня принял. В его лице я как будто встретил старого знакомого, хотя мы виделись в первый раз. Я поблагодарил Его Величество за высочайшую милость, которую он оказал мне ранее, наградив орденом Северной звезды. Затем мы поговорили о сходстве Стокгольма с Константинополем и озера Роксен — с южной частью Лох-Ломонда. Я высказал ему также свое восхищение дисциплиной и набожностью шведских солдат, и король ответил мне, что он читал мою статью о пребывании шведов на Фюне, и поведал о своем сочувствии к судьбе датского народа и о дружеских чувствах к нашему королю. Мы поговорили о войне. Я сказал, что в природе датского народа — твердо стоять за дело, в которое он верит, тут датчане забывают о своей малочисленности. Как мне представляется, я сумел в полной мере разобраться в образе мыслей этого благородного монарха.

Я уверил короля, что датчане ценят все, что сделал для них Его Величество, и всегда будут ему благодарны. Мы поговорили о наследном великом герцоге Веймарском, которого король тоже очень любил. Его Величество предупредил меня, что как только я вернусь из поездки в Упсалу, куда я собирался отправиться, он приглашает меня к себе на обед. «Королева, моя супруга, — сказал он, — знает ваши сочинения, и ей хотелось бы познакомиться с вами».

По возвращении я побывал на этом званом обеде. Королева, своей наружностью очень напоминающая мать, герцогиню Лейхтенбергскую, которую я видел в Риме, приняла меня весьма приветливо, сказав, что она давно уже знает меня по моим сочинениям, в особенности по «Сказке моей жизни без вымысла». За обедом я сидел рядом

---

\* Перевод А. и П. Ганзенов.

с Бесковым напротив королевы. Особенно заинтересованно и живо со мной беседовал принц Густав. После обеда я прочитал присутствующим сказки «Лен», «Гадкий утенок», «История матери» и «Воротничок». Когда я читал «Историю матери», я заметил на глазах у благородной королевской четы слезы. Они очень тепло и сердечно благодарили меня, и я ощутил, что их искренние чувства превосходят простую любезность. Прощаясь, королева подала мне руку, которую я прижал к своим губам. Она и король оказали мне честь, пригласив посетить их вновь — им хотелось еще раз послушать мое чтение. Особую симпатию, если мне позволено использовать это слово, вызвал у меня юный любезный принц Густав, его большие голубые глаза имели особую притягательность, меня также заинтересовал его необыкновенный музыкальный талант. В характере принца чувствовалась искренность, он был близок мне по духу; мы сходились в своем благорасположении к герцогу Веймарскому, много говорили о нем, а также о войне, о музыке и поэзии.

При следующем посещении дворца меня с Бесковым пригласили в покои королевы за час до обеда. Там уже находились принцесса Евгения, кронпринц, а также принцы Густав и Карл. Скоро пришел и король. «Поэзия заставляет меня отложить все дела!» — заявил он. Я прочитал им «Ель», «Штопальную иглу», «Девочку со спичками» и — по особой их просьбе — «Лен». Король слушал с большим вниманием; «глубокая поэзия, заключающаяся в этих небольших поэтических вещах», как милостиво изволил он выразиться, импонировала ему. Во время своей последней поездки в Норвегию он прочитал мои «Сказки» и особо выделял среди них «Ель». Все три принца пожали мне руку, а король пригласил на свой день рождения четвертого июля, сказав, что Бесков будет моим чичероне.

В эти дни мне решили воздать в Стокгольме официальные почести. Я знал, с какой завистью это будет воспринято у нас дома и какую даст богатую пищу для пересудов и сплетен. Это меня тревожило. От одной мысли, что я попаду в центр внимания, меня лихорадило, я ощущал себя чуть ли не преступником и страшился как самого нескончаемого вечера, так и бесчисленного количества тостов, которые будут провозглашены в мою честь.

На празднике присутствовали в высшей степени одаренная и ныне знаменитая фру Карлен, тогда еще не очень известная, но уже написавшая под псевдонимом Вильгельмина немало замеча-

тельных романов, а также актриса фру Страндберг и еще несколько видных дам. Фру Карлен пригласила меня пройтись и взяла под руку. Однако в сад, куда бы мне хотелось пойти и где на нас не смотрело бы такое множество зрителей, мы отправиться не смогли — мы должны были пройти определенным путем. Как мне сказали, публика хотела видеть г-на Андерсена; это входило в план вечера, составленный, несомненно, с самыми добрыми намерениями, однако меня слегка раздражавший. Я уже заранее видел комическую гравюру, напечатанную в «Корсаре». С подобным пиететом мои земляки привыкли относиться только к Эленшлегеру и ничуть не удивлялись, видя его в окружении шведских дам во время его торжественного визита в Стокгольм. Прямо перед нами в аллее я заметил толпу ребятишек, они спешили нам навстречу, неся неописуемо огромную цветочную гирлянду, бросали мне под ноги цветы и обступили тесным кольцом. Толчая вокруг между тем становилась нестерпимой, все снимали передо мной шляпы. О чем же думал я в эти минуты? «В Копенгагене из-за этой сцены меня выставят шутком, сколько упреков газетчиков мне теперь доведется услышать!» Я совершенно пал духом, однако вынужден был изображать радость и выказывать этим милым и добрым людям свое удовольствие. Поэтому я перевел все в шутку: поцеловал одного ребенка, поболтал немного с другим. За ужином поэт, пастор Меллин, сказав сначала несколько слов о моем творчестве, провозгласил здравицу в мою честь, после чего прозвучали стихи, сочиненные по такому поводу писательницей-романисткой Вильгельминой, а затем последовало следующее прекрасное стихотворение г-на Карлена:

Шла смена дворцовой стражи,  
но главным был не парад,  
а некий, известный всем, иностранец,  
свершавший там свой променад.  
И пока не ушел иностранец,  
на него, головушку задрав,  
смотрел из-за маминой юбки —  
от горшка два вершка! — скандинав.

«Ах, милая, милая мама,  
взаправду ли тот господин

все сказки, какие я знаю, —  
все, все написал он один:  
как жил оловянный солдатик,  
про девочку с куклой в беде  
и ту, про Каро и корову,  
про луну в аистином гнезде.

Пригласим его в гости в беседку,  
в ту, в бабусину, на вечерок,  
испеки ему блинчиков сладких  
и самый лучший с вареньем пирог!  
А я лучшую куртку надену,  
ту, где пуговицы из серебра...  
И быть может, новую сказку  
мы услышим, я и сестра».

---

Так, славный наш скальд, от природы  
ты лавровый принял венки.  
Не сломят его непогоды —  
ведь он в сердце пустил корешок...  
С тобою мы снова как дети  
на великом «Базаре» бытъя —  
спасибо! — и детская пусть не пустует  
в небесном дворце у тебя!

Я ответил собравшимся, что сердечность, с какой ко мне здесь относились, буду считать авансом за то произведение, в котором попытаюсь по мере отпущенных мне Господом сил сполна отразить мою любовь к Швеции. Данное мною обещание я попытался исполнить. Автор комедий и актер Юлин прочел на диалекте «Историю одного далекарлийца»; певцы из труппы Королевского театра Страндберг, Валлин и Гюнтер спели несколько старинных шведских песен. Играл оркестр, начавший свое выступление с датской мелодии «Прекрасная страна». В одиннадцать часов ночи я уехал домой, довольный и радостный оттого, что встретился с такими приятными мне людьми. Хотя не меньше радовался я и тому, что меня наконец-то ожидал покой.

Скоро я отправился в Далекарлию. Одно из рекомендательных писем Фредрики Бремер привело меня в Упсале в дом поэта Фалькранса, известного поэмами «Ансгар» и «Ноев ковчег», брата знаменитого живописца-пейзажиста. Я также встретился в Упсале с моим другом поэтом Бёттигером, женатым на дочери Тегнера Дисе. Дом этой счастливой пары был наполнен солнечным светом домашнего уюта и поэзии.

Дверь моей комнаты в гостинице выходила в большой зал, в котором как раз в то время, когда я в ней поселился, происходила студенческая пирушка. Когда студенты узнали, кто живет по соседству с ними, они прислали ко мне депутацию, пригласившую меня послушать их пение; пели они действительно хорошо — задорные и веселые застольные песни. Слушая их, я начал сразу же искать взглядом человека, с которым мне было бы интересно поговорить. Мне понравился один высокий и бледный юноша; как потом выяснилось, выбор я сделал правильный. Юноша красиво пел, отчетливо выговаривая все слова своей партии. Он, пожалуй, был самым одаренным из всех присутствующих; как позже оказалось, это был композитор и сочинитель текста исполняемых здесь песен «Глюнтарне» Веннерберг. Потом я слышал в его исполнении песни, написанные им в стиле Бельмана; пели они на пару с Берониусом в доме у губернатора, где я нашел самый сердечный прием и познакомился с наиболее именитыми лицами Упсалы, мужчинами и женщинами. Здесь я впервые встретился с Аттербумом, автором «Цветов», поэтом, воспевшим «Остров блаженства». Как говорит Мармье, поэты образуют своего рода масонскую ложу, они все знают и понимают друг друга. Справедливость этих слов полностью подтвердилась во время моего знакомства с обходительным старым скальдом.

Храни — и пусть времен грохочет колесница, —  
 Поэзии дворец и сказок дивный свет!  
 Любовью — любоваться, а волшебству — дивиться, —  
 Таков, как понимаю, твой творческий обет.

Аттербум

Чтобы путешествовать по Швеции, нужен собственный экипаж, и я вынужден был бы его купить, если бы губернатор великодушно не предложил мне использовать на все время путешествия свой.

Профессор Шрёдер снабдил меня мелкой разменной монетой и хлыстом, Фалькранс нарисовал план путешествия, и с этого началась уникальная для меня и моей карьеры путешественника поездка, подобная тем, что совершаются ныне по Америке, где сеть железных дорог еще не проложена. Я как будто отправился на сто лет назад, таким отличным от прежних вояжей оказался этот.

Готовясь к празднованию Ночи Святого Ханса, на майские шесты уже вешали гирлянды цветов, когда я доехал до Лександа, где передо мной засияло огромное продолговатое озеро Сильян. Могучие ивы протянули свои ветви над быстрыми водами реки Дал-эльв, по которой плавали дикие лебеди; на той стороне Мора ближе к норвежской границе неясно вырисовывались синие горы. Вокруг меня кипела жизнь, все двигалось, как в гигантском калейдоскопе, мелькали живописные костюмы, было по-летнему тепло. Я не представлял себе таким тихий холодный Север, сколько жизни — настоящий солнцеворот! На воду было спущено множество лодок, переполненных празднично одетыми пасторами, стариками и молодыми — вплоть до грудных младенцев. Представшая передо мной картина была так живописна и красочна, что слова на ее фоне бледнеют. Впрочем, профессор Марстранд, вдохновленный моим описанием здешних мест, а также устным о них рассказом, съездил сюда два года назад как раз ко времени этого летнего праздника и великолепно передал дух и краски здешних мест на холсте.

В Лександе путешественник еще мог найти приют в гостинице, севернее же дела обстояли совсем иначе. В Ретвике мне пришлось прибегнуть к местным обычаям и остановиться у усадьбы священника, чтобы попроситься у него на ночлег. Пастор радушно принял меня еще до того, как я успел представиться. Когда же я назвал свое имя, события стали развиваться, как на настоящем празднике. На следующий день я отправился вместе со священником на ближайший курорт; на мосту нас уже поджидала стайка ребятишек, которые принялись отчаянно махать мне шапочками. О, они прекрасно знали, кто написал их любимые сказки! «К нам, в Далекарлию, приехал Андерсен!» — вот какую новость принес им накануне один из ликующих сейчас вместе с остальными мальчишек. Окруженный радостной шведской детворой, я вспомнил в эту минуту о моих маленьких бедных друзьях в госпитале Джорджа Хериота в Эдинбурге и о ребятишках Шотландии.

Сердце мое преисполнилось кротости и смирения. Благодарный Господу, я молил его простить мне все вздохи и жалобы, которые я возносил Ему в тяжелые для меня часы, в минуты горечи и печали.

Старые сказания, предания и истории зачастую наделяют местность очарованием и значением, затмевающими даже ее внешнюю живописную красоту. Здесь, в Далекарлии, на ум прежде всего приходят прославленная верность ее жителей, а также побег Густава Вазы от его врагов и связанные с этим легенды. Перед нами воочию предстает почти не изменившаяся сцена, на которой разворачивались самые романтические эпизоды из жизни этого шведского короля, столь же великого, сколь и одинокого. Ряд картин, которые я нарисовал в своей книге очерков «По Швеции», в той мере, в какой это мне удалось, передает впечатления, которые я вынес из этих мест. Бесконечные лесные массивы, тянущиеся миля за милей глубокие и чистые лесные озера, где на прибрежных скалах цветет линнея и вьют свои гнезда лебеди, воспринимались мною как что-то совершенно новое, почти чужое, я как будто на столетия перенесся назад во времени. Я посетил в этих местах Фалун с его медными рудниками и красивейшими окрестностями. С Фалуном связано у меня воспоминание о событии, которое многие отнесли бы к разряду случайностей, тогда как некоторые могли бы придать ему куда большее, едва ли не символическое значение. В своих путевых заметках о Швеции я поместил рассказ о нем под заголовком «Что сказали травинки». Рассказ этот — не выдумка, он — воспоминание о реальном событии.

В саду у губернатора Фалуна сидели несколько девушек. Играя, они зажимали в руке по четыре травинки и попарно связывали их концы. Если кому-то в конце концов удавалось соединить их так, что из травинок получалась одна нитка, это означало, что задуманное — сбудется. Не знаю почему, но никому из них этого сделать не удавалось. Тогда они предложили попытаться мне. «Ни во что подобное я не верю!» — попытался было убедить я их, но все же взял четыре стебля и пообещал, что, если мне выпадет удача, я раскрою им, что задумал. Я связал травинки, раскрыл ладонь, и — все стебельки вытянулись в одну нитку! Кровь невольно бросилась мне в лицо, в одно мгновение я превратился в суеверного человека — ведь, несмотря на все благоразумие, я все-таки задумал желание. «Так чего же вы хотите?» — спросили меня. И я сказал, чего: «Чтобы Дания одержала



победу и вскоре был установлен справедливый мир!» — «Дай-то Бог, чтобы, ваше желание исполнилось!» — вырвалось у всех. Удивительно, но пророчество травинки — случайно, конечно — исполнилось. Вскоре до Швеции донеслась весть о сражении при Фредерисии! Через Евле я вернулся обратно в Упсалу и Даннемора и заглянул краешком глаза в их зияющие глубиной шахты. Я бывал ранее в Раммельсбюрге на Гарце, и в пещере Бауманна, и на соляных заводах Халлейна, и в катакомбах Рима и Мальты и не получил от этих посещений никакого удовольствия, вспоминая о них как о чем-то неприятном, давящем, настоящем кошмаре. Нет, мне не нравится пребывание под землей, и я буду избегать его, во всяком случае, пока в нее не опустили мое брненное тело.

В Старой Упсале я вышел из экипажа, чтобы осмотреть недавно разрытые курганы, носящие имена Одина, Тора и Фрейра. Когда я тринадцать лет назад побывал здесь, курганы еще стояли нетронутые, такие, какими они оставались в течение многих веков. Старушка, у которой хранились ключи от входа в курганы и чей отец тогда подносил мне рог с медом, услышав мое имя, обрадовалась и решила устроить в мою честь иллюминацию, как она это делала для высоких господ из Стокгольма. Пока она занималась приготовлениями, я в одиночестве взошел на курган, где с моих губ сорвалась молитва благодарности Господу за все хорошее, что он ниспослал мне за время, прошедшее с тех пор, как я посетил эти места. «Да будет воля Твоя!» — этими словами всегда завершались мои спонтанные камерные молитвы, случавшиеся то на природе в лесу, то на месте древних могил, то в маленьких гостиничных комнатках. Когда я наконец спустился в глубь кургана, в нешироком раскопе горели восковые свечи. Я осмотрел древнюю урну с тем, что смотрительница назвала останками Одина, то есть его потомства из рода Инглингов. Все пространство вокруг покрывала зола от сожженных жертвенных животных.

Навестив в Упсале старых знакомых, я отправился в Стокгольм, где в доме престарелой фру Бремер меня приняли, как родного. В то время была еще жива сестра Фредрики Бернер Агата — весьма тонкая натура, — которая уже тогда была неизлечимо больна. Ей были адресованы все письма, посылаемые сестрой из Америки; вскоре по возвращении писательницы она, к сожалению, умерла. Дом Бремеров был уютным, богатым и удобным жилищем, здесь мне довелось

общаться с многочисленными представителями этого рода, считающегося в старой доброй Швеции одним из самых знатных. Вот как непохожа оказалась истина на все те небылицы, что сочиняли в Дании и других странах о семье писательницы и ее имущественных обстоятельствах. Когда имя ее впервые приобрело известность, говорили, что она служила гувернанткой в одной дворянской семье, но на деле же Фредрика Бремер не состояла ни на какой службе, являясь вполне обеспеченной обладательницей поместья Аоста.

В незнакомых мне городах я обычно посещаю не только здравствующих великих людей, но также и знаменитых, милых моему сердцу мертвых. Обычно я приношу им цветок или же срываю его у их могил. В Упсале я побывал на могиле Гейера; памятник ему еще не поставили. Могила Тернера и вовсе заросла травой и крапивой. В Стокгольме я ходил на место упокоения Никандера и Стагнелиуса, а также съездил в пригород Сольна, где на маленьком церковном кладбище спят вечным сном Берцелиус, Кореус, Ингельман и Крусель, а на том кладбище, что побольше, — Валлин.

В столице я остановился в доме писателя Бескова, который стал и моим стокгольмским домом. Баронство Бескову даровал сам король Карл Юхан; хозяин мой принадлежал к тому роду людей, которые как будто источают вокруг себя нежный свет и обаяние. Бесков был человеком сердечным и разносторонне одаренным — о последнем свидетельствуют его рисунки и сочиненная им музыка, да и голосом он обладал изрядным — нежным и в то же время звучным, что было даже удивительно в его-то годы; наконец, он известен как поэт. Эленшлегер, переведя написанные им трагедии на немецкий язык, прославил его имя в Германии. Любимый королем, чтимый всеми окружающими, личность на редкость образованная, Бесков, ко всему прочему, являл собой живой пример верности в дружбе.

Приятен, мягок — не найти средь нас таких сердец,  
Совсем лишен тщеславья, как истинный мудрец,  
Хоть скромнен, но владеет он сокровищем поэта —  
Вот рама бледная из слов для твоего портрета.

Последний день моего пребывания в Стокгольме совпал с днем рождения короля, и Его Величество оказал мне честь, пригласив на праздник. Прощаясь со мной, король, королева и все принцы были

столь милы и сердечны, что тронули меня этим до глубины души. Я как будто расставался с родными.

В четвертом томе своего жизнеописания на странице восемьдесят пятой Эленшлегер упоминает о графе Сальтса и заинтересовывает читателя его личностью. Однако что это за человек, читатель из упоминания так и не узнает. Вот что пишет о нем Эленшлегер:

«В эти годы ко мне как-то явился с визитом один из знакомых епископа Мюнстера — высокий представительный швед, назвавший мне свое имя, которое я, впрочем, плохо расслышал. Посчитав неудобным переспрашивать, я понадеялся, что услышу его имя в ходе разговора или догадаюсь сам, с кем беседую. Он сказал, что пришел ко мне с целью узнать мое мнение о сюжете водевиля, который собирался писать. Замысел мне понравился, я одобрил его, поразмыслил и решил: стало быть, передо мной писатель, автор водевилей. Затем он заговорил о Мюнстере, назвав его своим старым другом. «Должен сказать вам, — поведал он мне, — что я перевел на шведский «Откровение Иоанна». Ага, подумал я, значит, он — не только автор водевилей, но и одновременно теолог. «Мюнстер, как и я, — масон, — продолжал мой собеседник, — но все свои масонские знания он почерпнул у меня, ведь я — мастер ложи». Я стал мысленно выстраивать: хорошо, следовательно, он — автор водевилей, теолог и мастер масонской ложи. Потом он заговорил о Карле Юхане, весьма тепло отозвался о нем и добавил: «Я прекрасно его знаю! Вместе осушили не один бокал». Тогда я сказал себе: ага, выходит, он — писатель, теолог, мастер ложи и близкий друг Карла Юхана. Собеседник же мой все не унимался: «Здесь, в Дании, люди совсем не носят орденов, завтра, когда пойду в церковь, я обязательно надену свои». — «Сделайте одолжение!» — отвечал я, он же продолжал: «Я ведь полный кавалер!» Я сказал себе: «Ну и ну! Он — писатель, теолог, мастер ложи, близкий друг Карла Юхана и кавалер ордена Серафима». Наконец незнакомец заговорил о сыне, которому, по его словам, постоянно твердил, что предок их, крестоносец, когда-то одним из первых взобрался на стену Иерусалима. Тогда мне стало окончательно ясно, что незнакомец мой — граф Сальтса. Им он и оказался в действительности».

Так рассказывал о нем Эленшлегер.

В приемной короля Бесков представил меня старому графу Сальтса, который сразу же с истинно шведским гостеприимством пригласил меня на обратном пути посетить его в имении Мем, если, конечно, граф будет там, когда мой пароход, будет проплывать мимо, — мне несложно об этом узнать. Если же его там не окажется, он станет поджидать меня в другом своем поместье, Сэбю, у Линчёпинга, которое располагалось чуть далее по пути моего следования, неподалеку от Канала. Я принял приглашение за обычные слова вежливости, которые слышишь так часто, и вовсе не предполагал им воспользоваться, но по пути домой, когда мы, покинув Роксен, должны были миновать тринадцать шлюзов у церкви Врета (тамошние королевские могилы я воспел в «Книге картин без картинок»), на борт нашего парохода поднялся композитор Юсефсон, с которым, как я рассказывал ранее, я жил в Сорренто и на Капри и позже встречался в Упсале. Он гостил в это время у графа Сальтса в Сэбю, и, поскольку рассчитать время подхода моего судна было нетрудно, хозяин послал его с коляской за мной на шлюзы. Вот насколько любезным оказался престарелый граф Сальтса. Я в спешке собрал одежду, и мы под проливным дождем поехали в Сэбю, где в замке, выстроенном в итальянском стиле, жил старый граф Сальтса со своей достойной и в высшей степени обаятельной дочерью, вдовой-баронессой Фок.

— Между нами существует духовная связь, — сказал старик мне при встрече, — я сразу же это почувствовал, когда вас увидел. Мы — не чужие друг другу.

Он так радушно принял меня, что при всех своих чудачествах добродушием и любезностью сразу же завоевал мое самое горячее расположение. Старик потчевал меня рассказами о разных королях и прочих государях, с которыми был лично знаком, о своей переписке с Гёте и Юнгом Стиллингом. Далеким предки графа были норвежскими крестьянами и рыбаками. В Венеции они спасли жизнь нескольким пленным христианам и были за то пожалованы Карлом Великим титулом князей Сальтса. Рыбацкая деревушка, на месте которой теперь стоит Петербург, принадлежала когда-то его далеким предкам. В связи с этим я услышал байку о том, как отец нынешнего графа в свое время, когда российский император посетил Стокгольм, будто бы в шутку сказал ему: «А ведь столица вашей империи построена на земле моих предков», — на что император в тон ему от-

ветил: «В чем же дело! Пойдите и возьмите ее!» Существует также легенда, будто бы императрица Екатерина I была шведкой; Сальтса подтверждал это как своими рассказами, так и записками. В его версии детство Екатерины неразрывно связано с историей его прадеда. Записки, сделанные моим собеседником в связи с этим и пересказанные мне вкратце, выглядят довольно занятно.

Однажды, когда отец Сальтса читал краткое изложение российской истории, он вдруг отложил книгу в сторону и заявил, что написанное в ней об императрице Екатерине не соответствует действительности, после чего рассказал сыну следующее: «Дед мой по материнской линии, звали его Ханс Абрахам Крусе, вышел в отставку в чине генерала, а до этого командовал полком зеленых драгун. Когда же он был всего только старшим лейтенантом и жил в полагающемся ему по чину поместье Бротен, случилось так, что его камердинер Жан Рабе пожелал жениться на камеристке его жены Катерине Альмпаф. Фру Крусе, урожденная Аннике Синклер, устроила им пышную свадьбу; брачную постель молодоженов украсили золотыми галунами, которые фру Аннике, фрейлина супруги Карла X, некоторое время носила на своей алой юбке. С тех пор в роду появилось присловие: «Роскошно, как брачная постель Жана Рабе!»»

Жан потом стал фельдфебелем в Эльвсборгском полку, но умер, как и его жена, очень рано, оставив после себя единственную дочь Катарину, которую отправили к старой генеральше Крусе в Хёкэлу, где она пробыла два года. Как раз в это время туда наведалься кузина фру Аннике графиня Тисенхюсен. Восемилетняя Катарина, ребенок красивый и умный, весьма ей понравилась, и она забрала ее к себе.

Зиму они вместе провели в Стокгольме, после чего отправились в Померанию, где графиня должна была получить богатое наследство, но, добравшись до Рюгена, увидели стоявший там на рейде сторожевой корабль — всем прибывавшим было строго запрещено сходить на берег. В Рюгене свирепствовала чума. Тогда они вернулись обратно в Стокгольм и провели всю следующую зиму в так называемом Анкаркронском доме на улице Регерингсгатан. В Ревеле тем временем умерла тетя графини, поэтому последняя в мае отправилась туда, несмотря на нередкие тогда грабительские рейды русских в Эстляндию, откуда графиня была родом, поэтому-то она и говорила по-немецки и даже дер-

жала прислугу из немцев. Катарине, таким образом, тоже пришлось выучить этот язык.

На этот раз поездка прошла благополучно и после трехдневного пребывания в Ревеле Катарину отправили с каким-то поручением за город. Когда же она вернулась, то увидела на двери дома надпись, что вход в него запрещен, поскольку он заражен чумой. Катарина принялась кричать. Услыхавший ее крики портье, не открывая двери, сообщил ей, что графиня и еще девять находящихся в доме лиц уже умерли, а ему выходить запрещено. В слезах и отчаянии Катарина побежала по улице и наткнулась на священника, пастора Глюка из Майама, который приехал в город, чтобы подобрать няню для своего маленького сына. Увидев практически уже взрослую и цветущую девицу, пребывавшую в совершенном отчаянии, священник расспросил ее о том, что случилось, и, узнав, что в заразный дом она не вошла, взял ее к себе в услужение в качестве няни, а ей в том отчаянном положении не оставалось ничего иного, как согласиться, хоть она и привыкла к лучшей жизни. Вскоре все в пасторской усадьбе души в ней не чаяли; пасторша так просто не могла без нее обходиться.

Прадед графа Сальтса, как-то раз охотившийся в здешних местах, провел в пасторской усадьбе одну ночь. После битвы при Нарве, где шведов возглавлял король Карл XII, русские беспощадно грабили Эстляндию. Их отряды возглавлял Анесен Лапутшин (?). Он сжег церковь в Майама, пленил всех обитателей имения Сальтса, верных вассалов шведского короля, и сослал их в Сибирь. В отсветах полыхавшей пламенем пасторской усадьбы он увидел Катарину и забрал ее себе как военный трофей. К тому времени уже ставший князем и фаворитом русского царя Меншиков как-то во время визита к Лапутшину заметил Катарину, прислуживавшую им за столом, и мимоходом сказал хозяину, что у него красивая прислуга. На следующий же день ее подарили ему как крепостную. Меншиков, не слишком увлекавшийся женщинами, видел в Катарине только красивую домоправительницу. Однажды, когда она мыла полы в его доме, в комнату вошел император. Видя, что Меншикова нет, он уже повернулся, чтобы уйти, но тут заметил на столе тарелку с конфетами, всегда выставлявшуюся для него. Император угостился конфеткой, Катарина же, не зная его в лицо, продолжала мыть полы; государь взглянул на нее, откинул ей волосы со лба

и сказал: «А ты — красивая девушка!» Катарина зарделась, а он погладил ее по голове, поцеловал и ушел. Катарина с огромным возмущением рассказала Меншикову о незнакомом офицере, съевшем конфету и позволившему себе такие вольности с ней. Когда она описала незнакомца, Меншиков тотчас узнал в нем императора и решил воспользоваться случаем. Как раз в то время вышло повеление заменить старую одежду на платье нового образца. Одно женское платье доставили Катарине, оно ей весьма шло и к тому же было нарядным, а головной убор костюма напоминал чепцы, которые носят в деревнях голландки. Меншиков поручил Катарине отнести тарелку с конфетами и цукатами императору, а на саму тарелку положил почтительную и льстивую записку, в которой просил царя не пренебречь конфетами, а также той, что поднесет их. О том же, как она впоследствии стала супругой царя, история дает как более верные сведения.

В период ее правления прадед Сальтса вернулся из сибирской ссылки, где он пробыл шестнадцать лет. В Москве в императорском саду как раз устраивали какое-то празднество. Сальтса пригласили, и он явился на праздник в сопровождении старого князя Гагарина, в лице которого во время ссылки Сальтса приобрел верного друга. Старик Гагарин терпеть не мог Меншикова и, когда при входе тот не ответил на его приветствие, сказал ему: «Разве вы не видели, что я с вами поздоровался?» Меншиков лишь презрительно ухмыльнулся в ответ, и тогда старик отругал его. Меншиков окликнул своих людей, они схватили старого князя и повалили на пол; досталось и Сальтса, пытавшемуся помочь своему другу. С возвышения, где она стояла, Катарина все это видела, узнала по голосу своего бывшего покровителя и крикнула Меншикову: «Трость только волос на голове Сальтса, и ты завтра отправишься в подвалы Кремля!» На том стычка и закончилась.

После этого Сальтса назначили президентом коммерц-коллегии, и он был у государыни в большой милости. Некоторые потомки его семьи живут в России и поныне.

Старика Сальтса считали духовидцем. Карл Юхан, которому Ленорман нагадал, что он станет королем, питал к нему дружеские чувства и доверял ему. Удивительно, но день смерти короля, как рассказывают, совпал с той датой, которую назвал ему Сальтса. Здесь, в Сэбю, в большом рыцарском зале, где мы с Сальтса сидели, часто обедали Карл Юхан с королевой Евгенией. Вокруг нас на стенах ви-

сели портреты благородных предков Сальтса, стулья и прочая мебель были выдержаны в стиле рококо, и зал обогревался двумя каминами. Мы долго беседовали с благородным старцем на разные темы, в частности, речь шла о духовидении. Сальтса с глубокой серьезностью и несомненной убежденностью в истинности своих слов рассказал мне, как ему ночью привиделся дух прадеда, который спросил его, не хочет ли он вознестись и посмотреть на небеса Господа нашего, добавив: «Правда, сначала тебе придется испытать, что такое смерть!»

«Он дотронулся до меня, — рассказывал престарелый вельможа, — и я будто лишился чувств. «Разве смерть такова?» — спросил я. «Да!» — отвечал мне предок, и я тут же увидел, что стою в преддверии Господних Небес! Они были подобны прекрасному саду, какого я никогда в жизни не видел!»

В рассказе Сальтса о небесах не оказалось ничего для меня нового — все было таким же, как мы привыкли видеть на земле. Он встретил на небесах своих брата и сестру. Сестра его умерла еще малым ребенком, и он не узнал ее, пока она не назвалась. «Хорошо, что ты явился как раз сейчас, — сказала она, — сегодня именины Иисуса Христа, и меня должны в честь этого перевести из детского Рая во взрослый Рай Господа!»

«Но, — возразил я, — почему же души детей не возносятся непосредственно во «взрослый» Рай, как об этом написано в Библии?» — «Разумеется, однако я отвечаю за то, что видел», — отвечал на это Сальтса.

Но как же чудесен был его рассказ о явлении Господа. «Я стоял в Раю, и тут мне явился свет. Не в силах вынести его сияния, я пал ниц. Вокруг звучала прекраснейшая музыка, ничего подобного этому я никогда в жизни не слышал; внезапно меня объяла радость, неизъяснимое наслаждение! «Что же это?» — спросил я. «Это Господь Бог прошествовал мимо нас!» — отвечал мой прадед».

Все это старик рассказывал совершенно серьезно и с такой убежденностью, что произвело на меня впечатление. «Там, наверху, я узнал все, что случится в будущем, — сказал он. — Теперь мне доподлинно известно, какой конец ожидает все сущее на земле! А ведь было мне тогда всего пятнадцать лет!»

Во время моего пребывания в Сэбю там праздновали День Фредерика, именины старого графа, и мне было очень интересно наблюдать, как справляются именины по шведским обычаям.



На нижнем этаже в одной из гостиных возвели арку из ветвей дуба, вензель графа на самом ее верху украшала корона из дубовых листьев с вставленными вместо драгоценностей розами. Когда мы сидели за кофе, снаружи с озера послышался выстрел, почти одновременно с ним в зал вошел слуга и громким голосом объявил, тщательно пряча улыбку, свидетельствовавшую, что это все не более чем комедия: «У пристани бросил якорь ведомый иностранными моряками корабль под названием “Северная звезда”!» Прибывших мореплавателей, конечно же, пригласили к столу. Раздался еще один выстрел, на этот раз с корабля, и в зал вошли управляющий именем, его жена и две их дочери. Они прибыли из дома, располагавшегося на противоположном берегу озера.

За обеденный стол сели еще несколько управляющих и множество прочих служащих графских имений, затем с поздравлениями стали прибывать гости из соседних поместий. Снаружи прошли торжественным маршем и выстроились в ряд школьники, мальчики и девочки, каждый держал по зеленой дубовой ветке; руководил ими учитель, который произнес в честь старого графа речь в стихах. Под звонкоголосое «ура» граф вышел к детям. Учитель, как я заметил, получил от него деньги, а дети — кофе, угощение и еще разрешение потанцевать в большом вестибюле, где один крестьянин играл на скрипке. Баронесса также была любезной и радушной хозяйкой, она тоже вышла к народу, провела крестьян по залам и покоем замка и, в свою очередь, потчевала их вином и богатым угощением. Настроение у всех было праздничным и веселым. А тут весьма кстати подоспел и почтальон с письмами и газетами. Кто-то в восторге крикнул: «Новости из Дании, победа при Фредерисии!» Это было первое подробное описание сражения, все заинтересовались статьей, я же схватил список погибших и раненых.

В честь победы датчан старей Сальтса велел принести шампанского. Его дочь спешно отыскала Даннеброг, который тут же был поднят над замком. Старик граф, который прежде немало толковал о существовавшей в былые времена ненависти между шведами и датчанами и хранил три датские пули: одной из них был ранен его отец, второй — его дед, а от третьей пал его прадед, поднял бокал шампанского за старую добрую Данию и произнес такую проникновенную и прекрасную речь о победах и доблести датчан, что на глазах у меня выступили слезы.

В нашей компании была одна пожилая гувернантка-немка, кажется, родом из Брауншвейга. Она провела в Швеции уже много лет, но, услышав в речи Сальтса выпады против Германии, разрыдалась, простодушно сказав: «Я ничего не могу поделать с собой!» Поэтому, поблагодарив Сальтса за его тост, первое, что я сделал, это протянул немке руку со словами: «Скоро наступят лучшие дни, немцы и датчане протянут друг другу руки, и поднимут бокалы за благословенный мир, как сделали это мы сейчас!» — после чего мы чокнулись.

Я чувствовал себя здесь как дома, дни протекали в чудесном созерцании лесов, скал и озера. Поэтому гостеприимный дом и его чудаковатого старого хозяина я покидал с истинной грустью, написав на прощание в его альбом четверостишие:

Под звездой, в груди твоей — сердца стук,  
 Во дворце твоём, я слышал, арфы звук;  
 Благ, кому Бог посылает долголетье,  
 Благ вдвойне, кто вспоминает годы эти.

Восторженное отношение к Дании и датчанам, свидетелем которого мне довелось стать, царило в Швеции повсюду. В немалой степени оно сказалось и на отношении ко мне — датчанину.

В Линчёпинге я заглянул к профессору Оману, в саду его дома меня ожидал сюрприз — молодежь решила устроить мне праздничную встречу. Специально для нее поэт Риддерстад написал три песни, первую исполнили на мотив «Прекрасной страны», потом спели «Привет Дании»:

Прекрасная земля!  
 Зеленых рощ и островов,  
 Озер и светлых берегов  
 Прекрасная земля!

Отважная земля!  
 На юге Скандии ты наш,  
 Всегда в бою, надежный страж,  
 Отважная земля!

Победная земля!  
 Клинок твой лаврами увит,

И с честью носишь ты свой щит,  
Победная земля!

О, братская земля!  
Протянем руки другу друг —  
В согласье сила наших рук,  
О, братская земля!

Прекрасная земля!  
Тебя валькирии ведут,  
Победа и свобода ждут,  
Прекрасная земля!

Как раз в момент, когда запели песню, на небе засияла прелестная радуга; я воспринял ее как знак мира и был искренне растроган. Затем прозвучала песня в честь Даннеброга. В паузах между пением произносились пламенные речи о любви шведов к Дании и радости, которую они испытали при известии о победе датчан. Один из тостов провозгласили за павших при Фредерисии. Я был тронут до слез, ощущая себя, как пелось в одной из песен, «истинным сыном Дании». Повсюду на крышах развевались шведские и датские флаги, а когда я отправился в Берг, чтобы утром оттуда продолжить свой путь на пароходе, Риддерстад с группой моих новообетенных друзей провожал меня песней:

Своим путем иди  
И пламенную лиру  
Неси в своей груди;  
Неси, неси, поэт,  
Поэзию по миру  
И обойди весь свет.

Пой землю, небо пой!  
Ты пой, певец, о жизни!  
Певец, о смерти пой!  
Как лебедь среди вод,  
О жизни пой на тризне,  
Придет и твой черед!

Близ Муталы я решил остановиться на несколько дней. Окрестности города можно смело называть настоящим садом Гёта-канала.

Здесь прелестно соединяются шведская и датская природа: могучие буковые леса, в сени которых прячутся озера, отвесные скалы и шумящие потоки рек. В маленькой гостинице при фабрике какой-то прежде совершенно не знакомый мне молодой человек пожертвовал ради меня своей уютной комнатой, переселившись к своему приятелю, чтобы я расположился со всеми удобствами. Так я познакомился с ныне покойным К.Д.Нюгренем, поэтической натурой, приятелем Фредрики Бремер и восторженным поклонником моего творчества. За моим окном меж лиственных деревьев и елей Мутала стремительно несла вдаль свои прозрачные, как зеленоватое стекло, воды, сквозь которые даже на глубине я прекрасно различал каждый камень и каждую рыбу. На противоположном берегу канала находится могила Платена; проходящие мимо пароходы салютуют здесь пушечными выстрелами. В довершение к наслаждению, которое я получил от созерцания здешней природы, сюда мне доставили сердечное, бодрое, в высшей степени доброжелательное письмо от Диккенса, который получил и прочитал мой роман «Две баронессы». День прихода письма стал для меня поистине праздником — оно красовалось на моем столе, как подарочный букет прелестнейших роз.

Отсюда я отправился на прогулку в старую Вадстену; некогда богатый замок там превратился ныне в амбар для хранения зерна, а знаменитый монастырь — в дом призрения для душевнобольных. До отъезда из Муталы я жил в маленькой гостинице у моста. В путь мне предстояло отправиться еще затемно, поэтому я рано лег спать, сразу уснул, но вскоре был разбужен прекрасными звуками многоголосого пения. Я встал. Пение поистине было замечательным. Я открыл дверь и спросил у служанки, не остановились ли в гостинице какие-нибудь важные персоны, в честь которых звучит эта серенада. «Так это в вашу честь, господин!» — отвечала она. «В мою?!» — воскликнул я в полнейшем недоумении. За окном же продолжали петь «Прекрасную страну»! Честь эта действительно предназначалась мне, но не как поэту, а как датчанину Андерсену. Ее исполняли из любви к датчанам, которая и здесь распустилась пышным бутонем цветка, который — так уж случилось — преподнесли мне. Фабричные рабочие в Мутале узнали, что я возвратился из Вадстены и на следующее утро отправляюсь далее. Эти славные люди пришли сюда, чтобы выразить мне, а в моем лице всей Дании свое самое высокое

уважение и сочувствие. Я вышел к ним и, растроганный и благодарный до глубины души, принялся пожимать руки тем, кто стоял поближе. Разумеется, оставшуюся часть ночи я так и не сомкнул глаз.

И где бы я ни останавливался, каждый день был таким же праздником! Повсюду сочувствие шведов к Дании отличалось такой глубиной и искренностью, о каких датчане не смели даже мечтать. Я встречал друзей и гостеприимство везде. В них не было недостатка даже в крохотном Мариенстаде. Я то и дело получал приглашение погостить в той или иной семье, мне предлагали экипажи и лошадей, короче говоря, оказывали все мыслимые знаки внимания. Несколько дней я провел в имении Киннекулле в семье графа Хамильтона, а также в поместье в Блумберге у одного из его сыновей, женатого на дочери Гейера, удивительно похожей на Йенни Линд и обладавшей к тому же довольно неплохим голосом: она прекрасно исполняла песни, сочиненные ее отцом. Маленькая Анна, единственный ребенок в семье, обычно стеснявшаяся незнакомых, внезапно охотно подошла ко мне — мы стали друзьями, как мне думается, с первого взгляда.

В Венерсборге меня также ожидали друзья, поспешившие познакомиться меня с живописнейшими окрестностями города, а в Трольхеттане мое пребывание и вовсе продлилось несколько дней. Здесь в лесной тиши у самых шлюзов я обрел настоящий дом в семье обер-лейтенанта Варберга и его жены. Все, даже совсем незнакомые люди старались мне всячески угодить, оказывая самый теплый и сердечный прием.

Будучи в Гётеборге, я совершил экскурсию на остров Марстранд, где в это время у своей сестры Агаты, лечившейся на водах, гостила Фредрика Бремер. Здесь, в шхерах, море отличалось удивительной глубиной, а на разогретых солнцем скалах цвели дикие розы. Стокгольмская итальянская оперная труппа давала на острове утренние спектакли, поэтому там царило то же оживление, что и на южных курортах. Фредрика Бремер сообщила, что вскоре собирается в Америку. Она решила проводить меня до Гётеборга; вокруг нас на судне образовалась шумная компания, все хором исполняли шведские и датские песни. «Есть прелестная страна, в ней роскошные буки растут», казалось, была любимой песней шведов: она звучала здесь раз за разом, теперь же стала для меня прощальной.

Несколько дней спустя я снова был в Дании.

Дух этого путешествия отражен мной в книге очерков «По Швеции» — сочинении, над которым я, вне всякого сомнения, трудился самым тщательным образом. Мне представляется, в нем соединены все наиболее типичные черты моего творчества: описания природы, сказочный элемент, юмор и лирическое начало, насколько оно может быть выражено в прозе. Шведский журнал «Бурэ» первый написал об этом:

«В этой книге вы не найдете обычных впечатлений и размышлений туриста, она представляет собой стихи в прозе, разделенные на несколько самостоятельных и вместе с тем единых по своему детски наивному и простодушному стилю картин. Особенностью, объединяющей их, является открытое и любовное отношение автора к жизни народа и природы, за которое, собственно, мы, шведы, и любим сочинения Андерсена. Картины действительной жизни прекрасно и непринужденно уживаются у него с историческими преданиями и порождениями фантазии, так что в целом его записки предстают перед нами в виде особого рода поэтической сказки странствий, воспроизводящей летние картины из жизни нашего Севера».

Примечательно, что и дома, на родине, где критика в последние годы относится к моим произведениям мягче, оказывая им большее внимание, чем прежде, об этой моей книге путевых заметок упоминают доброжелательно и с похвалой, отмечая в них «Одну историю»: «...преlestное сочинение, исполненное поэзии и выдержанное в духе самого высокого гуманизма и потому способное возвысить душу человека. Указанная глава путевых записок читается с интересом и выдержана в стиле величавого спокойствия, за исключением разве только начальной ее страницы, написанной в известной нам сказочной манере, здесь, как представляется, не вполне уместной!» Что ж, возможно, рецензент прав. Особой похвалы удостоивается глава «Поэтическая Калифорния». «В ней сопоставляются образы суеверия и науки, два полюса, которые задают основу двух направлений в искусстве поэзии — болезненное романтическое начало и ясную, жизнеспособную поэзию гуманизма. Автор энергично высказывается против романтизма и гордо отмечает все его красочные одеяния, которые лишь портят скрывающуюся под ними нагую классическую красоту. В этой главе, как, впрочем, и вообще во всем произведении, Андерсен показывает себя писателем, одухо-

творенным идеями гуманизма, что не может не пробуждать чувства здоровой гордости и радости за него. Начала красоты и добра, свойственные всему существу, наполняют поэта добродетельным и тихим умиротворением, в чем проявляется его в высшей степени умеренное и гуманистическое мировосприятие».

В Англии книга очерков «По Швеции» вышла одновременно с датским оригиналом, и там она встретила все то же самое доброжелательное отношение и те же положительные оценки, которыми меня награждали в этой стране почти постоянно, пока не появился отрицательный отзыв, и причем с той стороны, с какой я меньше всего его ожидал, а именно из уст человека, который познакомил Англию с моим творчеством и ранее принимал меня здесь с таким радушием, — от Мери Ховитт! Это ошеломило меня, было столь неожиданно, немыслимо! Я уже ранее описывал нашу встречу в Лондоне, где во время моего пребывания друзья, всячески стремившиеся оказать мне помощь, объяснили, что известность, которую снискали издания моих сочинений в Англии, отнюдь не соответствует приносимым мне ими доходам.

Мы условились с высокочтимым и весьма деятельным книгопродавцом Ричардом Бентли о том, что он останется моим издателем в Лондоне. По уговору с ним я должен был присылать ему из Копенгагена английскую рукопись каждого очередного своего произведения, что я и делал. Вот почему Мери Ховитт не удалось самой перевести ни роман «Две баронессы», ни книгу очерков «По Швеции». Тем не менее я не думал, что она обидится на меня за это до такой степени. Но дело обстояло именно так. В своей совместной с мужем, Уильямом Ховиттом, работе «Литература и романтический роман северной Европы» Мери высказала обо мне достаточно суровые суждения, чего я, конечно же, никак не ожидал. В упомянутой книге положительные и лестные отзывы розданы всем датским писателям — кроме меня, еще совсем недавно бывшего ее любимцем. Дав положительные характеристики тем моим книгам, которые были переведены ею самой, далее Мери Ховитт пишет:

«Однако более поздние сочинения Андерсена следует признать гораздо менее удачными опытами. Те из них, что были в последнее время опубликованы в Англии, оказались мертворожденными, едва сойдя с печатного станка, и причина тому очевидна. Личность Ан-

дерсена представляет собой любопытную смесь естественности и светскости. По-детски наивная душа, вдохнувшая жизнь в лучшие его произведения, вдруг, к немалому нашему удивлению, превратилась в душу *petit maitre\**, тоскующего по вниманию королевских особ. Поэт в Андерсене для нас погиб, остался один лишь эгоист. Осознав это, начинаешь понимать, почему мы так высоко оценили его первые один-два романа, в то время как все последующие оказались в высшей степени незначительными. Дело в том, что Андерсен всегда пишет только о себе самом — о своей душе, своей жизни, своих чувствах. В первый раз это нас захватывает, гораздо уже меньше нравится во второй и совершенно не нравится в третий, как *crambe repetita\*\**.

Возможно, популярность Андерсена вызвана тем, что мы просто не знаем, какое множество первоклассных и оригинальных писателей существует в Дании. Андерсен представлялся нам чудом уже потому, что оказался своего рода окошком к нам из страны, литературное богатство которой английской публике неизвестно, в то время как в действительности он является всего лишь весьма средним представителем многочисленного и великого писательского племени».

Как по-иному понимала и оценивала меня та же одаренная дама несколькими годами ранее, когда я впервые приехал в Лондон! Тогда она писала в популярном «Журнале Ховиттов»:

«В тот момент, когда в нашей стране гостит Ханс Кристиан Андерсен, мы не можем преподнести читателю лучшего подарка, чем представить полный портрет и жизнеописание этого необычного человека. Как бы мы ни рассматривали его — как личность, являющую нам пример духовного благородства и высокой морали, или же как гения, своими произведениями победившего нищету и ничтожество среды, из которой вышел, и добившегося положения, позволяющего ему ныне быть почетным гостем королей и королев, — в любом случае Ханс Кристиан Андерсен остается одним из самых замечательных и интересных людей нашей эпохи.

---

\* Хлыща (фр.).

\*\* Дважды сваренная капуста (лат.)



Как большинство людей, обладающих большим самобытным талантом, он вышел из народа и в своих сочинениях, сюжеты которых, главным образом, взяты им из повседневной жизни простых людей, описывает то, что ему довелось увидеть или пережить самому. Но ни бедность, ни препятствия не ожесточили его сердца. Напротив, все, что он написал, отличается живостью и глубиной неподдельного человеческого сопереживания. Людская жизнь со всеми ее испытаниями, утратами и слезами является для него священной. Андерсен знакомит нас с самыми сокровенными уголками души — но не для того, чтобы вскрыть тающиеся там пагубные страсти и преступления, а чтобы лишний раз показать, сколько в ней скрыто самой искренней и настоящей любви, как трогательна она даже в своих слабостях и пороках, как достойна снисхождения и того, чтобы за нее сражались. Короче говоря, Андерсен — великий писатель, обладающий сильной и горячей поэтической натурой и великим талантом описания страстей, во всех своих произведениях он исповедует дух подлинного христианства».

Как сопоставить столь непохожие вынесенные в разное время суждения этой, несомненно, умной и, по всей видимости, благожелательно настроенной по отношению ко мне и моей музе дамы? Когда фрёкен Бремер вернулась из Америки и по пути домой заехала в Лондон, я поинтересовался ее мнением о Мери Ховитт, которую, как я знал, она посетила.

«Дражайшая Мери Ховитт, — отвечала она, — так тепло о вас отзывалась и чуть ли не со слезами на глазах сокрушалась: «Он больше не захочет знаться со мной!»»

Как понять все эти дружеские высказывания на фоне столь суровых оценок, даваемых ею письменно? Быть может, они вырвались у нее под влиянием момента и были вызваны дурным настроением? Такое случается со всеми; или же, вполне вероятно, она снова переменила свое мнение обо мне, как это уже произошло однажды. Я не таю на нее зла и с готовностью и приязнью протягиваю ей этими моими записками через море руку искреннего дружеского примирения.

Публика хорошо приняла роман «Две баронессы». То же самое касается и книги путевых очерков «По Швеции», которые, помимо всего прочего, как раз в том же году, когда Мери Ховитт вынесла

им столь суровый приговор, приобрели чуть ли не всенародную популярность. Вместе со «Сказкой моей жизни» их включили в серию «Народная библиотека», известную также под обиходным названием «Скиллинговые издания», печатающиеся и расходящиеся, как известно, тысячами.

Перевод книги выполнен превосходно, и в «Послесловии» к ней переводчик Кеннет Маккензи высказывается обо мне столь тепло и хвалебно, что его голос перекрывает все резкие слова, которые позволила себе Мери Ховитт. Рецензия в журнале «Атенеум» на последнюю вышедшую в Англии мою книгу «Грезы поэта» — так называли англичане мои «Истории» — тоже свидетельствует о благожелательном и добром ко мне отношении.

Новый, 1850 год начался для меня со скорбного события. Той же великой скорбью была объята вся Дания, все ее искусство. Первое мое послание в том году, адресованное в Веймар, гласило: «Двадцатого января, как раз в годовщину смерти короля Кристиана VIII, умер Эленшлегер. Они и скончались примерно в одном часу. Поздним вечером, направляясь к дому Эленшлегера, я два раза проходил мимо дворца. От врачей я уже знал, что жить несчастному осталось недолго. Минуя Амалиенбург, взглянув на темные окна дворца, я внезапно подумал, что вот точно так же в тревоге за жизнь моего дорогого короля проходил здесь два года назад и теперь иду той же дорогой, тревожась за жизнь другого короля — короля поэтов. Умирал он без мучений. Вокруг него собрались дети; великий поэт попросил их прочесть ему вслух сцену из его трагедии «Сократ», где герой говорит о бессмертии и о вере в вечную жизнь. Пребывая в полном умиротворении, он помолился Богу, чтобы тот избавил его от болезненных смертных конвульсий, затем откинулся на подушки и почил вечным сном. Я видел его мертвое тело, желтуха придавала его внешности вид бронзовой статуи. Ничто в выражении его лица не указывало на наступление смерти — всё тот же прекрасный высокий и чистый лоб, все то же благородство черт. Двадцать шестого января народ провожал Эленшлегера в последний путь, причем, говоря «народ», я употребляю это слово в буквальном смысле: служащие, студенты, матросы, солдаты — люди всех сословий несли гроб поэта, сменяя друг друга, до самого Фредериксберга, где он родился

и где пожелал, чтобы его похоронили. Торжественная погребальная служба состоялась в Церкви Богоматери. Двум поэтам из комиссии по организации похорон поручили написать текст кантаты, одним из них был престарелый Грундтвиг, другим — я. Прощальную речь произнес епископ Зеландии. В день похорон в Королевском театре решено было сыграть трагедию «Ярл Хакон» и ту сцену из «Сократа», которую читали Эленшлегеру в момент его смерти».

В последние годы Эленшлегер стал относиться ко мне мягче и сердечнее, чему я, разумеется, радовался — он наконец признал мой талант. Однажды, когда всеобщее внимание ко мне опять привлекла опубликованная в одной газете насмешка, он подарил мне орден Северной звезды — точно такой же я получил в день похорон Кристиана VIII от короля Швеции. «Я носил его, — сказал Эленшлегер, — и теперь дарю его вам на память обо мне! Вы — настоящий поэт! Это говорю вам я, а другие пусть болтают, что вздумается!» И он протянул мне орден Северной звезды, который я с тех пор бережно храню.

В последний раз Эленшлегера чествовали 14 мая 1849 году на празднике, устроенном на Полигоне, и вот так скоро за праздником последовали поминки. Мы знаем, что поэт сам хотел, чтобы в этот день сыграли его «Сократа», чего, однако, не произошло. Мне непонятно, как великого поэта в его смертный час могли занимать столь суетные вещи. Мне бы хотелось, чтобы он, подобно герою Ламартина в «Умиравшем поэте», сказал: «Неужели ты считаешь, что лебедь, летящий к солнцу, думает о том маленьком пятнышке, которое оставляет тень его крыльев на волнах моря?»

В вечер похорон публика заполнила весь театр. Все пришли в трауре, ложи в первых рядах задрапировали траурным крепом, а место Эленшлегера в партере выделили флером и лавровым венком.

— Как это мило со стороны Хейберга! — сказала одна дама. — Если бы Эленшлегер видел, это его растрогало бы.

Мне пришлось ответить ей:

— Он бы обрадовался. Ему наконец выделили место!

С назначением директором Хейберга все бесплатные места для поэтов, композиторов, бывших директоров и различных служащих свели к немногим крайним креслам и откидным местам в первых ря-

дах партера. При этом равный доступ к ним получили практически все певцы, актеры и танцоры. Вздумай они явиться в театр одновременно, в театре разместилась бы только третья часть явившихся, включая тех, кто согласился бы смотреть спектакль стоя. Эленшлегер до самой смерти посещал каждый вечерний спектакль, и когда он опаздывал, а никто из сидящих не проявлял к нему должного почтения и не уступал своего места, смотрел спектакль стоя. Помню, как-то, когда мы оба стояли, он сказал мне вроде бы в шутку, однако с оттенком досады: «И как это меня вообще сюда пускают!» Но на траурном вечере ему место выделили! Как раз то место, которое он занимал при предыдущей дирекции. Точно такое же, кстати, имел и Торвальдсен. Конечно, можно извинить Хейберга: количество бесплатных кресел ограничил ригсдаг, однако для Эленшлегера, первого драматического поэта Дании, можно было бы, как мне кажется, найти одно место! Каплю горечи в мою душу этот факт в миг торжественного прощания с поэтом все-таки добавил. Впрочем, она была для меня в моей жизни на сцене отнюдь не первой.

Но обратимся к другой сцене и другому театру, тому, о котором один из наших писателей сказал: «Всего лишь “Казино”!»

В последние два года копенгагенцы получили народный театр; он, можно сказать, неожиданно-негаданно сам «вырос» как из-под земли; никто, во всяком случае, не ожидал, что он будет иметь успех. Многие, и среди них г-н Оверскоу, долго думали, обсуждали и писали о подобном театре, но он оставался всего только на бумаге. И вот нашелся один молодой и талантливый человек, наделенный особым даром — не располагая средствами, добывать их для осуществления своей цели. Настоящий в своем роде гений, он помог копенгагенцам обзавестись Тиволи, увеселительным парком, не хуже, если не лучше, по своему устройству и общему плану всех подобных увеселительных заведений. И точно таким же образом он расстарался для нас с «Казино», где большинство копенгагенцев задешево могли наслаждаться музыкой и спектаклями. В то же самое время городу в лице «Казино» досталось большое и красивое здание, где проводятся популярные концерты и маскарады. Короче говоря, копенгагенцы получили наконец место для народного увеселения. Человека, все это создавшего, зовут Георг Карстенсен. Ныне его имя и талант стали известны во всем мире благодаря его сверше-

ниям в Америке, где он совместно с Ч.Гильдемейстером возвел в Нью-Йорке прославленный своей архитектурой и многообразием применения так называемый Стекланный дворец. Добросердечие составляло, по моему мнению, самый большой недостаток Карстена; над ним постоянно издевались, его вышучивали и называли даже «maitre de plaisir»\*, хотя деятельность его имеет непреходящее значение, а результаты ее служат и еще долго будут служить людям, принося им радость и пользу.

Когда здание только строилось, никто не рассчитывал, что театр станет его главной частью. Однако постепенно благодаря усилиям директора — бывшего актера — Ланге театр приобрел популярность у публики и прочно встал на ноги. Одно время акции «Казино» стоили так дешево, что, как говорят, продавались по цене рюмки пунша за штуку, но вскоре заведение раскрутилось по-настоящему.

Репертуар театра был поначалу весьма ограниченным. Ни один мало-мальски известный датский писатель не имел ни желания, ни причин писать для него или предлагать свои произведения для его сцены. Господин Ланге как-то намекнул мне о возможности сотрудничества, и первый же мой опус был, против всякого ожидания с моей стороны, театром принят. В сказках «Тысячи и одной ночи» я прочитал «Рассказ о царевиче Зейн-аль-Аслане и повелителе джиннов», вполне годившийся для оперного либретто, однако, как ни интересовал меня этот материал, я отказался от этой идеи, поскольку у нас в стране оперы на сказочные сюжеты даже с самой лучшей музыкой, ярким примером чего может послужить мой печальный опыт с «Вороном», почти не ставились и, уж во всяком случае, не были оценены публикой. Однажды, читая Гоцци, я обнаружил у него упомянутый материал, переработанный в сказочную комедию, но еще более пригодным к постановке на сцене я посчитал вариант той же темы в пьесе «Алмаз короля духов» Раймунда. Ранее я, как уже упоминалось, пробовал свои силы в жанре сказочной комедии, написав для Королевского театра «Цветок счастья». Спектакль, хоть и прекращенный после седьмого представления, все же срывал аплодисменты у публики, и я был убежден, что признаваемый за мной успех писателя-сказочника может снискать мне

---

\* «Распорядителем праздника, мастером угодничества» (фр.).

лавры и в этой области. Я переработал тогда Раймунда в «Дороже жемчуга и злата», и эта пьеса, смею заявить, поспособствовала успеху театра «Казино», люди из всех слоев общества, от самых высокопоставленных до беднейших, приходили смотреть ее. В зале театра помещаются 2500 зрителей, и на ряд представлений, которые следовали одно за другим без перерыва, все билеты распродавались.

Таким образом, я добился признания, что немало меня порадовало. По контракту мне полагался гонорар в сто ригсдалеров. Хочу напомнить, что в это время ни один театр в Дании, за исключением Королевского, не платил писателям за их произведения, так что кое-чего я все же добился, тем более что сверх выплаченных мне выслали еще одну сотню далеров, ведь пьеса продолжала, как говорится, «собирать полный зал». Вскоре моему примеру последовали другие молодые писатели: свои талантливые произведения предложили театру Хоструп, Оверскоу, Эрик Бёг, Рекке и Кивитс. Численность театральной труппы год от года росла, возрастали и требования публики, которые неизменно удовлетворялись, хотя достойные всякой похвалы усилия и стремления театра кое-кем не замечались вовсе. Некоторые говорили: «Да это всего лишь «Казино»!» И эти слова, высказываемые подчас талантливыми людьми, чья нога не ступала в этот театр, или же подобные им, вставленные, например, автором «Сотни лет» в свое произведение, где он с презрением говорит о пьесе, идущей в «Казино», я считаю несправедливыми.

Я написал для этого театра новую пьесу, сказочную комедию «Оле Лукойе», в которой выводил скандинавского бога сна, которого уже ранее пытался вывести в сказке. Я хотел придать этому образу такую форму и характер, чтобы он стал живым персонажем, а его устами высказать простую истину о том, что здоровье, доброе расположение духа и душевный покой на самом деле дороже денег. Прежде чем засесть за пьесу, я продумал ее самым тщательным образом. Директор Ланге с величайшим усердием, пожалуй, можно даже сказать, любовно, постарался достойно поставить ее на маленькой, узкой и тесной сцене — ведь она требовала для своей постановки намного более широкой, — а я с удовольствием общался с занятыми в спектакле членами театральной труппы. Пьеса интересовала их, они с уважением отнеслись к ее автору и не корчили из себя всемогущих богов сцены или столпов поэзии, с чем мне неред-

ко приходилось сталкиваться в «настоящем» театрах. Когда премьера «Оле Лукойе» наконец состоялась, зал был переполнен.

В вечер премьеры в течение нескольких часов переменчивое море отношения публики к спектаклю прихотливо носило меня на своих волнах. Иногда на то, чтобы море окончательно успокоилось, уходят недели, но, как я сказал уже, в первый же вечер я пережил как шторм, так и штиль. Мое сочинение не поняли, во время первого действия в зале смеялись и шумели, а к концу второго общее отношение зрителей стало просто презрительным. В начале третьего действия публика стала покидать зал, и наверху, в клубе, многие говорили: «Какая чушь! Они уже в Китае! Бог знает, куда может завести фантазия автора!»

Но вот в начале третьего действия публика замерла. Если раньше все болтали, заглушая реплики актеров, то теперь стали вслушиваться в произносимые ими слова, в зале становилось все тише, наконец-то идея пьесы забрезжила в умах зрителей, завладела ими, и в результате стены зала потрясла волна ликующих аплодисментов. Когда занавес опустили, все, еще находясь под впечатлением от спектакля, хлопали в ладоши и расхваливали пьесу. Как ни странно, но в течение первых действий, когда на меня обрушивался град издевательств и насмешек со стороны публики, я не чувствовал огорчения. Первый раз в жизни я ясно осознавал, что против меня творится несправедливость; я был в этом уверен, чувствовал, что, оскорбляя меня, публика поступает со мной незаслуженно и нечестно. Поэтому аплодисменты в мой адрес, которыми спектакль закончился, не имели для меня никакого значения — были для меня пустым звуком. Когда я уходил из театра, ко мне подходили зрители, чтобы поблагодарить за пьесу, но я не принимал от них благодарности: «Надо мной издевались и меня оскорбляли, я должен сначала попробовать забыть об этом!»

Спектакль «Оле Лукойе» прошел много раз при полных сборах и с большим успехом. Я знал, что народ — простые люди, как принято называть бедняков — принял его, и теперь пожинал плоды успеха — слова народной благодарности, более важные для меня, чем любые другие, высказанные журнальной критикой или философами-диалектиками из различных высоколобых обществ. Однажды после окончания представления я заметил среди зрителей одного бедного

ремесленника. В глазах у него стояли слезы. Когда мы вместе выходили на улицу, он тронул меня за руку и сказал: «Спасибо, господин поэт Андерсен! Какую все-таки благословенную комедию вы написали!» Его слова были для меня дороже самой хвалебной рецензии.

Хочу рассказать еще об одном эпизоде. В доме одного государственного чиновника, который я посещал время от времени, хозяйка как-то рассказала мне, что однажды утром сильно удивилась счастливому выражению лица своего конюха. Она спросила у одной из служанок: «Хансу, видно, в чем-то счастье привалило? Он выглядит сегодня таким довольным». Девушка ей ответила, что один из билетов, которыми хозяева наградили горничных, едва не остался неиспользованным, и поэтому его отдали Хансу из конюшни. Этот Ханс был, что называется, самым настоящим деревенским увальнем, который только что не спал на ходу. «И вот он совершенно переменялся, — сказала служанка, — когда вчера вечером вернулся со спектакля “Оле Лукойе”. Ему так понравилось все, что он видел и слышал». «Я-то всегда думал, что счастливыми бывают только те, что с деньгами, да благородные господа, а вот теперь понимаю, что и мы, другие, счастливы не меньше их. Я уяснил себе это на спектакле. Это было как проповедь. Разница только в том, что я видел все своими глазами, и это было так здорово!» Ни одно суждение не обрадовало меня и не польстило больше, чем то, что высказал этот бедный и необразованный парень!

Пожилая, весьма достойная дама, театры посещавшая нечасто, посмотрев представление «Оле Лукойе», искренне и с высочайшей похвалой писала мне об исполнении роли Кристиана: «...В совершенный восторг, чего я никогда не забуду, привела меня великолепная игра Шмидта. Нет, грешно было бы называть ее игрой. Это была сама истина жизни, великолепная, дарованная самой Природой истина — настолько прекрасная, что даже я, старуха, плакала от радости, преисполнившись сочувствия к его несказанной, нежной, ребяческой любви. Передайте ему привет от бабушки, скажите ему, что я внимала каждому его слову, следила за каждым его движением, мое умиротворенное сердце трепетало; да, я была в эти моменты его бабушкой, а он — моим внуком. Ах, если бы ему удалось не стареть — его роль не может играть или, вернее сказать, исполнять актер более зрелого возраста».



Пьеса шла много раз, собирая полные залы, но скоро распространилась весть, что один писатель, из тех, кто в последнее время поставлял свои произведения театру «Казино», в соавторстве с молодым литератором написал пародию на мою сказочную комедию. Эту пародию собирались ставить в провинциальных театрах или по крайней мере в Театре марионеток г-на Бучери. Данное известие сильно огорчило меня, ведь именно я первым оценил талант этого писателя и во многом содействовал его признанию, что, однако, не помешало ему, закрыв глаза на все истинно поэтическое в моем произведении, выступить, как я тогда понял, с выпадом против меня чисто личного свойства, граничащим с издевательством. Я ожидал теперь всего, что угодно, любых оскорблений и насмешек, тех, в которых не испытывал недостатка на родине и от которых так страдал. В подавленном и дурном настроении, еще до того как я прочитал эту пародию, я получил во время моего пребывания в Глорупе письмо от Х.К.Эрстеда, в котором он излагал свое мнение обо мне как поэте и подтверждал свое дружеское ко мне отношение. Я привожу здесь это письмо, поскольку оно раскрывает еще одну сторону затронутого мной дела и, кроме того, весьма интересно с точки зрения характеристики его автора.

«Копенгаген. 18 июля 1850 г.

Дорогой друг!

...Дурное настроение, которое владело Вами, когда Вы писали Матильде, лучше всего позабыть, если только Вы этого уже не сделали до того момента, когда письмо попадет Вам в руки. Вы уже обогатили литературу таким количеством замечательных произведений, что никто, кроме Вас самого, не может обвинить Вас в незначительности Вашего в нее вклада. Этого не смеют заявить даже Ваши враги. Если все же какой-нибудь Ваш недруг и будет настолько неучтив, что выступит с подобным обвинением, Вы вполне можете утешиться тем, что таким нападкам подвергались почти все великие люди. Я часто наблюдал, как английские журналисты высмеивают самых замечательных деятелей своей страны. Помню, например, как Питта, великого государственного деятеля, как-то обозвали болваном. От злобных нападок приходилось страдать Попу в прошлом веке и Байрону в нынешнем. Не лучше обходились с Гёте и Шиллером в Германии. Эленшлегера и Багтесена, сколь различ-

ными они ни были и сколь враждебно ни относились друг к другу, объединяло одно — оба зачастую подвергались самым жестоким нападкам. Если же выйти за ряд представителей поэзии, я могу назвать Вам моего брата а также Мюнстера, которых третировали с не меньшим ожесточением.

Поэтому по возможности обращайтесь на эти нападки как можно меньше внимания. Раз и навсегда твердо установлено, что созданные Вами замечательные поэтические шедевры навеки обеспечат Вашему имени как здесь, на родине, так и за границей непреходящую славу.

Вы пишете, что работали над «Оле Лукойе», как и над прочими сказочными произведениями, весьма осмысленно и тщательно. Я насколько в этом не сомневаюсь, поскольку всегда понимал содержание всех Ваших сочинений, написанных в форме сказки. В том числе и «Оле Лукойе», с единственным, однако, исключением. Воображаемый образ, нарисованный в этой сказке, в основных чертах мне достаточно ясен. И все же полному его пониманию препятствует одна чисто практическая трудность: я не могу охватить взглядом столь длинный сон со столь многочисленными персонажами, действующими, страдающими — живущими. К тому же сон этот представлен таким образом, что одни и те же лица выступают попеременно то как видения, то — как реальные лица. Возможно, это мое мнение ошибочно, но, даже если я и прав, «Оле Лукойе» не перестанет от этого быть порождением высокого духа и тонкого искусства. Пойду еще дальше! Смею утверждать, что даже если эту вещь и нельзя оценить слишком высоко и если она намного уступает вашим остальным произведениям, то это не должно особенно Вас печалить, хотя может чуть-чуть обидеть, ибо ведь общеизвестно, что и Гёте, и Эленшлегер, и Багесен и еще многие другие знаменитые писатели печатали произведения, значительно уступавшие их шедеврам.

Надеюсь, что Вы, как и раньше, не станете защищаться от Ваших обидчиков. Хочу Вас предостеречь: не мстите им — даже дав им сдачи, Вы ничего не добьетесь. На мой взгляд, Вы поступили бы мудро, если бы написали сочинение по эстетике жанра сказки. Это развеяло бы множество заблуждений. В этом сочинении я бы посоветовал Вам в качестве примеров исследовать произведения других писателей, хотя, конечно, из рассмотрения не стоило бы исключать свои, избегая вместе с тем полемичности. И, наконец, я хочу сказать, что отнюдь не

советую братья за эту работу, если она лишит Вас возможности заниматься собственными поэтическими сочинениями, нет, нет, отнюдь, тогда бы я братья за нее отсоветовал...

Всегда Ваш  
Х.К.Эрстед».

Этим же летом в Глорупе и в великолепном Корселитсе на Фальстере я закончил свою, может быть, наиболее тщательно написанную книгу «По Швеции». Это было последнее из моих произведений, которые я читал Х.К.Эрстеду, и оно ему в высшей степени понравилось. Две главы из книги — «Вера и наука», а также «Калифорния поэзии» — возникли непосредственно под влиянием наших с ним бесед и размышлений над его книгой «Дух в природе». Мы с ним немало о них спорили. «Вас так часто упрекали за недостаток образования, — говорил он в своей характерной, мягкой и чуть насмешливой манере, — так, может быть, вы станете тем из поэтов, кто сделает для науки больше всего!» Этот же мотив прозвучал позже в «Постскриптуме», которым я снабдил английское издание моих путевых записок в серии Рутледжа «Народная библиотека». Я думаю, что не буду истолкован неправильно, я не собирался и не собираюсь заниматься наукой в полном смысле этого слова. Нет, я всего лишь намерен черпать из этой сокровищницы свой поэтический материал. Из нее, в частности, и вышла сочиненная мной сказка «Капля воды». Ее упоминает в своей книге «Дух в природе» Эрстед в том месте, где он рассказывает о научных открытиях, нашедших свое отражение в мире поэзии.

Эрстед понимал и одобрял мой пристальный интерес и восторг, с которыми я следил за всеми новейшими открытиями, считая их материальными воплощениями духа нашего времени. «И все же, — как-то в шутку сказал он, — вы согрешили против науки, забыли, сколь многим вы ей обязаны. Вы ведь ни словом не обмолвились о ней в своем прекрасном стихотворении «Дания — моя родина». Пришлось мне поработать за вас и возместить этот недостаток!» — и он принес мне строфу, которую написал и присоединил к моему стихотворению, вставив ее между третьей и четвертой строфами оригинала. Его строфа звучит следующим образом:

А имена, что на скрижалях вековых  
Науки Дании сыны поначертали!..

Они нам говорят о светлой звездной дали,  
О тайных силах и небесных и земных!..  
Любуюсь Зунда светлой полосой,  
Что окаймляет берег наш волнистый  
И пылью орошает серебристой...  
Люблю, люблю тебя, мой край родной!\*

Когда я вновь прочел ему переработанные после наших бесед главы «Вера и наука» и «Поэтическая Калифорния», он дружески пожал мне руку и сказал, что они мне удались так же хорошо, как и в первоначальном виде.

Во время моего пребывания в Глорупе он прислал мне вторую часть «Духа в природе» и писал об этой книге:

«Не смею надеяться, что она произведет на Вас то же благоприятное впечатление, какое, как я с радостью узнал, произвела первая, потому что новая моя книга, в основном, призвана подробнее объяснить первую. Тем не менее недостатка новизны в ней не будет, хотя, заверяю Вас, образ мыслей и тон я сохранил тот же самый».

Книга полностью покорила меня, и я выразил мою благодарность и радость по этому поводу в пространном письме, которое здесь цитирую:

«...Вы считали, что новая часть книги не произведет на меня того же впечатления, что старая, но я должен заявить Вам, что они друг от друга неотделимы, как струи в полноводном потоке. Что особо меня радует, я будто вижу в ней собственную мысль, в которой ранее полностью не отдавал себе отчета. Ясными и четкими словами Вы выразили в ней мою веру, мои убеждения. Я не согласен с епископом Мюнстером, уж он-то должен был увидеть и понять то, что ясно мне, как солнечный день. Я не только сам изучил, но потом и некоторым другим читал "Отношение естественной науки к некоторым религиозным догматам". Эта глава особенно хороша для лекций, и я бы предложил прочитать ее каждому. Я не отношусь с пренебреже-

---

\* Перевод А. и П.Ганzenов.

нием к слепой вере людей кротких и набожных, но поистине благодатной считаю веру, совмещенную со знанием. Господь Бог, наверное, простит нам, если мы будем воспринимать Его, используя разум, которым Он сам же одарил нас. Я не хочу идти к Нему с завязанными глазами, намного лучше смотреть на мир глазами открытыми, я хочу видеть и знать, и даже если я приду к тому же итогу, что слепо верующий, все равно моя мысль станет от этого только богаче. Я с радостью читал Вашу книгу, и радость эта, помимо всего прочего, проистекала из того, что я с легкостью ее понимал. Она как бы предлагает мне готовые итоги моих собственных раздумий; при чтении ее я всегда могу сказать: «Да, я бы сказал точно так же!» Истина, заключенная в ней, перешла ко мне и стала неотъемлемой частью меня самого.

Между тем я прочел только половину книги, меня оторвали от нее известия о ходе военных действий, после чего я не мог думать ни о чем другом, кроме них. Однако я не мог без конца медлить с ответом и спешу от всей души поблагодарить Вас. — — —

Я был настолько взволнован, что ничего не мог писать целых восемь дней. При мысли о гибели столь многих молодых людей, пожертвовавших своей жизнью — а я ведь лично знал многих из них, — я забываю о победах наших храбрых солдат. Полковник Лэссё, как Вам известно, был моим другом, я знал его еще с тех пор, когда он был кадетом, и всегда чувствовал, что из него получится достойная личность. Каким бесконечно ясным умом он обладал, какой твердой волей и к тому же еще знаниями и высокой образованностью. Я так любил его! Как часто он, хоть и был моложе меня, высказывал самые смелые мысли, обрушивая их на меня или шуточно иронизируя надо мной, а зачастую и высмеивал болезненные плоды моей чрезмерной фантазии. Иногда, возвращаясь из дома его матери в город, мы живо обсуждали текущие события, мир вокруг нас или будущее — и вот теперь его больше нет! Несчастная старуха, должно быть, совершенно убита, не знаю, как перенесет она это горе! Он пал смертью храбрых в тот же день, что и Шлепегрелль с Трепкой, в небольшом городке возле Истеда. Как рассказывают, первых наших солдат жители встречали хлебом и солью, но, как только остальные, успокоенные таким примером, вступили в город, как тут же все двери и ворота распахнулись и из них вырвались инсургенты и обыватели, мужчины и женщины, и стали наши войска расстреливать. Мужество наших солдат беспримерно, они шли против вражеского огня че-

рез глубокое болото, перепрыгивая с кочки на кочку, и, несмотря на то что картечь валила их, точно мух, следовали каждый за своими товарищами вперед и в результате погнали врага с его укрепленных позиций. Если бы только это сражение стало последним! Но мы не знаем, что еще нам предстоит пережить и сколько будет загублено жизнью.

И все-таки Бог восстановит истину, и мир еще засияет над нашими странами! Горе заглядывает в окна каждого дома в наступившие ныне скорбные и судьбоносные дни! Меня так и подмывает поехать туда, чтобы ощутить дыхание царящей там жизни, но я подавляю в себе это желание. Я знаю, что зрелище несчастий, которым меня встретит театр военных действий, подействует на меня слишком уж сильно. Ах, если б я мог что-то сделать, хоть как-то утешить кого-нибудь или укрепить дух в тех, кто страдает. К пригорюнию, я не в силах!

Живите же счастливо и будьте здоровы!

Сыновне преданный Вам

Х.К.Андерсен».

Когда поступили новости о сражении при Истедде, я не мог радоваться победе, я был слишком взволнован и удручен гибелью Лэссё. Посреди ночи я написал его матери, не зная, наделил ли Господь ее силою, которая помогла бы ей перенести потерю.

#### ПОЛКОВНИК ЛЭССЁ

Сердце угасло... Дух твой высок  
И светел был, словно твердь,  
Но слово: «Вперед!» — и последний бросок:  
За датское дело в битве ты лег,  
Победу увидел и — смерть.  
.....  
Плачь, бедная, мать: «Ведь был он живой!  
И был молодой!» — вовек молодой  
Пребудет посмертная слава!

Бои окончились, мы одержали победу, и снова засиял мир — тот самый мир, о котором я с восторгом услышал.

Возвращение солдат стало праздником, днями, осветившими мою жизнь и оставшимися в ней прекрасными воспоминаниями. Я напи-

сал песню в честь шведских и норвежских добровольцев. Этой песней встретили их датчане у Железных ворот на аллее Фредериксберга. В районе Вестерпорт красовалось приветствие:

«Ты сдержал свою клятву, храбрый солдат!»

Все цеховые корпорации со знаменами и эмблемами, ранее знакомыми нам только по спектаклю «Ганс Сакс», вышли встречать войска — тысячи простых людей, собравшись вместе, получили возможность убедиться в важности положения, занимаемого в стране их сословием; каждый с гордостью воспринимал цеховое знамя как свой собственный флаг. Звучала музыка. На Старой площади взрывался искрами фейерверк «Золотые яблоки», обычно запускавшийся только в день рождения короля.

Повсюду развевались датские, норвежские и шведские флаги. На многих красовались чудесные приветственные надписи. Я особо выделю одну из них: «Победа — Мир — Примирение». Когда на месте праздничной встречи появились первые вернувшиеся с войны солдаты, по моим щекам покатались слезы.

— Идут! Идут! Слышь, пушка палит!  
 Живы, здоровы и бравы на вид!  
 Ура! Ура нашим храбрым солдатам!  
 В ружье — цветок, на шляпе — букет,  
 Это — весны наступленье.  
 Рядом шагайте, бегите им вслед:  
 Наше вам благословенье!  
 Мы их послали на смерть, на бой —  
 Вернулись, не знают, что каждый — герой,  
 И каждая девушка парня такого  
 Расцеловать готова.  
 Ура! Ура нашим храбрым солдатам!

Манеж, украшенный флагами и гирляндами, превратился в зал победы. В нем под пальмами с золотистыми фруктами были расставлены столы для офицеров, рядовых усадили за длинными столами, студенты и прочие штатские молодые люди им прислуживали. Музыка, пение и речи сменяли друг друга, на воинов лился настоящий дождь из цветных венков и праздничных букетов. Я был рад,

что мне довелось присутствовать на таком празднике, и с удовольствием разговаривал с этими скромными храбрыми людьми, которые даже не отдавали себе отчета, что они — герои.

Я спросил одного, удобно ли их разместили в казармах, и он, родом из шлезвигского Ангельна, ответил: «Великолепно! Первую ночь здесь мы почти не спали, до того было хорошо — нас ведь уложили на матрацах да еще и под одеялом! На войне мы не снимали одежды по три месяца, но самое худшее в бараках — это жуткий дым от сырых поленьев. Здесь же спать — одно удовольствие. Да и народ здесь, в Копенгагене, весьма обходительный!» И еще солдат очень хвалил Фленсбург, по его словам, настоящий датский город: «В жаркие дни люди оттуда приезжали к нам в Шлезвиг и привозили вино и воду! Это было для нас истинным спасением!»

Солдаты вели себя скромно, особенно пехотинцы. Каждый указывал на самого, по его мнению, храброго из товарищей, и венки, которые бросали им в толпу, надевали на голову наидостойнейших. В Манеже, где за столами собрались тысяча шестьсот человек — пехотинцев и гусар — и где произносили множество речей, один из офицеров сказал солдату-пехотинцу: «Встань и скажи речь, ты ведь прекрасно говоришь!» — «Только не здесь, я к такому не привык», — отвечал тот. «Нет, было бы прекрасно, если бы как раз здесь выступил рядовой!» — «Ну, так пусть произнесет тост кто-нибудь из гусар!» — скромно сказал солдат.

На празднике звучало очень много вдохновенных и жизнеутверждающих речей, которые публика встречала с неизменным одобрением. Зачастую выступали даже те, слова у которых не поспедали за переполнявшими их чувствами. Из выступления одного весьма почтенного парламентария мне запомнилось, например, только следующее: «Вы — из Ютландии, и я — из Ютландии, мы перенесли многое, и вы перенесли многое. И вот вы — здесь! Многие из вас — из такого-то города, другие — из такого-то, ну а я из такого-то! Урра!»

Директор театра «Казино» Ланге раздавал бесплатные билеты на представления, чтобы солдаты тоже смогли побывать на них, и я с несказанной радостью прислуживал в театре солдатам, сажал их на указанные места, разговаривал с ними, многое объясняя. К моему удивлению, я обнаружил, что большинство солдат ни разу в театре не были, и даже не представляют себе, что такое комедия. Ве-



стибюле и коридоры театра в те дни были празднично украшены зелеными ветками, цветами и флагами. В антракте я столкнулся в вестибюле с двумя солдатами. «Ну, как вам понравилось то, что вы видели?» — спросил я. «Ах, здесь все так красиво!» — «Ну, а сама-то комедия?» — «Разве внутри показывают что-то еще?» — спросили они. Эти солдаты все время спектакля провели в коридорах, они глазели на газовые фонари и флаги, смотрели, как их товарищи и прочие зрители спуют вверх и вниз по лестницам.

В эти торжественные дни отмечали еще один частный или, вернее, семейный праздник. Два года назад, как раз во время эпохальных изменений в общественной жизни, ушел в отставку тайный советник Коллин; восемнадцатого февраля 1851 года он справлял свой юбилей; без особой помпы его отпраздновали в семейном кругу.

В венках зеленых по домам солдаты  
 Расходятся, и всюду торжество,  
 И как чудесно совпадают даты —  
 Сегодня день рожденья твоего.  
 За истину сражаясь ежечасно,  
 Добру и красоте ты послужил,  
 И в королевстве нашем не напрасно,  
 Но всем на благо полстолетия жил.

Твои дела, плоды которых зреют,  
 Потомки будут помнить и ценить,  
 Но ведь они, конечно, не сумеют  
 Тебя, как мы, как близкие, любить,  
 Ведь ежедневно, возводя на царство,  
 Тебя мы ежедневно лицезрим,  
 Как подданные души государства  
 Души твоей, тебя боготворим!

Пусть плющ весенний разрастется шире,  
 Дом воробьиный, по стене листвою,  
 Пусть колокол поет о мире в мире,  
 Пусть много весен будем мы с тобой!  
 В «зеленых далях» за цветком победы  
 Распустится навечно мира цвет,

Коль юные есть прадеды и деды  
Средь нас... Ура! Ура! И многих лет!

И в те же праздничные дни, когда солдаты возвращались домой, а вокруг звучали песни и праздничные салюты, нас посетило тяжелое горе — в одну неделю умерли фру Эмма Хартманн и Х.К.Эрстед.

Эмма Хартманн была удивительно одаренной женщиной, она отличалась живым и веселым нравом, естественностью, в которой не было ни тени фальши. Такой гармоничной красотой наделены лишь поистине гениальные люди. Она была одной из тех, кто допустил меня в сокровищницу своего духа, нрава и сердца, кто был для меня тем же, чем является солнечный луч для растения! Невозможно описать то богатство веселья и радости, ту приветливость, которые излучало все ее существо. Истинно сказал священник и поэт Бойе у ее гроба: «Ее сердце было Божьим храмом, до краев наполненным любовью, которую она щедро изливала на окружающих — не только своих родных и близких, но и на бедных, больных и убогих, — пока не исчерпала ее до дна!» У нее действительно всегда находилось приветливое слово или шутка, с которыми она отдавала лучшее в себе каждому. И столь же истинно священник свидетельствовал о том, что «ее натуре были присущи радость и пылкие чувства, которыми она одаривала окружающих; она словно выпускала на волю веселых певучих птиц, что создавало в ее доме настроение радостного весеннего дня!». И в самом деле, птицы ее радости щебетали свободно, как на воле, к вящему удовольствию окружающих. Любые слова, срываясь с ее уст, словно облагораживались у нее на устах; она, как ребенок, могла сказать что угодно, ибо все чувствовали, что сосуд, из которого льются эти речи, кристально чист. Она часто шутила и придумывала веселые розыгрыши, но чтобы подобное тому, что она говорила в каждодневном быту, печаталось на бумаге или произносилось со сцены — нет, это показалось бы ей ужасно комичным: ну, что вы, как же можно предлагать почтенной публике в «Дороже жемчуга и злата» шуточки Царя духов и дерзкие реплики Греты по поводу аиста и образа его мыслей! Фру Хартманн, правда, пошла однажды и посмотрела вышеупомянутую пьесу, как, впрочем, и «Оле Лукойе», но только в силу особых, сложившихся тогда обстоятельств.

Как-то в сильную метель из школы, находившейся далеко, в Кристиансхавне, домой вернулись два ее старших сына. Третий же, в то время еще совсем маленький, по дороге отстал от них, и теперь фру Эмма Хартманн пребывала в тоске и страхе. Я пришел к ней именно в тот момент и сразу же предложил отправиться на поиски потерявшегося. Как на грех, мне в ту пору нездоровилось, и мчаться сломя голову в Кристиансхавн не особенно хотелось. Но чтобы не помочь ей — этого я не допускал даже в мыслях. Фру Хартманн знала о моем состоянии, и принятое мною решение весьма ее тронуло. Позже мне говорили, что, когда я отправился в путь, она, испытывая одновременно чувства страха за мальчика и благодарности ко мне, шагала взад-вперед по комнате и восклицала: «Это с его стороны поистине бесподобно! Придется и мне сходить и посмотреть “Дороже жемчуга и злата”! А уж если он приведет моего сыночка, тогда посмотрю еще и “Оле Лукойе”!»

«Вот какое я дала себе слово! — сказала она, когда я вернулся. — Придется посмотреть, хотя страшно!» И она посетила оба спектакля и немало смеялась на них — быть может, даже больше, чем они того заслуживали. Кроме того, эта женщина отличалась редкой музыкальностью, кое-какие ее пьесы, правда, анонимно, без упоминания ее имени, стали известны самой широкой публике. С присущей ей гениальной интуицией она сразу же распознала и поняла талант Хартманна и предсказала ему признание и славу, которых он добьется не только на родине, но и за границей. В этом сказала ее серьезность, эта женщина, которую большинство людей видели только смеявшейся и отпускавшей шуточки, мыслила очень ясно.

Во время одной из наших последних с ней бесед речь зашла о «Духе в природе» Эрстеда и о его тезисе бессмертия души. «Какая великая, поистине головокружительная мысль! Для нас, всего только людей, это слишком много! — вырвалось у нее. — Хотя мне хочется в это верить! Хочется!» И тут же глаза у нее заблестели и с уст сорвалась шуточка, направленная в адрес нас, ничтожных людишек, мечтающих «о всеобщем пришествии к самому Господу Богу».

А потом наступило то горестное утро! Хартманн заключил меня в объятия и сквозь слезы промолвил: «Она умерла..»

Надгробная речь тем временем продолжалась: «Там, где при жизни она, прилежная мать, сидела среди цветов, где она, слов-

но добрая фея домашнего очага, с любовью кивала мужу, детям и друзьям, где подобно озарившему дом солнечному лучу распространяла вокруг себя радость и всегда была для всех своих близких центром и сердцем их маленького мирка, там сейчас поселилась скорбь».

В тот час, когда умерла мать, неожиданно заболела младшенькая из детей, Мария. В одной из моих сказок «Старый дом» я увековечил ее черты в образе двухлетней девочки, которая, услышав музыку и пение, непременно должна была под них танцевать. Однажды в воскресенье, она вошла в комнату, где ее братья и сестры пели в то время псалом, и стала танцевать. Врожденный музыкальный вкус не позволил ей нарушить такт и мелодию псалма, поэтому ей подолгу приходилось стоять то на одной, то на другой ноге и танцевать очень медленно — в такт пению.

В смертный час матери склонилась и маленькая головка ребенка. Мать словно умолила Бога: дай мне в спутники одного из моих детей, самую младшую, ведь без меня она пропадет! И Бог внял ее молитве. В тот же вечер, когда гроб матери понесли на кладбище, умерла и девочка, которую через несколько дней похоронили рядом с матушкой; побегу с одного из лежавших там венков, не утратившие еще своей свежести, потянулись к детской могилке.

Лежавшее на смертном одре дитя словно бы стало старше — теперь черты его лица больше напоминали черты взрослой девушки; никогда еще я не видел ребенка, более похожего на ангела. Невинность его до сих пор отзывается в моей душе какими-то слишком ребячливыми для земного мира словами, которые я некогда услышал от нее. Когда ее как-то раз в возрасте всего нескольких лет должны были вечером купать, я в шутку спросил: «А мне с тобой можно?» — «Нет, — ответила она, — я еще так мала, вот когда стану большой, тогда будет можно!»

Смерть не стирает красоты человеческого лица, зачастую даже облагораживая его, безобразно только разложение тела. Никогда еще я не видел такой возвышенной красоты на лицах мертвых, как у матери этого ребенка; на нем разлились возвышенное спокойствие и святая серьезность; она словно стояла в эти мгновения перед лицом Господа. Более благородных мертвых лиц мне видеть еще не приходилось. Вокруг благоухал аромат цветов.

Цветы любила, и цветы лежали  
 Живым ковром на крышке гробовой.  
 Любила песни, и они звучали:  
 «Прощай!» — мы пели, плача над тобой.

Так пели мы у ее гроба, и эхом звучали за этим пением слова истины: «Ее суждения никогда не ранили человека, когда она говорила о людях и их делах, она не оскорбляла чести и репутации праведного человека, не позволяя в то же время клевете в устах других безнаказанно чернить честное имя. Она не взвешивала своих слов и не опасалась, что ее речи могут быть превратно истолкованы теми, кто не обладал ее искренностью».

На кладбище Гарнизонной церкви ближе к улице, у самой железной ограды находится одна могила, всегда более красиво убранная, чем другие, ухоженная и уединенная, — в ней покоится прах Эммы Хартманн и ее маленькой дочери Марии.

А через четыре дня я потерял Х.К.Эрстеда. Тяжесть этой утраты была для меня почти невыносимой. В лице двух моих ушедших друзей я лишился бесконечно многого: женщины, своим ироничным нравом, оживленностью, шутками и приветливостью поддерживавшей во мне душевные силы в моменты уныния и печали, а теперь еще и мужчины, которого я знал все годы, что прожил в Копенгагене, и которого понимал и любил, человека, разделявшего со мной все мои радости и неудачи. В последние дни я попеременно ходил то к Хартманнам, то к Эрстедам. Мне совсем не приходило в голову, что друга, который духовно поддерживал меня в борениях моего духа более всех, я видел тогда в последний раз; нет, я совсем этого не подозревал. Эрстед был так молод душой, он радовался жизни, он говорил со мной о планах на предстоящее лето, которое собирался провести в усадьбе Фасангорден в Фредериксберге. За год до этого поздней осенью он отпраздновал свой юбилей, и город подарил ему и его семье в пожизненное владение летнюю резиденцию, которую ранее занимал Эленшлегер. «Как только на деревьях появятся почки и на небе выглянет солнышко, мы сразу же переберемся туда!» — говорил он. Между тем в первых же числах марта он слег, хотя и сохранял при этом неплохое настроение. Фру Хартманн умерла шестого марта; в этот день я пришел к Эрстеду в глубокой

печали и там с горечью узнал, что у него воспаление легких. «Это его убьет!» — подумал я с ужасом, однако сам Эрстед верил в улучшение. «В воскресенье я встану с постели!» — объявил он; в воскресенье он предстал перед ликом Господа!

Когда я пришел к нему, он боролся со смертью, его жена и дети были у его постели, я же сидел в гостиной и плакал — мысль о потере Эрстеда совершенно меня сломила. В доме царили тишина, истинно христианское спокойствие и умиротворение.

Восемнадцатого марта состоялись его похороны, я сильно заболел, и для того, чтобы пройти короткий отрезок пути от университета до церкви, мне потребовалось собрать все свои силы и мужество. Это небольшое расстояние я преодолевал целых два часа. Надгробную речь произнес пробст Трюде, а не епископ Мюнстер. Его же об этом не попросили, говорили люди, как бы оправдывая епископа, но неужели же надо просить об этом друга покойного?! Мне хотелось плакать, но слез у же не было. Казалось, сердце мое вот-вот разорвется в груди!

В доме покойного остались только фру Эрстед и их младшая дочь Матильда. Они сидели и слушали звон колоколов — нескончаемый, многочасовой колокольный звон. Зычные звуки тромбонов слегка заглушали сердечную скорбь. Позже я тоже пришел в эту обитель скорби, и мы вспомнили о странном совпадении: в церкви звучал «Траурный марш» Хартманна, тот самый, что он сочинил для похорон Торвальдсена. Когда мы в последний раз слышали его, Эрстед еще был с нами, а играл его сам Хартманн. Все это происходило на квартире у фрёкен Бремер, когда она перед моей поездкой в Швецию устроила небольшой праздник. Маленькую Марию Хартманн, ту самую, кого утром упомянутого мной скорбного дня предали земле, тогда одели в костюмчик ангела, она преподнесла мне венок и серебряный кубок. Хартманн сыграл для нас несколько пьес. Как раз в этот момент фрёкен Бремер поднялась и попросила исполнить «Траурный марш», но при первых же торжественных аккордах она спохватилась, усмотрев в музыке недоброе предзнаменование или дурную примету, взяла меня за руку и попросила не воспринимать эту музыку как скорбный знак. «Торжественность марша предвещает величие!» — сказала она. И вот марш зазвучал по Эрстеду, тому, в честь кого, как я вначале предполагал, был затеян тот давний праздник, и это ему «Траурный марш» «предвещал величие»!

Он был так добр, так искренен он был,  
Душой — дитя, умом — мудрец. Поверьте,  
Здесь, в этом мире, Бог ему явил  
То, что другим является по смерти.  
Он был вершиной Дании, горой,  
В себе хранившей философский камень,  
Был добродушен, скромен, но — герой,  
Он был велик! И в нем пылавший пламень  
Молнийным отсветом нам озарял  
Безмерные сокровища. Для славы,  
Сын Дании, он из низов восстал  
И стал король, король своей державы —  
Науки чистой. Пусть его уж нет,  
Он стал звездой, его не меркнет свет!  
От нас, от близких, он неотделим:  
Ушел — и мы, отчасти, вслед за ним.

## XV

Над странами воссиял мир, засверкало теплое весеннее солнце, и меня потянуло в путь, захотелось жить. Я бежал наконец из города в светлые зеленеющие леса на берегах бухты Престё, в Кристи-нелунд. Моим молодым друзьям, которые жили там, хотелось, чтобы на их доме свили гнездо аисты, и они установили на крыше тележное колесо, но аисты все не появлялись. «Подождите, вот приеду я, — написал я им, — и аисты прилетят!» И точно, как я сказал, ранним утром в тот день, когда они ожидали меня, на крыше появились два аиста, он и она, и в момент, когда я въезжал к ним во двор, аисты всю занимались строительством. В текущем году я уже видел аиста в полете, а это, по старинным поверьям, означает, что увидевшему эту картину самому предстоит вскоре сняться с места и отправиться в путешествие. Мой полет в это лето оказался коротким: в самой южной точке его я обозревал башни Праги. Увы, глава книги моих странствий, относящихся к этому году, насчитывает совсем немного страниц, но первую же из них, как видите, украшает виньетка в виде аистов, занятых строительством гнезда, укрытого от ветров только что распутившейся листвой букового леса.

Кристинелунд, впрочем, снабдила виньеткой сама весна; прямо на полевой борозде принялась и зацвела яблоневая ветвь: это была весна в своем прекраснейшем проявлении! При виде этой ветки в памяти у меня сразу же всплыла одна маленькая история: «Разница, и большая!» Она, подобно многим прочим моим историям имеет корни в действительности. Каждый, взглянувший на жизнь и природу глазами поэта, способен к восприятию подобных проявлений красоты, в них отражена поэзия случая. Назову несколько примеров. Как раз в тот день, когда умер король Кристиан VIII, дикий лебедь в полете наткнулся на шпиль Роскильского собора и разбил себе грудь. Эленшлегер в своей стихотворной эпитафии королю увековечил этот памятный случай. В свою очередь, когда на могилу Эленшлегера принесли новые свежие венки, чтобы заменить ими увядшие, обнаружилось, что в одном из старых свила себе гнездо маленькая птичка. Как-то в одно теплое Рождество я побывал в Брегентведе; на широких каменных плитах, устилающих землю у обелиска в саду, покоился тонкий снежный покров; в рассеянности я начертил тростью на одной из плит:

Бессмертие — тот же снежок,  
Что завтра растает, дружок!\*

Я ушел; наутро случилась оттепель, а через несколько дней опять подморозило. Когда я вернулся на это место, весь снег там растаял, осталось только небольшое окошко льда с надписью: Бессмертие. Этот случай глубоко меня поразило, и в мыслях у меня прозвучало: «Господи, Господи! Я и не сомневался!»

Большую часть этого лета я провел в милом моему сердцу Глорупе у друга, благородного старого графа Гебхарда Мольтке-Витфельда. В тот год мы в последний раз жили здесь бок о бок. Следующей весной Бог призвал к себе графа, но мое проживание в его имении в этом году можно считать венцом всех предыдущих. Граф устроил в Глорупе праздник в честь тех мужчин из его имений, кто принимал участие в войне. Я уже ранее рассказывал о патриотических чувствах старика, о живом участии его во всех веяниях современности, а также о пребывании в Глорупе датских и шведских войск.

---

\* Перевод А. и П. Ганzenов.



И вот, когда наконец зазвучали победные колокола, солдатам устроили праздник, они получили возможность веселиться в честь великой победы целый день и всю ночь. Приготовления к празднику поручили мне, и я отдался этому телом и душою, праздник удался, что доставило мне немало радости.

В парке имения по обеим сторонам бассейна тянутся две длинные липовые аллеи. В одной из них я велел соорудить шатер пятидесяти локтей в длину, шестнадцати в ширину и десяти в высоту; пол настлали из обструганных досок — здесь должны были проходить танцы. Деревья аллеи превратились в колонны, их стволы обернули сияющей красной камкой, когда-то служившей обивкой для стен, а теперь лежавшей без дела в закутке чулана. Капители сделали из пестро раскрашенных щитов и огромных охапок цветов. Крышей для шатра послужила натянутая парусина, но под ней из верхней серединной точки во все стороны натянули потолок, изготовленный из гирлянд и щитов с изображением Даннеброга. Внутреннее пространство шатра освещали двенадцать люстр, раскрашенные в национальные датские цвета. На красном фоне стен цветами были выложены вензеля короля, а на разноцветных щитах красовались имена всех генералов.

Между двумя входами в этот танцзал под навесом, которым служил в этом случае национальный флаг Дании, возвышался на постаменте большой оркестр; с обеих сторон располагались чуть приподнятые ложи, а в самом верху между букетами цветущих незабудок стояло две вазы с факелами, задрапированными траурным крепом. На небольших черных щитах под ними написали имена первого и последнего из павших на войне офицеров — Хегерманна-Линденкроне и Дальгаса, а на двух других щитах — одинаковые слова «Солдат-пехотинец»; чуть выше были поименованы все места наших побед и располагался еще один мощный щит с выведенным на нем четверостишием:

#### СОЛДАТУ

Все претерпел, все перенес —  
Дороги, грязь и смертный бой.  
И рады мы тебе до слез:  
Бог спас — и ты живой!

Над головами публики парил венок из ветвей красного бука, увенчанный золотой короной и веткой лавра. Все это произвело на тех, для кого было предназначено, огромное впечатление. «Вот бы на это посмотрел сам король!» — сказал один крестьянин. «Такое убранство, наверное, стоит более тысячи далеров!» — предположил другой. «А может, и миллион!» — вторила ему жена. «Да это же чисто Царство Божие! — сказал старик, разбитый подагрой, которого принесли на праздник. — Этакая красота, музыка, роскошь! Не иначе как само Царство Божие!» Ни одно из моих произведений не заслужило столь единодушного одобрения и похвал, как это мое творение, которое само по себе мне, повидавшему так много декораций, созданных Бурнонвилем и ранее Карстенсеном, ничего не стоило придумать.

Праздник состоялся седьмого июля в прекрасную погоду. В час пополудни солдаты, маршируя, вошли во двор поместья, где священник встретил их приветственной речью. Затем музыканты сыграли мелодию «Храброго солдата», и воины потянулись в танцевальный зал, где уже были накрыты для них столы с богатым угощением. С маленького островка, где развевался флаг, раздался пушечный выстрел, заиграл оркестр, в глазах у всех сияли радость и удовольствие.

Старый граф произнес тост в честь короля, я прочитал свое стихотворение «Солдату», после чего последовало исполнение одной из моих песен. Среди множества прозвучавших здесь тостов мне запомнился один, произнесенный солдатом в честь человека, построившего этот прекрасный зал, на что один из гостей простодушно заметил, что, наверное, я заработал на этом неплохую денежку.

Ближе к вечеру пришли девушки. Каждому из мужчин предложили пригласить на танец одну из них, и в сияющем огнями зале начались танцы; на аллее, идущей вдоль бассейна, вспыхнула иллюминация — цветные фонарики и лампы, закрепленные в том числе и на деревянной мачте, положенной на воду. Форму большей части ламп и фонариков придумал я сам.

— На следующий год я повторю праздник! — сказал его превосходительство. — Приятно радовать так много людей сразу, к тому же таких честных и храбрых, как они!

Однако это был последний праздник, который ему довелось устроить. Весной следующего года Господь прибрал его к себе. Хотя в том же году в Глорупе состоялось еще одно торжество — сереб-

ряная свадьба детей графа. На него из крестьян пригласили только тех, что жили в имении, но зато — всех.

Солдатский праздник стал в Глорупе самым замечательным событием этого лета, а наградой за мои рвения и труды стала для меня радость, которая в эти знаменательные часы озарила ярким светом еще одну из блестящих страничек в сказке моей жизни.

В последний раз я посещал Германию еще до войны, и на театре военных действий я тоже не был — отправляться туда из любопытства, в то время как другие там сражались, претило моей совести. Но вот был заключен мир; теперь мы снова могли дружески встречаться и собираться, хотя из головы у меня все не шли кровавые события, наполнившие здешние края болью и страданиями. Наверное, поэтому первым делом я поехал туда.

Меня сопровождал один из моих молодых друзей, мы встретились с ним в Свендборге, и скоро пароход доставил нас на Альс, где еще не срыли зеленых укреплений и блиндажей. Во время плавания по Фленсбургскому заливу каждый стоящий на берегу кирпичный завод, каждый мыс рассказывали нам свою историю о войне. В самом Фленсбурге мы прежде всего собирались посетить «Могилу павших». Эта усыпальница — сад мертвых — возвышается над городом и заливом; я, придя сюда, сразу же принялся искать и нашел одно из захоронений — могилу моего друга Фредерика Лэссё; он покоится здесь между надгробиями Шлеппегрелля и Трепки. Я сорвал с могилы один зеленый листочек для матери Лэссё, а другой — для себя и с грустью поразмышлял о его краткой, но яркой жизни и о его неизменно добром отношении ко мне.

Скоро мы подошли и собственно к полю сражения. На местах сгоревших домов строились новые, но обнаженные пятна выжженной земли вокруг свидетельствовали о том, какой град пуль ей пришлось на себя принять: верхний слой был полностью сорван картечью. Грусть и печаль переполняли мне душу, я думал о Лэссё и о его последних мгновениях, размышлял о многих, что испустили здесь дух. Я ехал поистине по святой земле.

Город Шлезвиг все еще находился на осадном положении, управлял им комендант Хельгесен, я не встречал его прежде, но именно он первым повстречался мне, когда я вошел в гостиницу к мадам Эссельбах. Мощная фигура Хельгесена привлекала внимание; чер-

тами лица он очень походил на свой портрет, который я видел; это, конечно же, был он, герой сражения за Фредерикстад! Я подошел к нему и спросил, не он ли комендант города. Он ответил утвердительно и, когда я после этого назвал ему свое имя, тут же проникся ко мне расположением. Один из его офицеров проводил меня к древним укреплениям Данневирке и живо и красочно описал мне их: мощный вал королевы Тюры как будто вновь вырос прямо у меня на глазах, я видел волчьи ямы с их острыми кольями и зияющими провалами. Поблизости стоял все еще не снесенный барачный городок, в окнах офицерских домов красовались стекла. В одном из них теперь располагалось караульное помещение для солдат.

Вечер я провел у Хельгесена, оказавшегося дружелюбным, простым и прямым человеком, чем-то напомнившим мне Торвальдсена. Хельгесен упомянул одну из моих сказок, которая ему очень понравилась. Характерно, что это был «Стойкий оловянный солдатик».

У Кронверкета перед Редсбургом стояли датские солдаты, я кивнул им, и эти честные храбрые воины, признав во мне датчанина, заулыбались и закивали мне в ответ. Однако посещение Редсбурга и особенно проезд через него не доставили мне удовольствия; я ехал как будто по руднику, откуда вышла сама смерть, ведь это место, где зародился мятеж. Ко мне вернулись неприятные воспоминания, этот городок всегда производил на меня какое-то тоскливое, гнетущее впечатление, и теперь при виде его я, датчанин, испытывал болезненное и неприятное чувство. В поезде мне досталось место рядом с пожилым господином, который принял меня за австрийца, он хвалил моих якобы соотечественников и ругал датчан; тогда я сказал ему, что я — датчанин, и на этом наш разговор окончился; мне со всех сторон чудились враждебные взгляды. Чуть свободнее я вздохнул, только когда Гольштейн и Гамбург остались далеко позади.

В поезде на Ганновер из соседнего с моим вагона слышались датская песня и голоса молодых датчанок. На меня будто повеяло цветочным ароматом — и сразу же эти цветы-слова сложились в букет:

Поезд, лети!

Песня в пути!

От датской веселой и ласковой песни

Волнуется сердце в груди!

Странно, Дания и все датское стало гораздо ближе мне по эту сторону Эльбы. Никогда еще я не чувствовал себя настолько датчанином, как здесь, в Германии.

С друзьями и знакомыми я встретился только в Лейпциге и Дрездене. Их отношение ко мне осталось все тем же добрым и сердечным, и встреча оказалась радостной и душевной. Тяжелое и кровавое безвременье миновало, и общее настроение с той поры намного улучшилось. Почти все мои знакомые вполне признавали мощь и единство, проявленные в войне датским народом, кое-кто даже высказывался в том смысле, что «датчане защищали правое дело». Некоторые, конечно же, придерживались противоположного мнения, но они его не высказывали. В общем, мне не на что было жаловаться, кругом я видел только дружески расположенных ко мне людей и их сердечное ко мне отношение. Кстати, «поэзия случая», если мне позволено будет повторить этот термин, проявилась и здесь, сама природа породила поэтическое произведение в честь датчан. Я должен обязательно рассказать об этом событии, пусть само по себе оно и было малозначительным.

В великолепном поместье Максен, в нескольких милях от Дрездена, у гостеприимной семьи Серре, о которой я уже с благодарностью упоминал и рассказывал, я не был в течение семи лет. Когда я гостил там в прошлый раз, гуляя накануне отъезда с хозяйкой дома, я нашел малюсенькую лиственницу, которая могла бы поместиться в моем кармане. Ее кто-то выбросил на тропинку, я поднял деревце, оно оказалось поломанным. «Бедное дерево, — сказал я, — ты не погибнешь! — и стал искать в каменистом грунте плодородную почву, куда бы мог деревце посадить. — Говорят у меня легкая рука, — сказал я, — быть может дерево еще примется». Маленький участок почвы я нашел на склоне утеса в расщелине, воткнул туда деревце, ушел и напрочь забыл о его существовании.

— А деревце-то ваше в Максене прекрасно укоренилось! — рассказал мне через несколько лет в Копенгагене живописец Даль, только что из Дрездена приехавший.

В Максене, как я теперь услышал, деревце тоже стали называть не иначе как «Деревце датского поэта», эта же надпись значилась в течение ряда лет на табличке, выставленной перед ним.

Деревце пустило корни и ветви и выросло большое, ведь за ним хорошо ухаживали. По указанию фру фон Серре его обложили зем-

лей, потом часть скалы освободили взрывом порохового заряда, а недавно рядом проложили тропу и перед ней выставили указатель с надписью «Деревце датского поэта». Во время войны с Данией дерево не пострадало. Говорили, что оно зачахнет само собой, да иначе и быть не могло, ведь рядом росла могучая береза, заслонявшая лиственницу своими огромными ветвями, — уже этого было достаточно, чтобы рост последней прекратился и она погибла.

И вот в один прекрасный день — это было как раз во время войны — разразилась сильная гроза и ударившая в березу молния расщепила ее и обрушила вниз, оставив «Деревце датского поэта» в целости и сохранности.

Я приехал в Максен и увидел мое роскошное дерево, а рядом с ним пенек от расщепленной березы. Тут же на табличке красовалась надпись. Я прибыл как раз в день рождения майора фон Серре, и этот праздник собрал всю интеллектуальную элиту Дрездена. С песнями и цветами пришли поздравить майора также рабочие с мраморной каменоломни и с завода по производству извести.

В каждом из моих путешествий мне везло на какие-нибудь особые и интересные встречи. Поездка на поезде от Лейпцига до Дрездена не стала в этом отношении исключением. Рядом со мной в вагоне сидела пожилая дама с большой корзинкой еды, которую она держала на коленях; с ней ехал парнишка лет одиннадцати, она называла его Генри. Сильно устав от дороги, продолжавшейся уже сутки, мальчик с тоской выискивал взглядом шпиль дрезденских соборов. Напротив меня разместилась молодая и энергичная дама, весьма самоуверенно высказывавшаяся на темы искусства, литературы и музыки, в которых она, по ее мнению, разбиралась. Дама провела в Англии немало лет; все мои попутчики ехали из Бреды.

Во время остановки поезда, когда я вместе с двумя прочими моими спутниками вышел из вагона, мы стали гадать, кем бы эта дама могла быть. Я принимал ее за актрису, кто-то высказал предположение, что она служила гувернанткой в какой-нибудь знатной английской семье. Когда я прогуливался, пожилая дама тихонько тронула меня за рукав и сказала: «Это — удивительная особа!» — «Но кто она?» — поспешил спросить я. «Мадемуазель!..» — Женщина не закончила фразу: молодая дама, выбравшись из вагона, снова с нами заговорила. Но мое любопытство было уже разбу-

жено. «Антуанетта! — прокричал ей брат. — Дрезден — вон в той стороне! Антуанетта!»

Когда мы сошли с поезда, я шепотом все-таки спросил старушку, кто же такая эта молодая дама, и та с загадочным видом прошептала мне при расставании: «Мадемуазель Бурбон». А кто такая Антуанетта Бурбон, спросил я в Дрездене, и мне объяснили, что так зовут дочь известного часовых дел мастера в Женеве, который выдавал себя за несчастного дофина, сына Людовика XVI и Марии Антуанетты, и что дети, с которыми я ехал в одном вагоне, какое-то время жили в Англии, а теперь проживают в Бреде, но иногда инкогнито посещают Дрезден. Одна пожилая француженка, искренне верившая, что они — подлинные дети дофина, жила с ними и только ими. Рассказанное вполне соответствовало внешности и поведению моих спутников: лицо Антуанетты выглядело по-королевски гордо, ее вполне можно было бы принять за дочку дофина или, во всяком случае, человека, имевшего несомненное внешнее сходство с Бурбонами.

Я знал, что в Веймаре в то время не было никого из моих друзей; все они разъехались кто куда. Поэтому визит в Веймар и продолжение путешествия я отложил на следующий год.

Этой же осенью, шестого октября 1851 года, на родине мне присвоили звание профессора.

А с приходом весны, когда в лесу распустились первые листочки, встрепенулся и я. И продолжил нить своих странствий там, где она оборвалась в прошлый раз, а именно — в дорогом моему сердцу Веймаре. Тамошние мои друзья, начиная от дома великого герцога до многочисленных знакомых и приятелей в городе, остались мне верны и оказали, как всегда, самый радушный прием. Больё де Марконэ стал за то время, что мы не виделись, гофмаршалом и директором театра; он был уже женат, и в его гостеприимном доме меня, как и в старые времена, принимали как друга и, можно сказать, как брата. В гостиной уже резвились несколько ребятишек, сразу же потянувших ко мне свои руки, а хозяйка предстала передо мной в образе ангела-хранителя домашнего очага. В этой семье царили покой и счастье.

Чем еще был отмечен в букете воспоминаний этот мой визит в Веймар, так это общением с Листом, который, как известно, служил здесь капельмейстером и в целом оказывал на всю музыкальную жизнь здешнего театра большое влияние. Особой своей зада-

чей он видел продвижение на сцену значительных музыкально-драматических произведений, которых пока что немецкий театр не принимал. Благодаря ему Веймар поставил берлиозовского «Бенвенуто Челлини», который представлял для местной публики особый интерес, ибо главный герой был ей известен по «Бенвенуто» Гёте. Хотя более всего импонировала Листу музыка Вагнера, для признания и популяризации которой он не щадил сил: во-первых, всячески способствовал ее исполнению на сцене, во-вторых, неоднократно поддерживал ее в печати. Лист выпустил на французском языке целую книгу об операх Вагнера — «Тангейзере» и «Лоэнгрине»; первая особенно близка для веймарцев своим сюжетом, поскольку относится к тюрингским сказаниям, а сцена, на которой разворачивается ее действие, это Вартбург. Вагнера Лист называл самым значительным композитором современности, с чем я из естественного чувства справедливости согласиться не могу, поскольку считаю все его сочинения чрезмерно рассудочными. Я восхищаюсь в «Тангейзере» бесподобным и прекрасно звучащим речитативом, в котором по возвращении в Рим Тангейзер описывает свое паломничество, — он действительно великолепен! Я признаю также величие и живописность аранжировки оперы. Тем не менее, на мой взгляд, ей не хватает души, истинного цветка музыки — мелодии.

Вагнер сам пишет либретто для своих опер и, как поэт, работающий в этом жанре, добился выдающихся результатов. Его либретто интересны разнообразием сцен и оригинальностью положений, сама музыка, когда я слушал ее впервые, казалась мне океаном звуков, накатывавшимся на вас и поглощавшим душу и тело! Когда после окончания «Лоэнгрина» весь охваченный пламенным энтузиазмом и восторгом Лист вошел в мою ложу, я сидел подавленный и усталый. «Ну, что скажете?» — спросил он, и я ответил: «Признаться, я едва жив». «Лоэнгрин» показался мне странным шелестящим деревом, на котором, однако, нет ни плода, ни единого цветочка. Пусть меня не поймут неправильно, я не считаю свои суждения о музыке неоспоримыми, но все-таки я лично требую от нее, как, впрочем, и от поэзии, наличия трех начал — разума, фантазии и чувства, а последнее проявляется прежде всего в мелодии! Я считаю Вагнера современным композитором-мыслителем, волевым и могучим разрушителем всего ветхого и устаревшего, но, по мне,



в нем не хватает божественного начала, присутствующего в музыке Моцарта или Бетховена.

Многочисленная и влиятельная партия ценителей искусства разделяет мнение Листа о Вагнере, и со временем в ее рядах насчитывается все большее число его сторонников, как, например, обстоит ныне дело в Лейпциге, но так было далеко не всегда. Однажды несколько лет назад в Гевандхаусе после исполнения нескольких пьес разных композиторов, которым бурно аплодировали, сыграли увертюру к «Тангейзеру». Я тогда услышал ее, как, впрочем, и само имя Вагнера, впервые. Красота этого превосходного музыкального сочинения захватила меня, и я отчаянно зааплодировал. Но... я был почти единственным, кто сделал это. Со всех сторон на меня смотрели удивленные лица, на меня шикали, но я остался верен своему впечатлению, похлопал еще и даже крикнул «Браво!», хотя внутри у меня от смущения все сжалось и кровь прихлынула к щекам. Теперь же, напротив, вагнеровскому «Тангейзеру» аплодировали все. Я рассказал об этом Листу; он же и все его единомышленники-музыканты наградили меня за то, что я последовал своему истинному чувству, возгласами «Браво!».

Из Веймара я направился в Нюрнберг! Вдоль железнодорожного пути был протянут провод, а по нему бежали электромагнитные волны! Я — истый датчанин, и потому всякий раз, когда речь заходит о чести моей страны, сердце у меня начинает биться быстрее обычного! Так случилось и во время этой поездки. Рядом со мной в вагоне сидели отец с сыном, отец указал сыну на электрический провод. «Смотри, — сказал он, — эту штуку изобрел датчанин Эрстед!» В эту минуту я гордился тем, что принадлежал к народу, чьим сыном был Эрстед.

Передо мной раскинулся Нюрнберг. В одной из моих «Историй», а именно «Под ивой», я попытался описать красоту этого старинного города. Впрочем, сюжетный фон для этой истории я позаимствовал также из моего путешествия по Швейцарии и горному массиву Альп. Мюнхен я не видел с 1840 года; я сравнил его в моем «Базаре поэта» со стеблем розы, ежегодно пускающим новые побеги: каждую новую ветвь составляли новые улицы, каждый распустившийся листок — построенный новый дворец, церковь или памятник. На этот раз город предстал моему взору цветущим могучим деревом, один цветок его

назывался Базиликой, другой — Баварией, именно это я и ответил королю Людвигу на вопрос, как понравился мне Мюнхен. Далее наш разговор коснулся Торвальдсена, и король воскликнул: «Дания потеряла в его лице великого художника, а я — друга!»

Мюнхен, по моему мнению, — самый интересный из германских городов, чему особо способствовала неутомимая деятельность короля Людвига, тонкого ценителя искусства. В полном расцвете сил находится здешний театр. Его делами ведает один из самых способных директоров поэт д-р Дингельштедт. Он каждый год объезжает все наиболее известные сцены Германии, знакомясь там с подающими надежды молодыми талантами, посещает Париж и изучает его театральный репертуар, театры и вкусы публики. Вскоре мюнхенский Королевский театр сможет предложить своим зрителям образцовый репертуар. Кроме того, он оборудован «подвижной сценой», то есть оформлению спектакля придается в нем намного большее значение, чем у нас на родине, где мы, например, ставим «Дочь полка», а действие, разворачивающиеся в Тироле, происходит на фоне декораций с пальмами и кактусами или же жилищем Нормы в одном действии выступает греческий дом Сократа, а во втором — пальмовая хижина Робинзона Крузо. Более того, иногда мы объединяем в одной сцене декорации, которые на переднем плане озарены солнечным светом, с задником, где видна открытая дверь на балкон и за ним темно-синее звездное небо! Ни малейшего здравого смысла, никакого, пусть самого элементарного, внимания к обстановке! Впрочем, никто этого не замечает, и никого это не беспокоит, ведь ни одна газета подобную бессмыслицу не критикует!

Мюнхенский репертуар разнообразен, здесь стремятся усвоить достижения театров различных стран, а директор театра устанавливает связи с самыми известными на сегодняшний день писателями. Я, например, получил от него весьма лестное письмо, в результате чего между нами завязалась переписка; он хотел больше знать о репертуаре датских театров и в том же письме сообщил, что ныне правящий баварский король знает мои произведения и весьма мной интересуется. Таким образом, сразу же по приезде в Мюнхен я посетил директора Дингельштедта, тут же предложившего мне одну из лучших лож, которой я и мой спутник могли располагать в течение всего нашего пребывания в городе. Он также сообщил о моем при-

езде королю Максу, от которого на следующий же день я получил приглашение на званый обед в охотничьем замке Штарнберг, где пребывал в то время Его Величество.

Меня сопровождал туда тайный советник миссии фон Дённигес. Железная дорога с присущей ей стремительностью доставила нас на место, и мы заблаговременно прибыли к небольшому замку, красиво расположенному у озера в окружении Альпийских гор. Король Макс оказался молодым и в высшей степени обаятельным человеком. Я встретил у него милостивый и в то же время дружеский прием, он сказал мне, что мои сочинения, а именно «Импровизатор», «Базар поэта», «Русалочка» и «Райские кущи», произвели на него глубокое впечатление. Он говорил также о других датских писателях, знал сочинения Эленшлегера и Х.К.Эрстеда и высоко ценил богатство духовной жизни и здоровую атмосферу, царящую в искусстве и науке моего отечества. По рассказам фон Дённигеса, который путешествовал по Норвегии и Зеландии, он знал о живописных пейзажах Эресунна, прекрасных датских буковых рощах, о тех несчетных сокровищах, которые хранятся в музеях нашей родной Скандинавии.

За обедом король оказал мне честь, провозгласив тост за мою Музу, когда же мы поднялись из-за стола, он пригласил меня на прогулку по озеру. Погода стояла хмурая; по небу быстро неслись облака; у берега стояла вместительная крытая яхта, нарядно разодетые гребцы отсалютовали нам веслами, и мы быстро и легко заскользили по воде. Я прочитал присутствующим сказку «Гадкий утенок», и под оживленный разговор о поэзии и природе мы прибыли на остров, где находилась построенная по приказу короля прекрасная вила. Неподалеку от нее раскопали большой курган; считалось, что в нем похоронен какой-то древний герой; как не раз это происходило у нас в Скандинавии, в кургане нашли человеческие кости и кремневый нож. Свита держалась от нас чуть поодаль, и король предложил посидеть на скамейке, стоящей у самой воды. Он говорил о моих сочинениях, о дарованном мне Богом таланте, о том, как порой удивительно складывается человеческая судьба, и об утешении, которое мы всегда находим у Господа. Неподалеку от места, где мы сидели, росла большая бузина, что дало повод поговорить о живущей внутри нее датской дриаде, такой же, какая появляется в сказке «Бузинная матушка». Я рассказал королю о своем послед-

нем сочинении, об использовании того же образа в драматическом произведении, и, когда мы проходили мимо дерева, попросил разрешения сорвать один из его цветков на память. Король сам отломил веточку и подарил ее мне, теперь она хранится среди других дорогих мне сувениров, напоминая мне о том вечере.

— Неужели солнце так и не выглянет! — воскликнул король. — Мне так хотелось бы, чтобы вы посмотрели, как красивы здешние горы!

— Мне всегда везет! — вырвалось у меня. — Оно наверняка еще засияет! — И в ту же секунду солнце действительно выглянуло, и Альпы озарились прекраснейшим розовым светом. Когда мы плыли назад домой, я читал на яхте сказки «История матери», «Лен» и «Штопальная игла».

Вечер выдался чудесным, поверхность воды была недвижна, горы отливали синевой, а снежные вершины блистали огнем. Мы словно попали в сказку.

В полночь я прибыл в Мюнхен. Газета «Альгеймайне цайтунг» поместила прекрасное описание моего визита под заглавием «Король Макс и датский поэт».

Из Мюнхена я выехал в Швейцарию, посетил озеро Комо и Милан. Этот город все еще находился на осадном положении, и когда я выезжал из него, в полиции никак не могли отыскать мой паспорт и вызвали меня лично. Подобные неурядицы способны испортить впечатление от самой лучшей поездки. Открытое письмо от австрийского посланника в Копенгагене, в котором он рекомендовал меня всем гражданским и военным чиновникам, спасло положение. Со мной стали обращаться предупредительно, но все равно мой паспорт найти никак не могли. Наконец принесли все принятые от иностранцев паспорта, и я тут же отыскал свой, зарегистрированный под тем номером, который был ему положен. Просто жандарм записал его неправильно, и он не соответствовал записи, сделанной в свидетельстве о моем прибытии. Все встало на свои места. В самом деле, ведь самые большие мучения с оформлением паспорта выпадают именно на мою долю, т.е. на долю того, кто во время путешествия так оберегает свои бумаги, что это становится просто комичным.

Мой обратный путь лежал через Сен-Готардский перевал и Фирвальдштедское озеро, в восхитительных окрестностях которого я про-

вел несколько дней. В Шафхаузене я попрощался со Швейцарией, и далее мой путь пролегал по родине ауэрбаховских «Деревенских рассказов», романтическому Шварцвальду. Черные ямы для выжигания угля курились голубоватым дымом, попадающие навстречу люди были одеты крайне живописно, а горная дорога с немецким названием «Преисподняя» была настоящей альпийской тропой.

На одной железнодорожной станции между Фрайбургом и Гейдельбергом я стал очевидцем трогательной сцены. Здесь садилась на поезд большая группа эмигрантов, отправлявшихся в Америку. Стар и млад, они грузились в вагоны, в то время как родные и знакомые с ними прощались, горестно рыдая навзрыд в предчувствии долгой разлуки. Я видел, как какая-то старуха намертво вцепилась в вагон, ее пришлось отрывать. Поезд ушел, и она бросилась на землю. Мы промчались мимо, оставив позади стенания и крики «ура». Отъезжающих ожидали новые события и места, оставшихся — тоска и печаль. Каждая домашняя мелочь будет теперь напоминать им о тех, кого увез от них поезд.

Руины старого Гейдельбергского замка я посетил погожим и теплым летним днем. Внутри в разрушенных залах и покоях росли вишня и бузина, вокруг летали, щебеча, птицы. Внезапно кто-то окликнул меня по имени, это был Кестнер, посланник Ганновера в Риме, сын вертеровской Лотты. Он на краткое время приехал в Германию, это было наше последнее свидание, он умер в следующем году.

В конце июля я вернулся в Копенгаген, Ее Величество, вдовствующая королева Каролина Амалия почтила меня милостивым приглашением в загородный дворец Соргенфри. Там я прожил несколько дней, остановившись в комнатах покойного тайного советника Адлера. Моей душой в это время владели воспоминания о тяжелом детстве, сменившемся наступлением лучших и более светлых дней. Я с благоговением благодарил за них Бога.

На этот раз я ближе познакомился с окрестностями, которые ранее видел лишь мимолетно. Одновременно я по достоинству оценил кроткий и сердечный нрав нашей прошедшей через скорбное испытание благородной королевы.

Сказочная комедия «Бузинная матушка» была написана мною специально для театра «Казино». От этого сочинения директор и ак-

терская труппа ожидали особенно многого. Первое представление публика приняла с бурными аплодисментами, к которым, однако, примешивалось шиканье — впрочем, в последнее время подобным образом встречали каждую мою премьеру. «Дагбладет» отозвалась о постановке похвально и доброжелательно, в то время как «Берлингске тиденде» и «Летучая почта», которые ранее всегда относились ко мне сочувственно, на этот раз ополчились против пьесы, не находя в ней никакой внутренней логики. Я ответил им пересказом содержания, в основу которого мною была положена достаточно продуманная новелла.

Одобрение я снискал только у писателей. Хейберг и Ингеманн написали мне по письму, в которых признавали достоинства моей пьесы, а пастор Бойе высказался о ней так тепло и с такой похвалой, что я заподозрил: «Бузинная матушка» была, вероятно, единственной пьесой, которую он в театре «Казино» видел. И все же газетная критика доказала свою силу и в этот раз, она охладила интерес публики к пьесе и, кроме того, окончательно убедила меня в том, что датчане ничего не смыслят в фантастике, они не желают воспарить над серой действительностью, предпочитая стоять на твердой земле, пусть даже питаюсь постными драматическими блюдами, изготовленными по кулинарной книге.

Тем не менее директор Ланге не исключал пьесы из репертуара, и постепенно спектакль стал восприниматься публикой все лучше и лучше — с единодушными аплодисментами. Во время одной постановки я сидел рядом с пожилым солидным господином, приехавшим, по-видимому, из деревни. Уже в первой картине спектакля, в том месте, где на сцене выступают олицетворения стихий, он повернулся ко мне, лично ему не знакомому человеку, и, начиная разговор, сказал: «Какая-то чертова чепуха, я ничего не могу понять!» — «Да, — ответил я, — поначалу действительно может быть трудно, но потом, когда действие переместится в цирюльню, где бреют бороды, и речь пойдет о любви, все прояснится!» — «Ах, вот как!» — сказал господин. Спектакль ли ему очень понравился или, может быть, господин догадался, что сидит рядом с автором, но, так или иначе, по окончании его он повернулся ко мне и заверил: «Прекрасная, отличная пьеса, в ней все понятно, трудно только в самом начале, но стоит только немного потерпеть, и все становится ясно!»

В феврале 1853 г. Королевский театр поставил оперу «Водяной»; профессор Глэзер с избытком украсил ее венком мелодий в истинно скандинавском духе, и это было оценено должным образом.

На Троицу я уехал из Копенгагена, отправившись к Ингеманнам на лоно лесной природы, в дом, куда еще с гимназических времен в Слагельсе каждое без исключений лето меня влекло мое сердце. Все там, включая радушных хозяев, осталось неизменным — как бы далеко ни залетал лебедь-скиталец, он всегда стремится обратно, к старому знакомому месту у лесного озера, и что-то от природы этого лебедя передалось мне.

Ингеманн, определенно, — самый любимый нашим народом писатель. Его романы, которые критика не раз пыталась обглодать со всех сторон, вытравить из них все жизненное, по-прежнему остаются живыми и пользуются популярностью. Их читают как бедняки, так и высшее общество во всех скандинавских странах, они учат датского крестьянина любви к своему отечеству и его историческим преданиям, глубинный аккорд звучит в каждом его историческом произведении, даже в самых малых из них; в пример приведу редко упоминаемый роман «Немая девушка». Мы слышим в таких произведениях шелест древа поэзии — звуки, возникающие в такт с великими сдвигами, происходящими в наше время, теми самыми, которые мы ощущаем на себе и о которых наши внуки услышат из уст стариков. Ингеманн к тому же обладает чувством юмора и вечно молодым сердцем поэта! Уже само знакомство с такой личностью, как он, — это настоящее счастье, но еще большее счастье — знать, что в его лице ты имеешь испытанного и верного друга.

В увешанной картинами гостиной Ингеманнов, на которую снаружи отбрасывают тень липы и светит блеском и голубизной озеро, все оставалось почти таким же, каким было, когда в один прекрасный летний день сюда явился некий гимназист из Слагельсе. Здесь сплетался причудливый пестрый венок — сочинение, включавшее воспоминания обо всем, что я видел, пережил и обрел на протяжении долгого времени, бóльшая часть сказки моей жизни.

В том году весна начиналась столь прекрасно, она приветствовала меня шумом зеленого леса и пением соловья, однако вскоре все это великолепие рассеялось — нас ожидали тяжелые, исполненные страха

дни. В Копенгагене разразилась холера, правда, тогда я уже покинул Зеландию, но слышал об ужасах и смертях, которые вызвала эта болезнь. Первой вестью, близко и больно затронувшей меня, было сообщение о кончине писателя пастора Бойе. В последние годы он относился ко мне весьма тепло и приязненно, и я тоже сердечно полюбил его.

Одним из самых мучительных и горьких дней этой недоброй поры явился тот, который я собирался посвятить радости и веселью. Я тогда находился в Глорупе на праздновании серебряной свадьбы графа Мольтке-Витфельдта; меня, единственного, не входившего в круг близкой родни, пригласили на него за год и день до этого памятного события. Кроме того, на праздник созвали всех крестьян, живущих в имении, и их, как мне показалось, набралось не менее шестнадцати сотен. Праздник отмечался богато и весело, с танцами и шутками, громко звучала музыка, развевались флаги, запускались ракеты; как раз посреди этого веселья я получил весть о том, что нескольких моих друзей унесла смерть. Ангел смерти переходил из дома в дом, и вот в этот последний вечер он посетил жилище, роднее которого для меня не было, — он посетил семью Коллинов. «Сейчас мы все выехали в другое место! — писали они. — Но Бог знает, что ожидает нас завтра!» Я как будто предчувствовал дурные известия, сообщения о том, что дорогие моему сердцу люди могут быть из него вырваны. Я лежал, рыдая, в своей комнате, снаружи доносились веселая музыка и крики «ура», взрывались фейерверком ракеты, это было невыносимо. Новые горестные известия приходили ежедневно; холера разразилась и в Свендборге. Мой врач и друзья, все советовали мне не уезжать из провинции; в Ютландии передо мной открывал двери не один гостеприимный дом.

Большую часть лета я провел в доме Микаэля Древсена в Силькеборге. Живописные окрестности, так сильно напоминающие леса Шварцвальда и пустынное раздолье шотландских пустошей, со всеми их преданиями и легендами, я описал в следующих стихах.

За бездорожьем пустошей стоит  
Здесь монастырь, где камышовый пруд,  
И ныне жизнь по-прежнему кипит,  
И мельничных колес немолчен гуд,  
И городок купеческий как цвел,  
Так и цветет, ручей оброс ольшиной,



Над тысячью курганов здесь орел  
Летает, как над горною вершиной.

Сей уголок зовется Силькеборгом —  
Вот Дании кусочек настоящий!  
Речная дева здесь глядит с восторгом  
На отражение свое средь чащи,  
Здесь тверже Доврских гор, вершиной горной  
Холм Химмельбьергет встал, а там достойно  
Шагает по болоту аист черный...  
Здесь так красиво, хорошо, спокойно!

Но и на лоне прекрасной природы в гостеприимном доме меня мучило глубокое беспокойство, мое сердце было до крайности опечалено, я находился в нервном и мучительном состоянии, которое доставляет неизвестность. Когда звучал звук почтового рожка, я срывался с места, чтобы как можно быстрее заполучить письма и газеты. В минуты ожидания, пока почтальон рылся в своей сумке, подо мной едва не подгибались ноги; я был измучен, подавлен и страдал душою. Поэтому, как только до меня долетели вести, что болезнь в Копенгагене отступает и я, следовательно, могу вернуться домой, я тут же поспешил к дорогим моему сердцу людям, с которыми, как начинало казаться, я уже никогда больше не увижусь.

Весной, незадолго до начала эпидемии, умер мой славный издатель советник Рейцель. С искренней симпатией друг к другу, которая впоследствии переросла в дружбу, мы работали с ним в течение всей моей писательской деятельности. Его последним начинанием было решение выпустить дешевым изданием мое «Собрание сочинений». В Германии семью годами раньше уже напечатали собрание моих сочинений, куда вошла «Сказка моей жизни» — всего лишь очерк, встреченный, однако, за границами Дании с единодушным интересом и одобрением. Немецкий «Журнал иностранной литературы» напечатал на него в высшей степени положительную рецензию: «К произведениям такого рода относятся “Поэзия и правда” Гёте, “Исповедь” Руссо и “Жизнеописание” Юнг-Штиллинга. К этому же ряду, безусловно, следует отнести “Сказку моей жизни” — последнее произведение Андерсена». Мою книгу хвалили от души, сравнивая ее с автобиографиями двух последних писателей.

Подобные же вести приходили из Англии и Америки, где книга вышла в переводе Мери Ховитт и д-ра Спиллана. Мне, тогда еще весьма юному и полному сил, посчастливилось также издать собрание своих сочинений на датском языке — событие для меня немало важное. Благодаря этому я привел свои работы в порядок, удалив от основного ствола некоторые уже отсохшие ветви, в чем немало помогла автобиография, позволившая мне увидеть все мое творчество в истинном свете. Я решил не издавать в собрании свой ранний автобиографический набросок, но представить свежие и полные воспоминания обо всем, что я пережил и чего добился! Своего рода портретные зарисовки многих значительных личностей, с которыми на своем жизненном пути я встречался, мои впечатления от эпохи и обстановки, адресованные будущим поколениям, вероятно, представляют кое-какой интерес для историков. В то же время незатейливое и честное повествование обо всем, что Бог послал мне испытать и преодолеть, наверняка укрепит веру в свой талант у многих поркладывающих себе путь молодых людей.

Я начал эту работу осенью 1853 года, как раз в октябре месяце, когда исполнялось двадцать пять лет с тех пор, как я сдал экзамены и стал студентом. В последние годы вошло в обычай, чтобы каждое студенческое поколение праздновало, если можно так выразиться, серебряную годовщину поступления в университет. Самой интересной на празднике была первая общая встреча в зале собрания; многих своих однокашников мы не видели долгое время, некоторые из них растолстели и стали неузнаваемы, другие постарели и поседели, но все-таки в этот момент в глазах у всех вспыхивал дух нашей молодости. Эта встреча стала для меня, образно говоря, подарочным букетом. За столом произносились речи и исполнялись песни, одна из них, которую написал я, полностью отражала тогдашнее мое настроение и, как оказалось, настроение прочих. Привожу ее:

И вновь мы за столом, у нас — застолье!  
 Тот был зеленым крыт сукном, когда  
 Мы в очередь ответ держали в школе, —  
 Иное дело этот, господа!  
 Здесь хором все, и каждый — все, что хочет,  
 Поем, болтаем — нам молчать невмочь!

Кто улыбается, а кто хохочет:  
Студенты мы — и четверть века прочь!

Конечно, мы порой встречались даже —  
Те, кто в столице жил. Зато иным  
Вдали от смены королевской стражи  
И от друзей, тоскливо было им.  
Мы разослали письма в лучшем тоне:  
Мол, будет пир, как прежде, на всю ночь,  
Шампанским, мол, палат на Полигоне...  
Студенты мы! И четверть века — прочь!

История хранит свои скрижали  
От тех, от гимназических времен,  
Как мы сдавали — или не сдавали,  
Каким был мир, как изменялся он.  
А мы? Мы стали, нет, не стариками,  
А все же, как о том начнем толочь  
В кругу семьи, что пережили сами,  
Что видели — так четверть века прочь!

У большинства есть женушка, а коли  
Не женушка — жена, пускай и так:  
Кругом детишки, ты же — на престоле,  
А стало быть, богат и не бедняк.  
Есть пицца и вино душе и телу,  
Еще судьбу есть силы превозмочь,  
Еще есть друг семьи... А впрочем, к делу:  
Мы снова вместе — четверть века прочь!

Дух времени летящий правит светом,  
А мы живем, в земле укоренясь,  
Вот взмах крыла, и новое при этом  
С отжившим, с прежним разрывает связь.  
Но неразрывно дружество по школе:  
За тем столом, за этим — мы точь-в-точь  
Такие же, как были! Пой, застолье:  
Студенты мы, а четверть века — прочь!

Затем профессор Клаусен провозгласил красивый тост в честь Палудана-Мюллера и меня, двух наиболее прославившихся писателей из студентов нашего поколения.

Через несколько дней мне пришло циркулярное письмо следующего содержания:

«Гимназисты, ставшие студентами в 1828 г. и встретившиеся на празднике 22 октября нынешнего года, выразили желание основать совместный фонд, который увековечил бы память о соединившей нас годовщине. Взвесив все “за” и “против”, мы сошлись на мысли от имени «четырех крупных и двенадцати мелких поэтов» учредить “Стипендию имени Андерсена и Палудана-Мюллера”, которая со временем, когда она в результате ежегодных отчислений достигнет подобающей суммы, будет использоваться на оказание помощи одному из не занимающих никакой официальной должности датских поэтов»\*.

Во что может вылиться да и выльется ли во что-нибудь это начинание, может показать только время, тем не менее признание и почет со стороны однокашников меня немало порадовали.

Путешествие поистине освежающая купель для духа и тела. Во всяком случае, для меня. Поэтому несколько недель в наступившем новом году я наслаждался свежестью весны в Вене, Триесте и Венеции. Из этой поездки я вынес три-четыре впечатления, которые посчитал достаточно яркими, чтобы описать их здесь.

В дороге моему сердцу саксонском поместье Максен цвели вишни, дымили известковые печи, приветливо кивали мне миниатюрные горные вершины Кёнигштейна и Лильенштейна; я словно и не уезжал отсюда, а всего лишь проспал долгую ночь зимы — с ее холерным кошмаром. Меня окружало все то же цветение, по небу неслись те же облака, кругом скользили те же тени; я снова жил в том же гостеприимном доме, окруженный дорогими друзьями.

Затем крылатая сила пара пронесла меня через горы и долины, пока вдали не показались шпиль собора св. Стефана и вся императорская столица. Здесь спустя столько лет меня вновь поджидала встреча с Йенни Линд-Гольшмидт. Ее муж, которого я видел впер-

---

\* Имена учредителей: А.Скирке, М.Й.Хаммерих, Фр.Барфуд, Л.Й.Бруун, Ф.Либенберг, К.Роте, И.П.Трап. (Прим. автора).

вые, приветливо со мной поздоровался, а их сын-карапуз пристально уставился на меня круглыми глазами. Я снова услышал ее пение; в нем было столько же души, такое же море звуков, как прежде! Песенка Тауберта «Я спою однажды» в ее устах словно родилась заново; она звучала ликующей птичьей трелью, но так не насвистывает соловей и не щебечет дрозд. Чарующая манера исполнения поражала детской чистотой и глубиной мысли, так могла петь одна только Йенни Линд. Драматическая образность, убедительность — все то, что составляет истинное величие и силу этой удивительной певицы, — ныне, увы, доступны зрителю только в концертном зале, где Йенни Линд исполняет арии и отдельные песни, ведь она оставила сцену, отказалась от своего призвания, совершив тем самым грех против духа — но... видно, этого хочет Бог!

Расстроенный и в то же время обрадованный встречей, в какой-то строгой задумчивости я понесся далее в Иллирию, страну, в которую Шекспир перенес действие стольких бессмертных сцен, землю, где находит свое счастье Виола.

Там, с кромки высоких гор, наблюдал я внезапно открывшееся предо мною величественное зрелище — чудесный закат; далеко внизу расстиралось пылающее в последних лучах солнца Адриатическое море. Триест в таком освещении выглядел бы еще более темным, но как раз в это время там зажгли газовые фонари, и улицы города высветились огненным контуром. Я созерцал открывшийся из окна вагона вид и как будто плыл по воздуху в воздушном шаре, медленно опускавшемся на долину. Блещающее море, сияющие светом улицы — зрелище этих минут запомнилось на долгие годы.

Из Триеста всего за шесть часов я добрался на пароходе до Венеции.

«Унылые на воде руины» — таково было впечатление, которое я получил при первом посещении города в 1833 году, и вот я снова в нем, страдающий от морской болезни. Казалось, я не сошел на берег, а только перешел с одного судна на другое, побольше. Единственное, что я воспринял с удовольствием — теперь этот застывший в безмолвии город соединился с земной твердью, где царит жизнь, длинным молотом, по которому проходит железнодорожный путь. И еще, Венеция в лунном свете — все-таки великолепное зрелище, удивительный сон, стоящий того, чтобы его посмотреть. Беззвучные гондолы скользят, точно лодки Харона, по городским улицам-

протокам, между высокими, отражающимися в воде палаццо, хотя при ясном свете дня это малопривлекательное зрелище. Каналы заполнены грязной водой, в которой плавают капустные кочерыжки, листья салата и прочий мусор, из всех щелей лезут водяные крысы, а солнце так и норовит обжечь, когда вы случайно выходите из тени, которую отбрасывают стены домов.

Поэтому я с радостью умчался на пароходе из этого сырого склепа. Мимо следовали бесконечные плотины вперемешку с полосами зеленоватой воды и песчаными отмелями. Затем на континентальной тверди взгляд порадовали гирлянды виноградной лозы, указующим перстом вздымающиеся прямо в голубое небо. В этот день следующей моей остановкой стала Верона. На разогретых ступеньках здешнего амфитеатра, далеко не заполняя всего пространства, прямо на солнце сидели несколько сот зрителей и смотрели спектакль. Он шел на импровизированных подмостках в центре на фоне грубо нарисованных декораций, плавающих от изнурительной итальянской жары. Оркестр играл танцевальную музыку, и представление, разыгрываемое среди останков исчезающей древнеримской старины, выглядело с современной точки зрения убого и мелко.

Во время моего первого приезда в Венецию меня укусила в руку скорпион, и теперь в Вероне, ставшей с появлением железной дороги соседним с Венецией городом, меня постигло то же несчастье — я получил укусы в шею и щеку. Ранки болели и распухли, я очень страдал. В таком состоянии мне и довелось увидеть озеро Гарда и романтическую Риву с ее пышной виноградной долиной. Боль и лихорадка не отпускали, заставляя меня скорее двигаться дальше. Мы ехали ночью в ярком свете луны по романтической дикой дороге, одной из самых красивых, какие я когда-нибудь видел; нас окружали живописнейшие окрестности, вид которых не смогла бы отобразить на полотне даже фантазия Сальваторе Розы. У меня сохранилось впечатление от увиденного, как от прекрасного сна, который привиделся мне в заполненной страданиями ночи.

Чуть за полночь мы приехали в Триент, где испытали весь набор неприятностей, который предлагает путешественникам Италия. Сначала последовало долгое ожидание у ворот жандарма, который наконец появился и потребовал у нас паспорта, которые мы в полной темноте отдали ему без квитанции или расписки взамен на обе-

щение вернуть их ранним утром, — неслыханный риск для нас, не имеющих еще пристанища в городе, где царили, принятые в Австро-Венгрии строгие паспортные порядки. Затем мы долго тащились по длинным и темным улицам до похожей на дворец, но словно вымершей гостиницы. Мы долго стучали в дверь и кричали, пока наконец к нам не вышел сонный и полуодетый портье, который после долгих странствий по широким холодным лестницам и длинным сумрачным коридорам ввел нас в огромный старинный зал с высокими потолками и двумя застеленными кроватями, каждая из которых могла бы вместить целую семью с чадами и домочадцами. На пыльном мраморном столике стоял тусклый ночник, двери в зал не закрывались, за ними просматривались длинные анфилады других залов, также снабженных кроватями, рассчитанными на целые семьи. По стенам на обоях были обозначены декоративные двери, смахивавшие на потайные ходы; полы были испещрены багровыми пятнами пролитого вина, достаточно живописными, чтобы принять их за кровавые. Вот в какой обстановке пришлось мне провести последнюю ночь в Италии. Ранки горели огнем, изнутри меня тоже снедал жар, о сне и покое можно было забыть; наконец наступило утро, звякнули лошадиные бубенчики, и мы покинули Триент с его голыми деревьями — листву с шелковиц здесь обрывают и продают на рынке. Миновав перевал Бреннер и Инсбрук, мы проехали в Мюнхен.

Здесь я нашел друзей, заботу и помощь. Врач короля, любезный старый тайный советник Гитл, с готовностью и усердием занялся мною, и через две довольно неприятные для меня недели я достаточно выздоровел, чтобы принять приглашение в замок Гогеншвангау, где проводили лето король Макс и его супруга.

Наверное, мне надо бы сложить сказку об эльфе альпийской розы, который, пролетая через залы Гогеншвангау, видит на их стенах роспись, еще более прекрасную, чем даже собственный дом в цветке.

Замок Гогеншвангау построен на мраморной горе в просторной плодородной долине между Альпами и рекой Лех. С двух сторон он окружен чистыми темно-зелеными озерами, одно из которых расположено несколько выше другого. На месте Гогеншвангау ранее стоял замок Шванштайн; его хозяевами были Велфер, Гогенштауфер и Ширер, их

подвиги до сих пор живут на фресках, которыми расписаны стены замка. Еще будучи кронпринцем, король Макс реставрировал замок, устроив себе в нем роскошную резиденцию, коей он является и поныне.

Ни один из рейнских замков не красив так, как Гогеншвангау, и ни один из них не расположен так удачно — в большой и живописной долине рядом с заснеженными альпийскими вершинами. В замок ведут великолепные сводчатые ворота, на которых изображены фигуры двух рыцарей с гербами Баварии и Швангау — полев в клетку и лебедем. Во дворе замка прямо из стены, на которой красуется фреска с ликом Мадонны, бьет струя воды, рядом растут три могучие тенистые липы, а в саду, полном разнообразных цветов, где на фоне зелени ярким огнем пламенеют алые розы, находится бассейн, похожий на тот, что расположен во Львином дворе Альгамбры; струя хрустально чистой, холодной, как лед, воды поднимается сюда, на высоту сорока футов.

Живое поэтическое слово над воротами замка приветствует всех его гостей:

Сюда, скиталицы родные,  
 Забудьте страх и труд,  
 И только песни золотые  
 Пусть души вдаль влекут\*.

Оружейная палата, где старые доспехи с шлемами и копьями кажутся живыми фигурами рыцарей, — это первое место, в которое попадаешь, войдя в замок. За ним открывается анфилада богато расписанных залов, где даже цветные витражи на окнах рассказывают легенды и истории и каждую стену можно читать, как книгу, повествующую об ушедших временах и людях прошлого.

«Гогеншвангау — это самая красивая альпийская роза, которую я видел в горах, ах, вот если бы он всегда оставался истинным цветком счастья!»

Эти слова я как-то раз написал по-немецки кому-то в альбом, и они по-прежнему продолжают жить в моем сердце.

Здесь я провел несколько прекрасных, счастливых дней! Король Макс встретил меня, да позволено мне будет так выразиться, как своего дорогого гостя. Благородный и любезный, он проявил ко мне ис-

---

\* Перевод В.Бакусева.



креннее участие и оказал своим приемом большую милость, а замок его стал для меня поистине райской обителью. Его Величество сам представил меня королеве, урожденной прусской принцессе, наделенной редкой красотой и необычайной женственностью. После торжественного обеда в первый же день я совершил вместе с королем великолепную прогулку в небольшом открытом экипаже; мы проделали несколько миль, заехав даже в австрийскую часть Тироля, но на этот раз я был избавлен от проблем с паспортом, которые вечно меня мучают, — по дороге нас никто не задерживал. Местность живописно менялась, сельские жители на дорогах останавливались, приветствуя короля; встречные экипажи притормаживали, пропуская Его Величество вперед. Эта прекрасная прогулка среди освещенных солнцем горных вершин продолжалась несколько часов, и все это время король обсуждал со мной «Сказку моей жизни без вымысла», которую он недавно прочитал на немецком. Он спрашивал об упомянутых в книге известных датчанах и высказался, в частности, о том, как счастливо сложилась моя жизнь и какую радость я, наверное, чувствую, успешно преодолев столько трудностей и наконец добившись признания.

Я отвечал ему, что моя жизнь действительно часто представляется мне сказкой, наполненной событиями и перипетиями сюжета; я испытал бедность и одиночество, равно как и пышные приемы в богатых залах, на мою долю пришлось и злая хула, и громкий успех — даже эти минуты, когда я бок о бок с ним проношусь на экипаже меж заснеженных альпийских вершин, разве не похожи они на еще одну сказочную главу в моей жизни?

Мы коснулись новейшей скандинавской литературы; я упомянул Саломона де Ко, Роберта Фултона и Тихо Браге, говорил о том, как продвинулось поэтическое искусство благодаря этим великим людям. Во всех речах короля проявлялись его ум, сердечность и глубокая религиозность. Я провел в его обществе несколько часов, которых не забыл и не забуду никогда.

Вечером я читал для любезной моему сердцу королевской четы истории «Под ивой» и «Сущая правда», ранее вместе с фон Дённигесом мы взобрались на одну из ближайших вершин и любовались оттуда величественными видами природы. Время летело быстро.

Королева оказала мне честь, предложив написать несколько слов в свой альбом. Его листы пестрели именами императорских и коро-

левских особ, но между ними я отыскал одно имя из мира науки — профессора Либиха; с этим сердечным и обаятельным человеком я познакомился в Мюнхене и скоро полюбил его.

Я покидал Гогеншвангау с умиротворенным сердцем и глубокой благодарностью королевской чете, которая заверила меня, что в их замке я всегда буду желанным гостем. Экипаж, в который я взял с собой большой букет альпийских роз и незабудок, быстро помчал меня по направлению к Фюссену.

Путь на родину из Мюнхена лежал через Веймар.

К этому времени правителем герцогства стал Карл Александер. Резиденция его находилась в замке Вильгельмсталль близ Эйзенаха, куда я и направился и провел здесь в гостях у благородного государя на лоне бесконечно прекрасной природы тюрингского леса несколько незабываемых и счастливых дней.

Старинный Вартбург, на восстановление которого в его изначальном виде ныне правящий великий герцог потратил большие суммы из своего собственного состояния, был, можно сказать, готов. Его стены украшали роскошные картины, сюжетами которых служили предания, связанные с замком и его историей, зал миннезанга, украшенный рядами колонн, уже обрел свое бывшее величие — ах, какие виды открывались отсюда на лес и горы — настоящие декорации времен миннезингеров! Вот гора Венеры, где пропал Тангейзер, вот «Трое равных», а вокруг — лесное уединение, каким знали его Вальтер фон дер Фогельвейде и Генрих фон Офтердинген. Зрительные образы преданий и легенд как бы проступали в пейзаже его неизменной основой.

В городе Эйзенах в небольшом замке живет вдова герцога Орлеанского со своими двумя сыновьями, графом Парижским и герцогом Немюрским. Я слышал от самых разных людей, как уважают здесь герцогиню и ее детей и как бесконечно много добра принесла она местным жителям, сколько добросердечия и участия к ним выказала — настоящее благословение для такого маленького городка. Я встретил на улице молодых принцев с их учителями; юноши были скромно одеты, но во взглядах их читались ум и доброта.

Великий герцог Веймара отрекомендовал меня вдове-герцогине.

Я живо представил себе все те горести, мучения и страдания, через которые ей пришлось пройти, припомнил все перемены нелегкой судь-

бы герцогини, и на глазах у меня непроизвольно выступили слезы еще до того, как я заговорил с нею. Заметив это, герцогиня дружески протянула мне руку, и когда я увидел на стене портрет ее покойного супруга, молодого и цветущего, такого, каким я видел его в Париже на городском балу, и заговорил о том времени, ее глаза тоже увлажнились. Мы беседовали о муже герцогини и ее детях, и она с радостью сообщила мне, что они знают мои сказки. Ее манера держаться была исполнена искренности, сердечности и печали, и в то же время какой-то женственной отваги — такой я и представлял себе Элен Орлеанскую.

В момент нашего знакомства она была одета в дорожный костюм, собираясь в поездку по железной дороге — недалеко, всего на расстояние в несколько миль. «Вы не отобедаете у меня завтра?» — пригласила она. Я с сожалением ответил, что уезжаю из Эйзенаха уже сегодня. «Но через год я снова вернусь сюда!» — «Через год... — повторила она за мной. — За год может произойти столько событий. Впрочем, достаточно и нескольких часов!» В ее глазах светились слезы и появилось выражение неподдельной грусти.

На прощание она протянула мне руку, и я с каким-то особым трепетом пожал ее и расстался с этой благородной дамой, судьба которой оказалась столь тяжела, между тем как сердце ее, уповающее на Господа, было по-королевски сильным и великим.

Вскоре я уже снова был в Дании. Здесь меня ожидало немало хлопот не только по изданию моего собственного собрания сочинений, но и по переводу народной комедии «Солнцеворот» Мозенталя. Во время моего пребывания в Вене я видел комедию в Бургтеатре, она мне очень понравилась, после чего я обратил на нее внимание статского советника Хейберга; тот, однако, оставил мою рекомендацию без внимания, которым, в свою очередь, не обошел комедию директор Ланге. Он попросил меня достать текст пьесы для его театра «Казино», после чего я с согласия директора Бургтеатра получил пьесу от Мозенталя, позволившего нам «располагать ею по нашему усмотрению». По аналогии с названием ауэрбаховских «Деревенских рассказов» я дал переводу пьесы близкое датчанам название «Деревенская история». Пьеса, как известно, имела на сцене шумный успех и выдержала немало представлений. Я вставил в текст несколько сочиненных мной песен, которые в спектакле на сцене теат-



*Датский писатель-романтик Б.С.Ингеманн.  
Портрет работы Ф.Вермерена  
Дом Б.С.Ингеманна в Сорё.  
Картина Х.Хардера*

ра «Казино» просто необходимы, и также немного изменил сюжет: в последнем действии Анна выхватывает из огня головешку и в отбрасываемом ею свете узнает Матиаса, которого она видела, когда горела кузница Ильсанга.

Мозенталь, воспользовавшись помощью своих датских друзей в Вене, ознакомился с моим переводом и сразу же после этого прислал мне полное благодарности письмо. Относительно сделанных мной в пьесе изменений он писал: «Добавленные в пьесу песни подобраны хорошо, а эпизод с тлеющей головешкой так пластичен, что, возможно, мы используем его в здешней постановке».

Мои «Сказки», как я уже упоминал, в большинстве своем вошедшие в издание, прекрасно иллюстрированное В.Педерсеном, образуют как бы одно законченное целое. Новые произведения того же жанра, уже мной написанные, или те, что я могу еще написать, я решил объединить под общим заглавием «Истории». Как мне кажется, это название наиболее точно определяет на нашем родном языке природу этих моих сочинений во всем их широком разнообразии. Слово «истории» применимо как к незатейливым байкам в духе народной традиции, так и к рассказам, отмеченным дерзким полетом поэтической фантазии. Народ наш — и ребенок, и крестьянин, — как правило, называет сказки для детей, и басни, и рассказы одним коротким словом — «история».

Несколько тетрадок таких историй вышли из печати на датском и немецком языках и были приняты в высшей степени доброжелательно. По-английски под названием «Сны поэта наяву» они увидели свет в издательстве Ричарда Бенгли. Рецензия на них, опубликованная в журнале «Атенеум» за 1853 г., показывает, что перемена мнения Мери Ховитт о моих работах никак не повлияла на доброе отношение ко мне со стороны английской критики. В статье говорится: «Эта небольшая книжечка, посвященная Чарлзу Диккенсу, как кажется с первого взгляда, относится исключительно к разряду рождественских и новогодних подарков. Тем не менее выход такой книги следовало бы приветствовать в любой радующий нас цветами или же осенний месяц, а не только в ту священную пору, «когда с крыш свисают сосульки», поскольку ее будут читать или вспоминать еще долгое время после суеты праздников в конце года, которые суматошные люди устраивают в это время в своем семей-

ном кругу. Вряд ли стоит упоминать об отвращении, которые мы питаем к сентиментальности в обыденном смысле этого слова. Фальшивое, болезненно-надуманное произведение, пусть даже по-своему красивое или чем-нибудь привлекательное, в действительности ничего не дает ни уму, ни сердцу. В то же время нам импонирует изображение сильных чувств, хотя избави Бог нас от неистового буйства страстей, фанатической религиозной экзальтации и вселенских метаний гения. Что касается оригинальности, юмора и задушевности, то рассказы Андерсена — это явление уникальное в своем роде. Тех, кому нужны доказательства, отсылаем к его рассказам «Пропащая», «Сердечное горе», «Сущая правда» из этой же книжки, если же кто-то посчитает их слишком «мелкими», советуем ему самому произвести на свет что-нибудь в равной степени совершенное, утонченное и легкое. Действительно, рассказы Андерсена написаны об обычных вещах и обычных чувствах, но от этого они не перестают быть истинно художественными творениями и в качестве таковых заслуживают самого теплого отношения со стороны любителей искусства в его наиболее ярких проявлениях!»

Как раз в те дни, когда отмечалось мое пятидесятилетие, «Датский ежемесячный журнал» напечатал на своих страницах рецензию на только что вышедшее из печати мое «Собрание сочинений». Она написана неким г-ном Гримуром Томсеном, доказавшим уже глубину и серьезность своего подхода к предмету в изданной им книге о Байроне. В небольшой рецензии на собрание моих сочинений он снова проявил присущие ему профессионализм, тщательность и прекрасное понимание авторской идеи. Кажется, сам Господь Бог решил, чтобы я закончил эту главу своей жизни, увидев наконец, что сбылись слова Х.К.Эрстеда, которыми он утешал меня в дни гонений на мой талант! Родина наконец-то вознаградила меня, подарив мне букет признания, который я принимаю в знак одобрения моего творчества и как залог будущих свершений!

В своей рецензии г-н Гримур Томсен особенно верно судит о моих сказках. В немногих словах, посвященных им, он верно определяет те струны моего таланта, благодаря которым появились на свет эти произведения. И, наверное, не случайно он выявляет суть и значение моего творчества на примерах, которые берет из «Историй», то есть последних моих сочинений. «Сказка вершит свой ирониче-

ский суд над видимостью и сутью, над оболочкой и внутренним ядром. В сказке различаются два течения. Первое, юмористическое, скользит по поверхности явлений, играет с ними и их вышучивает, перелетая подобно оперенному волану с низкого на высокое и обратно. Второе, более глубокое и серьезное, по справедливости и истинно “все расставляет по своим местам”. Вот что я называю подлинно христианским юмором!»

В этих словах выражено все, чего я хотел достичь и к чему стремился!

Вот и развернут свиток, на котором записана вплоть до этого момента столь обнадеживающая сказка моей жизни — столь богатая событиями, прекрасная, столь обнадеживающая. Даже зло оборачивалось в ней добром, а боль — радостью. Мне самому, вероятно, было бы не по силам сочинить нечто, что могло бы сравниться с нею по глубине замысла. Но я ведь — счастливчик! Сколько благородных и лучших людей нашего времени открывали мне свои объятия и помогли мне. Я редко бывал обманут в своем доверии к людям. А если и случались тяжелые и горькие дни, то и они несли в себе благодатные ростки! Все несправедливости и жестокие обиды, которые постигали меня на жизненном пути, в конечном итоге привели к благим результатам.

На пути к Господу все горькое и мучительное в конце концов рассеивается, как дым. Остается только прекрасное, мы зрим его, как радугу на темнеющих небесах. Люди судят меня снисходительно, и я в сердце своем сужу их точно так же. Мне кажется, так будет и дальше! Для всех благородных и добрых людей до конца откровенный рассказ о прожитой жизни обладает святостью исповеди. И я спокойно веряю свой рассказ их суду. Я поведал им сказку моей жизни честно и открыто, как близким друзьям.

*Копенгаген, 2 апреля 1855.  
Х.К.Андерсен*

---

# СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
(1855—1867)

**В** датское издание моего «Собрания сочинений» вошедшая «Сказка моей жизни», заканчивается датой 2 апреля 1855 года — моим пятидесятилетием. С тех пор прошло четырнадцать лет, в течение которых на долю мне выпадали как счастливые, так и тяжелые дни. Все, что я хотел рассказать о них, включено мною в новое американское издание моих сочинений, предпринятое нью-йоркской фирмой «Хэрд и Хоутон».

Отсюда, из Копенгагена, с этого берега мирового океана, я рассказал моим друзьям в другой части света о своей жизни так же откровенно, как рассказывал о ней моим друзьям в Дании. Пусть же не судят они меня слишком строго и поймут, что, называя себя баловнем судьбы или счастливым, я делал это отнюдь не из тщеславия. На самом деле я до сих пор смиренно удивляюсь тому, почему именно меня благословил Господь, даровав мне столько радости.

Писать о детстве и юности гораздо легче, чем о пережитом в более поздние годы. Почти все мы с возрастом становимся дальнозоркими и лучше видим удаленные от нас предметы. То же случается и с духовным зрением, с воспоминаниями о том, что происходило у нас в душе, более всего волновало. Совсем непросто выстраивать эти впечатления в памяти в том же порядке, в каком они следовали в действительности, хотя и в этом отношении мне сопутствовала удача.

Дело в том, что после смерти писателя Ингеманна его вдова прислала мне все письма, которые я со школьных времен и до самой его смерти писал ему. Письма, а также другие мои записи помогают мне



воспроизводить по порядку все, что происходило год за годом, начиная со 2 апреля 1855 года, когда я закончил «Сказку моей жизни».

Естественно, я начну свое повествование с Ингеманна и его супруги, «стариков у лесного озера», как он назвал себя и жену в надписи на картине с изображением их дома в Сорё, которую мне прислал.

Не было года, когда я, проезжая через Сорё, не останавливался бы на несколько дней у этой замечательной пары. Так случилось и в 1855 году, когда целью моего первого весеннего выезда на природу явился сам дом Ингеманнов, где, как я чувствовал, любой здесь побывавший становится лучше — душой и телом. Семья Ингеманнов — эти две любящие души — невольно вызывала в памяти легенду о Филемоне и Бавкиде. Здесь всегда царили покой и радость. Ингеманн, насколько я помню, никогда специально не созывал гостей. Люди сами приходили к нему по вечерам, зачастую их бывало довольно много, и тут как будто сам собою появлялся празднично накрытый стол — словно, его наигрывали маленькие незримые эльфы. Никакой суеты при этом заметно не было, и под оживленные разговоры время текло размеренно и спокойно. Самым оживленным и занимательным собеседником в компаниях выступал Ингеманн. Чаще всего он рассказывал нам загробные истории, связанные с местной монастырской церковью и ее окрестностями. Обычно его рассказы сопровождались иронической улыбкой, и знающие Ингеманна понимали, что все это он выдумывает тут же на месте, отталкиваясь от какого-нибудь замечания или слова, прозвучавшего в разговоре. Зачастую с совершенно невинным видом он вставлял в свои вымышленные истории имена реальных лиц.

Пустой болтовни и сплетен он на дух не переносил и тут же прекращал их. Особой же его нелюбовью пользовались бесталанные и безжалостные критики. К некоторым особенно популярным в народе и более всего читаемым его романам в писательской среде сложилось совершенно несправедливое отношение — кстати, от того же страдал и я. Как-то вечером разговор наш зашел как раз об этом, и тогда Ингеманн рассказал смешную историю, содержащую утешительную мораль для нас обоих. У старого славного садовника при Академии, которого звали Гном, было любимое присловие, на любое возражение он отвечал: «Вы совершенно правы. Большое вам за это спасибо!» — но никогда тем не менее своего мнения на предмет не ме-

нял и поступал так, как считал нужным. «Знаете ли вы, — сказал Ингеманн, — откуда взялось у него это присловие? История интересная. Когда этого садовника со странной фамилией Гном взяли на работу в Академию, он скоро показал себя хорошим работником. Единственное, что его на новой работе не устраивало, это нескончаемые придирки, которых он не терпел: вечно ему кто-нибудь из начальников говорил, что вот то-то и то-то нужно делать не так, как делает он, другой начальник тут же утверждал, что то же самое следует делать совсем по-другому. Из-за этого садовник наш постоянно пребывал в дурном настроении. И вот однажды в саду он встретил маленького седого старичка в красной шапочке; старичок спросил его, кто он такой? «Я — Гном», — ответил садовник. «Гном? — удивился старичок. — Ты называешь себя гномом, но ведь гном — не ты, а я. Я — гном, приставленный к Академии, я — домашний гном. А что это ты такой хмурый?» — «Знаешь, — сказал садовник Гном, — я стараюсь, как только могу, но в благодарность получаю одни упреки. Один говорит одно, другой — другое, и я не могу угодить никому, это меня и мучает, от этого я страдаю». — «Экая незадача, — сказал маленький гном. — Я помогу тебе, но за это ты отработашь в моем саду восемь дней. Я живу за озером, там у меня собственный сад, за которым ты будешь ухаживать. Но скажу тебе наперед, у меня в саду есть удивительные животные, сидящие в клетках, — обезьяны, попугаи и какаду. Шум от них ужасный, но не бойся — они не кусаются!» — «Идет!» — согласился садовник Гном, пошел в сад к академическому гному и отработал там восемь дней. Все это время твари в клетках шумели неимоверно. Когда условленная неделя закончилась, появился крошка гном и спросил, как садовник поживает, вроде бы вид у него довольный. «Справился ли ты с моими крикунами?» — «А, все эти крики! — ответил ему садовник. — Они в одно ухо влетают, а в другое вылетают. Твари ругаются, говорят, что я все делаю не так. А я только посмеиваюсь да киваю им в ответ, приговаривая: “Вы совершенно правы. Большое вам за это спасибо!” Сам же все делаю по-своему. Стоит ли обращать внимания на пустые крики!» — «Вот и поступай так же в саду Академии. Знай делай свое дело, а на остальное не обращай внимания!» Садовник совета послушался, вернув себе тем самым хорошее расположение духа и приобретя новое присловие: “Вы совершенно правы. Большое вам

за это спасибо!» «Не следует ли и нам поступать точно так же?» — закончил Ингеманн с шутливой улыбкой.

По части выдумки такого рода маленьких историй он был крайне изобретателен и сочинил их великое множество. Впрочем, в них он никого не судил слишком строго. В его доме, истинном доме Поэта, царила и процветала любовь к Отечеству, Красоте и Добру. Здесь меня никогда не покидало замечательное чувство спокойной уверенности, что в этом доме я всегда дорогой и желанный гость.

Часы, которые я провел у милейших стариков на озере, летели быстро. Я наслаждался этим идиллическим образом жизни. Вскоре, однако, я вновь ощутил знакомый трепет — пора было снова расправлять крылья и собираться в дорогу! Радужный прием ждал меня в гостеприимных поместьях Баснес и Хольстенберг. Оттуда с началом лета путь мой лежал в благословенное имение Максен неподалеку от Дрездена, где посаженное мною деревце, окруженное заботой хозяев, уже гордо вздымало ввысь свою пышную зеленую крону. В саду перед самым зданием усадьбы я посадил также молоденький дубок — когда-то он полностью помещался у меня в закрытых ладонях, а ныне превратился в настоящее дерево с сучками и ветками.

Письмо Ингеманну в полном объеме воспроизводит картину моего путешествия в Максен и пребывания там.

«Поместье Максен близ Дрездена. 12 июля 1855 г.

Дражайший Ингеманн!

Вы помните из “Сказки моей жизни” рассказ о деревце в имении Максен — я жил там в гостях у семейства Серре. Тогда Вы немного представляете место, где я нахожусь ныне. Поместье расположено неподалеку от саксонской Швейцарии. Виды здесь великолепные. Мое деревце окрепло и пошло в рост, стоит оно на высоком обрыве. Со скамейки под ним я словно с высоты птичьего полета вижу большое селение и луг со стогами сена, а на горизонте вдали — синее очертание гор Богемии. В том месте, где я теперь живу, растут вишневые деревья и каштаны. По лугу бродят овечки с колокольчиками. Колокольчики позванивают, напоминая мне швейцарские Альпы. Живут Серре в роскошном старинном замке с лабиринтом сводчатых коридоров и огромной башней. Фру Серре необыкновенно добра и бесконеч-

но ко мне внимательна. В поместье играют хорошую музыку и читают стихи; здесь постоянно бывают разного рода знаменитости, известные личности и просто интересные люди, так что подчас дом смахивает на постоялый двор. Может быть, поэтому мне здесь так хорошо. Кстати, в этой поездке сильнее, чем ранее, я чувствую насущную потребность если не в семейном тепле, то по крайней мере в общении с теми людьми, которых я люблю. Вот почему мое желание посетить Италию с каждым днем убывает. По всей вероятности, на зиму я в этом году домой не приеду. Через восемь дней помчусь в Мюнхен, а потом — в Швейцарию, где смогу в полной мере насладиться долгожданной встречей с благодатной альпийской природой, дал бы только Бог здоровья и душевного равновесия; как раз их-то мне и не хватало по дороге сюда. Поездка, правда, длилась всего несколько дней, но и они обернулись чуть ли не мучением. Гамбург напоминает мне пустое здание биржи, а дорога в Берлин — пыльную и горячую печь булочника. У меня не было желания посещать кого-либо в Берлине, и оттуда я сразу же отправился в Дрезден, в поместье Максен, на природу, к милым моему сердцу людям. Путешествовать — значит жить! Подумайте с женой о поездке! Через четыре часа вы доберетесь из Штеттина до Берлина, а еще через пять — до Дрездена, куда так хотела съездить Ваша супруга, страстно желающая посетить местную картинную галерею. Забудьте о прежнем долгом пути, который следовало проделать, чтобы попасть в город саксонских королей. Теперь мы мчимся на поезде, как на плаще Фауста. Путешествие по железной дороге — это, пожалуй, самый поэтичный полет, на который способны мы, люди, прикованные к земле силой тяжести».

В Мюнхене, куда я потом уехал, меня застало письмо от дорогого Ингеманна, в котором он сообщил мне о радости, доставленной ему и еще многим друзьям только что вышедшей из печати моей последней книгой — «Сказкой моей жизни». Письмо заканчивалось следующим образом:

«Так Вы, значит, оставили уже свое роскошное деревце в Максене и добрых друзей вокруг него? Знайте, однако, что, куда бы ни направила свой полет Ваша сказочная птица, она везде найдет дерево со свежей зеленой кроной, благодатной сенью под ним, а рядом встретит участливый взгляд добрых друзей. Чтобы посещать такие деревья и таких

друзей на плаще Фауста, на который вы меня заманиваете (мне он больше напоминает зверя, верхом на котором Данте и Вергилий пролетали через Ад), я уже слишком стар и дряхл. Нет уж, пусть лучше весь свет крутится вокруг меня, нашего маленького монастырского озера и разожженной курительной трубки. В самом деле, если горы сами идут нам навстречу, следует ли брать пример с Магомета и за ними гоняться? Ныне, чтобы добраться до мест, куда не доходит железная дорога, следует снабжать дома поэтов колесами. Однако каждому свое! Ваш дом, во всяком случае, несет на своем хвосте дракон-локомотив!»

Я все-таки задержался — и не на столь уж малое время — в Мюнхене, где жизнь искусства была ключом. Здесь я провел незабываемые часы в обществе Каульбаха и его семьи. В доме у профессора Либиха я присутствовал на чтении Гейбелем первого действия его трагедии «Брунгильда». Среди приглашенных присутствовала замечательная актриса фрёкен Зеебах, которой предстояло в постановке этой пьесы сыграть главную роль; я уже с большим удовольствием видел ее в нескольких спектаклях и считаю, что успех Зеебах у публики полностью оправдан. Я поделился с ней одной мыслью: у зрителей издавна сложился очень дурной обычай вызывать по окончании трагедии аплодисментами погибшую героиню. Еще большая безвкусица — наблюдать, как при этом погибшая улыбается публике и кланяется. Великая актриса должна покончить с этой дурной традицией и не выходить на вызовы, как бы публика ни неистовствовала. Фрёкен Зеебах совершенно согласилась со мной, и я попросил ее стать первой ласточкой в борьбе с этим явлением.

На следующий вечер давали трагедию «Коварство и любовь», где фрёкен Зеебах играла роль Луизы. После того как она приняла яд, публика в восторге стала вызывать ее на авансцену. Но она не вышла. Я было этому обрадовался. Постепенно требования публики стали громче — героиня по-прежнему не поддавалась. Наконец, когда выкрики и овации превратились в настоящую бурю, она все-таки появилась, и, таким образом, покончить с дурновкусицей мне не удалось.

Я люблю и, более того, считаю необходимым для себя путешествовать. Скромный и бережливый образ жизни, которого я придерживаюсь дома, позволяет мне скопить необходимые для путешествий средства. Но насколько было бы прекрасней, часто размышляя я, если бы, будучи чуть богаче, я мог бы позволить себе путешествовать не

один, а со спутником. Впрочем, несколько раз судьба баловала меня и в этом. Я довольно часто получал от знатных особ подарки — то дорогую заколку, то золотое кольцо. Эти ценности — пусть мои великодушные дарители простят мне и порадуются за меня — я отнес ювелиру и получал за них деньги, после чего мог предложить тому или иному молодому моему другу, который еще ничего не видел за порогом дома: «Помчимся вместе со мной в странствие на месяц или два, пока не кончатся деньги». Радостный блеск глаз, который я видел в такие моменты, доставлял мне большее удовольствие, чем сверкание бриллиантов в заколках и золото колец.

На этот раз я выехал из Мюнхена в сопровождении Эдгара Коллина, молодого жизнерадостного человека, с истинным восторгом стремящегося ко всему новому. Поэтому путешествовать с ним, проявлявшим к тому же ко мне дружеское внимание и заботу, оказалось приятно вдвойне. Мы направлялись через Ульм в Вюртемберг в Вильдбад-Гаштайне, где как раз в курортный сезон отдыхал мой друг статский советник Коллин с семьей. Я впервые бродил по лесам Шварцвальда, почва которых оказалась питательной средой для «Деревенских рассказов». Стояла прекрасная солнечная погода, и дни в приятном общении со спутником протекали незаметно. Некоторое время спустя мы опять оседлали огнедышащего дракона, как называл паровозы Ингеманн, и углубились в еще более живописную страну — Швейцарию, с ее глубокими озерами и высокими горами. Из Люцерна мы с моим дорожным товарищем решили отправиться во Флюйлен на пароходе. Однако уже на борту мой спутник внезапно заболел, он чувствовал себя все хуже и хуже, и я решил сойти на берег в первом же городе, к которому наше судно пристанет.

Таковым оказался небольшой городок Бруннен. Стараниями хозяев гостиницы мой молодой друг уже на другой день почувствовал себя настолько лучше, что попросил дать ему что-нибудь почитать. Хозяин сам принес ему книги, среди которых оказался «Швейцарский альманах»; в нем были напечатаны портрет Гумбольдта как представителя науки и рядом портрет Х.К.Андерсена, «писателя-сказочника». «Да ведь это же ваш портрет!» — воскликнул Эдгар Коллин. Хозяин взглянул на портрет, потом на меня и дружески пожал мою руку. Отныне в его лице я имел друга, а в лице двух его сестер, которые вели все хозяйство, внимательных и заботливых подруг. Одна из них, Ага-

та, была, как и ее брат, очень музыкальна. Это меня весьма порадовало, ибо позволило нам скоротать вечерок, наслаждаясь демонстрируемым ими искусством. Позже, приезжая в Швейцарию, я всегда посещал моих дорогих друзей, хозяев гостиницы. Они принадлежат к древнему швейцарскому роду и еще живы. Их фамилия — Ауфдермауэр — фигурирует в трагедии Шиллера «Вильгельм Телль».

Эта помеха — я имею в виду болезнь Коллина и вызванную ею остановку, — как ни странно, обоим нам доставила немало радости, мне же лично не только в тот момент, но и позже, в течение нескольких лет. Во время одного из последующих визитов сюда меня ждали такие почести, о которых я не смел и мечтать.

Вечером накануне моего отъезда на озере показалось судно; на борту горели факелы, играла музыка; направлялось оно явно в сторону гостиницы. Нам всем музыка, доносившаяся с него, понравилась, и постояльцы отеля высыпали на балконы. «Что это значит?» — спросил я у Агаты. «Это приветствуют вас», — сказала она. «Ну нет, я вам не верю, — возразил я. — Музыка в честь меня?» — «Да, в вашу честь», — настаивала она. «Не верю, — упорствовал я, — если бы дело действительно обстояло таким образом, мне бы следовало спуститься и поблагодарить их, но, с другой стороны, меня сочли бы тщеславным и высмеяли бы, окажись это не так». — «Но они играют именно в вашу честь», — не унималась женщина. Я пребывал в сомнении, но все же спустился на берег, где уже собралась небольшая толпа людей. Остановив первого же, кто сошел с судна, я похвалил исполняемую ими красивую музыку и спросил, для кого, собственно, они играют. «Для вас», — ответил он, и я пожал руку ему и еще нескольким пассажирам, спустившимся на берег. Не знаю, было ли это празднество организовано Агатой Ауфдермауэр или же в городке Бруннен действительно жило так много музыкантов — друзей моей Музы, в одном я убежден: я никогда не забуду Бруннен, этот поистине сказочный город.

В Цюрихе в то время жил в эмиграции композитор Вагнер. Я знал его музыку и уже писал о своем к ней отношении. Лист довольно живо и с несомненной симпатией описал мне его как человека. Узнав адрес Вагнера, я навестил его и был принят весьма радушно. Из произведений датских композиторов Вагнер знал только принадлежавшие Гаде и высказал свое о них мнение. После этого он заговорил о ком-

позициях для флейты Ккульхауса, ни с одной из его опер он знаком не был. Хартманн Вагнер знал только по имени. Мне пришлось в этой связи рассказать ему о широком репертуаре датской оперы и датской песни от Шульда, Кунцена и старшего Хартманна до Вейсе, Кулау и Гаде. Вагнер слушал меня с большим вниманием. «Вы как будто рассказали мне целую сказку из мира музыки, приподняли занавес и показали, что творится там, за Эльбой». Я рассказал ему также и о Бельмане в Швеции, который, как и он, писал тексты к своей музыке, но во всем остальном был полной противоположностью ему. Знаменитый композитор произвел на меня глубокое впечатление. Он не только слыл гением, но и был им. Мы провели с ним за разговорами незабываемый и счастливый час, подобных которому впоследствии я в своей жизни не переживал.

Направляясь домой через Кассель, я посетил Шпора. Он жил в своем старом доме на улице, которая ныне носит его имя. С 1847 года, когда мы часто встречались в Лондоне, я его не видел, и это наше свидание с ним оказалось последним. Спустя всего несколько лет звуки похоронного колокола, услышанные во многих странах, разнесли скорбную весть — Шпор умер.

Во время этого моего последнего визита к нему Шпор был весьма оживлен. Мы говорили об опере Хартманна «Ворон», которую Шпор высоко ценил и хотел поставить на сцене в Касселе. Он даже написал об этом Хартманну. К сожалению, от этого плана пришлось отказаться, ибо местный театр не имел необходимого для постановки состава исполнителей.

Из Касселя я отправился к друзьям в Веймар, где меня, как всегда, сердечно приняли при дворе. Как раз в это время в местном театре готовилась постановка хартманновской оперы «Маленькая Кирстен»; ее разучивали, дав ей немецкое название «Крошка Карин», и она уже успела собрать благожелательные отзывы истинных знатоков музыки.

Осенью я снова был в Копенгагене. Здесь в театре «Казино» вновь играли народную комедию Мозенталя «Солнцеворот», которой я дал более привычное для уха датчан название «Деревенская история». Пьеса с сочиненными мною к ней песнями и хором по-прежнему пользовалась большим успехом.

Я хочу закончить главу несколькими словами из письма, которое в последний вечер 1855 года я написал Ингеманну:



«...За окном стоит погода совсем не зимняя, а сырая, осенняя, с дождем, изморосью и грязью на улицах, которые, наверное, весьма гордятся, ибо грязь эта такая жирная, что ей впору потягаться с нильским илом. В такую погоду поневоле станешь домоседом, и, если это настроение продлится, мне удастся что-нибудь написать. Как хотелось бы мне теперь, после того как вышла «Сказка моей жизни», начать «новую жизнь» с произведения, достойного названия «труд», как хотелось бы сохранить подобно Вам, свежесть чувств и написать, как Вы, что-нибудь стоящее».

1856

Уже на второй день нового года от Ингеманнов пришло письмо с благодарностью за поздравление.

«...Вы совершили прекрасный и добрый жест, протянув к нам в Сорё руку дружбы как раз в вечер накануне Нового года, так что мы уже утром в первый день нового года смогли почувствовать Ваше сердечное рукопожатие. Вы — наш самый верный и добрый друг, и мы ценим это».

Год, однако, не выдался таким светлым и счастливым, какого желал мне Ингеманн.

Известно, что бывают неудачные дни, в которые на тебя обрушиваются все мыслимые и немыслимые несчастья. К сожалению, случаются и такие годы. Именно таким несчастливym стал для меня 1856 год. Если сравнить его с каплей воды, то в нем сосредоточилось великое множество мелких, но крайне зловредных для меня микробов — неудач, мук и обид. Я не собираюсь здесь вставлять их в рамку под стекло. Под ним они выглядят жалкими песчинками или крохотными букашками. Однако, попадая в глаз, они вызывают в нем боль и жжение до тех самых пор, пока их не вынешь. Потом же, когда они извлечены, остается лишь удивляться: «И я страдал от такого пустяка?!»

Все мои стремления и мысли сосредоточились на одном — создать что-нибудь действительно стоящее. Я отнюдь не считаю себя — в противоположность мнению и высказываниям Сибберна — всего лишь набожным и мечтательным поэтом, наделенным наивной натурой ребенка. В душе я пережил не один кризис веры. В тайниках моего сердца знание и вера не раз боролись друг с другом. В результате я написал «Быть или не быть» — роман, действие которого раз-



Ханс Кристиан Андерсен.  
*Портрет работы А.Грааля*

ворачивается на датской почве в военное время. Я тщательно готовился к его созданию, возможно, даже слишком тщательно, прочитав большую часть того, что написано о материализме.

Мои занятия заинтересовали Ингеманна, и я заставил его прочитать тогда же только что вышедшую замечательную книгу «Erges sicut deus!»\*. Я посещал тогда лекции о материализме, которые читал профессор Эскрихт, и получил в связи с этим от Ингеманна письмо, весьма характерное для него и его взглядов на данную тему.

«Когда Вы обрадуете меня своим следующим письмом, объясните, что именно противопоставляет Эскрихт материализму, с которым он борется, — персонифицированного, живого Бога или первооснову сил природы, высшего Творца всех законов вселенной или абстрактную идею идей, так сказать, мертвую *prima causa*\*\*», из которой эти законы появляются неосознанно и, лишь воплотившись в лице человека, приобретают смысл. В последнем случае Вы с Вашей кроткой и страстной верой в Бога, которому можете помолиться, обладаете гораздо большим богатством, чем то, которое предлагают нам естественные науки. Впрочем, нам всем, даже в старости, было бы далеко не вредно поучиться в школе у ученых-естествоиспытателей».

Летом я вновь отправился в путь и, снова оказавшись в Максене у супругов Серре, писал оттуда Ингеманну:

«Дорогой друг!

Проезжая Сорё, я посылаю уже Вам со станции горячий привет. Сорё встретило меня по-дружески, озеро сверкало золотом и пурпуром. Теперь я снова в Максене, где царят летнее изобилие и красота. Вишня уже созрела, розы расцвели, деревце мое прочно укоренилось на своей скале у обрыва. К нам на днях приезжал поэт Гудков. Его новая пьеса “Элла” пользуется успехом. Вы, наверное, знаете его широко дискутируемый роман “Рыцари духа”? Не будь он в девяти книгах, я бы его прочитал. В воскресенье я намереваюсь отправиться в Веймар. Великий герцог празднует там 24 мая свой день рождения. В театре будут давать вторую часть «Фауста» Гёте. Я приглашен и заранее предвкушаю удовольствие».

\* «Вы будете, как боги!» (лат.)

\*\* Первопричина (лат.).

В сентябре я вернулся в Копенгаген. Все мои мысли, все время были заняты романом «Быть или не быть», книгой, от которой я ожидал очень многого. Между тем, как впоследствии оказалось, материал, с такими усилиями мною собранный и освоенный, сыграл в создании романа гораздо меньшую роль, нежели дарованное мне Богом поэтическое вдохновение.

1857

В апреле я писал Ингеманну:

«Я получил недавно долгожданное письмо от Чарлза Диккенса. Он пишет, что в конце этого месяца заканчивает свой роман “Крошка Доррит” и становится наконец «свободным человеком». У него между Рочестером и Лондоном есть прекрасный загородный дом, куда он в начале июня вместе с семьей переезжает, и они будут с нетерпением ждать моего приезда. Природа там превосходная, я буду окружен друзьями и потому в восторге от этого предложения. Посмотрим, удастся ли мне устроить все так, чтобы отправиться туда в конце мая через Сорё и присутствовать на Вашем дне рождения 28-го числа этого месяца. Недель ранее намечается выход моего романа «Быть или не быть». Я позволил себе вольность посвятить его “Поэту Ингеманну и философу Сибберну”. Вы понимаете, что стоит за таким посвящением».

Одной из первых, кому я прочитал новую книгу еще до того, как она вышла, была Ее Величество вдовствующая королева Каролина Амалия. Она и ее супруг король всегда относились ко мне с большой добротой и милостью. И на этот раз я провел несколько дней в их прекрасном, окруженном лесами поместье Соргенфри. Листочки на деревьях распустились как раз в ту пору, когда я находился там. Каждый вечер я читал по нескольку глав из романа, действие которого происходит в первую, тяжело давящую нам, но все же укрепившую дух нации войну. Во время чтения благородная королева была изрядно растрогана, а когда я окончил, она горячо и от всего сердца благодарила меня. Королева принадлежит к тем благородным и умным женщинам, в обществе которых об их высоком положении забываешь и видишь в них только человечность. Однажды вечером мы отправились на прогулку по лесу и берегу. Я находился во втором экипаже с двумя придворными дамами. Когда Ее Величество проезжала мимо

одного места на дороге, где играла стайка детей, они узнали ее, встали в ряд и приветствовали королеву криками «ура». Через некоторое время там же проезжал экипаж, в котором сидел я. «Это — Андерсен! — закричали малыши. — Ура!» Когда мы вернулись в Соргенфри королева сказала мне, улыбаясь: «Мне кажется, все дети знают нас обоих, я слышала, как они вас приветствовали».

На улице и из окон мне то и дело кивают приветливые детские мордашки. Однажды я встретил богато одетую даму, прогуливавшуюся со своими детьми. Самый маленький ребенок оторвался от них, подбежал ко мне и протянул руку. Мать позвала его и сказала — потом об этом говорили: «Не следует заговаривать на улице с незнакомыми людьми». Малыш отвечал: «Да ведь это же Андерсен, его знают все дети».

Этой весной исполнилось десять лет с тех пор, как я был в Англии в последний раз. Все это время Диккенс часто радовал меня письмами. Теперь я наконец сумел воспользоваться его любезным приглашением.

И как же я был счастлив! Пребывание в гостях у Диккенса обещало стать и стало апогеем моего успеха. Не останавливаясь в Голландии, я прибыл во Францию и в ночь на 11 мая отплыл на пароходе из Кале в Дувр. В моем «Собрании сочинений» содержится подробный рассказ об этой, ставшей мне столь памятной поездке к Диккенсу, за время которой он как человек стал мне бесконечно дорог и близок, как дорог и близок мне Диккенс-писатель. Привожу ниже краткое изложение напечатанного.

Я прибыл в Лондон на поезде ранним утром и сразу же пересел на поезд, шедший по Северной железной дороге до Хигхэма. Экипажа в Хигхэме я не нашел, и мне пришлось в сопровождении станционного носильщика добираться до Глэдсхилла пешком. Здесь Диккенс обосновался в прекрасном загородном доме. Он встретил меня крайне приветливо и радушно, выглядел он чуть старше по сравнению с нашей последней встречей, хотя причиной тому была, наверное, борода, которую он с той поры отпустил. Глаза его блестели, как прежде, на губах играла та же улыбка, а его приятный голос звучал, пожалуй, даже сердечнее, чем прежде, если, конечно, такое возможно. Диккенс был в самом расцвете лет, ему исполнилось уже сорок пять, но он отличался все той же мужественной красотой, молоджавостью, энергией, оживленностью и остроумием, казалось, весь светился добродушием и сердечностью. Я не найду лучших слов, чем те, которыми описал его в одном из

своих первых писем из Англии: «Возьмите самое лучшее из произведений Диккенса, выделите в нем образ положительного героя, и перед вами предстанет сам писатель». Таким же, каким я увидел его в первый час нашей встречи, он оставался все те несколько недель, которые я провел у него, — жизнерадостным, веселым, внимательным.

За несколько дней до моего приезда умер друг Диккенса, комедиограф Дуглас Джерольд. Чтобы собрать несколько тысяч фунтов для его вдовы, Диккенс объединился с Бульвером, Теккереем и актером Макреди. Деньги на помощь вдове должны были поступить от ряда спектаклей и литературных чтений. Из-за этих хлопот Диккенсу приходилось чаще, чем обычно, ездить в Лондон и проводить там целые дни. Несколько раз я сопровождал его и, побывав, таким образом, в его удобно обставленной столичной зимней квартире. Вместе с ним и его семьей я присутствовал также на празднике торговли в Хрустальном дворце. Мы оба впервые увидели неподражаемую трагическую актрису Ристори в заглавной роли в постановке итальянской трагедии «Камма» и в роли леди Макбет. Игра Ристори — особенно в последнем случае — полностью пленила нас: образ героини в ее трактовке поражал своей психологической убедительностью, и в то же время самое чудовищное и отвратительное не выходило за пределы прекрасного. Вряд ли когда-нибудь какой-то другой актрисе удастся с такой достоверностью создать образ этой женщины, который с равной силой потрясал бы наши инстинкты и воображение.

Меня поразили торжественность и фантастическая роскошь, с которыми директор Кин, сын знаменитого актера, ставил на сцене шекспировские пьесы. Я присутствовал на премьере «Бури», где декоративная сторона спектакля была доведена до явной избыточности. Из-за этого полет поэтической фантазии как будто застыл, окаменел в зрительных образах, живое слово же при этом оказалось утрачено. В результате взамен духовной пищи зрители получают лишь золотое блюдо, на котором ее подают.

Произведение Шекспира, сыгранное художественно — пусть даже на пространстве между тремя обыкновенными ширмами, — доставляет мне гораздо большее удовольствие, чем поставленное таким образом, где оно теряется в красотах стаффажа.

Из представлений, которые устраивали в пользу вдовы Джерольда, гвоздем программы явился спектакль, в котором были задейство-

ваны сам Диккенс и некоторые члены его семьи. Это была новая романтическая драма «Замерзшая пучина» Уилки Коллинза. Роль одного любовника исполнял автор, роль другого — Диккенс.

Время от времени в доме Диккенса давали для друзей и знакомых любительские спектакли. Один из них уже долгое время хотела посмотреть королева, пожелавшая перенести любительскую постановку на сцену небольшого театра «Галерея иллюстраций». Помимо королевы, посмотреть спектакль явились принц Альберт и дети короля, молодой принц Пруссии и король Бельгии. Кроме них, присутствовали лишь некоторые из родственников и ближайших друзей актеров. Из дома Диккенса на спектакль пришли только его жена, теща и я.

Диккенс исполнил свою роль с трогательным правдоподобием и немалым актерским талантом. Он же вместе с издателем юмористического журнала «Панч» м-ром Марком Лемоном с бесподобным комизмом разыграли небольшой фарс «В два часа утра». Марк Лемон, как говорят, в последнее время с большим успехом выступает на театральных подмостках в роли Фальстафа.

После представления вместе с занятыми в спектакле актерами и их помощниками мы засиделись на банкете за полночь. Небольшой и веселый праздник, устроенный в редакции «Домашнего чтения», затем плавно перетек на лужайку у дома Альберта Смита, покорителя Монблана.

В загородном доме Диккенса я познакомился с самой богатой английской дамой, мисс Бэрдет Коутс, которую все рекомендовали как весьма достойную даму, посвятившую себя благотворительности. Коутс не только построила несколько церквей, но также весьма умело и с истинным христианским рвением заботилась о больных и бедных. Она предложила мне погостить у нее в Лондоне. Я принял ее приглашение и посетил ее чрезвычайно богато обставленный дом в чисто английском стиле, главной и незабываемой достопримечательностью которого тем не менее я до сих пор считаю благородную, в высшей степени женственную и приветливую хозяйку.

И все-таки, какой бы разнообразной и увлекательной ни казалась мне жизнь в Лондоне, я всегда с большой радостью возвращался в дом Диккенсов в Глэдсхилле, ставший на это время и моим домом. В маленькой гостиной, где писатель с женой обычно принимали гостей, было так уютно. Здесь мы провели немало счастливых часов,

хотя и их подчас нарушали тягостные, тяжкие мгновения, являвшиеся отголосками того, что происходило вне этого мирка. Я особо помню одно резко критическое высказывание в адрес моей последней книги «Быть или не быть», оно привело меня в тяжелейшее расположение духа, которому я малодушно поддался. И все же, признаться, именно то дурное настроение и раздражение — своего рода испытание, посланное мне свыше, — позволили мне вкусить радость, с которой я воспринимал утешения Диккенса, порожденные его поистине бесконечной сердечностью. Узнав от семьи, насколько я подавлен, он разразился целым фейерверком шуток и выдумок. Когда же он убедился, что и этот блестящий прием не в силах развеять тьму, окутавшую мою страдающую душу, он сменил шуточный тон на серьезный, окрашенный в такие тона сердечности и теплого сочувствия, что я ощутил настоящий прилив сил, наполнивший мою душу необоримым желанием стать достойным его. Глядя в излучающие нежное участие глаза друга, я понял, что должен благодарить «жестокосердную критику». Ведь именно благодаря ей я испытал одно из самых прекрасных мгновений в моей жизни.

Счастливые дни, проведенные у Диккенсов, пролетели быстро, даже слишком быстро. Наступило утро прощания. Но прежде чем вернуться в Данию, я собирался еще посетить Германию, чтобы присутствовать при апофеозе ее литературного величия. Меня пригласили на праздник в Веймар, где открывались памятники Гёте, Шиллеру и Виланду.

Ранним утром Диккенс приказал заложить свою маленькую коляску, сам сел за кучера и повез меня в Мейдстон, откуда я поездом должен был добраться до Фалькстона. Он нарисовал мне план с обозначением всех остановок, и всю дорогу до станции оживленно болтал со мной, в то время как я по большей части ехал молча, лишь время от времени скупно отвечая ему, настолько был расстроен грядущим мигом расставания. На железнодорожном вокзале мы обнялись, и я еще раз, возможно, в последний, заглянул в прекрасные, излучающие душевное тепло глаза того, кем я восхищался как писателем и кого любил как человека. Еще одно рукопожатие, и он уехал. А затем загрохотал, увозя меня, поезд.

«Конец, конец, как и бывает со всеми историями.»

Я написал Чарлзу Диккенсу из поместья «Максен» у Дрездена:



«Дорогой, лучший мой друг!

Я наконец-то могу писать! Кажется, что я был у Вас так давно, слишком давно! Но все эти дни, каждый час, я думал о Вас. Вы и Ваш дом стали частицей моей души, да иначе и быть не могло. Много лет я любил Вас и восхищался Вами; причиной тому были Ваши сочинения, но теперь я люблю Вас ради Вас самого. Никто из Ваших друзей не привязан к Вам больше, чем я. Это поездка в Англию, пребывание в Вашем доме — поистине апогей моей жизни. Вот почему я так медлил с отъездом, вот почему мне было так тяжело прощаться. Кстати, когда мы ехали с Вами из Глэдсхилла в Мейдстон, мне было так тяжело, что я почти не мог поддерживать разговор, я едва не плакал. Впоследствии, вспоминая наше прощание, я очень живо представляю себе, как тяжело, наверное, было Вам спустя несколько дней провожать на борт судна Вашего сына Вальтера, зная, что Вы увидите его не раньше, чем через семь лет. У меня не хватает слов, даже на родном датском, чтобы выразить Вам, какое счастливое время я провел в Вашем доме и как Вам благодарен за это. Каждую минуту я ощущал, как Вы добры ко мне, с каким удовольствием Вы со мной общаетесь и какие дружеские чувства ко мне питаете. Будьте покойны, я ценю их. А с какой сердечностью отнеслась ко мне, совершенно не знакомому ей человеку, Ваша жена. Я понимаю, как мало удовольствия доставляло Вашим близким общение с тем, кто говорит по-английски так, как говорю я; им, видимо, казалось, что я словно с неба свалился им на голову. И все же никто не давал мне это понять. Передайте им за это мою благодарность! В первый же день приезда “Бейби” заявил мне: I will put you out of the window\*, но потом он же сказал мне, что имел в виду put меня in of the window\*\*, и я полагаю, его последние слова выражают отношение ко мне всей Вашей семьи. Побывав в таком доме, как Ваш, испытав в нем столько радости, в Париже я чувствовал себя совсем не в своей тарелке. Я будто попал в раскаленный улей, лишенный, однако, меда. Жара стояла гнетущая, и я бежал от нее, совершая в дневное время лишь короткие переезды. Прошло целых пять дней, прежде чем я добрался до Гамбурга, а в Дрезден, где меня ожидала семья Серре, я прибыл только

\* Я выброшу вас из окна (англ.).

\*\* Выставить меня в окне (англ.).

двадцать седьмого. На следующий день отмечался день рождения хозяина поместья, и праздновался он в доме у одного из его друзей, пианиста и композитора Хенсельта, который большей частью живет в Петербурге, хотя летнее время проводит в своем поместье в Силезии. Там я окунулся в атмосферу радости и праздничного веселья. Мы вернулись в Максен в имение Серре только вчера. Я пишу Вам это письмо ранним утром. Я представляю себе, будто сам доставил Вам свое письмо, стою в Вашей гостиной в Глэдсхилле, вижу, как и в первый день моего приезда, цветущие на ее окнах розы, а за стеклом — тянущиеся до самого Рочестера зеленые поля. Я улавливаю тонкий аромат яблок, исходящий от живой изгороди из розовых кустов, за которой лужайка, где ваши сыновья играют в крикет. О, как скоро еще увижу я эту сцену в действительности, если это вообще когда-нибудь случится! Но что бы ни принес мне разматывающийся клубок времени, мое сердце останется верным, преданным и благодарным Вам, мой великий, благородный друг! Порадуйте меня письмом, напишите, когда прочтете мой роман “Быть или не быть”, что вы о нем думаете! Будьте снисходительны и не вспоминайте о тех моих недостатках, которые Вы, быть может, подметили во время нашего общения. Мне бы так хотелось оставить о себе только добрые воспоминания у того, кого я люблю как друга и брата.

Преданный Вам  
Ханс Кристиан Андерсен».

Вскоре мой благородный и замечательный Диккенс отозвался и прислал мне обстоятельное и сердечное письмо с приветами от всех и каждого из моих тамошних знакомых, включая даже древний памятник и овчарку, которая у него жила.

Затем письма от него стали приходить все реже, в последние же годы их вовсе не стало.

«Конец, конец, как и бывает со всеми историями!»

Но вернемся к текущим событиям!

В Веймаре царил праздничный блеск. Сюда съезжались люди из всех немецких земель. Я устроился как нельзя лучше в доме у моего друга обер-гофмаршала Больё. В Веймар была приглашена вся элита немецкого театра, чтобы воздать должное величию Гёте и его значению для сцены, на алтарь которой он возлагал свои творческие уси-

лия. В местном театре поставили несколько сцен из второй части «Фауста», начав их представление с соответствующего пролога, сочиненного директором Дингельштедтом. Двор устроил несколько пышных и интересных приемов, на которых сильные мира сего общались с людьми искусства. Торжественное открытие памятников Виланда, Гёте и Шиллера состоялось в прекрасную солнечную погоду. Игра случая, исполненная поэтического значения, произошла в момент снятия покровов с двух последних фигур. Появившаяся откуда ни возьмись белая птица вдруг запорхала вокруг голов Гёте и Шиллера. Она словно сомневалась, на какую из них усесться, увенчав тем самым соответствующего поэта своего рода символом бессмертия в глазах зрителей. Полетав немного, птица взвилась в ясное солнечное небо и пропала из виду. Я рассказал об этом случае великому герцогу, одному из близких родственников Гёте и сыну Шиллера. У последнего я спросил, в самом ли деле, что, как утверждали многие в Веймаре, я внешне напоминаю его отца. Он ответил, что я действительно похож на него, но сходство касается только фигуры, осанки и походки. «У моего отца, — сказал он, — были большие голубые глаза, лицом он с вами схож не был, да к тому же имел рыжие волосы». О последней подробности я до тех пор не знал.

Для праздничных театральных торжеств Лист написал музыку. Она имела шумный успех, и автора вызвали на авансцену, но мне музыка не понравилась. Думаю, что виной тому — мое личное восприятие: это сочинение показалась мне морем диссонансов, которые затем, конечно же, соединились в гармонии, но меня все же оно не тронуло. Я даже огорчился, что не смог разделить восторги прочих, и мне стало неудобно перед Листом, которым я восхищаюсь как художником и полету мысли которого даже немного завидую. На следующий день Лист пригласил меня на обед. Он пригласил также своих друзей, бывших, конечно же, и его почитателями. Я, однако, чувствовал, что не могу искренне присоединиться к их восторженному хору; это меня мучило, и я, быстро приняв решение, в тот же день уехал из Веймара, хотя до сих пор при воспоминании об этом испытываю чувство неудобства. Жаль, что я тогда поддался настроению и не попрощался с королем фортепиано. Больше я его, бывшего в музыкальном искусстве нашей эпохи явлением феноменальным, не встречал.

Мой путь домой лежал через Гамбург; там свирепствовала холера. Добравшись до Киля, я узнал, что болезнь распространилась и на Данию и сильнее всего проявилась в Корсёре, куда направлялся наш пароход. Погода стояла хорошая, мы прибыли в холерный город даже чересчур быстро, а поскольку до отправления поезда оставалось еще несколько часов, нам волей-неволей пришлось смешаться в зале ожидания с толпой местных жителей.

В Копенгагене мой врач встретил меня вопросом, что потерял я здесь, в столице, где тоже только что было отмечено несколько случаев холеры. Я снова поспешил уехать в деревню — сначала к Ингеманну и оттуда в гостеприимное поместье Баснес; однако, как оказалось, холера была и в близлежащем от него городке Скельскёр. Я не знал об этом, но почему-то тревожился.

Тем не менее я скоро обрел душевное равновесие. Тогда-то у меня и зародилась идея создания новой сказочной комедии «Блуждающий огонек». Ингеманну идея понравилась, однако на бумаге она вылилась лишь в набросок и только через несколько лет в совершенно измененном виде и форме воплотилась в сказке «Блуждающие огоньки в городе».

Директор Королевского театра поручил мне написать пролог к празднику в театре, назначенному на 5 декабря. Прочитать пролог попросили лучшего актера-трагика; тот, однако, в последние годы плохо заучивал текст наизусть, забывал его и делал ошибки. Я опасался, как бы он не стал ошибаться и на этот раз, и не без основания. Великолепным и звучным голосом актер выразительно провозгласил: «Пролог!», но затем стал запинаться и путаться. В результате из гордо реющего праздничного знамени мои стихи превратились в тряпку. Газеты отметили в этой связи великолепную декламацию актера и «полную внутреннюю несогласованность смысла» прочитанного, вину за которую критика, естественно, возложила на поэта, а не на почтенного артиста. На следующий день я опубликовал пролог, чтобы публика его прочитала и, таким образом, поняла, однако все это происходило уже *post festum*\*. Дело это прошлое, однако письмо Ингеманна от того времени служит своего рода поэтической виньеткой к стершейся уже до основания картине:

---

\* После праздника (*лат.*).

«Сорё, второй день Рождества 1857 г.

Поздравляю Вас со светлым праздником Рождества Христова и с Новым годом! Не поддавайтесь сплину и дурному настроению, в них могла заставить Вас впасть эфемерная паутина, которую плетут копенгагенские злопыхатели и прочие Ваши обидчики из “внешнего мира”. Взгляните на Млечный Путь, представьте себе великую живописную сказку жизни, разворачивающуюся на разных уровнях всего сущего, вплоть до горних высот и последнего великого мирового предела! Возблагодарим же Господа за безмерность красоты, уготованной нам на этом и на ином свете, меж тем как сами мы своим свободным и бодрым дыханием сдуваем грозящую опутать нас паутину мелких и ничтожных планет! Поэзия — это, слава Богу, летучий корабль понадежнее, чем разноцветные воздушные шары, на которых умельцы-виртуозы ежедневно взмывают в небо и падают на землю, ибо непостоянный и зачастую обманчивый ветер *aiga popularis*\*, играет ими и может в любой момент швырнуть оземь эти суточные шары-однодневки. Когда критики возьмутся за Ваш “Блуждающий огонек”, впустите в свою душу Господа и тем самым освободите себя от зловредного демона-паука, который сковывает и связывает наш дух своей паутиной, происходящей из мира этих лилипутов! Я попытался сделать это в моих “Четырех рубинах”, однако навряд ли сумел воплотить данную идею в наглядных образах. С приходом старости суше становишься не только ты сам, ссыхаются и поэтические идеи, лишаясь плоти и крови, без которых на этом свете не обойтись.

Сердечный привет Вам от моей Люси. Домовой, наславший на нее зубную боль и отек рта, попытался расстроить нам Рождество. Но в нашей гостиной стоит рождественская елка, которую поставили горничная и жена садовника, преподнеся нам сюрприз. От фру Йерико я получил в подарок автопортрет мужа в медальоне его работы, а на крышке коробки, в которую он был упакован, она нарисовала красивого рождественского ангела. На свете все-таки много прекрасной дружбы и любви, и угрюмость или слабоволие — это позорная неблагодарность с нашей стороны. Впрочем, Вы, по сути своей, вовсе не таковы, просто эта недостойная возня с прологом Вас расстроила. Пожалуйста,

---

\* Дуновение народной благосклонности (*лат.*).

поскорее порадуйте нас известием, что Вы снова радостно и свободно воспарили в поэтические небеса.

Сердечно преданный Вам  
Ингеманн».

1858

В последние годы мне так часто твердили, будто мои сказки немало выигрывают в исполнении самого автора, что я и сам в конечном итоге готов в это поверить. При этом, чем больше собрание, перед которым я выступаю, тем якобы лучше удается мне чтение. Хотя во время подобных опытов сам я испытываю невероятный страх. Поначалу я даже не мог уснуть всю ночь накануне, а когда наступал сам вечер выступления, меня лихорадило.

Страх у меня вызывают не отдельные, пусть даже самые именитые слушатели, а толпа, сама людская масса. Она как бы отуманивает мой рассудок, лишает воли. Тем не менее встречают меня всегда с радостью и провожают шумными аплодисментами. В последние годы в Копенгагене был образован Рабочий союз; я имею в виду не тот, что известен сейчас, а другой, организованный ранее. С ним активно сотрудничали, выступая перед его членами с лекциями общеразвивающего содержания, два человека: врач профессор Э.Хорнеманн и редактор Билле. Они обратились ко мне с просьбой прочесть в Союзе несколько моих сказок.

В Копенгагене тогда царили беспокойные и тревожные времена. На чтение пришло намного больше народа, чем вмещал большой зал. За пределами его, прижавшись к окнам, толклись множество людей, требовавших, чтобы окна открыли. Мною овладело беспокойное и нервное настроение. Тем не менее стоило мне встать за кафедру, как от страха не осталось и следа.

Я начал чтение с предварительного вступления, которое счел необходимым.

«В число познавательных чтений, которые проводятся в Рабочем союзе, сочли необходимым включить лекцию, посвященную искусству поэзии, тому искусству, благодаря которому мы видим и познаем красоту, доброту и истину.

В английском Королевском военно-морском флоте через все снасти, большие и малые, пропущена красная нить, означающая, что ка-

наты эти принадлежат короне. Жизнь всех людей на свете также пронизана одной нитью — невидимая, она указывает, что все мы принадлежим Господу.

Находить эту нить в малом и в большом, в собственной жизни и во всем, что существует помимо нас, — вот в чем призвано помочь нам искусство поэзии, воплощенное в самых различных формах. У Хольберга оно проявляется в его комедиях, которые показывают людям их слабости и комичные недостатки, благодаря чему мы можем научиться многому.

С самых древних времен искусство поэзии было неразрывно связано с тем, что ныне мы называем сказкой. В самой Библии истины и мудрости облечены в аллегории и притчи. В наше время все мы, без исключения, знаем, что притчу не следует понимать буквально. Всегда следует искать глубинный смысл, заложенный в ней и соответствующий той невидимой нити, которая нас пронизывает. Мы хорошо знаем, что, когда слышим эхо, отраженное стеной, лесом или горой, это кричит нам не стена, лес или гора, — мы слышим отзвук собственного голоса. Точно так же и в сказке, и в притче нам следует искать самих себя — то есть познавать смысл, поучение и радость, сосредоточенные в них.

Таким образом, искусство поэзии встает в один ряд с наукой в процессе познания нами красоты, доброты и истины. Потому-то послушайте теперь несколько сказок!»

Я читал сказки, чувствуя, что публика внимательно слушает: до меня доносились отдельные наивные и непосредственные возгласы. Я был рад, что пришел читать этим слушателям, они мне понравились. Потом я читал сказки еще несколько раз, и другие писатели последовали моему примеру.

В 1860 году был создан нынешний Союз рабочих, развернувший более широкую деятельность. Я выступал в нем с чтением своих произведений регулярно каждую зиму и неизменно встречал со стороны слушателей огромное внимание и одобрение. Помимо меня, на таких встречах выступали еще многие наши поэты и писатели, а также известные актеры, читавшие стихи и драматические произведения. На одном из ежегодных праздников, когда Союз отмечал дату своего образования, провозгласили тост за украшение датской сцены ныне покойного Микаэля Вихе. Именно ему, как было сказано, принад-

лежала честь первому взломать лед равнодушия и впервые познакомиться членов Союза рабочих с дарами поэзии. Его примеру последовали другие. И действительно, Вихе первым выступил с чтениями (насколько я помню, стихотворения Эленшлегера) в Союзе рабочих, организованном в 1860 году, но за год до этого, когда рабочие впервые объединились, первым им читал я, и этой чести никому уступить не намерен.

В Студенческом обществе я прочитал мои первые сказки, еще будучи молодым студентом. С тех пор прошли годы. Теперь, в 1858 году, я снова читал их и получил такой сердечный и теплый прием, что мой страх от выступления перед большой аудиторией если не исчез совсем, то, во всяком случае, сгладился: я знал, чувствовал, что и здесь, среди рабочих я читаю для молодых, горячих сердец, для здоровых от природы людей, превращая эти вечера в прекрасные праздничные мгновения.

В последние годы накануне каждого Рождества или в начале весны я печатал по тоненькой книжке сказок, на желтой обложке которой красовалось изображение аиста, который летел, неся Весну на своей спине. В последнюю из вышедших книжек вошла большая сказка «Дочь болотного короля». О ней Ингеманн писал:

«Сорё, 10 апреля 1858 г.

Дорогой друг!

Вы — счастливый человек! Упав в сточную канаву, Вы тут же находите в ней жемчужины, а на этот раз — в болоте — нашли драгоценный камень! Благотворный Фантазус подносит розу к нашему носу как раз в том месте, где пахнет хуже всего, обнаруживая в болоте истинно королевское сокровище. То, что дочка прекрасна, я уже слышал от других. С удовольствием повидаюсь с ней после бани и семи ополаскиваний, которые Вы ей устроили. Я проникся такой любовью к ее старшим братьям и сестрам, а также к вкусу ее банщика и его утонченному эстетическому светочу, что уверен, ни к самой девушке, ни к половине королевства в придачу, которое она, конечно же, принесет, не пристанет ни одного пятнышка от грязного королевства ее папаша. А вот в нашем собственном королевстве грязи достаточно. Хорошо бы Ваша принцесса сумела показать, что из доброго и прекрасного способно породить подобное королевство. Счастья Вам



и благодати в новом году Вашей жизни! Возможно, я непоследователен, но как бы высоко я ни ценил факт рождения человека как условие продолжения жизни и всего, ради чего еще стоит жить, все же дни рождения как таковые я не ценю. Впрочем, дату второе апреля мы помним по другой причине — из-за настоящего провозвестника мира, летящего на спине у аиста — виньетке выходящих в этот день Ваших сказок и историй. Орден Даннеброга тоже подоспел почти к этому же дню, и данную награду мы также находим естественной и прекрасной. Сердечный привет от нас обоих.

То, что театр не погубил Хауха, для меня вести радостные. Я бы на такой должности погиб, да и Вы тоже, будь Вы даже паче чаяния практичны, как сам черт. Когда я был директором, то тоже отличался практичностью, однако власть забирает силы, и еще один год я не выдержал бы. А теперь нам остается счастливая частная и творческая жизнь и яркие, сильные крылья Психеи, которые позволяют порхать над цветами или, как Вам, нестись в коляске по болотному королевству, чтобы потом вознестись в наш освещенный яркими лучами летнего солнца мир.

Сердечно преданный Вам  
Б.С.Ингеманн».

В июне я снова пустился в путь — отправился навестить супругов Серре и друзей в Бруннене.

Но радостям дорожной жизни вскоре наступил конец. Дома же меня ожидало известие, которое потрясло, наполнило меня скорбью, болью и ужасом. Воспоминание о нем мучает меня до сих пор каждый раз, когда друзья из Америки зовут меня посетить страну, находящуюся по ту сторону мирового океана. На первых страницах «Сказки моей жизни» я уже рассказывал о доме адмирала Вульфа в Копенгагене, о его жене и детях и о его старшей дочери Хенриетте, которая всегда, как в тяжелые, так и в радостные для меня дни, принимала живейшее участие во всем, что со мной происходило. После смерти родителей она жила вместе со своим младшим братом Кристианом, лейтенантом военно-морского флота. Более доброго и самоотверженного брата, чем он, наверное, не видал свет. Хенриетта очень любила путешествия, они, можно сказать, стали для нее необходимостью или даже залогом хорошего самочувствия; особен-

но любила она морские поездки. В нескольких дальних путешествиях брат сопровождал ее. С ним она посетила Италию, Вест-Индские острова и американский континент. Во время предпоследней своей поездки они попали на судно, на котором началась желтая лихорадка. Брат заболел, и Хенриетта, девушка хрупкая, стала его сиделкой, проводила у его изголовья все свое время, вытирала платком его горячий, потный лоб и потом утирала тем же платком слезы со своих глаз. Тем не менее организм ее оказался сильным — она не заразилась, в то время как брата болезнь доконала. Охваченная болью потери, Хенриетта удалилась оплакивать свою горе в Иглвуд, поблизости от Нью-Йорка, в дом Маркуса Спринга и его замечательной жены, с которыми ее познакомила писательница Фредрика Бремер. Через год Хенриетта Вульф вернулась на родину, и мы виделись с ней чуть ли не ежедневно. Потеря брата стала для нее чрезвычайно большой утратой. Мыслями она часто уносилась туда, где покоился его прах, и хотела непременно туда вернуться. Летом 1858 года она наконец решилась и в сентябре отправилась в путь на гамбургском пароходе «Австрия». Последнее свое письмо сестре она отправила из Англии. В нем рассказывалось, что на борту судна множество пассажиров, но ни с кем из них она не сдружилась, и еще — когда они сошли в Англии на берег, она вдруг почувствовала такое сильное желание отказаться от дальнейшей поездки, что чуть было не отправилась обратно домой, однако, устыдившись своей слабости, все же осталась на корабле.

Вскоре после этого мы прочитали в газете о том, что пароход «Австрия» погиб в результате пожара, случившегося на нем в Атлантическом океане. Это известие повергло меня в отчаяние. Сестра Хенриетты и ее старший брат, все ее родственники и знакомые были объяты тревогой и мучились от неизвестности: никто не знал, какая ее постигла судьба. Вскоре появились первые описания ужасных сцен, происходивших в момент гибели судна; они исходили от тех, кому удалось спастись; но кто были эти люди? Неужели ей, такому нежному и хрупкому созданию, посчастливилось остаться в живых? И вместе с тем не было никаких определенных известий о ее гибели в морской пучине. Я вложил всю мою боль в слова, которые записал в первые же моменты скорби:

*Хенриетте Вульф*  
*(погибшей на пароходе «Австрия»*  
*13 сентября 1858 г.)*

Там, на судне горящем над бездной морской,  
Ты ужас познала, нам непостижимый,  
И как ты страдала, и смертью какой  
Погибла в сражении с неодолимой.

Ты, смелую, сильную душу тая  
В столь хрупких покровах, всегда над толпою  
Стояла — им пламенность сердца твоя  
Претила — но Небо гордится тобою.

Была ты сестрой мне, добра и тверда,  
Ты знала меня, ты меня понимала,  
От смерти не раз ты спасала, когда  
Поэта ногами толпа попирала.

Пустой же, болтливый, что твой бубенец,  
Толпой защищен, и тропую овечьей  
Бредет без конца, но приходит конец —  
Кончается жизнь, словно сон человеческий.

Прощай же, подруга начальных тех лет!  
Добра ты была ко мне не по заслугам.  
Тоскуя по брату, ты брату вослед  
Ушла — и теперь вы едины друг с другом.

Могила твоя — океан, океан,  
А камень надгробный в груди моей бьется.  
Душа твоя на Небе, там тебе дан  
Покой — там за муки стократ воздается.

На судне горящем над бездной морской  
Ты ужас познала, нам непостижимый,  
И как ты страдала, и смертью какой  
Погибла в сражении с неодолимой.

Дни и ночи мысли мои были заняты только этим событием. Я не мог думать ни о чем ином и не раз ночью в период неизвестности от

всего сердца просил Господа: если связь между миром духовным и физическим все-таки существует, пусть даст мне знак, какой-нибудь сигнал оттуда, свыше, пусть даже это случится в сновидении. Но, несмотря на то что все мои помыслы, когда я бодрствовал, целиком и полностью были поглощены подругой моей юности, ничего, что могла бы связать с ней моя фантазия, в моих снах так и не появилось. Навязчивые думы о случившемся настолько владели всем моим существом, что однажды днем, когда я шел по улице, мне показалось, что дома на ней превратились в огромные волны, катившиеся навстречу друг другу. Я явственно видел их движение; и в этот миг меня объял настоящий ужас — я испугался себя самого настолько, что, собрав всю волю в кулак, заглушил наконец снедавшую меня постоянно мысль об одном и том же. Я чувствовал, что в противном случае сошел бы с ума. И тогда чувства мои неожиданно посетил покой, я с надеждой стал уповать на Господа, а моя скорбь растворилась в печали.

Ингеманн писал мне:

«Сорё, 19 октября 1858 г.

Чем богаче душа, заключенная в малом и слабом теле, тем легче ей перейти из фазы горения в фазу затухания и тем свободнее ее вознесение в великое Царство духа, туда, где единственно мы можем передохнуть и найти настоящее упокоение. Впрочем, автору «Умиряющего дитя» и «Быть или не быть» излишне напоминать о светлой стороне картины, живописующей гибель смертного, какой бы подчас ужасной она нам ни казалась, в какое бы отчаяние ни повергала. Вы уже сами описали все это, и поскольку к тому же дали волю чувствам боли и любви в своей прощальной песне освобожденной душе, то тем самым лишили боль ее разящего жала еще задолго до того, как это письмо дойдет к Вам. Мы с Люси искренне сочувствуем Вашей боли, одна картина того ужасного, что, вероятнее всего, произошло, заставляет нас полностью разделять ее с Вами, но, хвала Всевышнему, мы знаем также, где и как Вам искать и где Вы найдете не только утешение, но также и вдохновение, которые может даровать лишь такая возвышенная любовь, как Ваша. Господь благословит Вас и даст Вам силу не только обрести утешение самому, но и разделить его с сестрой усопшей».

Старший брат фрёкен Вульф, капитан военно-морского флота Петер Вульф написал письмо одному из спасенных с парохода офицеров, но единственное, что ему удалось узнать таким образом — Хенриетту Вульф видели в тот день за столом на завтраке. Потом она обычно удалялась в свою каюту и выходила из нее, как было известно, только к обеду. Катастрофа произошла как раз в этот промежуток времени. Судно окуривали, поджигая деготь, бочка с дегтем опрокинулась, и растекшаяся горячая жидкость быстро распространила вокруг дым и пламя, которые вскоре охватили весь корабль. Следовало полагать, что Хенриетта Вульф, задохнувшись от дыма, умерла в своей каюте и та стала ее могильным склепом на дне Атлантического океана.

1859

Мелодичная, с элементами народной музыки опера Хартманна «Маленькая Кирстен», для которой я написал либретто, после долгого и незаслуженного перерыва вновь с большим успехом пошла на сцене. Похвалили даже мой текст. Критик из газеты «Отечество» назвал его поистине вдохновенным поэтическим произведением, «une rive de l'ideal au milieu des tristes réalités de la vie»\*. «Перед нами предстают прекрасные и знакомые картины, импонирующие каждому своей наивностью и невинностью. В то же время язык отличается такой богатой фантазией и пластичностью, что это произведение невозможно читать без волнения». Вот каких доброжелательных отзывов удостоивалась теперь моя поэзия.

Ранней весной вышла новая книжка «Сказок и историй», включавшая рассказ «Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях».

В лесу на деревьях распустились листочки. Установилась прекрасная теплая погода. Король Фредерик VII находился в это время в своем старинном роскошном замке Фредериксборг, окруженном великолепной лесистой местностью. Он прислал мне приглашение с целью послушать мои новые произведения в моем собственном исполнении. Прием мне был оказан, как обычно, самый теплый, радушный и сердечный, и в горделивом строении Кристиана VI, о котором так прекрасно писал Хаух —

---

\* «Идеальная мечта среди печальной реальности жизни» (фр.).

Прекрасен, словно роза в царстве фей,  
И горд подобно рыцарскому слову,  
Вершины горной тверже и светлей  
Вознесся башней к звездному покрову... —

я провел два замечательных дня.

В течение их я наслаждался роскошью и великолепием старины, бродил по залам, сидел за королевским столом, который в прекрасный солнечный день был накрыт на открытом воздухе в саду. Когда званый обед закончился, состоялась прогулка на лодках по озеру вокруг замка. Король сам захотел, чтобы я прочел историю о Вальдемаре До и его дочерях, поведенную мне ветром именно в это время. Король со своей супругой, графиней Даннер, заняли места на королевской лодке, в нее усадили и меня; за нами следовало еще несколько лодок с другими гостями. Мы плавно скользили по зеркальной поверхности озера, в которой отражались пламенеющие в лучах заходящего солнца облака. И я прочитал им историю о недолговечности богатства и счастья, уносимых шелестящим ветром. Когда я закончил чтение, наступило мгновение тишины, сам же я ощущал какую-то непонятную грусть. Вот, наверное, почему воспоминание об этих минутах в королевской лодке, из которой я смотрел на озеро, небо и замок в пламенных отблесках заката, сразу пришло мне на ум позже, в том же году, когда до нас долетело печальное известие: «Фредериксборг пылает огнем!»

Летом меня потянуло в Ютландию, самую живописную область Дании. Воспоминания об этой поездке воплотились в «Историю, случившуюся в дюнах» и в очерк «Скаген».

Меня пригласил к себе в свое старое поместье Нёрре-Восборг, что стоит неподалеку от Ниссе-фьорда, статский советник Танг. На этом месте некогда находилась усадьба рыцаря Бюгге. Описание поместья, его окрестностей и людей, которые там живут, я дал в письме Ингеманну:

«В прошлый понедельник я двинулся из Силькеборга на запад. Я думал увидеть там пустынную, почти незаселенную местность, но везде обнаружил возделанные поля и прекрасные сады, тянущиеся до самых пасторских дворов, где цветут бузина и розы. И живет здесь много людей крепкой и красивой породы. Нёрре-Восборг в са-

мом деле — старинная рыцарская усадьба с глубокими рвами и высокими валами тут же под окнами. Кустарник, защищающий сад с запада, штормовые западные ветры подрезали лучше ножниц самого усердного садовника. Часовня во дворе превращена в гостиницу для гостей; здесь я и расположился. В доме появляется иногда белая дама, но меня она пока еще не навестила — наверное, знает, что я жалую шутку, а не шутовство с привидениями. В прошлую среду, 6 июля, здесь в поместье праздновали победу при Фредерисии; на праздник пригласили шестерых местных крестьян, участников сражения. За столом ели, пили и говорили речи; над нами развевался Даннеброг, а когда меня попросили прочесть сказку, я прочитал «Хольгера Датчанина». Статский советник Танг очень любит крестьянское сословие, и мы навестили некоторых его представителей — какие же здесь богатые и живописные крестьянские дворы! Кухни выглядят, как игрушечные, а потолков в них и вовсе не видно за изобилием свешивающихся с них окороков и колбас. Эти добрые люди просто завалили меня пирогами, вареньем и напитками. Они угощали меня шнапсом и разными сортами вина, чаем с ромом и ликерами, и, поскольку я, разумеется, смог лишь отведать по капельке от всего этого изобилия, они подступили ко мне с шоколадом — уж этот-то напиток, наверное, не будет мне в тягость, а после него в довершение всего принесли старое пиво. Все это они делали с самыми добрыми намерениями.

Позавчера мы отправились к дюнам Хусбю на берегу Северного моря, что в трех милях отсюда. Мы ехали на нескольких повозках, все с развевающимися флагами. Их водрузили на вершины дюн и там же поставили палатку, море катило к нам свои волны, а мы пели патриотические песни. Примерно на расстоянии трех ружейных выстрелов от дюн расположена пасторская усадьба Хусбю с просторными светлыми комнатами, хорошей библиотекой и Вашим портретом на стене. В саду усадьбы растут могучие деревья и множество розовых кустов. Но как же резок ветер в этих местах! Когда мы вечером отправились обратно домой, губы у меня растрескались, а кожа на лице едва не была содрана.

Вчера в честь моего приезда в Нёрре-Восборге собралось большое общество. Пришли, наверное, более сотни людей, в основном, крестьянского сословия. Мы выпили чаю в саду, после чего, ближе к ночи, устроились за столом в большом зале, где допоздна звучали песни

и речи. В здешних местах живет замечательный народ, крестьяне с образованием, стремящиеся к знаниям, наукам и пониманию жизни. Особенно же им хочется, чтобы и здесь, на западе Ютландии, была проложена железная дорога, и будьте уверены, она будет построена. Да и сама эта местность превратится со временем в житницу и лесные угодья, я убежден в этом, хотя мне все-таки жаль исчезновения романтических вересковых пустошей с их безлюдьем, Фата-Морганой и приметам древней старины. Я услышал здесь множество преданий; некоторые из них связаны с Нёрре-Восборгом. Здесь в тюремном подвале томилась некая татарка Долговязая Маргрете; она вырвала зародыши неродившихся младенцев из утробы у пяти беременных женщин и съела их горячие сердца. Съев семь сердец, она надеялась стать невидимой. Сегодня ветер здесь воет, как поздней осенью, и слышен рокот прибоя.

Нёрре-Восборг, 11 июля 1859 г.

Искренне преданный Вам  
Х.К.Андерсен».

Пребывание здесь в гостях удалось на славу и оказалось не таким уж коротким. При отъезде вся семья проводила меня до Лемвига. Там, неподалеку от Лимфьорда, находится могила Гамлета, она — совсем не в Хельсингёре, куда перенес действие своего великого драматического произведения Шекспир. «Могила Амлета» — так называют ее западные ютландцы. Здесь на кургане часто сидит одинокий овечий пастух и играет на дудочке, вырезанной из бузины или овечьей кости, свою бесхитростную мелодию.

В Лемвиге мы расположились на постоялом дворе. Через короткое время я увидел, как на крыше появилось древко с Даннеброгом, затем показался еще один флаг — на крыше соседнего дома.

«Вы справляете какой-нибудь праздник?» — спросил я и получил от статского советника Танга ответ, что флаги подняты в мою честь.

Мы вместе отправились осматривать город. Повсюду меня встречали приветливые взгляды, на многих домах колыхались флаги. Я не мог поверить, что все это делалось в мою честь, но когда на следующий день ранним утром пришел к пароходу, то понял, что и в Лемвиге у меня немало друзей как среди взрослых, так и среди детей.



В толпе народа я заметил одного маленького, аккуратно одетого мальчика. «Бедный малыш, — заметил я, — чтобы успеть на пароход, ему пришлось так рано вставать!»

«Он не едет, — сказала его мать. — Он не давал мне ни сна, ни отдыха, пока я не пообещала привести его сюда посмотреть, как уезжает Андерсен. Он знает все ваши сказки». Я поцеловал мальчика и сказал: «Отправляйся все же домой и поспи, мой маленький друг! И счастья тебе, счастья!» Не скрою, меня немало порадовала встреча с ребенком, чувство это согрело меня, и я больше не мерз, как этот маленький мальчик, на холодном и свежем утреннем воздухе Западной Ютландии.

Корабль плавно прошел мимо Оддесунда. Здесь в свое время император Германии водрузил знамя и объявил, что все датчане должны быть уничтожены. Мы приехали в Тистед, где, как рассказывает нам о том Хольберг, проходили процессы над ведьмами. Мы уже почти причалили к пристани, я сидел в каюте, но тут ко мне вошли и позвали на палубу. Поклонники моего творчества пришли на причал, чтобы прокричать в мою честь звонкое «ура».

Ближе к вечеру мы достигли Ольборга. И здесь тоже меня встречали приветливые взгляды, я пожимал множество тянувшихся ко мне дружеских рук. Мой друг еще со студенческих времен, камергер Дальстрём, женатый на любимой дочери Эрстеда Софии, привел меня к себе, в настоящий старинный ольборгский дом. У него как раз гостил Андерс Сандё Эрстед, звезда правоведения первой величины и, кроме того, видный государственный деятель. Когда мы после обеда сидели и сумерничали, в комнату вошел слуга, объявивший, что во дворе собралось очень много народа. Вскоре в подтверждение его слов к нам поднялась целая депутация. Певческое общество города Ольборга решило приветствовать меня исполнением песни. Я испытал легкое смущение оттого, что хотели чествовать не Эрстеда, а меня. Я не мог заставить себя встать у того же открытого окна, где он всего несколько лет назад принимал подобное чествование. Поэтому я спустился во двор к столпившимся там людям. Началось пение. Радостный и благодарный, я пожал столько рук, сколько смог. Это была первая серенада, исполняемая в честь меня на родине; до этого в мою честь пели шведские студенты, когда я впервые посетил Лунд в 1840 году.

От Ольборга мой путь лежал в Скаген, на самую северную оконечность Дании, где встречаются воды Северного моря и Каттегата.

Старый Бёрглумский монастырь, где когда-то церковная власть значила гораздо больше, чем власть самого короля, теперь превратился в поместье. Землевладелец Ротбель, его хозяин, радушно пригласил меня погостить у него, чтобы хорошенько осмотреть окрестности и, возможно, даже увидеть настоящий шторм на Северном море. В историческом рассказе «Епископ Бёрглумский и его родичи» я нарисовал следующую картину этих мест:

«А теперь мы в Ютландии за Диким болотом и слышим, как катятся навстречу нам волны Западного моря. Оно совсем неподалеку, но отсюда не видно — перед нами возвышается большой песчаный холм; мы увидели его еще издалека, а теперь медленно тащимся на его вершину по глубокому песку. Наверху, на песчаном холме, расположено большое старинное подворье, это — Бёрглумский монастырь; большее его крыло занимает церковь. Мы приехали сюда сейчас, поздно вечером, но погода стоит ясная, ведь наступило время белых ночей, и отсюда видно все далеко-далеко вокруг: поля и болота до самого Ольборг-фьорда, пустоши и луга до темно-синего моря.

Но вот мы уже на холме, наш экипаж громыхает между гумном и овином, мы поворачиваем и въезжаем через ворота на старый монастырский двор, где вдоль стены стоят рядком липы. Здесь они укрыты от ветра и непогоды и поэтому разрослись так пышно, что почти закрывают своими кронами окна.

Мы поднимаемся по выложенной камнем винтовой лестнице, проходим по длинным коридорам под бревенчатым потолочным сводом. Ветер гудит здесь так странно, что не знаешь, откуда и где — внутри или снаружи, и тут вам начинают рассказывать — а рассказывать здесь есть что, особенно когда рассказчик боится сам или пугает других. Говорят, что именно здесь тихо и бесшумно проходят в церковь, где служат мессу, старые, давно умершие каноники, их шаги слышны в шуршании ветра, и у вас возникает удивительное настроение, все ваши мысли устремляются в прошлое, более того, вы сами в это прошлое попадаете».

«В Бёрглуме есть привидения», — говорили мне в Ольборге. Меня уверяли, что в одной из келий появляются привидения умерших каноников и будто бы сам епископ видел их там. Я не смею отрицать связи между духовным и физическим мирами, но с уверенностью о ее существовании судить не могу. Все наше существование, миры внутри

и вне нас — это удивительное чудо, но мы так привыкли к нему, что считаем это чудо вполне естественным. Все это зиждется и держится на великих законах природы и разума, законах, зависящих от всевластия, мудрости и доброты Бога, и в отклонения от них я не верю.

После первой ночи, которую я провел под крышей Бёрглумского монастыря, за завтраком я не смог удержаться от того, чтобы не поинтересоваться у хозяина дома и его жены, в какой именно келье в монастыре спал епископ и появлялись ли в ней привидения. Меня в ответ спросили, уж не боюсь ли я, и добавили, что умершие каноники появлялись как раз в моей комнате. Поэтому первое, что я сделал, войдя в свою келью, это осмотрел ее от пола до потолка. Затем я вышел во двор, внимательно исследовал стены комнаты извне и даже взобрался под самые окна кельи, чтобы выяснить, не скрываются ли здесь хитроумные приспособления, создающие сцены с появлением привидений. Я ведь не знал, может, и здесь, как в других местах, кто-нибудь подобно мне в ранней юности забавляется, устраивая устрашающие ночные представления. Но, так ничего и не обнаружив, я спал в эту ночь и последующие в полной тишине и покое.

Как-то вечером я лег спать раньше обычного и проснулся незадолго до полуночи от странного озноба, пробежавшего у меня по спине. Мною овладело неприятное чувство, я вспомнил об упомянутых выше привидениях, но тут же отбросил мысль: страшиться было глупо, с чего бы это белым каноникам являться ко мне? Разве в то время, когда я жил в неизвестности относительно судьбы Хенриетты Вульф, я не молил Бога, чтобы он смилостивился и, если это только возможно, дал мне какой-нибудь зримый или слышимый знак того, что она оказалась в числе погибших? Тем не менее ничего так и не произошло, никакого знака я не получил.

Эти мысли вывели меня из оцепенения, но в тот же миг я увидел в дальнем от меня углу туманную фигуру, напоминавшую человека. Я смотрел и смотрел на нее, не в силах отвести глаз, и кровь стыла у меня в жилах, я не мог долее этого вынести. У меня в характере уживается две черты: страх и стремление все узнать и понять. Я выскочил из кровати, подбежал к туманной фигуре и увидел в тот же миг перед собой гладкую лакированную дверцу с двумя чуть выдающимися на ней панелями, которые освещало зеркало, озаренное, в свою очередь, через окно прозрачным и ясным небом летней северной но-

чи. Это и была фигура, смутно напоминавшая человеческую. Вот какой призрак я увидел в Бёрглуме.

Впоследствии со мной случалось еще несколько историй с привидениями, и, наверное, самое лучшее — рассказать их сразу же.

Примерно через год я гостил еще в одном большом старом поместье. Как-то посреди бела дня я проходил по одному из больших его залов и внезапно услышал громкий звон, очень похожий на тот, какой издает столовый колокольчик. Звук исходил из противоположного крыла здания, где, как я знал, находились нежилые комнаты. Я спросил хозяйку дома, что это за звон. Она внимательно на меня взглянула: «Так вы тоже слышите? И тоже среди бела дня?» — после чего рассказала, что звон слышат часто, и особенно вечером, когда обитатели поместья расходятся по своим комнатам, чтобы лечь спать. Более того, иногда звук бывает настолько сильным, что его слышит даже прислуга в подвале. «Давайте-ка проверим!» — предложил я. Мы прошли через зал, в котором я услышал таинственный звон, и встретились с хозяином дома и местным священником. Я рассказал им о звоне, подошел к окну и заверил их: «Никаких привидений не видно!» Но не успел я закончить фразу, как звон стал еще громче, чем в прошлый раз, и по спине моей пробежал холодный озноб. Тогда уже менее самоуверенным тоном я сказал: «Не могу отрицать, но все-таки в них не верю».

Прежде чем мы покинули зал, колокол прозвонил еще один раз, и в ту же секунду взгляд мой случайно наткнулся на большую люстру под потолком. Я заметил, что многие ее стеклянные подвески чуть-чуть шевелятся. Я схватил стул, поставил под люстру и вскочил на него. «Пройдитесь-ка здесь побыстрее да посильнее топайте!» — попросил я. Мою просьбу исполнили, и мы тут же услышали громкий звон. Эхо создавало впечатление, что звуки доносятся издали. Так я в очередной раз посрамил всю чепуху с привидениями.

Одна пожилая вдова-пасторша, услышавшая об этом, как-то сказала мне: «Интересная история приключилась у вас! И как только вы, будучи поэтом, решились низвести столь поэтический феномен до тривиальнейшей чепухи!»

А вот еще одна история о привидениях, последняя.

В то время я находился в Копенгагене. Проснувшись ночью, я заметил, что на изразцовой печке в подножии кровати стоит белый, как

мел, бюст, которого я ранее на этом месте не видел. «Наверное, кто-нибудь его мне подарил, — подумалось мне, — но чье же это изображение?» Приподнявшись на постели, я попытался получше разглядеть бюст, однако в ту же секунду он растаял. Внутри у меня как будто что-то оборвалось, но я все же встал, зажег свечу и посмотрел на часы. Они показывали ровно час ночи, и в тот же миг я услышал голос сторожа, прокричавший «час». Я записал все происшедшее со мной на бумагу и лег снова, но успокоиться никак не мог. И тут мне вдруг пришло в голову, что во всем, должно быть, виноват отблеск лунного света, отразившийся от белой стены, проникнув в комнату через окно. Я снова встал и выглянул наружу: небо было в тучах, месяц давно уже скрылся; фонари тоже не горели, и, следовательно, пятно света ни один из них отбрасывать не мог.

На следующий день я тщательно осмотрел комнату, а потом и улицу перед окном. Там у дома на противоположной стороне стоял фонарь; свет его, отразившись от паруса лодки на канале и преломленный наполовину опущенной гардиной, вполне мог создать на стене пятно, по очертаниям напоминающее человеческую голову. С наступлением вечера я спустился вниз и спросил сторожа, в какое время он гасит фонари. «Ровно в час ночи, — таков был ответ. — Как раз перед тем, как кричу “час”».

Значит, увиденное мною был отблеск света на стене. Погасив фонарь, сторож уничтожил и «призрак».

Но вернемся в Бёрглумский монастырь, где ночные видения являлись различным людям множество раз. Мне же самому так и не довелось увидеть ни одного привидения, но по пути домой я заехал в Ольборг и беседовал об этом явлении с одним весьма уважаемым господином, который видел призраки каноников в белом, как он говорил, воочию. Я позволил себе предположить, что, возможно, те привидения, которые якобы мой собеседник видел, были всего лишь оптическим обманом, вызванным неким дефектом зрения, на что последовал сварливый ответ: «Может, дефект зрения как раз у вас, если вы не видите ничего подобного!»

Я провел в Бёрглуме десять—двенадцать дней и посетил за это время маленькую рыбацкую деревушку Лёккен, где многие дома едва не утопают в зыбучих песках. «Это еще что, — говорили мне, — посмотрите на то, что творится в Скагене». Дорога туда лежала через Йёр-

ринг. К вечеру я сильно устал и уже собрался было пораньше лечь спать, как вдруг хозяин постоялого двора под строжайшим секретом сообщил, что чуть позже ко мне явятся гости: несколько дам и господ собираются меня приветствовать, а на море будет устроена иллюминация.

И действительно, позже вечером ко мне явилась настоящая депутация. Меня пригласили сойти вниз в сад, где встретили красивой песней, окончание которой я здесь привожу:

Цветочки вереска с тобой,  
С тобой лишь откровенны были,  
Песчанка пропицала: «Пой!»  
Песков летучих сказки, были

И рев волны постиг лишь ты,  
У моря Западного стоя,  
И тайны здешней красоты.  
А для иных тут — все пустое.

Воспой же все, что ты узнал,  
Пока бродил по нашим дюнам,  
Чтоб слух растроганный внимал  
Прекрасной арфы звучным струнам.

Пробст Дьюруп произнес в мою честь хвалебную речь. Это был благословенный вечер, на небе ярко сияли звезды, я ощущал радость и прилив сил.

Во Фредериксхавне, откуда начиналось мое путешествие в Скаген, я прекрасно устроился в доме моих друзей, постаравшихся сделать мое пребывание у них и дальнейшее путешествие как можно более приятным. Они позаботились даже о том, чтобы раздобыть мне надежного кучера, который провезет меня по взморью, то есть по полоске берегового песка, на которую набегают волны. Кучером оказался зажиточный добродушный крестьянин, хорошо знавший, где находится твердый грунт, а где нас ожидают предательские плавунуны. Ему еще раньше показали мой портрет и сказали: «Этот человек — великий писатель», — на что крестьянин, посмеиваясь, ответил: «Стало быть, он горазд сочинять небылицы». На протяжении всего пути он ни в какую не хотел ни поддерживать беседу, ни рассказывать о чем-нибудь сам — лишь хитро посмеивался на все, что бы я ему ни гово-

рил. Однако правил лошадьми он весьма искусно и показал себя щедрым и гостеприимным хозяином, не соглашавшимся ехать дальше, пока я не отведаю всего, чем меня угощали в его доме: жареных цыплят, блинов, вина и меда.

Мы ехали по полям, пустошам и болотам, а также по взморью — по узкой полоске плотного песка за линией прибоя. Так мы доехали до дюн, напоминавших зимние снежные сугробы. Прибрежная полоса была усыпана подрагивающими красно-коричневыми медузами, ракушками и мелкой галькой. Повсюду валялись обломки погибших кораблей; мы проехали прямо через серединную часть того, что когда-то было трехмачтовым бригом. Над нами вились стаи кричащих птиц. Наконец впереди замаячила башня поглощенной песками церкви св. Лаврентия, она указывала путь к Скагену. Он поделен на три части; одна из них, самая древняя, расположена на расстоянии полумили от двух других. Мы направились к последним; улицы здесь все время по воле перемещающегося песка изменяют свой внешний вид, они обозначены веревками, натянутыми между шестами. Вот, например, дом, наполовину засыпанный песком, вот темное просмоленное строение с соломенной крышей, а там стоит несколько домов под красной черепицей. На картофельном поле я увидел свинью, привязанную к статуе Надежды, некогда украшавшей нос корабля, а теперь подпертой якорем. А вот с фронтона дома на вас глядит мощный исполин — фигура Вальтера Скотта, также, по-видимому, снятая с носа потерпевшего крушение судна.

Но и в здешней пустыне встречаются оазисы. По пути нам попадались радующие глаз лесопосадки, где росли буки, ивы, тополя, сосны и ели. На улицах городка среди песков также разбиты лужайки, которые постоянно борются с ветром и песком.

Я посетил самую крайнюю оконечность Скагена — пятачок, на котором с трудом может стоять один человек. При этом на одну его ногу накатываются волны Северного моря, а другую лижут воды Каттегата. Бесчисленные морские птицы наполняют здесь воздух своими криками, а ревущая пучина гонит к берегу то высокие волны, то мертвую зыбь. Если долго вглядываться отсюда в линию горизонта, где небо смыкается с водой, начинает кружиться голова. И вас тянет оглянуться и посмотреть, что находится позади — земная твердь или все та же пучина морская, оставшись посреди которой, чувству-

ешь себя ничтожным червячком — легкой добычей для прожорливых крикливых птиц. В ясную погоду сквозь прозрачную толщу воды видны обломки кораблей, которые кажутся останками каких-то доисторических животных, но стоит начаться шторму, и вся эта водная масса превращается в пенные водопады, обрушивающиеся на песчаные отмели и разбивающиеся о дюны.

От скагенского Грена мы двинулись по глубокому песку дюн в Старый Скаген, который с каждым годом перемещается все дальше и дальше в глубь суши. Там, где когда-то располагался самый древний Скаген, давно уже гуляют тяжелые морские волны. Мы добрались до засыпанной зыбучими песками старой церкви, которую когда-то построили голландские и шотландские шкиперы, посвятившие ее св. Лаврентию. В течение многих лет песок скапливался у церковной ограды, затем перевалил через нее, поглотил могилы и памятники кладбища и наконец добрался до стен самой церкви. Тем не менее долгое время паства продолжала посещать ее и ходить на богослужения, однако потом в церковь стало невозможно пробираться даже с лопатой. Однажды в воскресенье явившиеся сюда со своим священником скагенцы увидели на месте входной двери мощный песчаный занос; священник прочитал тогда короткую молитву и сказал: «Видно, этот свой дом закрыл сам Господь, нам следует построить для Него новый на другом месте!»

5 июня 1795 года король приказал закрыть церковь. Однако шпиль ее решили использовать как навигационный знак, и в этом качестве он служит людям и по сей день.

И все-таки со старым кладбищем скагенцы расставаться не торопились. Старики желали, чтобы их хоронили рядом с предками. С большими трудностями это место использовалось для захоронений вплоть до 1810 года, пока песок полностью не засыпал кладбище. Тогда скагенцам пришлось устроить новое.

Я с трудом добрался до занесенной песком и похороненной под ним церкви; вот какие впечатления вызвал у меня ее вид — по крайней мере так описываю я их в своем очерке «Скаген»:

«Со странным чувством, которое я испытывал лишь на холмах из пепла над Помпеями, я стою здесь, у погребенной под песком церкви. Свинцовая крыша ее проломана; белый, как мука, мелкий песок, раскаленный на палящем солнце, лежит под ней, скрывая своды. Там,



в могильной темноте, будет упрятано все скрытое и забытое потомками, пока бури с запада не выметут из церкви тяжелый песок дюн и солнечные лучи не проникнут внутрь через открытые сводчатые окна и не заиграют на картинах, выставленных на хорах, — на длинном ряде портретов советников и бургомистров Скагена с их гербами. Быть может, наши далекие потомки все-таки когда-нибудь войдут в эти освобожденные от песка скагенские Помпеи и снова подивятся старинной искусной резьбе алтарной доски с ее библейскими образами. Вот я уже вижу: теплый луч снова падает на “Марию с младенцем”, который держит одной ручонкой позолоченный земной шар. Ныне по церкви катятся безжизненные песчаные волны. На них растет дюнный терновник с желтыми ягодами, и здесь же распускаются цветы и наливаются соком плоды шиповника. Невольно вспоминается сказка о принцессе в спящем лесу, где непроницаемый кустарник скрывает ее замок. Могучая колокольня церкви еще возвышается на две трети своей высоты над дюнами, на ней гнездятся вороны, тучи их выются над остатками стен; их крики и треск ломающихся ветвей терновника под моими ногами по мере того, как я продвигаюсь вперед, — вот единственные звуки, которые я слышу в этой пустыне».

После нескольких дней, проведенных в этой великолепной дикой местности, которая со своими крикливыми пернатыми стаями так и просится на декорации для аристофановских «Птиц», я повернул на юг по направлению к дому. В дороге меня сопровождали молодой ютландец и невестка одного священника. Волны прибоя на этот раз оказались слишком сильными, и мы не могли ехать по плотной полосе взморья; нам пришлось преодолевать глубокий и вязкий песок дороги, и потому двигались мы медленно. Я всю дорогу рассказывал спутникам о странах, где побывал, описывал свои впечатления об Италии и Греции, о Швеции и Швейцарии. Старый почтальон долго прислушивался к моим рассказам и наконец с немалым удивлением сказал: «И как это такому старому человеку, как вы, не надоело таскаться по свету?»

Изумленный отнюдь не меньше его, я заметил: «Неужели вы считаете меня таким старым?» — «Да вы же старик», — отвечал он. «И сколько, по-вашему, мне лет?» — спросил я. «Пожалуй, за восемьдесят». — «Восемьдесят! — воскликнул я. — Видно, путешествие порядком меня утомило! Неужели я так плохо выгляжу?» — «Да, выглядите вы неважно», — сказал он.

Я заговорил о новом прекрасном маяке Скагена. «Да, вот бы его увидел король!» — промолвил почтальон, и я ответил ему: «Я обязательно расскажу о маяке королю, когда снова буду беседовать с ним». Почтальон улыбнулся моим спутникам: «Вишь ты, когда он будет беседовать!» — «Да, я беседую с ним! — сказал я. — Больше того, иногда я с ним обедаю!» Старик схватился за лоб, покачал головой и хитровато ухмыльнулся: «Он обедает с королем!» Вероятно, он счел меня слегка тронутым.

Из Фредериксхавна, местность вокруг которого с ее вересковыми пустошами, буковыми лесами, полями пшеницы и широким открытым берегом может считаться жемчужиной Дании, я снова вернулся в Ольборг, где меня опять встречали приветственными песнопениями. Мне это казалось сном, радостным прекрасным сном, за который я благодарил Господа. Меня повсюду встречали приветливые взгляды, горячие сердечные люди и солнце, согревавшее своими теплыми лучами в высшей степени разнообразную ютландскую природу. Как раз на пути из Рандерса в Выборг родилось у меня стихотворение «Ютландия», положенное на музыку нашим превосходным композитором Хайсе; теперь эта песня исполняется по всей Дании:

Ты, Ютландия, что камень,  
Между двух морей легла,  
Руны древние веками  
Средь лесов ты стерегла,  
И по пустошам твоим  
Бродит лет минувших дым.  
Ты была стране началом  
В лесном крае задичалом,  
Где на западе забралом  
Стоят дюны горным валом,  
Где у Скагена на створе  
С морем здравствуется море.

В монастыре Асмильд у Выборга меня снова ожидал устроенный друзьями праздник, но самой приятной и неожиданной явилась встреча, состоявшаяся ранним утром по дороге оттуда. Я уже отъехал от Выборга примерно милю, когда увидел на дороге молодую даму, которую видел в Асмильде, а потом еще одну. Кучер притормозил, и тут мой

экипаж окружили сразу шесть милых девушек, простодушных и приветливых, в руках у них были предназначавшиеся мне букеты. Они прошли целую милю всего только ради того, чтобы попрощаться со мной, ибо, по-видимому, сделать это на окраине города постеснялись. Меня такое отношение настолько тронуло и так глубоко ошеломило, что я даже оказался не в состоянии достойно поблагодарить их. От неожиданности я только и смог сказать: «Но, милые деточки! Вы шли так долго только из-за меня? Благослови вас Господь! Спасибо, спасибо!» — и, повернувшись к кучеру, закричал на него: «Что ты стоишь! Гони! Гони!» Я был совершенно растерян и хотел как можно быстрее от всего этого избавиться. Но не потому, что не хотел бы выразить благодарность, которую к ним чувствовал, а от стеснения и неловкости.

Результат ютландской поездки не замедлил сказаться в конце года на Рождество, когда вышла моя история «В дюнах», принятая публикой весьма тепло. Правда, автор одной из рецензий заявил, что человек, прочитавший мое произведение и двинувшийся в описанные места, будет озадачен, настолько мало они соответствуют воспетым моей музой красотам природы. Вместе с тем меня порадовало, что конференц-советник Бринк-Сайделин, человек, в наибольшей степени способный судить о предмете, поскольку он сам выпустил превосходную книгу о Скагене «Описание амта Йёрринг», придя ко мне, горячо благодарил меня за то, с какой точностью и правдоподобием я воссоздал в моем сочинении тамошние места. Я получил также письмо от скагенского священника; ему тоже понравились мои описания природы — за их точность. Он заметил, кстати: «Мы сами поверили и будем рассказывать всем посещающим нас путешественникам, что внутри засыпанной песком церкви похоронен Йорген».

Еще мне прислали из тех мест поэтический привет:

«Поэт, прими мой благодарный стих,  
Хотя с твоим в сравненье он бездарен,  
Набрал цветов ты для садов своих  
У Скагеррака, где песок коварен,  
И тот букет, прижав к груди, ты нес,  
И он корнями грудь твою пророс.

И вот расцвел он, пышный твой букет,  
Благоухая ароматом Рая,

А ведь невзрачен был на дюнах цвет,  
Где ты бродил, растенья собирая, —  
Песчаный терн и вереск находил;  
Как ангелов, их заново родил.

И вот, вспорхнув, летят по всей стране,  
Как зимнею порою хлопья снега,  
Но все свежи, милы, как по весне —  
На щечках розы, и во взорах нега:  
Ты их послал с вестями о любви,  
Летят по свету вестники твои.

И я услышал ангельский призыв  
И не забуду голосов их юных,  
Я слышу здесь их, где морской прилив,  
Я слышу здесь их, на родных им дюнах,  
Где волны бьются в яростной тоске,  
Где след свой ты оставил на песке.

Там, где пески накрыли старьёй храм  
И он из дюны прорастает башней,  
Где ты природой восхищался, там  
Тебе явился образ не вчерашний —  
Прозрел сквозь годы ты на месте том  
Челн королевский с золотым веслом.

И ты услышал пение псалма  
И звук органа из-под сводов храма,  
И вот тогда поэзия сама  
Столпом огня изшла из сердца прямо —  
И терн и вереск волей высших сил  
Ты в ангелов тогда преобразил.

Йёрринг, декабрь 1859 г.

Камилло Бруун».

На Рождество я собрался в милый и уютный Баснес, но сначала, как всегда, должен был проведать Ингеманнов. Я отправился к ним рано утром 17 декабря и уже на вокзале услышал печальные вести: «Фредериксборг пылает огнем!» Мне тут же вспомнилось мое по-

следнее посещение замка, когда я — как уже описывал это ранее — плыл в королевской лодке на закате солнца под багряно-красным небом. Я читал тогда историю о том, что рассказывал ветер Вальдемару До о недолговечности богатства и власти.

У Ингеманнов я получил письмо из Баварии от короля Макса. Он писал, что уже в тот момент в прошлом году, когда я, читая свои сказки, прогуливался вместе с ним на королевской лодке по озеру Штернберг, он решил сделать меня кавалером ордена Максимилиана. Препятствия, существовавшие для его получения, ныне устранены, и он уже выслал мне этот учрежденный им самим высший знак отличия. На ордене, присуждаемом поэтам и художникам, изображен Пегас, тот же его вариант, которым награждаются ученые, носит на себе изображение совы Минервы. Я уже знал, что в Мюнхене ордена Максимилиана удостоены писатель Гейбель, живописец Каульбах и химик Либих. Слышал я также, что первыми иностранными кавалерами ордена станут француз Араго и датский поэт Х.К.Андерсен.

Я весьма обрадовался этому свидетельству признания моих заслуг со стороны такого благородного и любящего искусство человека, как баварский король. Ингеманн с женой искренне разделили со мной эту радость, хотя, прежде, чем я успел покинуть их дом, возникла еще одна причина для поздравлений. Родина наконец-то оценила меня по достоинству, чего столь долго и упорно добивался для меня Ингеманн. Наконец я получил материальное тому доказательство.

Вскоре после возвращения из Ютландии я как-то раз прогуливался за городом. По пути мне встретился епископ Монрад, в то время министр по делам религии и образования. Мы знали друг друга долгие годы; будучи еще студентами, жили в одном доме, и он тогда часто бывал у меня. Позже, когда Монрад стал пастором на Фальстере, а я, возвращаясь из прекрасного поместья Корселитсе, из-за штормовой погоды никак не мог уехать с острова, мы провели несколько прекрасных и интересных дней в обществе друг друга в кругу его семьи. Позже мы не общались. И вот он остановил меня и сказал, что, по его мнению, субсидия, которая в виде ежегодного пособия в 600 ригсдалеров выплачивалась мне государством, слишком ничтожна и я должен получать наравне с писателями Херцем, Кристианом Винтером и Палуданом-Мюллером 1000 ригсдалеров. Неожиданное известие обрадовало и смутило меня. Я пожал Монраду руку и сказал: «Спасибо! Мне

эта прибавка действительно вовсе не помешает. Моложе я не становлюсь, а гонорары у нас в стране, как вы знаете, выплачиваются ничтожные. Поэтому я искренне вам благодарен! Но не поймите меня превратно, я ни в коем случае не позволю себе напоминать вам о том, что вы только что мне сказали, — я этого просто не смогу сделать». На том мы и расстались. Долгое время я ничего об этом деле не слышал. И вот наконец, когда я гостил у Ингеманна, газеты напечатали известие о том, что фолькетинг принял решение в дополнение к 600 ригсдалерам ежегодно выплачивать мне еще 400 ригсдалеров. С присущим ему юмором и сердечностью Ингеманн поднял за меня бокал, друзья присылали мне поздравления, я же воспринимал это со странным чувством глубокой обеспокоенности: снова я оказался баловнем судьбы, мне всегда везло, меня всегда защищали, мне покровительствовали, но внезапно я ощутил страх, который уже испытывал и прежде, — подобное везение не может длиться вечно, рано или поздно оно кончится и вслед за ним наверняка наступят времена испытаний, тяжелые, горькие для меня дни.

Рождество я отпраздновал в Баснесе, где зажгли несколько праздничных елок. Отдельная елка устраивалась не только для гостей; своя ель была и у детишек местных бедняков, причем, устроенная хозяевами, она была не менее богатой и сверкающей, чем наша. Фру Скавениус сама украшала ее и зажигала на ней каждую свечу, а я вырезал и клеил фигурки из бумаги, которые развешивались на ветках. Накрытые столы вокруг елки ломились от рождественских подарков, которые особенно обрадовали матерей бедных детишек; они получили пряжу для рубашек, полотно для ночных сорочек и еще много других нужных и полезных вещей. Бедных детишек угостили на славу, и они провели веселый вечер. Наш же праздник растянулся на несколько дней. За окнами кружился снег, звенели санные колокольчики, с берега доносились песни диких лебедей. Снаружи стояла прекрасная погода, да и внутри тоже было уютно; молодежь танцевала до раннего утра. На праздник пригласили всех соседних помещиков, а также родственников и знакомых со всей округи. Из соседнего имения Борребю, как раз того, что отображено в истории о Вальдемаре До, приехали как его хозяева, так и их гости. Особенно радовало меня присутствие среди них писателя-прозаика Сен-Обена, широко известного под псевдонимом Карл Бернхард. Как писатель он прославился живыми описаниями природы

и созданием колоритных образов датчан с их наивной верой в силы этой природы. Кроме всего прочего, он оказался весьма любезным, предупредительным и галантным господином. Никто бы не поверил, что ему за шестьдесят, столь моложаво он выглядел. Сен-Обен был среди танцующих, вел оживленные беседы; со мной он держался себя открыто и сердечно, смеясь над мелочностью света и радуясь всему благодатному, что есть в жизни.

1860

6 января я вернулся в Копенгаген. Это был день рождения патриарха, Йонаса Колина, — день, знаменательный для меня и, конечно же, для бесчисленного множества других людей, кому он помог встать на ноги и двигаться вперед по нелегкой и полной превратностей дороге жизни.

В начале этого года возникла идея поставить памятник Х.К.Эрстеду, первооткрывателю электромагнетизма. Идея исходила от фру Йерихау. Точно так же в свое время идея установки памятника Эленшлегеру исходила от Хенриетты Вульф, использовавшей влияние своего брата и других видных людей из общества, чтобы осуществить этот план. В число учредителей подписки на память Эрстеду вошли государственный деятель и политик тайный советник Тиллиш, ученый-геолог Форкхаммер, представитель купеческого сословия статский советник Сур и я. Изготовление памятника поручили профессору Йерихау. Он обязался за известную сумму извезти к определенному сроку статую, отлить ее в бронзе и выставить на одной из площадей Копенгагена.

Пришла весна. И вместе с ней пришло желание путешествовать. Лес зазеленел, писал мне Ингеманн, приглашая к себе. Я не замедлил отправиться в путь и скоро был в Сорё, а еще через несколько дней — в Рендсбурге. Меня зазывали погостить капитан Лунборг и его жена. У них я провел несколько великолепных дней; в городе вовсе не ощущалось прежней ненависти ко всему датскому. Повсюду развевались датские национальные флаги, и никакой неприязни со стороны местного населения к датчанам я не чувствовал. Здесь было много военных; офицеры устроили в мою честь праздник, и, когда кто-то высказал желание, чтобы я остался у них еще на один день

и выступил с чтением моих произведений перед солдатами, я, естественно, сразу же согласился. Для этого мероприятия выбрали большой зал — кажется, он назывался «Гармония», — украсили его цветами и датскими флагами, а на самом видном месте установили бюст короля, осененный с двух сторон Даннеброгами. На чтении присутствовали офицеры и унтер-офицеры, множество дам и некоторые из именитых горожан, знавшие датский. Галерею заняли солдаты-новобранцы; между чтением сказок играл оркестр.

Солнце все еще сияло, когда я вернулся в дом Люнборгов, где уже собрались друзья. Какой, однако, нынче выдался прекрасный датский день, говорили все.

Примерно в полночь, когда я уже лежал в постели, снаружи послышался шум собравшейся толпы. Я забеспокоился и сразу подумал: «Ну вот, начинается! Немцы устроили демонстрацию». Мой хозяин с женой подумали то же самое. Несколько секунд я тревожно прислушивался, и вдруг зазвучало красивое пение, в котором я разобрал слова *schlafe wohl*\*. Немцы пришли дружески поприветствовать датского писателя, сказки и истории которого знали по переводам.

Утром перед нашим домом выстроился военный оркестр и заиграл марши, а когда я во второй половине дня приехал на железнодорожный вокзал, повсюду на нем вывесили национальные флаги. Туда же явилась депутация от солдат; они благодарили меня за выступление, после чего выстроились в ряд и стали исполнять датские песни, а когда поезд тронулся, меня проводили громкими и раскатистыми криками «Ура!».

Я решил снова побывать в Риме и провести эту зиму в Италии. По Германии я решил двигаться через Эйзенах и Нюрнберг, впервые посетить старинный город Регенбург и заодно осмотреть роскошную «Валгаллу», дворец, который королю Людвигу каким-то чудом удалось построить на самом краю горы.

В Мюнхене меня ожидали дорогие друзья; незабываемые прекрасные часы я провел в обществе гениального живописца Каульбаха. Истинный алтарь высокого искусства, его дом в то же время отличался необычайным уютом; в нем собирались наиболее известные мюнхенцы — Либих, Зибольд, Гейбель и Кобел.

---

\* Спи спокойно (нем.).



Король Макс и его благородная супруга встречали меня с большим радушием, и расставание с Мюнхеном, городом со столь богатыми художественными традициями и сердечно расположенными ко мне людьми, далось мне в этот раз нелегко.

Весьма интересной оказалась поездка на несколько дней в горы, в городок Обер-Аммергау, где я посмотрел спектакль о страстях Христовых.

По сути, это действо — реликт средневековых народных мистерий; демонстрируется спектакль каждый десятый год. Известный нам Эдуард Девриент видел его в 1850 году и написал о нем интересную статью. Ныне, в 1860 году, спектакль начался 28 мая и должен быть еженедельно повторяться вплоть до 16 сентября.

Население Аммергау живет главным образом резьбой по дереву. На время спектаклей, проходящих, как было сказано, раз в десять лет, ремесло свое они, конечно, откладывают в сторону. В эти недели для участия в празднике приезжает множество народа издалека, и число зрителей возрастает день ото дня. Каждого встречают как дорогого гостя и размещают за умеренную плату, в зависимости от обстоятельств и по мере возможности, самым наилучшим образом. Я устроился превосходно, о жилье для меня позаботились друзья из Мюнхена. Местный священник г-н Дайзенбергер, он же автор «Истории Аммергау», устроил меня у себя в доме, проявив большое гостеприимство. Повсюду в городке, в домах и на улицах, царили суета и оживление. Под звон колоколов в пестрой толпе смешивались купцы и крестьяне, некоторые палили из ружей, на ходу пели и молились святые паломники. Пение и музыка звучали всю ночь; весь город был охвачен движением, но никаких беспорядков не допускалось.

Утром пастор повел меня в театр, построенный из балок и досок на зеленой лужайке за городом. Пьеса о страстях Господних начиналась в восемь часов и с перерывом на отдых всего на час шла до пяти вечера.

Мы сидели под открытым небом. Над нами шелестел ветер, прилетали и улетали птицы. Я невольно вспомнил о старинных индийских театральных постановках, тоже происходивших на лоне природы, как, например, «Шакунтала», а также о древнегреческом театре. Прямо перед собой я видел сцену, на ней располагался хор с ведущими, которые своим пением, речитативами и речами призваны были объединять великое действо. Перед зрителями проходили все основные события

истории страстей Господних, поясняемые параллелями из Ветхого Завета в виде живых картин. За хором и его руководителями располагался сам театр с подвижным занавесом, кулисами, задником и софитами. С обеих сторон театральное пространство ограничивалось зданиями с узким фасадом и балконами: в одном из них жил первосвященник, в другом — Пилат. События, происходившие в каждом доме, показывались на балконе. В обоих зданиях имелось по одному высокому сводчатому проходу, через которые зритель мог наблюдать иерусалимские улицы. Спектакль, действие в котором иногда происходило сразу в трех местах, был поставлен на удивление хорошо. Вы могли одновременно побывать у первосвященника, у Пилата и среди народа, то приветственно машущего пальмовыми ветвями, то кричащего «Распни его!». В целом обстановка и ход действия пьесы были проникнуты удивительным спокойствием и красотой, которые трогали каждого. Мне рассказали, что жители городка выбирали на роли персонажей только людей с незапятнанной репутацией, а представлявший Иисуса Христа человек перед спектаклем всегда принимал причастие. В 1860 году на эту роль выбрали молодого резчика по дереву Шауэра. Говорили, что духовное напряжение спектакля настолько захватывало его, что после представления он отказывался от еды и питья и даже ни с кем не разговаривал, пока в одиночестве не собирался с силами; только после этого он возвращался к обычной жизни.

Спектакль очень походил на церковную службу, в которой проповедь не просто произносилась, а представляла перед зрителем в живых образах. Каждый зритель уходил просветленным и проникнутым духом любви, заставившей Спасителя принести себя в жертву еще нерожденным поколениям.

Мой прямодушный и многоученный хозяин откровенно сознался, что не читал ничего из мной написанного, хотя знает, что я пишу сказки. Ну, а сказок — и тут он слегка улыбнулся — он никогда не читает. Я возил с собой небольшую книжицу моих сказок на немецком языке и подарил ему их с просьбой при случае все же в книжицу заглянуть. Пастор с удовольствием принял подарок и тут же удостоил меня чести, подарив свою «Историю Обер-Аммергау». Уже на следующий день, когда мы отправились на спектакль, святой отец сказал мне: «Я уже прочитал вашу книжечку, которую вы мне подарили вчера. Не называйте свои произведения сказками, это — более высокая

литература. “Историю матери”, например, я готов читать у могилы ребенка, чтобы тем самым нести утешение всем по нему скорбящим».

Из Мюнхена через Линдау я отправился в Швейцарию, а там в горах Ури — в маленький городок часовщиков Локль, где в 1833 году я закончил свою драму в стихах «Агнета и Водяной».

Тогда путешествие в здешних местах было делом нелегким: в Локль я добирался на дилижансе. Теперь же вы возноситесь в горы на крыльях пара по железной дороге. Какое-то время поезд преодолевает длинный и крутой подъем, затем он прибывает на остановку, где передний локомотив отцепляют и к хвосту поезда прицепляют другой. Таким образом, задние вагоны становятся передними, и поезд идет на подъем до следующей террасы, где его ожидает следующий паровоз, присоединяемый к нему опять-таки с хвоста. Так, зигзагом, поезд поднимается в горы.

На самом верху он ныряет в один из самых больших в мире туннелей, длиной в 4200 метров, выехав из которого, вы, едва успев перевести дух, снова ныряете в туннель, вдвое короче, чем первый. Тут уже недалеко до красивой горной деревушки Шо де Фон, а за ней в глубокой долине, находящейся тем не менее на порядочной высоте, расположен городок Локль. Здесь живет и трудится мой соотечественник и друг Жюль Юргенсен, чьи часы ежегодно партиями отправляют в Америку.

80 лет назад в этих краях не было ни одного часового мастера. Ныне этим ремеслом промышляют в Локле 20 000 человек. Когда-то давно в деревушку заехал один англичанин барышник, и у него тут сломались часы. Англичанин показал их кузнецу Даниэлю Жану Ришару — местному умельцу, которому, правда, никогда еще до того не доводилось чинить часы. Тем не менее он взялся за дело, разобрал часы, удачно собрал их и отдал торговцу лошадьми. После этого у кузнеца возникла идея сделать часы самому себе. С этим он тоже справился и с того дня все свои помыслы посвятил исключительно часовому искусству. Он выучил ему своих семерых сыновей и основал в Локле первую часовую мастерскую. Ныне городок собирается поставить кузнецу Даниэлю Жану Ришару памятник.

Когда я приехал в Локль, то обнаружил, что мой друг Жюль Юргенсен живет теперь на том же самом старом подворье, где ранее принимал меня его дядя Урье. Я расположился в той же комнате, что

и прежде, посетил подземную водяную мельницу, осмотрел водопад Доуб, проехался в экипаже по еловой и березовой роще и незаметно пересек французскую границу, оказавшись в буковом лесу, где солнце сияло намного жарче, чем в Локле. Зато здесь меня согревало тепло сердец моих милых друзей. Старший сын Юргенсена, как и младший, помогал отцу в семейном занятии, но к тому же еще обладал изрядным литературным талантом. Вышедшие к тому времени отдельные французские переводы моих произведений не отличались особым качеством, и мой молодой друг решил улучшить их.

Он начал работу над переводами как раз в то время, когда я еще находился в Локле, и при моем содействии. В результате я, к своему удивлению, узнал, насколько в плане выражения чувств и настроений датский язык богаче французского. Для явления, передающегося во французском всего только одним словом, мы, как правило, имеем в датском целый набор. Я бы назвал французский языком пластики, он чем-то сродни искусству скульптуры, где все предметы приобретают определенные, ясные и законченные формы, в то время как наш родной язык обладает богатством цветов и оттенков и разнообразием выражений, передающих различные настроения. Я обрадовался богатству родного датского языка. Как он все же мягок и благозвучен — когда на нем говорят так, как следует!

Сборник моих сказок в переводе Жюль Юргенсена, включающий «Дочь болотного короля», вышел в издательстве Жоэля Шербулье в Женеве и Париже в 1861 году под французским названием «Датские фантазии».

Я решил немного пожить в Женеве. От Локля путь туда лежал через Сен-Круа и Ивердон, по самым живописным местам горного кантона Ури, откуда с высот открывался величественный вид на ряд альпийских вершин и Невшатальское и Женевское озера. Я любовался ими в прекрасном вечернем освещении: вершины Альп горели огнем, вокруг стояла благоговейная тишина. В Женеве мне рекомендовали снять комнату в пансионе мадам Ашар; из моих окон здесь открывался вид на озеро. В пансионе я поначалу общался с весьма любезными французами и американцами, однако скоро завел друзей и знакомых и в городе. Меня познакомили с швейцарским поэтом Пети-Сенном, в высшей степени приятным пожилым человеком, швейцарским Беранже. Он жил в прекрасном загородном доме, в котором у него ото-

бедал. Энергия была ключом в этом по-юношески жизнерадостном человеке. После обеда, когда подали кофе, он взялся за гитару и подобно скандинаву Бельману исполнил несколько собственных песен.

В один из первых дней после того, как я поселился у мадам Ашар, я решил нанести визит одной семье, которую мне рекомендовали. Выйдя из дверей пансиона, я взял дрожки и показал кучеру адрес с названием улицы и номером дома. Мы тронулись в путь, который оказался весьма долгим — сначала вниз по улочкам, затем вверх по улочкам, потом через старый, наполовину скрытый вал. Наконец мы остановились. Я вышел из экипажа, оглянулся и обнаружил, что нахожусь рядом с площадью, от которой мы отъехали: я даже видел дом мадам Ашар, где остановился. «Вы швейцарец?» — спросил я кучера. «Да!» — ответил он. «Не может быть! — сказал я. — Я приехал издалека, с севера, из Скандинавии, и мы читали там о Швейцарии, слышали о Вильгельме Телле и о том, как честен славный швейцарский народ. У нас его чтят. И вот я приезжаю сюда, чтобы потом рассказать дома о вашем замечательном народе, и что же я вижу? Я сажусь в экипаж вон там, на другой стороне площади, показываю вам адрес, куда меня нужно доставить, тут пути-то — всего несколько шагов! Но меня возят по всему городу! Это жульничество! Швейцарцы так не поступают! Вы не швейцарец!» Кучер — молодой и красивый парень — был явно обескуражен.

«Я не возьму с вас платы! — сказал он. — Или платите, сколько считаете нужным. Мы, швейцарцы, — люди порядочные!» Его слова и явное раскаяние меня тронули, и мы расстались друзьями.

В Женеве ко мне пришло известие о смерти Йохана Людвиг Хейберга. В «Сказке моей жизни» я рассказал о той значительной роли, которую он сыграл в моей жизни, и о моем к нему отношении. В своей весьма популярной «Летучей почте» он напечатал мои первые сочинения. Он же, Хейберг, когда я, еще очень молодой писатель, подал прошение о предоставлении мне стипендии для поездки за границу, поддержал его, засвидетельствовав, что мой талант юмориста во многом родственен в высшей степени ценимому таланту Весселя, наиболее признанного комедиографа Дании. Затем, правда, наступил период, когда Хейберг выступил против меня, высмеяв в своей «Душе после смерти», но потом мы сблизились, поняли друг друга, и он признал за мной дарование, коим наделил меня Господь.

Известие о смерти Хейберга пришло неожиданно и повергло меня в смятение. Великие люди, духовные лидеры нации, которых я так хорошо знал, один за другим покидали этот свет.

В сентябре я все еще находился в Женеве. Горный ветер с высот кантона Ури задувал уже по-зимнему холодно, обрывая с деревьев желтые листья. Известия, поступавшие из Италии, были тревожными и не особенно приятными. Я засомневался, найду ли зимой в Риме гостеприимный кров. В Испании же в это время свирепствовала холера. И я решил провести зиму на родине. Хотя до возвращения домой мне все же довелось попасть в лето во всем его великолепии и изобилии. Случилось так, что через Базель я прибыл в Штутгарт как раз в то время, когда там широко отмечали праздник урожая. Люди стекались в город из всех окрестных сел и деревень — это было настоящее столпотворение, паломничество! Главный павильон праздника украшали плоды всех видов и сортов, снопы пшеницы и хмеля, яблоки и груши, виноград и всевозможные коренья; все это изобилие смешалось в причудливые арабески. Всегда, когда я с тех пор вспоминаю о Бюртемберге, в памяти у меня возникает картина этого осеннего изобилия.

Из Базеля я приехал в Штутгарт вместе со своим молодым другом живописцем Амбергером. Здесь на вокзале художника встречал известный и преуспевающий книготорговец Гофман, который тут же весьма любезно предложил и мне остановиться у него в доме. Директор местного театра выделил мне место в своей ложе.

«Да, умеете вы путешествовать! — говорили мне друзья в Копенгагене, когда я приехал домой и рассказывал о гостеприимстве и удаче, которые повсюду возил с собой. — Вас хлебосольно принимают у каждого очага — и в горах Ури, и в Штутгарте, и в Мюнхене, и в Максене, везде!»

«Ваш дом — огнедышащий дракон-локомотив!» — писал мне когда-то Ингеманн, и, пожалуй, он был не так уж неправ.

Рождественский вечер я провел не в Италии, как задумывал, а в поместье Баснес — зато приятно и радостно!

В одном из номеров «Домашнего чтения» Диккенс напечатал подборку арабских пословиц и поговорок и в примечании к одной из них написал:

«Когда пришли подковывать коней паша, таракан тоже протянул свою лапку. (Из арабского.) Изысканная штука! Надо обратить на

нее внимание Ханса Кристиана Андерсена». Я хотел было написать соответствующую сказку, но из замысла этого ничего не вышло. Только теперь, через девять лет, как раз в предпоследний день года, в Баснесе, когда я случайно наткнулся на журнал со словами Диккенса снова, у меня вдруг сама собой сложилась сказка «Навозный жук». А на следующий день я написал «Снеговика». На этом моя писательская деятельность в 1860 году закончилась.

## 1861

Уже в апреле я ощутил беспокойство, и внутренний голос сказал мне: «Крибле, крабле!» Первые теплые солнечные лучи вновь разбудили во мне натуру перелетной птицы. Я хотел и должен был еще хотя бы раз в жизни повидать Рим, закончив путешествие, которое начал в прошлом году. На этот раз меня сопровождал мой юный друг Йонас Коллин, сын статского советника Эдварда Коллина. Через Женеву и Лион мы достигли Ниццы. Здесь мы отдохнули, и только отсюда началось собственно новое для меня путешествие по живописной и прекрасной дороге Виа дела Корниче от Ниццы до Генуи. По такой дороге следовало бы идти пешком или медленно ехать верхом, наслаждаясь видами скал и роцц, примыкающих к катящему свои валы Средиземному морю. Здесь было такое количество пальм, какого я не видел нигде в Италии; отсюда ежегодно к Пасхе отсылали в Рим множество пальмовых ветвей, где их освящал и раздавал Папа.

Маленький скалистый остров, княжество Монако — это город-государство — кажется географической картой, нарисованной на море. Так и подмывало побывать в этом залитом чудесными солнечными лучами игрушечном княжестве.

Путь от Ниццы до Генуи дилижансом занимает всего сутки, но дорога настолько живописна, что, двигаясь по ней ночью, мы потеряли бы слишком много. Поэтому мы решили путешествовать только днем и остановились на ночлег на полпути, зарезервировав за собой места в дилижансе, чтобы наутро помчаться дальше.

В Генуе, где я не был с момента моей первой поездки в Италию в 1833 году, я обновил старые воспоминания. Погода стояла хорошая, и мы с Коллином быстро добрались на пароходе до Чивитавеккья. На всем пути туда ни одна душа не попросила у нас показать

наши паспорта. Однако по прибытии в Папскую область бумажные издательства начались вовсю. Пока у нас не отобрали паспорта, никому из путешественников не разрешили сойти на берег, когда же мы наконец оказались на суше, нам тут же приказали отправляться пешком до Ратуши, путь, сразу скажу, неблизкий, но и там паспорта нам не отдали, заменив их своего рода квитанцией, бумажкой, разрешавшей нам доехать до Рима по железной дороге. Эту квитанцию пришлось предъявить еще раз по дороге, а наши настоящие паспорта нам вернули только непосредственно перед въездом в Рим, где опять же через посредничество датского консула нам пришлось оформлять временный вид на жительство, что затянулось почти на неделю. Как известно, приезжие служат городу немалым источником дохода, однако власти Рима нимало не озабочены тем, чтобы облегчить жизнь посещающим его иностранцам.

Я и мой молодой спутник поселились в двух комнатах здания с вывеской «Кафе Греко», их посоветовал нам занять мой друг Браво, консул Дании, Швеции и Норвегии, проживавший тут же, после чего мы отправились на осмотр Вечного города — такого мне знакомого и загадочного. Я вновь посетил сам и показал Коллину все его достопримечательности. С тех пор как я в последний раз был в Риме, не многое здесь изменилось. Так же, как в прошлый раз, много говорили об опасностях, подстерегающих приезжих на улице, об убийствах и грабежах, с чем, к счастью, я так и не встретился. Мы посещали древние развалины, сокровища искусства, церкви, сады, а также моих друзей и знакомых. Первым мы навестили нашего соотечественника Кюхлера, теперь звавшегося братом Пьетро, он был монахом монастыря, расположенного в развалинах императорского замка. С тонзурой на голове, в грубой коричневой монашеской рясе, он бросился мне навстречу, обнял и облобызал. Мы сразу же перешли с ним на душевное «ты», и он провел нас в свое ателье, большую комнату, откуда открывался прекрасный вид на апельсиновые деревья, клумбы роз, а далее — на Колизей и Кампанию, уходившую к далеким живописным горам. Я был чрезвычайно рад встрече со старым другом, вид же, открывавшийся из окон его ателье, меня прямо-таки восхитил. «Здесь бесподобно красиво!» — вырвалось у меня. «Да, тебе тоже следовало бы жить здесь в покое и в послушании Богу», — сказал он с милой, ласковой улыбкой вполне, однако, серьезным тоном.



Я же бодро ответил: «Пару дней я бы здесь прожил, но потом меня потянуло бы в путь, снова в большой мир, чтобы жить, чтобы быть с ним!»

Кюхлер копировал картину Доменикино, заказанную оптовым торговцем Путгордом из Копенгагена. Деньги за картину, естественно, он отдавал монастырю.

В то время в Риме жил норвежский писатель Бьёрнстjerne Бьёрнсон. Здесь я с ним и познакомился, ранее я его не видел и с ним не сталкивался. Прошло некоторое время, прежде чем я дома, на родине, в Копенгагене, прочитал произведения этого одаренного автора. Многие мне говорили, что они не в моем вкусе. Однако я посчитал, что будет лучше самому это проверить. И что же? Читая его повесть «Веселый парень», я ощутил себя как будто бы побывавшим среди привольных гор, где полной грудью вдыхаешь свежий воздух березовой рощи! Я пришел от нее в настоящий восторг и помчался к тем, кто утверждал, что Бьёрнсон — не в моем вкусе. Я сказал им, что таким заявлением они нанесли мне тяжкое оскорбление и что я удивлен их недооценкой: неужели же они в самом деле считают, что я настолько обделен умом и сердцем, что не способен распознать истинного поэта?

Тем не менее многие искренне считали и утверждали, будто Бьёрнсон и я — натуры настолько противоположные, что столкновение между нами неизбежно.

Но случилось так, что незадолго до выезда из Копенгагена меня через вторые руки попросили взять с собой для передачи Бьёрнсону несколько книг от его жены. Я с удовольствием просьбу выполнил и, посетив жену Бьёрнсона, сказал ей, насколько я уважаю ее мужа как писателя, попросив ее заодно написать ему, чтобы он при встрече отнесся ко мне любезно — мне хотелось полюбить его, я надеялся, что мы станем друзьями. И вот с самой первой нашей встречи в Риме и до сего дня Бьёрнсон относился и относится ко мне с неизменной симпатией, или, как я просил и желал, «любезно».

Как-то скандинавы устроили в честь нашего консула Браво праздник в сельском пригороде Рима. Позже я описал это место в сказке «Психея». Праздник устраивался также и в честь меня — скандинава, посещавшего Рим в четвертый раз.

В мою честь пропели прекрасную песню Бьёрнстjerne Бьёрнсона:

Хоть небо наше не лазурно,  
Хоть море северное бурно  
И чудных палм наш лес лишен —  
Нам сказки, саги шепчет он,  
На небе солнце ночи блещет,  
На берег море гулко плещет,  
И рокот волн  
Созвучий полн,  
Как песни наших саг старинных!

И сколько нам повествований,  
О крае чудных тех сказаний,  
О зимнем сне полей, лугов,  
О чарах северных лесов,  
О чувствах птиц, зверей, растений  
Сумел причудливый твой гений  
Так рассказать —  
Вот словно мать  
В кругу детей — сердец невинных!

И в воздух Рима раскаленный  
Ты запах влажный, благовонный  
Душистых буков и берез,  
И Зунда вод соленых внес,  
К нам из того явившись края,  
Где, будто землю обнимая,  
К ней ближе льнет  
Небесный свод  
С луной, царицей ночи ясной!

Тебе хотелось убедиться,  
Могла ль еще в нас сохраниться  
Здесь, средь антиков и камней,  
Любовь к поэзии твоей.  
Твоя бесхитростная лира  
И средь столицы древней мира

Звенит, поет  
И нас зовет  
К добру и истине прекрасной!\*

На этот раз я провел в Риме всего один месяц. Среди счастливых знакомств, которые я на этот раз завязал, особо стоит выделить встречу с американским скульптором Стори. Он показал мне свое ателье, где меня привели в полный восторг выполненная им в полный рост статуя Бетховена и аллегорическая скульптурная группа, представляющая Америку. Стори представил меня своей жене и детям, его семья занимала целый этаж в palazzo Берберини. Однажды он собрал здесь своих многочисленных американских и английских друзей с их детьми, которые образовали целую стайку. Я встал в ее центре и с непростительной с моей стороны дерзостью, хотя и не по своей инициативе, прочитал им своего «Гадкого утенка» по-английски, на языке, который знал явно недостаточно. Когда я закончил чтение, малыши принесли мне венок.

Стори познакомил меня с английской поэтессой Элизабет Баррет Браунинг. Она тогда болела, но, как ни была плоха, все же подарила мне светлый и приветливый взгляд, пожала руку и поблагодарила за мои сочинения. Через два года я услышал от сына Литтона Бульвера, как тепло и сердечно отзывалась обо мне Элизабет Браунинг. Ее последнее стихотворение «Север и Юг», написанное в Риме в мае 1862 года, то есть как раз в дни, на которые приходится мой визит к ней, завершает сборник «Последние стихотворения», вышедший после ее смерти. Я положил благоухающий цветок между страницами, на которых напечатано:

«Мне бы то солнце, которое радо, —  
Север Югу сказал, —  
Из уст золотых гроздие винограда  
Пускать, как шары, — вот что мне надо!» —  
Север Югу сказал.

---

\* Перевод А. и П. Ганzenов.

«Мне бы людей из мгливой страны, —  
Север у Юга ответил, —  
Трудолюбивы, закалены  
Дождем и снегом, — они мне нужны!» —  
Север у Юга ответил.

«Твоих бы мне красок, твоей светотени, —  
Север у Юга сказал, —  
Искусство, дитя, ступень по ступени  
Взбирается Господу на колени», —  
Север у Юга сказал.

«Твоей бы мне веры, чтобы вознесть, —  
Север у Юга ответил, —  
Молитву из тьмы “Дай нам днесь”,  
Твердо зная: “Господь — Он здесь!”» —  
Север у Юга ответил.

«Мне бы синь небо, мягче и гуще, —  
Север у Юга просил, —  
Цветов огневых, тенистые кущи,  
Хор цикад, вдохновенно поющих!» —  
Север у Юга просил.

«А мне бы того, кто, видя все это, —  
Просил у Севера Юга, —  
Имея язык крестильного света,  
Всему бы дал имя! Мне бы — поэта!» —  
Просил у Севера Юга.

Расставшись с лучшим сыном своим,  
Север у Юга послал  
Поэта Андерсена в Рим.  
«Увы, мы скоро простимся с ним», —  
Север у Юга сказал.

Солнце уже обжигало горячими лучами, люди, спасаясь от него, уезжали в горы, и мы с Коллином тоже отправились в обратное путешествие домой, посетили Пизу и неделю пробыли во Флоренции. Из Ливорно мы отправились в Геную на пароходе, попали в шторм,

судно сильно качало, и почти все на борту страдали от морской болезни. Я чувствовал себя так дурно и был столь изнурен, что, когда мы попали в Геную, не могло быть и речи о том, чтобы в тот же день отправиться в Турин, как мы задумывали ранее.

Мы едва успели сойти на берег, как услышали орудийный залп: это было скорбное известие о том, что умер Кавур. На следующий день я все еще чувствовал себя больным и ехать не мог, хотя еще надеялся, что даже если мы тронемся днем позже, то все-таки успеем на похороны Кавура. В Турин мы прибыли во второй половине дня и тут же узнали, что великого государственного деятеля Италии похоронили накануне вечером.

В конце недели мы прибыли в Милан, где, стоя среди прекрасных мраморных изваяний, смотрели с крыши собора на освещенные солнцем Альпы. Прежде чем дилижанс доставил нас к ним через Симплон, мы провели несколько прекрасных солнечных дней и лунных ночей на острове Исола Белла на Лаго Маджоре.

В Швейцарии мы задержались в Монтрё. Здесь у меня зародилась идея, которую я воплотил в сказке «Ледяная дева». В основу этого сочинения легло реальное печальное происшествие, случившееся с молодой парой, которая в день свадьбы посетила маленький остров на озере неподалеку от Вильнёва, где жених погиб. В «Ледяной деве» я нарисовал природу Швейцарии такой, какой она мне запомнилась во время неоднократных посещений этой волшебной страны.

В Лозанне мы получили тревожные известия: дома находился при смерти старый Коллин. Полагали, что ко времени получения нами этого известия Бог уже приберет его, и потому нас уговаривали не бросаться опрометью домой. Поэтому наше путешествие на север шло своим обычным чередом. Мы провели несколько дней у наших друзей Ауфдермауэров в Бруннене, где познакомились с библиотекарем монастыря в Айнзидельне отцом Галлом Морелем, весьма любезным духовным лицом. Монастырь этот — самый известный в Швейцарии, и туда съезжаются паломники и благочестивые католики со всей Германии и из Франции.

Айнзидельн расположен не более чем в полумиле от дороги, ведущей из Бруннена к Цюрихскому озеру. Мы с Коллином не пожелали проезжать мимо и явились туда как раз к празднику тысячелетия со дня основания монастыря. Маленький городок заполнили приезжие,

толпившиеся у роскошной, украшенной внутри свечами и надписями церкви. Многие богомольцы собирались снаружи на площади перед бурлящим источником и старались испить из каждой из его струй, пробывавшихся в нескольких местах. Существует предание, что в Айнзидельне когда-то побывал сам Иисус Христос, попивший ключевой воды из родника, хотя, из какого именно, осталось неизвестным, поэтому богомольцы пьют из всех.

Мы посетили нашего знакомого библиотекаря, который самым приветливым образом принял нас и показал нам вместе с группой молодых людей духовного звания достопримечательности монастыря. Он провел нас к украшенной цветами раке с мощами основателя монастыря, на которой высечены слова красивого стихотворения, посвященного памяти основателя, автором его явился сам наш проводник. Мы осмотрели также сокровища библиотеки, в которые входила старая Библия, переведенная на датский язык. В связи с этим библиотекарь обратился к нам с просьбой о приобретении нового издания перевода. Я пообещал прислать его в монастырь, и теперь книга находится там.

Из празднично разукрашенного Айнзидельна через Мюнхен и Аугсбург мы доехали до Нюрнберга. Здесь тоже царило веселье. На улицах развевались знамена и флаги; праздник устраивали в честь песни, но не древней, миннезанга, а современной. В Нюрнберг съехались певческие общества из всех городов Баварии и давали здесь праздничные концерты. Из окрестностей в город валили толпы людей, и в гостиницах не хватало мест, хотя мне, как всегда, повезло, и я раздобыл для нас одну из комнат уютного жилища самого хозяина гостиницы.

Из Нюрнберга наш путь лежал в Дрезден и поместье Максен, откуда, пробыв там три недели, мы направились в Брауншвейг. Но здесь тоже мы попали на праздник. Насколько я помню, он был посвящен тысячелетию основания города. На всех домах развевались флаги, улицы были украшены гирляндами, усыпаны цветами и чистым речным песком.

В Корсёре мы с Коллином расстались. Он отправился в Копенгаген, а я — в поместье Баснес, откуда, пробыв там недолго, отправился в Сорё и навестил Ингеманна. Здесь меня застало известие о кончине моего друга старого Коллина. В последние дни он лежал без движения, не узнавая никого. Как мне писали, он бы не узнал и меня.

Я тут же отправился в Копенгаген, чтобы присоединиться к скорбящим.

Очаг погас — и тьма гнетет,  
 Печаль по горнице летает.  
 Любовь к Христу горе влечет:  
 Тут стынет прах — там жизнь пылает, —\*

писал я тогда.

Другие тоже сочиняли стихи, посвященные этому печальному событию; были среди них, разумеется, и куда лучше, которые, однако, вряд ли могли сравниться с моими по глубине описываемых в них чувств. В голове у меня проносилось множество воспоминаний о Коллине, мысленно я все время возвращался к его образу и ко всему, что он говорил и делал.

Я ехал в город. Более всего в это время я желал одиночества, но все экипажи были заняты, только в одном сидели всего две дамы, здесь я и устроился. Пожилая сидела тихо и сонно дремала в углу, молодая же устроилась в достаточно вольной позе на сиденьях во всю ширину экипажа и наслаждалась фруктами и прохладительными напитками. Она походила на испанку и так выразительно сверкала своими угольно-черными глазами, что, казалось, начала беседовать со мной уже задолго до того, как произнесла первое слово. Наконец она заговорила. «Я, кажется, знаю вас», — сказала она по-французски. Я повторил то же, обращаясь к ней, и, в свою очередь, спросил, как ее зовут. «Пепита», — отвечала она. Как оказалось, со мной в экипаже сидела испанская танцовщица, пользовавшаяся шумным успехом в театре «Казино» за год до этого. Я представился ей, и она рассказала своей пожилой спутнице по-испански, что я — поэт и что она в театре «Казино» играла роль в одной из моих пьес; в спектакле она говорила по-французски и исполняла испанские танцы. Речь шла о сказочной комедии «Оле Лукуйе». Содержание пьесы, пересказанное спутнице, уместилось в несколько слов: «Там один трубочист влюбляется в испанскую танцовщицу, но оказывается, что все это — только сон». «Charmant!»\*\* — воскликнула старая дама, но продол-

\* Перевод В.Бакусева.

\*\* Очаровательно! (фр.)

жать разговор я был не в настроении. На первой же остановке я отыскал себе место в другом, первом же попавшемся экипаже и извинился перед дамами, сославшись на то, что нашел там своих друзей, к которым теперь должен присоединиться.

Добравшись до Копенгагена, я сразу же посетил в нем дом, который стал для меня родным. В нем теперь собрались дети и внуки оплакиваемого. Скоро наступил день похорон. Я писал Ингеманну:

«В старом доме собралась вся семья Колинов. Они казались спокойными, но были глубоко опечалены. Мой старый друг лежал в гробу; на лице у него отражалась безмятежность, он будто спал. Я со страхом ожидал дня похорон, однако выдержка у меня оказалась крепче, чем я предполагал. Речь, произнесенная над гробом епископом Биннесбёллем, мне не понравилась, в ней слишком большое место занимали политика и упоминания короля Фредерика VI. Потом у могилы пастор Бледель сказал еще несколько слов; они послужили хорошим дополнением к речи епископа; если соединить вместе оба этих выступления, то получилась бы как раз такая речь, которую и следовало произнести. Весь остаток дня, который я провел в совершенном одиночестве, мной владело горькое и тяжелое чувство потери. Мне не хватало того, к чему я на протяжении ряда лет так привык, — ежедневного общения со старым Колином и разговоров с ним. Ныне его дом на удивление пуст. Странно наблюдать, как смерть выхватывает из наших рядов людей. Теперь в первом ряду перед ней оказался и я».

Время близилось к Рождеству. В путешествии и дома, после приезда, я работал, что называется, «усердно». К Рождеству вышла новая книжка сказок с «Ледяной девой», «Мотыльком», «Психеей» и «Улиткой и розовым кустом». Книжку я посвятил Бьёрнстjerne Бьёрнсону, а сочельник провел в Гольштейнборге. Оттуда я писал Ингеманну:

«Гольштейнборг. Рождество 1861 г.

Дорогой друг!

Моя комната примыкает к церкви, и прямо из нее я могу пройти на кафедру. Сейчас, когда я пишу это письмо, до меня доносятся органная музыка и псалмопение. Здесь все отмечено рождественской праздничностью, а вчера вечером тут веселились дети. Всем малышам так понравилась елка с ее волшебными украшениями! Я к Рождеству тоже пытался украсить свой стол разными вещичками, так или иначе



относящимися к моим сказкам. На чернильнице сидел кот, домовый танцевал с футляром для пера, на украшавшей пресс-папье флорентийской мозаике порхал мотылек, нашлось здесь место и девочке со спичками.

Между прочим, вчера я много вспоминал о празднике Рождества в моем детстве; наверное, это был самый прекрасный и богатый праздник, хотя справлялся он в нашей крошечной комнатке, в которой даже не было елки. Зато каши, гуся и пончиков было вдоволь, и на столе в тот вечер стояло сразу две свечи. С тех пор прошло добрых пятьдесят лет! Как же удивительно преобразилась моя жизнь! Спасибо за приятные дни, проведенные у Вас, спасибо Вашей жене! Передайте привет Софи. Она, определенно, уже украсила для вас рождественскую елку. Софи хранит у себя в погребе прелестные цветы, которые, как она мне рассказывала, достает оттуда только в сочельник.

Бог знает, удастся ли мне приехать в Сорё на следующее Рождество. Я хочу в новом году съездить в Испанию. Имею же я право по мечтать хотя бы на Рождество, а мечты мои всегда одинаковы — поскорее бы в путешествие! Все больше думаю об Италии или Испании. Погода на это Рождество теплая, хотя я с большим удовольствием дышал бы чистым холодным воздухом и любовался белыми заснеженными полями. Так было в прошлом году — сверкающие на солнце снега и украшенные инеем деревья. Тогда я сочинил «Снеговика». В этом же году Муза меня оставила. Доброго и радостного для нас всех года! И ни в коем случае никакой войны! Никакой холеры! Пусть царят здравие и покой!

С сердечными пожеланиями всего наилучшего!

Истинно преданный Вам  
Х.К.Андерсен».

1862

В первые дни нового года, в то время когда я еще находился в деревне, я получил от Ингеманна душевное и полное юмора письмо. Оба, и Ингеманн, и Х.К.Эрстед, любили меня, но в своих взглядах на поэзию резко расходились друг с другом. Эрстед — и я полностью с ним согласен — считал, что следует придерживаться жизненной правды, истины, даже создавая фантазии.

То истинно, что в разуме разумно,  
И то прекрасно, что разумно в чувстве, —

как-то писал он мне и твердо держался этого. Эрстед раскритиковал в «Литературном ежемесячнике» фантастическое сочинение Ингеманна «Оле Безымянный», его критика оказалась настолько резкой, что заставила выступить на защиту Ингеманна даже добродушного философа Сибберна. Эрстед и Ингеманн, два самых любезных, самых наивных до ребячливости человека при жизни так и не встретились, они не были даже знакомы друг с другом, иначе, я думаю, они скоро почувствовали бы родственность душ. Я рассказывал каждому о столь многих прекрасных чертах характера другого и передавал так много взаимных высказываний, импонировавших обоим воюющим сторонам. К этому времени, однако, Х.К.Эрстед был вот уже несколько лет мертв. В письме, которое я в деревне получил от Ингеманна, он писал:

«Вчера утром я был на железнодорожной станции и проходил под телеграфными проводами, как вдруг они загудели. В чем дело? Мне не дано в одиночестве даже поразмышлять? Чего хочет от меня Эрстед? Провода вибрировали и что-то говорили мне. Только вот что? Неожиданно меня озарило: Эрстед знает, что я сегодня собираюсь писать Вам, Андерсен, и просит: «Передай ему привет от меня!» Что я сейчас и делаю, посылая вам привет от Х.К.Эрстеда».

Таково было последнее письмо, которое я получил от Ингеманна, и в этом привете, который он посылал мне, я лишний раз усмотрел пример взаимопонимания и дружеского слияния самых дорогих моему сердцу душ. Вскоре их решил соединить сам Господь.

Впрочем, этот год начался для меня с большой радости. Вышедшие к Рождеству сказки пользовались большим успехом и выдержали несколько переизданий.

Король Фредерик VII предпочитал, чтобы я сам читал ему мои сказки, и не только в замке Фредериксбург, о чем я уже писал ранее, но также в Кристиансбурге, куда несколько раз он меня приглашал. Таким образом, уже в феврале я прочитал королю и довольно узкому кругу людей, которых он собирал, мои четыре последние сказки. Особо понравилась ему «Ледяная дева». Он сам, будучи еще только принцем, проводил в Швейцарии много времени.

Через несколько дней после чтения я получил следующее, собственноручно написанное королем послание:

«Мой дорогой Андерсен!

С несказанным удовольствием благодарю Вас за ту радость, которую Вы доставили мне недавно чтением своих прекрасных сказок. От себя могу сказать только, что счастливы та страна и тот король, которые имеют таких поэтов, как Вы.

С большим к Вам расположением  
король Фредерик.  
Кристиансборг, 13 февраля 1862 г.».

Я был бесконечно рад получению столь дорогого письма, память о котором храню среди самых лучших моих воспоминаний. К посланию был приложен подарок — золотая шкатулка с вензелем Его Величества.

Я получил также письмо от Бьёрнстjerne Бьёрнсона из Рима. Его порадовали мое посвящение и все сказки, хотя среди них он особо выделил «Ледяную деву». Бьёрнсон писал:

«В “Ледяной деве” у Вас такое начало, что от него готов в восторге петь горный воздух, смеются зелень и синева, а с ними и швейцарские домики. Изображенного Вами юношу я охотно имел бы братом, а каков сам сюжет, Бабетта, мельник, крысы, та, что последовала за ним через горы и смотрела ему в глаза! Все это настолько увлекательно, что я вскрикивал от восторга несколько раз, прерывая чтение. Но, дорогой, добрый Вы мой! Как решились Вы на то, чтобы вдребезги разбить такую картину? Замысел заключительной части повествования поистине божественен и нравится мне — развести этих людей на высшей точке достигнутого ими счастья! Да и ранее по ним угадывалось — подобно тому, как от внезапного порыва ветра по водной глади пробегает рябь, — что в душах у них обоих живет нечто, способное опрокинуть их счастье! Но как же Вы посмели поступить так именно с этими двумя людьми!..»

Письмо заканчивается следующим образом: «Мой дорогой, любимый Андерсен! Я очень, очень ценю Вас! Я целиком и полно-

стью был уверен ранее, что Вы не понимаете меня, не говоря уже о том, что не любите, хотя, имея такое доброе сердце, как Ваше, Вы искренне желали бы и того и другого. Однако теперь я с удовольствием убеждаюсь, что ошибался, и это удваивает мою к Вам приязнь и привязанность».

Послание Бьёрнсона искренне меня порадовало, я был счастлив получить столь ясно выраженное свидетельство его дружбы и благо-расположения.

Хочу упомянуть в этой связи о другом, полном поэзии и естественности письме от незнакомого мне провинциального студента. В конверт был вложен высушенный четырехлистник. Студент писал о том, что, прочитав еще маленьким мальчиком сказки Андерсена, был от них в полном восторге. Тогда же мать рассказала ему, что Андерсену довелось пережить немало тяжелых дней и пройти через многие испытания, что изрядно расстроило паренька. Поэтому, когда он вскоре нашел в поле четырехлистник, приносящий, как он знал, счастье, он попросил мать отослать его Андерсену и тем самым осчастливить поэта. Четырехлистник так и не был отослан, мать спрятала его в свой сборник псалмов. «И вот прошли годы, — гласило письмо, — я стал студентом, моя мать в прошлом году умерла, и я нашел четырехлистник в ее книге псалмов. На днях я прочел Вашу сказку “Ледяная дева” и ощутил при этом ту же радость, которую чувствовал, когда впервые еще маленьким мальчиком познакомился с Вашими сказками. Теперь счастье сопутствует Вам и четырехлистник Вам вряд ли нужен, но все же я посылаю его Вам вместе с этой его историей». Вот каково приблизительно было содержание письма; само же оно впоследствии затерялось. Я не помню имени молодого человека и не смог поблагодарить его. Теперь, по прошествии стольких лет, он, возможно, прочитает этот мой привет и слова благодарности.

Я работал, читая и сочиняя, когда в конце февраля получил «Вечернюю газету», где было напечатано следующее: «Умер Бернхард Северин Ингеманн». Новость ошеломила меня; я тут же написал и отослал письмо:

«Дорогая, милая фру Ингеманн!

Только сегодня вечером я получил известия, увидев в газете, как свершилась Господня воля. Я сокрушаюсь, но сокрушаюсь главным образом о Вас. Вы так одиноки теперь, когда он Вас покинул! Для Вас это, как тяжелый сон, который Вы стремитесь стряхнуть, чтобы снова увидеть его, снова быть с ним. Господь благ, все происходящее с нами вершится только на пользу нам, я в это верю всем сердцем, не могу не верить! Мне так хотелось бы хотя бы еще раз повидать его, поговорить с ним; мы были столь молодыми, и вот минули годы, и я уже так стар, что вполне могу последовать за ним. Я тоскую по нему. Есть ведь иная жизнь и после этой! Так должно быть, иначе Бог не был бы Богом. И это — поистине бальзам на душу, поэтому я испытываю не столько горе, сколько беспокойство за Вас, дорогой, благородный друг! Осмелюсь ли я Вас так называть! Не трудитесь отвечать на мое письмо, у Вас теперь не то настроение. Я и так знаю, что Вы относитесь ко мне хорошо. Передайте привет Софи, так ведь зовут Вашу горничную; она тоже скорбит, я знаю это. Она любила его, как любит Вас. Дай Вам Бог силы перенести это горе, и пусть Он пошлет Вам спокойные и благостные дни, прежде чем соединить с дорогим, милым и незабвенным.

С самым искренним участием  
Х.К.Андерсен».

В первые дни марта на полях еще лежал снег, но воздух был великолепно свеж и прозрачен, повсюду сияло солнце. Я отправился на поезде в Сорё на похороны. И вот я опять оказался в доме, где с юной школьной поры до наступающей ныне старости провел столько счастливых часов в беседах, где серьезные темы зачастую перемежались шутками. Скорбящая фру Ингеманн сидела тихо и смиренно, их старая верная горничная Софи при встрече со мной разрыдалась и что-то говорила о его «прелестной смерти», последних добрых словах и кротости. Из Академии гроб с телом перенесли в церковь, за ним следовала большая процессия, состоявшая из представителей всех сословий общества. В ней было много крестьян; именно для них Ингеманн открывал историю Дании, заставляя ее персонажи говорить и действовать так, будто это по-прежнему были живые люди.

Когда гроб опускали в могилу, над ней, согретые солнечными лучами, защебетали птицы. Собравшиеся выслушали рассказ о его жизненном пути; вот те слова, в которых я попытался его описать:

## БЕРНХАРД СЕВЕРИН ИНГЕМАНН



«У его колыбели стояли гений Дании и ангел поэзии. Они смотрели в кроткие голубые глаза ребенка и видели в них его сердце, которое так и не состарилось с годами, как никогда не покидала этого человека его по-детски чистая и светлая душа. Он стал садовником в саду поэзии своей родины, на что гений и ангел дали ему свое благословение, поцеловав.

Куда бы он ни посмотрел, туда тотчас же падал солнечный луч; на сухой ветке в его руках распускались цветы и листья; и он пел свои песни так же, как поют птицы небесные — радостно и невинно.

С пашни народных преданий, с заросших мхом могил прошлого поднимал он семена, вкладывал в свое сердце, прижимал к челу, сеял и возвращал их. И они принимались, крепи в низеньких крестьянских домиках, вились, как побеги заячьей капусты, забираясь под самый потолок и распуская там все новые свежие листья. И каждый их листок становился для крестьянина страницей истории его страны; страницы эти в долгие зимние вечера читались вслух в кругу благодарных слушателей, которые задумчиво им внимали — ведь они рассказывали им о Дании стародавних времен и душе данов то, что наполняло сердца датчан радостью и любовью.

Те же семена взошли трубным гласом органа, и поющее древо херувимов расправило свои ветви и зазвенело псалмом: “Мир в сердце и радость в Боге”.

Он посеял цветочную луковичу сказки в сухой почве повседневности, и она проросла и распустилась пышным и ярким цветком, не сравнимым ни с каким другим своей трогательной причудливостью.

Он познакомил простых людей с аистом из земли царя Фараона и учил их утренним и вечерним псалмам, каждое слово в которых было им близко и понятно.

И что бы он ни сеял, прорастало, потому что пускало свои корни в сердца людей. Его речь делала датский язык еще более звучным, его

любовь к Отечеству укрепляла сталь меча, его чистая мысль освежала, как ветер с моря.

Он справлял последнее свое Рождество. Рассказ этот — не вымысел, он сам поведал свой сон другу. Ему представилось, что земное существование его закончилось — тело бессильно лежало на кровати, подобно груде старого тряпья, а душа стремилась отлететь, и воспарить ей мешала лишь рука его верной супруги, которую он не в силах был отпустить. Внезапно он ощутил, что рука эта стала мокрой от слез, и в следующий миг их души соединились. В этот момент он пробудился.

Бодрствует он и сейчас, в то время как она сидит в одиночестве в том самом доме, войдя в который, каждый становился добрей и лучше. Она сидит, страдая от тоски по нему, с горечью переживая свою утрату, и утешает ее лишь то, что время до встречи с нею промелькнет для него, как для нас минута. «Благодарность и любовь», — так шепчут ее уста; то же глаголет и чистая детская душа, а ее устами — и весь датский народ.

Его брентную преходящую плоть отправили в сопровождении колокольного звона, пения псалмов и слез любви в могилу. Его бессмертная душа вознеслась к Господу. Мы же остаемся с той радостью и благодатью, которые он сеял ради нас».

Настоящая весна в тот год наступила лишь в мае; с ее приходом я вновь отправился пожить в загородных имениях друзей. Я побывал в уютном Баснесе, в милом моему сердцу Гольштейнборге, в полном звуками музыки Леркенборге. Впрочем, я строил планы странствий намного более дальних, всем сердцем и душой я давно уже стремился посетить Испанию. Однажды я уже стоял в преддверии подобного путешествия, но летняя жара и болезнь тогда меня удержали. На этот раз я выбрал для этой поездки лучший сезон.

Как-то в шутку я сказал моему юному другу Коллину: «Если бы я выиграл в лотерею, мы отправились бы в Испанию, а там, глядишь, заехали бы и в Африку», — однако, хотя в лотерею я так и не выиграл — я вообще в них не выигрываю, — все же выигрыш, пусть не в таких размерах и несколько по-иному, мне все-таки выпал. Мой датский издатель Рейцель в один прекрасный день сообщил, что иллюстрированное собрание моих сказок распродано и он хочет выпустить новое его издание. За первое я получил всего 300 ригсдалеров,

на этот раз мне предложили 3000. Деньги эти пришли внезапно, как лотерейный выигрыш, но они тем не менее были получены, и мы с Коллином отправились в путь.

Первым делом я сел на утренний поезд и доехал на нем до Сорё, чтобы хотя бы несколько часов побыть с фру Ингеманн. Она выглядела необычно бодро; по ее словам, новые силы ей придал прекрасный сон, который ниспослал ей Господь прошлой ночью. Она видела во сне Ингеманна — молодым, красивым и бесконечно радостным: они только что объяснились друг другу в любви. Когда она рассказывала это, глаза ее сияли. Все в их доме было по-прежнему; казалось, Ингеманн только что вышел на прогулку и в любую минуту может вернуться обратно. Она заговорила со мной о делах, связанных с его рукописями, и лишь в тот момент, когда мы коснулись, таким образом, его смерти, из ее глаз снова хлынули слезы.

Я сходил на кладбище. Поблизости от входа там расположена могила, на памятнике которой написано имя, хорошо известное в датской литературе: Кристиан Мольбек. В «Сказке моей жизни» я о нем уже рассказывал; о моих произведениях и о наиболее популярных романах Ингеманна он судил весьма сурово. Со временем, однако, горечь воспоминаний рассеивается, и мы начинаем понимать людей лучше. В ту минуту мне пришла на ум коротенькая история, которую рассказал Ингеманн. Вскоре после смерти Мольбека — это было в Сорё — Ингеманн поздно вечером возвращался домой из гостей. Дверь в церковь была открыта, и вдруг в ней в полном облачении появился священник Цойтен. «Я жду, — сказал он. — С минуты на минуту к церкви подъедет катафалк с гробом Мольбека». В тот же миг перед церковью остановились похоронные дроги, за которыми шли, закутавшись в плащи, два молодых человека — сыновья Мольбека. Гроб внесли в церковь. Цойтен, Ингеманн и двое юношей — вот и все, кто провожал покойного в последний путь. Цойтен сказал над гробом несколько слов, Ингеманн же ощутил некоего рода умиротворение и благоговение. Примерно с таким же чувством я прошел к месту, которое собирался здесь посетить, — к могиле Ингеманна. На памятнике его был укреплен медальон с портретом. Как мне говорили, здесь, у могилы, маленькие дети становятся друг другу на плечи, чтобы дотянуться до портрета и поцеловать Ингеманна в губы. Это могло бы стать неплохим сюжетом для живописца.



В Корсёре ко мне присоединился Йонас Коллин. Мы решили ехать через Фленсбург, где на следующий день, 25 июля, на кладбище торжественно открывался памятник павшим воинам. Важнейшей его частью был бронзовый лев работы Биссена. На церемонии открытия под развевающимся Даннеброгом собралась масса людей. Я уже ранее бывал здесь, на братских могилах павших; теперь их сровняли с землей, хотя останков не переносили. Перед большим холмом с надгробиями, на которых были высечены имена воинов — за образец были взяты древнескандинавские погребальные камни викингов, — стоял, еще закрытый покрывалом, бронзовый лев. Я встал между этими плитами. Ученики из местного датского училища затянули песню. Погода стояла прекрасная, солнце сияло, но ветер был резким и порывистым, как при шторме. Казалось, среди крон деревьев пронесется отошедшие в мир иной души воинов. Ударил пушечный выстрел, покров с памятника упал, и перед могилами вырос лев. «Что станет с ним, если враг когда-нибудь одержит здесь победу?» — мелькнула у меня прозорливая мысль.

Миновав Франкфурт, мы доехали до Бруннена, где нас ждали родители Йонаса Коллина и его сестра, которые задержались здесь по пути в Италию. На Фирвальдштетском озере нас застала буря, тот самый знаменитый «фен», дующий с гор и поднимающий на воде крутую волну. Наш капитан никак не мог подвести судно к причалу — прибой с силой обрушивался на него, прокатываясь по всей набережной. На помощь нам прислали очень большую и громоздкую, похожую на паром лодку с несколькими гребцами, она должна была высаживать нас на берег за чертой города, войдя в спокойное устье реки, впадающей в озеро. Но прежде нам предстояло преодолеть длинный отрезок пути вдоль линии разбивающегося о скалы прибоя. Волны и ветер неотвратимо несли нас к берегу, однако мы не решались пристать к нему. Гребцы изо всех сил работали веслами, и тем не менее мы подходили к линии прибоя все ближе и ближе. Тут взяться за весла пришлось всем, находившимся на борту мужчинам; ключины заскрипели и затрещали, но мы все-таки одолели ветер и волны и уже через несколько минут оказались в тихих речных водах, где нас на берегу радостно встречали многочисленные друзья, знакомые и совершенно незнакомые люди.

В обычно прохладном и свежем Бруннене нас встретила поистине африканская жара. Ауфдермауэр передал свою гостиницу какому-то

иностранцу, а сам с сестрой жил теперь совсем по-деревенски в доме неподалеку от города. Наш друг, с которым мы познакомились в прошлом году, патер Галь-Морелль, библиотекарь из Айнзидельна, в это время тоже находился у них в гостях, что дало нам возможность устраивать музыкальные вечера.

Наше совместное с семьей Колинов путешествие продолжилось далее от Брюнига до Интерлакена. По мере того как мы поднимались в горы, воздух становился все свежее и чище и буки зеленели, как ранней весной. Мы посетили Гидбах и глетчеры у Гриндельвальда. В Берне живет сын датского поэта Багтесена и дочери швейцарского поэта Софи Галлер, ныне он стал лицом духовного звания. Каждый раз, проезжая через Берн, я заглядываю к этому приветливому пожилому человеку, питающему искренние симпатии к Дании, но не знающему языка, на котором его отец пел свои прекрасные и шутливые песни.

Самую долгую остановку в Швейцарии мы сделали в Монтрё. Настроение, владевшее мной там, и впечатления от окрестностей я запечатлел в стихотворении или же, вернее, письме поэту Кристиану Винтеру. Он хотел издать рождественский подарочный сборник, состоящий из произведений датских поэтов, и просил меня прислать ему что-нибудь.

Монтрё. 26 августа 1862 г.

Стихов ты просишь? У меня их нет,  
 Не то послал бы лучшие из лучших.  
 Лишь лавр растет в Монтрё, но не стихи:  
 Последние — то Байрон — о Шильоне.  
 Поэзия — сама природа здесь.  
 Она же — в сердце, но не на бумаге.  
 Как описать над озером закат  
 И цвет воды — из синего в пурпурный, —  
 И розы легкой в золоте небес?  
 Подобно мощному амвону в храме,  
 Причудливые скалы, и за ними  
 На склонах лес — церковная завеса,  
 Вершина же — алтарь, и вечный снег  
 На ней, как напрестольные покровы.  
 Здесь все — покой и красота. Здесь краски

Такие, что — художник, брось палитру.  
 Вот и моя висит без дела арфа.  
 Блестит — и только. Легкий ветерок  
 Из струн ее не в силах звук исторгнуть,  
 И сердце моего биенье тоже  
 Их не касается — как будто задремали,  
 Чтобы, набравшись сил, вновь зазвучать  
 На новый лад, искуснее и громче,  
 В стране прекрасной, где я скоро буду,  
 Где жгучий цвет граната среди лавров  
 Горит в ограде на припеке солнца.  
 В отечестве Сервантеса и Сида  
 Верни мне, Боже, дар и оживи  
 Немые струны. Я перенесусь  
 Домой, на острова, где тенью бука  
 Осенены могильные ограды, —  
 Фата-Моргана из садов Гранады.

Теперь нашей целью была Испания. При пересечении французской границы мы с Ионасом Коллином расстались с его семьей, они направились через перевал Мон-Сени в Италию, а мы — через города Лион, Ним, Сет и Перпиньян — в Испанию.

Я впервые попал в Копенгаген и оказался в Италии в один и тот же день — шестого сентября. И точно в тот же день мне довелось в первый раз ступить на землю Испании. Я не выбирал этот день — так уж сложились обстоятельства. Шестое сентября стало знаменательной датой в моей жизни.

Все, что я услышал и увидел в этой стране, я записал и потом издал в форме книги под названием «По Испании». Поэтому здесь я даю лишь короткие выдержки из нее.

Выехав поездом из Хероны, поздним вечером мы уже прибыли в Барселону с ее многочисленными кафе, блеском своим затмевающими даже парижские. Дом Великого инквизитора лежал в руинах, монастыри здесь, как и повсюду в Испании, превратили в склады или больницы. Здесь я в первый раз увидел бой быков, но не столь кровавый, каким оказался тот, что я наблюдал намного южнее Барселоны. Там бык разорвал своим острым рогом брюхо лошади, так что все ее внутренности вывалились наружу.

В Барселоне я стал свидетелем неистовой мощи внезапного ливня. Горный ручей в мгновение ока превратился в стремительную реку, снесшую на своем пути все заборы и залившую все железнодорожные пути и проезжие дороги. Вода ворвалась в город через ворота и наполнила главные улицы Барселоны шумными водоворотами, она врвалась в дома и уносила оттуда все; в церкви священник заканчивал мессу, стоя в воде по пояс. Вода в море на протяжении целой мили от берега была желто-кофейного цвета из-за этого обрушившегося на город наводнения.

В прелестную солнечную погоду по зеркальной глади спокойного моря пароход доставил нас к пригородам Валенсии. Мы будто попали в огромный фруктовый сад: вся равнина вокруг нас благоухала и пестрела лимоновыми и апельсиновыми роццами, а теплая и красноватая почва ее питала мощные виноградные лозы с сочными и тяжелыми гроздьями.

Здесь и в Аликанте мы пробывали по несколько дней, после чего двинулись в город пальм — романтический Эльче, а в пригородах Мурсии впервые увидели, как живут обосновавшиеся в этих местах испанские цыгане.

Стояли последние дни сентября, но все равно солнце пекло так, будто задалось целью вскипятить нашу кровь. В Картахене, куда мы прибыли из Мурсии, чтобы далее отправиться в Малагу, не было ни ветерка, неподвижный воздух был раскаленным, раскалено было и вино, даже дождевая вода, которой мы его разбавляли, тоже была тепловатой, и все-таки природа, люди, все здесь было прекрасно — и раскалено. Наш балкон нависал над узкой улочкой, почти соприкасаясь с соседским балконом, так что нам приходилось быть невольными свидетелями происходивших там семейных сцен.

В ночь перед тем, как наш пароход должен был отплыть отсюда в Малагу, разразилась буря, с корнем вырывавшая из земли деревья. В такую погоду отправляться в море мне не хотелось, однако пароходы ходили отсюда в Малагу, не соблюдая твердого расписания, и у меня не было выбора. Мы с Коллином погрузились на борт, и на этот раз мне, баловню судьбы, повезло: волны успокоились еще до того, как мы покинули гавань, и море стало гладким, как натянутый шелковый платок. В тиши прелестной ночи мы скользили по светлеющей воде все дальше и дальше, увидели Малагу с ее белыми дома-

ми, величественным собором и возвышающейся над городом Гибралфарой, когда-то неприступной крепостью мавров.

Не знаю, почему, но каждый раз, попадая в приморские города, я сразу же ощущаю себя, как дома. Какие только чувства не посещали меня здесь! Прекрасные мавританские памятники, вечно юная и прелестная природа, красота андалузских женщин! Мы восторгаемся при виде прекрасной статуи или прелестной картины, но насколько же ярче божественная красота живой женщины. Я был ошеломлен до того, что несколько раз останавливался на улице и провожал глазами этих как будто парящих над землей воистину королевской красоты дочерей, любовался их очами, сиявшими изпод длинных черных ресниц, тонкими руками, обворожительно манипулирующими веерами. Сколько же божественной красоты заключено в человеке! И насколько же она прелестнее, чем красота статуй или картин.

Датский консул отвел меня с Коллином на протестантское кладбище близ Малаги, отличавшееся поистине райской красотой. Я бы не останавливался отдельно на этом эпизоде, если бы описание его, вошедшее в мою книгу «По Испании», не вызвало столь неожиданных для меня и в высшей степени неприятных замечаний. Я писал о кладбище:

«Мирта, цветущего здесь в живых изгородях, хватило бы на тысячи венков для невест. Высокие кусты герани отгораживали одну от другой надгробные плиты с надписями на датском, норвежском — поскольку здесь была могила одного норвежца, — английском, немецком и голландском языках. Многие памятники обвивали стебли страстоцвета. Скорбные, как у плакучей ивы, ветви перцевых деревьев свешивались на места упокоения мертвых. Вот одиноко стоящая пальма, а вот и камедное дерево, и тут же среди зелени — приятный маленький домик, расписанный, как в Помпеях; в нем нас угостили прохладительными напитками, здесь же играли красивые, с живыми сияющими глазами дети».

После того как моя книга вышла и была переведена на английский, мне как раз за эти строки был сделан порядочный выговор. Одна дама в Лондоне, прочитав книгу, почувствовала себя задетой некорректно выбранным мною выражением: «...в нем нас угостили прохладительными напитками...» Она написала об этом известии некоему своему родственнику в Малаге, тот обратился к одному из

господ, которым я был рекомендован, а этот господин, в свою очередь, снесся с датским консулом. В результате людей, живших в кладбищенском домике, стали расспрашивать: правда ли, что они за плату выдают иностранцам прохладительные напитки? После того, как выяснилось, что это — неправда, строгая дама потребовала от меня, чтобы я в следующем издании моей книги «По Испании» обязательно исправил свою фразу «...в нем нас угостили прохладительными напитками». Когда слова эти покидали кончик моего пера, я и подумать не мог, что они вызовут столь бурное возмущение. Я хорошо помню посещение кладбища; стояла жара, я устал, мне хотелось пить, и потому я спросил у своего спутника, не сможем ли мы где-нибудь подкрепиться. Тогда он отвел меня к тому маленькому домику, и его любезные обитатели вынесли нам фрукты или же воду со льдом, я забыл теперь, что именно, но хорошо запомнил, что я за них не платил. Именно это уточнение и следовало теперь внести в мою книгу. Тогда бы она не вызвала такого раздражения у той щепетильной дамы или же по меньшей мере, что действительно лежит грузом у меня на сердце, я не стал бы причиной того, что этих славных людей, которые не дали мне умереть от жажды, призвали к ответу, требуя от них объяснений.

Мы провели в Малаге неделю, после чего должны были вернуться обратно, чтобы, сев на пароход, отправиться в Гибралтар. Однако прежде мы намеревались посетить Гранаду, где в это время проводились праздничные приготовления в ожидании визита королевы, которая собиралась посетить Андалузию в первый раз.

Вершиной нашего путешествия должна была стать Гранада с ее Альгамброй. Наступил вечер, мы сели в дилижанс, запряженный десятью мулами и под звон бубенцов и шелканье кнута, он сорвался с места, и мы быстро покатали по «аламеде», дороге, поднимающейся по сухому руслу реки в горы, откуда сверху нам открылся вид на ярко освещенную фонарями Малагу. Внезапно воздух стал тяжелым, сверкнуло несколько молний, а в кабину дилижанса заглянули несколько вооруженных бородатых мужчин. Я было подумал, что на нас напали разбойники, но эти люди были, напротив, нашими защитниками от разбойников, дорожными жандармами, сопровождавшими нас на наиболее опасных участках пути. Проехав через Лоху, ближе к следующему полудню мы прибыли в Гранаду, где нам уже были за-

казаны комнаты в гостинице, что в условиях нехватки в это время мест в гостиницах было вовсе нелишним.

От нашего соотечественника в Барселоне, г-на Ширбека, я доставил в Гранаду письмо его испанскому зятю полковнику дону Хосе Ларраменди, живому и любезному господину, поистине неутомимому в своем стремлении быть нам с Колином полезным. С его помощью мы увидели здесь столько интересного и прекрасного, сколько иначе нам ни за что бы не удалось. Первым делом мы отправились посетить Альгамбру и явились как раз вовремя, пока дворец не потерял еще своей исконной красоты и его в связи с визитом королевы не увешали пышными коврами и другими безвкусными украшениями.

Торжественный въезд королевы в Гранаду состоялся девятого октября. Вряд ли со времен Изабеллы I в городе устраивалось такое пышное празднество. На шесть дней и ночей Гранада превратилась в поистине сказочный город. Звонили церковные колокола, на улицах под шелканье кастаньет и музыку причудливо выглядевших струнных инструментов танцевали цыганки, повсюду играли оркестры и звучали фанфары, провозглашая: «Viva la reina!»\* Женщины обрывали лепестки с роз, швыряли их с балконов, и те, точно снегом, укутывали королеву, которую узнавали все, даже самые малые дети, по золотой короне и пурпурному плащу. Вечером и ночью над улицами облаком разноцветных колибри светились гирлянды цветных фонариков.

После того как королева отбыла в Малагу и празднества завершились, мы с Колином перебрались поближе к Альгамбре, в гостиницу «Лос съете суэнос», которая примыкала к стене дворца как раз у замурованных ныне ворот, из которых некогда предводитель мавров Боабдил выезжал на битву с Фердинандом и Изабеллой. В результате он был разбит и изгнан вместе с маврами из Испании.

Как раз здесь я прочитал «Альгамбру» Вашингтона Ирвинга; его мертвые герои ожили, умершие восстали передо мной живыми; дни напролет я пропадал в мавританских залах, бродил по Генералифе султанов. Здесь по-прежнему, как описано то в сочинениях древнего времени, благоухали розы, чистые струи воды стекали все с тем же мелодичным журчанием, а старые могучие кипарисы, свидетели всего, о чем говорилось в песнях и преданиях, все так же пронзали свои-

---

\* «Да здравствует королева!» (исп.)

ми зелеными вершинами напитанный солнечными лучами воздух, который я вдыхал полной грудью.

Расставаясь с Альгамброй, я едва не плакал — точно так же я в первый раз расставался с Римом. Здесь я радовался и печалился, испытал самые различные душевные перемены, волновался и страдал... Из-за чего? Воспоминания об этом ныне растаяли. Хорошо, что мы наделены способностью забывать. Зачастую это лучше, чем помнить. Однако же самое лучшее — научиться понимать.

В дорогу нас провожали наш соотечественник Висбю и полковник Ларраменди; здесь же были и дети полковника, кричавшие нам: «*Vaya Usted con dios!*»\*

Мы снова вернулись в Малагу, и, когда я перед отъездом собирал вещи, меня неожиданно постигло сильное огорчение. На этот раз я взял с собой в дорогу мои ордена, точнее, их миниатюрные копии, включая орден Северной звезды, тот самый, который подарил мне Эленшлегер в момент, когда я тяжело переживал суровый суд обо мне критики. Он отдал мне орден со словами утешения и ободрения. «Полярная звезда никогда не заходит, — сказал он мне тогда. — Носите ее, когда меня приберет Господь». И вот этот орден и все прочие у меня исчезли, и, несмотря на объявления, которые я печатал в газетах Малаги и Гранады, мне их так и не вернули.

Вечером мы с Коллином поднялись на борт парохода. Скалу Гибралтара мы увидели на рассвете и скоро оказались на британской земле, поселившись в хорошей гостинице, комнаты в которой нам заранее заказал датский консул Матиесен. Встречаясь с ним и бывая у него в гостях, мы провели несколько прекрасных дней, посетили неприступные укрепления крепости, взобрались на самую высшую точку скалы, откуда открывался вид на Тарифу, а также, на противоположном африканском берегу, на Сеуту.

Второго ноября в чудесную солнечную погоду мы с Коллином отправились, преодолевая волны Атлантического океана, через Гибралтарский пролив в Танжер. Нас любезно пригласил туда к себе английский посланник Драммонд-Хэй, женатый на датчанке. Мое письмо с сообщением о нашем приезде, посланное несколькими днями ранее с одним рыбаком, до него еще не дошло, поэтому по прибытии в го-

---

\* «С Богом!» (исп.)



род мы, чужестранцы из другой части света, оказались там совершенно одни. Тем не менее до резиденции посланника мы, разобравшись в лабиринте узких и многолюдных улочек, все-таки добрались. Там мы узнали, что хозяин со всей семьей находится в своем загородном имении Рейвенсрок. К счастью, секретарь посланника оказался на месте и помог нам достать лошадей для себя и мулов для транспортировки багажа. Наш причудливый караван во главе с секретарем двинулся в путь по главной улице города, чудовищно узкой, заполненной марокканскими евреями, арабами, закутанными женщинами и голыми ребятишками. Выхав из ворот крепости, мы сразу же попали в обширный лагерь арабов и бедуинов с их верблюдами.

Дорога до Рейвенсрока — большого, утопавшего в зелени замка — проходила по экзотической и дикой местности; Драммонд-Хэй, его жена и дети приняли нас сердечно; наконец-то мы услышали звуки родной датской речи. Светлый солнечный день был поистине прелестен. Из окна моей комнаты открывался вид на Танжер, а за ним — на далекие синеватые горы, расположенные уже в Европе; среди них я различил скалу Гибралтара. По вечерам оттуда же был виден свет маяка Трафальгара.

Нас окружали безлюдные места, роскошная дикая природа, океанские волны медленно накатывались на берег. Но поскольку нам стоило познакомиться также и с городской жизнью, через неделю семья наших хозяев переехала в свое просторное, хорошо обставленное жилище в Танжере.

Сэр Драммонд-Хэй представил нас паше, который приветливо принял нас в мощенном каменными плитами двореке своего дворца и лично провел внутрь. Нам принесли зеленого чая — по две большие чашки каждому, — после чего последовало предложение выпить и третью, от чего я отказался, сославшись на то, что религия не позволяет нам выпивать три чашки за один раз. В заключение паша проводил нас до дальних ворот своего дворца, где сердечно пожал руку каждому.

В доме Драммонд-Хэя вся обстановка соответствовала английским понятиям об удобстве и вкусе, хотя самое приятное впечатление в нем производили сами его обитатели. С балкона здания открывался вид на заросли олеандровых кустов и пальмы, тянувшиеся до самого Средиземного моря. Время здесь летело быстро, как сон.

Мы ожидали, когда в Танжер прибудет из Алжира французский военный пароход «Титан»; на нем мы предполагали добраться до Кадиса. Расставание с новыми друзьями и их уютным африканским домом далось нам нелегко. Это знакомство, по общему нашему мнению, было самым интересным с начала всего путешествия.

После захода солнца мы поднялись на борт. Посреди ночи, когда мы наконец сладко уснули, корабль наш сел на песчаную мель в Трафальгурской бухте. Я поспешил на палубу; судно лежало на одном боку. Фантазия рисовала передо мной страшную опасность, которая нам угрожала, однако не прошло и четверти часа, как корабль снялся с мели, выбрался из песка и продолжил свой путь по морским волнам под сияющей на небе полной луной. На восходе солнца мы бросили якорь на рейде Кадиса, города, который я мог бы назвать образцом чистоты. Повсюду развевались флаги самых разных расцветок; корабли многих стран, собравшиеся здесь, представляли собой роскошное зрелище. Сам город, правда, оказался довольно неинтересен: в нем не было ни замечательных церквей, ни романтических руин, ни художественной галереи. Романтику здесь следовало искать в видах на море и в глазах облаченных в мантильи андалузских красавиц, прогуливавшихся по «аламеде».

Через Херес де ла Фронтера поезд доставил нас в Севилью, один из наиболее романтических городов Испании, известный своими роскошными соборами и бессмертными произведениями живописи. С этим городом связаны старинные предания и имена великих людей. Величественный собор Севильи с его высокой мавританской часовней «Ла Хиральда», увенчанной блестящей на солнце крылатой статуей Веры, мы посещали почти ежедневно. Осмотрели мы также и дворец мавританских королей, роскошный Алькасар, сверкающий красками и позолотой не менее ярко, чем в дни своего бывшего величия. Сад при дворце полон апельсиновых деревьев и роз, что создает надежную защиту от жгучего южного солнца. Только здесь, на родине Мурильо, увидев множество прекрасных картин этого художника, я наконец понял, насколько велик он был, вот почему зачастую я не мог удержаться от восклицания: «Он самый великий из них!» Чтобы увидеть и сполна оценить, что удалось ему запечатлеть на своих полотнах, нужно обязательно съездить в Испанию, особенно в Севилью и Мадрид.

Вместе с известным английским жанровым художником Джоном Филлипом и шведским живописцем Эгроном Лундгреном мы впервые побывали в зале Мурильо в Художественной академии, собравшей самые замечательные его творения, а в церкви госпиталя «Ла Каридад» насладились зрелищем его библейской картины «Моисей в пустыне». Мы посетили также мужской монастырь, служащий ныне больницей для престарелых; он был учрежден самим доном Хуаном Тенорио, который умер монахом этого монастыря и сам сочинил надпись на своей могильной плите: «Здесь покоится наихудший на свете человек». Легенду о доне Хуане Тенорио впервые воплотил в виде драматического произведения испанский писатель Тирсо де Молина, пьесу которого впоследствии использовал при создании своей драмы Мольер. Переработанная в либретто для оперы, легенда пережила благодаря бессмертной музыке Моцарта все минувшие эпохи и поколения.

Всего за несколько часов мы доехали поездом до Кордовы, когда столицы мавров, с шестьюстами мечетями, миллионом жителей, процветающими фабриками и научными учреждениями. Ныне это — тихий и малонаселенный город с бедными улицами, над которыми хорошо потрудился дух уничтожения, покрыв пеленой забвения многое некогда великое и прекрасное. Единственной достопримечательностью города осталась могучая мечеть, ныне превращенная в христианский собор. Крышу мечети поддерживают тысяча восемнадцать мраморных колонн, выстроившихся подобно стволам деревьев в лесу, за которыми возвышается церковь с богатыми позолоченными архитектурными деталями; звучащие оттуда молитвы обращены к Иисусу и Деве Марии, в то время как стены вокруг с характерными мавританскими арочными сводами по-прежнему провозглашают вязью арабского алфавита: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет — пророк Его».

Большая часть железнодорожного пути от Кордовы до Мадрида еще не достроена. Поэтому нам снова пришлось испытать на себе все неудобства испанского дилижанса. К вечеру мы достигли Андухара, а за полночь — немецкой колонии Каролина, места, откуда вид окрестностей стал отличаться более суровой по характеру красотой. Захватывающую дух перемену внесли в наше путешествие чудесные горы Сьерра-Морена. Даже в этих славящихся разбойными нападениями, грабежами и убийствами местах, о которых не ленится писать почти каждый побывавший здесь путешественник, мне, баловню судьбы, выпал счастливый билет; я мог бы, казалось, проехать здесь,

выставив на всеобщее обозрение кошельки без всякой опасности ограбления. Никто из встречных, по-видимому, не замышлял против нас ничего недоброго.

Вдоль всего строящегося полотна железной дороги тянулись барачные поселки с домами, крытыми свежими кактусовыми листьями; здесь повсюду царило деятельное оживление. После продолжавшейся примерно двадцать четыре часа безумной по своей скорости езды мы приехали в маленький городок Санта-Крус-де-Мудела с бедными, неухоженными домами и немощными улицами, пробираться по которым приходилось по вонючей грязи. Рекомендованная нам гостиница оказалась замызганным постоялым двором с полами, застеленными соломой, и дырами в стенах спален вместо окон, закрывавшимися деревянными люками. Как я ни устал, но ночевать здесь все-таки отказался. Поезд на Мадрид отходил чуть ли не в момент нашего прибытия, и еще через десять часов пути, в полночь, ужасно утомленные, мы приехали в Мадрид, где на известной площади Пуэрта дель Соль поселились в хороших комнатах гостиницы «Орьенте».

В Мадриде было холодно, дороги покрывали наледь и снег. Город мне не понравился; в нем не было ничего ни характерно испанского, ни исторических памятников времен мавров. Но в одном Мадрид выигрывает по сравнению со всеми остальными европейскими столицами. В нем расположена роскошная картинная галерея с работами величайших мастеров Европы — Мурильо и Веласкеса. Здесь мы проводили счастливейшие часы, а за типично испанскими впечатлениями мы с Коллином решили съездить на несколько дней в живописный и по-настоящему интересный Толедо.

Дорога туда идет через Аранхуэс, тенистые леса в ближайших окрестностях которого весьма напоминают датскую природу. И, напротив, Толедо с его обширными и дышащими древностью развалинами и обнаженной скалистой местностью, где река Тахо на многочисленных перекатах шумит, приводя в движение колеса небольших мельниц, поражает своей самобытной живописной и незабываемой красотой. Гордые ряды колонн Алькасара, его обвалившиеся аркады и царящая вокруг атмосфера запущенности производят глубокое впечатление; дворец по-королевски возвышается среди разрушенного, но все еще просматривающегося великолепия. Жилым осталось только одно его крыло, ныне в нем расквартированы солдаты полка из Кордовы. Здешние церкви — собор и церковь Сан-Хуан-де-лос-

Рейес — впечатляют даже после того, как вы уже повидали соборы Малаги, Картахены, Севильи и Кордовы. Поистине соломоновой пышностью сияют две запертые и будто похороненные еврейские синагоги, которым даны теперь христианские имена Нуэстра Сеньора дель Трансито и Санта Мария ла Бланка. В искусную вязь настенной резьбы, напоминающей вышивку на тюле, вплетены древнееврейские надписи. Соломоновы храмы еще стоят, хотя народа Израиля, того, которому был дан закон «Я Господь, Бог твой, и да не будет у тебя других богов», здесь более нет.

В городе и в его окрестностях малолюдно и тихо. Единственные признаки жизни — колокольный звон, сзывающий прихожан к мессе, удары молотов, доносящиеся с фабрик, где изготавливают клинки из дамасской стали (фабрика эта — единственное производство, напоминающее о былых временах), ну, и еще звук паровоза.

В Мадриде, куда мы снова вернулись, чтобы провести здесь еще несколько недель, испанский писатель дон Синибальдо де Мас, ранее посланник Испании в Китае, устроил в мою честь в одной из гостиниц званый обед, на котором, как предполагалось, я смогу познакомиться с современными испанскими поэтами. Там я встретился с доном Рафаэлем Гарсиа-и-Сантестибаном, автором «Пучка крапивы» и нескольких «сарсуэл» — испанских оперетт. В столице мне довелось познакомиться и еще с несколькими важными лицами, они сердечно меня приветствовали, хотя не знали совсем. Ведь, насколько мне известно, на испанский язык были в то время переведены только две мои сказки — «Девочка со спичками» и «Хольгер Датчанин». Особенно понравился мне писатель Арценбуш. Он был выходцем из немецкой семьи, но родился в Испании и считался ныне всеми признанным знаменитым испанским драматургом и писателем-сказочником; как раз в это время у всей испанской читающей публики на устах были «Сказки и басни», только что выпущенные им. Из вежливости мне часто говорили, что мы похожи друг на друга — оба пишем сказки. Арценбуш отнесся ко мне очень приветливо и даже написал несколько хвалебных и дружеских слов на экземпляре своих сказок, который подарил мне на память. Я должен отметить еще одно имя, известное как в испанской политике, так и в новейшей литературе, — герцога Риваса. Меня представили ему, и он оказал мне самый радушный прием. Выяснилось, что мы с ним старые знакомые: он напомнил мне, что мы ранее встречались в Неаполе, где он в свое время был посланником своей страны.

Из нашего плана остаться в Мадриде на Рождество ничего не вышло. Погода стояла невыносимая: дождь, изморось и снег — из худших, что бывают в это время года в Дании. В отдельные дни температура повышалась, но тогда задувал сухой, пронизывающий и изматывающий нервы ветер. Я не мог долее оставаться здесь: скорее во Францию и затем в Данию! Но в самый вечер отъезда, несмотря на падающий снег, мое сердце все же согрелось при виде того, какое множество людей собралось, чтобы попрощаться со мной. Они так доброжелательно принимали меня здесь, и я успел всей душою их полюбить. Среди провожавших были его превосходительство посол Швеции в Испании Бергман, пожилой уже человек, несколько молодых испанских писателей и один из самых любезных моему сердцу молодых испанцев, Якобо Зобель Зангронис из Манилы. В течение всего нашего пребывания в Мадриде он неутомимо помогал нам, чем мог, и я, пользуясь случаем, посылаю ему в этой книге, если он когда-нибудь увидит ее, мой самый теплый привет и огромную благодарность.

Поезд с шумом тронулся в путь, и как раз в этот момент разразилась буря. Завывающий ветер принес в Эскуриал, где поезд вынужденно остановили, настоящую метель. Нас пересадили в тесный дилижанс, в котором мы вынуждены были трястись до самого рассвета. Кто-то из спутников случайно высадил локтем окошко, через него внутрь стало задувать снег, беспрерывно плакал маленький ребенок, повозка все время кренилась, грозя перевернуться, не стоило и думать о сне и покое, не поломать бы только руки и ноги.

В Санчидриане мы снова погрузились на поезд, однако нам пришлось прождать до его отправления несколько часов, которые мы провели в холодном и неопрятном дровяном сарае. Но вот наконец час отправления наступил, и в полдень 20 декабря мы прибыли в Бургос, где жил воспетый в испанских песнях герой Сид. Вместе со своей достославной женой Хименой он покоится ныне здесь в бенедиктинском монастыре Сан-Педро-де-Кордонья. Нам предоставилась возможность увидеть в соборе тот набитый камнями сундук, при помощи которого он обманул евреев, — уловка, считавшаяся столь блестящей в свое время и мало похвальная в наше.

Мы с Коллином поселились здесь в гостинице «Ла Рафаэла». Зима в тот год выдалась особенно суровой, оконные стекла в номерах замерзли, и нам выдали «брассеро» с пышущими жаром раскаленными

утлями. Перед тем, как лечь спать, мы выставили «брассеро» за дверь, настолько перекошенную и изобиловавшую щелями, что ядовитый дым все же проникал в комнату. Посреди ночи я проснулся от того, что угорел, — казалось, на голову мне надели давящий узкий колпак. Я окликнул Коллина, он сонно мне что-то ответил, я еще раз окликнул его, сказав, что мне нехорошо, но он, по-видимому, находился в еще худшем, чем я, состоянии и только сумел ответить, что во всем, вероятно, виновато «брассеро». Я поднялся с постели, пошатываясь, как пьяный, добрал до балконной двери и с большим трудом открыл ее. Внутри тотчас же нанесло снегу, но холодный свежий воздух помог, хотя прошло не менее часа, прежде чем мы с Коллином окончательно пришли в себя. Так эта ночь в Бургосе едва не стала последней, проведенной нами на этом свете.

Из Бургоса наш путь лежал на Оласагутию. Туда мы добрались дилижансом. Кругом лежал глубокий снег, ночь стояла темная и холодная, но на рассвете мы, перевалив через Пиренеи, прибыли в Сан-Себастьян, живописно раскинувшийся на берегу Бискайского залива. Здесь все еще стояла зима, но когда мы через несколько часов, во второй половине дня достигли французской границы, солнце уже светило по-весеннему, на деревьях видны были набухшие почки, а вокруг цвели фиалки. Скоро мы приехали в Байонну и провели в этом городе Сочельник. Связка свечей, прикрученная к бутылке из-под шампанского, послужила нам своего рода огнями рождественской елки, и при их свете мы вышли за Данику и всех дорогих нашим сердцам родных и близких.

Знаменитый курорт Биарриц расположен, как известно, на берегу Бискайского залива, совсем рядом с Байонной. Здесь мы решили провести несколько дней и еще раз полюбоваться с окрестных холмов видом снежных вершин испанских гор. Прибой гулко, как орудийные выстрелы, отзывался из глубоких пещер, которые зияли в отвесных обрывах прибрежных скал. Море выбрасывало над их причудливыми уступами, выступающими далеко от берега, множество фонтанов из брызг. Казалось, их выпускают огромные, собравшиеся у побережья стаи китов. Взгляду открывался широкий простор океанского горизонта, за которым была Америка.

Вечером в первый день нового года мы прибыли в Бордо, где нас приветливо встретили соотечественники и друзья-французы.

Бордо — это волшебный город. Особенно привлекал меня в нем театр, где в то время расцвела опера. Здесь я впервые услышал «Фауста» Гуно. Какие прекрасные голоса, какое пение и декорации! Я забыл уже имена певцов, но не то превосходное впечатление, которое они оставили, как, впрочем, и некоторую досаду на неточность в игре актрисы, прекрасно во всем прочем справившейся с ролью Маргариты, небрежность, доказывающую, какие нелепиды порой допускают в своей игре даже превосходные актрисы. Мы все помним, как в третьем действии Маргарита, исполненная кротости и смирения, приходит домой из церкви, держа в руках сборник псалмов; она ставит перед собой прялку, садится и поет песню о короле в Туле. Увы, актриса, игравшая Маргариту, избавляясь от ненужной ей больше книги, выбрасывает ее за кулисы, как простую тряпку. Настоящая Маргарита никогда бы так не поступила в действительности, а тем более в таком царстве красоты, какое являла собою сцена. Оплошность повторялась на каждом спектакле, который я посещал, и каждый раз требовалось некоторое время, прежде чем мелодия и слова оперы снова настраивали меня на восприятие роли.

Мы осмотрели городской собор, остатки римского амфитеатра, старинные здания и художественные коллекции. Погода стояла теплая и приятная, на площадях во множестве продавались фиалки, зацвели фруктовые деревья. Наш датский консул Кирстайн пригласил нас в свой загородный дом, расположенный прямо на берегу реки. Здесь мы и встретили во всей ее красе раннюю весну, которая, как мы надеялись, будет теперь постоянно нам сопутствовать по мере продвижения на север.

В Ангулеме мы остановились на сутки и чуть дольше задержались в Пуатье, где жил приятель Коллина конхиолог Анри Друэ. Он показал нам свой высоко лежащий над уровнем моря город и его роскошный собор, построенный еще во времена мавров. В городе есть также еще несколько старинных зданий и не больше не меньше, как тридцать два монастыря.

Между тем весеннюю и теплую погоду Бордо здесь сменил пронзительный холод, и нам снова пришлось кормить камин трещащими на огне поленьями. Несколько маленьких черепашек, которых Коллин вез из Танжера, тоже мерзли, как мы, жались к огню и чуть было не обожглись.



Далее из древнего Пуатье мы попали в элегантный Тур, город с великолепным висячим мостом, величественным собором, широкими улицами и хорошо освещенными магазинами. Здесь нас снова встретили солнце, цветы и зелень. Мы посетили в Туре старинный дом, где жил печально известный палач Людовика XI Тристан Отшельник. Двор дома изобилует вырезанными и просто намалеванными на стенах надписями, и с башни его открывается вид на город, реку и деревенские окрестности. Несколько городских церквей лежит в руинах, остальные используются в хозяйственных целях, одна, к примеру, служит конюшней, в другой расположен театр.

Из Тура наш путь лежал в Блуа. Каждый город, как и человек, имеет свое собственное лицо; между ними может быть известное сходство, но они все-таки разные, у каждого свое выражение, свои черты. Вот такими я представляю себе города южной Франции, они — как виньетки к моему путешествию. Не последнее место среди них занимает Блуа с его кривыми, узкими улочками и тенистыми аллеями вдоль широкой реки. Мне особенно запомнилась наша прогулка к здешнему собору. Улица к нему поднимается так круто, что горожане соорудили на ней перила, за которые приходится держаться по мере продвижения вперед. Хотя и сам собор тоже забываем, ныне, правда, он превращен в казармы, зато здание поддерживается в отменном порядке. Связанные с этим строением воспоминания и сам его внешний вид производят мрачноватое и даже злоеущее впечатление; выкрашенные в красное дути балконов перед каждым окном кажутся красными ртами, из которых вырезали язык, чтобы он не разболтал нам о том, какие события происходили внутри и что пришлось пережить его прежним обитателям. Здесь был убит герцог Гиз. Нам показали комнату и дырку в ковре, через которую за сценой убийства наблюдал Генрих III.

Мы провели в Орлеане два дня — слишком короткое время, чтобы как следует осмотреть его волшебные здания и памятники. Красотой и поистине поэтическим вдохновением отмечен подаренный Наполеоном III городу памятник Жанне д'Арк. Героиня изображена верхом на коне, а на пьедестале монумента в виде бронзовых барельефов изображены сцены из ее жизни; они словно выхвачены из шиллеровской трагедии, от момента, когда ей, пастушке, является Богоматерь, до того, как она предстает перед нами в языках пламени на костре. Еще

один также подаренный городу памятник ей — правда, меньший по размерам, — моделью для которого послужила дочь Луи Филиппа Мари, стоит во дворе Ратуши. Монумент, изображающий Орлеанскую деву, стоит также на берегу реки. Мы осмотрели дом, в котором Жанна жила, дом Дианы де Пуатье, а также великолепное здание, которое построил Карл VII своей возлюбленной Агнес Сорель.

От Орлеана недалеко до Парижа, где мы собрались провести два месяца, обычно самые насыщенные для любого посещающего Францию иностранца. Немало людей, наверное, пожелали бы насладиться подобным счастьем, которое — и уже не в первый раз — выпадало мне. Я мечтал сполна насладиться этими счастливыми лучами, дарованными жизнью, и я вкусил их в полной мере, как вкушал в течение всего своего романтического путешествия по Испании с вылазкой на африканское побережье. Мне на долю выпали великолепные, грандиозные впечатления, хотя дни и месяцы, о которых я вспоминаю, не всегда были устланы шелком, грубое льняное полотно повседневности также подчас заявляло о себе большими уколами. Существует старинная сентенция «Люди вовсе не столь хороши, как могли бы быть», однако ведь и я сам принадлежу к разряду тех самых представителей рода человеческого. Как сказано в «Отче наш»: «...прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем должнику нашему...».

В Париже в это время находился возвращавшийся из Италии на родину Бьёрнстjerne Бьёрнсон. Он призвал скандинавов, находившихся в ту пору во французской столице, устроить в мою честь праздник в Пале-Рояле. Стол там ломился от цветов, а в глубине зала выставили большую картину, изображавшую Х.К.Андерсена в окружении его сказок. Выше всех парил *Ангел*, мимо пролетали *Дикие лебеди*, тут же присутствовали *Дюймовочка*, *Мотылек*, *Соседи*, *Русалочка* и *Стойкий оловянный солдатик*, не обошлось даже без мышей, рассказывавших о *Супе из колбасной палочки*.

Бьёрнсон произнес за столом теплую речь в мою честь, в которой, исполненный благожелательного ко мне отношения, поставил меня в плане проникнутых народным духом юмора и сатиры выше таких писателей, как Багтесен, Вессель и Хейберг.

В ответном слове я сказал, что чувствую себя так, словно я уже умер и положен в гроб, ибо обо мне здесь говорят так хорошо и красиво, как принято говорить только о покойнике. Тем не менее я еще не мертв и на-

деюсь, что у меня есть некое будущее, в связи с чем хотел бы, чтобы мне возносили хвалу лишь в той мере, которую я мог бы хоть в малой степени оправдать своими скромными трудами и усилиями.

Присутствующие спели какую-то французскую песню, после чего зачитали «Письмо Х.К.Андерсену» от поэта П.Л.Мюллера, которому помешала прибыть на праздник болезнь. Я прочитал друзьям несколько моих сказок: «Ветер рассказывает о Вальдемаре До», «Сущая правда» и «Ребятня болтовня». За столом царил сердечное и радостное настроение, это был один из самых светлых вечеров в моей жизни.

В конце марта мы с Коллином покинули Париж и направились домой, заехав по пути в Дюссельдорф, где провели несколько прекрасных дней в гостях у норвежского живописца Тидемана, который как раз работал над своей замечательной картиной «Драка на крестьянской свадьбе», где исход спора решал нож. Один человек там лежал убитым на полу, другого, смертельно раненного, перевязывала бабушка убиенного. Картина производила впечатление своей мощью, а также интересной игрой света — отблеском огня из очага вперемешку с лучами солнца, падающими из раскрытого чердачного окна.

В день моего рождения, 2 апреля, я уже был в Копенгагене, но едва на деревьях в лесу распустились почки, как я тут же отправился в путь, уводивший меня к моим друзьям в Кристинелунде, Баснесе и Глорупе. В этих поместьях я и написал, опираясь на свои путевые заметки, книгу, которую назвал «По Испании».

Почти весь июнь я провел в роскошном имении Глоруп, где меня, как всегда, ожидал гостеприимный прием хозяев. С тех пор как я побывал здесь в последний раз, особенно изменился парк, ставший еще прекраснее. Старую французскую его часть украсили фонтаном, выбрасывавшим струю на высоту самых больших деревьев. Новую часть парка разбили в английском стиле, живописно расположив на ней отдельно стоящие группы деревьев.

В конце августа я снова вернулся в свои комнаты в Копенгагене. Как раз в это время в театре «Казино» давали мою сказочную комедию «Бузинная матушка». Роль простодушного любовника в ней естественно и искусно играл талантливый актер Карл Присе. Пьеса пользовалась большим успехом. Как раз с той поры она стала тем из моих малых драматических произведений, которое принимается пуб-

ликой с неизменной доброжелательностью — намного большей, чем на премьере, когда, как я уже отмечал, пьеса понравилась только писателям, таким, как Хейберг, Бойе и Тиле, но отнюдь не критике. Какая все-таки с тех пор произошла перемена!

Я написал осенью еще два водевиля: один для Королевского театра — «Он не родился» и другой для театра «Казино» — «На мосту Лангебро». Перелистывая собрание драматических произведений Коцебу, я обнаружил в них драму, которой раньше не знал. Ее Коцебу написал по мотивам известного и превосходного рассказа Музеуса «Тихая любовь». По примеру Коцебу я взял эту пьесу и переработал ее действие применительно к датской жизни. Так «Бремербро» превратился в копенгагенский «Лангебро», и все действие приобрело более «датский» характер; присочиненные мной к тексту пьесы песни, как выяснилось, понравились публике, я же получил от этой работы истинное удовольствие!

Наступили, казалось, дни солнца и радости, но потом вдруг задул шквалистый ветер, налетели ливни, начались ненастные дни, время горькое и тяжелое. Непогода обрушилась не только на меня одного — на всю нашу страну, весь народ. Для Дании наступала пора испытаний.

Король Фредерик VII находился тогда в Шлезвиге, в замке Глюксбург. О состоянии его здоровья ходили тревожные слухи. В воскресенье пятнадцатого сентября я посетил министра по делам Церкви епископа Монрада, настроение у него было подавленное. Погода также стояла сырая и ненастная, влажный воздух действовал угнетающе; казалось, что находишься в доме, где царит траур. Я думал о короле, чувствуя серьезные опасения за него, а когда через несколько часов пришел к друзьям в дом, где жил министр Фенгер, то при входе столкнулся с директором телеграфа, который решил сам доставить в дом телеграмму. С предчувствием беды я подождал на лестнице, пока он не выйдет обратно, и спросил, нельзя ли узнать, что за известия он принес. Он лишь кратко ответил: «Следует быть готовым к худшему». Я вошел к министру. Тот сказал мне: «Король умер». Я разрыдался. Когда я вышел на улицу, народ на ней стоял, сбившись в небольшие группки, все уже знали горестную новость. Я был взволнован, хотел поделиться с друзьями своими чувствами и пошел в дом Эдварда Коллина. Там все только что вернулись из театра. В момент начала пред-

ставления из партера послышался голос: «Когда король находится при смерти, играть комедию не пристало, публике следует разойтись!» Вскоре поднялся занавес, на авансцену выступил актер Фистер, он сказал, что, естественно, при сложившихся обстоятельствах никакого желания у зрителей смотреть комедию нет, как нет желания играть ее и у самих актеров. Поэтому спектакль отменяется. В театре «Казино», где к тому времени, когда поступило горестное известие о смерти короля, было сыграно уже два акта, по залу пронесся тягостный вздох, и зрители покинули театр без всякого излишнего шума.

На следующий день ближе к полудню — погода оставалась такой же унылой и тяжелой, как и настроение, — я пошел к Кристиансборгу. На площади толпился народ. Премьер-министр Халл вышел на балкон и объявил: «Король Фредерик VII умер! Да здравствует король Кристиан IX!» Раздались крики «ура», и король вышел на балкон, но поскольку люди продолжали кричать «ура», а король выходил к ним снова и снова.

Счастливейшие семейные радости и покой сменились для него тяжелым бременем испытаний, которое разделили с ним все датчане.

Меня всего лихорадило, я был взволнован и не находил себе места. Вечером я написал следующие строки:

И скорбный глас раздался над страной:  
«Король скончался — Фредерик Седьмой!»  
Лети над валом Тире песня тризны,  
Разбилось сердце на гербе отчины  
Державное! Ты Господом был дан  
Датчанам, самый истый из датчан.

С языческих времен до наших дней  
Никто так не любил страны своей!  
Державной власти образец для мира,  
Любовь народа — вот твоя порфира.  
Ты благом был! Тебе в благодаренье  
И благо плачет, павши на колени.

Вечером второго декабря тело Фредерика VII доставили в Копенгаген. Из моей квартиры в Нюхавне я видел, как корабль-саркофаг под траурную музыку и колокольный звон тихо скользит по воде.

Кристиансборг напоминал *castrum doloris*\*. Все устремились туда. Я боялся давки и толчеи, боялся попасть в толпу, в которой приблизиться к цели можно было, лишь медленно переступая в такт остальным, а о возвращении и подавно следовало забыть, пока весь путь не будет пройден последним. Уже одна мысль об этом заставляла трепетать все мои нервы. Я не решился пойти туда и потому остался дома. Но, когда время прощания с телом короля истекло, я пожалел, что не попрощался с ним. Я должен был, я страстно желал еще раз приблизиться к моему доброму и милостивому королю, постоять у его гроба. Честь оказаться подле него мне все же оказали, я явился к телу. В обитых черной материей комнатах еще разливался свет сильно убавленных ламп; рабочие снимали с катафалка боковые панели; белого атласного балдахина над гробом в парадном зале еще не сняли, а в подсвечниках и канделябрах еще горели свечи, щиты с гербами по-прежнему находились на своих местах, убрали только стойки, на которых лежали ордена и другие знаки отличия. Я приблизился к гробу как раз тогда, когда с него снимали крышку, которую следовало украсить для похорон. Заглянув внутрь черного деревянного гроба, в котором лежало тело, я нагнулся над ним, сжимая в руках скромный венок из мха, который принесли к гробу обитатели богаделен.

Певческое общество Копенгагена собиралось исполнить хором прощальный гимн, когда тело короля повезут в Роскильский собор. Слова гимна поручено было написать мне. Наступил день, точнее, вечер похорон. Траурная процессия остановилась у Западной заставы, где гимн и был исполнен. Вокруг развевались флаги цехов, сверкали огни пушечных выстрелов, облака порохового дыма медленно растекались в лиловых лучах заката.

В моем сердце с этого времени поселились горе и страх. Кровавая волна войны снова грозила захлестнуть мое отечество. Против нашей маленькой страны выступили королевство и целая империя. Путь поэта — не путь политика, у него свое предназначение в жизни, поэт служит прекрасному, но и он, когда земля начинает сотрясаться у него под ногами, так что все вокруг рушится, не может не думать об этом; политика затрагивает его жизнь, благоденствие его самого и всей страны, он не может стоять вне происходящих событий; напро-

---

\* Скорбящий военный лагерь (*лат.*).

тив, он полностью осознает их значение и делает из них важные для себя выводы. Поэт, как дерево, накрепко укоренен в почве родины; здесь расцветает и дает плоды его талант, и как бы потом ни распространялась его поэзия по всему миру, корни древа его творчества неразрывно связаны с родной почвой, и поэт неизменно чувствует ими, если какие-то силы расшатывают ее или же замораживают убийственным холодом, превращая в мертвую глыбу.

Весь мир знает, сколько горя и страданий принесла Дании эта война. Датский солдат — неутомим, он смел, дисциплинирован и честен. С песнями и криками «ура» армия двинулась на защиту страны, на укрепления Данневирке — к нашему щиту, который должен был отразить вторжение немцев. Все ждали приближения огромной, все сметающей на своем пути превосходящей силы противника.

Несколько дней меня будили на заре песни и поступь уходящих на фронт солдат. Я вскакивал с постели, распахивал окно и со слезами на глазах молил Господа благословить и сохранить жизнь этих молодых и жизнерадостных людей. В подобном настроении я написал следующие строки:

#### В УТЕШЕНИЕ

Никто не знает, что завтра ждет, —  
Господь то знает, Он нас ведет.  
И в самый худший из худших год  
Мы верили: Данию Бог спасет.

Была чуть живая, расчленена,  
Возвал Нильс Эбессен, очнулась она,  
Повел Господь нас на правый бой,  
Стяг Аттердаг поднял — и стала страной.

Вновь буря, и в море — волна за волной,  
Плывет наш кораблик над бездной морской,  
Но Бог у кормила — он наш рулевой,  
Творит Свою волю — не будет иной.

Никто не знает, что завтра ждет, —  
Господь то знает, Он нас ведет.  
Но в самый худший из худших год  
Мы верили: Данию Бог спасет.

Стихотворение напечатали в газете «Дагбладет». На следующее утро я получил письмо, подписанное: «Всего лишь женщина». Вот его строки:

«Представляется, что господину профессору, желающему утешить народ в связи с предстоящим военным походом, следовало бы избрать иную форму и воодушевить уходящих на войну наших братьев, для чего вовсе не пристало изображать родину в виде утлого суденьшка, прокладывающего себе путь штормовой ночью над бездной морской. Датский воин, который гордо и мужественно идет сражаться за правое дело, вряд ли нуждается в картинах, дающих повод для мрачных мыслей».

Я еще верил в спасение, которое пошлет нам Господь, но зачастую мое сердце пронизывали боль и страх. Никогда еще я так сильно не чувствовал, насколько крепко врос в почву моего дорогого отечества. Нет, я отнюдь не забыл, сколько любви, признания и дружеских чувств снискал себе в Германии и скольких друзей и подруг обрел там. И все-таки сейчас между нами лежал обнаженный меч. Я не забываю друзей и доброго ко мне отношения, но моя Родина для меня — как мать: она остается и пребудет единственной.

Какая же огромная тяжесть лежала у меня на сердце! Я страдал и не верил, что смогу все это вынести. Никогда еще у меня не выдавалось такого мрачного и гнетущего Рождества, как в том году.

На рубеже годов, в новогоднюю ночь я со страхом гадал, что принесет с собою наступающий год. Господь был той великой державой, на которую я уповал больше всего. Он не должен был оставить Данию.

1864

Утром Нового года выдался крепкий, звенящий мороз, и я сразу же подумал о наших солдатах на передовых позициях и в холодных бараках. Я думал: мороз скует воду, обеспечив врагу переправы, по которым на нас обрушится вражеская лавина. Что будет тогда? Я не разделял воодушевления многих окружавших меня людей, свято веровавших в непреодолимость укреплений Данневирке, прекрасно понимая, что такая большая страна, как Германия, может, воспользовавшись железной дорогой, бросить на нас столько солдат, сколько волн накачивает на берег штормовое море. Я спросил одного из моих самоуве-



ренных соотечественников: «Если Данневирке все же возьмут, смогут ли наши солдаты достичь Дюббеля и острова Альса, не будучи при этом отрезанными от остальных войск?» — «Как может датчанин такое спрашивать! — воскликнул он. — Как можете вы только подумать, что враг возьмет Данневирке!» Вот какими крепкими были упования на Господа — единственную державу, которая нам помогала.

Каждый день молодые, жизнерадостные и веселые солдаты проходили по городу; направляясь на поле битвы, они шли, как на веселый праздник. Я же неделями и месяцами не мог заставить себя работать; все валилось у меня из рук, мыслями я был вместе с армией. Первого февраля пришла телеграмма, извещающая, что немцы переправились через Эйдер, военные действия начались. В конце недели поползли тревожные слухи о том, что Данневирке оставлен а генерал Меса с войсками, не сделав ни единого выстрела, отступил от границы и был оттеснен на север. Казалось, я наяву вижу кошмарный сон. Я был в полном смятении, и многие, многие чувствовали то же самое, что и я. Шумящие толпы народа бродили по улицам; что это был за вечер, что за время! Для всех нас наступали дни испытаний, и у всех на уме было одно и то же: как защитить страну, как помочь нашей храброй армии? Семнадцатого февраля враг переправился через речку Конгео, но мы еще удерживали Дюббель и Альс.

Графиня, мать королевы, как раз об эту пору скончалась, и король поручил мне написать псалом, который собирались исполнить над ее гробом в Роскильском соборе. Через несколько дней меня позвали к королеве, которая поблагодарила меня за мое сочинение. Мы стояли у окна, звучала музыка, солдаты уходили на войну в действующую армию, чтобы пролить там за нас свою кровь. Из глаз королевы катились крупные слезы, слезы прощания с сыновьями Дании.

От того вдохновенно-приподнятого настроения, которое царило в дни прошлой войны и было связано с победами и иными счастливыми обстоятельствами, теперь не осталось и следа — нам противостояла превосходящая нас во всем сила. Мы были брошены всеми на произвол судьбы и в утешение могли лишь повторять:

Бог унижает, чтоб возвысить вновь!

Сын дочери Коллина Вигто Дреусен, тот самый, с которым я танцевал, взяв его на руки, когда он был младенцем, и для которого напи-

сал одну из самых известных моих песенок «Маленький Вигто! Седлай коленку!», отправился на войну добровольцем. Он был тяжело ранен в сражении при Дюббеле, лежал там на поле среди убитых и умирающих до окончания боя, а потом попал к пруссакам, в их лазарет. У кого в стране не было там в то время родственника или — как у меня — дорогого друга, беспокойство за которого поглощало все мысли.

В больнице датчане и немцы лежали вместе. Из Фленсбурга каждый день в качестве сестер милосердия приезжали дамы и привозили раненым угощения. Я слышал о характерном случае, который перескажу здесь. Одна пронемецки настроенная дама подала раненому датскому солдату питье, но, услышав, что он благодарит ее податски, взяла питье обратно, повернулась к другому раненому и спросила, к какой нации он принадлежит. «Я — пруссак», — отвечал тот, и тогда она протянула угощение ему, но он отвел ее руку, сказав: «Я не приму подарка, отобранного у другого; он теперь мой товарищ, мы здесь — не на поле боя».

Второго апреля враг взял Сёндерборг — лишенный укреплений, беззащитный город. Немцы обстреляли и подожгли его, а затем быстро потеснили датчан вплоть до Скагена и, таким образом, завладели всей Ютландией.

Веря в силу и мужество наших солдат, сражавшихся на полуразрушенных бастионах, я писал:

Горсть храбрецов, надеясь на Бога,  
Не даст померкнуть славе Даннеброга!\*

Но что может поделать в наши дни горстка людей против врага, столь превосходящего их своей мощью! Я уже представлял себе, как расчлениют мое отечество и как оно истекает кровью, вместе с каплями которой его покидает и мой родной язык, который потом, быть может, мы услышим только как эхо, звучащее с берегов Норвегии. Мы не посмеем петь даже наши старинные героические песни, тогда они будут звучать в наших устах как издевательство.

Сможем ли снова петь во всю мочь  
«Зелены Дании дали?»

---

\* Перевод А. и П. Ганzenов.

Кровью исходим, песню же прочь  
Ветер уносит в зимнюю ночь.  
Или не хочет он нам помочь,  
Тот, кого долго мы ждали?

Светел, как прежде, летний рассвет,  
Снова кукушка кукует,  
Ветер попутный дует нам вслед,  
Каждый цветочек любит свой цвет,  
Птицы щебечут — дела им нет,  
Что человек там тоскует.

Помочи нет нам, хоть изойди  
Кровью из глаз в моленной.  
Что начертал Он, то — впереди!  
О, Всеблагой, Всемудрый, гряди!  
Всякую тварь призрел на груди  
Царь над царями вселенной.

Все по местам! Но все нам не впрок!  
Бьются с невиданной силой  
Волны в борта. Вал уволок  
Мачты обломки. Сник и намок  
В пенных волнах наш Даннеброг...  
Боже, спаси и помилуй!

Все же надежда теплится в нас,  
Живы мы в горе покуда,  
Верил народ и верит сейчас:  
Дании Бог помогал уж не раз,  
Коль мы тверды. И в утренний час  
Солнце восстанет, как чудо.

Но пока что ни один лучик солнца не засиял. Корабли доставляли в Копенгаген раненых; их перевозили или переносили в лазареты; некоторые умирали еще по пути. Иногда я видел среди раненых друзей; на их лицах застыли спокойствие и умиротворение, словно они, устав от борьбы, улеглись отдыхать, чтобы потом снова восстать сильными и жизнерадостными.

Смертельно-утомительно и убийственно долго тянулось время. Солнце дарило нам тепло, деревья и кусты радовали весенней свежей листвой, а я чувствовал горечь: казалось, природа блаженствует, словно все на свете по-прежнему шло в соответствии со старым, добрым и раз и навсегда установленным порядком. Я уже не верил ни в радость, ни в светлое будущее, не верил, что меня еще когда-нибудь может ожидать счастье.

Близкие мне люди, друзья и знакомые переживали и страдали так же, как и я. Все мы сходились в одном — в нашей любви к отечеству.

Потом пал Альс! Все кончено! Кончено! На помощь к нам не пришел никто. Все понимали, что произошло самое худшее. На Бога я более не надеялся, я впал в такое отчаяние, в какое только может впасть человек. Бывали дни, когда меня наполняло абсолютное равнодушие к другим — я ведь считал, что и все другие относятся ко мне не менее равнодушно. Я не находил никакого утешения, даже пытаюсь выговориться перед кем-либо еще, — из этого просто-напросто ничего не получалось. И все-таки даже в эти тяжелые дни нашелся человек, который поддерживал меня своей мягкой добротой и сердечной чуткостью. Это была чудеснейшая женщина, жена Эдварда Коллина; она поняла мою боль, нашла нужные слова участия и упростила меня все свое внимание и мысли направить на следующую работу. Другая верная моя подруга, пожилая камергерша Нёргорд, пригласила меня в свой уютный дом в лесистом Сёллерёде, он стоял у тихого и спокойного озера. В этом доме я жил под добрым присмотром ее участливых и внимательных глаз, слушал звучащие здесь милые уху датчанина народные мелодии. Хозяйка относилась ко мне как к поэту и человеку с истинно материнской теплотой. Годы спустя, когда Бог прибрал ее к себе, я воссоздал ее образ в следующих строках:

Как женщина апостольских времен,  
Ты верила в благое воздаянье,  
Датчанка истая. Теперь же в предстоянье  
Ты, кроткая душа, узрела Божий трон.  
И вот, склонясь пред Ним, о Дании взмолилась:  
«Она прекрасна — ниспошли ей милость!»

Когда я приехал, там справляли настоящий праздник. Небольшой сад освещали факелы и цветные фонарики; все это было устроено,

чтобы порадовать хозяйку, страдавшую сердечной болезнью, и я с удовольствием принял участие в празднике. В круг друзей хозяйки входили приятные и весьма одаренные люди, как раз у нее я познакомился с на редкость талантливым философом Расмусом Нильсеном. Фру Нёргорд также уговаривала меня вернуться к творчеству, а мой дорогой и гениальный друг, профессор Хартманн, попросил написать для него либретто, на его основе возникла пятиактная опера «Савл».

Позже я провел некоторое время на водном курорте Мариенлюст близ Хельсингёра. Я решил, что, поскольку ожидаемое заключение мира наверняка внесет в обстановку в стране некоторое спокойствие, я смогу съездить в Норвегию, где еще никогда не бывал, осмотреть шумные водопады этой страны и ее глубокие тихие озера — мне давно хотелось познакомиться с землей, в которой мой родной язык звенел, словно вобрав в себя отзвуки металла, добываемого в здешних горах, в то время как у нас он журчит капельками дождя, который скатывается с листы буков. Там я собирался также навестить Мунка и Бьёрнстьерне Бьёрнсона. В тяжелые дни испытаний приходившие из Норвегии сердечные письма дарили мне утешение и надежду.

Как добр был Бьёрнсон, высоко оценивая меня, видно из двух строф, которые он написал в присланной мне книге «Сигурд Злой».

Окрылив воображенье,  
Ополчившись на великих,  
Ты поэзию открыл мне  
Малых сих и неизвестных!

Душу детскую вскормил ты,  
Мыслью зрелую насытил;  
Возмужала, все приелось —  
Детство в ней теперь вскормляешь.

Заключенный мир, однако, утешения мне не принес, и в Норвегию я так и не поехал.

Вечер накануне сочельника я провел у фру Ингеманн в Сорё. Внутри в доме все по-прежнему оставалось на своих местах, но снаружи — какие изменения! Их произвел садовник замка, и, очевидно, их можно было считать улучшениями. Сад Академии перешел в наступление, отвоевав себе дополнительное место за счет половины сада Ингеманна. Исчезла как раз та его часть, которую он любил: неболь-

шой пригорок с могучими деревьями срыли напрочь, исполинский обломок колонны, служивший Ингеманну столом, опрокинули. Фру Ингеманн получила в свое время юридические гарантии, что в ее имении, пока она жива, ничего изменять не будут; и действительно, поначалу на все производимые изменения у нее просили разрешения, которые скромная пожилая дама не замедлила дать. «Попросить разрешения было с их стороны настоящей любезностью, — рассказывала она. — Хорошо еще, что мне здесь позволяют жить». При отъезде я получил в подарок большой букет от фру Ингеманн и горничной Софи, срезавшей для него цветы, которые росли у нее в горшочках на маленьком подоконнике.

Последние дни этого года, самого тяжелого и горького в моей жизни, я провел в Баснесе.

1865

В первый день нового года стояла тихая и морозная погода, светило солнце. Все обитатели Баснеса поехали в церковь, мне же хотелось побыть одному; настроенный по-церковному благостно, я вышел в сад. В природе царили покой, священная тишина. Я не ощущал страха перед тем, что мог принести мне следующий год, но и не возлагал на него особых надежд. Это новогоднее утро было в моей жизни, пожалуй, первым, когда у меня вовсе не возникало никакого ребяческого стремления загадать желание. И все-таки тяжелей, как ночной кошмар, год уже лежал позади.

Нас всех пригласили на обед в соседнее поместье Эспе, но я, извинившись, остался дома. И именно в этот момент одиночества на меня снизошло вдохновение. Оно вылилось в целое драматическое сочинение «Когда здесь были испанцы» — романтическую комедию в трех актах. Когда к вечеру обитатели дома вернулись домой, я уже смог рассказать им содержание пьесы сцена за сценой.

Моя мысль снова приобрела упругость, желание творить опять пробудилось, и на душе стало заметно легче. Первое действие нового произведения я закончил, еще находясь в Баснесе, а два следующих написал вскоре по возвращении в Копенгаген. Я поставил перед собой задачу: герой пьесы, молодой испанец, должен был оставаться за сценой, я не мог заставить его говорить, как все другие персонажи,

по-датски; зрители слышали лишь раздававшиеся из-за кулис испанские песни или шелканье кастаньет, но, хотя зримо на сцене герой не показывался, все обаяние и благородство его личности должны были доходить до зрителей, которые, затаив дыхание, следили бы за перипетиями его любви, бегством и преодолеваемыми опасностями, уверенные в том, что рано или поздно — через год и один день — влюбленные встретятся и обретут свое счастье.

Пьесу я отдал в Королевский театр, тогдашний директор которого статский советник Кранольд горячо и живо заинтересовался ею. Один из моих друзей, профессор Хёдт, имевший большое влияние на театральные дела, также мне немало поспособствовал. Наступил вечер премьеры. В зале не было ни одного свободного места, но с первой же минуты в нем воцарились такая тяжелая тишина и всеобщее оцепенение, что я чувствовал себя, как на похоронах. Игра молодой талантливой актрисы фрёкен Ланге, исполнявшей роль романтической влюбленной, против обыкновения, никакого отклика не нашла. Фру Сёдринг, всегдашняя любимица публики, создала из роли старой придворной дамы йомфру Хагенау маленький шедевр, однако должную оценку он получил гораздо позже, а не на премьере; ныне эту ее роль относят к числу незабываемых. Ястрау превосходно исполнил испанские романсы, но и его, пением своим обычно срывававшего восторженные аплодисменты, на этот раз оставили без оных. Когда занавес опустили, аплодисменты смешались со свистом и шиканьем.

Последующие представления шли с безоговорочным успехом; актеров расхваливали всюю, и среди них — несравненную фру Сёдринг. Публика зачастую смахивает на сырые дрова — сразу зажечь ее нелегко. Хотя вина за это может, разумеется, лежать и на драматурге. Мне, лицу заинтересованному, конечно, трудно судить, но опыт показывает, что большинство моих пьес строже всего оценивалось именно на премьерах.

Опера «Ворон», первое произведение, которое Хартманн написал для сцены, не ставилась в театре в течение многих лет, хотя отдельные партии из нее, исполнявшиеся в Музыкальном обществе, пользовались неизменным шумным успехом. Мы с Хартманном договорились переработать оперу — решение, которое любители музыки приняли с радостью. Публика не оценила по достоинству итальянских масок Гоцци, которые я сохранил в либретто, поэтому я дал персонажам

другие имена и иное облачение, переписал часть первого действия и очень многое изменил во втором, то есть переделал пьесу так, как хотелось Хартманну.

В течение очень долгого времени я совсем не писал сказок, происходившие события слишком отвлекали меня. Но теперь, как только я переехал за город, в мой любимый Баснес с его лесной свежестью и просторным побережьем, я тотчас же написал «Блуждающие огоньки в городе», в которых объяснил причину того, почему в течение столь долгого времени ни одна сказка не стучалась в мои двери, ведь снаружи за ними бушевала война, а внутри царили скорбь и уныние, которые эта война принесла с собой. В качестве декораций для действия сказки я взял Баснес: всякий, кто посещал поместье, сразу же узнает широкие аллеи его парка и старый памятник, который когда-то стоял в Скельскёре над покоившимися под ним городским советником и его шестью женами.

И еще одна сказка появилась у меня сама собой через несколько недель, когда я гостил в роскошном, окруженном могучим лесом поместье Фрийсенборг. После моего последнего приезда сюда в нем побывал враг, но теперь в дом снова вернулся покойный и уютный порядок; ныне в нем жили не только в новом крыле здания, но и в старой его части. Здесь, в этом удобно устроенном жилище, в его цветущем саду, в гостях у сердечных хозяев и в атмосфере счастья, которое могут только доставить благосостояние, соединенное с благодушием, незаметно пролетело еще несколько недель, в течение которых я написал сказки «Сокровище» и «В детской».

Летние вылазки на природу в конце концов привели меня на Зеландию, к друзьям в Кристинелунде, где я написал сказку «Как буря перевесила вывески». Чернила еще не высохли на ее рукописи, как я уже читал сказку семье хозяев, но, как только я закончил чтение, на нас налетел яростный порыв ветра, поднявший тучи пыли и обрывавший листву с деревьев. Вслед за этим разразилась сильнейшая буря: сама природа, казалось, взялась расцветить только что написанную мною сказку событиями реальной жизни. Когда я через несколько дней уезжал из Кристинелунда, у дороги лежали вырванные с корнем огромные деревья. И в самом деле, такая буря вполне могла перевесить вывески. Говорят, что поэты опережают свое время. Мне, во всяком случае, удалось опередить бурю.



Скоро я снова оказался в Копенгагене, в моих маленьких уютных комнатках, среди любимых картин, книг и цветов. Хозяйкой моего дома была превосходная, практичная и весьма образованная женщина; у нее я прожил восемнадцать лет и совсем не помышлял о том, чтобы отсюда съезжать, однако случилось так, что я оказался к этому ближе, чем предполагал. Как раз в те дни я получил письмо от моего португальского друга, датского консула в Лиссабоне, Георга О'Нила, который вместе со своим братом воспитывался в Дании в семье адмирала Вульфа, дом которого я посещал ежедневно. Мы с Георгом О'Нилом в последнее время часто переписывались; он пригласил меня приехать к нему посмотреть его прекрасную родину и пожить у него и его брата, наслаждаясь всем тем, что он мог мне предложить. Я искренне хотел отправиться к нему, хотел пообщаться с друзьями детства, однако воспоминания о неудобствах, которые мне в свое время пришлось пережить во время путешествия по Испании, заставляли все-таки колебаться.

И вот как-то утром моя милейшая хозяйка приходит ко мне в весьма хмуром расположении духа и сообщает, что нам придется расстаться, и при этом не позже через месяц. Ее сын сдал выпускной экзамен, а она обещала ему, что, как только это свершится, отдаст в его распоряжение более просторную комнату, чем у него была прежде; кроме того, она обещала ему, что возьмет на полный пансион человека помоложе меня, почему ей и понадобились мои комнаты. Мне, естественно, это было вовсе не по душе. Я провел в доме этих добрых людей восемнадцать лет, кроме того, я жил, можно сказать, дверь в дверь с моим другом композитором Хартманном, которого видел ежедневно. Теперь все это должно было перемениться. Вместе с тем в случившемся я увидел едва ли не перст судьбы, указующий мне отправляться в путешествие, на что я в конце концов все-таки решился. Между тем в газетах сообщалось, что в Испании разразилась холера, которая мало-помалу проникает и в Португалию. Я сослался на эти новости в письме Георгу О'Нилу, и он ответил мне, что не намерен меня переубеждать, однако был бы все-таки очень рад, если бы я приехал и пробыл у него столько, сколько бы мне захотелось. Холера в Испании заканчивается, а в Португалии был отмечен лишь один-единственный ее случай.

Я решился ехать, но не сразу на юг. Следовало переждать некоторое время, и поэтому сначала я отправился в Стокгольм, где не был долгое время и где жили и здравствовали мои добрые друзья писа-

тельница Фредрика Бремер и поэт барон Бесков. Я выехал в один из прекрасных дней ранней осени. Когда немало лет назад я впервые посетил Стокгольм, мне пришлось добираться до него целую неделю дилижансом, теперь же в Швеции появилось железнодорожное сообщение. Какие перемены! И какая скорость! Наши дети и внуки уже живут в веке удобств, мы же, старики, пережившие резкую смену эпох, стоим, можно сказать, одной ногой в прошлом, а другой — в настоящем, но как раз это, по моему мнению, самое интересное!

Когда я приехал, Бесков был в загородном имении, фрёкен Бремер — тоже, но оба обещали очень скоро, в течение нескольких дней, приехать в Стокгольм; я же тем временем решил побывать в Упсале.

Я поехал туда не один; в одно со мной время в Стокгольме оказалась семья Энрикес, которых я в последние годы хорошо знал и с которыми общался достаточно тесно; в их компании я отправился в Упсалу. Здесь я вновь встретился со своим хорошим знакомым писателем Бёттигером, женатым на дочери Тегнера Дисе, автором многих превосходных песен на музыку Линдблада, известных благодаря исполнению Йенни Линд в музыкальных кругах Европы. Я снова свиделся также с графом Гамильтоном и его обаятельнейшей женой, дочерью поэта Гейера. Гамильтон к этому времени стал губернатором и жил теперь в древнем, расположенном в романтической местности замке.

Кроме них, я повидал в Упсале композитора Юсефсона, в буквальном смысле слова крестника Йенни Линд; его песни своей мелодичностью напоминают пение дроздов в березовых рощах Севера. Я посетил его на квартире — он жил в том самом доме, где некогда проживал несколько лет известный всему миру шведский естествоиспытатель Линней. Проведя здесь один чудесный, полный музыки вечер, я вернулся в гостиницу и уже улегся было спать, как вдруг услышал движение на улице напротив окон, а затем раздалась прекрасная песня. Это была настоящая серенада. Зная по опыту, как расположены ко мне шведские друзья, я выскочил из постели и из-за занавесок выглянул на улицу. Предназначалась ли серенада мне? Или, может быть, фру Энрикес? Поскольку лица поющих были обращены к окнам моих соседей то, стало быть, логично было предположить, что серенада исполняется для нее.

Я получил от упсальских студентов приглашение на устраиваемый в мою честь праздник. В тот же день я встретился с наиболее уважаемыми упсальскими старейшинами: ботаником Фрисом, архиеписко-

пом, поэтом Бёттигером, доцентом Ньюблумом и другими. После беседы с ними меня повели в зал, который студенты украсили флагами, преимущественно датскими. Здесь и состоялся студенческий праздник, в котором приняли участие сам губернатор, упомянутые старейшины и еще некоторые важные лица. Э.Бьёрк, сын епископа гётеборгского, поэт, обладавший незаурядным дарованием — увя, Господь уже прибрал его, — приветствовал меня, прочитав в мой адрес прекрасное, и, быть может, чрезмерно хвалебное стихотворение:

Да будет мир! Да сгинут ныне  
 Все злобы дня, вся суета.  
 Врата отверзлись благостыни,  
 Там — солнце, тишь и красота,  
 Сердца не стынут под снегами,  
 Молитв сомненье не мрачит,  
 Но вера детскими глазами  
 Там небеса и землю зрит.

Король явился! К нам явился,  
 Король детей и детских грез!  
 Смотрите, он не изменился,  
 Он вечно юн средь юных роз.  
 Его поэзия — невеста  
 От Бога — в лавровом венце  
 С ним рядом занимает место;  
 Невинность детская в лице.

Здесь сказочник-король! Пошире  
 Раздвинем круг для этих двух.  
 Здесь скальд великий! В этом мире  
 Кто не бросался во весь дух  
 Вслед за тобой, забыв уроки? —  
 Ты вел нас в сказочный широкий  
 Свой мир и услаждал наш слух.

А мы от школьных упражнений,  
 От скучных книг (их — пруд пруди)  
 Бежали в твой приют весенний  
 И что же зрели? Там в груди

Цветка, угадывалось, бьется  
Сердечко; жаворонок тож,  
Который в небе с песней вьется,  
Он был на ангела похож.

А вот старик: подслеповато  
Глядит на мир, но все ж не глух,  
И счастлив он, когда внучата  
Ему тебя читают вслух.  
У этой сказки смысл известный,  
Как из Евангелия стих:  
«Поскольку детям Град Небесный, —  
Сказал Он, — не гоните их».

Храни Господь твое искусство!  
Забьт Эдем и Рая свет,  
И вера детская и чувство  
Стираются, сошли на нет —  
Но вот: свое живое слово  
Ты, добрый скальд, в сей мир принес —  
Спасибо! И воскликнем снова:  
Будь здоров, король прекрасных грез!

Все наперебой произносили речи, пели песни, в зале царил живая и сердечная атмосфера. Я прочитал три мои сказки: «Мотылек», «Ель» и «Гадкий утенок», которые были встречены шумными аплодисментами. По окончании праздника студенты с пением проводили меня до дома. На небе сияли звезды, светила народившаяся луна, вечер выдался прелестный и тихий, на горизонте полыхали огни северного сияния.

Следующим вечером я вернулся в Стокгольм и нашел в своем гостиничном номере приглашение на обед к королю в его летний дворец Ульриксдал, расположенный в нескольких милях от Стокгольма среди лесов и скал.

Когда я приехал туда, чуть ли не сразу же раздались громкие раскаты грома и хлынул проливной дождь, началась настоящая буря, заставившая меня искать убежище во дворце еще до того, как я успел осмотреть его живописные окрестности. Посидев немного в прекрасном огромном зале дворца, я вдруг увидел входящего в него некоего

господина. Он протянул мне руку и сказал: «Добро пожаловать!» Я ответил на рукопожатие и лишь тогда, когда заговорил в ответ, внезапно понял, что передо мной стоит сам король, поначалу я его не узнал. Его Величество сам провел меня по дворцу, показал его, а перед торжественным обедом представил королеве, имевшей несомненное внешнее сходство с благородной и, увы, ныне покойной великой герцогиней Веймарской, которая приходилась ей родственницей. Юная, еще не приведенная к первому причастию кронпринцесса Луиза вежливо протянула мне руку и поблагодарила за радость, которую доставило ей чтение моих сказок. Своей естественностью, рассудительностью и по-детски горячей искренностью она произвела на меня весьма благоприятное впечатление. Ныне она — невеста датского кронпринца Фредерика и со временем станет датской принцессой. Да хранит Господь эту благословенную пару и дарует ей радость и счастье!

Король, королева и вся их свита отнеслись ко мне сердечно и крайне доброжелательно. После обеда Его Величество провел меня в свою курительную комнату и оказал мне великую честь, подарив некоторые из своих сочинений. Вообще день, проведенный у моего венценосного покровителя, оказался для меня на редкость удачным и счастливым. Свои впечатления я сохранил в небольшом стихотворении, которое написал на экземпляре «Сказки мой жизни», подаренном королю при отъезде из Стокгольма:

Где арфу видел, прислоненную к трону,  
И Рюисдаля кисть — в руке короля,  
Которому Бог дал не только корону,  
Там скромную песнь оставлю и я.  
Лишь сердце слышал, забыв о престоле:  
Дворец Ульриксдаль не забуду, доколе  
В живых я — ведь память о нем  
«Сказку мою» озаряет огнем.

Через несколько дней мне пришло приглашение на аудиенцию и званый обед у вдовствующей королевы в Дроттнингхольме, где, кроме нее, жил еще принц Оскар с семьей. Я отправился туда на пароходе и был поражен роскошью дворца и его парками. При виде этого великолепия мне невольно вспоминалась вилла Альбани, расположенная неподалеку от Рима, хотя Дроттнингхольм, несомненно,

еще прекраснее: он стоит на побережье одного из заливов Меларена. Я не видел вдовствующую королеву после смерти короля Оскара; сколь много событий случилось в мире с тех пор! Она встретила меня, как прежде, радостно и оживленно, и мы долго беседовали. Королева была со мной весьма добра, сердечна и искренна. После обеда она распрощалась со мной, сказав напоследок, что оставляет в моем распоряжении экипаж, на котором я могу поехать домой, когда захочу, после чего вверила меня заботам одного из камергеров, поручив ему показать мне все дворцовые залы. Едва мы начали наш осмотр, как к нам присоединился принц Оскар, продемонстрировавший мне художественные коллекции, хранящиеся во дворце, а также собрание исторических ценностей. Когда мы все посмотрели, он провел меня в свой личный, закрытый для прочих сад, где играли его дети. Здесь он показал мне маленький дубок, рассказав, что помолвка с будущей «фру» состоялась на Рейне, а когда через год они вернулись на то же самое место, то увидели, что пробивавшийся здесь ранее росток превратился в черенок с распутившимися двумя листьями; они забрали его с собой в Швецию и высадили здесь, в саду. Дубок уже перерос меня. Когда я при расставании захотел сорвать листок с ближайшего дерева на память о посещении Дроттнингхольма, принц сам сорвал со своего дуба веточку и подарил ее мне.

За пределами дворца у самого озера растет на берегу старая ива. Когда Дроттнингхольм только начинал строиться, мать короля Карла XII взяла ее под свою защиту, поскольку множество прочих деревьев и кустов, растущих поблизости, были безжалостно выкорчеваны. По народному поверью, судьба дерева тесно сплелась с историей королевского рода. Во времена Карла Юхана старое дерево заболело и чуть было не погибло — соответственно тому, как пресекалась тогда прежняя шведская королевская династия. Но когда родился внук Карла Юхана, тогдашнего короля Швеции, старая ива снова зазеленела.

Я покидал гостеприимный Дроттнингхольм поздним вечером. Когда я садился в экипаж, ко мне подошел композитор Веннерберг, король шведской студенческой песни. Мы с ним разговорились. На прощание он долго пожимал мне руку — такие бурные проявления теплых чувств весьма характерны для шведских поэтов да и вообще для молодежи этой страны.

На следующий вечер, побывав на «частичке пролива» — так называют маленький островок под мостом, соединяющим два стокгольмских острова, Слотсхольмен и Нурдхольмен, — я встретился там с несколькими пожилыми и молодыми писателями и художниками. На встречу эту пришел и чрезвычайно одаренный, отличающийся огромным чувством юмора и жизнерадостностью Бланш, появление которого все собравшиеся приветствовали с большой радостью. Он сразу же направился ко мне. «Так вот ты каков, братец!» — воскликнул он и, просяя лицом, обнял меня и расцеловал. Я пишу об этом, потому что был немного шокирован таким обращением, которое, конечно же, меня обрадовало, хотя я и не помню, чтобы мы пили с этим господином на брудершафт. Как оказалось, этот обычай широко распространен в Швеции, и понять его можно. Когда здесь встречаются старые или молодые люди, близкие по духовному складу и интересам, они отбрасывают всякое чиновничество и обращаются друг к другу на «ты» — это помогает им высказываться более искренне и естественно; так, встретившись случайно на торжественном обеде или веселой вечеринке, они могут потом через много лет увидеться и общаться абсолютно запросто с твердой уверенностью, что уже прекрасно знают друг друга и даже выпили на брудершафт. Поэтому «тыканье» жизнелюбивого Бланша было с его стороны вполне естественным, и я, молча смирившись с этим, обращался к нему так же и чокался с ним своим бокалом. Увы, более этого не произойдет никогда; Бланш тоже относится к числу тех известных людей, что нас уже покинули. В 1868 году во время торжественного открытия памятника Карлу XII он неожиданно упал прямо посреди улицы и скончался.

Фрёкен Бремер все еще находилась в своем загородном поместье Аоста. Она приглашала меня поехать к ней туда и погостить подольше, но, поскольку это шло вразрез с моими планами, она вернулась в Стокгольм. Я не видел ее с тех самых пор, как она вместе с нашими американскими друзьями Маркусом Спрингом и его очаровательной женой Ребеккой посетила Данию. Мы говорили с ней о тяжелых временах, которые пережила Дания, и по щекам этой глубоко чувствующей, благородной женщины струились слезы. «Я навсегда останусь для вас, Андерсен, верной подругой», — сказала она, и ее изящная рука сжала мою — это было наше последнее рукопожатие. Незадолго до Рождества до меня дошло прискорбное

известие: Фредрика Бремер скончалась. Она простудилась в церкви, пришла домой и тихо и кротко заснула — навсегда. Так я потерял еще одного из самых преданных мне людей. И теперь берегу ее письма как сокровище, как память о ней.

В город вернулся и поэт барон Бесков; стремясь меня порадовать, он пригласил к себе несколько человек из числа избранных, с которыми я мог бы пообщаться у него дома. Вот его письмо, в нем изложена вся программа:

«Вторник 3 окт. 1865 г.

Дорогой друг!

Я искал тебя вчера, чтобы сообщить, кто придет завтра на наш небольшой обед, а именно: королевский библиотекарь Рюдквист (наш Якоб Гримм), королевский антиквар Хильдебранд (наш Томсен), королевский архивист Бровалиус (наш Вегенер), поэты “Талис Квалис” Страндберг (переводчик Байрона), К.Г.Страндберг (переводчик Анакреона), Сандер (тебе уже лично знакомый) и Дальгрэн (автор одного нашего национального водевиля, выдержавшего уже 130 представлений, он же переводчик Кальдерона и других авторов). Как видишь, круг небольшой, зато избранный. Так что приходи завтра к четырем часам.

Твой старый друг  
Бесков».

Действительно, обед удался на славу, за столом царили веселье и сердечность.

Впрочем, те же самые чувства я испытывал здесь повсеместно; так, в частности я с удовольствием возобновил старые знакомства с комедиографом Хедбергом и актером Юлином.

Наступил день отъезда.

Я не был в Лунде, университетском городе Швеции, более двадцати пяти лет. В 1840 году меня здесь впервые чествовали как поэта. Я помню, как явились ко мне студенты с факелами и произносили в мой адрес приветственные речи, я уже описывал все это в «Сказке мой жизни», рассказывал, как я был взволнован тогда. Мне подумалось, что, по-видимому, по прошествии такого долгого времени не стоило бы приезжать сюда снова, повторение подобного праздника — невозможно. С тех пор минуло двадцать пять лет; мне предсто-



яла встреча с совершенно новым, чуждым для меня поколением. Но дорога домой проходила так близко от этих мест, и, кроме того, мне хотелось задержаться в этом приятном для меня городе хоть на день, посетить его старейший собор, осмотреть новое здание Студенческого сообщества, которого я еще не видел. Мои uppsальские друзья дали мне несколько рекомендательных писем к здешним профессорам, когда услышали, что в Лунде у меня нет никого из знакомых.

Осенний лес вдоль железной дороги играл яркими красками: желтизной берез, темной зеленью елей, красной киноварью кленов. Пейзаж разнообразили встречавшиеся на пути деревянные дома с черными крышами и белыми печными трубами, скалы и валуны, а также величественные, задумчивые озера. К вечеру я приехал в Лунд; я не знал в этом городе никого и считал, что меня здесь тоже никто не знает. Отыскав гостиницу, я, усталый от проделанного пути, лег спать рано. Скоро до меня донеслась песня; это несколько студентов праздновали в гостинице отъезд своего товарища. Пели они красиво, вскоре песня зазвучала у самых моих дверей; молодые люди знали, что я приехал, но, когда им сказали, что я лег отдыхать, сразу же удалились.

У меня было рекомендательное письмо к профессору Лингрелю; у него в кругу его друзей и коллег я и отобедал. Как раз во время обеда там меня застало приглашение от студентов, которые торопливо украшали зал своего сообщества для того, чтобы организовать мне торжественную встречу, столь же веселую и искрометную, как до этого устроили для меня их собратия в Упсале.

В семь вечера профессор Лингрел ввел меня в зал, выглядевший весьма торжественно. На стенах красовались гербы различных шведских провинций, над каждым из которых установили шведский и датский флаги. Над кафедрой водрузили знамя, вышитое и подаренное лундским студентам копенгагенскими дамами, все помещение было заполнено студенческой молодежью и прочими представителями университета. После ужина последовала торжественная часть — меня приветствовал с кафедры председатель Студенческого общества. Я прекрасно помню смысл его хорошо составленной речи, хотя и позабыл те выражения, которые он употреблял: двадцать пять лет назад лундские студенты впервые приветствовали и чествовали меня, их симпатии с той поры не изменились, хотя теперь они исходят от дру-

того поколения — того, что выросло на моих сочинениях, послуживших им настоящей духовной пищей, вот почему они благодарят и любят меня вдвойне.

Потом зазвучали песни, молодой поэт Вандель прочитал написанное в мою честь стихотворение, и я отблагодарил его, прочитав три сказки: «Мотылек», «Счастливое семейство» и «Сушья правда».

Каждую сказку встречали взрывы восторга и звонкие аплодисменты; после этого спели множество самых разных датских и шведских песен, и в зале возникла непринужденная, сердечная и по-юношески бодрая обстановка; я буду хранить в своих воспоминаниях эту встречу как один из самых счастливых вечеров в моей жизни. В гостиницу меня провожала вся эта многочисленная толпа. Рука об руку под громкие песни процессия двинулась от здания студенческого общества, миновала церковь, остановилась на миг у памятника Тегнеру и по тихим безлюдным улицам с песней прошествовала до самого отеля. Когда я был уже в дверях, в мою честь прозвучало девятикратное ура. Довольный и глубоко тронутый, я поблагодарил студентов и как бы вознесся, пусть и вполне смиренно, в свою маленькую комнатку, но, едва войдя в нее, вдруг услышал пение, раздававшееся с улицы; мелодия была все та же, что звучала для меня двадцать пять лет назад в тот памятный для меня радостный вечер в Лунде. Дай Бог всем моим молодым друзьям испытать то же счастье, что посетило меня в этот вечер!

Как только я добрался до Копенгагена, я тут же поселился в гостинице — в самом деле, я ведь собирался в Португалию и здесь был как бы проездом! Однако морской путь в эту страну из Франции по Бискайскому заливу этой беспокойной штормовой осенью казался мне малопривлекательным. К тому же и в Испании было беспокойно, газеты сообщали о передвижениях войск Прима; они как раз двинулись к границе у Бадахоса, в точности по тому самому пути, который предстояло проделать мне, когда я сойду на берег. Я решил переждать некоторое время дома и посмотреть, как сложатся события.

Самое яркое воспоминание тех дней — это мое короткое, но оттого не менее значительное пребывание во дворце Фреденсборг. Меня повелел пригласить сам король. Во дворце мне отвели две комнаты и, как всегда, оказали самый радушный прием. Королевская семья хоте-

ла послушать последние написанные мною сказки. Я был свидетелем того, как росли все королевские дети, и всегда, с самого раннего возраста, они приветливо подавали мне руку. Невозможно знать королевскую семью и не полюбить от всего сердца царящую в ней атмосферу домашнего уюта, радушия и искренней простоты общения. Я читал свои сказки всем королевским детям. На этот раз присутствовали кронпринц Фредерик и его брат, ныне король Греции, принцессы Александра и Дагмар и самые младшие: принцесса Тюра и красавчик, маленький Вальдемар. Ему, как сказала королева, в этот вечер позволили дослушать сказки до конца и лечь спать на полчаса позже. На следующий день я нанес пару визитов милым моему сердцу людям. В глубине дворцового сада в одной из пристроек жил мой друг поэт Палудан-Мюллер. Он владеет датским языком столь же виртуозно, как Байрон английским, и превращает его в своих сочинениях в истинную музыку. Каждое новое произведение раскрывает перед нами его глубокую поэтическую натуру; «Адам Хомо», «Свадьба Дриады» и «Смерть Авеля» навсегда останутся книгами, вызывающими у читателя неподдельное восхищение. По складу своего характера Палудан-Мюллер отличается простодушием, открытостью и добротой, что сразу же вызывает к нему симпатию.

Во Фреденсборге я побывал в гостях у еще одной счастливой семьи — у моего друга, редкого мастера, настоящего гения в области балета Августа Бурнонвиля, вознесшего свой вид искусства на датской сцене настолько, что теперь его муза занимает в ряду прочих более распространенных муз самое достойное место. Бьгть может, в Париже более талантливые танцовщицы, более ослепительные декорации и виртуозные аранжировки, чем у нас, однако настоящий, проникнутый истинной поэзией балет, подобный созданному Бурнонвилем, вы нигде, кроме Копенгагена, не найдете. Всему сомну балетов, которые он нам подарил, свойственны красота, благородная чистота и истинно народное начало. Настоящий отец балета на датской сцене, Бурнонвиль по-отечески сердечно относится и к тем, кто воплощает в жизнь его гениальные идеи. Он обладает пламенной и в то же время крайне отзывчивой и теплой натурой. Каждого, кто перешагивает порог его уютного дома, поражает царящая в нем светлая, солнечная атмосфера.

Итак, я наблюдал счастливый домашний мирок королевской семьи, побывал в исполненных теплых солнечных лучей гостиных

двух моих друзей, Палудана-Мюллера и Бурнонвила. Последнему я и посвятил свои новые сказки, которые читал в семье короля. Бурнонвил прижал меня к своей груди и выразил свою глубочайшую благодарность в характерных для него чрезвычайно теплых выражениях. Как часто именно эта теплота, которой были проникнуты его письма и речи, утешала и ободряла меня в часы, когда под влиянием холодного приема, оказанного моим сочинениям, я погружался в тоску или уныние.

В Копенгагене я все еще был в положении путешественника, так и не знающего, куда направить ему свои стопы. В Париже свирепствовала холера, и никаких сведений о санитарной обстановке и политическом положении в Испании я тоже не получал. Тем не менее я все равно решил отправиться в путь в самом начале нового года. События сами определяют мой маршрут и решат за меня, насколько далеко на юг я заеду. Рождество и первые дни нового года я провел в Гольштейнборге и Баснесе. Там я и получил письмо из Португалии с вложенными в него благоухающими фиалками: Георг О'Нил посылал их мне как вестниц весны, которая поджидала меня в Лиссабоне.

1866

«Все-то вам не сидится на месте, — говорят мне друзья и знакомые. — Все бы вам ездить, и даже когда вы в Дании, дома вас застать невозможно. Интересно, когда вы успеваете писать?» Я, однако, устроен так, что как раз в людской сутолоке или под влиянием быстро меняющихся впечатлений нахожу покой и душевный отдых, необходимые мне для творчества. И все-таки, несмотря на то что у меня есть много верных и настоящих друзей, я — птица одинокая. Вся моя натура стремится к обустроенному семейному распорядку жизни, и поскольку, будь то на родине или за границей, ко мне всегда почему-то относятся как к члену семьи, я везде чувствую себя как дома и в отличие от большинства путешественников никогда не страдаю от беспокойства или болезненной ностальгии. Хотя, конечно же, самое родное для меня место — это Дания; неспроста даже в Копенгагене я всегда выбираю себе жилище, откуда открывается вид на Божье небо, привольное водное пространство или хотя бы на широкую площадь.

В Амстердаме живут двое моих соотечественников, весьма милые и зажиточные люди — братья Брандт. От каждого я получил отдельное любезное письмо с приглашением остановиться у старшего из братьев, если я надумаю посетить их город. Я был в Голландии лишь один раз, в 1847 году, когда впервые направлялся в Англию, помню, с каким радушием и теплотой приняли меня голландцы — особенно в Гааге. В мою честь устроили настоящий праздник. К сожалению, один из первых голландцев, с которыми я тогда познакомился, издатель газеты «Время» ван дер Флит, ко времени, которое я сейчас описываю, уже умер, но я помнил еще несколько дорогих имен, людей в высшей степени предупредительных и приятных: поэта Леннепа, прекрасного композитора Ферхюлста, писателя Кнеппелхаута и превосходного актера-трагика Петерса. И вот мне предоставился случай еще раз повидать их, как следует и более обстоятельно познакомиться со всеми достопримечательностями, которые предлагает путешественнику Амстердам, да к тому же еще погреться у дружеского домашнего очага.

Я отбыл из Копенгагена вечерним поездом в последний день января. Было по-зимнему холодно, хотя лед еще не сковал реки и море. Необходимой одеждой для путешествия я, как мне показалось, запасся вполне, хотя одному из моих друзей так не показалось. Он явился ко мне ранним утром с целой охапкой сапог на меху и разложил их прямо на полу. Отобрав самую большую и лучшую пару, он вручил мне ее как прощальный букет. Мелкий штрих, но подобных ему я мог бы припомнить немало: друзья всегда проявляли ко мне внимание и заботу. По тону высказываемых мне слов участия и поддержки, по готовности оказать мне услугу я всегда мог точно определить, насколько данный человек является мне другом и какое место я занимаю в его сердце среди прочих близких ему людей.

Я быстро миновал Корсёр, Фюн и оба герцогства. В Хадерслеве хозяйничали прусские войска, что немало меня огорчило и расстроило. Поздно вечером, когда я вышел из вагона на вокзале Альтоны, ко мне подошел пожилой господин с маленькой девочкой. Посмотрев на меня, он сказал девочке по-немецки: «Пожми руку этому человеку! Это — тот сам Андерсен, что написал такие красивые сказки». С этими словами он улыбнулся, ребенок протянул мне руку, а я потрепал девочку по щеке. Это небольшое событие вернуло мне доброе расположение духа.

На следующий день я приехал в Сель, где не бывал со времени моего первого путешествия в 1831 году. Я хотел посетить могилу несчастной королевы Матильды и замок, в котором она провела последние годы жизни. Во «Французском парке» ей поставлен довольно невзрачный мраморный памятник, над которым сооружен навес для защиты от снега, — все вместе это смотрится, как уродливый барак. В одной из комнат замка вывешен большой портрет королевы Матильды, сильно отличающийся от тех, что я видел раньше в Дании. Здешний более красив, а чертами лица королева на нем похожа на Фредерика VI.

Через Ганновер и Вестфальские ворота я помчался на поезде в сторону Рейна и голландской границы. К вечеру разразилась непогода, завывла буря и стало темно; почти все лампы в вагоне погасли, и внутри и снаружи поезда царил непроглядная тьма. Я подумал тогда: добром это не кончится. Мы неслись вперед, словно подгоняемые бурей, а когда прибыли наконец на вокзал у Рейна, он тоже оказался обжат непроницаемой темнотой, словно фонари здесь тоже задуло. Нас встретил какой-то человек с фонарем, составлявшим единственное освещение, и повел нас во тьму. Пробираясь чуть не на ощупь вперед и перешагивая через рельсы, мы постоянно оглядывались, опасаясь поезда, который мог бы наехать на нас спереди или сзади. Я добрался до рекомендованной мне гостиницы, оказавшейся весьма непривлекательной: в высшей степени неопрятные и затхлые комнаты, ленивая прислуга, черный и кислый хлеб. Казалось, меня перенесло в далекое прошлое — я снова попал в маленький провинциальный город, куда заехал, совершая свое путешествие, тридцать лет назад. Многие называют то прошлое эпохой романтики, я же предпочитаю время удобств, наше время.

На следующий день, будучи уже в Голландии, я делил купе с одним господином, голландцем, на груди которого красовался орден. Из разговора он понял, что я — датчанин. «Вам предоставится возможность увидеть в Амстердаме вашего знаменитого соотечественника, — сказал он. — Там сейчас гостит поэт Андерсен». Я выразил по этому поводу сомнение, а чуть позже сказал ему, что я и есть Андерсен. С поезда я сошел в Утрехте, где жил переводчик моих произведений г-н Нийвенхёйс. Его жена — урожденная датчанка, да и сам он, как я думаю, судя по фамилии, по происхождению датчанин, ведь

фамилия Нийвенхёйс — это перевод на голландский датской фамилии Нюгорд. Встретили меня весьма радушно, и в этом доме я обнаружил много вещей, напомнивших мне о родине, в частности, ряд портретов, на которых были изображены датчане, и среди них — Ингеманн. Нийвенхёйс познакомил меня с голландским писателем Непвё, хорошо понимавшим датский язык и переведшим несколько моих сказок, автором нескольких романов. Датский язык знали и даже говорили на нем профессор Херворден и его жена. В нескольких книжных лавках я обнаружил переводы моих произведений на голландский язык и даже выставленный в витрине мой портрет. Вот почему сразу же по приезде в Голландию я почувствовал себя здесь, как дома. Почти одновременно со мной в город приехал поэт тен Кате, он поселился в той же гостинице, что и я, но мы не были знакомы друг с другом лично. Кате приехал для публичного чтения отрывков из своей последней поэмы «Творение» и рано утром на следующий день уехал в Амстердам. Этот высокочтимый на родине писатель выступает, как Диккенс в Англии, с чтением своих произведений перед слушателями, причем делает это превосходно.

На вокзале в Амстердаме меня встретили братья Брандт, тут же препроводившие меня в дом старшего из них — большое и красивое здание с садом и растущими снаружи вдоль канала деревьями. Располагалось оно в Херенграхте, на улице Гуйденстрот, в привилегированной части города. Люди, которых я видел впервые в жизни, приняли меня как родного. Хозяйка дома и ее сын прекрасно говорили по-датски, а весьма энергичный глава семьи проявил ко мне столько внимания и заботы, что вскоре я почувствовал себя совершенно непринужденно, как если бы оказался в компании давних друзей. В отличие от Дании, здесь, как в Шотландии и Англии, между хозяевами и слугами царили патриархальные отношения. Утром и вечером все обитатели дома собирались на чтение отрывка из Библии, которое заканчивалось пением псалма. Это настраивало на серьезный лад и мне нравилось. В доме часто собирались гости, вечера проводились за музицированием, пением или чтением вслух. Оказалось, кстати, что датский язык здесь понимают гораздо больше людей, чем я мог бы предполагать. Почти каждый вечер я читал вслух несколько моих сказок или историй. Когда круг слушателей расширился, их читали в английском, французском или немецком переводах. Кроме того, старший из брать-

ев Брандт великолепно переводил сказки тут же с листа на голландский язык по датскому изданию, которое у него было.

Сразу же по приезде я получил приглашение из Городского театра. Три самых знаменитых его актера, и среди них замечательный актер-трагик г-н Петерс, предложили мне бесплатные билеты на любое место по моему выбору на все время пребывания в Амстердаме. Я знал кое-кого в городе по своему предыдущему приезду и собирался посетить их. Кроме того, город заслуживал более подробного с ним знакомства. На этот раз я был здесь не проездом и собирался провести в столице несколько недель.

Амстердам не является резиденцией короля, он — просто главный город страны, самый крупный и обжитой, своего рода северная Венеция, построенный на сваях в воде и грязи. Достопочтенный ученый Эразм Роттердамский метко описал его следующей фразой: «Я знаю город, чьи обитатели живут на деревьях, в точности как вороны». Немало амбаров с зерном исчезло здесь только по той причине, что земля не выдержала их тяжести; многие дома стоят, опасно накренившись, словно их поддерживают только соседние с ними здания. Как и Венецию, город прорезает целая сеть каналов, но здесь они расположены веерообразно и с обеих сторон граничат с улицами, по которым катятся повозки. Главная улица Амстердама извивается узкой полоской до площади, где на свайном основании возвышается городская ратуша и расположена биржа, украшенная колоннадой в греческом стиле. Что в этом городе мне показалось более всего непривычным, так это странная одежда, в которой ходят здесь питомцы сиротских приютов. Возможно, неприятное впечатление появляется оттого, что в Дании так одевают только приговоренных к каторжным работам преступников. Одежда у бедных сирот Амстердама — мальчиков и девочек — с одной стороны красная, а с другой — черная.

Я посетил несколько школ для бедных и послушал пение их учеников, познакомился с еврейским кварталом, художественными собраниями и — что было для меня более всего ново и чрезвычайно интересно — с зоологическим садом. Летом в нем играет музыка, а теперь же слышны лишь звуки, издаваемые животными. Особенно старались кричавшие изо всех сил попугаи и какаду, а одна черная птичка, научившаяся произносить несколько голландских слов, без усталости повторяла их. В зоосаде зрителям показывали самых разных зверей: волков,



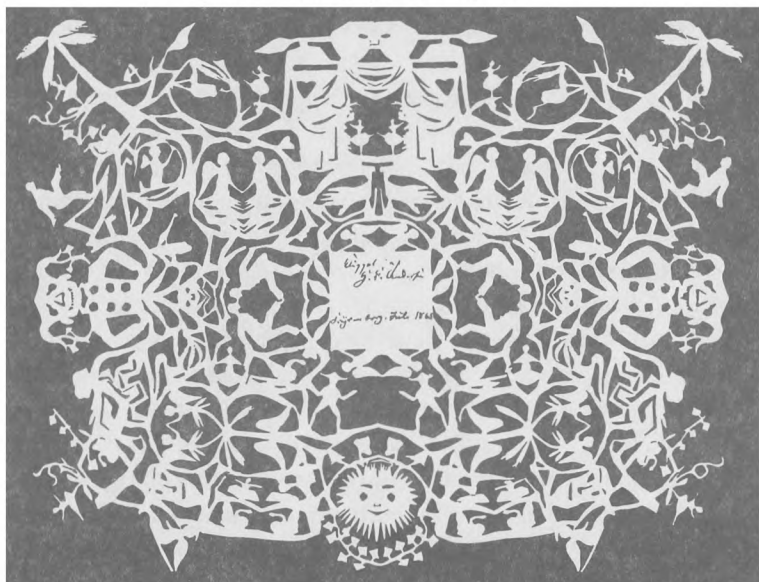
медведей, тигров и гиен. Видел я также царя зверей — льва и слона — прекрасного в своем первобытном безобразии; вслед нам плевались ламы, а орлы провожали нас по-человечьи мудрыми взглядами; в пруду зоосада плавали черные лебеди, а выбравшийся на берег тюлень грелся на солнышке. Но самым интересным и новым для меня оказался вид парочки нильских гиппопотамов, самца и самки в специально отрытом для них глубоком бассейне. Несколько раз, всплывая, они поднимали над водой свои чудовищные головы и разевали мощные пасти. Самка недавно родила детеныша, и смотритель зоосада зорко наблюдал за ней все то время, что она вынашивала его, чтобы сразу же после родов отделить новорожденного от родителей, иначе его мог бы убить отец. Малышу соорудили его собственное жилище, точно такое же, как у родителей. Когда я подошел к вольеру, он нырнул под воду, но служителю удалось выманить его наружу. Маленький гиппопотам оказался величиной с упитанного теленка, с сонными косящими глазами и красновато-желтой кожей, похожей на рыбу, лишенную чешуи. Будущее его уже было предопределено, его продали в зоологический сад Кёльна.

Дни в Амстердаме пролетели в одно мгновение. Я многое в нем посмотрел, посетил многих знакомых. Мой друг высокочтимый писатель ван Леннеп сильно постарел. Волосы у него приобрели серебристый цвет, как у Торвальдсена, и он с юмором говорил, что лицом теперь похож на Вольтера. В момент, когда я его посетил, он работал над большим романом «Плеяды».

Композитор Ферхюлст, с которым я вновь здесь встретился, приветствовал меня с большой теплотой. Первый же его вопрос был о нашем общем знакомом Нильсе Гаде; из всех современных композиторов мой хозяин ценил его наиболее высоко. И он показал мне, как основательно знает его музыку. Ферхюлст очень сожалел о том, что у Голландии в отличие от Дании не было своей национальной оперы. На следующей неделе в городе должен был состояться большой концерт, и Ферхюлст обещал, что хотя на двух последних подобных концертах уже исполнялись произведения Гаде, в предстоящем я все же услышу одну из его композиций.

Наступил обещанный вечер, и я пришел на концерт, где сыграли одну из симфоний Гаде, встреченную бурными аплодисментами. Многие из публики оглядывались на меня, словно желая сказать:

*Иллюстрации Х.К.Андерсена*



Персонажи сказок

Пьеро

«Расскажите на родине, как высоко мы ценим искусство вашего соотечественника!» Меня окружала многочисленная и элегантно одетая публика, но, что мне бросилось в глаза, я не увидел среди нее ни одного лица с характерными чертами того народа, представители которого создали в наше время самые замечательные музыкальные произведения, народа, который подарил человечеству Мендельсона, Халеви и Мейербера. Я не увидел в зале ни одного еврея и высказал по этому поводу свое удивление, еще более возросшее, когда мне ответили — как хотелось бы мне ослышаться! — что сюда их пускать не принято. Из этого и еще из нескольких случаев у меня сложилось и укрепилось мнение, что в здешнем обществе между людьми существуют резкие различия, определяемые разницей в состояниях, положении в обществе, во взглядах и религии.

У нас в Дании выдающихся деятелей искусства, как женщин, так и мужчин, можно встретить в самом высшем свете и лучшем обществе, в Амстердаме же дела обстоят не так. Я высказал свою точку зрения и заметил вскользь о своем желании познакомиться с одним названным мной лицом, на что получил ответ, что это — против всех здешних обычаев и традиций. Что ж, тогда это — дурные обычаи и традиции.

Городской театр Амстердама, спектакли которого я посещал, почти каждый день играл пьесу на голландском языке, а раз в неделю в его помещении давала спектакли труппа Королевского театра из Гааги, выступавшая с французской оперой и балетом. В репертуар труппы входили мейерберовская «Африканка» и балет «Лесная лань». Оперные спектакли располагали превосходным составом артистов, а вот балет по общей композиции и красоте исполнения намного уступал датской сцене. Я видел в этом театре также несколько трагедий, в частности, «Орлеанскую деву» Шиллера. Заглавную роль в спектакле весьма осмысленно и эффектно исполняла примадонна театра г-жа Кляйне-Хартманн, но еще больший интерес у меня вызвала ее игра в спектакле «Дама из Ворденбурга». Героиня пьесы показана в ней на трех различных этапах жизненного пути. Сначала перед нами — энергичная и мужественная владелица замка, возглавляющая его защиту от врага, затем она показана как зрелая женщина и, наконец, как пожилая матрона, остро переживающая во времена кризиса традиционных связей и взглядов женитьбу своего внука, протестанта,

на дочери простого ремесленника. Героиня принимает новобрачных в рыцарском зале, чтобы благословить их, и ее рука спокойно ложится на чело внука, но в момент, когда она поднимает ее над головой невесты-простолоудинки, старую женщину покидают последние силы и она умирает. Пьеса выразительно и трогательно рисует картину давно ушедшей эпохи. Я следил за ходом действия, прислушиваясь к объяснениям моих друзей, и особенно восторгался великолепной игрой фру Кляйне-Хартманн. Позже мне приходилось слышать, что все это лишь подражание игре Ристори в «Элизабет». Не знаю, может быть. Даже если это — подражание, в спектакле «Дама из Ворденбурга» оно смотрится поистине гениально. Я видел спектакль два раза. Нет никакого сомнения, что для голландской сцены пьеса эта имеет первостатейное значение, что же касается ее возможного успеха за пределами страны, у меня остаются серьезные сомнения, ведь в Голландии пьесу ставили с особой старательностью и любовью, хоть мне и не понравилось, что в антрактах оркестр играл танцевальную музыку. К тому же на галерке собралась весьма шумливая и беспокойная публика, все время криками заказывавшая музыкальные номера и даже свистевшая, вложив пальцы в рот. Обычай пить чай в лоджах и партере во время спектакля показался мне тоже странным. Хотя, конечно же, у каждой страны свои обычаи и порядки.

В мои предыдущие посещения Голландии я не виделся с тен Кате, возможно, самым выдающимся поэтом этой страны. На этот раз мы встретились, познакомились и стали друзьями. Его зять, купец ван Хенгель, несколько лет назад вместе с женой посетил Данию; они навестили меня тогда и передали привет от своего родственника поэта. На этот раз сам поэт приветствовал меня за столом в доме своего зятя. Здесь собралось большое общество, в котором многие понимали датский. Тен Кате провозгласил тост в мою честь, а затем и в честь моего отечества, которое после перенесенных тяжелых испытаний ожидали теперь, по его мнению, годы расцвета. Он произнес свою речь так горячо и искренне, что на глазах у меня выступили слезы. Поблагодарив его, я прочитал на датском языке две мои сказки — «Прекраснейшая роза мира» и «Мотылек», очень точно и с большим поэтическим чувством переведенные на голландский язык самим же тен Кате и включенные в собрание его сочинений. Поэт тут же на месте сочинил в мою честь стихотворный экспромт на голландском, и я

ответил ему тем же на датском, используя избранный им размер стихосложения. В доме царила живая и сердечная атмосфера; все небольшие его комнаты были празднично украшены. На столе появился большой торт, в центре которого возвышалась символическая фигура Фортуны. Одной рукой Фортуна держала датский флаг с написанным на нем моим именем, другой — голландский, с именем тен Кате. Я по сей день храню голландский флаг на память об этой встрече, а тен Кате хранит датский. И еще — весь огромный торт украшали маленькие изящные фигурки аистов, моей любимой птицы.

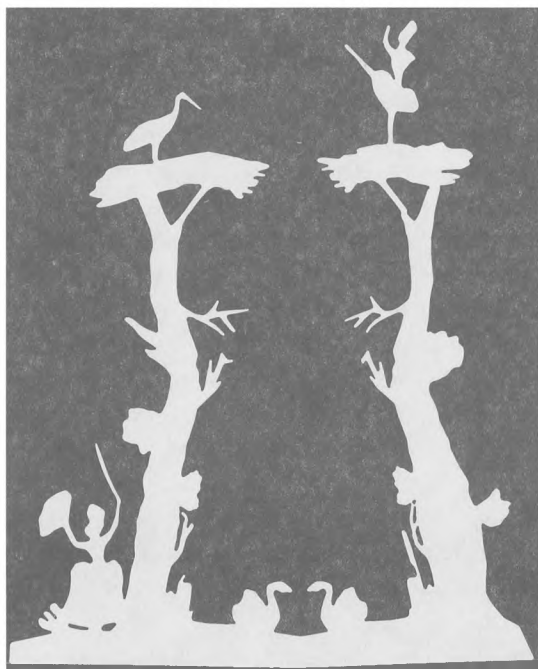
Подобный же праздничный вечер в мою честь устроил наш датский консул Вольдсен. Тен Кате произнес на нем превосходную речь, в которой передал мне привет от всех голландских детей, и затем прочитал свое стихотворное переложение моей сказки «Ангел». Мне же по просьбам собравшихся пришлось по памяти пересказать сказку «Свинопас».

Однажды вечером в моих комнатах в доме Брандта собралось довольно многочисленное, хотя и избранное общество. В этом собрании я впервые услышал, как высокоуважаемый мною поэт ван Леннеп с поистине юношеским пылом и большим артистизмом прочитал поэму Билдердейка, великого и всеми почитаемого в Голландии поэта.

Я провел в гостеприимном доме Брандта пять благодатных недель. Но вот наступил день отъезда. Пока что, правда, я отправлялся недалеко, всего лишь в Лейден, где меня уже ожидали знакомые. Тепло пригревало солнышко, на полях еще лежал тонкий слой снега, но уже на последней перед Лейденом станции снег растаял, и с этой поры весна полностью вступила в свои права, заставив забыть о снеге и холоде.

На вокзале в Лейдене меня встречал друг, писатель Кнеппельхоут, который поселил меня в своем хорошо и со вкусом обставленном доме. Здесь мне предстояло провести несколько дней. Любезная хозяйка сразу же пригласила нас за обеденный стол, за которым уже собрались большая часть профессуры Лейденского университета с женами. Тосты произносились на датском, английском и французском языках. На память об этой встрече Кнеппельхоут раздал всем присутствующим по печатному экземпляру своей большой сказки «Ласточки и пивяки». На этом обеде я встретился со своим старым другом профессором Шлегелем и познакомился с известным астрономом

*Иллюстрации Х.К.Андерсена*



Аист и танцовщица

Ангелы под пальмой

Кайсером, великолепную обсерваторию которого я потом посетил; во время этого визита я хотел посмотреть на солнечные пятна, что мне, однако, не удалось из-за облачности.

В один из солнечных дней мы с Кнеппельхоутом и его женой отправились в открытом экипаже к «Дюнам», месту, где новые и мощные шлюзы направляют воды Рейна в море; оказывается школьный курс географии вводил меня в заблуждение, утверждая, что «воды Рейна теряются и исчезают в песках». Наш путь пролегал через живописные деревеньки; на длинных клумбах по обеим сторонам дороги красовались цветущие крокусы, гиацинты и тюльпаны.

Подъехав к песчаным дюнам, мы высадились из экипажа и пошли далее по мягкому песку. Солнце палило нещадно, но жара чувствовалась только в защищенных от холодного ветра местах. Перед нами широко простиралось море, на горизонте которого виднелось одно-единственное судно. Наконец мы приблизились к великолепным шлюзам — строениям циклопических размеров, сооруженным уже в наше время. Ветер здесь стал совсем ледяным и даже швырял нам в лицо песок. В наш уютный лейденский дом мы вернулись лишь поздно вечером.

За встречами, какими бы радостными и теплыми они ни были, всегда следуют расставания; встречи и расставания — это, если можно так выразиться, живой пульс любого путешествия. В Гааге, куда я направился, всего через несколько дней я снова увиделся с моими любезными лейденскими хозяином и хозяйкой, как, впрочем, и со многими другими друзьями и знакомыми. Здесь я повстречал барона Билле-Брахе, которого знал еще со студенческих дней, ныне датского посланника, а также другого моего друга, родственника фрёкен Бремер и шведского посланника, барона Вреде. По дороге в Гаагу я сидел в одном купе с парой новобрачных. Они спросили, не я ли датский поэт Андерсен, и объяснили, что узнали меня по портрету, который видели в Амстердаме.

В гостинице «Oude Doelen»\*, где я останавливался в прошлый раз, меня узнали сразу и устроили как нельзя лучше.

Как все же это прекрасно — настоящее благословение Божие — путешествовать по миру, заезжать в большие города, где никто тебя

---

\*«Старая волынка» (нидерл.).

не узнает и где ты для всех совершенно чужой, и все-таки знать с полной определенностью, что у тебя и здесь есть друзья, пусть ты с ними не знаком и никогда не видел их, друзья, всегда готовые прийти на помощь, они не оставят тебя в чужом городе покинутым и одиноким. Я вскоре обжился в Гааге, почти как дома, познакомился здесь с массой интересных людей, а затем снова снялся с места и отправился на юг.

Из Гааги мой путь лежал вверх по реке к Роттердаму. Плавание получилось интересным и ярким. Очень скоро я прибыл в Антверпен, где еще никогда не был. В камине уютной гостиничной комнаты трещали дрова, в окна заглядывало теплое солнышко. Первым в городе я посетил знаменитого живописца Кейсера, директора Академии. Я встретился с ним в его ателье, и он принял меня, как старого знакомого. Кейсер показал мне работу, над которой трудился в тот момент; окончить ее он планировал через несколько лет. Это было колоссальных размеров панорамное полотно, которое должно было занять в музее целую стену. Художник собирался изобразить на нем всю историю фламандского искусства, включив в него более ста портретов в натуральную величину, а также несколько изображений небольших бюстов Платона, Гомера и Геродота, аллегорически воплощающих философию, поэзию и историю.

Он оказался настолько любезен, что сам показал мне свой музей, славящийся коллекциями лучших работ Рубенса, ван Дейка и других великих мастеров.

В Антверпене я снова поселился в гостеприимном датском доме у моего соотечественника купца Года и его супруги. В компании хозяйина я осмотрел почти весь город, его роскошные церкви и памятники. Особенно привлекло меня одно место, хранящее память о художнике, но то была не статуя Рубенсу или ван Дейку, а могильная плита, вмурованная в стену у входа в башню кафедрального собора. На ней изображен Квентин Массис, умерший в 1529 году. Имеющаяся здесь же надпись сообщает о нем: «In synen Tijd grofsmidt en daernaer fameus schilder»\*. За этими словами стоит целая романтическая история. Из любви к прекрасной дочери некоего живописца Квентин Массис оставил наковальню и молот, сменив их на палитру и кисть художни-

---

\* «В прошлом кузнец, затем — знаменитый художник» (нидерл.).



ка. Любовь переполняла, вела его, и, преуспев в искусстве и став признанным мастером, он обручился со своей юной невестой. Одна из его больших картин висит в музее на видном месте, а на вмурованной в стену плите видна латинская надпись: «Любовь превратила кузнеца в Аpellеса».

Через Брюссель я проследовал в Париж. Там в это время находился наш датский кронпринц Фредерик, живший в гостинице «Бристоль» на Вандомской площади. Он, казалось, успел очаровать весь Париж, повсюду только и разговоров было, какую любовь к себе умеет внушить Его Высочество. Он принял меня со своим обычным радушием, и первое же по прибытии воскресенье в Париже я провел с ним и его окружением. Принц пригласил меня сопровождать его на скачки в Венсене. Мы отправились в путь в час дня в трех экипажах, запряженных четверками лошадей, с форейторами. Мчась по бульвару, мы лихо оставляли позади все другие повозки. Когда мы приехали на ипподром, встречавший кронпринца императорский конюший повел его на трибуну императора, и мы, остальные, последовали за ним. К трибуне примыкало вместительное помещение с камином, мягкими стульями и диванами. Чуть позже сюда явился один из сыновей Мюрата, уже пожилой человек; он пришел со своим сыном. Из представителей императорской семьи они были здесь единственными. Внизу колыхалось море зрителей, взгляды всех были устремлены на нашу трибуну. Меня посетили радостные и в то же время серьезные размышления о превратностях судьбы, о моем бедном детстве, о маленьком домике в Оденсе — и теперешнем моем положении.

На обратном пути люди выстраивались вдоль дороги, чтобы взглянуть на кронпринца Дании. За обедом он вспомнил, что завтра, 2 апреля, день моего рождения, и провозгласил тост за новый год моей жизни, который начинается следующим утром.

Обычно, если я в этот день — в Дании, мои друзья и подруги стремятся сделать его для меня как можно более светлым праздничным, и в моей комнате будто по волшебству, сами собой вырастают целые горы цветов, книг и картин. На этот раз в чужой стране, как думалось мне, день моего рождения будет совсем другим, необычно тихим. Однако этого не случилось. Ранним утром из Копенгагена прибыли поздравительные письма и телеграмма от семьи Коллинов. Помыслы дорогих моему сердцу людей были со мной, и чуть позже

в этот же день меня удостоил своим визитом сам кронпринц Дании. Обедал я у консула Каллона в обществе еще нескольких моих соотечественников.

Когда я позже, вечером вернулся в гостиницу, я застал в ней соотечественника, который вернулся в Париж после поездки на родину и ждал меня с букетом цветов от фру Мельхиор из Копенгагена. Я обрадовался, как ребенок, хотя в этот момент, что нередко со мной бывает, мне внезапно пришла в голову мысль о том, что на мою долю выпадает все-таки слишком много счастья. Когда-нибудь удача меня покинет, все обернется к худшему и настанут времена испытаний. Как-то я тогда перенесу их? Есть все же нечто устрашающее в том, что судьба так часто возносит тебя на вершину блаженства.

Здесь, в Париже, я впервые услышал Кристину Нильсон; она пела партию Марты. В восторге от ее драматического дарования, я с упоением внимал переливам ее прелестного голоса и не замедлил нанести певице визит. Оказалось, что мы с ней не были вовсе уж незнакомыми. Я рассказал ей, что, прочитав в газетах о ее первых выступлениях и том успехе, который выпал на долю молодой шведской девушки, от рождения бедной и в то же время столь богатой талантами, я сразу же написал своим парижским друзьям, чтобы они обязательно упомянули в ее присутствии мое имя и сообщили, что по приезду в Париж мне непременно хотелось бы ее повидать. На это певица — уже лично мне — ответила, что мы в любом случае старые знакомые. Она присутствовала как-то раз при чтении мною сказок в одной норвежской семье, которую, находясь в Париже, я посетил вместе с Бьёрнстьерне Бьёрнсоном; тогда нас и познакомили, представив ее мне как юную шведскую девушку, собирающуюся поступить на сцену. Тогда же я подарил ей маленький декупаж. Только тут в моей памяти внезапно всплыла картина какого-то общества в Париже, где я после обеда читал свои сочинения и вырезал ножницами фигурки из бумаги; я вспомнил, как разговаривал с какой-то молодой дамой, готовившейся выступить в опере, правда, о чем именно, я впоследствии забыл напрочь, так что даже на этот раз не вспомнил ее по внешнему виду. И вот теперь я стоял перед этой замечательной певицей, которая так приветливо со мной беседовала. Она подарила мне свой портрет, написав на нем по-французски несколько признательных и любезных слов.

Одно из врученных мне перед поездкой рекомендательных писем привело меня в Париже к композитору Россини, которого я ранее не видел и не знал. Проявив изрядную долю вежливости, он сказал мне, что мое имя прекрасно ему известно и в рекомендательных письмах я не нуждаюсь. Мы поговорили о датской музыке. Россини знал Гаде, но только по имени, а вот с Сибони (старшим) был знаком лично. Композитор тут же попросил меня перевести ему объявление из австрийской газеты, извещавшее о концерте в пользу сбора средств на возведение памятника Моцарту; на концерте должны были исполнять две новые вещи, написанные Россини. Во время нашего разговора к композитору пришел еще один посетитель, итальянский *principe\**, которому он представил меня как *poeta tedesco\*\**. Я тут же поправил его, вставив слово «*danese*»\*\*\*, на что Россини, удивленно взглянув на меня, заметил: «Да, но ведь Дания входит в Германию». Незнакомец немедленно вмешался в наш спор и объяснил ему: «Эти две страны только что вели друг с другом войну». Услыхав это, Россини смущенно улыбнулся и попросил простить ему незнание географии.

8 апреля, день рождения датского короля, я праздновал у моей соотечественницы, фру виконтессы Роборедо, дочери покойного датского морского министра Сартманна. На пути в ее дом я получил наглядный урок, как важно в таком большом и густо населенном городе, как Париж, идти именно по той стороне улицы, которая вам нужна. Место, до которого я добирался, было расположено слева от Ворот Звезды. Я направился к нему пешком от площади Согласия, выйдя за час до назначенного времени, чтобы посмотреть на гуляющую по Елисейским полям толпу. Толпа становилась все многочисленнее, а по широкой улице в несколько рядов ехали, возвращаясь с прогулки в Булонском лесу, множество элегантных экипажей. Количество их росло с каждой минутой, и, добравшись уже до самых Ворот, я вдруг понял, что, не рискуя попасть под лошадь, перейти здесь улицу не смогу. Я искал место для перехода в течение целого часа. Некоторые из прохожих отваживались на риск и перебежали улицу, однако последовать их примеру я не посмел. Дом, к которо-

---

\* Князь (*итал.*).

\*\* Немецкий поэт (*итал.*).

\*\*\* «Датский» (*итал.*).

му я стремился, стоял как раз напротив, но пройти к нему не было никакой возможности. Я уже опаздывал, когда наконец судьба, безмерно балующая меня, сжалилась, явившись передо мной в образе тяжело груженной повозки, которую тянула шестерка лошадей. Повозка медленно и размеренно переезжала через дорогу, рассекая поток обтекавших ее экипажей, как настоящий волнорез, так что я под ее защитой в полной безопасности переправился-таки через улицу к нужному мне дому. Потом, когда мы сидели за празднично накрытым столом, внезапно разразилась сильнейшая гроза, и молнии на небе засверкали настолько ярко, что свечи в доме на фоне их вспышек как бы разом гасли. Париж представлял собой в эти минуты грандиозное зрелище: он то погружался во тьму, то сиял, будто залитый ярчайшим солнечным светом. Между тем вечер подходил к концу, а дождь все лил как из ведра, и достать экипаж не представлялось возможности. Непогода не прекратилась и за полночь. «Все omnibusы переполнены, а экипажи заняты», — доложил слуга. Мне предложили расположиться в гостевой комнате, но я считал, что смогу добыть себе экипаж. Перебежав через площадь, я прошел далее по широкой аллее, но так и не нашел ни экипажа, ни места в omnibusе. Под проливным дождем, промокший до нитки, я добрался до своей гостиницы только к половине третьего ночи. Я словно прошел к ней по дну Сены.

Как раз в это время мой выдающийся соотечественник художник Лоренс Фрёлых, известный не только на родине, но и во Франции, начал работать над иллюстрациями к моим последним «Сказкам и историям». Я познакомился с его уютным домом, с его милейшей женой и прелестной маленькой дочкой, оригиналом, с которого ее отец рисовал Бебе — героиню из книжки с картинками, которую знала вся Франция. За столом в их доме я встретился с поэтом Саважем, собиравшимся воплотить в форме драмы идею моей сказки «Калоши счастья», показав всем ложность всеобщего заблуждения, будто старое время гораздо лучше нового. Он показал мне письмо, которое получил от Жюля Сандо, в котором, в частности, говорилось: «Тебе повезло, что ты обедаешь с Андерсеном. Его произведения исполнены прелестной поэзии; для литературы он — все равно что Гайдн для музыки. Я в восторге от всего им написанного, и в первую очередь от “Русалочки”».

Перед отъездом из Парижа меня ожидала еще одна радость и, более того, почесть. Я получил из Вены пожалованный мне мексиканским императором Максимилианом орден Божьей Матери Гваделупской. В присланном вместе с орденом почетном дипломе значилось, что я награжден им за мои поэтические заслуги. Благородный и богато одаренный, на долю которого впоследствии выпало столько несчастий, император вспомнил обо мне, он хотел своей наградой меня порадовать. Я тоже помнил состоявшийся много лет назад вечер, когда я в императорском дворце в Вене, находясь в гостях у его матери, вдовствующей герцогини Софии, читал некоторые мои сказки; собрание это посетили два молодых человека, тут же живо и заинтересованно разговаривавших со мной. Одним из них и был принц Максимилиан, другим — его брат, нынешний император Австрии.

Тринадцатого апреля я выехал из Парижа и во второй половине дня прибыл в Тур. На всем пути весна приветствовала меня цветом плодовых деревьев, а когда на следующий день я приехал в Бордо, тамошний ботанический сад поразил мое воображение своей пышностью и богатством красок. Все деревья — северного ли происхождения или южного — оделись в свои лучшие наряды, цветы благоухали, и сотни золотых рыбок переливались всеми цветами радуги, плескаясь в специально оборудованных для них каналах. Я снова увиделся со своими соотечественниками и французскими друзьями, из которых двое, литератор Жорж Аме и музыкант Эрнст Редон, принимали меня с особенным радушием и вниманием. Я провел у них несколько приятных вечеров: Редон играл некоторые из произведений Шумана, а Аме читал на французском многие мои сказки и всю «Книгу картин без картинок». Один из присутствовавших, молодой француз, растрогался до того, что слезы потекли по его щекам. Он даже испугал меня, когда внезапно схватил меня за руку и поцеловал ее.

Жорж Аме устроил мне приглашение к генерал-губернатору Дюма, который ранее долго жил в Африке и писал оттуда интересные статьи в журнал «Ревю де Дё Монд» об Алжире и арабах. Генерал горячо и с уважением отозвался о мужестве датских солдат, и его слова тепло ложились мне на сердце, как бывает, когда при тебе хвалят твоих родных. Он пригласил меня в свою ложу в Опере, и я побывал в ней несколько раз, с удовольствием воспользовавшись доброжелательностью этого человека.



Ханс Кристиан Андерсен.  
*Портрет работы К.Блока*

Пароход отправляется из Бордо в Лиссабон всего раз месяц и всегда в один и тот же день — двадцать пятого. Я заблаговременно извещил О'Нила, что приеду этим рейсом двадцать восьмого апреля.

Между тем на море стояла штормовая погода. Я знал, что плавание по Бискайскому заливу в таких условиях не шутка, однако и путь посуху, через Испанию, где в то время происходили волнения — пусть и иного рода, также не сулил ничего хорошего, поскольку железную дорогу до португальской границы в Испании в то время еще не довели. И тут я услышал, что в Бордо приехала Ристори и что в первых своих спектаклях здесь она будет играть Медеу и Марию Стюарт. Я уже ранее описывал, как увлекла она меня в Лондоне своей игрой, приведя чуть ли не в экстаз своим исполнением роли леди Макбет. Я чувствовал, что просто обязан еще раз полюбоваться ее игрой, и потому решил задержаться в Бордо еще на несколько дней, отказавшись от морского пути. Ристори не обманула моих ожиданий, в роли Медеи она была так же великолепна, как и в роли леди Макбет.

При отъезде из Франции я получил от ученого-фольклориста Мишеля, знакомого моих знаменитых соотечественников Брэндстеда и Финна Магнуссена, книжку его французских переводов баскских народных песен, которую я теперь, проезжая по Стране басков, мог тщательно изучить. Поезд тронулся, туннель следовал за туннелем, и только в промежутках между ними из окна купе открывалась пустынная и малолюдная местность, лишь кое-где виднелись заброшенные хутора да чернели небольшие селения. Мы миновали Бургос и приехали наконец в Мадрид...

Во время моего первого посещения город мне мало понравился, и еще в меньшей степени — в этот раз. В Мадриде я чувствовал себя одиноким и каким-то странно неприкаянным. Правительство страны подавило революционные выступления, однако они в любой момент могли вспыхнуть снова. Так оно и случилось через несколько недель после того, как я приехал в Лиссабон: в телеграммах, приходивших из Испании, говорилось о кровавых уличных столкновениях.

Мне не терпелось уехать из Мадрида, однако железнодорожное сообщение до португальской границы еще не открыли, и, чтобы получить место в охраняемом дилижансе, пришлось ждать пять долгих дней.

Наконец третьего мая мой отъезд все-таки состоялся. Единственным моим попутчиком в этой поездке оказался молодой врач из Лиссабона; он немного говорил по-французски и в течение всего пути относился ко мне в высшей степени любезно и предупредительно. Мы ехали ночью при полной ясной луне по деревенской местности, по дороге тут и там внезапно возникали какие-то печальные руины; все это настраивало на романтический лад. В ранний утренний час мы переправились через реку Тахо, а во второй половине дня наш путь с обеих сторон обступили красивые зеленые рощи. Мы миновали их к вечеру, когда въехали в горы, где в деревне Трухильо, на родине Писарро, решили остановиться на обед. В гостиницах, однако, ни на что иное, кроме шоколада, рассчитывать не приходилось, и поэтому мы заранее запаслись вином и продуктами, так что никакого недостатка не ощущали. Иначе обстояло дело с ночным отдыхом. Дилижанс нещадно трясло, он подпрыгивал на камнях и, шатаясь, нырял в глубокие выбоины. К рассвету мы доехали до Мерида, откуда путешествие можно было продолжить по железной дороге. Мой спутник поводил меня по закоулкам и узким улочкам города, показывая руины, оставшиеся от римской эпохи, но к этому времени я устал настолько, что едва ковылял за ним, равнодушно и с неохотой взирая сонным взглядом на древние камни города. Гораздо больший энтузиазм вызвали у меня пыхтение паровоза и вырывающиеся из его трубы клубы дыма. Впрочем, ехали мы недолго и скоро оказались в довольно приличном испанском приграничном городке под названием Бадахос.

Мы нашли в нем неплохую гостиницу, и поданный нам безупречный обед восстановил мои силы, так что через несколько часов отдыха мы смогли возобновить нашу поездку и к утру добрались до Лиссабона.

Переехать из Испании в Португалию — все равно что перенестись из Средневековья в современность. Вдоль дороги замелькали чистые, с белеными стенами домики и огороженные лесные участки. На больших станциях подавали прохладительные напитки, а ночью мы спокойно наслаждались сном и отдыхом в удобном купе.

В Лиссабон мы прибыли на рассвете. Мой заботливый спутник тут же раздобыл для меня экипаж, подробно растолковав кучеру, что меня следовало доставить к гостинице «Дюран», напротив которой располагалась контора фирмы «Толадес О'Нил». Все как будто



устраивалось наилучшим образом. Но только до того момента, когда я добрался до указанной гостиницы. Все комнаты в ней оказались занятыми, тогда как в конторе О'Нила никого не было, а сам он с семьей находился в это время в нескольких милях от Лиссабона, в своем загородном доме «Пиньерос». Дело в том, что я приехал в воскресенье, а этот день недели все стремились проводить за городом. Поэтому, преодолевая усталость, я постарался как можно скорее добыть экипаж, после чего сразу же отправился в путь. Загородный дом моего друга находился на одном из холмов в долине Алькантара, у большого акведука «Аркос дос аквас ливрес».

Друг моего детства, его жена и сыновья встретили меня с распростертыми объятиями. Меня ждали с французским пароходом и ездили встречать его в порт. Кстати, все датские суда, стоявшие тогда в устье Тежу, подняли, приветствуя меня, Даннеброг.

В саду О'Нилов пышно цвели обильно произрастающие в нем розы и герани, а плющ и страстоцвет стелились по стенам и изгородям, напоминаящим пышные ковры. Белые венчики бузины и красные цветки гранатов, соединяясь, образовывали цвета национального датского флага, а поля, покрытые красными маками и синим цикорием, можно было бы принять за типично датские, если бы не обозначавшие границы участков кактусы и кипарисы. Почти каждую ночь я слышал завывания ветра, тоже ужасно похожие на наши осенние, но, как объясняли мне, «именно прохладные ветры, дующие с побережья, делают климат Португалии таким благодатным».

Я ранее читал об узких и грязных лиссабонских улочках, на которых одичавшие собаки грызут выброшенную им падаль, но в реальной жизни увидел светлый прекрасный город с домами, стены которых во многих местах блистали кафельной плиткой.

Один из наиболее крупных современных писателей Португалии — это Антонио Фелисиано де Кастильо. Он женат на датчанке Видале, родом из Хельсингёра. Таким образом, посетив их дом, куда привел меня в гости О'Нил, я оказался в одной компании и с моей соотечественницей, и с великим португальским писателем.

Кастильо родился в начале нашего века. На шестом году жизни он заболел оспой и лишился зрения, но его страсть к знаниям а также природный талант оказались так велики, что он очень скоро пол-

ностью овладел такими дисциплинами, как история и философия, и выучил латынь и греческий. В четырнадцать лет он уже писал на латыни стихи, вызывавшие настоящий восторг, за ними последовали стихотворения на родном языке. Впрочем, на какое-то время Кастильо оставил поэзию и полностью отдался изучению ботаники. Вместе со своим братом, служившим ему глазами, он путешествовал по окрестностям Коимбры и изучал красоту природы, которую воспел потом в стихотворении «Весна». В Коимбре он написал также пастораль «Эхо и Нарцисс», которая имела шумный успех. В то время в монастыре монахинь-бенедиктинок поблизости от Опорто воспитывалась одна молодая дама — Мария Изабелла де Буэна-Коимбра; некоторое время, уже после того как образование ее было закончено, она еще оставалась в монастыре. Мария Изабелла много читала, и среди прочего — «Эхо и Нарцисс». Не называя своего имени, она написала автору следующие слова: «Если бы существовало Эхо, ты бы тогда подражал Нарциссу?» Так между Кастильо и молодой незнакомкой началась переписка. Через некоторое время он попросил ее открыть ему свое имя, и его просьба была удовлетворена, переписка продолжалась, и в 1834 году они обручились и обвенчались. Через три года Мария Изабеллой умерла. Стихотворение, которое он написал в память о покойной жене, считается ныне одним из лучших творений в португальской литературе.

При содействии своей нынешней жены Кастильо перевел на португальский язык несколько стихотворений с датского, главным образом Багтесена, Эленшлегера и Бойе.

В доме Кастильо меня встретили как старого знакомого и друга. Пожилой поэт, который скоро стал дорог моему сердцу, говорил весьма живо да и вообще был бодр, как молодой человек; он работал в то время над переводом Вергилия. Его сын, также писатель, помогал своему слепому отцу. Дочери его — обладательнице роскошных глаз, вмещавших в себя, казалось, весь жар южного солнца, — я написал стихотворный экспромт о яркой звезде, которую прежде мог видеть лишь ночью, а теперь — только намного более яркую — увидел при свете дня.

Скоро Кастильо и вся его семья порадовали меня своим ответным визитом в усадьбу «Пиньерос». Я получил потом от поэта несколько

писем, которые он диктовал по-французски, собственноручно их подписывая. Я писал ему свои письма по-датски, на что он как-то отозвался: «Мы с вами общаемся, как Пирам с Фисбой, а стена, соединяющая нас, — это моя жена».

Я провел в «Пиньерос» несколько недель и чувствовал себя в кругу моих португальских друзей, как дома. Фру О'Нил рассказала мне много интересного из воспоминаний своего детства об эпохе дона Мигуэля; старший сын, Георг, отличавшийся музыкальным талантом, много читал и интересовался природой; младший, Артур, красивый и жизнерадостный мальчик, любил физические упражнения и верховую езду; они оба скоро подружились со мной. Их отец, друг моего детства, возглавлявший торговый дом «Толадес О'Нил» и заодно служивший консулом Дании и еще нескольких стран, весь день проводил в конторе. По вечерам, однако, он возвращался домой жизнерадостным и всегда веселым; мы много говорили с ним по-датски и вспоминали наши былые денечки дома, в Дании. Он часто снимал со стены гитару и пел красивым и звучным голосом. Я очень привязался к нему! В моих глазах он был истинным соотечественником, больше того — братом.

Так, в общении с его семьей, прошел целый месяц. Но мне предстояло увидеть еще более пышную и прекрасную часть этой страны. На своей изумительной красоты вилле «Бонегос» в Сетубале нас ждал Карлос О'Нил. Вместе со мной к нему поехал и Георг О'Нил с женой и сыновьями. Мы поднялись на пароходе вверх по широкой Тежу и проследовали далее по железной дороге до самого Сетубала, живописно раскинувшегося между апельсиновыми рощами и горами, выходящими к океану.

Экипаж Карлоса О'Нила, присланный за нами на железнодорожный вокзал, отвез нас на его виллу. Мы ехали по старой главной дороге, соединявшей Лиссабон с югом страны. Дорога была типично испанская: узкая, на ширину повозки, в одних местах и широкая, в четыре повозки, в других, с колеей, то поднимавшейся на каменистой земле, то глубоко и надолго нырявшей в песок; дорогу окаймляли густые заросли алоэ. Вот перед нами впереди выросла похожая на старинные руины крепость Палмелла, чуть ближе под тенистыми деревьями стоял пустынный и одинокий монастырь Бранканаш. Как раз рядом с ним находилась вила Карлоса О'Нила. Наконеч

я вступил в этот процветающий и поистине благословенный дом. Какой вид открывался с моего балкона! Прямо под ним прелестная пальма отбрасывала тень на бьющий снизу фонтан. Ниже примыкающий к дому сад спускался террасами, каждая из которых имела свою расцветку. Перцевые деревья, точно плакучие ивы, склонились над просторными бассейнами, где между водяными лилиями сновали золотые рыбки; далее внизу располагалась апельсиновая роща, и еще ниже на ступень — виноградник. Из окна я видел весь Сетубал, бухту со стоящими в ней судами и белые дюны у кромки голубого океана. Вечер после жарких солнечных дней дарил нам благодатную тень и прохладу. Когда же на город опускалась тьма, наверху над нами ярко сверкали звезды, а чуть ниже над деревьями и кустами сновали бесчисленные светляки.

Я попал в гости к чрезвычайно любезным и добрым людям, оказывавшим мне всевозможные знаки уважения и внимания. Их сын, Карлос, юноша с серыми глазами и черной как смоль шевелурой, стал мне верным проводником и спутником во время прогулок в горы, куда мы отправлялись верхом, он — на коне, а я — на осле. У этого юноши была единственная сестра, которую Господь прибрал всего несколько месяцев назад. Ей, сокровищу и любимице всей семьи, было всего четырнадцать лет. Потеря ее словно погасила солнце, сиявшее прежде в доме ее родителей.

Жизнь в усадьбе, таким образом, протекала тихо, хотя лично мне она казалась весьма разнообразной и занимательной. Мы с молодым Карлосом ездили по рощам, где в полном цвету стояли апельсиновые и гранатовые деревья и роскошные магнолии, посетили несколько покинутых монастырей и с высоты крепости Палмелла наслаждались видом на необозримые леса пробковых деревьев, простирающиеся далее к Тежу, Лиссабону и горам Синтры. Вместе с родителями Карлоса мы совершили морскую прогулку под парусом в открытый океан с заходом в грот в горе Монте Аррабида и к засыпанному песками городу Троя, португальской Помпее. Этот древний город основали еще финикийцы, потом в нем жили римляне, которые добывали здесь соль тем же самым способом, каким добывают ее португальцы и по сей день, о чем свидетельствовали найденные большие сосуды. Песчаные дюны на побережье поросли кустами, чертополохом и другими растениями, достойными того, чтобы украсить ими

наши оранжереи. В том месте, где мы высадились на берег, нам попала большая груда аккуратно сложенных камней, которые служили балластом для кораблей, приходивших в бухту за солью. Здесь лежали камни из Дании, Швеции, России, Китая и многих других стран, об этом стоило бы написать отдельную сказку. Мы бродили по этой прибрежной песчаной пустыне, взбирались на дюны и снова спускались с них к океану. Ближайшим отсюда противоположным берегом был американский, на который, однако, я уже никогда не ступлю из-за развившейся у меня водобоязни. Мыслями своими, тем не менее, я там уже побывал.

Я посмотрел в Сетубале бой быков, более невинный и менее кровавый по сравнению с испанским. Мне удалось также побывать на народном празднике в честь святого Антония, проходившем при факельном освещении с шествиями и песнопениями.

Чудесный месяц, проведенный в прекрасном Сетубале, промелькнул как одно мгновение. Пребывание здесь и в имении «Пиньерос» заняло примерно половину того времени, что я отводил на все путешествие в Португалию. Если до отъезда домой я намеревался еще посетить Коимбру и Синтру, то мне следовало отправляться немедленно или же решиться на то, чтобы остаться в Португалии на зиму. Возвращаться домой через выжженную солнцем и беспокойную Испанию не казалось мне разумным, правильнее было бы отправиться на пароходе рейсом от Лиссабона до Бордо, но тогда мне следовало поторопиться, не дожидаясь периода бурь, который приходится на дни летнего равноденствия. Как еще сложится моя поездка домой из Франции? Какие масштабы могут принять военные действия в Германии? Возвращение вдруг представилось мне таким хлопотным, что я чуть было не смирился с мыслью зазимовать в Португалии. Однако переезжать от друзей в гостиницу у меня не было ни малейшей охоты, а оставаться еще на несколько месяцев у друзей... да, тут было самое время вспомнить старую пословицу: «Хорош гость, коли долго не сидит». В конце концов я все же решил еще раз отдаться на волю волн и тех превратностей, которые готовит нам всем, по-видимому, обезумевшая от воинственности эпоха. В середине августа из Лиссабона в Бордо отправлялся пароход, прибывающий в Португалию из Рио-де-Жанейро. Я мог успеть на него после посещения Коимбры и двухнедельного пребывания в прелестной Синтре.

Расставание с волшебным поместьем «Бонегос» и его любезными обитателями далось мне нелегко. Но в Лиссабон я отправился в сопровождении обоих Карлосов О'Нилов, старшего и младшего, а от туда направил свои стопы, опять же вместе с Георгом и Хосе О'Нилами, в расположенный в романтической местности университетский город Коимбра, построенный на склоне горы таким образом, что улицы его находятся одна над другой и некоторые дома стоят на три-четыре этажа выше других. Улочки города узкие и кривые, и перебираться от одной к другой приходится по высоким каменным ступенькам. Зато книжных лавок и прочих магазинов в Коимбре — великое множество, и, конечно же, я повсюду видел студентов в своего рода средневековых костюмах — мантиях, коротких плащах и широких обвислых «польских беретах». Я видел однажды, как веселая стайка молодежи с гитарами и ружьями через плечо отправлялась из старого города на природу, в лес и горы.

Обширное здание университета расположено в высшей точке города. Отсюда видны многочисленные сады с растущими там кипарисами, апельсиновыми и пробковыми деревьями. Глубоко внизу каменный мост ведет через реку Мондего к женскому монастырю Санта-Клара и «Приюту слез». Там же находится полуразрушенный замок, где убили несчастную Инес де Кастро и ее детей. До сих пор еще в саду замка журчит речей, у которого под высоким кипарисом часто сидела Инес со своим супругом доном Педро, кипарис по-прежнему отбрасывает тень на это место. Тут же на мраморной плите вырублены строки, которые Камюэнс посвятил Инес в одной из песен своих «Лузиад».

Во время моего пребывания в Коимбре в университете справляли праздник по поводу присуждения молодому ученому «шляпы доктора». Один из профессоров истории литературы родом из Шлезвига узнал, что я нахожусь в городе, и удостоил меня визита. Он же пригласил меня на упомянутый праздник и, воспользовавшись случаем, показал мне университетское здание, часовню, тронный зал и библиотеку.

Из Коимбры я, снова через Лиссабон, направился в Синтру, самую красивую и наиболее часто воспеваемую область Португалии. «Новым Раем» называл ее Байрон. «Здесь находится трон Весны», — писал о ней в своем стихотворении португалец Гаррет.

Путь в нее из Лиссабона проходит по пустынным и неплодородным землям. Но тем поразительнее вид вырастающей перед вами, словно волшебный сад Армиды, Синтры с ее могучими и тенистыми деревьями, журчащими водами и романтическими горами.

Справедливо говорят, что каждый народ находит здесь кусочек своей родины. Я, например, обнаружил в Синтре настоящую датскую лесную природу, клевер и незабудки. Мне показалось также, что я узнаю здесь прелестные уголки других стран: зеленые лужайки Англии и хаотично разбросанные глыбы Брокена, здесь я снова окунулся в сияющий всеми цветами радуги Сетубал и опять побывал на севере, в березовых рощах Лександа. Маленький городок со старым дворцом, где живет правящий ныне король, видно еще с дороги, проходящей по деревенской местности мимо лежащего вдали монастыря Маффра.

Летний дворец короля Фернандо, служивший в свое время монастырем, живописно располагается на самой вершине. Дорога на гору начинается между кактусов, каштанов и платанов и заканчивается среди берез и елей, извиваясь на своем пути меж разбросанных по склону, скатившихся сверху огромных каменных глыб. Отсюда, с высоты, открывается вид на горы по ту сторону Тежу и далее — на могучий океан.

В райской Синтре стоит загородный дом Хосе О'Нила, и он любезно пригласил меня погостить у него. У меня обнаружился здесь еще один друг, английский посланник Литтон, сын писателя Литтона Бульвера, я познакомился с ним, тоже превосходным писателем, еще в Копенгагене. Здесь, в Синтре, он радушно принял меня, и мы славно отпраздновали нашу встречу. Вместе с ним и его очаровательной женой мы осмотрели часть незабываемых местных достопримечательностей.

Мне выпало также счастье повстречать в Синтре и мою благородную соотечественницу фру виконтессу Роборедо, урожденную Сартманн, с которой я познакомился при отъезде из Парижа. Она представила меня семье графа Алмейда. Мне очень понравились эти добрые и любезные люди, среди которых я чувствовал себя своим, и расставание с ними, а также с моим дорогим Хосе далось мне трудно, однако следовало спешить, ведь сроки поджимали: через несколько дней пароход, отправлявшийся на Бордо, прибывал

в Лиссабон. Приходилось спешить. Штормовая погода на море, однако, задержала прибытие судна, и в Лиссабоне мне пришлось прождать его еще несколько дней. Кроме того, и перспектива отправиться в путь по бурному морю меня тоже не привлекала.

Ранним утром во вторник четырнадцатого августа меня известили, что в Лиссабон прибыл наконец пароход «Наварро». Это был огромный корабль, самый большой из всех, что мне доводилось видеть, настоящая плавающая гостиница. Георг О'Нил представил меня капитану и нескольким офицерам, рекомендовав самым лучшим образом. Он шутил и смеялся, на прощание пожал мне руку, а я был грустен: увидимся ли мы еще когда-нибудь?

И вот прозвучал сигнал, подняли якорь, сила пара взялась за дело, и скоро мы оказались в Атлантическом океане. Корабль сильно качало, волны становились все выше и выше. Буря стихла, но на море по-прежнему стояло волнение. Едва я сел за обеденный стол, как тут же поднялся, чтобы выбраться на свежий воздух, где и уселся, страдая от сильной качки, которая, как следовало ожидать, в Бискайском заливе должна была стать еще сильнее.

Скоро наступил вечер, на небе появились звезды, стало прохладнее. Я не смел спуститься в каюту и отправился в столовую, где посреди ночи оказался в полном одиночестве. Огни на судне погасили, я чувствовал разбивающиеся о карниз корабля волны. Слышал работу машины, удары нашего сигнального колокола и ответы на них. Я думал о мощи моря и мощи огня, воспоминания об ужасной смерти подружки моей юности Хенриетты Вульф по пути в Америку неожиданно встали передо мной в виде ужасной живой картины. Я уже лежал в постели, когда волна сотрясла в корабль с особенной силой, и он словно бы замер, затаив в себе паровое дыхание. Это состояние длилось всего мгновение, машина снова стала производить обычные звуки и движения, однако мысли о кораблекрушении уже полностью овладели мною, я уже представлял себе, как масса воды проламывает надо мной потолок и я тону, погружаясь все глубже и глубже, и гадаю, когда же наконец угаснет сознание и отступит страх смерти. Кошмар ожидания катастрофы все более мучил меня, высвобождая безудержную фантазию. Не в силах более выносить все это, я вскочил с кровати и ринулся на палубу, отвернул от релинга край паруса и выглянул за него. Какое роскошное зрелище, какое великолепие! Шапки



огромных волн рассыпались мириадами фосфоресцирующих искр, мы как будто скользили поверх моря пламени. Это зрелище настолько поразило меня, что страх смерти пропал. Угрожавшая мне опасность была не больше и не меньше той, что сопровождает человека в течение всей жизни. Однако теперь я о ней не думал, фантазия моя работала в ином направлении. Так ли уж важно для меня прожить еще несколько лет? Если моя смерть наступит сегодня ночью, во всяком случае, выглядеть на фоне величественной и волшебной картины она будет эффектно! Я долго стоял той звездной ночью на палубе, глядя на огромные катящиеся валы мирового океана, и отдыхать в салон пошел с душой легкой, обновленной радостным упованием на Господа.

Я хорошо выспался и отдохнул и, когда встал на следующее утро, приступов морской болезни больше не ощущал: вид перекачиваемых морских волн стал мне привычен, к тому же ближе к вечеру они стали намного меньше, а когда мы вошли в Бискайский залив, которого я раньше опасался больше всего, поверхность воды была неподвижна, без единой морщинки, как туго натянутое шелковое полотно. Мы двигались, словно по зеркальной глади озера или пруда. Я и вправду был баловнем судьбы — подобного плаванья я не смел представить себе даже в мечтах.

Наутро четвертого дня с тех пор, как я взошел на борт судна, мы увидели вдали возвышавшийся на скалах в устье Жиронды маяк. В Лиссабоне нам говорили, правда с некоторым сомнением, что в Бордо холера. Однако лоцман, взошедший к нам на борт, заверил, что санитарное состояние города удовлетворительно; новость приятная, первый своего рода дошедший к нам из Бордо привет.

Плавание по реке продолжалось несколько часов, и мы добрались до Бордо только в семь вечера. Слуга из гостиницы, где я уже останавливался, узнал меня; экипаж вскоре подали, и я помчался на встречу с моими дорогими друзьями.

Мы, включая меня, Редона, Амьё и еще нескольких друзей, как всегда, собирались у нашего замечательного и юного духом Аме. За музицированием, чтением стихов и оживленной беседой дни летели быстро. Однажды я гулял по узким улочкам с одним из соотечественников и у одного лавочника обнаружил французский перевод моей «Книги картин без картинок». Я спросил его, сколько она стоит. «Один франк», — ответил он. «Столько стоит новый эк-

земляр книги?» — спросил я. — Эта ведь — старая и зачитанная». — «Да, — подтвердил лавочник, — но новая книга давно распродана, она нарасхват, ведь ее написал Андерсен. Сейчас он в Испании. Вчера в газете “Жиронда” о нем и об этой книге напечатали очень хвалебную статью». Тут мой соотечественник не утерпел и сказал ему, что Андерсен — это я. Лавочник отвесил мне глубокий, почтительный поклон. То же сделала и его жена. Я, конечно, не торговался и заплатил за эту драгоценную книгу франк.

Друзья уговаривали меня остаться в Бордо и в Париж, где в то время была холера, не ехать. И я в Париж с удовольствием не поехал бы, если бы через него не лежал кратчайший путь домой. Правда, я задержался в городе только на сутки, остановившись в «Гранд-отеле», расположенном, как говорили, в самом безопасном в отношении санитарного состояния квартале города. В этот мой приезд я никого в Париже не посещал, не ходил в театр, а просто хорошенько отдохнул ночью в гостинице и на следующее же утро продолжил свой путь — пересек на поезде всю северную Францию; там, говорили, в некоторых городах тоже наблюдались случаи холеры. Далее я проследовал в Кёльн, где, по слухам, никакой холеры не было, хотя едва ли этим слухам можно было верить. Затем я отправился в Гамбург и, уверенный, что миновал область распространения болезни, спокойно провел здесь несколько дней: ходил в театры, веселился и общался со многими людьми до тех пор, пока вечером накануне отъезда не услышал известие, подтвержденное потом газетой, о том, что как раз в Гамбурге эпидемия холеры свирепствовала вовсю — каждый день от нее умирали сотни, в то время как в огромном Париже, из которого я так поспешно бежал, она уносила не более сорока человек в день. Новость эта, естественно, неприятно поразила меня, и за ужином я решил ограничиться диетической пищей, в результате чего у меня разболелся живот и я провел ночь крайне беспокойно. На следующее утро я стремительно миновал на поезде оба герцогства и во второй половине дня прибыл в родной Оденсе.

Первый визит я нанес моего благородному ученому другу епископу Энгельстофту, для которого, я всегда был самым желанным гостем. Мы вместе осмотрели милые моему сердцу места: дом, в котором я провел годы моего детства, церковь Св. Кнуда, где я принимал первое причастие и в церковной ограде которого находится могила моего

отца. Во второй половине дня меня провожала на вокзал большая компания друзей и знакомых. Затем я остановился в Сорё; своим посещением я хотел преподнести дорогой фру Ингеманн приятный сюрприз, однако, сойдя там на вокзале, я узнал, что она сама прибыла сюда всего за два часа до моего приезда — она ездила в Копенгаген, где ей, тугоухой и почти слепой старухе, сделали глазную операцию, после чего она, конечно же, устала и находилась в очень болезненном состоянии. Я решил не беспокоить ее и устроился на ночь в маленькой гостинице при железнодорожной станции. Здесь и в помине не было матрацев — только толстые теплые одеяла. Я сложил их стопкой на кровать, поверх пристроил набитый соломой тюфяк, накрыл все это сооружение своим дорожным пледом и проспал ночь сном младенца, после чего утром сел на поезд, направлявшийся в Роскилле, где решил навестить своего друга Хартманна и его жену.

На другой день я был в Копенгагене. Мое путешествие закончилось, теперь мне снова предстояло вращаться в местную почву, греться в лучах отечественного солнца, укрываться от здешнего, резкого и холодного ветра и приноравливаться в своем поведении к родному и знакомому вздору и, упаси Бог, не пытаться расправить крылья, кроме как, быть может, в сочиненной мною сказке, главное же — стараться изо всех сил соответствовать той мере Истины, Добра и Красоты, которой наградил родину Господь.

Верные друзья Мельхиоры встретили меня на вокзале и сразу же повезли в свой загородный дом, названный ими «Отдохновение». На входной двери красовалась выложенная из цветов надпись: «Добро пожаловать!», а на крыше развевался Даннеброг. С балкона моей комнаты я любовался видом на заполненный парусниками и пароходами Зунд. Наконец-то, снова увидел милых моему сердцу друзей и подруг. В течение нескольких последующих вечеров погода стояла такая теплая и тихая, что на столе, стоявшем в саду под большим деревом, свечи горели ровно, не колеблясь; не хватало только множества светячков, и я мог бы представить себе, что снова сижу в саду поместья «Бонегос». Здесь, в «Отдохновении», я пользовался всеми благами жизни, которые только могут доставить материальное благосостояние и сердечная теплота, то были поистине чудесные дни, конца которым, казалось, не будет никогда.

Среди интересных людей, с которыми я общался у Мельхиоров, отмечу одного молодого человека, гениальные способности которого вызывали у меня восхищение и восторг. Я говорю о живописце Карле Блоке, с которым я встречался несколько раз еще во время моей первой поездки в Рим. Тем не менее по достоинству я сумел оценить его только на родине — и не только его художественный талант, но и человеческие качества. По-настоящему мы подружились только в «Отдохновении», и свои новые сказки, вышедшие из печати к концу года, я посвятил ему.

В один из первых дней после возвращения меня пригласили в королевский дворец, где, как и прежде, я был принят весьма радушно и милостиво. В конце этой недели благородная и милейшая дочь нашего короля принцесса Дагмар покидала Данию, отправляясь в Россию, чтобы принять там титул великой княгини. Я снова, как и в первое мое посещение дома ее венценосных родителей, побеседовал с нею и, глубоко взволнованный этой встречей, вечером того же дня написал следующие строки:

Прощай, принцесса Дагмар! Удел твой велик и высок:  
В корону императрицы претворится невестин веночек.  
Бог солнцем да осияет тебя и твой новый дом!  
Пусть каждая слеза разлуки жемчужиной станет потом.

Я стоял в толпе провожавших принцессу на пристани, с которой она вместе с родителями должна была взойти на борт корабля. Заметив меня, она подошла и приветливо подала мне руку. Из глаз моих брызнули слезы, и я помолился за молодую княгиню от всего сердца. Она была счастлива; из одной благополучной семьи она переходила в другую, новую.

После возвращения я еще не виделся с фру Ингеманн и потому поспешил ее навестить. Она была счастлива, что вновь обрела способность видеть, но еще больше от того, что теперь уже в самом недалеком будущем в царстве духа узрит своего дорогого Ингеманна.

Из Сорё я поехал в Гольштейнборг. Однажды хозяйка поместья повела меня к несчастной девушке, больной подагрой, которая жила в опрятном домике у самой дороги и из окна почти ничего не видела, поскольку домик был очень низкий и дорожная насыпь закрывала обзор. Солнце никогда не заглядывало к ней, потому что единственное в доме

окошко выходило на север. Этот недостаток, однако, как посчитала хозяйка поместья, можно было исправить. И вот как-то раз она приказала отнести бедную девушку к себе и послала в ее дом каменщиков, которые пробили в стене отверстие и вставили окно, выходявшее на юг, так что в доме стал появляться солнечный свет. Теперь вернувшаяся в дом больная могла сидеть на солнце и смотреть из окна на лес и берег. Мир сразу же вырос для нее и стал прекрасным, хотя сделало его таким всего лишь одно слово доброй хозяйки. «Произнести это слово было так просто, да и то, что я сделала, — такая малость», — сказала она, когда я, отправившись вместе с ней к той девушке, с восторгом отозвался о ее поступке. Впрочем, на счету у доброй хозяйки было еще немало подобных дел. Этот случай лег в основу одной из трех историй, которые я объединил в сказке «Скрыто — не забыто».

После возвращения в Копенгаген я переехал в нынешнюю мою квартиру на площади Конгенс Нюторв. Возможно, моим друзьям и подругам, живущим за океаном, будет интересно узнать подробности, касающиеся моего копенгагенского жилища. Дом, где расположена квартира, стоит, как уже сказано, на площади Конгенс Нюторв. На первом этаже находится одно из наиболее посещаемых в городе кафе, на втором — небольшой ресторан, на третьем — клуб, а на четвертом, где расположена моя квартира, живет еще один врач, а над нами расположено фотоателье. Отсюда видно, что питание и напитки у меня, можно сказать, всегда под рукой, мне не приходится скучать без общества, я не умру без врачебной помощи а фотограф донесет мой образ до будущих поколений, — вот что значит уметь устраиваться! В моих комнатках — а их у меня только две — уютная обстановка, они солнечные и украшены картинами, книгами, статуэтками и, за что я особенно благодарю моих подруг, цветами и растениями. В Королевском театре и театре «Казино» за мной закреплено на каждый вечер удобное место; кроме того, представители всех сословий общества относятся ко мне хорошо и охотно общаются со мной в своем кругу.

1867

Однажды вечером в конце января в зале Студенческого общества, где до этого с публичным чтением моих сказок выступал только я сам, профессор Хёдт прочел для посетителей две из них — «Мотылек»

и «Счастливое семейство» — и имел чрезвычайный успех. Глубоко продуманное, исполненное юмора и драматизма чтение его оказало на слушателей большое воздействие. После выступления за дружеским столом профессор поднял тост за мое здоровье и сказал, что его дебют на сцене Студенческого общества состоялся намного раньше и в этом же зале: тогда он участвовал в постановке студенческой пьесы Х.К.Андерсена. Именно поэтому сегодня вечером по прошествии многих лет он снова решился выступить, выбрав для чтения сказку того же Андерсена, тоже члена Студенческого общества, ныне такого же юного и бодрого — да что там, еще более юного, чем при своем в него вступлении.

Мы тут же стали рыться в старых афишах Общества, и среди них обнаружили ту самую мою комедию «Мост Лангебро», которую, однако, не следует путать с моей поздней драмой «На мосту Лангебро». Первая написана в форме ревью, обзора всего, что происходило в течение года в Копенгагене в области литературы и искусства; она весьма напоминала подобные ей французские пьесы-ревью, жанр которых успешно ввел на датскую сцену Эрик Бёг, хотя к моменту написания пьесы никто у нас о существовании подобного жанра понятия не имел. Я тоже ничего о нем не знал, просто мне пришла в голову идея создать обрамление, в которое я мог бы вписать все наиболее выдающиеся явления и события в литературе и искусстве, которые волновали и занимали общество в минувшем году.

Профессор Хёдт был, как я уже упомянул, первым, если не считать меня самого, кто выступил с публичным чтением моих сказок в Студенческом обществе. Хотя задолго до этого в Королевском театре, театре «Казино» и других частных театрах их читали актеры. Первой, кто осмелился выступить с моими сказками, была одаренная актриса йомфру Йоргенсен, чей драматический талант отличался широтой и универсальностью: один вечер она увлекала публику исполнением трагической роли королевы Беры в трагедии Эленшлегера «Хагбард и Сигне», другой — от души веселила зрителей комическим исполнением роли учительницы йомфру Трумпмейер из хейбергских «Апрельских шуток».

Настоящий спектакль создал, прочитав со сцены сказку «Новое платье короля», самый замечательный мастер комедии и воде-

вила на датской сцене, истинный Протей сценического перевоплощения, режиссер и актер Фистер. Читал отдельные мои сказки в узком кругу слушателей, а также на гастролях в Швеции и Норвегии актер Нильсен, создатель образов Хакона Ярла и Макбета. С редкой задушевностью, естественностью и юмором выступал с моими сказками «Сушья правда», «Ворóтничок» и «Ханс Чурбан» наш незабвенный Микаэль Вихе, которому вторил с еще большим психологическим проникновением в душу ребенка самый замечательный актер театра «Казино» Кристиан Шмидт. В последнее время чаще всех содействовал распространению моих сказок актер Мантсиус; он придавал им особый, свойственный только его таланту оригинальный тон. И, наконец, совсем недавно вслух цитировал их, пусть не со сцены, а с кафедры, наш самый талантливый философ профессор Расмус Нильсен. Выступая со своими лекциями в университете, он по-своему пытался истолковать основные идеи двух моих сказок: «Снеговик» и «Что муженек ни сделает, то и хорошо».

Второго апреля, в день моего рождения, моя комната у Мельхиоров наполнилась благоухающими цветами, картинами и книгами. В доме зазвучали приветственные речи и музыка. Снаружи сияло весеннее солнце, сияло оно и в моей груди. Я окидывал взглядом прошедшие годы: как же много счастья выпало на мою долю! И все же, как всегда в таких случаях, наряду с радостью я ощущал и некоторый страх, и на ум приходили старые предания о богах, которые, позавидовав счастью, столь легко возносившему людей на небеса, низвергали их оттуда на землю. Хотя я считаю, что истинный Бог — это любовь!

Как раз в то время в Париже открылась Всемирная выставка. На нее стекались люди со всех концов света. На болотистой пустоши, превращенной в прекрасный сад, французы возвели дворец Фата-Морганы. Я обязан был побывать там и увидеть это воплощение сказочного видения.

Одиннадцатого апреля я пересек на поезде Фюн и герцогства. Затем быстро промелькнула Германия, и вот — я в Париже. Здание Выставки уже, в основном, возвели, хотя еще продолжали достраивать. Сооружения вокруг, включая искусственный сад с его каналами, гротами и водопадами, поспешно преображались, каждый день при-

носил с собой изменения, которые бросались в глаза. Это увлекало, захватывало дух. Я приходил сюда почти ежедневно, постоянно встречая все новых друзей и знакомых из самых различных стран. Казалось, в Париже созывался великий всемирный съезд.

Однажды, придя на выставку, я увидел элегантно одетую даму с мужем, негром. Она обратилась ко мне на странной смеси шведского, английского и немецкого. Сама она была родом из Швеции, но все последние годы прожила за границей. Она сказала, что узнала меня по портрету, и представила мне своего мужа, знаменитого актера Иру Алридана, который как раз в эти дни имел большой успех у публики в театре «Одеон», где играл Отелло. Я пожал руку этого замечательного мастера, и мы обменялись на английском несколькими вежливыми фразами. Признаться, приобретение еще одного друга в лице одаренного сына Африки мне польстило. В свое время я не смел высказываться в таком духе, но знающие меня люди поймут, что ныне я говорю так не из тщеславия, а искренне радуясь всему доброму, что посылает мне, «баловню судьбы», Бог. Надеюсь, что это скоро станут понимать не только мои друзья, но и люди более широкого круга.

Один из организаторов английского павильона пригласил меня на обед, который состоялся в «Гранд Отель де Лувр», где я познакомился с англичанином сэром Бейкером, первооткрывателем истоков Нила. Он присутствовал на обеде вместе со своей мужественной и верной женой, которая сопровождала, ободряла и утешала его в опасных и рискованных путешествиях. Меня удостоили чести сидеть за столом рядом с леди Бейкер.

В это же время в Париже находился король Греции Георг, и я с удовольствием встретился с ним, молодым монархом, которого помнил еще ребенком, когда он слушал, как я читал свои сказки ему и его родителям. Греческий павильон на выставке располагался по соседству с датским; достаточно было пройти по коридору несколько шагов, и из Греции вы сразу же попадали в Данию. Ожидалось, что молодой король посетит датский павильон, и потому коридор украсили греческими флагами с греческой стороны и датскими — с датской. Меня попросили сочинить приветственную надпись, и я тут же, на месте, написал пару строчек, которые большими буквами вывели между развевающимися флагами:



Герб Греции и датский флаг  
Приветствуют тебя —  
Да будешь здрав и благ!

Двадцать шестого мая в Копенгагене отмечали серебряную свадьбу датской королевской четы; мне хотелось быть в это время в городе, и я поспешил отправиться домой через Локль в Швейцарии. Но еще до отъезда из Парижа я получил от своих соотечественников, а также от шведских и норвежских друзей приглашение посетить собрание Скандинавского союза. Встреча оказалась сродни тому празднику, который Бьёрнстjerne Бьёрнсон устроил в мою честь, когда мы оба в последний раз были здесь. В зале развевались флаги скандинавских стран, а портреты королей Кристиана и Карла украсили свежими цветами. Произносились тосты, исполнялись песни, я прочитал несколько сказок и провозгласил тост за поэзию Скандинавии.

Из Парижа до Невшателя поездом — всего день пути. На закате солнца мы добрались до границы, где возвышаются поросшие дубовыми рощами, а также буковыми и еловыми лесами горы Ури. Один туннель следовал за другим, во многих местах рельсы пролегли почти рядом с обрывом; на дне ущелий едва просматривались одинокие дома и целые деревни. Снизу мерцали огни, сверху мерцали звезды. Ближе к вечеру мы прибыли в Невшатель, и скоро я оказался высоко в горах, в Локле, у моего друга Жюля Йоргенсена. На буках уже распускались свежие листочки, кустарник зеленел, но в то же время падал снег, и из-за него все кусты, как один, выглядели цветущим боярышником. Становилось все холоднее, я простудился и ехать дальше не мог. Понимая, что не успею добраться до Копенгагена к назначенному времени, я от всего сердца написал юбилярам стихотворное поздравление и послал его письмом кронпринцу Фредерику, чтобы он вручил мое послание родителям.

#### НА ПРАЗДНОВАНИЕ СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБЫ

26 мая 1867 г.

С приветом Пальнатоке от Вильгельма Телля  
Из края, где озер бездонна синева,  
Ты, птица певчая, ты, вестница веселья,  
Лети на датские средь моря острова,

Где рощи буковые зеленые, и ныне  
 Там свадьба во дворце, там, серебром звеня,  
 Поют колокола — и ты в небесной сини  
 Чете монаршей спой привет мой за меня.

И претворились в явь мечты все о величье,  
 Монаршим стал венцом невестин тот венец,  
 И дети входят в зал в торжественном обличье,  
 В сиянии корон и золотых сердец.  
 Стой, королевский дом, в годину испытаний,  
 И устоит страна — и да поможет Бог,  
 Да развернется наш и выше, и пространней  
 Упавший с неба стяг — великий Даннеброг!

Семейный юбилей справляет радость ныне  
 Той свадьбы во дворце, и, серебром звеня,  
 Поют колокола... На этой годовщине,  
 Хоть песнь моя слаба, спой, птица, от меня,  
 Спой ото всей души такое пожеланье:  
 В беде и в радости да будет с вами Бог,  
 Да ниспошлет стране и людям процветанье —  
 Монаршей же чете в том счастья залог.

Мои сердечные пожелания летели из страны Вильгельма Телля в страну Пальнатоке. Жюль Йоргенсен поднял над домом Даннеброг, и мы осушили по бокалу пенящегося шампанского в честь серебряной свадьбы короля Кристиана IX и королевы Луизы.

Через несколько дней я покинул своих дорогих друзей в Локле и скоро уже был в Копенгагене.

Среди многих, кого в связи с королевской серебряной свадьбой наградили орденами и титулами, значился и я: король пожаловал мне звание статского советника.

Королевская семья находилась в то время во Фреденсборге. Принцесса Дагмар, российская великая княгиня, приехала в гости к своим родителям. Я тоже туда явился; аудиенций в тот день не давали, но меня приняли, проявив при этом самое доброе и сердечное отношение. Король попросил меня остаться на обед, за которым мне удалось поговорить с благородной, очаровательной принцессой Даг-

мар. Она сообщила мне, что сейчас знакомится с русским изданием моих сказок, которые она до этого прекрасно знала, прочитав их все на родном для нее языке.

Лето выдалось жаркое, и раскаленные от солнца улицы не располагали к пребыванию в городе. Мой друг Мельхиор пригласил меня погостить в свой загородный дом «Отдохновение». Здесь я написал «Книгу крестного» и сказку «Зеленые малявочки». В то же время меня преследовала одна мысль — мне следовало изложить свои впечатления от посещения парижской Всемирной выставки, причем непременно в форме сказки, оригинальной сказки о современности, о нашей так называемой материальной эпохе; не хватало только сюжета или для начала какой-то зацепки, воспользовавшись которой, я мог бы начать повествование; и тут вдруг я вспомнил об одном эпизоде, случившемся во время первого моего посещения Парижа весной 1866 года по пути в Лиссабон. Я жил тогда в гостинице «Луваа» на одноименной площади напротив императорской библиотеки. Там был маленький, спрятанный за железной решеткой сад с фонтаном. Одно из стоявших в саду больших деревьев сильно разрослось, пустив свои ветви далеко за ограду, его выкорчевали и выбросили. Почти сразу же после этого к саду подъехала массивная повозка с лежащим на ней большим деревом, листочки на нем едва начали распускаться. Дерево привезли из деревни, чтобы посадить здесь. «Бедное дерево! Бедная Дриада! — подумал тогда я. — Тебя лишили чистого деревенского воздуха и перевезли сюда, где ты будешь вдыхать городские миазмы и известковую пыль! Ты здесь умрешь!»

Идея для сказки, таким образом, нашлась, и она преследовала меня все время пребывания в Гольштейнборге, Баснесе и Глорупе. Я даже пытался писать, но что-то у меня не получалось. Я ведь видел Выставку только в момент открытия, следовало посмотреть ее всю, целиком. Вот почему у меня возникло непреодолимое желание сняться с места и посетить ее вновь, хотя две поездки в Париж за одно лето — для человека не очень зажиточного, пожалуй, чересчур много. Пришлось мне эти планы перечеркнуть.

Пока в августе я гостил в Гольштейнборге, Копенгаген посетила большая группа как молодых, так и уже умудренных опытом французских журналистов. Их встречали радушно и широко, словно подчеркивали этим: к нам приехали верные друзья, дети Франции,

нашей старой союзницы. Из газет я знал о том, с каким ликованием их встречают; наверняка в Копенгагене в эти дни царил торжественная, праздничная атмосфера. Правда, о моем участии в этих торжествах лучше было забыть, я бы все равно не успел. Я вышел из вагона поезда на копенгагенском вокзале как раз в тот момент, когда последние французские гости покидали город, но все же поговорил с Эдмоном Тарбе, исполнительным директором еженедельника «Галл», и с писателем Виктором Фурнелем, автором появившегося вскоре интересного и точного очерка «Современная Дания. Этюды и воспоминания путешественника». Фурнель знал некоторые из моих сочинений, и при расставании я сказал ему, что мы, возможно, вскоре увидимся в Париже.

Так и получилось. Я не мог преодолеть вновь овладевшую мною страсть к путешествиям и желание увидеть волшебную Выставку во всем ее блеске, прежде чем он померкнет. Сразу же после этого я намеревался закончить сказку о современности, которую назвал «Дриада».

Первого сентября я отправился в путь. Со мной вместе выехал Роберт Уатт, с которым я ранее познакомился в Париже, он тоже хотел посмотреть Выставку в разгар ее работы. Когда мы отъезжали, гремел гром и сверкала молния, отъезд наш получился торжественным. В Корсёре мы сели на переполненный пароход. В темноте под проливным дождем нам пришлось всю ночь слоняться по палубе. На рассвете пароход прибыл в Киль, а оттуда мы устремились через Германию к цели нашего путешествия — Парижу, но сначала заехали в Страсбург. Прибыли мы туда к вечеру. Колокола собора звучали с такой силой, что в старом фахверковом доме, где мы поселились, дрожали стены. Древний собор высился перед нами, не обращая на нас ровно никакого внимания. Его посещали многие — великие мира сего и люди маленькие, мужчины и женщины, которые выцарапывали свои имена на его старых колоколах, стремясь тем самым, наверное, увековечить их в звоне. Тот вечер был тих и прекрасен, я так радовался, что снова оказался во Франции. Вновь, как и всегда в путешествии, я почувствовал себя молодым. Что значили для вечности мои шестьдесят два года по метрике — не более чем для меня самого шестьдесят две секунды!

В рыночный день пробираться сквозь толпу к собору непросто. «Бесплотный мастер», сидящий внутри больших соборных курантов,

управляет их хором. Ровно в десять часов фигурки на курантах приходят в движение. Смерть отбивает удары, Старый Час уходит, и на смену ему приходит Новый Час, который ждет, пока не отзвучит последний удар, после чего отправляется в свой путь по циферблату вновь.

Я смотрел на все это, стоя в группе приезжих, среди которых узнал своего знакомого из Бордо, Франциска Мишеля, ученого и переводчика баскских народных песен.

Скоро мы оказались в Париже — снова в современном дворце Аладдина, удивительном здании Выставки, воплощенной Фата-Моргане. Перед нами расстился возникший, как по мановению палочки волшебника, сад с цветами юга и севера, огромные аквариумы, среди которых чувствуешь себя, как под стеклянным колоколом, опущенным на дно моря или озера, как будто стоишь в сказочном салоне Рыбьего царства. Я был сражен, ошеломлен всем этим великолепием, и вот в кафе «Режанс», куда доставляют датские газеты, прочитал в одной из них статью с подробным и довольно верным описанием Выставки. В статье утверждалось, помимо всего прочего, что в полной мере отразить ее пестрое великолепие не способно ни одно поэтическое перо, кроме одного — того, которым владеет Чарлз Диккенс. Это отчасти справедливое суждение повергло меня в уныние: я засомневался в своих творческих силах настолько, что, еще находясь в Париже, отказался от планов своих написать свою современную сказку. Естественно, таким образом, эта моя повторная поездка в Париж потеряла всяческий смысл! Что ж, я решил развлечься! Никогда во время прежних своих посещений Парижа я не чувствовал себя там своим, в этом же году великолепие Выставки словно околдовало город, озарив его волшебным сиянием. Да, на этот раз я ощущал свою причастность к этому городу наслаждений, как называли Париж приезжие, хотя я, скорее, сравнил бы его с прекрасным плодом, под золотой шкуркой которого скрывалась косточка знаний и искусства: на поверхности — канкан, в сердцевине — серьезность и вдохновение.

Гениальный журналист Филарет Шаль пригласил меня в гости в Медон, в свой красивый загородный дом с небольшим уютным садом. Здесь я оказался в одной компании с французскими журналистами, недавно приезжавшими в Копенгаген. Атмосфера царила живая и непринужденная, застольные речи сменяли одна другую, они

порхали над столом разноцветными бабочками. Позднее Филарет Шаль в одной из своих лекций, которые он читал студентам в Париже, в свойственной ему оригинальной манере, но при этом с большой теплотой отозвался обо мне и моих сказках.

Несколько французских журналистов из числа гостивших в Копенгагене пригласили меня и еще некоторых датчан на специально устроенный в честь нас праздник. На нем присутствовали редактор газеты «Ла Ситуасьон» и другие знаменитые представители прессы, а также ранее уже упоминавшийся мною Эдмон Тарбе, обладавший не только способностями журналиста, но также большим музыкальным талантом, определенно, унаследованным от матери, весьма известной и любимой в Париже сочинительницы музыки. Эдмон Тарбе сыграл мою песню «Храбрый солдат» и еще датскую народную песню «Роселиль и ее мать». Музыкальные номера сразу же внесли в окружающую атмосферу нечто датское, и я почувствовал себя среди французских друзей, как дома.

В это посещение Франции мне впервые удалось побывать в парке Мабиль с его пышной иллюминацией, отражавшейся вместе с ветвями плакучих ив, как в зеркале, в небольших искусственных водоемах; на толпы гуляющих в парке лился яркий свет прелестной полной луны. Один из юных молодых друзей подтолкнул ко мне мабильскую красавицу и сказал: «Что вы скажете о такой поэзии и таком личике?» Указав на сияющую на небе луну, я ответил: «Мне больше по душе это старое и в то же время вечно молодое лицо!» — «Месье!» — воскликнула в праведном негодовании оскорбленная прелестница.

Я пробыл там всего четверть часа, и в «Дриаде» описал все, что я там видел и чувствовал.

Предстоял отъезд из Парижа; заканчивался сентябрь. На обратном пути я провел несколько дней в городе игорных домов Баден-Бадене. В оживленном и суетливом Мабиле я чувствовал себя уверенно: я знал, где нахожусь. Баден-Баден, внешне элегантный и нарядный, показался мне таинственным и зловещим огромным игорным залом, где перемещались с места на место груды золота. Казалось, в этом зале незримо присутствует сам Сатана; здесь повсюду царил неприятная тишина. После первого же моего посещения игорного дома я, вернувшись в гостиницу, описал свои впечатления в следующих строчках:

## ИГОРНЫЙ ДОМ

Картины, лампы — чудилось сначала, —  
Все говорит: «Приди на праздник, друг!»  
Но в зале только золото звучало —  
Прокатится и вновь умолкнет звук.  
Здесь женщины сидят, как в лихорадке,  
То мечут золото, то к себе гребут.  
Вдруг где-то выстрел: «Право, все в порядке, —  
Смеется Смерть, — я выиграла тут!»  
Молчанье, блеск и неподвижность зала,  
Лишь стук сердец да тихий звон металла.

Впрочем, игорный зал, купальни да и сам город окружены живописнейшими лесами и горами. Поблизости расположены мощные руины некогда роскошного замка, в рыцарском зале которого ныне растут большие деревья. С его еще не обрушившихся балконов открывается великолепный вид на извилистую ленту Рейна и на французскую территорию — Вогезские горы.

Домой отсюда я ехал быстро и остановился на отдых только на сутки в Одессе. Повсюду на домах развевались национальные флаги — в город прибыли солдаты, и Манеж празднично убирали, чтобы встретить их. Меня также пригласили на праздник. Большой старый флигель украсили флагами и зелеными ветками, столы ломились от яств и вина, а девушки и женщины со всего города показали себя умелыми и старательными хозяйками. Наконец появились солдаты, зазвучали крики «ура», за ними последовали песни и речи. Несомненно, наша жизнь изменилась к лучшему, стала намного светлее и прекраснее по сравнению с той старой, ушедшей, которую некогда знавал здесь я. Я упомянул об этом в своей речи, указав, что, когда я последний раз был в Манеже — давным-давно, еще во времена моего детства, — я видел, как здесь прогоняют сквозь строй солдата. И вот я снова здесь и вижу, как нашего солдата, считающегося теперь защитой и опорой отечества, приветствуют ныне речами и песнями; теперь он гордо сидит за столом под развевающимися знаменами. О, наше благословенное время! Кто-то из моих друзей заметил, что мне следовало бы приехать в Одессе хотя бы еще раз в этом году — не пришло бы бывать в родном городе, готовом устроить в твою честь празд-

ник, лишь проездом. Впрочем, добавил кто-то, я наверняка получу на такой праздник приглашение уже в ноябре этого года.

Я еще не подозревал в тот момент, до каких высот счастья вознесет меня судьба, и ответил, что от всего сердца благодарен за проявленную в отношении меня дружескую заботу, но все-таки хотел бы попросить «перенести праздник на 1869 год, когда четвертого сентября исполнится пятьдесят лет с того дня, как я покинул Оденсе, отправившись в Копенгаген. Туда я прибыл шестого сентября и считаю этот день самым знаменательным в моей жизни, хотя, конечно же, вряд ли уместно требовать, чтобы кто-то придавал этому дню подобное значение. Поэтому будет лучше всего, если я приеду на родину в Оденсе в день пятидесятилетия моего отъезда». — «Но до этого дня еще целых два года, — возразили мне, — никогда не следует откладывать радость и удовольствие. Значит, увидимся в ноябре».

Так и случилось. Предсказание гадалки бедному мальчугану, сделанное перед самым его отъездом из отчего дома, о том, что в Оденсе когда-нибудь будет устроена в его честь иллюминация, сбылось самым прекрасным образом.

В конце ноября в Копенгагене я получил от муниципального совета Оденсе следующее извещение, датированное 23 ноября 1867 г.:

«Настоящим Муниципальный совет Оденсе имеет честь уведомить Ваше Превосходительство об избрании Вас Почетным гражданином Вашего родного города и о приглашении прибыть сюда, в Оденсе, в пятницу шестого декабря сего года, в каковой день мы желали бы вручить Вам выданный в связи с этим диплом».

Далее следовали подписи.

На это я ответил:

«Я получил вчера вечером присланное высокочтимым Муниципальным советом извещение и спешу выразить Вам свою самую глубокую благодарность. Мой родной город оказывает и выражает мне Вашим решением, господа, честь и признание столь высокие, о каких я никогда не смел даже мечтать.

Миновало 48 лет с тех пор, как я бедным подростком покинул родной город, и теперь он принимает меня, исполненного счастливых воспоминаний, как родимый дом — дорогого сына. Вы должны понять мои чувства. Я пишу эти слова не из тщеславия, а с благодарно-



стью Господу за тяжелые часы испытаний и многие благодатные дни, которые Он мне ниспослал. Примите же от меня самую сердечную благодарность.

В определенный Вами день, 6 декабря, я с радостью, если Бог пошлет мне здоровья, встречу с моими благородными друзьями в нашем родном городе.

С уважением, благодарный Вам  
Х.К.Андерсен».

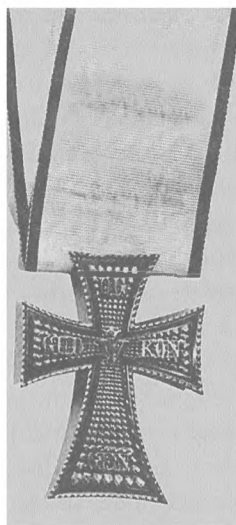
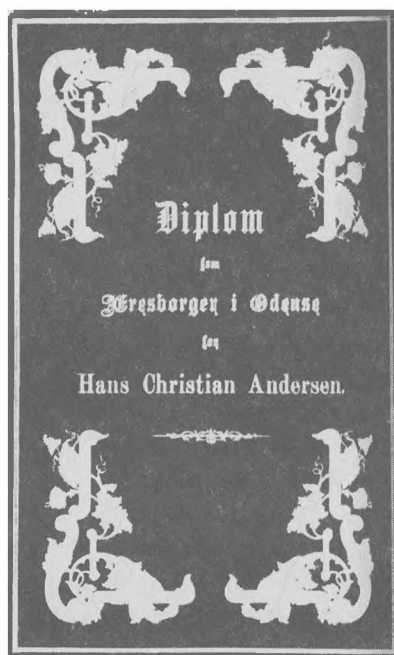
Я приехал в Оденсе четвертого декабря. Стояла холодная пора, дул сильный ветер, я был изрядно простужен и страдал от зубной боли. Но вот засияло солнце, ветер стих, и наступила прекрасная погода. На вокзале меня встречал епископ Энгельстофт, отвезший меня к себе домой в епископскую усадьбу у речки Оденсе, которую я описывал в сказке «Колокольная бездна». К обеду были приглашены несколько городских чиновников, за столом царила дружеская, непринужденная обстановка, мы оживленно беседовали.

И вот наконец наступило столь знаменательное шестое декабря, самый прекрасный праздник моей жизни. Испытывая физическое и душевное беспокойство, я не спал накануне ночь, давило грудь и болели зубы, все будто напоминало мне: «Ты со всем твоим блеском — всего только дитя тлена, червь во прахе!» Об этом свидетельствовала не только моя телесная немощь, в том же убеждало меня и мое врожденное смирение.

Как должен был бы я наслаждаться выпавшим мне невероятным счастьем! Увы, я не мог наслаждаться им, я его страшился.

Утром шестого декабря я услышал новость, что весь город празднично украшен а дети в связи с праздником, устраиваемым в мою честь, освобождены от школы. Я ужасно разволновался, смиренно осознавая свое ничтожество перед лицом Господа. Я отчетливо видел все мои слабости, все недостатки и грехи, совершенные в слове, мыслях и поступках. Все они предстали передо мною теперь с такой же ясностью, как на Судном дне, в то время как на самом деле это был день моего чествования! Бог свидетель, насколько ничтожным я ощущал себя, в то время как другие превозносили меня и чествовали.

Ближе к полудню ко мне явились полицмейстер, статский советник Кох и советник юстиции Мурье и препроводили меня в ратушу,



Диплом почетного гражданина г.Оденсе

Ордена писателя

где мне должны были вручить диплом почетного гражданина. Почти на всех домах, мимо которых мы проезжали, развевался Даннеброг; повсюду собирался народ, в том числе люди, приехавшие из окрестных деревень. Я слышал крики «ура», а перед ратушей играла музыка. Здесь был построен городской оркестр, исполнивший мелодии моих песен «Гурре» и «Дания — моя родина!». Я был ошеломлен; легко, стало быть, понять, почему я сказал — и обязан был сказать — своим спутникам: «Что чувствуют преступники, когда их везут на эшафот? Кажется, я понимаю их».

Зал заполнили празднично разодетые дамы и чиновники в мундирах и с регалиями. Я видел в нем также много обычных горожан и крестьян.

Бургомистр Мурье объявил от лица Муниципального совета, по какому случаю собрались здесь люди, и обратился ко мне с сердечной и торжественной речью. После этого он вручил мне диплом и провозгласил в честь меня здравицу, сопровождавшуюся мощным девятикратным «ура», которое подхватили все присутствующие.

В ответной речи я сказал примерно следующее: «Великая честь, которой удостоил меня родной город, ошеломляет и наполняет меня самыми возвышенными чувствами. Я думаю сейчас об Аладдине. Выстроив себе при помощи волшебной лампы дворец, он подошел к окну, выглянул из него и сказал: «Вон там, внизу, ходил я, когда был бедным мальчишкой». Такую же лампу духа — поэзию — послал мне Бог, она сияет над многими странами, и многие люди радуются ее сиянию и благодарны ей. Вот почему, когда люди говорят, что этот свет исходит из Дании, сердце у меня бьется от радости. Я твердо знаю: на родине у меня тоже есть немало переживающих за меня друзей, и в особенности это относится к городу, в котором когда-то стояла моя колыбель. Именно этот город вручает мне сегодня торжественное свидетельство своей любви ко мне, тем самым оказывая мне столь великую честь, что я, глубоко взволнованный происходящим, могу от всего сердца ответить ему только одним словом, исходящим из самого сердца, — «Спасибо!»»

От волнения, вызванного переполнявшими меня чувствами, я едва держался на ногах. Лишь на обратном пути в епископскую усадьбу я стал различать лица поздравлявших меня друзей. Я видел восторг толпы и развевающиеся повсюду флаги, но меня не покидала

одна мысль: я думал, что скажут остальные датчане, люди, живущие в других уголках страны, услышав об устроенном мне на родине празднике. Что напишут о нем газеты? Я чувствовал, что стерплю любое высказывание относительно слишком уж большой чести, которой меня удостоили, но не вынесу, чтобы газеты в оскорбительном или неодобрительном тоне отзывались о моем родном городе только по причине того, что он оказывал мне эти почести. Именно поэтому я, признаться, почувствовал бесконечное облегчение, когда убедился, что все «листки», большие и малые, написали о празднике в моем родном городе с теплой симпатией. Самый первый голос я услышал сразу же, как только вернулся из ратуши в епископскую усадьбу; он раздался со страниц наиболее влиятельной копенгагенской газеты, доставленной в этот же день с утренней почтой. Газета посылала самые сердечные и горячие поздравления мне и с пониманием отнеслась к решению моего родного города. Это во многом сняло камень с моей души, вселило в меня спокойствие и позволило безмятежно наслаждаться всем тем, что заготовил для меня праздник на оставшуюся часть дня и на вечер. В газете «Дагбладет» от шестого декабря писали: «Статский советник Х.К.Андерсен отмечает сегодня радостный день своего признания: Оденсе вручает ему диплом почетного гражданина. До сих пор подобной чести удостоивались у нас в стране лишь немногие, но город Оденсе поступает так с полным на то правом. Он воздает почести сыну бедного ремесленника, который отправился искать счастья по белу свету и заставил свое имя прозвучать далеко за границами отечества, прославив тем самым Данию и родной город на весь мир. И, наверное, очень многие сейчас мысленно находятся в Оденсе на празднике, который займет достойное место в андерсеновской “Сказке жизни”, и шлют поэту свои поздравления и благодарность за все, что он подарил им и вообще всем нам».

Во второй половине дня я отправился в ратушу на продолжение праздника вместе с членами комитета по его проведению в гораздо более приподнятом настроении, чем то, в каком пребывал вначале. Только теперь я стал замечать детали праздничного украшения города, выполненные с большим вкусом, и узнавать мелодии песен — моих стихотворений, положенных на музыку.

В актовом зале ратуши, где уже был установлен на возвышении мой бюст, окруженный медальонами с памятными надписями «2 ап-

реля 1805 года» (день моего рождения), «4 сентября 1819 года» (день, в который я покинул Оденсе) и «6 декабря 1867 года», собрались 250 человек, представляющих все сословия. После того как бургомистр провозгласил тост во здравие короля, была исполнена следующая песня:

Лебедь вновь в край родной прилетел,  
Где в утином гнезде он родился,  
Где печальный влачил он удел,  
Где смиренью, терпенью учился!

«Безобразным утенком» он слыл,  
В камышах от пинков укрывался,  
В мире грез — утешенья и сил  
Для борьбы с злом и тьмой набирался.

У! Как злобно вопил птичий хор!  
Ведь ни утки, ни гуси не знали,  
Что покинет утиный он двор  
И исчезнет в сияющей дали!

Что недаром к чужим берегам  
Лебедь гордый полет свой направит,  
Что он славой покроется сам  
И родной уголок свой прославит!

Что волшебною песней своей  
Лебедь, помнящий детства невзгоды,  
Очарует весь мир, всех людей,  
Несмотря на их званье и годы!\*

Затем оптовый торговец В.Петерсен провозгласил тост в мою честь. «Примерно пятьдесят лет назад, — сказал он, — один бедный подросток покинул родной город, чтобы начать свою борьбу за место под солнцем. Отъезд его произошел тихо и незаметно, потому что никто его не знал и не замечал. Проводить его вышли только две женщины, его мать и бабушка, проследовавшие вместе с ним за городские ворота, но их пожелания и молитвы сопровождали поэта на всем его

---

\* Перевод А. и П.Ганzenов.

долгом пути. Первой остановкой на нем стала столица; там началась борьба за продвижение к великой цели. Юноша оказался совсем один в большом городе, без друзей и родственников, но он все-таки начал свою борьбу, в которой ему помогли два сильных союзника: вера в Провидение и вера в свои собственные силы. Борьба оказалась жестокой и горькой, и он понес в ней большие потери, но тем не менее сильная воля продвигала его вперед, и, очень может быть, что именно в этой борьбе зародилась в нем столь богатая и возвышенная фантазия. Ныне подросток превратился в мужчину и находится среди нас; его имя в эти дни на устах у всех. Он победил. Ныне его чествуют короли и сильные мира сего, а также — что самое важное — его высоко чтут и уважают сограждане».

Затем оратор от лица всех горожан выразил мне благодарность за все, что я сделал во славу отечества, и за то, что я никогда не забывал, что моя колыбель стояла в Одессе. Речь встретили радостными криками «ура». Тронутый, я встал и поблагодарил оратора примерно в следующих словах: «Произнесенная здесь речь невольно уводит меня в мир воспоминаний о днях моего детства. С залом, в котором я сейчас стою, связано три эпизода в моей жизни. Первый раз я пришел в него мальчишкой, чтобы посмотреть музей восковых фигур, который своими изображениями королей, князей и других всемирно известных людей произвел на меня довольно странное и неизгладимое впечатление. Во второй раз я стал свидетелем устроенного в этом зале праздника по поводу дня рождения короля; меня привел на него старый городской музыкант; я смотрел из оркестра в освещенный зал на танцующих и узнавал многих из них. Третье посещение зала состоялось сегодня, в момент, когда я находился здесь в качестве почетного гостя и ощущал бесконечно теплое внимание и сердечное отношение ко мне со стороны присутствующих. Все три эпизода кажутся мне одной длинной сказкой, мораль которой сводится к тому, что вся наша жизнь — это нечто иное, как прекраснейшая из сказок».

В этот момент двойной квартет голосов затянул начало моей песни «В той Дании, где свет увидел я..», а когда пение закончилось, епископ Энгельстофт страстно и красноречиво провозгласил тост за процветание Дании. Вслед за ним статский советник Кох в небольшой шутиливой речи предложил поднять бокалы за мою «жену» — поэтическую фантазию, которая всем нам обеспечила райскую

жизнь. Я поблагодарил его за тост и, сославшись на древний обычай украшать кубки венками цветов, сказал, что хотел бы украсить свой кубок венком из цветов, на лепестках которых были бы написаны имена всех присутствующих в зале милых дам. Полковник Ваупель после этого произнес шутливую речь о моих детях, которых так любят солдаты, детях, всегда наставляющих их на путь истинный. Директор школы Мёллер в своем выступлении передал мне приветствие и благодарность от имени 1600 школьников, находившихся на его попечении, а друг моей юности и школьный товарищ, ныне советник канцелярии, прочитал сочиненное им в мою честь стихотворение. После этого пробст нашей епархии Свитсер заявил, что отдельного тоста за присуждение мне звания почетного гражданина заслуживает сам город Оденсе, и предложил выпить за дальнейшее процветание города. Перед окончанием праздничного обеда я опять взял слово и сравнил в нем мою судьбу со зданием, при возведении которого особенно много потрудились и помогли мне Коллин и Х.К.Эрстед. Теперь, когда я уже мог сказать, что строительство здания завершено, согласно старинному обычаю, на него следовало бы водрузить венок, и таким венком с моей стороны могла бы стать моя благодарность городскому Муниципальному совету и всему городу, в котором, как я уже убедился, процветает не только материальный прогресс, но также начала Красоты и Добра. Мне хотелось бы сказать еще несколько лестных слов и выразить сердечную благодарность отдельно каждому из тех, кто доставил мне сегодня такое огромное счастье, однако я вынужден объединить все эти слова в тосте, который провозгласил за свой родной Оденсе.

После торжественного обеда последовал бал, присутствующие поднялись из-за столов, и в зале появилась молодежь. Но еще до начала танцев в центре помещения для меня поставили кресло, после чего в зал вбежали разряженные дети, которые, водя вокруг меня хоровод, спели приветственную песню, сочиненную в мою честь Йоханом Кроном:

Вьется змейкою дорожка;  
Покосившийся немножко,  
Домик низенький стоит...  
Там — учитель говорит —  
Жил наш Андерсен малюткой.

Оле сказкой, прибауткой  
Тешил мальчика не раз  
Перед сном в вечерний час.

Домовой его баюкал;  
Леший из лесу аукал;  
Мальчик видел водяных;  
Из ветвей ему густых  
Улыбалася Дриада,  
А зимой в окно из сада  
К ним глядела без чинов  
Королева бурь, снегов.

Видел он фантазий фею,  
Проводил часы он с нею  
И все сказки, что слышал  
От нее, — нам рассказал!  
Сколько мы часов приятных  
В чтеньи сказок тех занятных  
Провели и проведем,  
Видя вявь и Старый дом,

Карен, Инге, как живую,  
И Русалочку, и злую  
Королеву, что детей  
Превратила в лебедей!  
Видя эльфа, пчел царицу,  
Старый дуб и Феникс-птицу,  
Кошек, Руди, Деву льдов,  
Эльфов, троллей всех сортов!

Счастье, знать, само надело  
На тебя калоши. Смело  
В них шагал ты по дворцам!  
Но всего любимей там  
Ты, где мы царим всецело!

Ну, живей, друзья, за дело!  
Хоть мала рука у нас,



Так пожмем двумя зараз  
 Руку сказочника-друга!  
 Велика его заслуга:  
 Он развел волшебный сад,  
 Где найдет и стар и млад  
 Тень, и отдых, и прохладу,  
 Утешенье и отраду!  
 Другом мы его зовем,  
 В честь него мы песнь поем!\*

Во время праздничного обеда в мой адрес поступило множество поздравительных телеграмм. Таким образом, весть об устроенном для меня празднике, как оказывается, успела облететь всю страну и заставила отозваться многих. Как-то отзываются на мне мнения, чувства и настроения, которые вызвал праздник? Как отнесутся люди к тому, что меня так ценят и чествуют? Эти мысли все время преследовали меня, отбрасывая тень на радость и блеск праздника, которым я должен был бы наслаждаться в эти минуты. И вот на мое имя поступает первая телеграмма — от Союза студентов. Она приободрила меня и подняла настроение. «Союз студентов посылает Х.К.Андерсену в столь славный для него день свои поздравления с благодарностью за все свершенное им в прошлом и с самыми наилучшими пожеланиями на будущее». Таким образом, я убедился, что учащаяся молодежь полностью разделяет со мной мою радость и желает мне всего только хорошего. Затем последовали еще одна частная поздравительная телеграмма от группы студентов из Копенгагена и телеграмма от корпорации ремесленников и Союза промышленных рабочих из Слагельсе: по-видимому, там вспомнили, что в их городе я учился и, следовательно, был связан с ним. За этими посланиями последовали приветствия от чутких друзей из Орхуса и из Стеге, отовсюду приходили телеграмма за телеграммой. Одну из них зачитал статский советник Кох; она была от короля: «Присоединяю к уже оказанным Вам сегодня гражданами Вашего родного города почестям самые лучшие пожелания от меня и моей семьи. Король Кристиан». После прочтения телеграммы собрание взорвалось от восторга, и все темные облака и тени в моей душе рассеялись, как по мановению волшебной палочки.

\* Перевод А. и П.Ганzenов.



Х.К.Андерсен у себя дома 21 мая 1874.  
*Фотография*

Я был счастлив, и все же — не слишком ли высоко я занесся, не следовало забывать, что я — всего лишь бедное дитя человеческое, ограниченное бренностью всего земного. Все время моего существования я страдал от жестокой зубной боли, которая от жары в зале и душевных волнений обострилась до невозможности. И все-таки тем же вечером я прочитал для своих маленьких друзей сказку, после чего ко мне явилась депутация от различных городских объединений и союзов, которая с факелами и под развевающимися знаменами устроила шествие на площади перед ратушей. Так мне представился случай воочию убедиться, как исполняется предсказание, сделанное старой гадалкой перед тем, как я подростком покинул свой родной город: в Оденсе будет устроена в мою честь иллюминация. Я подошел к открытому окну; яркий свет факелов заливал площадь, она была переполнена. Люди запели песню, душа моя воспарила, но телесно я ужасно страдал и, таким образом, не мог насладиться этим высочайшим моментом счастья всей моей жизни. Зубы болели невыносимо, холодный воздух, врывающийся через окно, заставлял боль пульсировать с ужасающей силой, и вместо того, чтобы насладиться блаженством этих минут, которые никогда больше в моей жизни не повторятся, я смотрел в напечатанный текст песни и считал, сколько еще строк осталось пропеть и скоро ли я избавлюсь от пытки, которой подвергал меня сквозняк, обострявший зубную боль. В тот момент, когда боль усилилась до предела, песня закончилась, брошенные в костер факелы еще раз ярко вспыхнули и погасли — и вместе с ними исчезла зубная боль. Ах, как же я был благодарен этому мгновению! Со всех сторон на меня смотрели добрые и радостные глаза, всем хотелось говорить со мной, пожать мою руку.

Я вернулся в епископскую усадьбу ужасно усталым и сразу же лег отдыхать, но до самого утра не смог сомкнуть глаз, вот до какой степени я был возбужден и взволнован.

На следующее утро я написал письмо королю, выразив ему свою искреннюю признательность. Я также отправил благодарственные письма Союзу студентов и корпорации ремесленников и стал принимать визиты, коих последовало великое множество. Особо расскажу о старой вдове, которая ребенком некоторое время столовалась у моих родителей. Она плакала от радости, воочию увидев, какой успех

выпал на мою долю, и рассказала мне, как она вчера во время факельного шествия стояла на площади и видела все происходящее на ней: «Будто встречали короля и королеву, как в прошлый раз, когда они у нас были». Она в это время вспомнила о моих родителях и обо мне, бывшем тогда еще очень маленьким мальчиком; рассказывая об этом другим пожилым людям, стоявшим рядом с ней на площади, старуха плакала, и они тоже плакали: еще бы, чтобы бедный ребенок мог так возвыситься, чтобы его встречали, как короля!

Вечером праздник продолжался в епископской усадьбе, и на нем присутствовали не менее двух сотен гостей. Я прочитал несколько сказок, а потом молодежь устроила танцы.

На следующий день я обошел с визитами всех членов Муниципального совета и посетил также нескольких знакомых, которых знал с детства. До сих пор, как оказалось, была жива Сусанна, дочь поэта Ханса Кристиана Бункефлота. Я также побывал в старом доме, в котором прошло мое детство — снимок его вскоре после праздника появился в «Иллюстрированных ведомостях», — и сходил в школу для бедных, где мальчишкой получал свои первые знания.

Музыкальное общество Оденсе пригласило меня посетить концерт в ратуше. Там мне отвели почетное место; в мою честь произносились речи, а затем хор исполнил следующую песню:

Есть музыка, есть слово, меж ними есть родство —  
 Одна у них основа, и духа одного:  
 Поэт слова слагает в созвучный легкий ряд,  
 Мелодия их красит так, что они горят.

Лежит у них в основе глубокий мощный глас —  
 Он сердцу боль приносит и утешает нас,  
 Когда ж они едины, сливаются в одно,  
 С удвоенною силой им властвовать дано.

И придает прозрачность музыка смыслам слов,  
 И вес приобретает, одевшись в их покров, —  
 Над суетою будней, над пошлым и земным  
 Они возносят души тех, кто внимает им.

Вот так и ты, художник, нас возвышал не раз,  
 Стихами вдохновляя наш мелодийный глас,

Когда со страстной негой их обнимает звук, —  
Ведь ты у нас, как дома, ведь ты нам брат и друг.

Теперь, когда мы хором тебе, поэт, поем,  
И музыкой, и словом хотим сказать о том,  
Как счастливы, что можем, волнуясь и любя,  
Здесь, в нашем скромном зале, приветствовать тебя!

За день до моего отъезда «Общество Лана», созданное для оказания помощи бедным детям — оно воспитывает и одевает их, девочек и мальчиков, вплоть до конфирмации, — отмечало свой ежегодный праздник. Был приглашен на него и я. Весь зал был заполнен опекаемыми детьми и их матерями. В речи, которую прочитали на празднике, определенное место отводилось мне. На стене висел украшенный цветами портрет Лана. Кто такой Лан, спросят многие. Он родился и провел детские годы в Оденсе на улице Недергаде, выучился шить перчатки и разъезжал по стране, продавая их. Как-то он съездил по делу в Гамбург, и вскоре перчатки его изготовления стали весьма ходовым товаром. Лану, таким образом, удалось основать свое большое дело, он разбогател и построил в Оденсе на родной улице Недергаде настоящую городскую усадьбу. Предприниматель не женился, он занялся благотворительностью и перед тем, как умер, учредил стипендию для воспитания и обеспечения детей бедных, завещав одновременно учрежденному для выполнения этой цели «Обществу Лана» свою усадьбу. Его похоронили на кладбище Святой девы в Оденсе, и на его могильном камне написано: «Здесь покоится Лан, а память о нем ищите на улице Недергаде». На стене в школьном зале рядом с портретом Лана висит еще один портрет — пожилой женщины. Она многие годы сидела на улице, продавая яблоки, и умерла несколько лет назад. Вплоть до конфирмации ее тоже опекало «Общество Лана» и, когда она умерла, после нее осталось несколько сот ригсдалеров, которые она своей бережливостью накопила. Деньги, как оказалось, она завещала Обществу, вот почему рядом с портретом его основателя висит теперь и ее портрет.

Речь на празднике Общества произнес молодой и весьма одаренный директор школы пастор Мёллер. В ней он упомянул разных мужчин и женщин, составлявших гордость датской земли. Кроме того, он сказал примерно следующее: «Вы все знаете, какой праздник мы отмечали здесь в последние дни. И вы все видели, как приветствовали

и какую честь воздавали одному человеку, который тоже жил в нашем городе, более того, сидел за такой же партией в школе для бедных, как вы. Сейчас этот человек находится среди нас». Я видел устремленные на меня со всех сторон взгляды, у некоторых в глазах стояли слезы. Я поблагодарил за оказанную мне честь и поприветствовал учеников. Уходя, я увидел, как некоторые матери протягивают ко мне руки, восклицая: «Господи, даруй ему радость и благослови его!»

Праздник в «Обществе Лана» также благотворно подействовал на меня. Казалось, в мое сердце один за другим проникают солнечные лучи в таком количестве, что оно не в состоянии вместить их все. В такие мгновения душа, устремляется к Богу подобно тому, как тянется она к Нему в минуты мучительной скорби.

И вот наступил день отъезда, одиннадцатое декабря. На станцию устремились люди, заполнившие ее целиком, женщины несли мне цветы. Подошел поезд, он стоял в Оденсе всего несколько минут, в течение которых бургомистр г-н Мурье успел произнести прощальную речь. В ответ я пожелал всем счастья, загремело «ура», которое постепенно затихало по мере того, как поезд набирал скорость. Тем не менее крики «ура» раздались еще несколько раз: это кричали небольшие группы, стоявшие вдоль железнодорожного полотна за городом.

Не успел я выехать из родного Оденсе, а праздник, устроенный в мою честь, уже казался мне далеким сном. Только теперь, когда я оказался наедине с собой, в моем сознании отчетливо стали вырисовываться сцены всех тех почестей, радостей и великолепных мгновений торжества, которые даровал мне Господь. Наивысший восторг и счастье, которые я мог пережить, я уже пережил. И теперь мне оставалось лишь с благоговением благодарить Бога и молить его: «Не оставь меня, когда наступит час испытаний!»

В Ньюборге я взшел на борт нового парохода, способного ломать лед, сковавший уже море вдоль побережья. Пассажиры отнеслись ко мне с вниманием и приязнью; их отношение ко мне я могу сравнить только с прекрасными отзвуками музыки, доносящимися с далекого ночного бала. В Копенгаген поезд пришел поздно вечером, но, несмотря на усталость, я по-прежнему не мог успокоиться и заснуть. Моим сердцем и разумом все еще владели будоражащие воображение чувства радости, признательности и благодарности. На следующее утро я сразу же отправился к моим верным друзьям, которые, конечно же, внесли немалую лепту в то, что судьба уготовила мне подобное сча-

стью. Правда, зубная боль по-прежнему меня мучила, и когда проходил по улице, получилось так, что первыми же повстречавшимися мне людьми были знакомые — я не могу назвать их друзьями, — двое писателей примерно одного со мной возраста. Они сразу же заговорили со мной, но не о празднике в Оденсе, а о мучившей меня зубной боли. И сколько я ни пытался, их никак не удавалось привести в доброе расположение духа, в котором я пребывал благодаря оказанным мне великим почестям. Это огорчило меня; я прекрасно понимал, что их не радует признание, которого я удостоился. Скоро, однако, я увидел, с какой сердечной радостью сочувствуют мне люди, хотя слышались и иные голоса: «Ваш триумф в Оденсе далеко не всем пришелся по душе». Однако некоторые самые значительные наши писатели, из тех, кто посещал меня редко, обрадовали меня своим сердечным отношением. Так, в первые же дни мне нанес визит Палудан-Мюллер, разговаривавший со мной тепло и ласково. По его мнению, выпавших на мою долю почестей могла удостоиться только самая одухотворенная натура! Его радость за меня была неподдельной. «На вашем месте, — сказал он, — никто из великих писателей не вел бы себя и не говорил лучше и естественнее, чем вы».

В Копенгагене как раз в это время находился с женой Бьёрнстjerne Бьёрнсон. Расчувствовавшись до слез, они сердечно меня поздравили. То, как я держался, импонировало Бьёрнсону. Самую прекрасную сказку своей жизни, по его мнению, я создал на собрании в городской ратуше, когда говорил в своей речи о трех моих посещениях зала. Даже наша несравненная фру Хейберг высказалась на этот раз в мой адрес приветливо, сообщив мне заодно датскую поговорку, которой я не знал раньше, она касалась моей матери: «И самая бедная баба иногда приносит богатого».

Вечер под Новый год явился одним из тех последних вечеров старого, когда мне удалось наилучшим образом упорядочить свои мысли и вознести Господу благодарнейшую молитву за все, что он даровал мне. Прошедший год явился самым благодатным, он был наполнен величайшим счастьем; что-то мне придется испытать в будущем? «Господи, дай мне сил перенести тяжелые дни! — молился я. — И не оставь меня!»

*Копенгаген 29 марта 1869 г.*

---

## Содержание

СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ 5

СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ  
Продолжение (1855—1867) 527



---

Литературно-художественное издание

**АНДЕРСЕН**  
**Ханс Кристиан**

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ ТРЕТИЙ  
СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ

Редактор  
А.Г.Николаевская

Художественный редактор  
Т.Н.Костерина

Оператор компьютерной верстки  
А.В.Кузьмин

Оператор компьютерной верстки  
переплета и блока иллюстраций  
Е.В.Мелентьева

Корректоры  
Н.В.Семенова, С.В.Цыганова

Подписано в печать 26.09.2005  
Формат 60х90/16  
Тираж 3 000 экз.  
Заказ № 2032.

ЗАО «Вагриус»  
107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 4, корп. 1

Отпечатано в ОАО «Тульская типография».  
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109 .

В А Г Р И У С

ISBN 5-9697-0029-0



9 785969 700291